

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Валентин КАТАЕВ

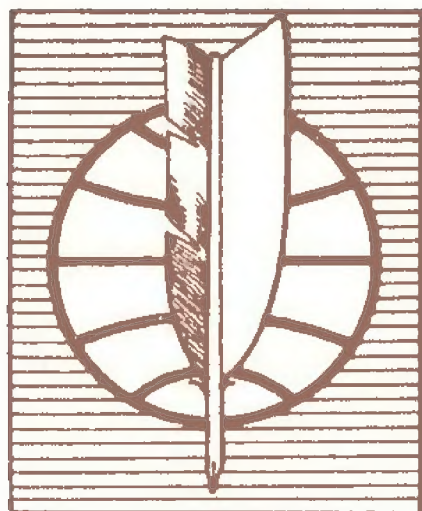
Константин

ПАУСТОВСКИЙ

Борис ПОЛЕВОЙ



Scan Kreyder - 12.08.2016
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



Валентин
КАТАЕВ

*Б*ЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ



Константин
ПАУСТОВСКИЙ

*С*ЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ
*К*АРА-БУГАЗ



Борис
ПОЛЕВОЙ

*П*ОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Повести

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”

1979

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Дехтерев Б. А.	Мотяшов И. П.
Алексин А. Г.	Думбадзе Н. В.	Мустай Карим
Барабаш Ю. Я.	Коржев Г. М.	Новожилова Э. Г.
Барто А. Л.	Леонов Л. М.	Пешеходова Г. К.
Благой Д. Д.	Лихачев Д. С.	Прилежаева М. П.
Верейский О. Г.	Ломунов К. Н.	Свиридов Н. В.
Виноградов А. А.	Марков Г. М.	Столетов В. Н.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
	Михалков С. В.	Шолохов М. А.

*

Вступительная статья
ИГОРЯ МОТЯШОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации
Ю. РАКУТИНА

К 70803—285 Подп. изд.
М101(03)79

© Состав. Вступительная статья. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

Судьбы книг, как и судьбы людей, читаются с конца, проверяются временем.

Когда в 1932 году вышла повесть К. Паустовского «Кара-Бугаз», и четырьмя годами позднее, когда появилась книга В. Катаева «Белеет парус одинокий», и еще через десять лет, когда Б. Полевой опубликовал свою «Повесть о настоящем человеке», — о каждом из этих произведений много говорили, писали, спорили. Но, конечно, никто бы не мог тогда наверняка сказать, что книгам этим суждено будет стать этапными для всей советской литературы. Что и десятилетия спустя юные и взрослые читатели во всем мире будут по этим книгам представлять нашу Революцию и людей, Революцию совершивших и ею рожденных.

Мало сказать, что эти книги выдержали проверку временем. Они сделались принадлежностью нашей духовной среды. Они не просто ценное достояние народной культуры, а неотъемлемая часть социалистического образа жизни. Незабываемо яркий и глубоко поучительный художественно-образный мир этих произведений принадлежит к тем замечательным явлениям духа, которые объединяют всех нас в большую дружную семью. Каждый член этой семьи видел окружающее глазами катаевских Пети и Гаврика. Благодаря Паустовскому каждому довелось

ощутить историю не просто как цепь связанных во времени событий, а как романтическую эстафету благородства и человечности. А книга Полевого помогла всем нам полнее осознать собственное моральное величие — величие души обыкновенных, «простых» советских людей.

Как мы в годы детства и юности, так и вы, сегодняшние мальчишки и девчонки, легко и счастливо подпадаете под обаяние этих повестей, будучи невольными участниками описанных в них событий. Их герои становятся вашими личными друзьями и недругами. И хотя времена, о которых рассказано, все дальше отодвигаются в прошлое, никакой «хрестоматийный глянец» не отделяет эти произведения от наших дней. Читая и перечитывая их, вы не можете думать только о прошлом. Вы непременно будете думать и о жизни вообще, о днях нынешних, о своих сверстниках и о себе, о смысле своего существования на земле.

Таково свойство всякого настоящего, большого искусства.

I

Каждая из четырех повестей, вошедших в этот том «Библиотеки», имеет четкие хронологические рамки. Мы можем назвать не только год, но часто и месяц, когда начинается действие и когда оно заканчивается. Мы можем, порой с точностью до одного дня, сказать, когда происходило то или другое описанное автором событие.

Секрет нестареющей актуальности этих произведений, однако, в том, что изображенное в них время не застывает в границах дат. Оно движется, неудержимо вырывается из сюжетных берегов. Оно ощутимо буквально физически, как течение великой реки. За дальностью горизонта мы не видим всей реки, но знаем: у нее есть исток и есть устье. У времени, изображенного в повестях В. Катаева, К. Паустовского, Б. Полевого, есть прошлое и есть будущее.

Обычно мы делим время на «свое» и историческое. «Свое» — это когда живем мы сами. Историческое — то, что было раньше, до нашего рождения. «Свое» время человек знает как бы без

посторонней помощи. Хотя и это, конечно, иллюзия. Сами мы можем знать только про себя, да и то не все, поскольку и познать себя нам помогают искусство, литература, наука, окружающие люди. Время же историческое мы узнаем только «из вторых рук», больше всего из книг.

Но время едино. То, что сегодня является настоящим, завтра станет историей. Время, «свое» для одних людей, для других, даже живущих рядом с первыми, является историческим. История творится на наших глазах. Мы сами — часть истории. И чтобы понять это и почувствовать себя звеном исторической цепи, человек должен перешагнуть грань между «своим» и историческим временем. Одна из книг, которые особенно успешно нам в этом помогают, — «Белеет парус одинокий» В. Катаева.

Каждый, кто прочитал эту повесть, пережил ощущение захватывающего дух путешествия в Машине времени в Одессу начала века. Навсегда остаются в нашей памяти — будто и впрямь мы сами там были — и пропахший свежей рыбой, сверкающий всеми красками моря и поющий всеми оттенками южной русской речи одесский рынок привоз; и полуденный зной улиц, обсаженных усыхающими акациями; и увеселительные пасхальные балаганы на пустыре, громко именуемом Куликовым полем; и утренние крики бродячих торговцев; и напоенный терпкими степными запахами воздух экономии; и пылящий проселок среди виноградников, и море...

У моря начинается, возле моря заканчивается действие катаевской повести. Ощущением моря, его близости и беспредельности напоена вся книга. И лермонтовская строка, ставшая заглавием повести, властно напоминает о море — о солнечном штиле и о предчувствии бури.

У прочитавшего повесть остается в душе ощущение праздника. Праздника удивительной встречи с ярким, залитым ослепительным южным солнцем, исполненным жизни, калейдоскопически пестрым и изменчивым миром. И, лишь оглядываясь на прочитанное, мы вспоминаем, что в мире этом отнюдь не все было праздничным. Что была в нем и нищета трудового люда, и отчаяние обездоленных, и сытая злоба мещан, и грозный пороховой дым восстания, и человеческая кровь, и смерть, и первые успехи в ожесточенной борьбе.

Есть великий нравственный смысл в том, что социальная несправедливость, от которой страдает семья Гаврика Черноиваненко, стреляется солдат-часовой возле ворот казармы, бунтует батрак Гаврила на экономии Рудольфа Карловича, поднимают восстание матросы «Потемкина» и сражаются с казаками рабочие Одессы,— что различные и многочисленные проявления этой несправедливости и борьбы с нею, показанные в повести, не притупляют пронизывающего книгу чувства радости жизни, не заглушают мощно звучащей в ней оптимистической ноты.

Дело не только в том, что так писатель выражает общую историческую закономерность конечного торжества добра над злом. Книга написана с той высшей позиции, с которой само бытие человека, его жизнь на земле, его способность видеть, слышать, осязать, обонять, пробовать на вкус этот мир, познавать и изменять его осознается как главная ценность. Жизнь прекрасна в своей сути, независимо ни от чего. Она и только она — колыбель и источник человеческого счастья. Именно к человеку, понявшему это, приходит зоркость души, позволяющая ощутить любое проявление социальной несправедливости как вопиющую дисгармонию. И тогда рождается неукротимое стремление сделать мир еще более прекрасным и совершенным. Не пожалеть сил и даже самой жизни ради такого преобразования мира.

История литературы знает немало книг, которые были написаны с позиций ненависти к страшному миру собственников, к уродствам и злодеяниям капиталистической действительности. Такие книги играли свою полезную роль, когда надо было поднимать людей на борьбу против буржуазного правопорядка, на революцию, на гражданскую войну, на войну с фашистскими захватчиками. Но книга не может остаться надолго, если она написана с позиций ненависти, пусть и самой справедливой, священной ненависти.

В повести В. Катаева также есть ненависть — к филерам охранки, к погромщикам, к мадам Стороженко и ей подобным. Но как и ненависть к фашистам и фашизму в «Молодой гвардии» А. Фадеева или в «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, эта ненависть — производное от любви. От великой любви к жизни, к миру природы, к человеку как разумному существу, к тем возможностям совершенства и счастья, которые в че-

ловеке заложены. Потому-то и живут сегодня эти книги, что одухотворены любовью.

Сама эта любовь дается нам изначально, как мощный физический импульс. Никто не приходит в мир с ненавистью и разочарованием. Но каждый ребенок появляется на свет очарованным жизнью, с единственным желанием любить ее и радоваться ей. Собственно, из этого очарования и возникают все наши мечты о счастье, о достойной, справедливой, прекрасной жизни. И рождаются все сказки, как предчувствие осуществления этих мечтаний.

А если заглянуть глубже, то мы увидим, что отсюда же растет и всякая революционная идеология — идеология социального оптимизма. В том числе и самая передовая, единственно научная — марксизм-ленинизм, ставящий конечной целью такое изменение общества, когда все люди будут счастливы, а несправедливость и ненависть навсегда уйдут из человеческого обихода.

Вот почему хотя в повести В. Катаева мы отчетливо слышим авторский голос — голос человека, который с высоты прожитых лет и опыта восхищается и даже несколько умиляется чистотой, наивной мудростью и красотой детства, определяющей в ней является не «взрослая», а именно «детская» точка зрения. В книге главенствует мироощущение Пети и Гаврика. Хотя речь о ребятах идет в третьем лице, действительность увидена их глазами. И такой она видится читателю.

Разумеется, у Пети в его восемь с половиной лет есть свои печали и огорчения. Но это именно его, «детские» печали. Как, например, грусть, навеянная предстоящим расставанием с экономией, где прошло такое прекрасное лето. От близкой и неизбежной разлуки, о которой властно напоминает пронзительный звук трубы дилижанса, у Пети щемит сердце, и все знакомое, привычное, за исключением, пожалуй, моря, кажется уже иным, покрытым налетом отчуждения. С сожалением вспоминает герой о самом замечательном событии лета — празднике, который устроил хозяин экономии для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны. Это ощущение «чудесного праздника» не исчезает даже при воспоминании о том, как подвыпивший батрак Гаврила «ругался страшными словами» на хозяи-

на и грозился спалить имение, где его так бессовестно обсчитали.

Вообще мы видим, что поначалу все грозные, страшные или попросту непонятные Пете события, нарушающие царящую в душе мальчика гармонию, воспринимаются героем не совсем такими, каковы они в действительности, а как бы через призму тех сказочно-литературных представлений о добре и зле, какие к восьми годам сложились в его голове.

Слова кучера дилижанса о том, что рыщущие по степи солдаты ловят беглого матроса-потемкинца, который, по слухам, спалил экономию помещика Балабанова, вызывают у Пети совершенно определенные ассоциации. «Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы?» И мальчик предусмотрительно прячет подальше свои сокровища: коллекции морских игл, ракушек, крабов, жуков и бабочек, засовывая их под скамейку дилижанса, «поближе к стенке».

Когда в дилижанс на ходу впрыгивает «коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими не то веселыми, не то насмерть испуганными глазами», Петя хотя и замечает все детали в поведении отца и доверчиво ищущего спасения коренастого, он не придает этим успокаивающим нестрашным деталям никакого значения. «Страшная мысль» о беглом матросе по-прежнему целиком владеет Петей. «К ужасу своему», он видит прежде всего подтверждения этой мысли: якорь-татуировку на руке и то, как коренастый «полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции». Даже после исчезновения матроса, не нанесшего ни дилижансу, ни его пассажирам никакого вреда, Петя «в тревоге» заглядывает под скамейку, не веря, что его богатства не подверглись разграблению.

Однако уже в этой характерной для повести сцене поведение юного героя двойственно. Оно искажено непониманием истинной природы событий (нелепый страх перед хорошим человеком), но в то же время и созвучно этим событиям (невольная симпатия мальчика беглецу, оппозиция стражникам, молчаливое участие в сопротивлении властям, действия которых несправедливы). До активного сочувствия революционерам и до понимания причин социальной борьбы пока еще очень далеко. Но в этом и проявляется художник-реалист. Он не торопит события. Он

показывает, как они развиваются в действительности. Как не просто мальчик из социально благополучной учительской семьи идет к пониманию происходящих на его глазах исторических событий, к определению своей позиции в мире, расколотом классовыми противоречиями.

Этот путь тем более непрост, что Петино гражданское сознание строится на фундаменте гармонически-счастливого мироощущения, на незыблемом исходном убеждении в том, что мир прекрасен. Даже и после того, как Пете, по словам автора, станет «совершенно ясно, что жизнь — вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась еще совсем-совсем недавно», до полной ясности в Петиной голове будет еще далеко.

Впрочем, повесть и не показывает превращение мальчика во взрослого революционера. События, в ней описанные, охватывают меньше года. Из приготовишки герой стал гимназистом-первоклассником. О том, что Пете еще не скоро суждено расстаться с детством, лучше всего говорят драматические перипетии его судьбы, связанные с увлечением игрой в «ушки». Но детски беспомощные Петины попытки найти выход из сложной ситуации не только усугубляют его положение проигравшегося и запутавшегося во лжи человека. Они же и оттеняют, словно по контрасту, стремительный скачок, происходящий в гражданском сознании героя.

Станный, в чем-то противоречивый, но тем не менее единый мир все отчетливее раскалывается в глазах мальчика на две противоположные, непримиримо враждующие половины. С одной стороны — отец, тетя, Гаврик, его старший брат и дедушка, матрос Родион Жуков с мятежного «Потемкина», хозяин тира Иосиф Карлович, рабочие железнодорожных мастерских, батраки с экономий, рыбаки, боевики-партийцы. С другой — хозяин экономии, земский начальник Чувяков, рыночная торговка мадам Стороженко, усатый филер, жандармы, погромщики, казаки...

Новый, расколотый мир требует от Пети, чтобы он четко определил свои симпатии и антипатии, побуждает к осознанному участию в борьбе. Вспомним, что почувствовал Петя, когда ему одному, без Гаврика, приходится пробираться с запасом пуль к восставшим. До этого ему было куда легче: он во всем полагался

на Гаврика, «ловкого и опытного», безоговорочно признанного им за старшего. «Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше».

Вот когда сознание Пети поднимается на новую, более высокую ступеньку. Чувство ответственности за свои поступки, необходимость принимать решение и действовать самому, словно порыв сильного ветра, сдувают в сознании героя остаточный налет игры, опереточности с тех фактов классовой борьбы, которым Петя был невольным свидетелем.

Как точка под прежним двойственным, во многом еще детским восприятием действительности возникает в повести неподвижное тело и лицо человека, лежащего поперек комнаты среди пустых обоев и гильз, неправдоподобно спокойное среди суетящихся, отстреливающихся людей. «Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это — труп», — сказано в повести.

Это «вдруг» — мгновенный, но месяцами готовившийся переход от детского, легкомысленно-игрового, к взаправдашнему, серьезному, отчасти уже взрослому. Мальчик понимает: борьба идет не шутейная, не на жизнь, а на смерть.

И когда вскоре затем Петя становится очевидцем героической гибели под казачьими шашками бывшего хозяина тира, прижимающего к груди красный флаг, когда сам он во время погрома бросается на защиту отца со словами «Не бейте его, это наш папа!.. Вы не имеете права! Дураки!» и чувствует, что «в эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать», — это воспринимается читателем как закономерное проявление уже сложившейся и определенной гражданской позиции юного героя.

Если Петя идет к пониманию окружающей действительности с трудом, словно сквозь частый и колючий кустарник, прорываясь через детскую наивность и неведение, усиленное предрассудками интеллигентской мелкобуржуазной среды, то его приятелю Гаврику классовое размежевание мира открыто как бы с рождения. Нищий сирота, вынужденный с малолетства нелегким рыбацким трудом добывать свой хлеб, Гаврик — органическая частица революционного класса.

За тот год, что описан в повести, дружба мальчиков проходит путь не менее сложный, чем сам Петя. Вначале это и не

дружба даже в высоком понимании этого слова, а скорее приязн-
тельство двух мальчишек, в котором каждая из сторон снисхо-
дительно относится к недостаткам другой стороны. Мальчики
часто бывают вместе, играют в одни игры, но мы все вре-
мя видим, как они внутренне да и внешне отстоят друг от
друга.

Петя одет чисто и аккуратно, Гаврик оборван. Петя сыт, Гав-
рик почти всегда голоден. Петю учили, Гаврик неграмотен. Зато
он более самостоятелен, прекрасно ориентируется в городе и
лучше знает жизнь, что дает ему право относиться к своему
товарищу покровительственно, командовать им.

Развитие событий приводит, однако, к тому, что между Гав-
риком и Петей намечается действительное сближение, причем
идут навстречу друг другу обе стороны. Петя перенимает Гаври-
ков жизненный опыт, его взгляд на вещи, его понимание проис-
ходящего. Гаврик же, может и неосознанно, тянется к Петиной
духовности, к тому чувству красоты мира и искусства, которое
особенно ярко проявляется у Пети в его разговорах с Мотей,
племянницей Гаврика.

Последнее событие в сюжете повести — побег из тюрьмы
большевика Родиона Жукова и его уход в эмиграцию на Гаври-
ковой шаланде. Но повесть на этом не кончается. И не случайно.
Ее заключает эпизод, казалось бы не имеющий к сюжету ника-
кого отношения, но играющий большую роль для понимания
смысла всей вещи. Герой этого эпизода — художник, рисующий
на берегу как раз в тот час и в том месте, где юные герои
расстанутся с Родионом. Художник рисует этюд. Восхищенные
Петя, Гаврик и Мотя видят, как он последним мазком наносит
на законченный пейзаж маленькую белую точку — парус шалан-
ды, увозящей на свободу и на революционную борьбу их стар-
шего друга.

«Теперь,— сказано в повести,— нарисованное море невоз-
можно было отличить от настоящего. Все — как там. Даже
парус.

И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели
то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море,
в туманной голубизне которого таял маленький парус дедушки-
ной шаланды, легкий и воздушный, как чайка.

...Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!»

Этими словами завершается замечательная катаевская повесть.

Есть глубокий резон в том, что повесть названа, инструментована и заканчивается словами стихотворения, написанного семнадцатилетним Лермонтовым спустя всего шесть с половиной лет после восстания декабристов. Отголосок этого гордого и горького события русской истории современники поэта слышали уже в первой строке: «Белеет парус одинокий...» Ведь эти три слова — цитата из поэмы декабриста А. А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский». В столь явственной переключке легко угадывался политический смысл «пейзажного» лермонтовского стихотворения.

Настойчиво обращая мысль читателя к лермонтовскому «Парусу», Катаев как бы напоминает, что мятежный дух революционности связывает его героев — восставших матросов броненосца «Потемкин», одесских рабочих-большевиков — с первой, дворянской, волной русской революции. История облекается в плоть, обретает начало и продолжение. А искусство — в данном случае поэзия («Парус»), живопись (этюд безымянного художника), художественная проза (сама катаевская повесть) — выступает как живой, остро чувствующий нерв, связующий времена.

В постоянно подчеркиваемой В. Катаевым связи искусства и жизни нам открывается, быть может, одна из важнейших сторон социалистической революции: ее внутреннее единство со всей человеческой культурой, с теми богатствами духа, которые подспудно скапливались веками, всегда служили немногим «избранным» и лишь с победой народа становятся достоянием всех. Искусство выступает как могущественное средство приобщения каждого человека к миру, к истории, к борьбе народа за лучшую жизнь.

Так замыкается круг катаевской повести. На ее последней странице море, природа, жизнь так же прекрасны, как и в утро отъезда Пети из экономии. Но теперь, помимо Пети, к этой красоте приобщены и Мотя с Гавриком. То, что на первых стра-

ницах Петя чувствовал сам, один, теперь ощущают трое ребят, ощущают вместе. И что самое важное: в их чувство радости бытия вливается ощущение величия и красоты борьбы за то, чтобы мир стал еще чудеснее, чтобы скверна неравенства и паразитизма исчезла из него навсегда.

II

Если рассматривать жизнь, изображенную в повестях этого тома, как отражение целостного звена русской истории, то окажется: она охватывает период от разгрома декабрьского восстания на Сенатской площади Петербурга до победы советского народа в Великой Отечественной войне, то есть от первой сознательной попытки изменить бесчеловечный самодержавно-крепостнический строй до окончательного торжества социализма как мировой системы.

Конечно, картина столетия, нарисованная в повестях В. Катаева, К. Паустовского и Б. Полевого, поневоле неполна, пунктирна. Но в ней есть самое основное, что нужно для ощущения вечно живого организма прогресса: преемственность.

Пожалуй, наиболее наглядно историческая преемственность выражена в «Северной повести» К. Паустовского, где читатели встречаются с четырьмя поколениями участников народной борьбы против социального угнетения и несправедливости. От передовых офицеров-дворян Павла Бестужева и Николая Щедрина, от засеченного насмерть шпицрутенами крепостного солдата Семена Тихонова эстафета защиты достоинства и свободы каждого человека передается их детям, внукам и правнукам. Уже в наши дни счастье участвовать в осуществлении надежд отважных предков выпадает моряку Александру Щедрину, молодому художнику Алексею Тихонову и юной шведке Мари Якобсен — правнучке Павла Бестужева.

История не была бы непрерывным накоплением мудрости, человечности и ценностей культуры, если бы опыт предыдущих поколений ничего не значил для последующих и если бы люди, умирая, не завещали свое лучшее тем, кто остается жить после них. Не будь у людей прошлого, не знай они его и не ощущай связи с ним, у людей не станет и перспективы. Останется безы-

сходность и безнадежность, бессилие и нежелание что-либо изменять в жизни.

Узнав от Александра Щедрина подробности гибели Семена Тихонова, Алексей «впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа... Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда — николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в заношенную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова».

Быть достойным потомком...

Такая мысль делает человека сильным. Значит, он не один, не сам по себе: высокое, доброе, человеческое было до него и не умрет вместе с ним. Люди знают: утверждение добра подчас стоит жизни. Но жизнь без добра для других не стоит ничего. Анна Якобсен никогда не могла бы полюбить человека низкого, своекорыстного, подлого. Любовь же ее к Павлу Бестужеву беспредельна. Она сильнее одиночества, сильнее страха смерти.

Злоба, эгоизм разъединяют людей. Доброта объединяет. Объединяющая власть любви, благородства, гуманности стирает языковые, национальные, государственные барьеры. В деле спасения Щедрина участвуют не только его соотечественники, но и шведка Анна, ее отец — смотритель маяка, капитаны зимующих в Мариегамне иностранных судов. «Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника, — говорит Бестужеву старый шкипер. — Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы — шведы, финны, французы; он — русский. Мы уважаем его».

Во второй части «Северной повести» символично описание визита старого краснодеревщика Никанора Никитина и его подмастерья Алеши Тихонова на петербургскую квартиру «знаменитого писателя». Шлифуя книжные полки в писательской библиотеке, искусный мастер вспоминает пушкинскую трагедию о Моцарте и Сальери. Мебельщик говорит с писателем о таланте,

мастерстве и вдохновении как неперенных качеств всякого творческого труда. И о том, что революция освобождает труд, раскрывает перед каждым безграничные возможности для совершенствования способностей и талантов, для творчества.

Вместе с тем революция возвращает труду его изначальную общественную ценность. Даже подневольный, каторжный, служивший обогащению и комфорту эксплуататорского меньшинства труд наших далеких предков — крестьян, мастеровых, рабочих — вдруг получил новый смысл и оправдание в тех ценностях материальной и духовной культуры, которые революция отдала во владение всего народа. Разделение труда и в прошлом указывало на то, что люди взаимно служат друг другу. Но только в народном государстве труд получил высшее осмысление как труд для людей. Сознание трудовой сопричастности настоящему и прошлому вдохновляет на творческое отношение к любому делу, повышает требовательность к плодам своего труда.

«Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!» — говорит Алексей Тихонов Щедрину о своем поручении — разработать праздничное оформление Петергофа. Он чувствует ответственность не только перед живыми современниками, но и перед теми зодчими, ваятелями, художниками XVIII века, которые создавали величественный петергофский ансамбль.

Переключка времен видна уже в хронологически последовательной композиции «Северной повести». В ней три части: зима 1826 года; годы революции и гражданской войны; середина 30-х годов. Повесть «Кара-Бугаз» может в сравнении с нею показаться конгломератом очерков, неоднородных по стилю, по жанровым особенностям. Времена в ней перемешаны. Сюжет как бы «танцует» во времени: назад — вперед, вперед — назад. В книге о писательском труде «Золотая роза» Паустовский говорит:

«Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем».

Должно быть, и в самом деле писатель не думал о «композиции по спирали». И все-таки «архитектура» этой повести не случайна. И если писатель «не виноват» в том, как построена книга, умом, то уж сердце, а точнее, чутье художника, вне всякого сомнения, подсказывало ему ту многоголосую перекличку, казалось бы, весьма разноречивых эпох, событий и фактов, которая составляет неповторимую мелодию этой повести.

Именно благодаря сложному построению этой вещи мы видим: то, что делает на Кара-Богаз-Голе Советская власть в начале 30-х годов, не только развертывая добычу ценного химического сырья для промышленности, но и в корне меняя психологию жителя пустыни и самое пустыню, происходит не вдруг, не случайно, а подготавливалось в течение долгого времени трудами и верой многих патриотов.

Мечта о превращении пустыни в цветущий край как бы передается от путешественника Карелина, обследовавшего восточный берег Каспия еще в начале прошлого века, к морскому офицеру Жеребцову, от него к писателю Евсеенко и дальше — к «мальчику с серебряным горлом», будущему советскому ученому Николаю Ремизову, от Ремизова к геологу Шацкому, затем к Прокофьеву, приобретая, по мере приближения к нашим дням, очертания конкретного дела.

Впрочем, она так и осталась бы прекрасной мечтой, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция, переключившая самые смелые надежды человечества из области фантазии в область реальной действительности. Как поворотный пункт в отношении к проблеме, выделяется замечание автора о том, что «в 1920 году Ленин поставил вопрос об использовании богатств Кара-Бугаза. Было отпущено сорок тысяч рублей золотом на снаряжение экспедиции... Во главе экспедиции стал геолог Подкопаев».

Повесть, возможно и интуитивно, построена так, что одно звено событий словно бы входит в другое, отражая авторскую мысль о единстве жизни, о всеобщей взаимосвязи фактов истории и явлений природы. Не просто об эксплуатации минеральных богатств каспийского залива речь. Об этом еще до революции начал заботиться предприимчивый российский капитал в лице фабриканта табачных гильз Катыка и купчихи Князевой. Писа-

тель ведет речь о социалистическом подходе к использованию природных даров.

Для чего нужно их использовать? В ответе на этот вопрос всегда выражается нравственная позиция общества. «Для денег, для получения прибыли», — цинично признается капитализм. «Для человека, для его блага и счастья», — утверждаем мы. Гуманизм цели выдвигает проблему всестороннего, комплексного освоения природы. Брать от нее так, чтобы не разорять, не истощать, а, напротив, делать ее богаче, щедрее к человеку. Вот почему в книге, названной «Кара-Бугаз», говорится и про эмбинскую нефть, и про бесплодные равнины Мангышлака, и про заводы Петровского порта (нынешней Махачкалы), и про уходящие далеко на восток от морских побережий пески Каракумов. Вот почему описаны в повести и Каспийское пароходство, и Красноводск, и Уральск, и Небит-Даг, и Гасан-Кули...

Поэтому и эпизод гражданской войны, на первый взгляд не имеющий прямого отношения к теме книги, — один из ключевых в повести. Зверство белогвардейцев, обрекающих на ужасную смерть десятки беспомощных, ни в чем не повинных людей — узников Петровской тюрьмы, которых без воды и пищи зимой высаживают на безлюдный остров Кара-Ада, — есть, в сущности, буржуазный ответ на вопрос о главной ценности. Спасая свои богатства и привилегии, буржуазия готова уничтожить все человечество. Недаром так радуется сегодняшний империализм изобретению нейтронной бомбы, способной, как говорят, убивать миллионы людей, не повредив даже кошельков в их карманах.

Спасение Шацкого Ремизовым — счастливая случайность в океане бедствий, которые несет народу отчаянное стремление старого мира повернуть Россию вспять. Но в этой случайности проявляется историческая справедливость: на смену порядку, унижающему и уничтожающему человека ради барышей катыков и князевых, идет строй, спасающий и возвышающий человека.

И как хорошо подчеркнута эта победная поступь новой жизни в главах, посвященных удивительным изменениям, пришедшим в быт туркмен-кочевников вместе с началом социалистического строительства на Кара-Бугаз-Голе и в его окрестностях!

Теперь, в обществе развитого социализма, нам даже пред-

ставить непросто, что всего каких-нибудь сорок пять лет назад в Красноводском суде могло слушаться дело «о пережитках варварского быта, выразившихся в истязании и преследовании гражданки Начар» — молодой вдовы бедняка-скотовода, которую темные жители аула, подстрекаемые религиозными фанатиками, бьют, мучают, травят, грозят убить только за то, что она не туркменка, а афганка, «чужая». Стремительность изменений, происходящих в психологии людей, во всем укладе их жизни, неотделима от социально-экономических преобразований, совершаемых во имя человека.

Есть в повести такой эпизод. Геолог Прокофьев просит рассказчика, который едет в Баку в командировку, присмотреть в дороге за диковатой Начар, помочь ей в Баку разыскать нужный адрес. «Вы каждый день все дальше отодвигаете меня от Кара-Бугаза!» — шутливо откликается на эту просьбу рассказчик. Геолог смеется: «Совершенно ложный взгляд. Здесь все незримо связано с этим заливом». В этих словах — одна из центральных, сквозных идей произведения.

Незримую эту связь выражает и внутренняя структура повествования. Прокофьев, например, помогает Начар бежать от ее мучителей, отрываясь на время от своих исследований газовых месторождений. Когда его просят выступить общественным обвинителем на суде над организаторами травли Начар, он вместо подготовки к обвинительной речи составляет доклад «об использовании природных нефтяных газов Чикишляра». Однако на суде произносит блестящую речь, свидетельствующую о том, что мысли его заняты не одними газами и нефтью. Он требует запретить ношение национального женского головного убора, который весит около трех килограммов и вызывает туберкулез шейных позвонков; требует отказа и от других варварских, вредных для здоровья женщин и для потомства обычаев.

Так перекрещиваются быт, наука, политика, мораль. В сознании героя, в книге, в жизни. Повесть говорит о глубинной связи среды обитания с насущными вопросами человеческого счастья.

Уже за те годы, что прошли с момента первого издания повести К. Паустовского, капитализм превратил многие цветущие участки нашей планеты в бесплодные пустыни. Паустовский не

случайно выбрал местом действия пустыню, самую гибельную для всего живого ее часть. Он показал, как сама идея социализма неизбежно предполагает планомерное и результативное наступление на пустыню, превращение ее в сад. С высот пройденного шестидесятилетия особенно хорошо видно, как точно отражена в повести тенденция нашей жизни. Посмотрите на карту: новые города встают вдоль всего каспийского побережья — от Мангышлака до склонов Копет-Дага; Большой Каракумский канал напоил пески водой; с каждым годом человек отвоевывает для жизни все новые бесплодные прежде пространства.

Как прав был Прокофьев, мечтатель ленинского склада, когда обращался со страниц повести к молодым: «...никогда не упускайте из виду далеких горизонтов... Давайте волю своему воображению. Сила его необычайна. Воспитайте в себе чувство времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями — это уже страшно много...»

III

Одна из стержневых особенностей советского характера как раз и состоит в обостренном, воспитанном самой нашей действительностью, чувстве времени как чувстве будущего. В ощущении сопричастности народной судьбе, человеческой истории, великому делу коммунистического созидания.

Советский патриотизм можно с полным правом назвать человеческим патриотизмом, потому что, помимо естественной любви каждого народа к родной природе, истории, языку, культуре, он включает гордость за всю человеческую общность, за те богатые духовные и нравственные возможности человека, которые свободно раскрываются в условиях социалистических отношений.

Вот почему истоки массового героизма советских людей в Великую Отечественную войну следует искать не столько в обычных, традиционных патриотических чувствах, сколько в новых моральных качествах человека социалистического мира: в его гуманизме, интернационализме, духовной раскованности. В психологической невозможности для него вернуться к состоянию буржуазно-индивидуалистического, националистского неандертальства.

Эти новые качества советских людей правдиво и впечатляюще раскрыты в «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого. Герой этой книги, летчик Алексей Мересьев, совершает небывалый подвиг. Лишившись в бою обеих ног, нашел он в себе силы вернуться в военную авиацию, героически сражался до Победы. Таких случаев история мировой авиации не знала. Но автор повести опирался на действительный факт. Прообраз Алексея Мересьева — летчик Алексей Маресьев — наш современник, Герой Советского Союза, известный общественный деятель, борец за мир.

Даже в эпоху массовых подвигов далеко не часто жизнь дает писателю столь благодатный материал. Тут реальной действительностью подсказано буквально все: и острый, захватывающий сюжет, и крупный, яркий человеческий характер. От художника требуется лишь точно записать, как было на самом деле. Но, по признанию Б. Полевого, он не сразу ощутил необходимость писать об Алексее Маресьеве.

Произошло это потому, что вначале писатель видел во всей истории лишь исключительный, неповторимый случай, подвиг одного удивительного человека. Подобные, порой чуть ли не фантастические эпизоды описывались в военной литературе не раз, вызывая у читателя своеобразный внутренний отклик, который можно было бы приблизительно выразить словами: «Чего только на войне не бывает!»

Но вот весной 1946 года, почти через год после Победы, Б. Н. Полевой приехал корреспондентом на Нюрнбергский процесс, где судили гитлеровских военных преступников. Отвечая на вопросы обвинения, один из матерых фашистских заправил Геринг «с недоумением и даже... с невольным уважением», как пишет Б. Полевой, говорил о том, что «русский человек всегда был загадкой для иностранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили ошибку Наполеона».

Вот тогда-то, задумавшись о советском характере, как о главном «военном потенциале» Советской страны, Б. Полевой вспомнил о старых тетрадях, в которых записал как-то в землянке одиссею летчика Маресьева. Теперь эти записи предстали перед ним в новом свете. Это была уже не история одного, пусть даже очень героического человека, а обобщенный, «массовый» портрет

нашего современника, гражданина социалистической страны. Повесть как бы сама собой ложилась на бумагу.

Она была написана в немыслимо короткий срок — за девятнадцать дней.

Кто же он, настоящий человек, в этой повести? Мересьев? Да, но только ли он? Когда весь госпиталь, где лежит Мересьев, провожает в последний путь комиссара Воробьева, раненый лейтенант Костя Кукушкин на вопрос вновь прибывшего майора, отчего «все точно деревянные», отвечает: «Настоящего человека хоронят...» О Воробьеве же скажет потом и благодарный Мересьев: «Хороший, настоящий (он особенно подчеркнул слово «настоящий») человек...»

В повести эти высокие слова прежде всего относятся к Комиссару, как нередко с большой буквы называет его автор. И хотя Воробьеву отведено не так много страниц, образ этого человека навсегда остается с нами. Практически мы знаем о Комиссаре все. Мы знаем также, что и Мересьев своей редкой судьбой во многом обязан Комиссару. Комиссар разбудил его мечту, поддержал его дух. Как многие, Мересьев учился у Воробьева доброте и мужеству, вниманию к окружающим и преданности долгу, любви и верности.

Настоящие люди — это и дед Михайла, совершающий ради спасения Алексея подвиг, и молодая солдатка Варя, его сноха, и бабка Василиса, отдающая Мересьеву последнюю курицу, и все оставшиеся в живых жители многострадальной белорусской деревни Плавни, сами погибающие от голода, но возвращающиеся к жизни раненого летчика. Настоящие люди — это и герой-танкист Гриша Гвоздев, и «метеорологический сержант» Вера, и медицинская сестра Клавдия Михайловна, и генерал медслужбы Василий Васильевич, и снайпер Степан Иванович, и подруга Алексея Оля, и студентка Анюта...

Назови автор книгу «Повестью о настоящих людях» — в том не было бы ошибки. Но книга названа точно. Ибо н а с т о я щ и й человек — имя обобщенное, собирательное. Это даже не тот, не другой и не третий по отдельности, а все вместе в лучших своих человеческих чертах и качествах, в самых достойных проявлениях своих характеров. В каждом — даже в неприятном ворчуне Кукушкине, в нагловато-самоуверенном Стручкове — есть

что-то от Настоящего человека. В одном больше, в другом меньше.

В строгом смысле, Настоящий человек — идеал. Но идеал достижимый. Приближения к нему реальны, зримы, вещественны. И не разрозненны — вот в чем суть. Люди заряжаются друг от друга красотой, благородством, мужеством, добротой. Насколько душевно тоньше, человечнее, мудрее становится майор Стручков под влиянием своей любви к Клавдии Михайловне! Этот процесс нравственного, духовного возвышения и показывает автор прежде всего на судьбе Мересьева.

Герой очень юн: в начале повести ему не больше двадцати двух лет. Он храбро сражается с ненавистными захватчиками, и мы встречаемся с ним в часы сурового испытания. Его самолет сбит, сам он при падении раздробил плюсны ног и оказался в тылу фашистов, в зимнем лесу, далеко от линии фронта.

Что побуждает его, преодолевая адскую боль и полную потерю сил, без пищи и огня восемнадцать долгих суток выползать из смертельной западни? Неодолимый и могучий инстинкт жизни? Да, есть и это: желание выжить, но ведь не любой же ценой! У Мересьева его высокие ценностные ориентации стократ усиливают инстинкт. Это воля к жизни советского человека, который не мыслит иного бытия, как только в своей стране, среди своих людей. Даже теряя сознание, он продолжает ползти в сторону фронта. А когда вконец изменяют ноги, он, вопреки рассудку, убеждающему, что это конец, катится живым, беспомощным обрубком по заснеженному лесу — все туда же, на гул и выстрелы.

Уже одно это — подвиг, способный вызвать преклонение перед силой духа юного летчика. Но для Мересьева возвращение к физическому существованию не предел, а только начало борьбы за возвращение в строй. Мало просто выжить, победить смерть. Нужно победить инвалидность, вернуться к себе прежнему, к своему любимому призванию летчика. А в условиях продолжающейся войны — к профессии военного летчика, чтобы по-прежнему вносить свой вклад в общенародное дело победы над оккупантами.

Б. Полевой не раз отмечал, что он ничего не выдумал, описав в «Повести о настоящем человеке» реальных людей, подлинные

факты. Но исключительные факты выявили свое глубоко типическое лицо. Если бы автор выдумывал своего героя и его судьбу, он, в интересах жизненной правды, должен был бы выдумать их точно такими, каковы они в книге.

Мересьев — герой. Но не сам по себе, не отдельно ото всех, как изображались герои в старых книгах. От страницы к странице он как бы поднимается с одной ступеньки на другую. Вот он учится ходить на протезах, бегают по коридору госпиталя, ходит по Москве, танцует. Вот он уже «обманывает» опытных медиков, не верящих в его инвалидность, а затем и пилота-инструктора, не замечающего, что отлично летающий летчик-истребитель лишен ног. Наконец, мы видим Мересьева снова в боевом полку, в воздушных схватках. И как бывает, когда при подъеме в гору кто-то поддерживает под локоть, а кто-то протягивает сверху руку, так и на каждой ступеньке Мересьева обязательно оказываются люди, помогающие ему добиться своего, стать настоящим человеком.

Исключительность судьбы героя (ведь он так и остался единственным в мире летчиком, поднявшимся в небо без обеих ног) лишь оттеняет таким образом закономерность массового появления таких характеров в социалистическом обществе. Само восхождение героя есть как бы символ приближения советского человека к идеалу коммунистической личности. Каждый из нас не просто мечтает быть таким, как Мересьев, но и чувствует свое кровное родство с ним, в самых достойных чувствах своих и делах ощущает себя «немного Мересьевым».

Вот почему и сегодня нам так близка «Повесть о настоящем человеке» и ее герои. Война прошла. Мы хотим, чтобы она никогда больше не повторилась. Но жизнь и в мирное время нуждается в Настоящих людях, пожалуй, ничуть не меньше, чем в дни ратных сражений.

IV

Три разных, не похожих друг на друга писателя встретились в этой книге.

Самый старший — Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968) — художник с романтическим мироощущением и

романтическим голосом. Не случайна его большая личная дружба с Аркадием Гайдаром. Многие книги Паустовского прочно вошли в чтение детей и юношества. Это сборники поэтичных рассказов и сказок о природе, о рыбаках и охотниках, повести «Черное море», «Колхида», «Далекие годы», «Беспокойная юность». Книги эти близки молодым святой убежденностью автора в торжестве благородных, высоких чувств, романтикой дерзаний, оптимизмом. Паустовский видит и показывает мир таким, каким видят его дети: первозданным, ослепительно новым, красочным.

Всегда был близок к юным читателям и классик советской литературы Валентин Петрович Катаев (род. в 1897 г.). Помимо повести «Белеет парус одинокий», им написаны для детей повести «Я сын трудового народа» и одна из лучших книг о Великой Отечественной войне «Сын полка», сказки. Вошли в круг юношеского чтения и романы «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «Катакомбы». Пластический, изобразительный талант В. Катаева не имеет себе равных. Но детей и молодежь в творчестве Катаева привлекает не только удивительная зримость, вещественность созданных художником образов, но также и жизнелюбие, юмор, динамичность описаний.

Хотя Борис Николаевич Полевой (род. в 1908 г.) и не писал специально для детей, многие его патристические, остросюжетные книги, всегда основанные на подлинных фактах, таких ярких и удивительных, что перед ними меркнет самый смелый вымысел, давно и прочно стали любимыми книгами детей и юношества. Среди них сборник рассказов «Мы — советские люди» и роман «Золото». Многие годы Б. Полевой возглавляет любимейший молодежный журнал «Юность».

У каждого из этих писателей свой неповторимый художественный язык, свои темы, свои герои. В этом смысле повести В. Катаева, К. Паустовского и Б. Полевого как бы демонстрируют многообразие советской литературы для детей и юношества, богатство ее палитры. В то же время мы вправе говорить о глубоко внутреннем родстве, присущем произведениям, вошедшим в эту книгу.

Аркадий Гайдар сказал однажды: «Нужно объяснить ребятам, как сделан винт или как устроен танк... Но этого мало,—

писатель должен объяснить ребятам некоторые слова: «честь», «знамя», «смелость», «правда».

У Гайдара каждое слово взвешено, точно стоит на своем месте. И слово «честь» неспроста стоит впереди других, тоже очень важных, слов-символов.

В народе издавна говорят: «Береги платье снову, а честь смолоду». Очень хорошо определяет слово «честь» словарь В. Даля. Это «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». Отсюда честный — «в ком или в чем есть честь, достоинство, благородство, доблесть и правда».

Со словом «честь» связан глагол «читать», «почитать». Всегда долгом чести считалось почитание дорогого и великого. С детства учили людей чтить отца и мать, предков, учителя, народ, Родину.

В повестях В. Катаева, К. Паустовского и Б. Полевого раскрываются значения таких слов, как «знамя», «смелость», «правда». Но в первую очередь в них раскрывается понятие «чести».

О Павле Бестужеве, например, с начальных страниц «Северной повести» известно, что в Камчатский полк на Аландские острова он попал за спор с самим великим князем, братом царя Александра I, отказавшись раболепствовать перед «его высочеством». Бестужев так объясняет жандармам дерзость своего поведения: «Честь свою я почитаю выше присяги». Это очень смело сказано. Ведь данная царю присяга обязывала офицера служить трону и отечеству не щадя жизни. Ставя честь выше присяги, человек заявлял о готовности пожертвовать ради чести жизнью.

Есть два рода подвигов.

Мы справедливо восхищаемся героями, которые физически карают зло и носителей зла. Например, в праведном бою убивают много врагов. Или побеждают мерзавца.

Но Павел Бестужев не убил на дуэли командира полка Киселева. Напротив, это Киселев, оскорбивший женщину, приказавший засечь солдата Тихонова, издевавшийся над раненым Щедриным, хладнокровно застрелил Бестужева. Зло осталось ненаказанным. Больше того, зло восторжествовало. Больше того, создается впечатление, будто сам Бестужев помог торжеству зла.

В самом деле: он мог не ждать дуэли, а бежать с Анной и Щедриным в Швецию. К тому же он не собирался расправляться с Киселевым на дуэли. Доведись ему выстрелить, он, скорее всего, стрелял бы в воздух.

Так разве не оправдали бы мы его, обмани он Киселева? Неужели же нужно оставаться непременно порядочным и по отношению к подлецу, быть великодушным с мерзавцем, правдивым с лжецом? Пожалуй, в случае неявки Бестужева на дуэль и бегства с друзьями за границу мы не стали бы его строго осуждать. Даже порадовались бы его спасению и бессильному бешенству Киселева. Но и восхищаться таким Бестужевым мы бы не стали.

Бестужев становится героем в наших глазах, когда выказывает немедленную готовность с риском для собственной свободы и жизни помогать Щедрину и Тихонову. Когда он, вступаясь за честь Анны, дает пощечину своему командиру. Когда почитает ниже своего достоинства уклониться от дуэли. Когда не делает даже попытки использовать дуэль для расправы со своим врагом, потому что убийство противно его убеждениям. И хотя нам, людям конца XX века, гражданам социалистического государства, глубоко чужды многие понятия дворянского «кодекса чести», мы отлично понимаем, что только такое поведение Бестужева соответствует складу его личности. И лишь оно позволяет нам говорить о его подвиге.

Подвиг Бестужева — самый высокий и самый трудный. Потому что даже героический поступок совершить легче, чем всю жизнь в каждой мысли, чувстве, шаге, в большом и малом оставаться порядочным, честным, верным своим нравственным и идейным убеждениям и принципам, своим понятиям о чести и достоинстве.

Человеческая мораль классовая и конкретна. Она развивается вместе с обществом. Нет вечной и неизменной морали. Но у всякой морали есть одно «вечное» свойство: неделимость ее нравственной основы. Нельзя без ущерба для личности исповедовать одни нравственные принципы в отношениях с одними людьми и совсем другие, зачастую противоположные принципы в отношениях с другими. Быть, к примеру, высокоморальным с друзьями и аморальным с недругами. Нельзя, потому что нравствен-

ность находится не вне нас, а в нас самих. И человек, допускающий для себя две разные морали, способный играть принципами хотя бы и во имя похвальных целей,— такой человек как бы раздваивается внутри себя. Его личность разломана. Она и такая и этакая—никакая. Такой человек, в сущности, безнравствен.

Вот почему мы говорим о подвиге чести, как самом высоком подвиге. И цельность, неделимость нравственных понятий человека принимаем за мерило истинной чести и честности.

«Долг чести» — назвал В. Катаев одну из ключевых глав повести «Белеет парус одинокий». Петя, проигравшийся в «ушки», считает себя обязанным во что бы то ни стало расплатиться с Гавриком и для этого потихоньку берет 16 копеек сдачи, оставленной на буфете кухаркой Дуней. Чтобы отвести от себя подозрение в воровстве, Петя дает отцу «честное благородное слово». Но это ужасное противоречие между честными словами и бесчестными поступками окончательно выбивает мальчика из нормальной колеи. Отчетливо сознавая, что катится в пропасть, Петя уже не в силах остановиться. Он портит парадный костюм отца, обманывает бабушку, обворовывает младшего братишку Павлика и лжет, лжет... А между тем «долг чести» не уменьшается, растет. И вместе с героем мы понимаем, что тут что-то не так, что похвальное стремление к честности не должно оборачиваться бесчестьем.

Повесть заставляет нас задуматься о таких серьезных вещах, как истинное и ложное представление о чести. Как нравственная сторона взаимоотношений цели и средств, избранных для достижения цели. И те важные нравственные уроки, которые извлекают Петя и Гаврик из своих ошибок, а еще более — из общения с такими людьми, как Родион Жуков, отец Пети, старший брат и дедушка Гаврика, есть, в существе своем, уроки чести — уроки подлинно человеческого и в высшей степени ответственного отношения к миру, к людям, к себе.

Такого рода урок дает читателям и «Повесть о настоящем человеке». Как ни восхищает нас Алексей Мересьев боевыми подвигами в воздухе, еще более впечатляют его моральные победы над самим собой, над слабостями собственного тела и духа. Ведь именно эти победы — источник всех остальных. Возвраща-

ясь к своему профессиональному призванию, Мересьев, по сути, осуществляет призвание человеческое: растет духовно и нравственно, раскрывает лучшие, благороднейшие стороны своей натуры.

Каждому из нас выпадает в жизни совершить подобный круг: найти себя, открыть в себе Человека, отстоять свою честь в борьбе с обстоятельствами нашей личной и общей — народной, человеческой — судьбы. И человечество в целом идет тем же путем, возвращаясь к своей истинной доброй природе, сбрасывая, как отболевшую коросту, пережитки эксплуататорских, собственных, бесчеловечных формаций, поднимаясь, обогащенное и просветленное историческим опытом, на новые ступени бесконечного восхождения.

ИГОРЬ МОТЯШОВ

Валентин
КАТАЕВ

*Б*ЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ





*Посвящается
Эстер Катаевой*

1

ПРОЩАНИЕ

Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы.

Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха.

Это был первый сигнал к отправлению дилижанса.

Все было кончено. Наступил горький час прощанья.

Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета.

Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя, по фамилии Бачей,—отец и два мальчика: трех с половиной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу.

Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороньих коней.

Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух.

Сад, степь, двор — все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его.

На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос: шерстяная синяя матроска с пристроенными вдоль по воротнику белыми тесемками, короткие шта-

нишки, длинные фильдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями.

Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето.

Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался три раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах.

И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы,— ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло!..

Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.

Две толстые утки прошли, оживленно калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.

Была ли это демонстрация или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.

Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода — чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку,— и та показалась до странности чужой, незнакомой.

Солнце поднималось все выше.

Хотя двор и сад всё еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа.

Заспанная кухарка в клетчатой домотканой юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах выколачивала из самовара о порог вчерашние уголья.

Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой, морщинистой шее.

— Уезжаете? — спросила она равнодушно.

— Уезжаем,— ответил мальчик дрогнувшим голосом.

— В час добрый.

Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой панёвы и отбила чоп.

Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатались

круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли.

Кухарка подставила самовар под струю. Самовар заныл, наполняясь свежей, тяжелой водой.

Нет, положительно ни в ком не было сочувствия!

На крокетной площадке, на лужайке, в беседке — всюду та же неприязненная тишина, то же безлюдье.

А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно! Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек! Сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб!

Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны!

Петя никогда не забудет этого праздника.

Утром под абрикосами был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед.

Тридцать пять горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет рождения.

Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю.

День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком.

Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы. Девочки превратились в русалок и цыганок, а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов, матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые или бумажные костюмы.

Шумела папиросная бумага юбочек и плащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шелковые ленты бубна.

Но самый лучший костюм — конечно, конечно же! — был у Пети. Отец собственноручно мастерил его два дня, то и дело роняя пенсне. Он близоруко опрокидывал гуммиарабик, бормотал в бороду страшные проклятья по адресу устроителя «этого безобразия» и вообще всячески выражал свое отвращение к «глупейшей затее».

Но, конечно, он хитрил. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм — что бы там ни говорили! — получился замечательный.

Это были настоящие рыцарские доспехи, искусно выклеенные из золотой и серебряной елочной бумаги, натянутой на прово-

лочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у рыцарей Вальтера Скотта. Даже забрало поднималось и опускалось.

Все это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи.

Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелеными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там в таинственной тьме сада. В беседке, при свечах под стеклянными колпаками, ужинали взрослые. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожженные, на скатерть.

Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом полезли в гору.

Но еще где-то в мире была луна. И это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали каленой синевой, и такой же синевой блеснула в кадке под старой абрикосой темная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка.

Тут-то мальчик и девочка, совершенно неожиданно для самих себя, и поцеловались, а поцеловавшись, до того смутились, что с преувеличенно громкими криками побежали куда глаза глядят и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравить хозяйку.

На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли: бочонок пива, два штофа казенного вина, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки.

Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники.

Два прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек, в новых, нестираных платках, со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись, в своих тесных козловых башмаках.

Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака.

Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную, разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами.

Рыдая и захлебываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне:

— Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!.. У, морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него: я из него душу выниму! Дайте мне спички, пустите меня до соломы: я им сейчас именины сделаю... Ох, нет на тебя Гришки Котовского, гадюка!

Лунный свет блестел в его закатившихся глазах.

— Но, но, но...— бормотал хозяин, отступая.— Ты смотри, Гаврила, не чересчур разоряйся, а то, знаешь, теперь за эти слова и повесить могут.

— Ну на! Вешай! — кричал, задыхаясь, батрак.— Чего же ты не вешаешь? На, пей кровь! Пей!..

Это было так страшно, так непонятно, а главное — так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию.

Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче.

Родители уводили детей в комнаты. Всюду запирали окна и двери, как перед грозой.

Земский начальник Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары.

Он держал в приподнятых руках двустволку.

Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет: Гаврила связан и посажен в погреб и завтра за ним приедет урядник...

Однажды ночью далеко над степью встало красное зарево. Утром разнесся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что ее подожгли батраки.

Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада.

После праздника, на рассвете, приезжал урядник. Он увез Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки.

Дачники разъезжались.

Вскоре экономия совсем опустела.

Петя постоял возле заветной кадки под старой абрикосой, похлопал прутиком по воде. Нет! И кадка была не та, и вода не та, и старая абрикоса не та.

Все, все вокруг стало чужим, все потеряло очарование, все смотрело на Петю как бы из далекого прошлого.

Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно?

Петя побежал к обрывам.

2

МОРЕ

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу.

Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью.

Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика. Подметки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить.

До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао.

Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет!

Он закричал во все горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз.

Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки впивались колючки... И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маха вылетел на сухой и холодный, еще не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта.

Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твердой и легкой для ходьбы.

Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто верст от Каролино-Бугаза до гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час.

Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.

Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, проницательный глаз искателя приключений. Он был окружен следами. Он читал их, как Майн Рида.

Черное пятно на стене обрыва и серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбешки.

Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошел иностранный корабль.

Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно лежащей на песок.

На всем же остальном своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...—

хотя и паруса нигде не было видно, да и море ничуть не казалось туманным.

Петя залюбовался морем.

Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное.

Оно меняется на глазах каждый час.

То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов.

Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.

Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму?

Разве, наконец, не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?

Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно за сорок верст. Тотчас разнесся слух, что это горит эстакада.

Затем было произнесено слово: «Потемкин».

Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских берегов.

Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов¹.

Но Петя, как ни щурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря.

Только однажды, в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зеленый силуэт трехтрубного броненосца с красным флажком на мачте.

Корабль быстро шел на запад, в сторону Румынии.

А на другой день горизонт вдруг покрылся низким, сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу «Потемкина».

Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших черных лодках, привезли слух о том, что «Потемкин» пришел в Констанцу, где ему пришлось сдать румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась кто куда.

Прошло еще несколько тревожных дней.

И вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом.

Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника.

Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острой зыби, «Потемкин» медленно двигался, окруженный тесным конвоем дыма. Он долго шел мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча смотрели ему вслед рабочие с экономий, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки... Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз. И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом.

Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потемкинцев.

...Петя решил на прощанье наскоро выкупаться.

Но едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл все на свете.

Сперва, переплыв прибрежную глубину, Петя добрался до

¹ И н с у р г е н т — участник восстания.

первой мели. Он взошел на нее и стал прогуливаться по колену в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу отчетливую чешую песчаного дна.

На первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо. Но стоило только хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там передвигались, то появляясь, то зарываясь в песок, крошечные кувшинчики рака-отшельника. Петя достал со дна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него ракообразное — даже были крошечные клешни! — тельце моллюска.

Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку. Получались превосходные бусы. Но это было не мужское занятие.

Потом мальчик заметил в воде медузу и погнался за ней. Медуза висела прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит неподвижно. Но это только казалось. Тонкие закраины ее толстого купола дышали и волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальца шевелились. Она косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность.

Но Петя настиг ее. Осторожно — чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, обжигающей как крапива, мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил увесистое, но непрочное ее тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег.

Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась на мокрый песок. Солнце тотчас зажглось в ее слизи серебряной звездой.

Петя испустил вопль восторга и, ринувшись с мели в глубину, занялся своим любимым делом — стал нырять с открытыми глазами.

Какое это было упоение!

На глубине перед изумленно раскрытыми глазами мальчика возник дивный мир подводного царства. Сквозь толщу воды, увеличенные, как в лупу, были явственно видны разноцветные камешки гравия. Они покрывали дно, как булыжная мостовая.

Стебли подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелеными лучами солнца, бледного, как месяц.

Среди корней, рогами расставив страшные клешни, проворно пробирался боком большой старый краб. Он нес на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую известковыми бородавками моллюсков.

Петя ничуть его не испугался. Он хорошо знал, как надо обращаться с крабами. Их надо смело хватать двумя пальцами сверху за спину. Тогда краб никак не сможет ущипнуть.

Впрочем, краб не заинтересовал мальчика. Пусть себе ползет, не велика редкость. Весь пляж был усеян сухими клешнями и багровыми скорлупками спинок.

Гораздо интереснее казались морские коньки.

Как раз небольшая их стайка появилась среди водорослей. С точеными мордочками и грудками — ни дать ни взять шахматный конь, но только с хвостиком, закрученным вперед, — они плыли стоймя, прямо на Петю, распустив перепончатые плавники крошечных подводных драконов.

Как видно, они совсем не предполагали, что могут в такой ранний час наткнуться на охотника.

Сердце мальчика забилося от радости. У него в коллекции был всего один морской конек, и то какой-то сморщенный, тухлявый. А эти были крупные, красивые, один в одного.

Было бы безумием пропустить такой исключительный случай.

Петя вынырнул на поверхность, чтобы набрать побольше воздуха и поскорее начать охоту. Но вдруг он увидел на обрыве отца.

Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал.

Обрыв был так высок и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетело только раскатистое:

— ...дй-дй-дй-дй!..

Однако Петя очень хорошо понял значение этого «дй-дй-дй». Оно значило следующее:

— Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче. Дилижанс ждет!.. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же вылезай из воды, негодяй!

Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах:

— Сейчас иду! Сейчас!

А в обрыве отдалось раскатистое:

— ...айс-айс-айс!..

Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело — что, надо признаться, было очень приятно — и стал взбираться наверх.

3

В СТЕПИ

Дилижанс уже стоял на дороге против ворот. Кучер, взобравшись на колесо, привязывал к крыше складные парусиновые кровати уезжающих дачников и круглые корзины с синими баклажанами, которые, пользуясь случаем, отправляли из экономии в Аккерман.

Маленький Павлик, одетый по случаю путешествия в новый

голубой фартучек, в туго накрахмаленной пикейной шляпке, похожей на формочку для желе, стоял в предусмотрительном отдалении от лошадей, глубокомысленно изучая все подробности их упряжи.

Его безмерно удивляло, что эта упряжь, настоящая упряжь настоящих, живых лошадей, так явно не похожа по своему устройству на упряжь его прекрасной картонной лошади Кудлатки. (Кудлатку не взяли с собой на дачу, и она теперь дожидалась своего хозяина в Одессе.)

Вероятно, приказчик, продавший Кудлатку, что-нибудь да перепутал!

Во всяком случае, нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к ее глазам эти черные, очень красивые заслонки — неизвестно, как они называются.

Вспомнив таким образом про Кудлатку, Павлик почувствовал беспокойство. Как она там без него живет в чулане? Дает ли ей тетя овес и сено? Не отъели ли у нее мыши хвост? Правда, хвоста у нее осталось уже маловато: два-три волоска да обойный гвоздик, — но все-таки.

Чувствуя страшное нетерпение, Павлик высунул набок язык и побежал к дому, чтобы поторопить папу и Петю.

Но, как его ни беспокоила участь Кудлатки, все же он ни на минуту не забывал о своей новой дорожной сумочке, висящей через плечо на тесемке. Он крепко держался за нее обеими ручонками.

Там, кроме плитки шоколада и нескольких соленых галетиков «Капитэн», лежала главная его драгоценность: копилка, сделанная из жестянки «Какао Эйнем». Там хранились деньги, которые Павлик собирал на покупку велосипеда.

Денег было уже довольно много: копеек тридцать восемь — тридцать девять...

Папа и Петя, наевшиеся парного молока с серым пшеничным хлебом, уже шли к дилижансу.

Петя бережно нес под мышкой свои драгоценности: банку с заспиртованными морскими иглами и коллекции бабочек, жуков, ракушек и крабов.

Все трое сердечно простились с хозяевами, вышедшими их проводить к воротам, уселись в дилижанс и поехали.

Дорога огибала ферму.

Дилижанс, гремя подвязанным ведром, проехал мимо фруктового сада, мимо беседки, мимо скотного и птичьего дворов. Наконец он поравнялся с гарманом, то есть с той ровной, хорошо убитой площадкой, на которой молотят и веют хлеб. В средней России такая площадка называется ток, а в Бессарабии — гарман.

За дорожным валом, густо поросшим седой от пыли дерезой со множеством продолговатых капелек желтовато-алых ягод, сразу же начинался соломенный мир гармана. Скирды старой и новой соломы, большие и высокие, как дома, образовали целый город. Здесь были настоящие улицы, переулки и тупики. Кое-где под слоистыми, почти черными стенами очень старой соломы, пробиваясь из плотной, как бы чугуновой земли, горели изумрудные фитильки пшеничных ростков изумительной чистоты и яркости.

Из трубы парового двигателя валил густой опаловый дым. Слышался воющий гул невидимой молотилки. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке новой скирды по колено в пшенице.

Тени хлеба, переносимого на вилах, летали по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света. Мелькнули мешки, весы, гири.

Потом проплыл высокий холм только что намолоченного зерна, покрытого брезентом.

И дилижанс выехал в открытую степь.

Одним словом, все было сначала так же, как и в прошлые годы. Открытое вокруг на десятки верст пустынное жнивье. Одинокий курган. Слюдяной блеск лиловых иммортелей. Присевший возле своей норки суслик. Кусок веревки, похожей на раздавленную гадюку...

Но вдруг впереди показалась пыль, и мимо дилижанса крупной рысью проехал небольшой отряд конных стражников.

— Стой!

Дилижанс остановился.

Один из всадников подъехал к дилижансу.

Короткий ствол карабина прыгал над зеленым погоном с цифрой. Прыгала пыльная фуражка набекрень. Скрипело и горячо воняло кожей седло.

Храпящая морда лошади остановилась на уровне открытого окна. Крупные зубы грызли белое железо мундштука. Травянисто-зеленая пена капала с черных, как бы резиновых губ. Из нежных, телесно-розовых ноздрей вылетало горячее дыхание, обдавая паром сидящих в дилижансе.

Черные губы потянулись к соломенной шляпе Пети.

— Кого везешь? — раздался где-то вверху солдатский голос.

— Дачников на пароход, — ответил неузнаваемо тонкий, поспешный, какой-то угодливый голос кучера. — Они в Аккерман едут, а там прямо на пароход — и в Одессу. Они тут в экономии все лето жили. С самого начала июня. Теперь они едут обратно до дому...

— А ну, покажь!

И с этими словами в окно заглянуло красное, желтоусое и

желтобровое солдатское лицо с жестко выскобленным подбородком и с овальной кокардой на зеленом околыше фуражки.

— Кто такие?

— Дачники,— сказал, улыбаясь, отец.

Солдату, видно, не понравились эта улыбка и это слишком вольное слово «дачники», показавшееся ему насмешкой.

— Я вижу, что дачники,— с грубым неудовольствием сказал он.— Мало что дачники! А кто такие — дачники?

Нижняя челюсть у отца дрогнула, борода запрыгала. Побледнев от негодования, он дрожащими пальцами застегнул на все пуговицы летнее пальто, поправил пенсне и резким фальцетом закричал:

— Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Я — преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей, а это мои дети — Петр и Павел. Мы направляемся в Одессу.

На лбу у отца выступили розовые пятна.

— Виноват, ваше высокоблагородие,— бодро сказал солдат, вылупив почти белые глаза, и поднес руку с нагайкой к козырьку.— Обознался!

Как видно, он был смертельно перепуган, услышав хоть до сих пор ему и неизвестный, но столь грозный штатский чин — «коллежский советник».

Ну его к богу! Еще нарвешься на неприятность. Еще по зубам заработаешь.

Он дал лошади шпоры и ускакал.

— Дурак,— сказал Петя, когда солдаты были уже далеко.

Отец снова вскипятился:

— Замолчи! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел произносить этого слова! Тот, кто часто говорит «дурак», чаще всего сам... не слишком умный человек. Заруби это себе на носу.

В другое время Петя, конечно, полез бы в спор, но сейчас он смолчал. Он слишком хорошо понимал душевное состояние отца.

Отец, который всегда с раздражительным презрением говорил о чинах и орденах, который никогда не носил форменного вицмундира и никогда не надевал своей «Анны третьей степени», который не признавал никаких сословных привилегий и упрямо утверждал, что все жители России суть не что иное, как только «граждане», вдруг, в порыве раздражения, наговорил бог знает чего. И кому же? Первому встречному солдату...

«Преподаватель среднеучебных заведений»... «Коллежский советник»... «Как вы смеете говорить в таком тоне»... «Фу, какая ерунда! — говорило смущенное лицо отца.— Фу, как стыдно!»

Тем временем кучер, как это всегда бывает во время долгих поездок на лошадях, в общем замешательстве уже успел потерять ремешок кнута и ходил по дороге, шарпая кнутовищем по

придорожным, седым от пыли кустикам полыни. Наконец он его нашел и привязал, затянув узел зубами.

— А, чтоб им пусто было! — сказал он, подходя к дилижансу. — Ездят эти стражники по всем дорогам и ездят, только людей пугают.

— Зачем ездят? — спросил отец.

— Кто их знает зачем. Ловят кого-нибудь, чи шо. Тут позавчера, верст за тридцать, экономию помещика Балабанова спалили. Говорят, какой-то беглый матрос с «Потемкина» поджег. Так теперь они скрозь ездят и ловят того беглого матроса. Он, говорят, где-то тут по степу скрывается. Такие дела. Что ж, поедем?

С этими словами кучер влез на свое высокое место, разобрал вожжи, и дилижанс тронулся дальше.

Однако, как ни прекрасно было это утро, настроение у всех было уже испорчено.

Очевидно, в этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам, среди которых нет-нет да и мелькнет конский череп или воловьи рога, в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья, — в этом мире не все обстояло благополучно.

И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и Петя.

Только у одного Павлика были свои, особые мысли.

Крепко наморщив круглый кремовый лобик, на который спускалась из-под шляпки аккуратно подстриженная челка, мальчик сидел, сосредоточенно устремив в окно карие внимательные глаза.

— Папа... — сказал он вдруг, не отводя глаз от окна, — папа, а кто царь?

— То есть как это — кто царь?

— Ну — кто?

— Гм... Человек.

— Да нет же. Я сам знаю, что человек. Какой ты! Не человек, а кто? Понимаешь, к т о?

— Не понимаю, что́ ты хочешь.

— Я тебя спрашиваю, к т о?

— Вот, ей-богу... Кто да кто... Ну, если хочешь, помазанник.

— Чем помазанник?

— Что-о?

Отец строго посмотрел на сына.

— Ну — как: если помазанник, то чем? Понимаешь — ч е м?

— Не ерунди!

И отец сердито отвернулся.

ВОДОПОЙ

Часов в десять утра заехали в большое, наполовину молдавское, наполовину украинское село «напувать» лошадей. Отец взял Павлика за руку, и они отправились покупать дыни. Петя же остался возле лошадей, с тем чтобы присутствовать при водопое.

Кучер подвел лошадей, тащивших за собой громоздкий вагон дилижанса, к кринице. Это был колодец, так называемый «журавель».

Кучер сунул кнут за голенище и поймал очень длинную, вертикально висящую палку, к концу которой была прикована на цепи тяжелая дубовая бадейка. Он стал, перебирая руками по палке, опускать ее в колодец. Журавель заскрипел. Один конец громадного коромысла стал наклоняться, как бы желая заглянуть в колодец, в то время как другой — с привязанным для противовеса большим ноздреватым камнем — легко поднимался вверх.

Петя навалился грудью на борт криницы и посмотрел в нее, как в подзорную трубу.

Круглая шахта, выложенная булыжником, покрытая глухим темно-коричневым бархатом плесени, уходила далеко вглубь. И там, в холодной темноте, блестел маленький кружочек воды с фотографически четким отражением Петинной шляпы.

Мальчик крикнул, и колодец, как глиняный кувшин, наполнился гулким шумом.

Бадейка очень далеко шла вниз, стала совсем маленькой, а все никак не могла дойти до воды. Наконец раздался далекий всплеск. Бадейка погрузилась в воду, захлебнулась и пошла вверх.

Увесистые капли шлепались в воду. Они стреляли, как пи-стоны.

Долго шла, поднимаясь, палка, натертая множеством рук, как стекло, пока наконец не появилась мокрая цепь.

Журавель скрипнул в последний раз. Кучер сильными руками подхватил пудовую бадейку и вылил в каменную колоду. Но, прежде чем вылить, напился из нее сам. После кучера напился и Петя. Именно в этом-то и заключалась главная прелесть водопоя.

Мальчик окунул нос и подбородок в совершенно прозрачную, холодную, как лед, воду. Бадейка изнутри обросла зеленой бородой тины. Что-то жуткое, почти колдовское было в этой бадейке и в этой тине. Что-то очень древнее, удельное, лесное, говорившее детскому воображению о водяной мельнице, колдуне-мельнике, омуте и царевне-лягушке.

От ледяной воды сразу стало ломить лоб. Но день был горяч. И Петя знал, что эта боль скоро пройдет.

Петя очень хорошо знал также, что надобно ведер восемь — десять, для того чтобы напоить лошадей. На это уйдет по меньшей мере полчаса. Можно погулять.

Мальчик осторожно пробрался через черную, как вакса, грязь водопоя, сплошь истыканную свинными копытцами. Затем пошел вдоль водостока, по лужку, покрытому гусиным пухом.

Водосток привел его к болотцу, сплошь заросшему высоким лесом камыша, осоки и сорняков.

Здесь даже в самый яркий полдень была сумрачная прохлада. Множество одуряющих запахов резко ударило в нос.

Особый, очень острый запах осоки смешивался со сладкой, какой-то ореховой вонью болиголова, от которой действительно начинала болеть голова.

Остролистые кустики дурмана, покрытые черно-зелеными коробочками с мясистыми колючками и длинными, необыкновенно нежными и необыкновенно белыми вонючими цветами, росли рядом с пасленом, беленой и таинственной сон-травой.

На тропинке сидела большая лягушка с закрытыми глазами, как заколдованная, и Петя изо всех сил старался на нее не смотреть, чтобы вдруг не увидеть на ее голове маленькую золотую коронку.

Вообще все казалось здесь заколдованным, как в сказочном лесу.

Не здесь ли бродила где-нибудь поблизости худенькая большеглазая Аленушка, безутешно оплакивая своего братика Иванушку?..

И если бы вдруг из чащи выбежал белый барашек и замекал детским, тоненьким голоском, то, вероятно, Петя лишился бы чувств от страха.

Мальчик решил не думать о барашке. Но чем больше он старался не думать, тем больше думал. А чем больше думал, тем становилось ему страшнее одному в черной зелени этого проклятого места.

Он изо всех сил зажмурился, чтобы не закричать, и бросился вон из ядовитой заросли. Он бежал до тех пор, пока не очутился на задах небольшого хозяйства.

За плетнем, на котором торчало множество глиняных кувшинов, Петя увидел уютный гарман. Посредине его маленькой арены, усталой свежей, только что с поля, пшеницей, стояла повязанная бабьим платком до глаз девочка лет одиннадцати в длинной сборчатой юбке и короткой ситцевой кофточке с пышными рукавами.

Закрываясь от солнца локтем и переступая босыми ногами, она гоняла на длинной веревке по кругу двух лошадок, запря-

женных цугом. Мягко разбрасывая копытами солому, лошадки катили за собой по толстому слою блестящей пшеницы рубчатый каменный валик. Он твердо и бесшумно подпрыгивал.

За каменным валиком волоклась довольно широкая доска, загнутая спереди, как лыжа.

Петя знал, что в нижнюю поверхность этой доски врезано множество острых янтарных кремней, особенно чисто выбивающих из колоса зерно.

На этой быстро скользящей доске, с трудом сохраняя равновесие, лихо, как на салазках, стоял парнишка Петиных лет в расстегнутой вылинявшей рубаше и картузе козырьком на ухо.

Крошечная белоголовая девочка, судорожно ухватившись обеими ручонками за штанину брата, сидела у его ног на корточках, как мышка.

По кругу бегал старик, шевеля деревянными вилами пшеницу и подбрасывая ее под ноги лошадям. Старуха подравнивала длинной доской на палке рассыпающийся и теряющий форму круг.

Немного поодаль, у скирды, баба с черными от солнца, жилистыми, как у мужчины, руками с натугой крутила шарманку веялки. В круглом отверстии барабана мелькали красные лопасти.

Ветер выносил из веялки блестящую тучу половы. Она легко и воздушно, как кисея, оседала на землю, на бурьян, достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно созревших, желто-красных степных помидоров торчало, раскинув лохмотья, пугало в рваной дворянской фуражке с красным околышем.

Здесь, на этом маленьком гармане, как видно, работала вся крестьянская семья, кроме самого хозяина. Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и, очень возможно, в это время сидел в гаоляне, а японцы стреляли в него шимозами¹.

Эта бедная кропотливая молотьба была совсем не похожа на шумную, богатую, многолюдную молотьбу, к которой привык Петя в экономии. Но и в этой скромной молотьбе Петя тоже находил прелесть. Ему бы, например, очень хотелось покататься на доске с кремнями или даже, на худой конец, покрутить ручку веялки. И он в другое время обязательно попросил бы хлопчика взять его с собой на доску, но, к сожалению, надо было торопиться.

Петя пошел обратно.

Ему навсегда запомнились все простые, трогательные подробности крестьянского труда: светлый блеск новой соломы; чисто выбеленная задняя стена мазанки; по ней — тряпичные

¹ Ш и м о з а — взрывчатое вещество. Употребляется для артиллерийских снарядов.

куклы и маленькие, высушенные тыквочки, так называемые «таракуцки», эти единственные игрушки крестьянских детей; а на гребне камышовой крыши — аист на одной ноге рядом со своим большим небрежным гнездом.

Особенно запомнился аист, его кургузый пиджачок с пикейной жилеткой, красная трость ноги (другой, поджатой ноги совсем не было видно) и длинный красный клюв, деревянно щелкавший наподобие колотушки ночного сторожа.

Возле хаты с синенькой вывеской «Волостное правление» стояли привязанные к столбикам крыльца три оседланные кавалерийские лошади.

Солдат с шашкой между колен, в пыльных сапогах сидел на ступеньках в холодке и курил махорку, закрученную в газетную бумажку.

— Послушайте, что вы здесь делаете? — спросил Петя.

Солдат лениво оглядел городского мальчика с ног до головы, пустил сквозь зубы далеко вбок длинную вожжу желтой слюны и равнодушно сказал:

— Матроса ловим.

«Что же это за таинственный, страшный матрос, который скрывается где-то тут поблизости, в степи, который поджигает экономии и которого ловят солдаты? — думал Петя, спускаясь по знойной, пустынной улице в балочку, к кринице. — Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы?»

Разумеется, Петя ничего не сказал о своих опасениях отцу и брату. Зачем понапрасну волновать людей? Но сам он предпочел быть настороже и предусмотрительно засунул коллекции под скамейку, поближе к стенке.

Едва дилижанс тронулся и стал подниматься в гору, мальчик прильнул к окну и принялся не отрываясь смотреть по сторонам, не покажется ли где-нибудь из-за поворота разбойник. Он твердо решил до самого города ни за что не покидать своего поста.

Тем временем отец и Павлик, очевидно и не подозревавшие об опасности, занялись дыней.

В суровой полотняной наволоке с вышитыми по углам четырьмя букетами, полинявшими от стирок, лежал десяток купленных по копейке дынь. Отец вытащил одну — крепенькую, серовато-зеленую канталупку, всю покрытую тончайшей сеткой трещин, и, сказав: «А ну-ка, попробуем этих знаменитых дынь», аккуратно разрезал ее вдоль и раскрыл, как писанку. Чудесное благоухание наполнило дилижанс.

Отец подрезал внутренности дыни перочинным ножичком и ловким, сильным движением выхлестнул их в окно. Затем разделил дыню на тонкие аппетитные скибки и, уложив их на чистый носовой платок, заметил:

— Кажется, недурственная дынька.

Павлик, нетерпеливо ерзавший на месте, тотчас схватил обеими ручонками самую большую скибку и въелся в нее по уши. Он даже засопел от наслаждения, и мутные капли сока повисли у него на подбородке.

Отец же аккуратно положил в рот небольшой кусочек, пожевал его, сладко зажмурился и сказал:

— Действительно, замечательно!

— Наслаждец! — подтвердил Павлик.

Тут Петя, у которого за спиной происходили все эти невыносимые вещи, не выдержал и, забыв про опасность, кинулся к дыне.

5

БЕГЛЕЦ

Верст за десять до Аккермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели и корки выбросили в окно. Становилось скучно. Время подошло к полудню.

Легкий утренний ветер, свежестью своей напоминавший, что дело все-таки идет к осени, теперь совершенно упал. Солнце жгло, как в середине июля, даже как-то жарче, суше, шире.

Лошади с трудом тащили громоздкий дилижанс по песку глубиной по крайней мере в три четверти аршина. Передние — маленькие — колеса зарывались в него по втулку. Задние — большие — медленно виляли, с хрустом давя попадавшие в песок синие раковины мидий.

Тонкая мука пыли душным облаком окружала путешественников. Брови и ресницы стали седыми. Пыль хрустела на зубах.

Павлик таращил свои светло-шоколадные зеркальные глаза и отчаянно чихал.

Кучер превратился в мельника.

А вокруг, нескончаемые, тянулись виноградники.

Узловатые жгуты старых лоз в строгом шахматном порядке покрывали сухую землю, серую от примеси пыли. Казалось, они скрючены ревматизмом. Они могли показаться безобразными, даже отвратительными, если бы природа не позаботилась украсить их чудеснейшими листьями благородного, античного рисунка.

Остро вырезанные, покрытые рельефным узором извилистых жил, в бирюзовых пятнах купороса, эти листья сквозили медовой зеленью в лучах полуденного солнца.

Молодые побеги лозы круто обвивались вокруг высоких тычков. Старые гнулись под тяжестью гроздьев.

Однако нужно было обладать зорким глазом, чтобы заметить

эти гроздья, спрятанные в листве. Неопытный человек мог обойти целую десятину и не заметить ни одной кисти, в то время как буквально каждый куст был увешан ими и они кричали: «Да вот же мы, чудака человек! Нас вокруг тебя пудов десять. Бери нас, ешь! Эх ты, разиня!» И вдруг разиня замечал под самым своим носом одну кисть, потом другую, потом третью... пока весь виноградник вокруг не загорится кистями, появившимися, как по волшебству.

Но Петя был знающий в этих делах человек. Виноградные кисти открывались ему сразу. Он не только замечал их тотчас, но даже определял их сорт на ходу дилижанса.

Было множество сортов винограда.

Крупный светло-зеленый «чаус» с мутными косточками, видневшимися сквозь толстую кожу, висел длинными пирамидальными гроздьями по два, по три фунта. Опытный глаз никак не спутал бы его, например, с «дамскими пальчиками», тоже светло-зелеными, но более продолговатыми и глянцевыми.

Нежная лечебная «шашла» почти ничем не отличалась от «розового муската», но какая была между ними разница! Круглые ягодки «шашлы», сжатые в маленькую изящную кисть до того тесно, что теряли форму и делались почти кубиками, ярко отражали в своих медово-розовых пузырьках солнце, в то время как ягодки «розового муската» были покрыты мутной аметистовой пылью и солнца не отражали.

Но все они — и иссиня-черная «изабелла», и «чаус», и «шашла», и «мускат» — были до того соблазнительны в своей зрелой, прозрачной красоте, что даже разборчивые бабочки садились на них, как на цветы, смешивая свои усики с зелеными усиками винограда.

Иногда среди лоз попадался шалаш. Рядом с ним всегда стояла кадка с купоросом, испятнанная сквозной лазурной тенью яблони или абрикосы.

Петя с завистью смотрел на уютную соломенную халабуду. Он очень хорошо знал, как приятно бывает сидеть в таком шалаше на сухой, горячей соломе в знойной послеобеденной тени.

Неподвижная духота насыщена пряными запахами чебреца и тмина. Чуть слышно потрескивают подсыхающие стручки мышиного горошка. Хорошо!

Кусты винограда дрожали и струились, облитые воздушным стеклом зноя.

И надо всем этим бледно синело почти обесцвеченное зноем степное, пыльное небо.

Чудесно!

И вдруг произошло событие, до такой степени стремительное и необычайное, что трудно было даже сообразить, что случилось сначала и что потом.

Во всяком случае, сначала раздался выстрел. Но это не был хорошо знакомый, нестрашный гулкий выстрел из дробовика, столь частый на виноградниках. Нет. Это был зловещий, ужасающий грохот трехлинейной винтовки казенного образца.

Одновременно с этим на дороге показался конный стражник с карабином в руках.

Он еще раз приложился, прицелился в глубину виноградника, но, видно, раздумал стрелять. Он опустил карабин поперек седла, дал лошади шпоры, пригнулся и махнул через канаву и высокий вал прямо в виноградник. Пришлепнув фуражку, он помчался, ломая виноградные кусты, напрямик и вскоре скрылся из глаз.

Дилижанс продолжал ехать.

Некоторое время вокруг было пусто.

Вдруг позади, на валу виноградника, в одном месте закачалась дереза. Кто-то спрыгнул в ров, потом выкарабкался из рва на дорогу.

Быстрая человеческая фигура, скрытая в облаке густой пыли, бросилась догонять дилижанс.

Вероятно, кучер заметил ее сверху раньше всех. Однако, вместо того чтобы затормозить, он, наоборот, встал на козлах и отчаянно закрутил над головой кнутом. Лошади пустились вскачь.

Но неизвестный успел уже вскочить на подножку и, открыв заднюю дверцу, заглянул в дилижанс.

Он тяжело дышал, почти задыхался.

Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими не то веселыми, не то насмерть испуганными глазами.

На его круглой, ежом стриженной большой голове неловко сидел новенький люстриновый картузик с пуговкой, вроде тех, какие носят мастеровые в праздник. Но в то же время под его тесным пиджаком виднелась вышитая батрацкая рубаша, так что как будто он был вместе с тем и батраком.

Однако толстые, гвардейского сукна штаны, бархатистые от пыли, уж никак не шли ни мастеровому, ни батраку. Одна штанина задралась и открыла рыжее голенище грубого флотского сапога с двойным швом.

«Матрос!» — мелькнула у Пети страшная мысль, и тут же на кулаке неизвестного, сжимавшего ручку двери, к ужасу своему, мальчик явственно увидел голубой вытатуированный якорь.

Между тем неизвестный, как видно, был смущен своим внезапным вторжением не менее самих пассажиров.

Увидев остоленевшего от изумления господина в пенсне и двух перепуганных детей, он беззвучно зашевелил губами, как бы желая не то поздороваться, не то извиниться.

Но, кроме кривой, застенчивой улыбки, у него ничего не вышло.

Наконец он махнул рукой и уже собирался спрыгнуть с подножки обратно на дорогу, как вдруг впереди показался разъезд. Неизвестный осторожно выглянул из-за кузова дилижанса, увидел в пыли солдат, быстро вскочил внутрь кареты и захлопнул за собой дверь.

Он умоляющими глазами посмотрел на пассажиров, затем, не говоря ни слова, стал на четвереньки и, к ужасу Пети, полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции.

Мальчик с отчаянием посмотрел на отца, но тот сидел совершенно неподвижно, с бесстрастным лицом, немного бледный, решительно выставив вперед бородку. Сцепив на животе руки, он крутил большими пальцами — один вокруг другого.

Весь его вид говорил: ничего не произошло, ни о чем не надо расспрашивать, а надо сидеть на своем месте как ни в чем не бывало и ехать.

Не только Петя, но даже и маленький Павлик поняли отца сразу.

Ничего не замечать! При создавшемся положении это было самое простое и самое лучшее.

Что касается кучера, то о нем нечего было и говорить. Он знай себе нахлестывал лошадей, даже не оборачиваясь назад.

Словом, это был какой-то весьма странный, но единодушный заговор молчания.

Разъезд поравнялся с дилижансом.

Несколько солдатских лиц заглянуло в окна. Но матрос уже лежал глубоко под скамейкой. Его совершенно не было видно.

По-видимому, солдаты не нашли ничего подозрительного в этом мирном дилижансе с детьми и баклажанами. Не останавливаясь, они проехали мимо.

По крайней мере полчаса продолжалось общее молчание. Матрос неподвижно лежал под скамейкой. Вокруг все было спокойно.

Наконец впереди в жидкой зелени акаций показалась вереница крайних домиков города.

Тогда отец первый нарушил молчание. Равнодушно глядя в окно, он сказал как бы про себя, но вместе с тем и рассчитанно громко:

— Ого! Кажется, мы подъезжаем. Уже виднеется Аккерман. Какая ужасная жара! На дороге ни души.

Петя сразу разгадал хитрость отца.

— Подъезжаем! Подъезжаем! — закричал он.

Он схватил Павлика за плечи и стал толкать его в окно, фальшиво-возбужденно крича:

— Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит!

— Где летит птичка? — спросил Павлик с любопытством, высовывая язык.

— Ах, господи, какой ты глупый! Вот же она, вот.

— Я не вижу.

— Значит, ты слепой.

В это время позади раздался шорох, и сейчас же хлопнула дверь. Петя быстро обернулся. Но все вокруг было как прежде. Только уже не торчал из-под скамейки сапог.

Петя в тревоге заглянул под скамейку: целы ли коллекции? Коробки были целы. Всё в порядке.

А Павлик продолжал суесться у окна, стараясь увидеть птичку.

— Где же птичка? — хныкал он, кривя ротик. — Покажите птичку. Пе-е-тька, где пти-и-ичка?

— Не ной! — наставительно сказал Петя. — Нет птички. Улетела. Пристал!

Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, принялся с изумлением заглядывать под скамейку. Там никого не было.

— Папа, — наконец произнес он дрожащим голосом, — а где же дядя? Куда он девался?

— Не болтай! — строго заметил отец.

И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди.

Колеса застучали по мостовой.

Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями.

Замелькали серые кривые стволы телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана. В тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке.

Судя по солнцу, времени было уже больше часа. А пароход «Тургенев» отходил в два.

Отец велел, не останавливаясь в гостинице, ехать прямо на пристань, откуда как раз только что вытек очень длинный и толстый пароходный гудок.

6

ПАРОХОД «ТУРГЕНЕВ»

Не следует забывать, что описываемые в этой книге события происходили лет тридцать с лишним назад. А пароход «Тургенев» считался даже и по тому времени судном порядочно устаревшим.

Довольно длинный, но узкий, с двумя колесами, красные лопасти которых виднелись в прорезях круглого кожуха, с двумя трубами, он скорее напоминал большой катер, чем маленький пароход.

Но Пете он всегда казался чудом кораблестроения, а поездка на нем из Одессы в Аккерман представлялась по меньшей мере путешествием через Атлантический океан.

Билет второго класса стоил дороговато: один рубль десять копеек. Покупалось два билета. Павлик ехал бесплатно.

Но все же ехать на пароходе было гораздо дешевле, а главное, гораздо приятнее, чем тащиться тридцать верст в удушливой пыли на так называемом «овидиопольце». Овидиопольцем назывался дребезжащий еврейский экипаж с кучером в рваном местечковом лапсердаке, лихо подпоясанном красным ямщицким кушаком. Взявши пять рублей и попробовав их на зуб, рыжий унылый возница с вечно больными розовыми глазами выматывал душу из пассажиров, через каждые две версты задавая овса своим полумертвым от старости клячам.

Едва заняли места и расположили вещи в общей каюте второго класса, как Павлик, разморенный духотой и дорогой, стал клевать носом. Его сейчас же пришлось уложить спать на черную клеенчатую койку, накаленную солнцем, бившим в четырехугольные окна.

Хотя эти окна и были окованы жарко начищенной медью, все-таки они сильно портили впечатление.

Как известно, на пароходе обязательно должны быть круглые иллюминаторы, которые в случае шторма надо «задраивать».

В этом отношении куда лучше обстояло дело в носовой каюте третьего класса, где имелись настоящие иллюминаторы, хотя и не было мягких диванов, а только простые деревянные лавки, как на конке.

Однако в третьем классе ездить считалось «неприлично» в такой же мере, как в первом классе «кусалось».

По своему общественному положению семья одесского учителя Бачей как раз принадлежала к средней категории пассажиров, именно второго класса. Это было настолько же приятно и удобно в одном случае, насколько неудобно и унижительно — в другом. Все зависело от того, в каком классе едут знакомые.

Поэтому господин Бачей всячески избегал уезжать с дачи в компании с богатыми соседями, чтобы не испытывать лишнего унижения.

Был как раз горячий сезон помидоров и винограда. Погрузка шла утомительно долго.

Петя несколько раз выходил на палубу, чтобы узнать, скоро ли наконец отчалиют. Но каждый раз казалось, что дело не движется. Грузчики шли бесконечной вереницей по трапу, один за

другим, с ящиками и корзинками на плечах, а груза на пристани все не убывало.

Мальчик подходил к помощнику капитана, наблюдавшему за погрузкой, терся возле него, становился рядом, заглядывал сверху в трюм, куда осторожно опускали на цепях бочки с вином — сразу по три, по четыре штуки, связанные вместе.

Иногда он как бы нечаянно даже задевал помощника капитана локтем. Специально, чтобы обратить на себя внимание.

— Мальчик, не путайся под ногами, — с равнодушной досадой говорил помощник капитана.

Но Петя на него не обижался. Пете важно было лишь как-нибудь завязать разговор.

— Послушайте, скажите, пожалуйста: скоро ли мы поедем?

— Скоро.

— А когда скоро?

— Как погрузим, так и поедем.

— А когда погрузим?

— Тогда, когда поедем.

Петя притворно хохотал, желая подольститься к помощнику:

— Нет, скажите серьезно: когда?

— Мальчик, уйди из-под ног!

Петя отходил с оживленно-независимым видом, как будто между ними не произошло никаких неприятностей, а просто так — поговорили и разошлись.

Он снова принимался, положив подбородок на перила, рассматривать смертельно надоевшую пристань.

Кроме «Тургенева», здесь грузилось еще множество барж.

Вся пристань была сплошь заставлена подводами с пшеницей. С сухим, шелковым шелестом текло зерно по деревянным желобам в квадратные люки трюмов.

Белое, яростное солнце с беспощадной скукой царило над этой пыльной площадью, лишенной малейших признаков поэзии и красоты.

Все, все казалось здесь утомительно безобразным.

Чудесные помидоры, так горячо и лакомо блестевшие в тени вялых листьев на огородах, здесь были упакованы в тысячи однообразных решетчатых ящиков.

Нежнейшие сорта винограда, каждая кисть которого казалась на винограднике произведением искусства, были жадно втиснуты в грубые ивовые корзинки и поспешно обшиты дерюгой с ярлыками, заляпанными клейстером.

С таким трудом выращенная и обработанная пшеница — крупная, янтарная, проникнутая всеми запахами горячего поля, — лежала на грязном брезенте, и по ней ходили в сапогах.

Среди мешков, ящиков и бочек расхаживал аккерманский

городовой в белом кителе чертовой кожи, с оранжевым револьверным шнуром на черной шее и с большой шашкой.

От неподвижного речного зноя, от пыли, от вялого, но непрерывного шума медленной погрузки Петю клонило ко сну.

Мальчик еще раз, на всякий случай, подошел к старшему помощнику узнать, скоро ли наконец поедет, и еще раз получил ответ, что как погрузим, так и поедет, а погрузим тогда, когда поедет.

Зевая и сонно думая о том, что, очевидно, все на свете товар, и помидоры — товар, и баржи — товар, и домики на земляном берегу — товар, и лимонно-желтые скирды возле этих домиков — товар, и, очень возможно, даже грузчики — товар, Петя побрел в каюту, примостился возле Павлика. Он даже не заметил, как заснул, а когда проснулся, оказалось, что пароход уже идет.

Положение каюты как-то непонятно переменилось. В ней стало гораздо светлей. По потолку бежало зеркальное отражение волны.

Машина работала. Слышался хлопотливый шум колес.

Петя пропустил интереснейший момент отплытия — пропустил третий гудок, команду капитана, уборку трапа, отдачу концов... Это было тем более ужасно, что ни папы, ни Павлика в каюте не было. Значит, они видели все.

— Что же вы меня не разбудили? — закричал Петя, чувствуя себя обворованным во сне.

Кинувшись из каюты на палубу, он пребольно ушиб ногу об острый медный порог. Но даже не обратил внимания на такие пустяки.

— Окаянные, окаянные!

Впрочем, Петя напрасно так волновался.

Пароход хотя действительно уже и отвалил от пристани, но все же шел еще не по прямому курсу, а только разворачивался. Значит, самое интересное еще не произошло.

Предстояли еще и «малый ход вперед», и «самый малый ход вперед», и «стоп», и «задний ход», и «самый малый задний», и еще множество увлекательнейших вещей, известных мальчику в совершенстве.

Пристань удалялась, становилась маленькой, поворачивалась.

Пассажиры, которых вдруг оказался полон пароход, столпились, навалившись на один борт. Они продолжали махать платками и шляпами с таким горячим отчаянием, словно отправлялись бог весть куда, на край света, в то время как в действительности они уезжали ровным счетом на тридцать верст по прямой линии.

Но уж таковы были традиции морского путешествия и горячий темперамент южан.

Главным образом это были пассажиры третьего класса и так называемые «палубные», помещавшиеся на нижней носовой палу-

бе возле трюма. Они не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для «чистой» публики первого и второго классов.

Петя увидел папу и Павлика на верхней палубе. Они азартно махали шляпами.

Тут же находились капитан и весь экипаж корабля: старший помощник и два босых матроса. Из всей команды только капитан и один матрос занимались настоящим делом управления пароходом. Старший помощник и другой матрос продавали билеты. С разноцветными рулонами и зеленой проволоочной кассой, вроде тех, что чаще всего бывают в пекарнях, они обходили пассажиров, не успевших купить билеты на пристани.

Капитан отдавал команды, расхаживая поперек палубы — между двумя мостиками на крыльях парохода. В это время матрос на глазах у изумленных пассажиров смотрел в медный котел большого компаса и крутил колесо штурвала, изредка помогая себе босой ногой. При этом штурвал невероятно скрипел и рулевые цепи с грохотом ползли взад и вперед вдоль борта, каждую минуту готовые оторвать шлейфы у неосторожных дам.

Пароход шел задним ходом, медленно поворачивая.

— Право на борт! — не обращая ни малейшего внимания на пассажиров, почтительно обступивших компас, кричал капитан рулевому хриплым, горчичным голосом обжоры и грубияна. — Право на борт! Еще правей! Еще немножко! Еще самую чуть-чуть! Хорошо. Так держать.

Он перешел на правый мостик, открыл крышечку рупора, труба которого была проведена вниз, и постучал ногою по педали. В недрах пакетбота раздалось дилиньканье колокольчика. Пассажиры с уважением подняли брови и молчаливо переглянулись. Они поняли, что капитан позвонил в машинное отделение.

Что делать? Бежать на мостик смотреть, как будет говорить капитан в рупор, или оставаться возле матроса и компаса? Петя готов был разорваться.

Но рупор перевесил.

Мальчик схватил Павлика за руку и поволок его к мостику, возбужденно крича не без тайного намерения поразить двух незнакомых, но прекрасных девочек своей осведомленностью в морских делах:

— Смотри, Павлик, смотри, сейчас он будет говорить в рупор: «Передний ход».

— Малый ход назад! — сказал капитан в трубку.

И тотчас внизу задилинькал колокольчик. Это означало, что команда принята.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

Вот уже и Аккерман скрылся из глаз. Не стало видно развалин старинной турецкой крепости. А пароход продолжал идти по непомерно широкому днестровскому лиману, и казалось, конца-краю не будет некрасивой кофейной воде, облитой оловом солнца. Вода была так мутна, что тень парохода лежала на ней, как на глине.

Путешествие все еще как будто и не начиналось. Измученные лиманом, все ожидали выхода в море.

Наконец часа через полтора пароход стал выходить из устья лимана.

Петя прильнул к борту, боясь пропустить малейшую подробность этой торжественной минуты. Вода заметно посветлела, хотя все еще была достаточно грязной.

Волна пошла крупнее и выше. Красные палки буйков, показывавшие фарватер, торчали из воды, валко раскачиваясь остроконечными грибками шляпок.

Иногда они проплывали так близко от борта, что Петя ясно видел в середине такого решетчатого грибка железную клеточку, куда ночью вставляют фонарик.

«Тургенев» обогнал несколько черных рыбачьих лодок и два дубка с круто надутыми темными парусами.

Лодки закачались, поднятые и опущенные волной, оставленной пароходом.

Мимо горючего песчаного мыса Каролино-Бугаз с казармой и мачтой кордона широкая водяная дорога, отмеченная двумя рядами буйков, выводила в открытое море.

Капитан всякую минуту заглядывал в компас, лично показывая рулевому курс.

Дело было, как видно, нешуточное.

Вода стала еще светлей. Теперь она была явно разбавлена чистой голубоватой морской водой.

— Средний ход! — сказал капитан в рупор.

Впереди, резко отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря.

— Малый ход!

Оттуда било свежим ветром.

— Самый малый!

Машина почти перестала дышать. Лопасты еле-еле шлепали по воде. Плоский берег тянулся так близко, что, казалось, до него ничего не стоит дойти вброд.

Маленький, ослепительно белый маячок кордона: высокая его мачта, нарядно одетая гирляндами разноцветных морских

флагов, отнесенных крепким бризом в одну сторону; канонерка, низко сидящая в камышах; фигурки солдат пограничной стражи, стирающих белье в мелкой хрустальной воде,— все это, подробно освещенное солнцем, почти бесшумно двигалось мимо парохода, отчетливое и прозрачное, как переводная картинка.

Близкое присутствие моря возвратило миру свежесть и чистоту, как будто бы сразу сдуло с парохода и пассажиров всю пыль.

Даже ящики и корзины, бывшие до сих пор отвратительно скучным товаром, мало-помалу превращались в груз и по мере приближения к морю стали, как это и подобало грузу, слегка поскрипывать.

— Средний ход!

Кордон был уже за кормой, поворачивался, уходил вдаль. Чистая темно-зеленая глубокая вода окружала пароход. Едва он вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдало водяной пылью крепкого ветра.

— Полный ход!

Мрачные клубы сажи обильно повалили из сипящих труб. Косая тень легла на кормовой тент.

Как видно, не так-то легко было старушке машине бороться с сильной волной открытого моря. Она задыхалась тяжелей.

Мерно заскрипела дряблая обшивка. Якорь под бушпритом кланялся волне.

Ветер уже успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены.

Четыре слепых еврея в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки.

Усевшись на скамейке верхней палубы, они порывисто ударили в смычки.

Раздирающие фальшивые звуки марша «На сопках Маньчжурии» тотчас смешались с тяжелыми вздохами старой машины.

С развевающимися фалдами фрака пробежал вверх по тому же трапу один из двух пароходных официантов в сравнительно белых нитяных перчатках. С ловкостью фокусника он размахивал крошечным подносом с дымящейся бутылкой «лимонада-газес».

Так началось море.

Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет и завести приятное знакомство почти не с кем.

Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские познания.

Но эта надежда не оправдалась.

Прежде всего девочки ехали в первом классе и сразу же дали

понять, заговорив с гувернанткой по-французски, что мальчик из второго класса — не их поля ягода.

Затем одну из них сейчас же, как вышли в море, укачало, и она — Петя видел это в незапертую дверь — лежала на бархатном диване в недоступно роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно.

И, наконец, оставшаяся на палубе девочка, несмотря на свою несомненную красоту и элегантность (на ней было короткое пальтишко с золотыми пуговицами с якорями и матросская шапочка с красным французским помпоном), оказалась неслыханной капризой и плаксой. Она бесконечно препиралась со своим папой, высоким, крайне флегматичным господином в бакенбардах и крылатке. Он был как две капли воды похож на лорда Гленарвана из книги «Дети капитана Гранта».

Между отцом и дочерью все время происходил следующий диалог:

— Папа, мне хочется пить.

— Хочется, перехочется, перетерпится, — флегматично отвечал «лорд Гленарван», не отрываясь от морского бинокля.

Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла:

— Мне хочется пить!

— Хочется, перехочется, перетерпится, — еще более невозмутимо говорил отец.

Девочка с упрямой яростью твердила:

— Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!

Слюни кипели на ее злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу:

— Па-а-апа-аа, мне-е-е хочетца-а-а пи-и-ить.

На что «лорд Гленарван» еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голоса:

— Хочется, перехочется, перетерпится.

Это был страшный поединок двух упрямцев, начавшийся еще чуть ли не в Аккермане.

Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать.

Тогда Петя нашел очень интересное занятие: он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир — туда и Петя.

Это было очень интересно, тем более что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения.

Может быть, другие пассажиры ничего не заметили. Но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его.

Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы

молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса.

Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошел к странному пассажиру со своей проволочной кассой.

— Ваш билет,— сказал старший помощник.

Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал:

— Пожалуйста.

После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду: в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм.

Кто же он был?

Помещик? Нет. Помещики так не одевались и не так себя вели.

У бессарабского помещика обязательно был парусиновый пылевик и белый дорожный картуз с козырьком, захватанным пальцами. Затем кукурузные степные усы и небольшая плетеная корзиночка с висячим замком. В ней обязательно находились ящичек копченой скумбрии, помидоры, брынза и две-три кварты белого молодого вина в зеленом штофике.

Помещики ехали ради экономии во втором классе, держались все вместе, из каюты не выходили и все время закусывали или играли в карты.

Петя не видел в их компании странного пассажира.

На нем, правда, был летний картуз, но зато не было ни пылевика, ни корзиночки.

Нет, конечно, это был не помещик.

Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель?

Вряд ли.

Хотя у него и была под пиджаком чесучовая рубашка с отложным воротником и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх черные, как вакса, усы и выскобленный подбородок.

И уже совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пенсне на мясистом, вульгарном носу с ноздрями, набитыми волосом.

И потом, эти брюки в мелкую полоску и скороходовские сандалии, надетые на толстые, белые, какие-то казенные коврижки.

Нет, тут положительно что-то было неладно.

Засунув руки в карманы — что, надо сказать, было ему строго запрещено,— Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу.

Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения, рядом с кухней.

Из кухни разило горьким чадом кухмистерской, а из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла.

Стеклянная рама люка была приподнята. Можно было сверху заглянуть в машинное отделение, что Петя с наслаждением и проделал.

Он знал эту машину, как свои пять пальцев. Но каждый раз она вызывала восхищение. Мальчик готов был смотреть на ее работу часами.

Хотя всем было известно, что машина устаревшая, никуда не годная и так далее, но, даже и такая, она поражала своей невероятной, сокрушительной силой.

Стальные шатуны, облитые тугим зеленым маслом, носились туда и обратно с легкостью, изумительной при их стопудовом весе.

Жарко шаркали поршни. Порхали литые кривошипы. Медные диски эксцентриков быстро и нервно терлись друг о друга, оказывая таинственное влияние на почти незаметную, кропотливую деятельность скромных, но очень важных золотников.

И надо всем этим головокружительным хаосом царил непомерно громадный маховик, крутившийся на первый взгляд медленно, а если присмотреться, то с чудовищной быстротой, поднимая ровный горячий ветер.

Жутко было смотреть, как машинист ходил среди всех этих неумолимо движущихся суставов и, нагибаясь, прикладывал к ним длинный хоботок своей масленки.

Но самое поразительное во всем машинном отделении была единственная на весь пароход электрическая лампочка.

Она висела под жестяной тарелкой, в грубом проволочном намордничке. (Как она была не похожа на теперешние ослепительно яркие полуваттные электрические лампы!)

В ее почерневшей склянке слабо светилась докрасна раскаленная проволочная петелька, хрупко дрожавшая от сотрясений парохода.

Но она казалась чудом. Она была связана с волшебным словом «Эдисон», давно уже в понятии мальчика потерявшим значение фамилии и приобретшим таинственное значение явления природы, как, например, «магнетизм» или «электричество».

Затем странный человек не торопясь обошел нижние палубы. Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примостившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты, у бортов, среди груза.

Петя готов был держать пари — между прочим, пари тоже категорически запрещалось, — что этот человек тайно кого-то разыскивает.

Незнакомец довольно бесцеременно переступал через спящих

молдаван. Он протискивался сквозь группы евреев, обедающих маслинами. Он украдкой приподнимал края брезента, покрывавшего ящики помидоров.

Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щеку картузиком и уткнувшись головой в ту веревочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань.

Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги.

Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел: на них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими голенищами.

Не было сомнения, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса.

Но даже если это и было простым совпадением, то уж во всяком случае не могло быть совпадением другое обстоятельство: на руке у спящего, как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательным пальцами, Петя явственно разглядел маленький голубой якорь.

Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности.

Но сдержался: он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего.

Усатый прошел несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузиком. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку:

— Виноват.

Спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь ничего не понимающими, заспанными глазами.

— А? Что такое? Куда? — бессмысленно бормотал он и тер кулаком щеку, на которой отпечатался коралловый рубец каната.

Это был он, тот самый матрос!

Петя спрятался за выступ трюма и затаив дыхание стал наблюдать, что будет дальше.

Однако ничего особенного не произошло. Еще раз извинившись, усатый отправился дальше, а матрос перевернулся на другой бок, но уже не спал, а смотрел по сторонам с тревогой и, как показалось Пете, с какой-то нетерпеливой досадой.

Что делать? Бежать к папе? Рассказать все старшему помощнику?

Нет, нет!

Петя хорошо запомнил поведение отца в дилижансе. Очевидно, во всем этом происшествии было нечто такое, о чем никому не надо говорить, никого не надо расспрашивать, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь.

Тогда мальчик решил отыскать усатого и посмотреть, что он

делает. Он нашел его на почти пустой палубе первого класса. Тот стоял, прислонившись к спасательной лодке, туго обтянутой зашнурованным брезентом.

Под рубкой шумело невидимое колесо, взбивая почти черную воду, покрытую крупным кружевом пены. Шум стоял, как на мельнице. Уже довольно длинная тень парохода быстро скользила по ярким волнам, которые чем дальше от парохода, тем становились синее.

За кормой развевался просвеченный солнцем бело-сине-красный торговый флаг. За пароходом, все расширяясь и тая, далеко тянулась широкая, как бы масленичная, санная, хорошо разметанная дорога.

Слева уже шел высокий глинистый берег Новороссии.

А усатый держал в руке и украдкой рассматривал какую-то вещь.

Петя незаметно подошел сзади, стал на цыпочки и увидел ее. Это была небольшая, так называемого визитного формата, фотографическая карточка матроса в полной форме, в лихо заломленной бескозырке с надписью на ленте: «Князь Потемкин-Таврический».

Матрос был не кто иной, как тот самый, с якорем на руке.

И тут же в силу какого-то непонятного течения мыслей Петя вдруг совершенно ясно понял, что именно было странного в наружности усатого: усатый, так же как и тот, с якорем, тоже был п е р е о д е т.

8

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

Ветер дул свежий, попутный. Чтобы помочь машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан приказал поставить парус.

Никакой праздник, никакие подарки не привели бы Петю в такой восторг, как эта безделица.

Впрочем, хороша безделица!

Сразу на одном пароходе, в одно и то же время и машина и парус. И пакетбот и фрегат одновременно!

Я думаю, что и вы бы, товарищи, пришли в восторг, если бы вам вдруг выпало счастье прокатиться по морю на настоящем пароходе, да, кроме того, еще и под парусом.

Даже и в те времена парус ставили только на самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко. Теперь же этого и вовсе никогда не случается. Так что легко себе представить, как переживал это событие Петя.

Разумеется, мальчик сразу забыл и про усатого и про беглого. Он как очарованный стоял на носу, не сводя глаз с босого матроса, который довольно лениво возился возле люка, вытаскивая аккуратно сложенный парус.

Петя превосходно знал, что это кливер. Все же он подошел к старшему помощнику, помогавшему — за неимением других матросов — ставить парус.

— Послушайте, скажите, пожалуйста, это кливер?

— Кливер, — довольно неприветливо ответил старший помощник.

Но Петя на него ничуть не обиделся. Он прекрасно понимал, что настоящий морской волк обязательно должен быть несколько груб. Иначе что ж это за моряк?

Петя со сдержанной улыбкой превосходства посмотрел на пассажиров и снова несколько небрежно, как равный к равному, обратился к старшему помощнику:

— А скажите, пожалуйста, какие еще бывают паруса? Кажется, грот и фок?

— Мальчик, не путайся под ногами, — проговорил помощник с таким видом, как будто у него вдруг начал болеть зуб, — иди отсюда с богом в каюту к мамаше.

— У меня мама умерла, — с грустной гордостью ответил Петя грубияну. — Мы едем с папой.

Но старший помощник ничего на это не сказал, и разговор прекратился.

Наконец поставили кливер.

Пароходик побежал еще быстрее.

Уже чувствовалось приближение к Одессе. Впереди виднелась белая коса Сухого лимана. Низкая его вода была до того густой, синей, что даже отсвечивала красным.

Затем показались шиферные крыши немецкой колонии Люстдорф и высокая грубая кирка с флюгером на шпиле.

А уж дальше пошли дачи, сады, огороды, купальни, башни, маяки...

Сначала знаменитая башня Ковалевского, о которой даже существовала легенда.

Некий богач, господин Ковалевский, решил на свой риск и страх построить для города водопровод. Это принесло бы ему несметные барыши. Шутка сказать! За каждый глоток воды люди должны были платить господину Ковалевскому столько, сколько он пожелает. Дело в том, что в земле господина Ковалевского имелся источник пресной воды, единственный в окрестностях Одессы. Однако вода была очень глубоко. Чтобы ее добыть, следовало построить громаднейшую водокачку. Такое предприятие трудно поднять одному. Но господин Ковалевский ни с кем не захотел делить будущие барыши. Он начал строить

башню один. Постройка оказалась гораздо дороже, чем он предполагал по смете. Родственники умоляли его отказаться от безумной затеи, но он уже вложил в это предприятие слишком много денег, отступить было поздно. Он продолжал постройку. Он вывел башню на три четверти, и у него не стало средств. Тогда он заложил все свои дома и земли, и ему удалось достроить башню. Это было громадное сооружение, похожее на чудовищно увеличенную шахматную туру. Одесситы приходили по воскресеньям целыми семьями посмотреть на диковину. Но одной башни, разумеется, было мало. Надо было выписывать из-за границы машины, бурить почву, прокладывать трубы. Господин Ковалевский в отчаянии бросился за деньгами к одесским негоциантам и банкирам. Он предлагал им баснословные проценты. Он обещал небывалые барыши. Он умолял, унижался, плакал. Богачи, которые не могли ему простить, что он раньше не захотел взять их в компанию, теперь были непреклонны. Никто не дал ему ни копейки. Он был совершенно разорен, уничтожен, раздавлен. Водопровод сделался его навязчивой идеей. По целым дням он ходил как безумный вокруг башни, проглотившей все его состояние, и ломал голову — где бы достать денег. Он медленно сходил с ума. Наконец однажды он взобрался на самую верхушку проклятой башни и бросился вниз. Это случилось лет пятьдесят назад, но до сих пор почерневшая от времени башня стояла над морем, недалеко от богатого торгового города, мрачным предостережением, страшным памятником ненасытной человеческой алчности.

Затем показался новый белый маяк, а за ним старый — бездействующий. Оба они, выпукло освещенные розовым солнцем, садившимся в золотую пыль дачных акаций, так отчетливо, так близко — а главное, так знакомо — стояли над обрывами, что Петя готов был изо всех сил дуть в кливер, лишь бы поскорее доехать.

Тут уже каждый кусочек берега был ему известен до малейших подробностей.

Большой Фонтан, Средний Фонтан, Малый Фонтан, высокие обрывистые берега, поросшие дерезой, шиповником, сиренью, боярышником.

В воде под берегом — скалы, до половины зеленые от тины, и на этих скалах — рыболовы с бамбуковыми удочками и купальщики.

А вот и «Аркадия», ресторан на сваях, раковина для оркестра — издали маленькая, не больше суфлерской будки, — разноцветные зонтики, скатерти, по которым бежит свежий ветер.

Все эти подробности возникали перед глазами мальчика, одна другой свежее, одна другой интереснее. Но они не были забыты.

Нет! Их ни за что нельзя было забыть, как нельзя было забыть свое имя. Они лишь как-то ускользнули на время из памяти. Теперь они вдруг бежали назад, как домой после самовольной отлучки. Они бежали одна за другой. Их становилось все больше и больше. Они обгоняли друг дружку.

Казалось, они наперерыв кричали мальчику:

«Здравствуй, Петя! Наконец-то ты приехал! А мы все без тебя так соскучились! Неужели ты нас не узнаешь? Посмотри хорошенько: это же я, твоя любимая дача Маразли. Ты так любил ходить по моим великолепным выстриженным изумрудным газонам, хотя это строжайше воспрещалось! Ты так любил рассматривать мои мраморные статуи, по которым ползали крупные улитки с четырьмя рожками, так называемые «Лаврики-Павлики», оставляя за собой слюдяную дорожку! Посмотри, как я выросла за лето! Посмотри, какими густыми стали мои каштаны! Какие пышные георгины и пионы цветут на моих клумбах! Какие роскошнейшие августовские бабочки садятся в черной тени моих аллей!»

«А это я: «Отрада»! Не может быть, чтоб ты забыл мои купальни, и мой тир, и мой кегельбан! Посмотри же: пока ты пропадал, тут успели поставить замечательную карусель с лодочками и лошадками. Тут же неподалеку живет твой друг и товарищ Гаврик. Он ждет не дождется, когда ты приедешь. Скорее же, скорей!»

«А вот и я! Здравствуй, Петька! Не узнал Ланжерона? Смотри, сколько плоскодонных шаланд лежит на моем берегу, сколько рыбачьих сетей сушится на веслах, составленных в козлы! Ведь это именно в моем песке ты нашел в прошлом году две копейки и потом выпил — хоть в тебя уже и не лезло — четыре кружки кислого хлебного квасу, бившего в нос и щипавшего язык. Неужели ты не узнаешь эту будку квасника? Да вот же она, вот, стоит как ни в чем не бывало на обрыве в разросшемся за лето бурьяне! Тут даже и бинокля не надо».

«А вот и я! И я! Здравствуй, Петя! Ох, что тут без тебя в Одессе было! Здравствуй, здравствуй!»

Чем ближе к городу, тем ветер становился тише и теплей. Солнца уже совсем не было видно; только еще верхушка мачты с крошечным красным колпачком флюгера светилась в совершенно чистом розовом небе.

Кливер убрали.

Стук пароходной машины звучно отдавался в скалах и обрывах берега. Вверх по мачте полз бледно-желтый топовый огонь.

Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе.

Он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что совсем-совсем недавно, лишь сегодня утром, он чуть не плакал, прощаясь с экономией.

Какая экономия? Что за экономия? Он уже забыл о ней. Она уже не существовала для него... до будущего лета.

Скорее, скорее в каюту, торопить папу, собирать вещи!

Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса... Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а усатый шел прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчетливо скрипя «скороходами».

Он подошел к нему вплотную, наклонился и спросил не громко, но и не тихо:

— Жуков?

— Чего — Жуков? — тихо, как бы через силу произнес матрос, заметно побледнел и встал на ступеньки.

— Сядь. Тихо. Сядь, я тебе говорю.

Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах.

Усатый нахмурился:

— С «Потемкина»? Здравствуй, милый. Ты бы хоть сапожки, что ли, переменил. А мы вас ждали, ждали, ждали... Ну, что скажешь, Родион Жуков? Приехали?

И с этими словами усатый крепко взял матроса за рукав.

Лицо матроса исказилось.

— Не трожь! — закричал он страшным голосом, рванулся и изо всех сил толкнул усатого кулаком в грудь. — Не тр-рожь больного человека, мор-рда!

Рукав затрещал.

— Стой!

Но было поздно.

Матрос вырвался и бежал по палубе, увертываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал усатый.

Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки.

Они, один за другим, нырнули в проход машинного отделения. Затем вынырнули с другой стороны. Пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срываясь со скользких медных ступенек.

— Стой, держи! — кричал усатый, тяжело сопя.

В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка.

— Держи, держи-и-и!

Пассажиры со страхом и любопытством сбились на палубе. Кто-то пронзительно засвистел в полицейский свисток.

Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Он увернулся от усатого, обежавшего сбоку, вильнул, перепрыгнул через люк обратно и вскочил на скамейку. Со скамейки — на перила борта, схватился за флагшток кормового фла-

га, изо всей силы шарахнул усатого рейкой по морде и прыгнул в море.

Над кормой взлетели брызги.

— Ах!

Пассажиры все, сколько их ни было, качнулись назад, будто на них спереди дунуло.

Усатый метался возле борта, держась руками за лицо, и хрипло кричал:

— Держите, уйдет! Держите, уйдет!

Старший помощник шагал вверх по трапу через три ступеньки со спасательным кругом.

— Человек за бортом!

Пассажиры качнулись вперед к борту, будто на них дунуло сзади.

Петя протиснулся к борту.

Уже довольно далеко от парохода, среди взбитого белка пены, на волне качалась, как поплавок, голова плывущего человека.

Но только он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил работая руками и ногами. Через каждые три-четыре взмаха он поворачивал назад злое, напряженное лицо.

Старший помощник заметил, что человек за бортом, видать, не имеет ни малейшего желания быть «спасенным». Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плавает, а до берега сравнительно недалеко.

Так что все в порядке.

Нет никаких оснований волноваться.

Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку.

— Это политический преступник. Вы будете отвечать!

Помощник флегматично пожал плечами:

— Не мое дело. Не имею приказанья. Обратитесь к капитану.

Капитан же только махнул рукой. И так опаздываем. Куда там, батюшка! Очень нужно. Вот через полчаса пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счет нет никаких инструкций.

Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой, стал пробираться сквозь толпу приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были податься сходни.

Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины и наконец очутился у самого борта, с тем чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят.

Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась в волне среди флажков, качавшихся над рыбацкими сетями и переметами.

В ОДЕССЕ НОЧЬЮ

Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер чувствовался и тут.

Выпуклые стекла незаметно зажженных сигнальных фонарей на крыльях парохода — настолько темные и толстые, что днем невозможно было отгадать, какого они цвета, — теперь стали просвечивать зеленым и красным и хотя еще не освещали, но уже явственно светились.

Синий город, с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца, возник как-то сразу и за-слонил полгоризонта.

Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и совершенно неподвижном озере гавани. Туда и заворачивал «Тургенев», очень близко огибая толстую башню, в сущности, не очень большого маяка с колоколом и лестницей.

В последний раз в машинном отделении задилянькал капитанский звонок.

— Малый ход!

— Самый малый!

Быстро и почти бесшумно скользил узкий парходик мимо трехэтажных носов океанских пароходов Добровольного флота, выставленных в ряд с внутренней стороны брекватера. Чтобы полюбоваться их чудовищными якорями, Пете пришлось задрать голову.

Вот это пароходы!

— Стоп!

В полной тишине с разгону, не уменьшая хода, неся «Тургенев» наискось через гавань — вот-вот врежется в пристань.

Две длинные морщины тянулись от его острого носа, делая воду полосатой, как скумбрия. По борту слабо журчала вода.

От надвигавшегося города веяло жаром, как из печки.

И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые...

Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.

— Потопили пароход, — сказал кто-то тихо.

«Кто же потопил?» — хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое: железный скелет сгоревшего парохода, прислоненный к обуглившемуся причалу.

— Сожгли, — еще тише сказал тот же голос.

Тут навалилась пристань.

— Задний ход!

Замолкшие было колеса шумно забили, закрутились в обратную сторону. Воронки побежали по воде.

Пристань стала удаляться, как-то такое переходить на ту сторону, потом опять — очень медленно — приблизилась, но уже с другого борта.

Над головами пассажиров пролетел, разматываясь на лету, свернутый канат.

Петя почувствовал легкий толчок, смягченный веревочной подушкой. С пристани подали сходни. Первым по ним сбежал усатый и тотчас пропал, смешавшись с толпой.

Вскоре, дождавшись своей очереди, и наши путешественники медленно сошли на мостовую пристани.

Мальчика удивило, что у сходней стояли городской и несколько человек штатских. Они самым внимательным образом осматривали каждого сходящего с парохода. Осмотрели они также и папу. При этом господин Бачей машинально стал застегиваться, выставив вперед дрожащую бородку. Он крепко стиснул ручку Павлика, и лицо его приняло точно такое же неприятное выражение, как утром в дилижансе, когда он разговаривал с солдатом.

Они наняли извозчика — Павлика посадили на переднюю откидную скамеечку, а Петя, совершенно как взрослый, поместился рядом с папой на главном сиденье — и поехали.

При выезде из агентства у ворот стоял часовой в подсумках, с винтовкой. Этого раньше никогда не было.

— Папа, почему стоит часовой? — шепотом спросил мальчик.

— Ах боже мой! — раздраженно сказал отец, дергая шеей. — Отчего да почему! А я почему знаю? Стоит и стоит. А ты сиди.

Петя понял, что расспрашивать не надо, но также не надо и сердиться на раздражительность папы.

Но когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожженную дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колеса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлебываясь:

— Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это?

— Пожгли, — сказал извозчик таинственно и закачал головой в твердой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя.

Проехали мимо знаменитой одесской лестницы.

Вверху ее треугольника, в пролете между силуэтами двух полукруглых симметричных дворцов, на светлом фоне ночного неба стояла маленькая фигурка дюка де Ришелье с античной рукой, простертой к морю.

Сверкали трехрукие фонари бульвара. С эспланады открытого ресторана слышалась музыка. Над каштанами и гравием бульвара бледно дрожала первая звезда.

Петя знал, что именно там, наверху, за Николаевским бульваром, сияло и шумело то в высшей степени заманчивое, недоступное, призрачное, о чем говорилось в семействе Бачей с оттенком презрительного уважения: «в центре».

В центре жили «богатые», то есть те особые люди, которые ездили в первом классе, каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в семь часов вечера, держали вместо кухарки повара, а вместо няньки — бонну и зачастую имели даже «собственный выезд», что уже превышало человеческое воображение.

Разумеется, Бачей жили далеко не «в центре».

Дрожки, треща по мостовой, проехали низом, Карантинной улицей, и затем, свернув направо, стали подниматься в город.

Петя за лето отвык от города.

Мальчик был оглушен хлопаньем подков, высекавших на мостовой искры, дробным стуком колес, звонками конок, скрипом обуви и твердым постукиванием тросточек по тротуару, выложенному синими плитками лавы.

На экономии, среди сжатых полей, в широко открытой степи, уже давно свежо и грустно золотела осень. Здесь, в городе, все еще стояло густое, роскошное лето.

Томная ночная жара неподвижно висела в бездыханном воздухе улиц, заросших акациями.

В открытых дверях мелочных лавочек желтели неяркие языки керосиновых ламп, освещая банки с крашеными леденцами.

Прямо на тротуаре, под акациями, лежали горы арбузов — черно-зеленых глянцевого «туманов» с восковыми лысынами и длинных «монастырских», светлых, в продольную полоску.

Иногда на углу возникало сияющее видение фруктовой лавки. Там персы в нестерпимо ярком свете только что появившихся калильных ламп обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты — крупные лиловые сливы, покрытые бирюзовой пылью, и нежные коричневые, очень дорогие груши «бер Александр».

Сквозь железные решетки, увитые диким виноградом, в палисадниках виднелись клумбы, освещенные окнами особняков. Над роскошно разросшимися георгинами, бегониями, настурциями трепетали пухлые ночные бабочки-бражники.

С вокзала доносились свистки паровиков.

Проехали мимо знакомой аптеки.

За большим цельным окном с золотыми стеклянными буквами выпукло светились две хрустальные груши, полные яркой фиолетовой и зеленой жидкости, Петя был уверен — яда. Из этой аптеки носили для умирающей мамы страшные кислородные подушки. Ах, как ужасно они храпели возле маминых губ, черных от лекарств!

Павлик совсем спал. Отец взял его на руки. Головка ребенка

болталась и подпрыгивала. Тяжеленькие голые ноги сползали с отцовских колен. Но пальчики крепко держали сумку с заветной копилкой.

Таким его и передали с рук на руки кухарке Дуне, ожидавшей господ на улице, когда извозчик наконец остановился у ворот с глухим треугольным фонариком, слабо светившимся вырезанной цифрой.

— С приездом! С приездом!

Все еще продолжая чувствовать под ногами валкую палубу, Петя вбежал в парадное.

Какая громадная, пустынная лестница! Ярко и гулко. Сколько ламп! На стене каждого пролета — керосиновая лампа в чугунном кронштейне. И над каждой лампой сонно качается в световом круге крышечка.

Медные, ярко начищенные таблички на дверях. Кокосовые маты для ног. Детская коляска.

Все эти крепко забытые вещи вдруг возникли перед Петиними изумленными глазами во всей своей первобытной новизне.

К ним надо опять привыкать.

Вот где-то вверху звонко, на всю лестницу, щелкнул ключ, бухнула дверь, быстро заговорили голоса. Каждое восклицание — как пистолетный выстрел.

Побежали легкие и бравурные звуки рояля, приглушенные стеной. Это музыка настойчивыми аккордами напоминала мальчику о своем существовании.

И наконец... боже мой!.. Кто это?..

Из двери выбегает забытая, но ужасно знакомая дама в синем шелковом платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами. У нее красные от слез, возбужденные, радостные глаза, натянувшиеся от смеха губы. Ее подбородок дрожит не то от смеха, не то от слез.

— Павлик!

Она вырывает у кухарки из рук Павлика.

— Бож-же мой, какой стал тяжелый!

Павлик открывает совершенно черные со сна глаза, с безгранично равнодушным изумлением говорит:

— О? Тетя!

И засыпает опять.

Ну да, конечно, конечно же, это тетя! Отлично знакомая, дорогая, родная, но только немножко забытая тетя. Как можно было не узнать?

— Петя? Мальчик! Какая громадина!

— Тетя, вы знаете, что с нами было? — сразу же начал Петя. — Тетя, вы ничего не знаете! Да тетя же! Вы слушайте, что только с нами было. Тетя, да вы же не слушаете! Тетя, вы же слушайте!

— Хорошо, хорошо, только не всё сразу. Иди в комнаты. А где же Василий Петрович?

— Здесь, здесь...

По лестнице поднимался отец:

— Ну, вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.

— С приездом, с приездом! Пожалуйста. Не укачало вас?

— Ничуть. Прекрасно доехали. Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трех рублей сдачи.

— Сейчас, сейчас. Вы только не беспокойтесь... Петя, да не путайся же ты под ногами... После расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз — отнесите извозчику... Возьмите у меня на туалете...

Петя вошел в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился, откуда ни возьмись, в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещенного забытой, но знакомой лампой, не сразу был признан.

А его-то, кажется, Петя мог узнать без труда, так как это именно и был он сам!

10

ДОМА

Там, в экономии, была маленькая, чисто выбеленная комнатка с тремя парусиновыми кроватями, покрытыми летними марсельскими одеялами.

Железный рукомойник. Сосновый столик. Стул. Свеча в стеклянном колпаке. Зеленые решетчатые ставни-жалюзи. Крашеный пол, облезший от постоянного мытья.

Как сладко и прохладно было засыпать, наевшись простокваши с серым пшеничным хлебом, под свежий шум моря в этой пустой, печальной комнате!

Здесь было совсем не то.

Это была большая квартира, оклеенная старыми бумажными шпалерами и заставленная мебелью в чехлах.

В каждой комнате шпалеры были другие и мебель другая. Букеты и ромбы на шпалерах делали комнаты меньше. Мебель, называвшаяся здесь «обстановка», глушила шаги и голоса.

Из комнаты в комнату переносили лампы.

В гостиной стояли фикусы с жесткими воцеленными листьями. Их новые побеги торчали острыми стручками, как бы завернутыми в сафьяновые чехольчики.

Свет переставляемых ламп переходил из зеркала в зеркало.

На крышке пианино дрожала вазочка: это по улице проезжали дрожки. Треск колес соединял город с домом.

Пете ужасно хотелось, поскорее напившись чаю, выбежать хоть на минуточку во двор — узнать, как там и что, повидаться с мальчиками. Но было уже очень поздно: десятый час. Все мальчики, наверно, давно спят.

Хотелось поскорее рассказать тете или, на худой конец, Дуне про беглого матроса. Но все были заняты: стелили постели, взбивали подушки, вынимали из комода тяжелые, скользкие простыни, переносили из комнаты в комнату лампы.

Петя ходил за тетей, наступая на шлейф, и канючил:

— Тетя, что же вы меня не слушаете? Послушайте!..

— Ты видишь, я занята.

— Тетя, ну что вам стоит!

— Завтра расскажешь.

— Ой, какая вы в самом деле! Не даете рассказать. Ну тетя же!

— Не путайся под ногами. Расскажи Дуне.

Петя уныло плелся на кухню, где на окне в деревянном ящике рос зеленый лук.

Дуня торопливо гладила на доске, обшитой солдатским сукном, наволочку. Из-под утюга шел сытный пар.

— Дуня, послушайте, что с нами было... — жалобным голосом начинал Петя, глядя на Дунин голый жилистый локоть с натянутой глянцевиной кожей.

— Панич, отойдите, а то, не дай бог, обшмалю утюгом.

— Да вы только послушайте!

— Идите расскажите тете.

— Тетя не хочет. Я лучше вам расскажу. Ду-уня же!

— Идите барину расскажите.

— Ой, боже мой, какая вы глупая! Папа же знает.

— Завтра, панич, завтра...

— А я хочу сегодня...

— Отойдите из-под локтя. Мало вам комнат, что вы еще в кухню лазите?

— Я, Дунечка, расскажу и сейчас же уйду, честное благородное слово, святой истинный крест!

— От наказание с этим мальчиком! Приехал на мою голову.

Дуня с сердцем поставила утюг на конфорку. Схватила выглаженную наволочку и бросилась в комнаты так стремительно, что по кухне пролетел ветер.

Петя горестно потер кулаками глаза, и вдруг его одолела такая страшная зевота, что он с трудом дотащился до своей кровати и, не в состоянии разлепить глаза, начал, как слепой, стаскивать матроску.

Он едва дотянулся разгоревшейся щекой до подушки, как

тотчас заснул таким крепким сном, что даже не почувствовал бороды отца, пришедшего, по обычаю, поцеловать его на сон грядущий.

Что касается Павлика, то с ним пришлось-таки повозиться. Он до того разоспался на извозчике, что папа и тетя вместе раздели его с большим трудом.

Но едва его уложили в постель, как мальчик открыл совершенно свежие глаза, с изумлением осмотрелся и сказал:

— Мы еще едем?

Тетя нежно поцеловала его в горячую пунцовую щечку:

— Нет, уже приехали. Спи, детка.

Но оказалось, что Павлик уже выспался и склонен был к разговорам:

— Тетя, это вы?

— Я, курочка. Спи.

Павлик долго лежал с широко открытыми, внимательными, темными, как маслины, глазами, прислушиваясь к незнакомым городским звукам квартиры.

— Тетя, что это шумит? — наконец спросил он испуганным шепотом.

— Где шумит?

— Там. Храпит.

— Это, деточка, вода в кране.

— Она сморкается?

— Сморкается, сморкается. Спи.

— А что это свистит?

— Это паровоз свистит.

— А где?

— Разве ты забыл? На вокзале. Тут у нас напротив вокзал. Спи.

— А почему музыка?

— Это наверху играют на рояле. Разве ты уже забыл, как играют на рояле?

Павлик долго молчал.

Можно было подумать, что он спит. Но глаза его — в зеленоватом свете ночника, стоявшего на комоде, — отчетливо блестели. Он с ужасом следил за длинными лучами, передвигающимися взад и вперед по потолку.

— Тетя, что это?

— Извозчики ездят с фонарями. Закрой глазки.

— А это что?

Громадная бабочка «мертвая голова» со зловещим зуденьем трепетала в углу потолка.

— Бабочка. Спи.

— А она кусается?

— Нет, не кусается. Спи.

— Я не хочу спать. Мне страшно.

— Чего ж тебе страшно? Не выдумывай. Такой большой мальчик! Ай-яй-яй!

Павлик глубоко и сладко, с дрожью втянул в себя воздух. Схватил обеими горячими ручонками тетину руку и прошептал:

— Цыгана видели?

— Нет, не видела.

— Волка видели?

— Не видела. Спи.

— Трубочиста видели?

— Трубочиста не видела. Можешь спать совершенно спокойно.

Мальчик еще раз глубоко и сладко вздохнул, перевернулся на другую щечку, подложил под нее ладошки ковшиком и, закрывая глаза, пробормотал:

— Тетя, дайте ганьку.

— Здравствуйте! А я-то думала, что ты от ганьки давно отвык.

«Ганькой» назывался чистый специальный носовой платок, который Павлик привык сосать в постели и без которого никак не мог уснуть.

— Га-аньку...— протянул мальчик, капризно кряхтя.

Однако тетя ганьки не дала. Большой мальчик. Пора отвыкать. Тогда Павлик, продолжая капризничать, потянул в рот угол подушки, облизнул его, вяло улыбнулся слипшимися, как вареники, глазами. Но вдруг он с ужасом вспомнил про копилку: а что, если ее украли воры? Однако уже не было сил волноваться.

И мальчик мирно уснул.

11

ГАВРИК

В этот же день другой мальчик, Гаврик — тот самый, о котором мы вскользь упомянули, описывая одесские берега,— проснулся на рассвете от холода.

Он спал на берегу возле шаланды, положив под голову гладкий морской камень и укрыв лицо старым дедушкиным пиджаком. На ноги пиджака не хватило.

Ночь была теплая, но к утру стало свежо. Босые ноги озябли. Гаврик спросонья стянул пиджак с головы и укутал ноги. Тогда стала зябнуть голова.

Гаврик начал дрожать, но не сдавался. Хотел пересилить холод. Однако заснуть было уже невозможно.

Ничего не поделаешь, ну его к черту, надо вставать.

Гаврик кисло приоткрыл глаза. Он видел глянцевое лимонное море и сумрачную темно-вишневую зарю на совершенно чистом сероватом небе. День будет знойный. Но, пока не подымет-ся солнце, о тепле нечего и думать. Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хибарке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом?

Редкая волна тихо, чуть слышно, шлепает в берег. Шлепнет и уходит назад, лениво волоча за собой гравий. Подождет, подождет — и снова тащит гравий обратно, и снова шлепнет.

Серебристо-черное небо сплошь осыпано августовскими звездами. Раздвоенный рукав Млечного Пути висит над головой видением небесной реки.

Небо отражается в море так полно, так роскошно, что, лежа на теплой гальке, задрав голову, никак не поймешь, где верх, а где низ. Будто висишь среди звездной бездны.

По всем направлениям катятся, вспыхивая, падающие звезды.

В бурьяне тыркают сверчки. Где-то очень далеко на обрыве лают собаки.

Сначала можно подумать, что звезды неподвижны. Но нет. Присмотришься — и видно, что весь небесный свод медленно поворачивается. Одни звезды опускаются за дачи. Другие, новые, выходят из моря.

Теплый ветерок холодеет. Небо становится белее, прозрачнее. Море темнеет, утренняя звезда отражается в темной воде, как маленькая луна.

По дачам сонно кричат третьи петухи. Светает.

Как же можно спать в такую ночь под крышей?

Гаврик встал, сладко растянул руки, закатал штаны и, зевая, вошел по щиколотку в воду. С ума он сошел, что ли? Ноги и так озябли до синевы, а тут еще лезть в море, один вид которого вызывает озноб!

Однако мальчик хорошо знал, что он делает. Вода только на вид казалась холодной. На самом деле она была очень теплой, гораздо теплее воздуха. Мальчик просто-напросто грел в ней ноги.

Затем он умылся и так громко высморкался в море, что несколько головастых мальков, безмятежно заснувших под берегом, брызнули во все стороны, вильнули и пропали в глубине.

Зевая и жмурясь на восходящее солнце, Гаврик насухо вытер рубашкой маленькое пестрое лицо с лилово-розовым носиком, облупленным, как молодая картофелька.

— Ох-ох-ох... — сказал он совершенно как взрослый, не торопясь перекрестил рот, где до сих пор еще не хватало двух передних зубов, подобрал пиджак и побрел вверх валкой, цепкой походочкой одесского рыбака.

Он продирался сквозь густые заросли сильно разросшегося бурьяна, осыпавшего мокрые ноги и штаны желтым порошком цветения.

Хибарка стояла шагах в тридцати от берега на бугорке красной глины, мерцавшей кристалликами сланца.

Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо сколоченный из всякого деревянного старья: из обломков крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт.

Плоская крыша была покрыта глиной, и на ней росли бурьяны и помидоры.

Когда еще была жива бабушка, она обязательно два раза в год — на пасху и на спаса — белила мелом хибарку, чтобы хоть как-нибудь скрасить перед людьми ее нищенский вид. Но бабушка умерла, и вот уже года три, как хибарку никто не белил. Ее стены потемнели, облезли. Но все же кое-где остались слабые следы мела, въевшегося в старое дерево. Они постоянно напоминали Гаврику о бабушке и о ее жизни, менее прочной, чем даже мел.

Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил. Мать помнил, но еле-еле: какое-то распаренное корыто, красные руки, киевское печатное кольцо на скользком, разбухшем пальце и множество радужных мыльных пузырей, летающих вокруг ее железных гребенок.

Дедушка уже встал. Он ходил по крошечному огороду, заросшему бурьяном, заваленному мусором, где ярко теплилось несколько больших поздних цветков тыквы — оранжевых, мясистых, волосатых, со сладкой жидкостью на дне прозрачной чашечки.

Дедушка собирал помидоры в подол стираной-перестираной рубахи, потерявшей всякий цвет, но теперь нежно-розовой от восходящего солнца.

Между задранной рубахой и мешковатыми штанами виднелся худой коричневый живот с черной ямкой пупа.

Помидоров на огороде оставалось совсем мало. Поели почти всё. Дедушке удалось собрать штук восемь — маленьких, желтоватых. Больше не было.

Старик ходил, опустив сивую голову. Поджав выскобленный по-солдатски подбородок, он пошевеливал босой ногой кусты бурьяна — не найдется ли там чего-нибудь? Но ничего больше не находилось.

Взрослый цыпленок с тряпочкой на ноге бегал за дедушкой, изредка поклеывая землю, отчего вверху вздрагивали зонтики укропа.

Дедушка и внучек не поздоровались и не пожелали друг другу доброго утра. Но это вовсе не означало, что они в ссоре. Наоборот. Они были большие приятели.

Просто-напросто наступившее утро не обещало ничего, кроме тяжелого труда и забот. Не было никакого резона обманывать себя пустыми пожеланиями.

— Всё поели, ничего не осталось,— бормотал дед, как бы продолжая вчерашний разговор.— Что ты скажешь! Восемь помидоров — куда это годится? На смех курям.

— Поедем, что ли? — спросил Гаврик, посмотрев из-под руки на солнце.

— Надо ехать,— сказал дед, выходя из огорода.

Они вошли в хибарку и степенно напились из ведра, аккуратно прикрытого чистой дощечкой.

Старик крикнул, и Гаврик крикнул. Дедушка потуже подтянул ремешок штанов, и внучек сделал то же самое.

Затем дедушка достал с полочки кусок вчерашнего ситника и завязал его вместе с помидорами в ситцевый платок с черными капочками.

Кроме того, он взял под мышку плоский бочоночек с водой, вышел из хибарки и навесил на дверь замок.

Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совести воровать у нищих?

Гаврик снял с крыши весла и взвалил их на маленькое, но крепкое плечо.

Сегодня дедушке и внуку предстояло много дела. Третьего дня бушевал шторм. Волна порвала переметы. Рыба не шла. Улова не было никакого. Денег не осталось ни копейки.

Вчера море улеглось, и на ночь поставили перемет.

Сегодня его надо было выбрать, успеть с рыбой на привоз, наживить перемет и вечером обязательно его опять поставить, чтобы не пропустить хорошей погоды.

Они, нутужась, стащили шаланду по гальке к воде и осторожно толкнули в волну.

Стоя по колено в море, Гаврик поставил на корму садок для рыбы — маленькую закрытую лодочку с дырками, сильно толкнул шаланду, разбежался и лег животом на борт, болтая над скользящей водой ногами, с которых падали сверкающие капли. И лишь когда шаланда проскочила сажени три-четыре, мальчик влез в нее и сел грести рядом с дедушкой.

Каждый из них работал одним веслом. Это было легко и весело: кто кого перегребет? Однако оба они равнодушно хмурились и только покрывали.

Ладони у Гаврика приятно горели. Весло, опущенное в прозрачную зеленую воду, казалось сломанным. Узкая его лопаточка упруго шла под водой, гоня назад воронки. Шаланда подвигалась сильными рывками, поворачивая то вправо, то влево. То дедушка нажмет, то внучек нажмет.

— Эх-х! — кричал дедушка, отваливаясь с силой.

И шаланда рывком заворачивала влево.

— Эх-х-х! — еще сильнее кричал Гаврик.

И лодка рывком выравнивалась и поворачивала вправо.

Дедушка упирался в переднюю банку¹ босой ногой со скрюченным большим пальцем и коротко рвал весло. Но и внучек не отставал. Он упирался обеими ногами и закусывал губу.

— А вот не подужите, дедушка, — сквозь стиснутые зубы цедил Гаврик, обливаясь потом.

— А вот подужу, — кряхтел дед, тяжело переводя дыхание.

— Та, ей-богу, не подужите!

— Побачимо!

— Побачимо!

Но как дедушка ни наваливался, ничего не получалось. Не те годы! Да и внучек подросток подходящий. Маленький-маленький, а смотри ты, какой упрямый! Против собственного деда не боится идти на спор!

Дедушка сердито хмурился, искоса поглядывая из-под седых бровей на хлопчика, сопевшего рядом. И в его старчески водянистых глазах светилось веселое изумление.

Так, не осилив друг друга, они отошли по крайней мере на версту от берега. Тут среди волн качались на пробках выцветшие флажки их перемета.

Тем временем уже все море покрылось рыбацкими шаландами, вышедшими на лов.

Высоко подсакивая и с маху шлепаясь в волну плоским рубчатым дном, высунутым из воды на треть, пронеслась под полным парусом новая синяя красавица шаланда «Надя и Вера». На корме, небрежно раскинувшись, лежал хорошо знакомый Гаврику малофонтанский рыбак Федя с черной семечкой, прилипшей к губе.

Из-под клеенчатого козырька синей фуражки с якорными пуговичками лениво смотрели прекрасные томные глаза, почти прикрытые челкой, темной от брызг.

Прижав каменной спиной круто повернутый румпель, Федя даже не взглянул на жалкую шаланду дедушки.

Но Федин брат, Вася, в полосатом тельнике с короткими рукавами, увидев Гаврика, перестал раскручивать лесу самодура и, приложив к глазам против солнца руку, успел крикнуть:

— Эй, Гаврюха, ничего, не дрейфь! Держись за воду — не потонешь!

И «Надя и Вера» пронеслась мимо, обдав дедушку и внука целым фонтаном брызг.

Конечно, в этом не было ничего обидного. Обыкновенная дру-

¹ Б а н к о й называется у моряков скамейка. (Примеч. автора.)

жеская шутка. Но дедушка на всякий случай сделал вид, что ничего не расслышал. Однако в глубине души осталась обида. Ведь и у него, у дедушки, была когда-то прекрасная шаланда с новеньким, прочным парусом. Ловил на ней дедушка на самодур скумбрию. Да еще как ловил! В иной день по две, по три сотни тащила покойная бабушка на привоз. Но жизнь прошла... И остались у дедушки лишь нищенская хибарка на берегу да старая шаланда без паруса.

Парус пролечили, когда заболела бабушка. Да и то напрасно: все равно померла. Теперь такого паруса больше никогда не справишь. А без паруса какая же ловля? На смех курам! Разве только бычков на перемет. Грустно!

Гаврик прекрасно понимал, о чем думает дедушка. Но и виду не подавал. Наоборот. Чтобы отвлечь старика от горьких мыслей, он стал деловито возиться возле перемета: вытаскивать первый флажок.

Дедушка тотчас перебрался через банки, стал рядом с внуком, и они начали в четыре руки травить мокрый конец перемета. Вскоре пошли крючки. Однако бычков на них было мало, да и то мелочь.

Гаврик крепко брал головастую трепещущую рыбку за скользкие жабры, ловко выдирая крючок из хищных челюстей и бросал ее в садок, спущенный в море.

Но из десяти крючков едва ли на трех попадалась настоящая добыча — на остальных болтались тощие глосики или крабы.

— Не идут на креветку, — сокрушенно бормотал дедушка. — Ну что ты скажешь! Одна мелочь. Надо мясом наживлять. На мясо обязательно пойдут. А где это взять тое мясо, если оно на привозе по одиннадцать копеек фунт! Просто курям на смех.

Но тут вдруг навалилось что-то громадное, с коричневым дымом. Пролетели по воде две косые тени. Страшно зашумела вода... И совсем близко от шаланды прошел пароход, хлопотливо мелькая красными лопастями колес.

Лодку подбросило, потом уронило, потом опять подбросило. Флажки перемета запрыгали почти под самыми колесами. Еще немножко — и их смолело бы в щепки.

— Эй, на «Тургеневе»! — заорал дедушка не своим голосом и растопырил руки, как бы желая остановить несущуюся лодку. — Что у вас, повылазило? Не видите переметов! Паршивые сволочи!

Но пароход уже благополучно пронесло.

Он шумно удалялся — с трехцветным флагом за кормой, со спасательными кругами и шлюпками, с пассажирами, с клубами бурого каменноугольного дыма, — оставляя за собой крупное белоснежное кружево на чистой темно-зеленой воде.

Значит, было уже семь часов утра. «Тургенев» заменял рыба-

кам часы. В восемь часов вечера он проходил обратно из Аккермана в Одессу. Надо было торопиться, чтобы не опоздать с бычками на привоз.

Дедушка и внучек наскоро позавтракали помидорами с хлебом, запили свой завтрак водой, которая уже успела нагреться в бочоночке и приобрести дубовый привкус, и торопливо взялись за перемет.

12

«ПОДУМАЕШЬ, ЛОШАДЬ!»

Часов около девяти Гаврик уже шагал в город. Он нес на плече сенокос с бычками. Можно было, конечно, переложить их в корзинку, но сенокос имел более солидный вид. Он показывал, что рыба совершенно свежая, живая, только что из моря.

Дедушка остался дома чинить перемет.

Хотя Гаврику едва минуло девять лет, но дедушка легко доверил ему такую важную вещь, как продажа рыбы. Он вполне надеялся на внука. Сам понимает. Не маленький. А на кого ж старику было еще надеяться, как не на собственного внука?

С полным сознанием важности и ответственности поручения Гаврик деловито и даже несколько сумрачно шлепал по горячей тропинке среди пахучего бурьяна, оставляя в пыли отчетливые отпечатки маленьких ножек со всеми пятью пальцами.

Весь его сосредоточенный солидный вид как бы говорил: «Вы себе там как хотите — купайтесь в море, валяйтесь на песке, езьте на велосипедах, пейте возле будки зельтерскую воду, — мое дело рыбацкое — ловить бычков на перемет и продавать их на привозе, остальное меня не касается».

Проходя мимо купальни, где над окошечком кассы висела замурзанная черная доска с надписью мелом «18°», Гаврик даже презрительно усмехнулся: до того противно было ему смотреть на белотелого толстяка с платочком на лысине. Толстяк, заткнув пальцами нос и уши, окунулся в глинистую прибрежную воду, не отходя от спасательного каната, обросшего зеленой бородой тины.

Подняться на обрыв можно было двумя способами: по длинному, пологому спуску в три марша или по крутой, почти отвесной деревянной лестнице с гнилыми ступеньками.

Нечего и говорить, что Гаврик выбрал лестницу.

Поджав губы, мальчик быстро заработал ногами. До самого верха он добежал, ни разу не остановившись передохнуть.

Пыльный, но тенистый переулок вывел его мимо «Заведения теплых морских ванн» к юнкерскому училищу.

Тут уж был почти совсем город.

По Французскому бульвару, в тени пятнистых платанов, тащи́лась в Аркадию открытая конка. Со стороны солнца она была занавешена парусиной. С задней площадки торчал вверх пучок бамбуковых удочек с поплавками, наполовину красными, наполовину синими. Три бо́дрые клячки щелкали подковами по мелкому щебню. Визжал и ныл на повороте тормоз.

Будка квасника особенно привлекала внимание мальчика. Это был рундук под двускатной крышей на двух столбиках. Снаружи он был выкрашен зеленой масляной краской, а внутри — такой же густой и блестящей — белой.

Сам квасник являл собою вид такой непревзойденной, праздничной красоты, что Гаврик каждый раз, как его видел, не мог не остановиться на углу в порыве восхищения и зависти.

Гаврик никогда не задумывался над вопросом, кем ему быть, когда он вырастет и станет взрослым. Особенно нечего выбирать. Но уж если выбирать, то, разумеется, квасником.

Все одесские квасники были нарядные и красивые, как на картинке.

А этот в особенности. Ни дать ни взять — Ванька-ключник.

И точно. Высокий купеческий картуз тонкого синего сукна, русые кудри, сапоги бутылками. А рубаха! Господи, да такую рубаху только и надевать, что на первый день пасхи: блестящая, кумачовая, рукава пузырями, длинная — до колен, со множеством синеньких стеклянных пуговичек!

А поверх рубахи — черный суконный жилет с серебряной часовой цепочкой, вдетой в петлю серебряной палочкой.

Один вид его пламенной рубахи вызывает в человеке желание напиться холодного квасу.

А как он работает! Ловко, споро, чисто...

Вот подходит покупатель:

— Дай-ка, милый, стаканчик.

— Какого прикажете? Кислого, сладкого? Сладкий копейка кружка, кислый — на копейку две.

— Давай кислого.

— Извольте-с!

И тут же мигом одна рука проворно отдирает за кольцо круглую крышку рундука и лезет в глубокий ледяной сумрак за бутылкой, в то время как другая вытирает тряпкой и без того сухой белый прилавок, полощет в ведре громадную литую кружку с жульническим толстым дном, щегольски переворачивает эту кружку и со стуком ставит перед покупателем.

Маленький штопор вонзается в пробку. Бутылка, зажатая между сапог, стреляет. Рыжая пена лезет из горлышка длинными буклями.

Молодец опрокидывает бутылку над кружкой, наполняя

ее на четверть желто-лимонным квасом и на три четверти пеной.

Покупатель жадно сдувает пену и пьет, пьет, пьет... А Ванька-ключник уже лихо вытирает стойку и смахивает мокрую копейку с орлом в жестяную коробочку из-под монпансье фабрики «Бр. Крахмальниковы».

Вот это человек! Вот это жизнь!

Конечно, Гаврику ужасно хотелось выпить квасу, но не было денег. Может быть, на обратном пути, да и то вряд ли. Дело в том, что хотя бычков и было в садке сотни две, но торговке, которой всегда продавали улов, дедушка сильно задолжал. Он взял у нее на прошлой неделе три рубля на пробки и крючки для перемета, а отдал всего рубль сорок пять. Так что оставалось больше чем полтора рубля долгу — деньги громадные.

Хорошо, если торговка согласится удержать не всё. А если всё? Тогда дай бог, чтоб осталось на мясо для наживки и на хлеб, а уж о квасе нечего и думать!

Гаврик сплюнул совершенно так же, как это делали взрослые рыбаки, когда их одолевала забота.

Он переставил садок с одного плеча на другое и отправился дальше, унося в воображении нарядный образ Ваньки-ключника и душистую прохладу кислого кваса, которого так и не попробовал.

Дальше шел уже настоящий город, с высокими домами, лавками, складами, воротами.

Все было испещрено сквозной тенью акаций, светившихся зелеными виноградинами листьев.

По мостовой тарахтел фургон. Пестрая тень неслась сверху вниз по лошадям в высоких немецких хомутах, по кучеру, по белым стенкам с надписью: «Завод искусственного льда».

Шли кухарки с корзинками. По ним тоже скользила тень.

Собаки с высунутыми языками подбежали к специальным жестянкам, прикованным к стволам деревьев. Задрав хвост бубликом, они лакали теплую воду, чрезвычайно довольные одесской городской управой, позаботившейся о том, чтобы они не бесились от жажды.

Все это было хорошо знакомо и малоинтересно.

Но вот что вызвало изумление — тележка, запряженная пони. Такой маленькой лошадки Гаврик еще никогда в жизни не видел. Не больше теленка и вместе с тем совершенно как большая.

Бежевая, пузатенькая, с шоколадной гривкой и маленьким, но пышным хвостом, в соломенной шляпке с дырами для ушей, она стояла, подняв мохнатые ресницы, смиренно и спокойно, как благовоспитанная девочка, возле подъезда в тени акации.

Лошадку окружали дети.

Гаврик подошел и долго стоял молча, не зная, как отнестись к феномену. Нет слов, лошадка ему понравилась. Но вместе с тем она вызывала также и чувство раздражения.

Он обошел лошадку со всех сторон. Лошадь как лошадь: копытца, челочка, зубки. Но до чего ж маленькая! Даже противно.

— Подумаешь, лошадь! — сказал он с презрением и сморщил нос.

— Это не лошадь, это не лошадь! — поспешно затараторила девочка с двумя косичками, приседая от восторга и хлопая в ладоши. — Это совсем не лошадь, а всего только поня.

— А вот лошадь, — сумрачно сказал Гаврик и тотчас надулся от стыда за то, что не удержался и унизился до разговора с такой малявкой в бантиках.

— А вот поня, а вот поня!

— Из цирка, — сиплым басом проговорил Гаврик, как бы не обращаясь ни к кому. — Обыкновенная из цирка.

— А вот не из цирка, а вот не из цирка! Поня. На ней развозят керосин Нобеля, на поне. Видишь, жестянки.

Действительно, в тележке стояли чистенькие бидоны с керосином.

Для Гаврика это была полная неожиданность. Известно всем, что керосин покупается в лавочке на копейку кварта в собственную посуду.

Но чтоб его развозили по домам в тележке, да еще и запряженной какой-то нарядной поней, — это было уж слишком!

— Простая лошадь! — сердито огрызнулся Гаврик, отходя прочь.

— А вот поня! А вот поня! А вот поня! — кричала ему вслед девочка, как попугай, и, приседая, хлопала в ладоши.

«Сама ты поня», — подумал Гаврик, но, к сожалению, не было времени затевать крупную ссору.

Огибая вокзальный сквер, из-за чугунной решетки которого горячо и сухо пахло миртом и туей с терпкими шишечками, мальчик остановился, задрал голову и довольно долго смотрел на циферблат вокзальных часов.

Совсем недавно он наконец научился узнавать по часам время. Теперь он не мог пройти мимо часов без того, чтобы не остановиться и не посчитать.

Он еще считал по пальцам эти странные палочки римских цифр, так не похожих на обычные цифры из арифметики. Он только знал, что самая верхняя — двенадцать и от нее надо начинать считать.

Гаврик поставил к ногам садок и зашевелил губами, крепко загибая пальцы.

— Одна, две, три, четыре...— шептал он, наморщив лоб. Маленькая стрелка стояла на девяти, а большая — на шести.

— Девять и с половиной,— со вздохом удовлетворения проговорил мальчик, вытирая рубахой пот с носа.

Похоже, что так. Но все же не мешало бы проверить.

— Дядя, сколько время?

Господин в чесучовом пиджаке и люфовом шлеме «здравствуй и прощай» приложил к римскому носу золотое пенсне, задрал седую бородку, мельком взглянул на циферблат и быстро сказал:

— Половина десятого.

Гаврик остолбенел от изумления:

— Дядя, а как же там написано — девять и с половиной?

— Значит, и есть полчаса десятого,— не глядя на мальчика, строго сказал господин, сел на извозчика и уехал, поставив между колен палку с костяным набалдашником.

Гаврик стоял некоторое время, полуоткрыв рот с недостающими зубами, стараясь понять, пошутил ли над ним барин или так оно и есть.

Наконец он взвалил на плечо садок, подтянул штаны и пошел дальше, крутя головой и недоверчиво улыбаясь.

Оказывается, девять и с половиной все равно, что полчаса десятого. Странно. Очень странно. Во всяком случае, не мешало б спросить у кого-нибудь понимающего.

13

МАДАМ СТОРОЖЕНКО

— Раки! Раки! Раки! Раки!

— Камбала! Камбала! Камбала!

— Скумбрия живая! Скумбрия, скумбрия!

— Барбунька! Барбунька!

— Мидии! Мидии! Мидии! Мидии! Мидии!

— Бычки! Бычки! Бычки!

Из всех торговков привоза наиболее резкими, крикливыми голосами славились торговки рыбного ряда.

Надо было обладать бесстрашием одесских хозяек и кухарок, чтобы неторопливо пройти по этой аллее столов, корзинок и рундуков, заваленных грудami морской рыбы, раковин и раков.

Под громадными парусиновыми зонтиками и дощатыми навесами, трепеща и сверкая, лежали вываленные напоказ живые богатства Черного моря.

Какое разнообразие форм, цветов, размеров!

Природа приложила все усилия, чтобы защитить и спасти от гибели свои замечательные создания. Она постаралась сделать их как можно более незаметными для человеческого глаза. Она раскрасила их во все оттенки моря.

Например, благородная и дорогая рыба скумбрия, царица Черного моря. Ее тугое тело, прямое и гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами, от светло-голубого до темно-синего.

Гаврик знал, что именно такого цвета — голубого, с синими морщинами ряби — бывает море далеко от берега, как раз там, где главным образом ходят косяки скумбрии.

Ишь какая хитрая скумбрия!

Хотя Гаврик ежедневно видел рыбу, привык к ней, умел за полверсты обнаружить в море косяк скумбрии, но все же каждый раз он неизменно восхищался ее красотой и хитростью.

Или бычки. Они водятся под берегом, среди скал, а также в песке, поглубже. Поэтому и окрашены они в бурый цвет скал или желтоватый цвет песка.

Смотри ты!

Большие плоские камбалы, привыкшие жить на тинистом дне тихих бухточек, поражают черно-зеленым цветом своей толстой кожи, усеянной плоскими костяными шипами, похожими на ракушки. Оба глаза помещаются у них сверху, почему камбала и напоминает детский рисунок углем на заборе: голова в профиль, но с двумя глазами.

Правда, брюхо у камбалы воскового, поросячьего цвета, но ведь брюхо-то эта рыба никогда не показывает, а всегда лежит на дне, плотно прижавшись к песку.

И мальчик восхищался хитростью камбалы.

Была еще барбунька, маленькая красно-черная горбатая рыбка с крупной, как бы окровавленной чешуей. Точно такие же крупные розовые ракушки мерцают в самых чистых бухточках.

Стада серебряной тюльки кишат на поверхности моря у берега, сливаясь с серебряным кипением утреннего солнца.

Нет слов, природа хитра. Но Гаврик знал, что человек еще хитрее. Человек как наставит сетей и переметов, как забросит прозрачную лесу удочек, как сверкнет блесной и пестрыми перышками самодура, и вот вся эта рыба, такая незаметная в море, будет великолепно сверкать всеми своими волшебными красками в корзинках и на прилавках привоза!

Лишь бы только деньги на хорошую снасть!

Мальчик шел, отыскивая знакомую торговку, мимо корзин, кишевших прозрачными светло-зелеными раками. Раки, шурша, протягивали вверх свои клешни, судорожно разинутые, как ножницы.

Тюлька горела грудями серебряной мелочи.

Пружинистые креветки щелкали под мокрой сеткой и стреляли во все стороны солью.

Слюдяные чешуйки прилипали к босым ногам. Пятки скользили по рыбьим внутренностям.

Ободранные базарные кошки с безумными, стоячими зрачками, прижав уши и хищно выставив лопатки, ползали по земле за добычей.

Хозяйки с веревочными кошелками, из которых торчала морковь, подбрасывали на ладонях толстые бруски разрубленной камбалы.

Солнце жгло. Рыба засыпала.

Знакомая торговка сидела на детской скамеечке под парусиновым зонтиком великанши, окруженная корзинами с товаром. Громадная, одетая, несмотря на двадцатиградусную жару, в зимнюю жакетку с буфами, накрест обвязанная песочным платком и с увесистым кошельком через плечо, она как раз в этот момент торговалась с покупательницей.

Гаврик почтительно остановился поодаль, дожидаясь, когда она освободится. Он прекрасно понимал, что они с дедушкой всецело зависят от этой женщины. Значит, надо быть как можно скромнее и вежливее. Он непременно снял бы шапку, если бы она у него была. Но шапки не было.

Мальчик ограничился тем, что тихонько поставил садок на землю, опустил руки и посматривал на свои босые переминающиеся ноги, по щиколотку одетые серой замшевой пылью.

Хотя дело шло всего о двух десятках бычков, торговля продолжалась ужасно долго.

Десять раз покупательница уходила и десять раз возвращалась. Десять раз торговка бралась за медные чашки весов, облепленные рыбьей чешуей, и десять раз бросала их обратно в корзину с камбалой.

Она быстро жестикулировала мясистыми руками в черных нитяных перчатках с отрезанными пальцами, не забывая изящно отставить мизинцы.

Она вытирала рукавом лилово-красное глянцевитое лицо с черными усиками и с седыми колечками на подбородке. Она судорожно втыкала в синие сальные волосы большие железные шпильки. Она кричала осипшим голосом.

— Мадам, о чем может быть речь? Таких бычков вы нигде не будете иметь! Разве это бычки? Это золото!

— Мелочь,— говорила покупательница, презрительно отходя,— нечего жарить.

— Мадам, вернитесь! Если эту рыбу вы называете «нечего жарить», то я не знаю, у кого вы будете иметь крупнее! Может быть, у жидов? Так идите до жидов! Вы же меня хорошо

знаете. Я никогда не позволю себе всучить постоянной покупательнице мелочь!

— Такие бычки — десять копеек десяток! Никогда! Самое большее — восемь.

— Возьмите два десятка за девятнадцать.

— Лучше я возьму у кого-нибудь другого на те же деньги чирус.

— Мадам, последняя цена — восемнадцать. Не хотите, как хотите... Мадам, куда же вы идете?

Наконец торг состоялся, и, отпустив рыбу, торговка высыпала в кошель деньги.

Гаврик терпеливо дожидался, когда его заметят. Но торговка, хотя давно увидела мальчика, продолжала делать вид, что не замечает его.

Таков был базарный обычай. Кому нужны деньги, тот пусть и ждет. Ничего. Не сдохнет — постоит.

— Кому свежей рыбы? Живые бычки! Камбала, камбала, камбала! — закричала торговка, передохнув, и вдруг, не глядя на Гаврика, сказала: — Ну? Покажь!

Мальчик открыл дверцу садка и придвинул его к торговке.

— Бычки, — сказал он почтительно.

Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков; посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, черными и синими, как виноград «изабелла».

— Ну? Где ж бычки?

Гаврик молчал.

— Я тебя спрашиваю: где бычки?

Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку.

— Так вот же бычки, тетя. У вас в руках. Что вы, не видите?

— Где бычки? — закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свекла. — Где бычки? Покажи мне где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши! Тут разве есть что жарить? Тут даже нет чего жарить! Что вы мне все носите мелочь и мелочь! Носите жидам мелочь!

Гаврик молчал.

Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но уж во всяком случае и не такая мелочь, как кричала торговка. Однако возражать не приходилось.

Окончив кричать, торговка совершенно спокойно принялась перекладывать бычки из садка в свою корзину, ловко отсчитывая десятки. Ее руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счетом. Ему казалось, что она хочет его

обдурить. Но не было никакой возможности проверить. В ее корзине лежали другие бычки.

Поди разберись!

Гаврика охватил ужас. Он вспотел от волнения.

— Для ровного счета две с половиной сотни,— сказала торговка, закрывая корзинку рогожкой.— Забирай садок. До свиданья. Скажешь деду, что с него еще остается восемьдесят копеек. Чтоб он помнил. И пускай больше не присылает мелочь, а то не буду брать!

Мальчик остолбенел. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось.

А торговка уже кричала, не обращая на него ни малейшего внимания:

— Камбала, камбала, камбала! Бычки, бычки, бычки!

— Мадам Стороженко,— наконец с большим трудом выговорил мальчик,— мадам Стороженко...

Она нетерпеливо обернулась:

— Ты еще здесь? Ну?

— Мадам Стороженко... сколько же вы даете за сотню?

— Тридцать копеек сотня, итого семьдесят пять копеек, да вы мне остались один рубль пятьдесят пять, значит, еще с вас восемьдесят. Так и скажешь дедушке. До свиданья.

— Тридцать копеек сотня!

Гаврику хотелось кричать от обиды и злости. Дать бы ей изо всей силы кулаком в морду, так, чтоб из носа потекла юшка. Обязательно чтоб потекла. Или укусить...

Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и проговорил, чуть не плача:

— Мадам Стороженко, вы же всегда давали по сорок пять...

— Скажите спасибо, что даю за такую рвань по тридцать. Иди с богом!

— Мадам Стороженко... Вы ж сами торгуете по восемьдесят...

— Иди, иди, не морочь голову! Мой товар. По сколько надо, по столько и торгую. Ты мне можешь не указывать... Камбала, камбала, камбала!

Гаврик посмотрел на мадам Стороженко. Она сидела на своей детской скамеечке — громадная, неприступная, каменная.

Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мяса для наживки, что требуется всего-навсего копеек пятнадцать — двадцать,— но стоило ли унижаться?

В мальчишке вдруг заговорила рыбацкая гордость.

Он вытер рукавом слезы, щипавшие облупленный носик,

высморкался двумя пальцами в пыль, вскинул на плечо легкий сачок и пошел прочь своей цепкой, черноморской походочкой.

Он шел и думал, где бы раздобыть мяса и хлеба.

14

«НИЖНИЕ ЧИНЫ»

Хотя, как мы это видели, жизнь Гаврика была полна трудов и забот, совершенно как у взрослого человека, все же не следует забывать, что он был всего лишь девятилетний мальчик.

У него были друзья и приятели, с которыми он охотно играл, бегал, дрался, ловил воробьев, стрелял из рогатки и вообще занимался всем тем, чем занимались все одесские мальчишки небогатых семейств.

Он принадлежал к категории так называемых «уличных мальчишек», а потому знакомства у него были обширные.

Никто не мешал ему ходить по любым дворам и играть на любой улице. Он был свободная птица! Весь город принадлежал ему.

Однако и у самой свободной птицы есть свои особо излюбленные места. Гаврик обосновался главным образом в районе приморских улиц Отрады и Малого Фонтана. Здесь он безраздельно царил среди прочих мальчишек, со страхом и восхищением взиравших на его независимую жизнь.

Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один — Петя.

Проще всего было бы пойти к Пете и посоветоваться насчет хлеба и мяса. Конечно, денег у Пети не было, особенно таких больших, как пятнадцать копеек. Об этом нечего и думать. Но Петя мог бы утащить на кухне кусочек мяса и достать в буфете хлеб.

Гаврик был один раз у Пети в гостях на прошлое рождество и прекрасно знал, что у них есть буфет, где лежит много хлеба, на который никто не обращает внимания. Так что ничего не стоит вынести хоть полбатона. Там у них с этим не считаются.

Вся же беда заключалась в том, что не было известно, приехал ли Петя из экономии. Пора бы уже, кажется, приехать. Несколько раз в течение лета заходил Гаврик к Пете во двор узнавать, как дела. Но Пети все не было и не было.

В прошлый раз их кухарка Дуня сказала, что скоро вернется. Это было дней пять тому назад. Может быть, уже приехали?

С привоза Гаврик отправился во двор к Пете. Благо недалеко: прямо против вокзала — Куликово поле, угол Канатной, рядом со штабом — большой, четырехэтажный дом, прекрасно приспособленный для хорошей жизни.

Во-первых, он был незаменим для уличных сражений, так как в нем было двое ворот. Одни выходили на Куликово поле, или попросту Кулички, а другие — на великолепнейший пустырь, с кустарником, с норками тарантулов и, правда, небольшой, но зато исключительно богатой помойкой.

Там, если хорошенько порыться, всегда можно было набрать массу полезных предметов — от аптекарского пузырька до мертвой крысы.

Петьке повезло. Не у каждого мальчика рядом с домом такая помойка!

Во-вторых, мимо дома бегали маленькие дачные поезда с паровичком-кукушкой. Так что, для того чтобы положить под колеса петарду или камень, не нужно было далеко ходить.

В-третьих, соседство штаба. Там, за высокой каменной стеной, выходящей на полянку, находился таинственный мир, днем и ночью охраняемый часовыми. Там шумели машины штабной типографии. Ветер переносил через забор вороха удивительно интересных обрезков: лент, полосок, бумажной лапши.

На полянку же выходили и окна писарских квартир. Взобравшись на камень, можно было заглянуть через решетку и посмотреть, как живут писаря, эти в высшей степени красивые, важные и молодцеватые молодые люди в длинных офицерских брюках, но в солдатских погонах.

О писарях было достоверно известно, что они самые обыкновенные «нижние чины», то есть те же солдаты. Но какая громадная разница была между ними и солдатами! Может быть, за исключением квасников, писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе.

Горничные из соседних домов при виде писаря дрожали и бледнели, каждую минуту готовые упасть в обморок. Они нещадно палили себе виски и волосы щипцами, пудрили нос зубным порошком и румянили щеки конфетной бумажкой. Но писаря не обращали на них внимания.

Если для любого одесского солдата горничная была существом недоступным и высшим, то для писаря это была не больше как «деревенщина», недостойная даже взгляда.

Писаря одиноко и меланхолично сидели на железных койках у себя за решеткой и, сняв мундиры, тихонько наигрывали на гитарах. Были они в длинных брюках с высоким красным стеганым корсажем и в чистых сорочках с черным офицерским галстуком.

Если же в воскресенье вечером писарь появлялся на улице, то непременно под ручку с двумя модистками в высоких прическах валиком.

Писаря были неслыханно богаты. Гаврик собственными глазами видел, как однажды писарь ехал на извозчике.

И все же, как это ни странно, писаря были всего только «нижние чины». И Гаврик собственными глазами видел, как однажды на углу Пироговской и Куликова поля генерал с серебряными погонами бил писаря по зубам, крича грозным голосом:

— Как стоишь, каналья? Как-к с-с-стоишь?

И писарь, вытянувшись и мотая головой, с вылупленными, как у простого солдата, светлыми крестьянскими глазами, бормотал:

— Виноват, ваше превосходительство! Последний раз!

Вот это двойственное положение и делало писарей существами странными, прекрасными и вместе с тем жалкими, как падшие ангелы, сосланные в наказание с неба на землю.

Была также очень интересна и жизнь простых караульных солдат, помещавшихся рядом с писарями.

У солдат тоже было два естества.

Одно — это когда они стояли попарно, в полной караульной форме с подсумками, у алебастрового штабного подъезда, каждую минуту лихо вытягиваясь и делая по-ефрейторски «на краул», то есть отводя немного в сторону хорошо смазанный салом штык, перед входящим или выходящим офицером.

Другое естество было простое, домашнее, крестьянское, когда они сидели в казарме, пришивая пуговицы, чистя сапоги ваксой или играя в шашки, а по-ихнему — «в дамки».

На окнах у них вечно сушились миски и деревянные ложки, лежало много объедков черного солдатского хлеба, которые они охотно отдавали нищим.

С мальчиками они разговаривали также охотно, но задавали такие вопросы и произносили такие слова, что у мальчиков горели уши и они в ужасе разбегались.

Оба двора, покрытые асфальтом, как нельзя лучше подходили для игры в классы. По асфальту можно было превосходно чертить углем и мелом клетки с цифрами. Гладкие морские камешки скользили замечательно.

Если же дворник, выведенный из терпения детским гвалтом, выгонял игроков метлой, очень удобно было тотчас перейти на другой двор. Кроме того, в доме имелись чудесные таинственные подвалы с дровяными сараями. Прятаться в этих сараях среди дров и различной рухляди, в пыльной сухой тьме, в то время как на дворе яркий день, было неопишмым блаженством.

Одним словом, дом, где жил Петя, во всех отношениях был превосходный.

Гаврик вошел во двор и остановился под окнами Петинной квартиры, находившейся на втором этаже.

Двор, рассеченный наискось резкой, полуденной тенью, был совершенно пуст. Ни одного мальчика! Очевидно, все или в деревне, или на море.

Большинство окон закрыто ставнями. Знойная, полуденная, ленивая тишина. Ни звука.

Только откуда-то издалека — может быть, даже с Ботанической улицы — слышатся урчанье и выстрелы раскаленной сковородки. Судя по запаху, где-то жарится кефаль на подсолнечном масле.

— Петя! — закричал Гаврик вверх, приложив ко рту ладошки.

Молчание.

— Пе-еть-ка!

Ставни закрыты.

— Пе-е-е-етька-а-а-а!!

Форточка в кухне отворилась, и выглянула повязанная белым платком голова кухарки Дуни.

— Еще не приехали, — быстро сказала она обычную фразу.

— А когда приедут?

— Ожидаем сегодня вечером.

Мальчик сплюнул и растер ногой. Помолчал.

— Слушайте, тетя, как только он приедет, скажите, что Гаврик приходил.

— Слушаюсь, ваше благородие.

— Скажите, что я завтра утречком зайду.

— Свободно можешь не заходить. Нашего Петю теперь в гимназию будут отдавать. Так что — до свиданья всем вашим шкодам.

— Ладно, — хмуро буркнул Гаврик, — вы только, главное, скажите. Скажете?

— Скажу, не плачь.

— До свиданья, тетя.

— До свиданья, прекрасное создание.

Как видно, самой Дуне до такой степени надоело летнее безделье, что она даже снизошла до шутливой разговора с маленьким босяком.

Гаврик подтянул штаны и побрел со двора.

Плохо дело! Как же теперь быть?

Можно было, конечно, сходить к старшему брату Терентию на Ближние Мельницы. Но, во-первых, эти Ближние Мельницы бог знает где — туда и обратно часа четыре, не меньше. А во-вторых, после беспорядков еще неизвестно, дома ли Терентий.

Очень может быть, что он где-нибудь прячется или сам «сидит на дикофте», то есть самому нечего есть.

Что ж понапрасну бить ноги — не казенные!

Мальчик вышел на полянку и, проходя мимо, заглянул в окна к солдатам.

Солдаты как раз только что пообедали и полоскали на подоконнике ложки. Куча недоеденного хлеба сохла на сильном солнце.

Мухи ползали по черным губчатым кускам с каштановой, даже на вид кисленькой коркой.

Гаврик остановился под окном, очарованный зрелищем этого изобилия.

Он помолчал и вдруг, неожиданно для самого себя, сказал грубо:

— Дядя, дайте хлеба!

Но тут же спохватился, подобрал садок и пошел дальше, показав солдатам щербатую улыбку:

— Та нет, я так! Не надо.

Но солдаты сгрудились на подоконнике, крича и свистя мальчику:

— Эй! Псс! Куда побёг? Вертай назад!

Они протягивали ему через решетку куски хлеба:

— Бери! Не бойсь!

Он нерешительно остановился.

— Подставляй рубаху!

В их криках и шуме было столько веселого добродушия, что Гаврик понял: не будет ничего унижительного, если он возьмет у них хлеб. Он подошел и подставил рубаху. Полетели куски.

— Ничего, поешь нашего солдатского, казенного! Приучайся!

Кроме хлеба, которого накидали фунтов пять, солдаты навалили еще порядочно вчерашней каши.

Мальчик аккуратно уложил все это в садок и, провожаемый крепкими шутками насчет действия на живот солдатской пищи, отправился домой помогать дедушке чинить перемет.

К вечеру они снова вышли в море.

15

ШАЛАНДА В МОРЕ

Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришел в себя.

Прежде всего он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть.

Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплевываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приема стянул пиджак, тяжелый от воды, как чугун.

Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвиться вокруг его ног.

Матрос пихнул его несколько раз, пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света.

Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем.

Матрос яростно нога об ногу сдирал эти грубые флотские сапоги с рыжими голенищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с головой, то высываясь из волны по плечи.

Сапоги не поддавались. Тогда он набрал в легкие побольше воздуха и схватил сапог руками. Погрузившись с головой в волну, он рвал его за скользкий каблук, мысленно ругаясь самыми последними словами и проклиная все на свете.

Наконец ему удалось стащить проклятый сапог. Другой пошел легче.

Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В горле горело от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался.

Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду.

Он почти не спал двое суток, прошел пешком верст сорок или пятьдесят, переволновался. В глазах было темновато. Впрочем, может быть, оттого, что быстро наступал вечер.

Вода потеряла свой дневной цвет и стала какой-то хотя и глянцевицей, ярко-гелиотроповой на поверхности, но страшной, почти черной в глубине.

Снизу, с поверхности моря, берега совсем не было видно. Горизонт до крайности сузился. Только чистое небо с края светилось прозрачной зеленью заката со слабенькой, еле заметной звездочкой.

Значит, в той стороне берег и туда надо плыть.

На матросе остались лишь рубаха и подштанники. Они почти не мешали. Но голова кружилась, руки и ноги ломило в суставах, плыть становилось все труднее.

Иногда ему казалось, что он теряет сознание. Иногда начинало тошнить. А то вдруг его охватывал короткий припадок страха. Одиночество и глубина пугали его.

Раньше с ним этого никогда не бывало. Похоже на то, что он заболел.

Мокрые короткие волосы казались сухими, горячими и такими жесткими, что кололи голову.

Вокруг не было ни души.

Вверху в пустом вечерющем воздухе пролетел мартын на толстых крыльях и сам толстый, как кошка. В длинном, изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку.

Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвется сердце, и он пойдет ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы.

Вдруг он услышал нежный всплеск весел и немного погодя увидел почти черный силуэт шаланды.

Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал ее и успел схватиться за высокую корму.

Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в шаланду.

— А ну, не балуйся! — закричал Гаврик сумрачным басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом.

Появление этой головы несколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами.

Иные из них, случалось, заплывали версты за три, за четыре от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов.

Но уж если ты такой герой, так не хватайся за чужую шаланду и не отдыхай, а плыви сам! А здесь люди и без тебя усталые, только что с работы.

— А ну, не валяй дурака, отцепляйся! А то сейчас веслом как двину!..

И мальчик для пущей остротки даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь-в-точь как это делал в подобных случаях дедушка.

— Я... больной... — задыхаясь, сказала голова.

Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи.

Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец: пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают.

— Ты что, тонул?

Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке.

Гаврик и дедушка побросали весла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжелое тело в шаланду.

— Ух ты, какой горячий! — сказал дедушка, переводя дух.

Действительно, матрос, хотя дрожал и был мокр, весь так и горел сухим, болезненным жаром.

— Дядя, хотите напиться? — спросил Гаврик.

Матрос не ответил. Он только бессмысленно повел глазами с мутной поволокой и пошевелил воспаленным ртом.

Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвел его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило.

Голова упала и стукнулась о банку.

Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его в потемках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клепке, кое-как напился.

Дедушка покрутил головой:

— История!..

— Дядя, откуда вы? — спросил мальчик.

Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил ее в бессилии.

— Ой, ну его к черту! — пробормотал он неразборчивой скороговоркой. — Не показывайте меня людям... Я матрос... скройте где-нибудь... а то повесят... ей-богу, правда... святой истинный...

Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку. Хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам прошла поволока.

И он опять потерял сознание.

Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Время было такое, что лучше всего — знать да помалкивать.

Они осторожно положили матроса на решетчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на весла.

Гребли они помалёньку, не спеша, с таким расчетом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже, прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал. К счастью, на берегу никого не было.

Стояла теплая, глубокая тьма, полная сверчков и звезд.

Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Таинственно зашуршала галька.

Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости.

Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что все в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон. Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему, уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая.

Гаврик расставил ноги крепче и прошептал:

— Идти можете?

Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик.

— Потихонечку, потихонечку,— приговаривал дед, поддерживая матроса за спину.

— Тут недалеко, дядя... два шага...

Они наконец поднялись на горку. Их никто не видел. А если бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком. Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орет песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопошки.

Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку.

Дедушка заложил окошечко куском ящичной фанеры и плотно притворил дверь. Лишь после этого он зажег маленькую керосиновую лампочку без стекла, прикрутив фитиль насколько возможно короче.

Лампочка стояла в углу, на полке, покрытой старой газетой.

Там же были солдатский хлеб, завернутый в сырую тряпочку, чтоб не высох, кружка, сделанная из консервной банки, жестяная мисочка с солдатской кашей, две деревянные ложки, немного крупной серой соли в большой синей раковине мидии — словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.

Старая, до черноты закопченная икона св. Николая-чудотворца — покровителя рыбаков, прибитая в углу над полкой, смотрела продолговатым кофейным пятном древнего лика и жуткими глазами киевского письма.

Сейчас по этому вековому лицу снизу вверх струились легкая копоть и свет лампочки. Лицо, казалось, живет, дышит...

Давно уже дедушка не верил ни в бога, ни в черта. От них он не видел в жизни своей ни добра, ни зла. А в Николая-чудотворца верил.

Да и как же не верить в святого, помогающего человеку в его тяжелом и опасном ремесле? Ведь ничего не было в жизни дедушки важнее рыбацкого ремесла.

Но, по правде сказать, последнее время чудотворец стал что-то сдавать. Когда дедушка был помоложе, имел хорошую снасть, парус, силы, чудотворец — ничего, помогал. Был от чудотворца в хозяйстве кое-какой толк. Но чем старше становился дед, тем меньше было толку и от святого.

Конечно, если паруса нет в рыбацком хозяйстве, если силы у старика с каждым днем убывают, если денег не хватает на мясо для наживки, то будь ты хоть самый распрочудотворец —

рыба пойдет мелкая, никудышная... И нечего от человека требовать.

Видно, и чудотворцу нелегко идти против старости и бедности.

Все же старику становилось подчас горько и обидно смотреть на строгого, но бесполезного святого. Правда, есть-пить он не просит, висит в углу смиренно. Ну, да уж пусть висит: авось когда-нибудь и поможет. Со временем у старика вошло в привычку снисходительное, даже как бы несколько насмешливое отношение к чудотворцу.

Возвращаясь после лова в хибарку — а лов теперь по большей части был из рук вон плох,— дедушка ворчал, искоса поглядывая на смущенного чудотворца:

— Ну что, старый хрен, опять мы с тобой сели? Такую мелочь привезли, что на привоз совестно нести. Не бычки, а воши.

И он добродушно прибавлял, для того чтобы не окончательно унижать угодника:

— Да что! Разве ж настоящий крупный бычок на креветку пойдет? Настоящему сытому бычку на креветку плевать. Ему надо мясо, настоящему, сытому бычку. А где мы его возьмем с тобой, мясо-то? Его чудом не купишь? Вот то-то!

Однако сейчас старику было не до угодника. Его сильно беспокоил матрос. И не столько его жар и беспамятство, сколько предчувствие смертельной опасности, угрожающей ему неведомо откуда.

Разумеется, дедушка кое-что соображал, кое о чем догадывался. Но все же, чтобы помочь человеку, надо бы знать побольше.

А матрос, как на грех, лежал в забытьи, разметавшись в жару по лоскутному одеялу, и смотрел перед собой открытыми, но ничего не видящими глазами.

Одна его рука свесилась с койки, а другая лежала на груди. На ней дедушка рассмотрел голубой якорек.

По временам матрос пытался вскочить; мыча и обливаясь горячим потом, он грыз в беспамятстве руку, как бы стараясь выгрызть якорь, точно, не будь этого якоря, ему сразу бы полегчало.

Дедушка силой укладывал его обратно, обтирая ему лоб и приговаривая:

— Ну, ляжь... Ляжь, я тебе говорю... И спи, не бойся... Спи!

Гаврик на огороде кипятил в казанке воду — напоить больного чаем. То есть не чаем, а, вернее сказать, той душистой травкой, которую дедушка собирал в мае на окрестных холмах, сушил и употреблял вместо чая.

«БАШЕННОЕ, ОГОНЬ!»

Ночь прошла очень тревожно.

Матрос рвал на груди рубаху. Ему было душно.

Дедушка потушил коптилку и отворил дверь, чтобы впустить свежего воздуха.

Матрос увидел звездное небо и не понял, что это такое. Ночной ветерок влетел в хибарку и освежил его голову.

Гаврик лег на бурьян возле двери, прислушиваясь к каждому шороху. До утра мальчик не сомкнул глаз. Отлежал локоть. Дедушка устроился на земляном полу хибарки и тоже не спал, слушая сверчков, волну и стоны больного, который иногда вдруг взволнованно вскакивал, крича слабым, прозрачным голосом:

— Башенное, огонь! Кошуба! Бей, башенное!..

И всякую другую чепуху.

Тогда дедушка крепко брал его за плечи, осторожно тряс и шептал в самый его рот, дышащий жаром:

— Ляжь, не кричи. За ради самого господа бога, не бузуй. Ляжь и молчи. Наказанье!

И матрос понемножку утихал, поскрипывая зубами.

Кто же такой был этот странный больной?

В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков.

Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля.

С первой минуты восстания, с той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда раздались первые винтовочные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда матрос Матюшенко с треском отодрал дверь адмиральской каюты, той самой каюты, мимо которой до сих пор страшно было даже проходить, с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов,— в легком тумане, в восторге, в жару,— до тех пор, пока не пришлось сдать румынам и высадиться в Констанце.

Никогда до сих пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька.

«Потемкин» стоял совсем близко от пристани.

Среди фелюг и грузовых пароходов, трехтрубный и серый, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером он был бессмысленно велик.

Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями все еще висел белый андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечеркнутый пакет.

Но вот флаг дрогнул, опал и короткими стежками стал опускаться.

Обеими руками снял тогда Родион бескозырку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко легли в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобrivцы.

— Просто срам... Чистый срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов хоть залейся, наводчики один в одного. Даром Кошубу не послушались. Дорофей Кошуба правильно говорил: кондукторов, паршивых шкур,— за борт! «География Победоносца» — потопить. Идти на Одессу высаживать десант. Весь бы одесский гарнизон подняли, всех бы рабочих, все бы Черное море! Эх, Кошуба, Кошуба, было бы тебя послушаться... А то такая ерунда получилась!

В последний раз поклонился Родион своему родному кораблю.

— Ладно,— сказал он сквозь зубы,— ладно. За нами не пропадет. Все равно всю Россию подыдем.

Через несколько дней, купив на последние деньги вольную одежду, он ночью переправился через гирло Дуная, возле Вилково, на русскую сторону.

План у него был такой: добраться степью до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до родного села Нерубайского — рукой подать. А там — как выйдет...

Одно только знал Родион наверняка: что к прошлому для него все пути заказаны, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском броненосце и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди желтых и розовых мальв, отрезана от него навсегда.

Теперь — либо на виселицу, либо скрываться, поднять восстание, жечь помещиков, идти в город искать комитет.

Он почувствовал себя худо еще в дороге. Но останавливаться было уже нельзя. Он шел больной.

И вот теперь... Что это с ним происходит? Где он лежит? Почему в дверях качаются звезды? И звезды ли это?

Черным морем обступила Родиона ночь. Звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими карантинными огнями. Зашумел город, загорелась в порту эстакада, побежали люди, путаясь в бунтующем огне. Длинными рельсами упали вдоль мостовых железные винтовочные залпы.

Качнулась ночь корабельной палубой. Зеркальный круг прожектора побежал по волнистому берегу, добела раскаляя углы домов, вспыхивая в стеклах, выдергивая из темноты бегущих солдат, красные лоскутья флагов, зарядные ящики, лафеты, поваленные поперек улицы конки.

И вот он видит себя в орудийной башне.

Наводчик глазом припал к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город пустое дуло, сияющее внутри зеркальными нарезками. Стоп! Как раз точка в точку против синего купола театра, где осанистый генерал держит военный совет против мятежников.

В башне канителится жидкий телефонный звонок.

А может быть, это сверчки воркуют в степи?

Нет, это телефон. Электрический подъемник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд — он качается на цепях — прямо в руки Родиона.

А может быть, это не снаряд, а прохладная дыня? Ах, как хорошо было бы напиться! Но нет, нет, это снаряд.

— Башенное, огонь!

И в тот же миг зазвенело в ушах, словно ударило снаружи в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь, и обварило запахом жженого гребня.

Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом.

Перелет.

Разгорелись у Родиона руки. Но вот опять сверчки хрустальным ручейком пробираются среди частых звезд и бурьяна.

А может, это воркует телефон?

И второй снаряд сам собой лезет из подъемника в руки матроса. Доконаем генерала, погоди!

— Башенное, огонь! Башенное, огонь!

— Ляжь, не кричи... Может, тебе дать напиться? Ляжь тихо...

...И вторая полоса легла поперек бухты. Опять перелет. Ничего, авось в третий раз не промажем! Снарядов небось хватит. Полны погреба.

Легче пушинки и вместе с тем тяжелее дома лег в ослабевшие ладони третий снаряд.

Только бы пустить его поскорее. Только бы дым повалил поскорее из синего купола. А там и пойдет, и пойдет!..

Но что-то не воркует телефон, перестали звенеть сверчки... Поумирали там все наверху, что ли?

Или это утро наступает такое тихое и такое розовое?

Башня словно сама собой поворачивается обратно. «Отбой!» — и снаряд, выскользнув из упавших рук, опускается обратно в погреб, гремя цепями подъемника. Нет, нет, это покатила из пальцев кружка и нежно журчит водица с койки на пол.

И тишина, тишина...

«Да что ж это такое? Эх, продали, продали волю, чертовы

шкуры! Сдрейфили! Уж если бить, так бить до конца! Чтоб камня на камне не осталось!»

— Бей, башенное, бей!..

— Ох, господи, господи, святой чудотворец Николай! Ляжь, выпей еще воды. Несчастье!..

Слабая, розовая тишина утра нежно и успокоительно прилегла к воспаленной щеке Родиона. Далеко на золотистом обрыве кричали петухи.

17

ХОЗЯИН ТИРА

Дедушка и внучек обсудили положение и решили, что больного покуда не следует никому показывать. Тем более не следует отправлять его в городскую больницу, где обязательно спросят паспорт.

По мнению дедушки, у матроса — обыкновенная, не слишком даже сильная горячка, которая скоро пройдет. А там пускай сам себе обдумает.

Между тем уже совсем рассвело, и надо было опять выходить в море.

Больной не спал. Ослабевший от ночного пота, он неподвижно лежал на спине, глядя живыми, сознательными глазами на образ чудотворца с пучком свежих васильков, заткнутых за согнутую от времени темную доску.

— Чуешь? — спросил дедушка, подходя к больному.

Тот слабо пошевелил губами, как бы желая промолвить: «Чую».

— Полегчало?

Больной в знак утверждения прикрыл глаза.

— Может, ты хочешь кушать?

Дедушка покосился на полку с хлебом и кашей.

Матрос слабо качнул головой: «Нет».

— Ну, как хочешь. Слухай, сынок... Нам надо выходить в море по бычки, чуешь? Так мы тебя здесь оставим одного и запрем на замочек. Можешь нам свободно доверять. Мы такие же самые люди, как ты, — черноморские. Чуешь? Ты себе тут тихонечко лежи и отдыхай. А если кто-нибудь постучится, так ты просто молчи, и больше ничего. Мы с Гавриком сразу управимся и тоди быстренько вернемся. Я тебе тут в кружечке воду поставлю: захочешь, так напейся, это ничего. И ни об чем не думай, можешь вполне надеяться. Ты чуешь?

Старик разговаривал с больным, как с несмышленным ребенком, через каждые два слова приговаривая: «Чуешь?»

Матрос смотрел на него улыбающимися через силу глазами и прикрывал их изредка: дескать, не беспокойся, понимаем, спасибо.

Заперев матроса, рыбаки отправились на промысел и часа через четыре возвратились назад, найдя дома все в полном порядке. Больной спал.

На этот раз им повезло. Они сняли с перемета сотни три с половиной прекрасных, крупных бычков, и дедушка, благо-склонно посмотрев на чудотворца и пожевав морщинистыми губами, заметил:

— Ничего. Сегодня ничего. Хотя и на креветку, а крупные. Дай бог тебе здоровья.

Но чудотворец, в полном сознании своего могущества, смотрел на деда строго и даже высокомерно, как бы желая сказать: «А ты еще сомневался, хреном называл. Сам ты хрен».

Дедушка решил сам идти с бычками на привоз. Надо было наконец выяснить отношения с мадам Стороженко. А то что ж это такое получается: сколько ни носи товара, все равно остается долг, а живых денег не видно!

Так и рыбачить, выходит, неинтересно.

Сегодня для этого представлялся самый подходящий случай. Не стыдно показать товар. Бычки — один в одного.

Гаврику, конечно, тоже бы хотелось сходить сегодня на привоз, чтобы на обратном пути повидаться с Петькой и наконец выпить на углу квасу.

Но опасно было оставлять матроса одного, так как было воскресенье: на берег, наверно, понаедет множество народа из города.

Дедушка взвалил на плечо еще мокрый садок и пошлепал на привоз, а Гаврик переменил в кружке воду, прикрыл матросу ноги, чтоб не кусали мухи, и, навесив на дверь замок, отправился немножко пройтись.

Тут совсем недалеко, на берегу, находились различные увеселительные заведения: ресторанчик с садом и кегельбаном, тир, карусель, будки с зельтерской водой и восточными сладостями, автоматы-силомеры — словом, маленькая ярмарка. Походить по ней и поглазеть было для мальчика настоящей радостью.

Обедни еще не отошли. Вверху, над обрывами, плыл коло-кольный звон приморских церквей.

Ветер, совершенно не ощутимый внизу, иногда плавно про-носил по небу белоснежное облако, такое же круглое и яркое, как этот звон.

Гулянье по-настоящему еще не начиналось, но несколько нарядно разодетых горожан уже слонялись возле карусели, ожидая, когда же наконец снимут с нее парусиновый чехол.

Из кегельбана доносилось медленное чугунное ворчанье тяжелого шара, пущенного по узкой дороге. Шар катился ужасно долго, его шум все слабел и слабел, пока вдруг, после короткой тишины, не долетало из-за ограды, поросшей желтой акацией, легкое музыкальное шелканье рассыпавшихся кеглей.

В тире кто-то изредка постреливал. Иногда после слабенького отрывистого выстрела слышался звон разбитой бутылки или начинал шуметь механизм движущейся мишени.

Тир притягивал к себе неудержимо.

Гаврик подошел к балагану и остановился возле дверей, жадно вдыхая ни с чем не сравнимый, какой-то синевато-свинцовый запах пороха. Особый, кисленький и душный вкус выстрела чувствовался даже на языке.

О, эти ружья, расставленные так заманчиво на специальных стойках! Маленькие, точно литые приклады, чисто сработанные из тяжелого, как железо, дерева, нарезанного острой сеткой в тех местах, где надобно братья рукой, чтобы не скользило. Толстый, но длинный граненый ствол синей вороненой стали с маленькой, как горошинка, дырочкой дула. Синяя стальная мушка. И так легко и просто поднимается рамка затвора.

Даже самые богатые мальчики мечтали о таком ружье. Слово «монтекристо» произносилось с замиранием сердца. В нем заключалось всеобъемлющее понятие сказочного богатства, счастья, славы, мужества. Обладать монтекристо было даже больше, чем иметь собственный велосипед. Мальчики, имевшие монтекристо, были известны далеко за пределами своего квартала. О них так и говорилось: «Тот Володька с Ришельевской, у которого монтекристо».

Конечно, Гаврик не смел мечтать о монтекристо. Он даже не смел мечтать из него выстрелить, так как выстрел стоил бессовестно дорого: пять копеек. Быть стрелком мог позволить себе только очень состоятельный человек. Гаврик смел мечтать только прицелиться из чудесного ружья. Хозяин тира иногда доставлял ему это удовольствие.

Но теперь в тире находился посетитель, так что сейчас об этом нечего было и думать. Может быть, когда стрелок уйдет, Гаврик попросит хозяина, и тогда...

Но посетитель не торопился уходить. Он стоял, расставив плотные ноги в закрытых скороходовских сандалиях, и не столько стрелял, сколько разговаривал с хозяином тира.

Гаврик улучил минуту, когда хозяин оглянулся, и учтиво поздоровался:

— Бог помощь, дядя. С праздником.

Хозяин с большим достоинством ответил медленным кивком головы, как и подобало владельцу такого необыкновенного увеселительного предприятия. Это был хороший признак.

Значит, хозяин в духе и, весьма-весьма возможно, даст поддержать монтекристо.

Мальчик счел возможным приблизиться и даже стать на пороге тира.

Он с жадным восхищением рассматривал висящие над прилавком пистолеты, ветвистую подставку для стрельбы с упора, заводные игрушки мишеней, из которых одна особенно нравилась мальчику.

Это был японский броненосец с пушками и флагом среди резко зеленых волн жестяного моря. Из моря торчал на палочке маленький кружок. Стоило в него попасть, как броненосец с шумом раскалывался пополам и тонул, а на его месте выскакивал жестяной веер взрыва.

Конечно, среди барабнящих зайцев, балерин, рыболовов с башмаком на удочке и бутылок, движущихся одна за другой на бесконечной ленте, японский броненосец занимал первое место по блестящей выдумке и художественному выполнению.

Всем было известно, что японцы совсем недавно под Цусимой пустили ко дну весь русский флот, и среди стрелков непременно находился охотник отомстить япошкам.

В тире был еще настоящий фонтанчик. Его пускали по особому заказу. Хозяин клал на струю легонький целлулоидный шарик. Вода подбрасывала его, вертела: то вдруг опускала, то вдруг подымала. Это было настоящее чудо, загадка природы.

Попасть в него было неслыханно трудно. Любители, войдя в азарт, просаживали по десять—пятнадцать пуль и чаще всего уходили ни с чем.

Но уж если кто-нибудь сбивал шарик, то за это ему полагался лишний выстрел бесплатно.

— Значит, ничего такого у вас вчера вечером не случилось? — продолжал разговор посетитель, играя изящным ружьем, совсем маленьким в его больших лапах.

— Как будто бы ничего.

— Так-с.

Стрелок искал глазами, во что бы прицелиться. Он снял синее пенсне, отчего на его мясистом носу обнаружились две коралловые вдавлины, и прицелился в зайца с барабаном. Но затем раздумал и опустил ружье.

— И местные рыбаки ничего такого не рассказывали?

— Не рассказывали.

— Гм...

Посетитель опять прикинул монтекристо и опять его опустил.

— А я слышал, что вчера вечером здесь против берега какой-то человек с «Тургенева» упал. Ничего не слышали?

— Ничего.

У Гаврика перехватило дыхание, как будто его вдруг

окатили целым ведром ледяной воды. Сердце так стиснулось, что его не стало слышно. Ноги ослабли. Мальчик боялся пошевелиться.

— А я слышал, что будто прыгнул с парохода один человек, которого преследует полиция. Вот тут, против этого берега. Не знаете?

— От вас первого слышу.

Как видно, хозяину тира уже давно надоел этот усатый болтун.

Хозяин с учтивым достоинством вертел в руках зеленую коробочку с патрончиками и почти зевал. Он совершенно справедливо полагал, что если ты пришел стрелять, то и стреляй. Если же тебе хочется поговорить с человеком, то — отчего же? — можно и поговорить между двумя выстрелами. Но только, разумеется, поговорить на какую-нибудь интересную тему: например, о велосипедных гонках на циклодроме или же о русско-японской войне.

На его потертом, истерзанном тайными страстями лице неудачника отражалась томительная скука.

Гаврику было его от всего сердца жаль. Он, как и все другие дети, почему-то очень любил этого человека с косо подрезанными бачками, с кривыми, как у таксы, ногами, с волосатой грудью, просвечивавшей сквозь сетчатый тельник густой татуировкой.

Гаврик знал, что, несмотря на приличные заработки, у него никогда не было копейки за душой. Всегда он кому-нибудь должен, всегда чем-то озабочен до крайности. Про него ходили слухи, что когда-то он был знаменитый цирковой наездник, но однажды за какую-то подлость ударил хозяина цирка хлыстом по лицу. Его выгнали. Лишенный куска хлеба, с волчьим билетом в кармане, он стал играть на бегах, и игра погубила его. Теперь он играл во все игры, не брезгая даже играть с мальчишками в «пожара́» по копейке.

Страшный азарт вечно терзал его душу.

Было известно, что иногда он проигрывал с себя все. Например, штиблеты, бывшие на нем, принадлежали не ему. Он их проиграл еще в начале лета в «двадцать одно» и теперь, закрывая на ночь свое заведение, снимал их и шел домой босиком, держа под мышкой ящик с ружьями и пистолетами, которые — из страха проиграть их — сдавал до утра на хранение одному знакомому дворнику с Малой Арнаутской улицы.

Однажды на глазах у Гаврика он поспорил на полтинник с каким-то гулявшим по берегу барином, что попадет из монте-кристо в воробья на лету. Разумеется, он промазал.

Гаврику до слез жалко было смотреть, как он долго с искусственным постыдным удивлением рассматривал ружье,

пожимал плечами и наконец полез куда-то в подкладку своего латаного пиджачка. Он извлек оттуда полтинник и, бледный, подал барину. Барин стал было со смехом отказываться, говоря, что это было в шутку. Но хозяин тира посмотрел вдруг на него такими сумасшедшими, жалкими и вместе с тем грозно налившимися кровью глазами, что тот поспешил взять полтинник и смущенно спрятал его в карман чесучового пиджака.

В этот день хозяин тира не закрывал своего заведения на обед.

— ...Я вам советую, господин, выстрелить в балерину. Увидите, как она пикантно сделает ножками,— с польским акцентом сказал хозяин, чтобы прекратить надоевший разговор и вернуть посетителя к стрельбе.

— Однако же странно, что никто ничего не знает,— сказал посетитель и вдруг заметил Гаврика.

Он осмотрел его бегом с ног до головы:

— Мальчик, ты тутошний?

— Тутошний,— неожиданно тонким голосом сказал мальчик.

— Рыбацкий?

— Рыбацкий.

— Чего ж ты стесняешься? Подойди, не бойся.

Гаврик смотрел на жесткие, крепко закрученные черные, как вакса, усы, на длинную полоску пластыря поперек щеки и, машинально переступая ногами, с ужасом приближался к господину.

18

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— У тебя есть батька и матка?

— Ни.

— С кем же ты живешь?

— С дедом.

— А дед кто?

— Старик.

— Понятно, что старик, а не молодой. А что он делает?

— Рыбу ловит.

— Значит, рыбак?

— Ну, рыбак. Рыбалка.

— А ты что?

— Хлопец.

— Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю: что ты делаешь?

— А ничего. Дедушке помогаю.
— Стало быть, вместе рыбачите?
— Эге.
— Так-с. Понятно. Как же это вы так рыбачите?
— А просто. Ставим на ночь перемет, а потом утром вытягиваем бычков.

— Стало быть, выходите в море на шаланде?
— Эге.
— Каждый день?
— Как это? Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю.
— Экий ты дурень! Я тебя спрашиваю: каждый ли вы день выходите в море на шаланде?

— А то как же!
— Утром и вечером?
— Ни.
— Что ни?
— Только утром.
— А вечером?
— И вечером тоже.
— Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже?

— Ни. Мы вечером только ставим перемет. А бычков — тех вытягиваем утречком.

— Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите?
— Ни. Вечером только ставим.
— Ой, господи боже! Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море?

— А как же!
— Значит, вечером тоже выходите?
— Ни. Вечером не вытягиваем. Вытягиваем только утречком.

— А вечером выходите ставить?
— А как же!
— Стало быть, вечером тоже выходите?
— Эге.
— Ну, вот видишь, какой ты дурень! С тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. Ты зачем такой дурень?

— Я маленький.

Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щелкнул его по голове.

— Эх ты, рыбалка!

Но мальчик вовсе не был таким дурнем.

Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выпрашивает про матроса. Только делает

вид, что пришел пострелять. А на самом деле, кто его знает, что у него на уме. Наверно, какой-нибудь из сыскного. Еще, чего доброго, пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке и скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог!

Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. От дурачка не много узнаешь.

Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу, ковыряя на губе заёду.

Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышленышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всем выпросить. Он не без основания полагал, что дети — народ любопытный и наблюдательный и знают лучше взрослых, что делается вокруг.

— А как тебя звать, мальчик?

— Гаврик.

— Так-с. Стало быть, Гаврюха?

— Эге. Гаврюха.

— Ну, вот что, Гаврюха: хочешь выстрелить?

Даже уши у мальчика и те покрылись горячей краской. Однако он тут же овладел собой и, продолжая изображать дурачка, пропищал совсем тоненьким голоском:

— А у меня, дяденька, нету пятачка.

— Это я понимаю, что у тебя нету капиталов. Ничего. Один раз можешь выстрелить, я заплачу.

— Дяденька, а вы с меня не смеетесь?

— Не доверяешь? Ну хорошо... Вот!

С этими словами усатый выложил на прилавок большой, совершенно новый пятак.

— Пали!

Гаврик, задохнувшийся от счастья, нерешительно посмотрел на хозяина тира.

Но у того на лице появилось уже строго официальное выражение, исключавшее даже самую возможность дружеских перемигиваний.

Он посмотрел на мальчика, как на незнакомого, и, учтиво склонившись над прилавком, спросил:

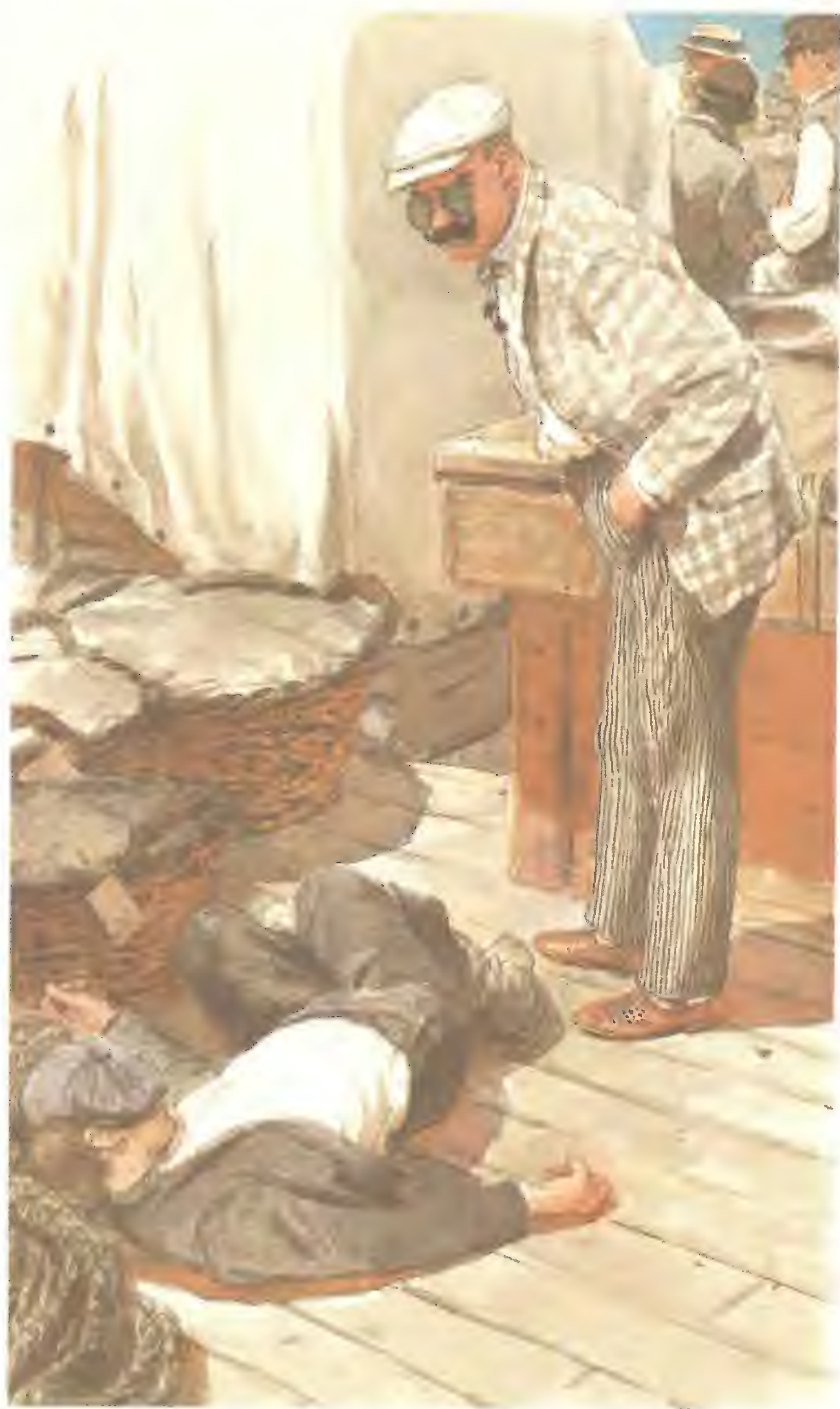
— Из чего вы предпочитаете стрелять, молодой человек: из пистолета или из ружья-с?

Тут Гаврик и взаправду почувствовал себя дурачком — до того растерялся от так неожиданно подвалившего ему счастья.

Он обалдело улыбнулся и, почти заикаясь, пролепетал:

— Из монтекристо.

Хозяин элегантно зарядил ружье и подал его мальчику.



Гаврик, сопя, припал к прилавку и стал целиться в бутылку. Конечно, ему больше хотелось бы выстрелить в японский броненосец. Но он боялся промахнуться, а бутылка была большая.

Мальчик старался как можно дольше растянуть наслаждение прицеливания. Поцелившись немножко в бутылку, он стал целить в зайца, потом в броненосец, потом опять в бутылку. Он переводил мушку с кружка на кружок, глотая слюну и с ужасом думая, что вот он сейчас выпалит — и все это блаженство кончится.

Гаврик глубоко вздохнул, положил ружье и, виновато взглянув на хозяина, сказал усатому:

— Знаете что, дядя: я лучше не буду стрелять, я уже все равно поцелился, а вы меня лучше угостите в будке зельтерской с сиропом. Вам же дешевле обойдется.

Усатый ничего не имел против, и они, стараясь не глядеть на хозяина, на его презрительную и вместе с тем насмешливо-равнодушную физиономию, отправились к будке.

Здесь усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом, стоившей две копейки, господин потребовал ни больше ни меньше, как целую большую бутылку воды «Фиалка» за восемь копеек.

Мальчик даже не поверил своим глазам, когда будочник достал белую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскрутил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка.

Бутылка выстрелила, но не грубо, как стрелял квас, а тоненько, упруго, деликатно. И тотчас прозрачная вода закипела, а из горлышка пошел легкий дымок, действительно распространивший нежнейший аромат самой настоящей фиалки.

Гаврик осторожно взял обеими руками, как драгоценность, холодный кипучий стакан и, зажмурившись против солнца, стал пить, чувствуя, как пахучий газ бьет через горло в нос.

Мальчик глотал этот волшебный напиток богачей, и ему казалось, что на его триумф смотрит весь мир: солнце, облака, море, люди, собаки, велосипедисты, деревянные лошадки карусели, кассирша городской купальни... И все они говорят: «Смотрите, смотрите, этот мальчик пьет воду «Фиалка»!»

Даже маленькая бирюзовая ящеричка, выскочившая из бурьяна погреть на солнце бисерную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищуренными глазами, как бы говоря тоже: «Смотрите на этого счастливого мальчика: он пьет воду «Фиалка»!»

Гаврик пил и вместе с тем обдумывал, как он будет вывираться, если усатый снова начнет приставать с вопросами. У мальчика на этот счет даже созрел целый план.

— Ну что, Гаврюха, понравилась тебе вода «Фиалка»?

— Спасибо, дядечка, сроду такой вкусной не пил.

— Я думаю. А скажи мне теперь: выходили вы вчера вечером в море?

— Выходили.

— Пароход «Тургенев» видели?

— А как же! Он нам чуть было весь перемет колесами не покалечил.

— А с парохода никто не прыгал?

Усатый смотрел на мальчика в упор черными мохнатыми глазами. Гаврик с трудом ухмыльнулся и преувеличенно возбужденно заговорил:

— А ей-богу, прыгал! Чтоб мне пропасть! Он ка-ак прыгнет, а брызги во все стороны ка-ак полетят! А он как поплывет на-размашку!..

— Стоп! Да ты не брешешь? Куда ж он поплыл?

— Ей-богу, не брешу, святой истинный крест!

Тут Гаврик, хотя и знал, что это грех, быстро раза четыре подряд перекрестился.

— Как поплывет, как поплывет...

И мальчик стал, размахивая руками, показывать, как плыл матрос.

— Куда же?

— Туда! — Мальчик махнул рукой в море.

— А куда ж он потом делся?

— Потом его якась шаланда подобрала.

— Шаланда? Какая?

— Такая, знаете, большая — громадная очаковская шаланда под парусом.

— Здешняя?

— Не.

— А какая?

— С Большого Фонтана... А то, может, из Люстдорфа. Такая вся синяя-синяя и наполовину красная, громадная. Она его как подобрала, так сразу тем же ходом и пошла и пошла прямо на Люстдорф. Святой истинный крест...

— Название лодки не заметил?

— Как же, заметил: «Соня».

— «Соня»? Прекрасно. Да ты не врешь?

— Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видеть, или «Соня», или «Вера».

— «Соня» или «Вера»?

— Или «Соня», или «Вера»... или «Надя».

— А то смотри...

Тут, вместо того чтобы расплатиться, усатый шепнул будочнику на ухо что-то такое, от чего лицо будочника сразу стало

кислое. Затем он кивнул мальчику и торопливо побежал к подъему в город, как понял мальчик — на дачный поезд...

Гаврик только того и дожидался.

19

ПОЛТОРА ФУНТА ЖИТНОГО

Надо поскорее предупредить матроса.

Но Гаврик был мальчик смывленный и осторожный. Прежде чем вернуться домой, он отправился за усатым, издали наблюдая за ним до тех пор, пока собственными глазами не убедился, что тот действительно поднялся наверх и скрылся в переулке.

Только тогда мальчик побежал в хибарку. Матрос спал. Но едва щелкнул замок, как вскочил и сел на койке, повернув к двери лицо с блестящими, испуганными глазами.

— Не бойтесь, дядя, это я. Ложитесь.

Больной лег.

Мальчик долго возился в углу, делая вид, что пересматривает крючки перемета, уложенного «бухтой» в круглую ивовую корзинку. Он не знал, как приступить к делу, чтобы не слишком встревожить больного.

Наконец подошел к койке и некоторое время мялся, почесывая одну ногу о другую.

— Легче вам, дядя?

— Легче.

— Соображаете что-нибудь?

— Соображаю.

— Дать вам кушать?

Больной, обессиленный даже таким коротким разговором, замотал головой и прикрыл глаза.

Мальчик дал ему отдохнуть.

— Дядя,— сказал он через некоторое время тихо, с настойчивой лаской,— это вы вчера прыгали с парохода «Тургенев»?

Больной открыл глаза и посмотрел на мальчика снизу вверх, внимательно и очень напряженно, но ничего не ответил.

— Дядя, слушайте, что я вам скажу,— зашептал Гаврик, подсаживаясь к нему на койку.— Только вы не дергайтесь, а лежите тихо...

И мальчик как можно осторожней рассказал ему о своем знакомстве с усатым.

Больной снова вскочил и сел на койке, крепко держась руками за ее доску. Он не спускал с мальчика неподвижно расширенных глаз. Его лоб стал сырой. Однако он все время молчал. Только один раз он нарушил молчание, именно тогда, когда Гаврик ска-

зал, что у усатого на щеке был пластырь. В этом месте рассказа в глазах у больного мелькнуло какое-то дикое и веселое украинское лукавство, и он проговорил сипло, сквозь зубы:

— Это его, наверно, кошка поцарапала.

Потом он вдруг засуетился и, держась за стенку, встал на дрожащие ноги.

— Давай,— бормотал он, бестолково тычась во все стороны,— давай куда-нибудь... За ради Христа...

— Дядя, ложитесь. Вы ж больной.

— Давай... давай... Давай мою робу... Где вещи?

Он, вероятно, забыл, что скинул верхнюю одежду в море, и теперь беспомощно шарил похудевшей рукой по койке, небритый, страшный, похожий в белой рубахе и подштанниках на сумасшедшего.

Его вид был так жалок и вместе с тем так грозен, что Гаврик готов был бежать от страха куда глаза глядят.

Но все же, пересиливая страх, он с силой обхватил больного руками за туловище и пробовал уложить обратно на койку. Мальчик чуть не плакал:

— Дядя, пожалейте себя, ляжьте!

— Пусти. Я сейчас пойду.

— Куда ж вы пойдете в подштанниках?

— Дай вещи...

— Что вы говорите, дядя? Какие вещи? Ложитесь обратно. На вас ничего не было.

— Пусти. Пойду...

— Вот мне с вами наказание, если бы вы только знали, дядя! Все равно как маленький! Ложитесь, я вам говорю! — вдруг сердито крикнул мальчик, потеряв терпенье.— Что я тут буду с вами цацкаться, как с дитём!

Больной покорно лег, и Гаврик увидел, что его глаза снова подернулись горячечной поволокой.

Матрос тихонько замычал, морщась и потягиваясь:

— За ради Христа... Пускай меня кто-нибудь сховает... Пустите меня в комитет... Вы не знаете, где тут одесский комитет?.. Не стреляйте, ну вас к черту, а то весь виноград перестреляете...

И он понес чепуху. «Дело плохо»,— подумал Гаврик. В это время снаружи слышались шаги. Кто-то шел прямо к хибарке через бурьян, с шумом ломая кусты.

Мальчик весь так и сжался, не смеядохнуть. Множество самых ужасных мыслей пронеслось у него в голове.

Но вдруг он услышал знакомый кашель. В хибарку вошел дедушка.

И по тому, как старик сбросил у порога пустой садок, как высморкался и как долго и ядовито крестился на чудотворца, Гаврик безошибочно понял, что дедушка выпил.

Это случилось со стариком чрезвычайно редко и обязательно после какого-нибудь из ряда вон выходящего события, все равно — радостного или печального. На этот раз, судя по обращению к Николаю-угоднику, случай был, скорее всего, печальный.

— Ну что, дедушка, купили мясо для наживы?

— Мясо для наживы?

Старик прозрачно посмотрел на Гаврика и сунул ему под самый нос дулю.

— На́ мясо! Наживляй! И скажи спасибо нашему хрену-чудотворцу. Помолись ему, старому дурню, чтоб он лопнул! Наловить крупных бычков — это он может, а цены подходящие сделать на привозе — так это маком! Что вы скажете, господа! За такого бычка — тридцать копеек сотня! Где-нибудь это видано?

— По тридцать копеек! — ахнул мальчик.

— По тридцать, чтоб мне не сойти с этого места! Я ей: «За такой товар по тридцать копеек? Побойтесь бога, мадам Стороженко!» А она мне: «У нас бог до привозных цен не касается. У нас свои цены, а у бога свои. А если вы несогласные, то идите к жидам, может, они вам на какую-нибудь копейку больше дадут, только сначала верните мне восемьдесят копеек вашего долга». Видели вы такое? Ну, не плюнуть за это в самые ее поганые очи? Так представьте ж себе, господа, что я таки и плюнул. Перед всем привозом не посмотрел и нахаркал. Истинный крест! Наплевал ей полные очи!

Дедушка при этом стал поспешно креститься.

Но он привирал. Никому он в очи, конечно, не плевал. Он только весь затрясся, побледнел, засуетился и стал швырять рыбу из садка в корзину мадам Стороженко, бормоча: «Забиратьте и подавитесь. Чтоб вам от этих бычков повылазило!»

Мадам же Стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке двенадцать копеек липкими мсдяками, коротко заметив: «В расчете».

Дедушка взял деньги и тут же, весь клопоча от бессильного гнева, пошел в монопольку и купил за шесть копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуч о специальную терку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завернутую в тонкую бумажку.

Он одним духом вылил в горло водку и «вместо закуски», вдребезги трахнул о мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за нее копейку залога.

Затем отправился домой, купив по дороге для внука за копейку красного леденечного петуха на сосновой щепочке — ему все еще казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик, — а также два монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса.

Остальные деньги он истратил на полтора фунта житного.

По дороге его разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью куда попало, будучи в полной уверенности, что плюет в поганые очи мадам Стороженко.

— Святой истинный крест! — говорил он, дыша прямо в лицо Гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руку леденечного петуха. — Кого хочешь спроси на привозе — весь привоз видел, как я ей наплевал в поганые очи! А ты, деточка, скушай петушка, ничего. Он все равно как пряник.

Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики.

— Не трожьте его, дедушка. Он только что заснул. Пускай отдыхает.

Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шепотом сказал:

— Ссс! Ссс! Пускай теперь отдыхает. А потом, как проснется, будет есть. Житный ему нельзя: у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно, ничего.

Полюбовавшись на бублики и на больного, старик покачал головой и заметил нежно:

— Спит и ничего не чувствует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело!

Он постелил себе в углу пиджак и лег отдыхать.

Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил, не медля ни минуты, отправиться на Ближние Мельницы, к старшему брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнес в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое комитет. Но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий.

20

УТРО

Петя проснулся и был поражен, увидев себя в городской комнате, среди забытой за лето мебели и обоев.

Сухой луч солнца, пробившийся в щель ставня, пересекал комнату. Пыльный воздух был как бы косо распилен сверху до низу. Яркие освещенные опилки воздуха — пылинки, ниточки, ворсинки, движущиеся и вместе с тем неподвижные, — образовали полупрозрачную стену.

Крупная осенняя муха, пролетая сквозь нее, вдруг вспыхнула и тотчас погасла.

Не слышалось ни кряканья качек, ни истерического припадка курицы, снесшей за домом яйцо, ни глупой болтовни индюков,

ни свежего чирикания воробья, качающегося чуть ли не в самом окне на тоненькой веточке шелковицы, согнутой под ним в дугу.

Совсем другие, городские звуки слышались снаружи и внутри квартиры.

В столовой легко гремели венские стулья. Музыкально звучала полоскательница, в которой мыли поющий стакан. Раздавался «бородатый» — в представлении мальчика — голос отца, мужественный и по-городскому чужой. Электрический звонок наполнял коридор. Хлопали двери, то парадная, то кухонная, и Петя вдруг узнавал по звуку, которая из них хлопнула.

А между тем снаружи, из какой-то комнаты с окном, открытым во двор — ах, да! из тетиной, — не прекращаясь ни на минуту, слышалось пение разносчиков. Они появлялись один за другим, эти дворовые гастролеры, и каждый исполнял свою короткую арию.

— Угле-ей! Угле-е-ей! — откуда-то издалека пел русский тенор, как бы оплакивая свою былую удачу, свое улетевшее счастье. — Угле-е-ей!

Его место занимал низкий комический басок точильщика:

— Точить ножи-ножницы, бритвы!.. Чшшить ножи-ножжж, бритввв!.. Ножиножжж... Бррр-иттт...

Паяльщик появлялся вслед за точильщиком, наполняя двор мужественными руладами бархатного баритона:

— Па-аять, починять ведра, кастрюли! Па-аять, починять ведра, кастрюли!

Вбегала безголосая торговка, оглашая знойный воздух городского утра картавым речитативом:

— Груш, яблук, помадоррр! Груш, яблук, помадоррр!

Печальный старьевщик исполнял еврейские куплеты:

— Старые вещи, старые вещи! Старивэшшш... Стари-вэшшш...

Наконец, венчая весь этот концерт прелестной неаполитанской концонеттой, вступала новенькая шарманка фирмы «Нечайда», и раздавался крикливый голос уличной певицы:

Ветерок чуть колышет листочки,
Где-то слышится трель со-ло-вья.
Ты вчера лишь гуляла в платочке,
А се-го-дня гу-ляешь в шел-ках.
Пой, ласточка, пой.
Сэрце ус-па-кой...

— Углей, угле-е-ей! — запел русский тенор сейчас же после того, как шарманка ушла.

И концерт начался снова.

В то же время с улицы слышались стук дрожек, шум дачного поезда, военная музыка.

И вдруг среди всего этого гомона раздалось какое-то ужасно знакомое шипенье, что-то шелкнуло, завелось, и один за другим четко забили, как бы что-то отсчитывая, прозрачные пружинные звуки. Что это? Позвольте, но ведь это же часы! Те самые знаменитые столовые часы, которые, как гласила семейная легенда, папа выиграл на лотерее-аллегри, будучи еще женихом мамы.

Как Петя мог о них забыть! Ну да, конечно, это они! Они отсчитывали время. Они «били»! Но мальчик не успел сосчитать сколько. Во всяком случае, что-то много: не то десять, не то одиннадцать.

Боже мой! На даче Петя вставал в семь...

Он вскочил, поскорее оделся, умылся — в ванной! — и вышел в столовую, жмурясь от солнца, лежавшего на паркете горячими косяками.

— А, как не стыдно! — воскликнула тетя, качая головой и вместе с тем радостно улыбаясь так выросшему и так загоревшему племяннику. — Одиннадцать часов. Мы тебя нарочно не будили. Хотели посмотреть, до каких пор ты будешь валяться, деревенский лентяга. Ну, да ничего! С дороги можно. Скорей садись. Тебе с молоком или без? В стакан или в твою чашку?

Ах, совершенно верно! Как это он забыл? «Своя чашка»! Ну да, ведь у него была «своя чашка», фарфоровая, с незабудками и золотой надписью: «С днем ангела», прошлогодний подарок Дуни.

Позвольте, батюшки, наш самовар! Оказывается, он о нем тоже забыл. И бублики греются, повешенные на его ручки! И сахарница белого металла в форме груши, и щипчики в виде цапли!

Позвольте, а желудь звонка на шнурке под висячей лампой... Да и сама лампа: шар с дробью над белым колпаком!

Позвольте, а что это в руках у отца? Ба, газета! Вот уж, правду сказать, совсем забыл, что в природе существуют газеты! «Одесский листок» с дымящим паровозиком над расписанием поездов и дымящим пароходиком над расписанием пароходов. (И дама в корсете среди объявлений!) Э, э!.. «Нива»! «Задушевное слово»! Ого, сколько бандеролей накопилось за лето!

Одним словом, вокруг Пети оказалось такое множество старых-престарых новостей, что у него разбежались глаза.

Павлик же вскочил чуть свет и уже вполне освоился с новой старой обстановкой. Он уже давно напился молока и теперь запрягал Кудлатку в дилижанс, составленный из стульев.

Иногда он озабоченно пробегал по комнатам, трубя в трубу и сзывая воображаемых пассажиров.

Тут Петя вспомнил вчерашние события и даже вскочил из-за стола:

— Ой, тетечка! Я же вам вчера так и не успел рассказать! Ах, что только с нами было, вы себе не можете представить! Сейчас я вам расскажу, только ты, Павлик, пожалуйста, не перебивай...

— Да уж знаю, знаю.

Петя даже слегка побледнел:

— И про дилижанс знаете?

— Знаю, знаю.

— И про пароход?

— И про пароход.

— И как он прыгал прямо в море?

— Знаю все.

— Кто ж вам рассказал?

— Василий Петрович.

— Ну, папа! — в отчаянии закричал Петя и даже топнул обеими ногами. — Ну, кто тебя просил рассказывать, когда я лучше умею рассказывать, чем ты! Вот видишь, ты теперь мне все испортил!

Петя чуть не плакал. Он даже забыл, что он уже взрослый и завтра будет поступать в гимназию.

Стал хныкать:

— Тетечка, я вам лучше еще раз расскажу, у меня будет гораздо интереснее.

Но у тети вдруг покраснел нос, глаза наполнились слезами, и она, прижав пальцы к вискам, проговорила со страданием в голосе:

— Ради бога, ради бога, не надо! Ну, не могу я это еще раз слушать равнодушно. Как только у людей, которые называют себя христианами, хватает совести так мучить друг друга!

Она отвернулась, вытирая нос маленьким платочком с кружевами.

Петя испуганно взглянул на отца. Отец смотрел очень серьезно и очень неподвижно в окно.

Мальчику показалось, что на его глазах тоже блещут слезы.

Петя ничего не понял, кроме того, что рассказать здесь вчерашнюю историю вряд ли удастся.

Он поскорее выпил чай и отправился во двор искать слушателей.

Дворник выслушал рассказ весьма равнодушно и заметил:

— Ну что ж, очень просто. Бывает и не такое.

А больше рассказывать было положительно некому. Нюся Коган, сын лавочника из этого же дома, как назло, поехал гостить к дяде на Куяльницкий лиман. Володька Дыбский куда-то переехал. Прочие еще не возвращались с дач.

Гаврик передал через Дуню, что сегодня зайдет, но его все не было. Вот ему бы рассказать! Не пойти ли к Гаврику на берег?

Пете не разрешалось ходить одному на берег, но искушение было слишком велико.

Петя засунул руки в карманы, покрутился равнодушно под окнами, затем так же равнодушно, чтобы не возбуждать подозрений, вышел на улицу, погулял для виду возле дома, завернул за угол и бросился рысью к морю.

Но на середине переулка с теплыми морскими ваннами наткнулся на босого мальчика. Что-то знакомое... Кто это?

Позвольте, да ведь это же Гаврик!

21

ЧЕСТНОЕ БЛАГОРОДНОЕ СЛОВО

— О Гаврик!

— О Петька!

Этими двумя возгласами изумления и радости, собственно, и закончился первый момент встречи закадычных друзей.

Мальчики не обнимались, не тискали друг другу рук, не заглядывали в глаза, как, несомненно, на их месте поступили бы девчонки.

Они не расспрашивали друг друга о здоровье, не выражали громко восторга, не суетились.

Они поступили, как подобало мужчинам, черноморцам: выразили свои чувства короткими, сдержанными восклицаниями и тотчас перешли к делу, как будто бы расстались только вчера.

— Куда ты идешь?

— На море.

— А ты?

— На Ближние Мельницы, к братону.

— Зачем?

— Надо. Пойдешь?

— На Ближние Мельницы?

— А что же?

— Ближние Мельницы...

Петя никогда не бывал на Ближних Мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, «у черта на куличках».

Ближние Мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование Ближних Мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья.

Чаще всего понятие «Ближние Мельницы» сопровождалось чьей-нибудь скоропостижной смерти. Говорили: «Вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоропостижно скончался муж и оставил ее без всяких средств. Она с Маразлиевской переехала на Ближние Мельницы».

Оттуда не было возврата. Оттуда человек если и возвращался, то в виде тени, да и то ненадолго — на час, не больше.

Говорили: «Вчера к нам с Ближних Мельниц приходила Анжелика Ивановна, у которой скоропостижно скончался муж, и просидела час — не больше. Ее трудно узнать. Тень...»

Однажды Петя был с отцом на похоронах одного скоропостижно скончавшегося преподавателя и слышал дивные, пугающие слова, возглашенные священником перед гробом, — о каких-то «селениях праведных, идеже упокоются», или что-то вроде этого.

Не было ни малейшего сомнения, что «селения праведных» суть не что иное, как именно Ближние Мельницы, где как-то потом «упокоются» родственники усопшего.

Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых «упокоются» тени вдов в черных платках и сирот в заплатанных платьях.

Разумеется, пойти без спросу на Ближние Мельницы являлось поступком ужасным. Это было, конечно, гораздо хуже, чем полезть в буфет за вареньем или даже принести домой за пазухойдохлую крысу. Это было настоящим преступлением. И хотя Пете ужасно хотелось отправиться с Гавриком в волшебную страну скорбных мельниц и собственными глазами увидеть тени вдов, все же он решился не сразу.

Минут десять его мучила совесть. Он колебался.

Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и, захлебываясь, рассказывать о своих дорожных приключениях.

Так что, когда в страшной борьбе с совестью победа осталась все-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко.

Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее.

Однако Петин рассказ, против всяких ожиданий, произвел на Гаврика громадное впечатление. Гаврик ни разу не сплюнул презрительно через плечо и ни разу не сказал: «брешьешь». Пете показалось даже, что Гаврик испугался. Но Петя тотчас приписал это своему таланту рассказчика.

Он покраснелся и кричал на всю улицу, изображая страшную сцену в лицах:

— Тогда этот ка-ак вдарит его по морде щепкой с гвоздем! Честное благородное слово! А тогда тот ка-ак закричит на весь «Тургенев»: «Сто-ой, сто-о-ой!» Можешь мне наплевать в глаза, если вру. А тогда этот ка-ак вскочит на перила да как соскочит в море — бабах! — аж только брызги полетели, высокие, до четвертого этажа, чтоб я пропал, святой истинный крест!..

Петя так размахался руками и так распрыгался, что опроки-

нул у какой-то лавочки корзину с рожками, и мальчикам пришлось, высунув языки, два квартала бежать от хозяина.

— А этот был какой? — спросил Гаврик. — С якорем на руке, что ли?

— Ну да! Ясно! — возбужденно орал Петя, тяжело переводя дух.

— Вот тут якорь?

— Ясно. А ты откуда знаешь?

— Не видал я матросов! — буркнул Гаврик и сплюнул, совершенно как взрослый.

Петя с завистью посмотрел на своего приятеля и тоже плюнул. Но плевков вышел не такой отрывистый и шикарный. Вместо того чтобы отлететь далеко, он вяло капнул на Петино колено, и пришлось вытирать рукавом.

Тогда Петя взял себе на заметку, что необходимо малость подучиться плевать, и всю дорогу практиковался в плевании так усердно, что на другой день у него потрескались губы и больно было есть дыню...

— А тот, — сказал Гаврик, — был в «скороходах» и в очках?

— В пенсне.

— Нехай будет так.

— А ты откуда знаешь?

— Не видал я агентов из сыскного!

Окончив свою историю, Петя поспешно облизал губы и тотчас, без передышки, стал рассказывать ее опять с самого начала.

Трудно себе представить муки, которые при этом испытывал Гаврик. Перед тем, что знал он, Петины приключения не стоили выведенного яйца! Гаврику стоило только намекнуть, что этот самый таинственный матрос в данный момент находится у них в хибарке, как с Петьки тотчас соскочил бы всякий фасон.

Но приходилось молчать и слушать во второй раз Петину болтовню. И это было нестерпимо.

А может быть, все-таки намекнуть? Так только, одно словечко. Нет, нет, ни за что! Петька обязательно разболтает. А если взять с него честное благородное слово? Нет, нет, все равно разболтает. А если заставить перекреститься на церковь? Пожалуй, если заставить — на церковь, то не разболтает...

Словом, Гаврика терзали сомнения.

Язык чесался до такой степени, что иногда мальчик, чтобы не начать болтать, с силой сжимал себе пальцами губы. Однако ничто не помогало. Открыть тайну хотелось все сильнее и сильнее. А Петя между тем продолжал с жаром рассказывать, изображая, как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и напал на кучера, как Петя на него закричал и как тот спрятался под скамейку...

Это было уже слишком. Гаврик не выдержал:

— Дай честное благородное слово, что никому не скажешь!
— Честное благородное слово,— быстро, не моргнув глазом, сказал Петя.
— Побожись!
— Ей-богу, святой истинный крест! А что?
— Я тебе что-то скажу.
— Ну?
— Только ты никому не скажешь?
— Чтоб я не сошел с этого места!
— Побожись счастьем!
— Чтоб мне не видеть в жизни счастья! — с готовностью проговорил Петя, от любопытства крупно глотая слюни, и для большей верности быстро прибавил: — Пусть у меня лопнут глаза! Ну?

Гаврик некоторое время шел молча, сопя и отплевываясь. В нем все еще продолжалась борьба с искушением. Но искушение побеждало.

— Петька,— сказал Гаврик сипло,— перекрестись на церкву. Петя, сгоравший от нетерпения поскорее услышать секрет, стал искать глазами церковь.

Как раз в это время мальчики проходили мимо Старого христианского кладбища. Над известняковой стеной, вдоль которой расположились продавцы венков и памятников, виднелись верхушки старых акаций и мраморные крылья скорбных ангелов. (Значит, и вправду Ближние Мельницы находились в тесном соседстве со смертью, если путь к ним лежал мимо кладбища!)

За акациями и ангелами в светло-сиреновом пыльном небе висел голубой купол кладбищенской церкви.

Петя истово помолился на золотой крест с цепями и проговорил с убеждением:

— Святой истинный крест, что не скажу! Ну?
— Слышь, Петька...

Гаврик кусал губы и грыз себе руку. У него в глазах стояли слезы.

— Слышь, Петька... Ешь землю, что не скажешь!

Петя внимательно осмотрелся по сторонам и увидел под стеной подходящую, довольно чистую землю. Он выцарапал ногтями щепотку и, высунув язык, свежий и розовый, как чайная колбаса, положил на него землю. После этого он вопросительно повернул выпученные глаза к приятелю.

— Ешь! — мрачно сказал Гаврик.

Петя зажмурился и начал старательно жевать землю.

Но в этот миг на дороге послышался странный нежный звон.

Два солдата конвойной команды, в черных погонах, с шашками наголо, вели арестанта в кандалах. Третий солдат, с револь-

вером и толстой разносной книгой в мраморном переплете, шел сзади. Арестант в ермолке солдатского сукна и в таком же халате, из-под которого высывались серые подштанники, шел опустив голову.

Ножных кандалов не было видно — они глухо брякали в подштанниках, — но длинная цепочка ручных висела спереди и, нежно звеня, била по коленям.

То и дело арестант подбирал ее жестом священника, переходящего через лужу.

Выбритый и серолицый, он походил чем-то на солдата или на матроса. Было заметно, что ему очень совестно идти среди бела дня по мостовой в таком виде. Он старался не смотреть по сторонам.

Солдатам, по-видимому, тоже было совестно, но они смотрели не вниз, а, наоборот, вверх, сердито, с таким расчетом, чтобы не встречаться глазами с прохожими.

Мальчики остановились и, открыв рты, разглядывали косо посаженные бескозырки солдат, синие револьверные шнуры и ярко-белые ножи качающихся вместе с руками шашек, на кончиках которых ослепительно вспыхивало солнце.

— Проходите, не останавливайтесь, — не глядя на мальчиков, сказал сердито солдат с книгой. — Не приказано смотреть.

Арестанта провели.

Петя вытер язык рукавом и сказал:

— Ну?

— Чего?

— Ну, теперь скажи.

Гаврик вдруг злобно посмотрел на приятеля, с ожесточением согнул руку и сунул заплатанный локоть Пете под самый нос:

— На! Пососи!

Петя глазам своим не поверил. Губы у него дрогнули.

— Я ж землю кушал! — проговорил он, чуть не плача.

Глаза Гаврика блеснули диким лукавством, и он, присев на корточки, завертелся юлой, крича оскорбительным голосом:

— Обманули дурака на четыре кулака, на пятое стуло, чтоб тебя раздуло!

Петя понял, что попал впросак: никакой тайны у Гаврика, разумеется, не было, он только хотел над ним посмеяться — заставить есть землю! Это, конечно, обидно, но не слишком.

В другой раз он выкинет с Гавриком такую штуку, что тот не обрадуется. Посмотрим!

— Ничего, сволочь, попомнишь! — с достоинством заметил Петя, и приятели продолжали путь как ни в чем не бывало.

Только иногда Гаврик вдруг ни с того ни с сего начинал дробно стучать босыми пятками и петь:

Обманули дурака
На четыре кулака,
На пятое стуло,
Чтоб тебя раздуло!

22

БЛИЖНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Идти было весело и очень интересно.

Петя никогда не предполагал, что город такой большой. Незнакомые улицы становились все беднее и беднее. Иногда попадались магазины с товаром, выставленным прямо на тротуар.

Под акациями стояли дешевые железные кровати, полосатые матрацы, кухонные табуреты. Были навалены большие красные подушки, просяные веники, швабры, мебельные пружины. Всего много, и все крупное, новое, по-видимому, дешевое.

За кладбищем потянулись дровяные склады, от которых исходил удивительно приятный горячий, но несколько кисловатый запах дуба.

Потом начались лабазы — овес, сено, отруби — с несуразно большими весами на железных цепях. Там стояли гири, громадные, как в цирке.

Затем — лесные склады с сохнувшим тесом. Здесь тоже преобладал горячий запах пиленого дерева. Но так как это была сосна, то запах казался не кислым, а, наоборот, сухим, ароматным, скипидарным.

Сразу бросалось в глаза, что по мере приближения к Ближним Мельницам мир становился грубее, некрасивее.

Куда девались нарядные «буфеты искусственных минеральных вод», сверкающие никелированными вертушками с множеством разноцветных сиропов? Их заменили теперь съестные лавки с синими вывесками — селедка на вилке — и трактиры, в открытых дверях которых виднелись полки с белыми яйцевидными чайниками, расписанными грубыми цветами, более похожими на овощи, чем на цветы.

Вместо щеголеватых извозчиков по плохой мостовой, усыпанной сеном и отрубями, грохотали ломовики.

Что же касается находок, то в этой части города их оказалось гораздо больше, чем в знакомых местах. То и дело в пыли мелькнет подкова, или гайка, или папиросная коробка.

Увидя находку, мальчики бросались к ней наперегонки, толкая друг друга и крича не своим голосом:

— Чур, без доли!

Или:

— Чур, на долю!

И в зависимости от того, кто прежде крикнул, находка свято, нерушимо считалась личной или же общей.

Находок было так много, что мальчики в конце концов перестали их подбирать, делая исключение лишь для папиросных коробок.

Коробки были необходимы для игры в «картонки». Каждая имела свою ценность в зависимости от картинки. Человеческая фигура считалась за пятерку, животное — за один, дом — за пятьдесят.

У каждого одесского мальчика в кармане обязательно находилась колода таких папиросных крышечек.

Играли также и в конфетные бумажки, но по преимуществу девочки и совсем маленькие мальчики, не выше пяти лет.

Что касается Гаврика и Пети, то они, разумеется, давно уже относились к бумажкам с глубочайшим презрением и играли только в картонки.

В приморских районах почему-то курили исключительно «Цыганку» и «Ласточку».

Что привлекательного находили приморские курильщики в этих папиросах, было неразрешимой загадкой. Отвратительнейшие папиросы!

На одних — яркий лаковый портрет черноокой цыганочки: дымящаяся папироска в коралловом ротике и роза в синих волосах. «Цыганка» считалась всего-навсего пятеркой, да и то с большой натяжкой, так как фигура цыганки была только по пояс.

На других — три жалкие ласточки. Они стоили и того меньше: всего-навсего тройку.

Некоторые чудаки курили даже «Зефир», где вообще не было никакой картинке, одна только надпись, так что картонка и вовсе в игру не принималась. А именно эти-то папиросы, как ни странно, были самые дорогие в лавочке.

Надо быть круглым дураком, чтобы покупать такую дрянь.

Мальчики даже плевались, когда им попадалась коробочка «Зефир».

Петя и Гаврик горели нетерпением поскорее вырасти и сделаться курильщиками. Уж они-то не свалят дурака и будут покупать исключительно «Керчь» — превосходные папиросы, где на крышечке целая картина: приморский город и гавань со множеством пароходов.

Самые лучшие специалисты по картонкам и те не знали в точности, за сколько надо считать «Керчь», так как расходились

в оценке пароходов. На всякий случай, для ровного счета, «Керчь» на уличной бирже шла за пятьсот.

Мальчикам необыкновенно везло.

Можно было подумать, что все кладбищенские курильщики задались специальной целью обогатить Петю и Гаврика: они курили исключительно «Керчь».

Мальчики не успевали поднимать драгоценные коробочки. Сначала они не верили своим глазам. Это было совершенно как во сне, когда идешь по дороге и через каждые три шага находишь три рубля.

Вскоре их карманы оказались набитыми доверху. Богатство было так велико, что перестало радовать. Наступило пресыщение.

Под высокой и узкой стеной какой-то фабрики, где по черноватому от копоти кирпичу были намалеваны такие громадные печатные буквы, что их невозможно было вблизи прочесть, мальчики сыграли несколько партий, подбрасывая картонки и следя, какой стороной они упадут. Однако игра шла без всякого азарта. Слишком много у каждого было картонок. Не жаль проигрывать. А без этого какое же удовольствие?

А город все тянулся и тянулся, с каждой минутой меняя свой вид и характер.

Сначала в нем преобладал оттенок кладбищенский, тюремный. Потом — какой-то «оптовый» и вместе с тем трактирный. Потом — фабричный.

Теперь пейзажем безраздельно завладела железная дорога. Пошли пакгаузы, блокпосты, семафоры... Наконец дорогу преградил опустившийся перед самым носом полосатый шлагбаум.

Из будочки вышел стрелочник с зеленым флажком. Раздался свисток. Из-за деревьев вверх ударило облачко белоснежного пара, и мимо очарованных мальчиков задом пробежал настоящий большой локомотив, толкая перед собою тендер.

О, что за зрелище! Ради этого одного стоило уйти без спросу из дому.

Как суетливо и быстро стучали шатуны, как пели рельсы, с какой непреодолимой волшебной силой притягивали к себе головокруглительно мелькающие литые колеса, окутанные плотным и вместе с тем почти прозрачным паром!

Очарованная душа охвачена сумасшедшим порывом и вовлечена в нечеловеческое, неотвратимое движение машины, в то время как тело изо всех сил противится искушению, упирается и каменеет от ужаса, на один миг покинутое бросившейся под колеса душой!

Мальчики стояли, стиснув кулачки и расставив ноги, бледные, маленькие, с блестящими глазами, чувствуя свои похолодевшие волосы.

У, как это было жутко и в то же время весело!

Гаврику, правда, это чувство было уже знакомо, но Петя испытывал его впервые. Сначала он даже не обратил внимания, что вместо машиниста из овального окошечка локомотива выглядывал солдат в бескозырке с красным околышем и на тендере стоял другой солдат, в подсумках, с винтовкой.

Едва локомотив скрылся за поворотом, как мальчики бросились на насыпь и прижались ушами к горячим, добела натертым рельсам, греющим, как оркестр.

Разве не стоило убежать без спросу из дому и перенести потом какое угодно наказание за счастье прижаться к рельсу, по которому — вот только что, сию минуту — прошел настоящий локомотив?

— Почему на нем вместо машиниста солдат? — спросил Петя, когда они, вдоволь наслушавшись шума рельсов и набрав «кремушков» с балласта, отправились дальше.

— Видать, опять железнодорожники бастуют, — нехотя ответил Гаврик.

— Что это значит — бастуют?

— Бастуют — значит бастуют, — еще сумрачнее сказал Гаврик. — Не выходят на работу. Тогда, бывает, вместо их солдаты водят поезда.

— А солдаты не бастуют?

— Солдаты не бастуют. Не имеют права. Ихнего брата за это — ого! — в арестантские роты могут. Очень просто.

— А то бы бастовали?

— Спрашиваешь!

— А твой братон Терентий бастует?

— Когда как...

— Отчего же он бастует?

— Оттого, что потому. Не морочь голову. Смотри лучше — «Одесса-Товарная». А вон они самые, Ближние Мельницы.

Напрасно Петя вытягивал шею, всматриваясь в даль. Решительно нигде не было никаких мельниц: ни ветряных, ни водяных.

Были: водокачка, желтый часток кол станционного двора Одессы-Товарной, красные вагоны, санитарный поезд с флажком Красного Креста, штабеля грузов, покрытых брезентом, часовые...

— Где же мельницы? Где?

— Вот же они, прямо за вагонными мастерскими, чудило!

Петя смолчал, боясь как-нибудь снова не очутиться в дураках.

Он так усердно вертел во все стороны головой, что даже натер себе воротником шею, но мельниц нигде так и не заметил.

Странно!

Между тем Гаврик не обнаруживал ни малейшего удивления по поводу их отсутствия. Он бойко шагал по узенькой тропинке

вдоль длинной закопченной стены, мимо громадных клетчатых окон со множеством выбитых стеклышек.

Петя, порядком уже уставший, плелся за ним, шаркая башмаками по траве, темной от пыли и копоти. Иногда под ногой хрустела железная стружка, очевидно выкинутая из окна.

Гаврик привстал на цыпочки и заглянул в окно.

— Смотри, Петька, вагонные мастерские. Тута Терентий работает. Никогда не видал? Иди сюда.

Петя стал рядом с приятелем на цыпочки и заглянул в выбитое стекло. Он увидел громадный сумрачный воздух и мутные крошечные квадратики противоположных окон. Висели широкие ремни, всюду стояли какие-то большие скучные железные вещи с колесиками. Все было усыпано металлической стружкой.

Солнечный свет, пройдя сквозь пыльные стекла, лежал по всему непомерному полу бледными клетчатыми косяками.

И во всем этом громадном, странном пространстве не было заметно ни одной живой души.

Сверху донизу стояла такая немая, такая нечеловеческая тишина, что Пете стало страшно, и он прошептал чуть внятно:

— Никого нету...

И Гаврик, подчиняясь его шепоту, сказал еще тише, одними губами:

— Наверно, опять бастуют.

— А ну, не балуйся под окнами! — раздался вдруг над мальчиками грубый голос.

Они вздрогнули и обернулись. Рядом с ними стоял солдат в скатке через плечо, с винтовкой. Он стоял так близко, что Петя явственно слышал страшный запах солдатских щей и ваксы.

Светло-желтые кожаные под сумки — тяжелые, скрипучие, наверное полные боевых патронов, — грозно и близко торчали перед мальчиками, а весь солдат в целом казался таким громадным, что два ряда медных пуговиц уходили снизу вверх на головокружительную высоту, в самое небо.

«Погиб!» — с ужасом подумал Петя и почувствовал: вот-вот с ним случится постыдная неприятность, та самая, что обычно случается с очень маленькими детьми от сильного испуга.

— Тикай! — закричал Гаврик тонким голосом и, шмыгнув мимо солдата, кинулся удирать.

Не слыша под собой ног, Петя рванулся за приятелем. Ему казалось, что позади топают солдатские сапоги. Он припустил еще, насколько хватало сил. Сапоги не отставали. Глаза ничего не видели, кроме мелькающих впереди коричневых пяток Гаврика. Сердце колотилось громко и быстро. Солдат не отставал. Ветер шумел в ушах.

И, только пробежав по крайней мере версту, Петя наконец

сообразил, что это не стук солдатских сапог, а колотится на спине сорвавшаяся соломенная шляпа.

Мальчики с трудом перевели дух. По вискам бежали ручьи горячего пота, на подбородке висели капли.

Но едва мальчики убедились, что солдата поблизости нет, как тотчас сделали совершенно равнодушные лица и, небрежно засунув руки в карманы, не торопясь зашагали дальше.

Они делали вид друг перед другом, будто бы решительно ничего не случилось, а если даже и случилось, то такие пустяки, о которых не стоит и разговаривать.

Теперь они уже давно шли по широкой немощенной улице. Хотя на калитках и на домиках висели городские фонари с номерами и вывески лавочек и мастерских, а на одном из углов находилась даже аптека с разноцветными графинами и золотым орлом, все же улица эта, скорее, напоминала не городскую, а деревенскую.

— Ну, где же твои Ближние Мельницы? — сказал Петя кисло.

— А это тебе что? Скажешь, не Мельницы?

— Где?

— Что значит — где? Тут.

— Где же тут?

— Где мы идем.

— А самые мельницы?

— Чудак человек! — снисходительно сказал Гаврик. — А где ты видел на Фонтане фонтан? Все равно как маленький! Спрашиваешь, а сам не знаешь что!

Петя ничего не ответил. Гаврик был совершенно прав. В самом деле, Малый Фонтан, Большой Фонтан, Средний Фонтан. А самих фонтанов там, оказывается, никаких нет. Просто «так называется».

Называется Мельницы, а мельниц-то никаких на самом деле и нет.

Но мельницы — это, в сущности, пустяки. А вот где тени не похожих на себя вдов и маленькие бледные сиротки в заплатанных платицах? Где серое, призрачное небо и плакучие ивы? Где сказочно-грустная страна, откуда нет возврата?

Гаврика об этом нечего было и спрашивать!

К своему полному разочарованию, Петя не видел ни вдов, ни плакучих ив, ни серого неба. Наоборот. Небо было горячее, ветреное, яркое, как синька.

Во дворах блестели шелковицы и акации. На огородах светились запоздавшие цветы тыкв. По курчавой травке шли гуси, поворачивая глупые головы то направо, то налево, как солдаты на Куликовом поле.

В кузне звенели молотки и слышался ветер мехов.

Конечно, все это было по-своему тоже очень увлекательно. Но трудно было расстаться с представлением о призрачном мире, где как-то таинственно «упокояются» родственники скоропостижно скончавшихся мужчин.

И долго еще в Петиной душе боролась призрачная картина воображаемых мельниц, где «упокояются», с живой, разноцветной картиной железнодорожной слободки Ближние Мельницы, где жил братон Гаврика Терентий.

23

ДЯДЯ ГАВРИК

— Тута!

Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой палисадник, обсаженный лиловыми петушками. На мальчиков тотчас же бросилась большая собака с бежевыми бровями.

— Цыц, Рудько! — крикнул Гаврик. — Не узнала?

Собака понюхала, узнала и кисло улыбнулась. Зря побеспокоилась. Задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и, часто, сухо дыша, побежала в глубь двора, волоча за собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь.

Из деревянных сеней слободской мазанки выглянула испуганная женщина. Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад:

— Ничего. Это до тебя братик прийшов.

Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самые плечи, толстые, как у борца.

Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим.

Подтянув ремешок штанов, мужчина подошел к мальчикам.

— Это Петька с Канатной, угол Куликова поля, — сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля. — Учителя мальчик. Ничего.

Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазами с веселой искоркой.

— Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на пасху! Что ты ходишь, все равно как босьяк с Дюковского сада?

Гаврик печально и длинно свистнул:

— Эге-э-э, где теи башмаки-и-и...

— Босявка ты, босявка!

Терентий сокрушенно покрутил головой и пошел за дом, куда последовали и мальчики.

Тут, к неописуемому восхищению Пети, на старом кухонном столе, под шелковицей, была устроена целая слесарно-механическая мастерская. Даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя.

Судя по детской цинковой ванночке, прислоненной вверх дном к дереву, и по паяльному молоточку в руке у Терентия, можно было заключить, что хозяин занят работой.

— Майстрачишь? — спросил Гаврик, сплевывая совершенно как взрослый.

— Эге.

— А мастерские стоят?

Терентий, как бы не расслышав вопроса, сунул молоточек в пламя паяльника и стал внимательно следить, как он накаляется. При этом он бормотал:

— Ничего, за нас вы не беспокойтесь. Мы себе на кусок хлеба всегда намайстрачим...

Гаврик сел на табуретку и скрючил не достававшие до земли босые ноги.

Он уперся руками в колено и, неторопливо покачиваясь, повел степенный хозяйский разговор со старшим братом.

Морща облупленный носик и сдвинув брови, совсем обесцвеченные солнцем и солью, Гаврик передавал поклон от бабушки, сообщал цены на бычки, с негодованием обрушивался на мадам Стороженко, которая — «такая стерва — держит все время за горло и не дает людям дышать», и прочее в таком же роде.

Терентий поддакивал, осторожно проводя носиком накаливаемого молоточка по слитку олова, которое от его прикосновения таяло, как масло.

На первый взгляд не было ничего особенного, а тем более странного в том, что брат пришел в гости к брату и разговаривает с ним о своих делах. Однако, если принять во внимание озабоченный вид Гаврика, а также расстояние, которое ему пришлось пройти специально для того, чтобы поговорить с братом, нетрудно было догадаться, что у Гаврика было важное дело.

Несколько раз Терентий вопросительно поглядывал на брата, но Гаврик незаметно моргал на Петю и продолжал как ни в чем не бывало беседу.

Петя же забыл все на свете, поглощенный волшебным зрелищем паяния. Он не отрываясь следил за движением громадных ножниц, режущих толстый цинк, как бумагу.

Одним из самых увлекательных занятий одесских мальчиков было стоять посреди двора вокруг паяльщика, наблюдая его волшебное искусство. Но там был незнакомый человек, гастролер, фокусник на сцене: быстро и ловко сделал свое дело — запаля чайник, перекинул через плечо свернутые в трубку обрезки же-

сти, подхватил жаровню и пошел себе со двора, крича: «Па-ять, па-а-ачи-нять!..»

А здесь был знакомый, брат приятеля, артист, показывающий свое искусство дома, для избранных. В любой момент можно было спросить у него: «Послушайте, что это у вас здесь в железной коробочке — кислота, что ли?» — и не нарваться на грубый ответ: «Иди, мальчик, откуда пришел. Не мешай человеку паять». Это совсем другое дело.

Петя даже высунул от восхищения язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошел от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребенком на руках, подошедшую к шелковице.

Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребенка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к Гаврику:

— Посмотри, кто пришел, агу! Гаврик пришел, агу! Скажи дяде Гаврику: «Здравствуйте, дядя Гаврик!»

Гаврик с чрезвычайной серьезностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению Пети, извлек оттуда красного леденечного петуха на палочке.

Три часа таскать с собой такое лакомство и не только не попробовать его, но даже не показать — это мог сделать только человек с неслыханной силой воли! Гаврик протянул петуха ребенку:

— На!

— Возьми, Женечка, — засуетилась девочка, поднося ребенка к самому петушку. — Возьми ручкой. Видишь, какого тебе гостинца принес дядя Гаврик. Возьми петушка ручкой. Вот так, вот так. Скажи теперь дяде: «Спасибо, дядечка!» Ну, скажи: «Спасибо, дядечка».

Ребенок крепко держал пухлой замурзанной ручкой лучину с ярким леденцом на конце и пускал крупные пузыри, уставясь на дядю бессмысленно-голубыми глазками.

— Видите, это он говорит: «Спасибо, дядечка», — суетилась девочка, не спуская завистливых глаз с лакомства. — Куда же ты тянешь в рот. Подожди, поиграйся сначала. Сначала надо кашку покушать, а тогда уже можно петушка... — продолжала она с благоданной рассудительностью, то и дело бросая быстрые любопытные взгляды на незнакомого красивого мальчика в новых башмаках на пуговичках и в соломенной шляпе.

— Это Петя с Канатной, угол Куликова, — сказал Гаврик, — пойди с ним поиграй, Мотя.

Девочка от волнения даже побледнела.

Прижимая к себе ребенка, она попятилась, глядя исподлобья на Петю, и пятилась до тех пор, пока не прислонилась спиной к отцовской ноге. Терентий погладил дочку по плечу, поправил

на ее стриженной под нуль голове беленький чепчик с оборочкой и сказал:

— Пойди, Мотя, поиграй с мальчиком, покажи ему те свои русско-японские картины, что я тебе куплял, когда ты лежала больная. Пойди, деточка, а Женечку отдай маме.

Мотя потерлась об отцовскую ногу и задрала вверх лицо, ставшее совершенно красным от конфуза. Ее глаза были полны слез, и в ушах дрожали крошечные бирюзовые сережки.

Петя заметил, что такие сережки чаще всего бывают у молочниц.

— Ничего, деточка, мальчик не будет драться, не бойся.

Мотя послушно отнесла ребенка в дом и вернулась, прямая, как палка, со втянутыми щеками, страшно серьезная.

Она остановилась шагах в четырех от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза, неестественно тонким голосом:

— Мальчик, хотите, я вам покажу русско-японские картины?

— Покажь,— сказал Петя тем сиплым, небрежным голосом, каким, по правилам хорошего тона, следовало разговаривать с девочками. При этом он старательно и довольно удачно плюнул через плечо.

— Пойдем, мальчик.

Девочка не без некоторого кокетства повернулась к Пете спиной и, чересчур часто двигая плечами, пошла, подскакивая, в глубь двора, за погреб, где у нее было устроено свое кукольное хозяйство.

Петя вразвалку следовал за ней. Глядя на ее худую шею с ложбинкой и треугольным мысиком волос, мальчик чувствовал такое волнение, что у него подгибались ноги. Конечно, нельзя сказать, чтобы это была страстная любовь. Но в том, что дело кончится серьезным романом, не могло быть никакого сомнения.

24

ЛЮБОВЬ

Сказать по правде, Петя уже любил на своем веку многих. Во-первых, он любил ту маленькую черненькую девочку — кажется, Верочку,— с которой познакомился в прошлом году на елке у одного папиного сослуживца. Он любил ее весь вечер, сидел рядом с ней за столом, потом ползал впотьмах под затушенной елкой по полу, скользкому от нападвших иголок.

Он полюбил ее с первого взгляда и был в полном отчаянии, когда в половине девятого ее стали уводить домой. Он даже начал капризничать и хныкать, когда увидел, как все ее косички и бантики скрываются под капором и шубкой.

Он тут же мысленно поклялся любить ее до гроба и подарил ей на прощание полученную с елки картонажную мандолину и четыре ореха: три золотых и один серебряный.

Однако прошло два дня, и от этой любви не осталось ничего, кроме горьких сожалений по поводу так безрассудно утраченной мандолины.

Затем, конечно, он любил на даче ту самую Зою в розовых чулках феи, с которой даже целовался возле кадки с водой под абрикосой. Но эта любовь оказалась ошибкой, так как на другой же день Зоя так нахально мошенничала в крокет, что пришлось ей дать хорошенько крокетным молотком по ногам, после чего, конечно, ни о каком романе не могло быть и речи.

Потом мимолетная страсть к той красивой девочке на пароходе, которая ехала в первом классе и всю дорогу препиралась со своим отцом, «лордом Гленарваном».

Но все это, разумеется, не в счет. Кто не испытывал таких безрассудных увлечений!

Что же касается Моти, то это совсем другое дело. Помимо того, что она была девочкой, помимо того, что у нее в ушах качались голубенькие сережки, помимо того, что она так ужасно бледнела и краснела и так мило двигала худыми лопатками,— помимо всего этого она была еще и сестра товарища. Собственно, не сестра, а племянница. Но по возрасту Гаврика — совсем сестренка! Сестра товарища! Разве может быть в девочке что-нибудь более привлекательное и нежное, чем то, что она с е с т р а т о в а р и щ а? Разве не заключено уже в одном этом зерно неизбежной любви?

Петя сразу почувствовал себя побежденным. Пока они дошли до погреба, он влюбился окончательно.

Однако, чтобы Мотя как-нибудь об этом не догадалась, мальчик тут же напустил на себя невыносимое высокомерие и равнодушие.

Едва Мотя вежливо стала ему показывать своих кукол, аккуратно уложенных по кроваткам, и маленькую плиту с всамделишными, но только маленькими кастрюльками, сделанными отцом из обрезков цинка — что, если правду сказать, Пете ужасно понравилось,— как мальчик презрительно сплюнул сквозь зубы и, оскорбительно хихикая, спросил:

— Мотька, чего ты такая стриженная?

— У меня был тиф,— тоненьким от обиды голосом сказала Мотя и так глубоко вздохнула, что в горле у нее пискнуло, как у птички.— Хотите посмотреть картины?

Петя снисходительно согласился.

Они сели рядом на землю и стали рассматривать разноцветные лубочные литографии патриотического содержания, главным образом морские сражения.

Узкие лучи прожекторов пересекали по всем направлениям темно-синее липкое небо. Падали сломанные мачты с японскими флагами. Из острых волн вылетали белые фонтанчики взрывов. В воздухе звездами лопались шимозы.

Здрав острый нос, тонул японский крейсер, весь охваченный желто-красным пламенем пожара. В кипящую воду сыпались маленькие желтолицые человечки.

— Япончики! — шептала восхищенная девочка, ползая на коленях возле картины.

— Не япончики, а япошки, — строго поправил Петя, знавший толк в политике.

На другой картине лихой казак, с красными лампасами, в черной папахе набекрень, только что отрубил нос высунувшемуся из-за сопки японцу.

Из японца била дугой толстая струя крови. А курносый оранжевый нос с двумя черными ноздрями валялся на сопке совершенно отдельно, вызывая в детях неудержимый смех.

— Не суйся, не суйся! — кричал Петя, хохоча, и хлопал ладонями по теплой сухой земле, испятнанной известковыми звездами домашней птицы.

— Не совайся! — суетливо повторяла Мотя, поглядывая через плечико на красивого мальчика, и морщила худой, остренький нос, пестрый, как у Гаврика.

Третья картина изображала того же казака и ту же сопку. Теперь из-за нее виднелись гетры удирающего японца. Внизу было написано:

Генерал японский Ноги,
Батюшки,
Чуть унес от русских ноги,
Матушки!

— Не совайся, не совайся! — заливалась Мотя, прижимаясь доверчиво к Пете. — Правда, пускай тоже не совается!

Петя, насупившись, густо краснел и молчал, стараясь не смотреть на худенькую голую руку девочки с двумя лоснившимися на предплечье шрамиками оспы, нежно-телесными, как облатки.

Но поздно. Он уже был влюблен по уши.

Когда же оказалось, что, кроме русско-японских картин, у Моти есть еще превосходные кремушки, орехи для игры в «короля-принца», бумажки от конфет и даже картонки, Петина любовь дошла до наивысшего предела.

Ах, какой это был счастливый, замечательный, неповторимый день! Никогда в жизни Петя не забудет его.

Петя заинтересовался, каким образом на ушах держатся серьги, и девочка показала ему проколотые совсем недавно ды-

рочки. Петя даже решился потрогать мочку Мотиного уха, нежную и еще припухшую, как долька мандарина.

Потом они поиграли в картонки, причем Петя начисто обыграл девочку. Но у нее сделалось такое несчастное лицо, что ему стало жалко, и он не только отдал ей обратно все выигранные картонки, но даже великодушно подарил все свои. Пускай знает!

Потом натаскали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту. Дыму было много, а огня совсем не вышло. Бросили и стали играть в «дыр-дыра», иначе — в прятки.

Прячась друг от друга, они залезали в такие отдаленные, глухие местечки, сидеть в которых одному становилось даже страшновато.

Но зато как жгуче-радостно было слышать осторожное приближение робких шажков, сидя в засаде и обеими руками закрывая рот и нос, чтобы не фыркнуть!

Как дико колотилось сердце, какой неистовый звон стоял в ушах!

И вдруг из-за угла медленно-медленно выдвигается половина бледного от волнения, вытянутого лица с плотно сжатыми губами. Облупленный носик, круглый глаз, острый подбородок, чепчик с оборочками...

Глаза вдруг встречаются. Оба так испуганы, что вот-вот потеряют сознание. И тотчас неистовый, душераздирающий вопль торжества и победы:

— Петька! Дыр-дыра!

И оба лупят во все лопатки — кто скорее? — к месту, где лежит палочка-стукалочка.

— Дыр-дыра!

— Дыр-дыра!

Один раз девочка спряталась так далеко, что мальчик искал ее битых полчаса, пока наконец не догадался перелезть через задний плетень и сбегать на выгон.

Мотя сидела на корточках, полумертвая от страха, в яме, заросшей будяками. Поставив худой подбородок на исцарапанные колени, она смотрела исподлобья вверх, в небо, по которому плыло предвечернее облако.

Вокруг тыркали сверчки и ходили коровы. Было необыкновенно жутко.

Петя заглянул в яму. Дети долго смотрели друг другу в глаза, испытывая необъяснимое жгучее смущение, совсем не похожее на смущение игры.

«Дыр-дыра, Мотька!» — хотел крикнуть мальчик, но не мог вымолвить ни слова. Нет, это уже, конечно, не была игра, а что-то совсем, совсем другое.

Мотя осторожно вылезла из ямы, и они смущенно пошли

во двор как ни в чем не бывало, поталкивая друг друга плечами, но в то же время стараясь не держаться за руки.

Тень облака прохладно скользила по бессмертникам городского выгона. Впрочем, едва они перелезли обратно через плетень, как Петя опомнился.

— Дыр-дыра! — отчаянно закричал хитрый мальчик и кинулся к палочке-стукалочке, чтобы поскорее «задыркать» зазевавшуюся девочку.

Словом, все было так необыкновенно, так увлекательно, что Петя даже не обратил внимания на Гаврика, подошедшего в самый разгар игры.

— Петька, как звать того матроса? — озабоченно спросил Гаврик.

— Какого матроса?

— Который прыгал с «Тургенева».

— Не знаю...

— Ты же еще рассказывал, что его на пароходе как-то там называл тот усатый черт из сыскаго.

— Ну да... Ах да!.. Жуков. Родион Жуков... Не мешай, мы играем.

Гаврик ушел озабоченный, а Петя тотчас забыл об этом, всецело поглощенный новой любовью.

Вскоре пришла Мотина мама звать ужинать:

— Мотя, приглашай своего кавалера кулеш кушать, а то они, наверно, голодный.

Мотя сильно покраснела, потом побледнела, стала опять прямая, как палка, и произнесла сдавленным голосом:

— Мальчик, хотите с нами кушать кулеша?

Только сейчас Петя почувствовал голод. Ведь он сегодня не обедал!

Ах, никогда в жизни не ел он такого вкусного, густого кулеша с твердоватой, упоительно придымленной картошечкой и маленькими кубиками свиного сала!

После этого чудеснейшего ужина на свежем воздухе под той же шелковицей мальчики отправились домой.

С ними пошел в город и Терентий. Он на минутку сбегал в дом и вернулся в коротком пиджаке и люстриновом картузике с пуговичкой, держа в руке тоненькую железную палочку от зонтика, такую самую, с какой обыкновенно гуляли одесские мастеровые в праздник.

— Тереша, не ходи, поздно, — умоляюще сказала жена, провожая мужа до калитки.

Она посмотрела на него с такой тревогой, что Пете почему-то стало не по себе.

— Сиди лучше дома! Мало что...

— Есть дело.

— Как хочешь,— покорно сказала она.

Терентий весело мигнул:

— Ничего.

— Не иди мимо Товарной.

— Спрашиваешь!

— Счастливого.

— Взаимно.

Терентий и мальчики зашагали в город.

Однако это была совсем не та дорога, по которой пришли сюда. Терентий вел их какими-то пустырями, переулками, огородами. Этот путь оказался гораздо короче и безлюднее.

По дороге Терентий остановился возле небольшого домика и постучал в окно. В форточку выглянуло худое, костлявое лицо человека с усами, опущенными на рот.

— Здорово, Синичкин,— сказал Терентий.— Выйди на минуточку. Есть новости.

Затем на улицу вышел в жилете поверх сатиновой рубахи, высокий, тощий человек, напоминавший Пете «Дон Кихота», которого он недавно читал.

Терентий и Синичкин пошептались, после чего путь продолжался.

Совершенно неожиданно они вышли на знакомую Сенную площадь. Здесь Терентий сказал Гаврику:

— Я еще сегодня к вам заскочу.

Кивнул головой и исчез в толпе.

Солнце уже село. Кое-где в лавочках зажигали лампы...

Петя ужаснулся: что будет дома!

Счастье кончилось. Наступила расплата. Петя старался об этом не думать, но не думать было невозможно.

Боже, на что стали похожи новые башмаки! А чулки! Откуда взялись эти большие круглые дыры на коленях? Утром их совсем не было. О руках нечего и говорить — руки, как у сапожника. На щеках следы дегтя. Боже, боже!

Нет, положительно дома будет что-то страшное!

Ну, пусть бы хоть отлупили. Но ведь в том-то и ужас, что лупить ни в коем случае не будут. Будут стонать, охать, говорить разрывающие душу горькие, но — увы! — совершенно справедливые вещи.

А папа еще, чего доброго, схватит за плечи и начнет из всех сил трясти, крича: «Негодяй, где ты шлялся? Ты хочешь свести меня в могилу?», что, как известно, в десять раз хуже, чем самая лютая порка.

Эти и тому подобные горькие мысли привели мальчика в полное уныние, усугублявшееся безумными сожалениями по поводу картонок, так глупо отданных в порыве страсти первой попавшейся девчонке.

«МЕНЯ УКРАЛИ»

Казалось, никакая сила в мире не могла спасти Петю от неслыханного скандала. Однако недаром у него на голове была не одна макушка, как у большинства мальчиков, а две, что, как известно, является вернейшим признаком счастливчика. Судьба посылала Пете неожиданное избавление.

Можно было ожидать все что угодно, но только не этого.

Недалеко от Сенной площади, по Старопортофранковской улице, спотыкаясь, бежал Павлик. Он был совершенно один.

По его замурзанному лицу, как из выжатой тряпки, струились слезы. В открытом квадратном ротике горестно дрожал крошечный язык. Из носу текли нежные сопли.

Он непрерывно голосил на букву «а», но так как при этом не переставал бежать, то вместо плавного: «а-а-а-а-а» — получалось икающее и прыгающее: «а! а! а! а! а!»

— Павлик?!

Ребенок увидел Петю, со всех ног бросился к нему и обеими ручками вцепился в матроску брата.

— Петя, Петя! — кричал он, дрожа и захлебываясь. — Петечка!

— Что ты здесь делаешь, скверный мальчишка? — сурово спросил Петя.

Ребенок вместо ответа стал икать, не в силах выговорить ни слова.

— Я тебя спрашиваю: что ты здесь делаешь? Ну? Негодяй, где ты шлялся? Ты, кажется, хочешь довести меня до могилы. Вот... набью тебе морду, тогда будешь знать!

Петя схватил Павлика за плечи и стал его трясти до тех пор, пока тот не прорыдал сквозь икоту:

— Меня... и!.. Меня ук... украли.

И опять залился слезами.

Что же случилось?

Оказывается, не одному Пете пришла в голову счастливая мысль на другой день после приезда самостоятельно погулять. Павлик тоже давно мечтал об этом.

Он, конечно, не собирался заходить так далеко, как Петя. В его планы входило лишь побывать на помойке да, в самом крайнем случае, сходить за угол посмотреть, как у подъезда штаба солдаты отдают ружьями честь. Но, на беду, как раз в это время во двор пришел Ванька-Рутютю, иначе говоря — Петрушка. Вместе с другими детьми Павлик посмотрел все представление, показавшееся слишком коротким. Впрочем, распространился слух, что в другом дворе будут показывать больше.

Дети перекечевали вслед за Ванькой-Рутютю в другой двор. Но там представление оказалось еще короче. Оно закончилось тем, что Ванька-Рутютю — длинноносая кукла в колпаке, похожем на стручок красного перца, с деревянной шеей паралитика — убил дубинкой городского. Между тем решительно всем было известно, что потом должно еще обязательно появиться страшное чудовище — нечто среднее между желтой мохнатой уткой и крокодилом — и, схватив Ваньку-Рутютю зубами за голову, утащить его в преисподнюю.

Однако этого-то и не показали. Может быть, потому, что слишком мало падало из окон медяков. Не было сомнения, что в следующем дворе дело пойдет лучше.

Жадно поглядывая на плетеную кошелку с таинственно спрятанными там куклами, дети как очарованные переходили таким образом из одного двора в другой вслед за пестрой женщиной, тащившей на спине шарманку, и мужчиной без шапки, с ширмой под мышкой.

Пожираемый непобедимым любопытством, Павлик топал на своих крепеньких ножках в толпе других детей. Высунув язык и широко раскрыв светло-шоколадные глаза с большими черными зрачками, ребенок забыл все на свете: и тетю, и папу, и даже Кудлатку, которую не успел поставить на конюшню и хорошенько накормить овсом и сеном.

Мальчик потерял всякое представление о времени и пришел в себя, лишь заметив с удивлением, что уже вечер и он идет за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один.

Пестрая женщина и мужчина с ширмой шли быстро, очевидно торопясь домой. Павлик едва поспевал за ними. Город становился все более незнакомым, подозрительным. Павлику показалось, что мужчина и женщина о чем-то зловеще шепчутся.

Поворачивая за угол, они оба вдруг обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам.

О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики «Бр. Крахмальниковы» можно отравиться или что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных.

Сомнения нет. Только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги, превращая в маленького акробата.

С громким ревом Павлик бросился наутек и бежал до тех пор, пока неожиданно не наткнулся на Петю.

Задав братику основательную трепку, Петя торжественно приволок его за руку домой, где уже царила полнейшая паника. Дуня, свистя коленкоровой юбкой, носилась по соседним дворам. Тетя натирала виски карандашом от мигрени. Папа уже надевал летнее пальто, чтобы идти в участок заявлять о пропаже детей.

Увидев Павлика целым и невредимым, тетя бросилась к нему, не зная, что делать — плакать или смеяться.

Она заплакала и засмеялась в одно и то же время. Потом под горячую руку хорошенько отшлепала беглеца. Потом обцеловала всю его зареванную мордочку. Потом опять отшлепала. И только после этого обратила грозное лицо к Пете:

— А ты, друг мой?

— А ты где шлся, разбойник? — закричал отец, хватая мальчика за плечи.

— Искал Павлика, — скромно ответил Петя. — По всему городу бегал, пока не нашел. Скажите спасибо. Если б не я, его бы уже давно украли.

И Петя тут же рассказал великолепную историю, как он гнался за шарманщиком, как шарманщик убегал от него через проходные дворы, но как он все-таки его схватил за шиворот и стал звать городского. Тогда шарманщик испугался и отдал Павлика, а сам все-таки удрал.

— А то б я его в участок посадил, истинный крест!

Хотя Петин рассказ, против ожидания, не вызвал ни в ком ни малейшего восторга, а папа даже с отвращением зажмурился, сказав: «Как не стыдно языком молоть... Ведь уши вянут!» — однако ничего не поделаешь: не кто другой, а именно Петя привел домой пропавшего Павлика. Благодаря этому Петя и вышел сухим из воды, избавившись от неслыханного скандала.

На то он, видно, и был счастливчиком с двумя макушками!

...Тем временем Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно, только что, к ним заходила какая-то комиссия из городской якобы управы проверять разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности.

— А это у тебя кто лежит? — спросил вдруг господин с портфелем, заметив матроса.

Дедушка замялся.

— Больной, что ли? Если больной, то что ж ты его не отведешь в больницу?

— Не, — сказал дедушка, напуская на себя веселое равнодушие, — он не больной, а только пьяный.

— А, пьяный! Сын, что ли?

— Не.



— Чужой?

— Я же вам говорю, ваше благородие: пьяный!

— Я понимаю, что пьяный, да откуда он у тебя?

— Как это — откуда? — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком. — Ну, пьяный и пьяный, известное дело. Валялся в бурьяне, и го́ди!

Господин внимательно посмотрел на матроса:

— Что ж он, так и валялся в бурьяне в одних подштанниках?

— Так и валялся.

— Эй, ты, а ну-ка, дыхни! — закричал господин, совсем близко наклоняясь к матросу.

Жуков сделал вид, что ничего не слышит, и повернулся лицом к стенке, закрыв голову подушкой.

— Пьяный, а вином не пахнет, — заметил господин и, строго уставившись на дедушку, прибавил: — Смотри!

С тем комиссия и удалилась.

Гаврику это не понравилось.

Проходя мимо ресторана, он видел за столиком околоточного надзирателя, того самого вредного надзирателя, которого местные рыбаки называли не иначе, как «наш около-лодочный».

Он пил пиво, ставя кружку на толстый кружочек из пресованного картона с надписью «Пиво Санценбахера». И не столько пил, сколько посматривал на серебряные часы.

...Матрос чувствовал себя гораздо лучше. Как видно, кризис уже миновал. Жара не было.

Он сидел на койке, потирая колючие щеки, и говорил:

— Не иначе, как сейчас же надо скрываться.

— Куда ж ты пойдешь без штанов? — сокрушенно заметил дедушка. — Пока не смеркнет, надо в хате сидеть. Одно. Гаврик, кушать хочешь?

— Я у Терентия повечерял.

Дедушка высоко поднял брови. Вот оно что. Значит, внучек уже успел побывать у Терентия. Ловко!

— Как там дело?

— Собирался сегодня до нас заскочить.

Старик пожевал губами и еще выше поднял брови, удивляясь, какой у него вырос бедовый внучек: все понимает лучше всякого взрослого. И главное, хитрый! У, хитрый!

Несмотря на свои девять с половиной лет, Гаврик в иных случаях жизни действительно разбирался лучше, чем многие взрослые. Да и не мудрено. Мальчик с самых ранних лет жил среди рыбаков, а одесские рыбаки, в сущности, мало чем отличались от матросов, кочегаров, рабочих из доков, портовых грузчиков, то есть самой нищей и самой вольнолюбивой части городского населения.

Все эти люди на своем веку довольно хлебнули горя и на собственной шкуре испытали, «почем фунт лиха», что взрослые, что дети — безразлично. Может быть, детям было даже еще хуже, чем взрослым.

Шел тысяча девятьсот пятый год, год первой русской революции.

Все нищие, обездоленные, бесправные подымались на борьбу с царизмом. Рыбаки занимали среди них не последнее место. А борьба начиналась лютая: не на жизнь, а на смерть. Борьба учила хитрости, осторожности, зоркости, смелости.

Все эти качества совершенно незаметно, исподволь, росли и развивались в маленьком рыбаке.

Брат Гаврика, Терентий, тоже сперва рыбачил, но потом женился и пошел работать в вагонные мастерские. По множеству признаков Гаврик не мог не догадываться, что старший брат его имеет какое-то отношение к тому, что в те времена называлось глухо и многозначительно — «движение».

Бывая в гостях у Терентия на Ближних Мельницах, Гаврик частенько слышал, как братон говорил слова «комитет», «фракция», «явка»... И хотя смысла их Гаврик не понимал, однако чувствовал, что слова эти связаны с другими, понятными всякому: «забастовка», «сыскное», «листовка».

Особенно хорошо было известно Гаврику, что такое листовки — эти странички плохой бумаги с мелкой серой печатью. Однажды, по просьбе Терентия, Гаврик даже разносил их ночью по берегу и клал, стараясь, чтобы никто не заметил, в рыбацьи шаланды.

Тогда Терентий сказал:

— А как кто-нибудь увидит — прямо кидай их в воду и тикай. А как поймают — скажи, что нашел в бурьяне.

Но все обошлось благополучно.

Вот именно поэтому Гаврик прежде всего и решил рассказать про матроса брату своему, Терентию. Мальчик знал, что Терентий все устроит. Однако он понимал, что следует еще кое с кем посоветоваться, кое-где побывать, может быть, даже в том самом «комитете».

Значит, нужно пока что ждать. Но ждать становилось опасно.

Несколько раз матрос приоткрывал дверь и осторожно выглядывал наружу. Но хотя вокруг было уже довольно темно, все же не настолько, чтобы можно было выйти в таком виде, не обратив на себя внимания, тем более что на берегу еще оставалось много народу и с моря слышались песни катающихся на лодках.

Матрос снова садился на койку и, уже не стесняясь старика и Гаврика, громко говорил:

— Драконы... Шкуры... Ну, только пусть они мне когда-нибудь попадут в руки!.. Я из них не знаю что наделаю... Голову положу, а наделаю...— и постукивал тихонько по койке латым кулаком.

26

ПОГОНЯ

Уже смеркалось, когда дверь хибарки неожиданно открылась и вошел большой человек, на миг заслонив собой звезды. Матрос вскочил.

— Ничего, дядя, сидите, это наш Терентий,— сказал Гаврик. Матрос сел, слясь в темноте рассмотреть вошедшего.

— Вечер добрый,— сказал голос Терентия.— Кто тут есть, никого не вижу. Почему лампу не зажигаете: керосину нема, чи шо?

— Ще трошки есть,— прокряхтел дедушка и зажег лампочку.

— Здорово, диду, как дело? А я вышел сегодня в город — и дай, думаю, заскочу до своих родичей. Э, да, я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате! Здравствуйте!

Терентий быстро, но очень внимательно оглядел матроса при слабом свете разгоравшейся коптилки.

— Наш утопленник,— с добродушной усмешкой пояснил дедушка.

— Слышал.

Матрос с сумрачным сомнением смотрел на Терентия и молчал.

— Родион Жуков? — спросил Терентий почти весело.

Матрос вздрогнул, но взял себя в руки. Он еще тверже уперся кулаками в койку и, сузив глаза, выговорил с дерзкой улыбкой:

— Допустим, Жуков. А вы кто такой, что я вам обязанный отвечать? Я, может быть, обязанный отвечать лишь перед одним комитетом.

Усмешка сошла с рябоватого лица Терентия. Гаврик никогда не видел брата таким серьезным.

— Можешь меня считать за комитет,— немного подумав, заметил Терентий и сел рядом с матросом на койку.

— Чем вы докажете? — упрямо сказал матрос, отвергая товарищеское «ты» и отодвигаясь.

— Надо сначала, чтоб вы доказали,— ответил Терентий.

— Кажется, мои факты довольно-таки ясные.— И матрос сердито показал глазами на ноги в подштанниках.

— Мало что!

Терентий подошел к двери, приоткрыл ее и негромко сказал в щель:

— Илья Борисович, зайдите на минуту.

Тотчас зашумел бурьян, и в хибарку вошел маленький, щуплый, очень молодой человек в пенсне с черной тесемкой, заложенной за ухо. Под старой расстегнутой тужуркой виднелась черная сатиновая косоворотка, подпоясанная ремешком. На обросшей голове сидела приплюснутая техническая фуражка.

Матросу показалось, что он уже где-то видел этого «студента».

Молодой человек стал боком, поправил пенсне и посмотрел на матроса одним глазом.

— Ну? — спросил Терентий.

— Я видел товарища утром пятнадцатого июня на Платоновском молу в карауле у тела матроса Вакулинчука, зверски убитого офицерами, — быстро и без передышки проговорил молодой человек. — Вы там были, товарищ?

— Факт!

— Видите. Стало быть, я не ошибся.

Тогда Терентий молча достал из-под пиджака сверток и положил на колени матросу.

— Пара брюк, ремешок, тужурка, ботинок, к сожалению, не достали, пока будете ходить так, а потом купите, не теряя времени — одевайтесь, мы можем отвернуться, — так же быстро и без знаков препинания высыпал молодой человек, прибавив: — А то мне кажется, что за этим домом слежка.

Терентий мигнул:

— А ну-ка, Гаврик.

Мальчик сразу понял и тихонько выбрался из хибарки в темноту. Он остановился. Прислушался. Ему показалось, что на огороде трещит сухая картофельная ботва.

Он пригнулся, сделал несколько шажков и вдруг, привыкнув к темноте, ясно увидел посреди огорода две неподвижные фигуры.

У мальчика захватило дух. В ушах так зашумело, что он перестал слышать море. Прикусив изо всех сил губу, Гаврик совсем неслышно пробрался за хибарку, с тем чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь на тропинке.

На тропинке стояло еще двое, из которых один белел кителем.

Гаврик пополз к горке и увидел на ней несколько городских. Он сразу узнал их по белым кителям. Хибарка была окружена.

Мальчик хотел броситься назад, как вдруг почувствовал большую горячую руку, крепко схватившую его сзади за шею. Он рванулся, но тотчас получил подножку и полетел лицом в бурьян.

Сильные руки схватили его. Он вывернулся и, к ужасу своему, нос к носу увидел над собой усатого, его открытый рот,

из которого разило говядиной, его жесткий, как сосновая доска, солдатский подбородок.

— Дяденька-а-а,— притворно тонким голосом заплакал Гаврик.

— Молчи, шкура...— зашипел усатый.

— Пусти-и-ите!

— А ну, покричи у меня, сволочуга,— сквозь зубы выцедил усатый, взяв железными пальцами мальчика за ухо.

Гаврик съежился и диким голосом закричал, повернув лицо к хибарке:

— Тикайте!

— Молчи, убью!

Усатый так рванул ухо, что оно затрещало. Показалось, что лопнула голова. Ужасная, ни с чем не сравнимая боль обожгла мозг. Вместе с тем Гаврик почувствовал прилив ненависти и ярости, от которой потемнело в глазах.

— Тикайте! — еще раз закричал он во всю глотку, корчась от боли.

Усатый навалился на Гаврика, продолжая одной рукой из всех сил крутить ухо, а другой затыкая рот. Но мальчик катался по земле, кусая потную, ненавистную волосатую руку, и, обливаясь слезами, иступленно орал:

— Тикайте! Тикайте! Тика-а-а-айте-е-е!

Усатый яростно отшвырнул мальчика и кинулся к хибарке. Раздался длинный полицейский свисток.

Гаврик поднялся на ноги и сразу понял, что его крик был услышан: три фигуры — две рослые и одна маленькая — выскочили из хибарки и, спотыкаясь, бежали через огород.

Два белых кителя преградили им дорогу. Беглецы хотели повернуть, но увидели, что окружены.

— Стой! — закричал в темноте незнакомый голос.

— Илья Борисович, стреляйте! — услышал мальчик отчаянный крик Терентия.

В тот же миг сверкнули огоньки, и раздались подряд три револьверных выстрела, похожих на хлопанье кнута. По крикам и возне Гаврик понял, что в темноте происходит свалка.

Неужели их возьмут? Ничего не соображая от ужаса, Гаврик бросился вперед, как будто мог чем-нибудь помочь.

Не успел он пробежать и десяти шагов, как увидел, что из свалки вырвались все те же три фигуры — две большие и одна маленькая, — кинулись к обрыву и пропали в темноте.

— Держи! Держи-и-и!

Вылетел красный сноп огня. Ударил сильный выстрел из полицейского смит-вессона. Вверху на обрывах заливались свистки городских. Было похоже, что оцеплен весь берег.

Мальчик в отчаянии прислушивался к шуму погони. Он

совершенно не понимал, зачем Терентий выбрал для бегства это направление. Надо быть сумасшедшим, чтобы взбираться наверх: там засада, и наверняка их там схватят. Лучше было бы проскользнуть вдоль берега.

Гаврик пробежал еще немного, и ему показалось, что он видит, как по крутому, почти отвесному обрыву карабкаются три фигурки. Верная гибель!

— Ой, Терентий, куда ж вы полезли! — с отчаянием шептал мальчик, кусая руки, чтоб не заплакать, а едкие слезы щекотали нос и кипели в горле.

И вдруг, в одну секунду, мальчик понял, зачем понадобилось им лезть на обрыв. Он совсем упустил из виду... А ведь это так просто! Дело в том, что... Но в это время усатый налетел на Гаврика, схватил его под мышку и, разрывая на нем рубаху, поволок его обратно. Он с силой втолкнул мальчика в хибарку. Возле нее уже стояло двое городских. Гаврик больно треснулся скулой о косяк и упал в угол на дедушку, сидевшего на земле.

— Уйдут — головы сорву! — крикнул усатый городовой и выбежал вон.

Гаврик сел рядом с дедушкой, совершенно так же, как и он, подвернув ноги. Они сидели, ничего не говоря, прислушиваясь к свисткам и крикам, мало-помалу затихающим в отдалении. Наконец шума совсем не стало слышно.

Тогда Гаврик почувствовал ухо, о котором было забыл. Оно ужасно болело. Казалось раскаленным. До него страшно было дотронуться.

— У, дракон, чисто все ухо оторвал, — проговорил Гаврик, изо всех сил сдерживая слезы и желая казаться равнодушным.

Дедушка искоса посмотрел на него. Глаза старика были неподвижны, страшные своей глубокой пустотой. Губы мягко жевали. Он долго молчал. Наконец покачал головой и укоризненно произнес:

— Видели вы, господа, такое дело, чтобы уши детям обрывать? Разве это полагается?

Он тяжело вздохнул и опять зажевал губами. Вдруг суетливо наклонился к Гаврику, испуганно посмотрел на дверь — не подслушивает ли кто — и шепнул:

— Ничего не слышать, ушли они или остались?

— Они на обрыв полезли, — быстро и тихо сказал мальчик. — Терентий их повел до катакомбы. Если их по дороге не постреляют, непременно уйдут.

Дедушка повернул лицо к чудотворцу, прикрыл глаза и медленно, размашисто перекрестился, с силой вдавливая сложенные щепоткой пальцы в лоб, в живот, в оба плеча. Крошечная, еле заметная слеза поползла по щеке и пропала в морщине.

ДЕДУШКА

Под многими городами мира есть катакомбы. Катакомбы есть в Риме, Неаполе, Константинополе, Александрии, Париже, Одессе.

Когда-то, лет пятьдесят тому назад, одесские катакомбы были городскими каменоломнями, из которых выпиливали известняк для построек. Они и сейчас простираются запутанным лабиринтом под всем городом, имея несколько выходов за его чертой.

Жители Одессы, конечно, знали о существовании катакомб, но мало кто спускался в них, а тем более представлял себе их расположение. Катакомбы являлись как бы тайной города, его легендой.

Но недаром же Терентий был в свое время рыбаком. Он великолепно знал одесский берег и в точности изучил все выходы катакомб к морю.

Один из таких выходов находился в ста шагах позади хибарки, посредине обрыва. Это была узкая щель в скале, сплошь заросшая шиповником и бересклетом. Маленький ручеек просачивался из щели и бежал вниз по обрыву, заставляя вздрагивать ползучие растения и бурьян.

Отбившись от первого натиска городских и сыщиков, Терентий повел товарищей прямо к знакомой расселине.

Преследователи понятия о ней не имели. Они думали, что беглецы хотят дачами пробраться в город. Полицейским это было на руку. Все дачи были оцеплены. Беглецы неизбежно попадали в засаду.

Поэтому после первого же выстрела городским было приказано больше не стрелять.

Однако, прождав внизу с четверть часа, пристав Александровской части, который лично руководил облавой, послал околоточного надзирателя узнать, схвачены ли преступники.

Околоточный отправился в обход удобной дорогой и вернулся еще через четверть часа, сообщив, что беглецы наверху не появлялись. Таким образом, их не было ни наверху, ни внизу. Где же они? Было совершенно невероятно, чтобы они сидели где-нибудь посредине обрыва, в кустах, и ждали, пока их схватят.

Тем не менее пристав велел своим молодцам лезть вверх и обшарить каждый кустик. Страшно ругаясь, поминутно скользя лакированными сапогами по траве и глине, он сам полез на обрыв, больше не доверяя «этим болванам».

Они обшарили в темноте весь обрыв снизу доверху и ничего не нашли. Это было похоже на чудо. Не провалились же беглецы, в самом деле, сквозь землю!

— Ваше высокоблагородие! — раздался вдруг испуганный голос сверху.— Пожалуйста сюда!

— Что там такое?

— Так что, ваше высокоблагородие, катакомба!

Пристав схватился белыми перчатками за колючие ветки. Тотчас он был подхвачен дюжими руками и втащен на маленькую площадку.

Усатый зажигал спичку за спичкой. При свете их можно было рассмотреть заросшую кустами черную узкую щель в скале.

Пристав мигом понял, что дело проиграно. Ушла такая добыча! Он затрясся в ярости, затопал узкими сапогами и, тыча кулаками в белых перчатках направо и налево, куда попало, в морды, в скулы, в усы, кричал залихватским, осипшим от крика голосом:

— Что же вы стоите, бал-л-ваны?! Вперед! Обыскать все катакомбы! Головы посрываю, мор-р-ды р-р-р-раскрошу к чертовой матери! Чтоб негодяи были схвачены! Марш!

Но он сам понимал, что все равно ничего не выйдет. Чтоб обыскать все катакомбы, надо по крайней мере недели две. Да и все равно напрасно, так как прошло уже больше получаса и беглецы, несомненно, уж давно в другом конце города.

Несколько городских с неохотой полезли в щель и, непрерывно зажигая спички, топтались недалеко от входа, оглядывая серые известняковые стены подземного коридора, терявшегося в могильной тьме.

Пристав изо всех сил плюнул и, дробно бренча шпорами, побежал вниз. Ярость душила его. Он рванул перекрахмаленный воротник пикейного кителя с такой силой, что отлетели крючки.

Крупно шагая по трескучему бурьяну, он подошел к хибарке и с остервенением дернул дверь. Городовые в ужасе вытянулись.

Пристав вошел в каморку и застыл, расставив ноги и заложив судорожно играющие пальцы за спину. Тотчас за приставом в дверь пролез усатый.

— Ваше высокоблагородие, разрешите доложить,— таинственно шепнул он, показывая круглыми глазами на дедушку,— хозяин конспиративной квартиры, а это его мальчишка.

Пристав, не глядя на усатого, протянул к нему руку, взял его ощупью всей белой растопыренной пятерней за потную морду и с яростным отвращением оттолкнул:

— Тебя, бал-л-вана, не спрашивают. Сам знаю.

Гаврика охватил ужас. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. Бледный и маленький, с красным, распухшим ухом, он смотрел не мигая на стройного, плечистого офицера в голубых шароварах и черной лаковой портупее через плечо.

Постояв таким образом не менее минуты, показавшейся

мальчику часом, пристав присел боком на койку. Не спуская глаз с дедушки, он вытянул лаковый сапог, извлек из тесного кармана серебряную папиросницу с оранжевым трутом и закурил желтую папироску.

«Фабрики Асмолова», — подумал Гаврик.

Пристав пустил из ноздрей дым, произнес вместе с дымом: «Н-нуссс» — и вдруг заорал во всю глотку так, что зазвенело в ушах:

— Встань, мерзавец, когда находишься в присутствии офицера!

Дедушка суетливо вскочил. Скрючив босые черные ноги и опираясь на тщедушном теле рубаху, старик уставился на пристава бессмысленными солдатскими глазами.

Гаврик видел, как дрожала дедушкина вытянутая шея и как двумя вожами натягивалась под подбородком сухая кожа со старинным шрамом.

— Нелегальных прячешь? — ледяным голосом произнес пристав.

— Никак нет, — прошептал дедушка.

— Говори: кто у тебя только что был?

— Не могу знать.

— Ах, ты не можешь знать! — И офицер медленно привстал.

Сжав губы, он коротким и точным движением ударил старика в ухо с такой силой, что тот отлетел и всем телом стукнулся в стенку.

— Говори, кто был?

— Не могу знать, — твердо сказал старик, двигая скулами.

Снова мелькнул кулак в белой перчатке. Из дедушкиных ноздрей потекли две слабые струйки крови. Старик зажмурился, вдавил голову в плечи и всхлипнул.

— За что же вы бьете, ваше благородие? — тихо, но грозно сказал дедушка, вытирая под носом и показывая приставу запачканную руку.

— Молчать! — заорал офицер, бледнея.

Большая бархатная родинка чернела на его гипсовом лице. Он с отвращением посмотрел на свою испорченную перчатку.

— Говори, кто был?

— Не могу знать...

Старик успел закрыть лицо руками и отвернуться к стенке. Удар пришелся по голове. Штаны на коленях обвисли. Дедушка стал медленно сползать вниз.

— Дядя, не бейте его, он — старик! — со слезами отчаяния закричал Гаврик, бросаясь к приставу.

Но пристав уже выходил из хибарки, крича:

— Взять мерзавца! Отвезти!

Городовые бросились к старику и схватили его, выворачивая

локти. Они потащили его из хибарки, как куль соломы. Гаврик сел на пол и, кусая кулачки, зарыдал злыми, бешеными слезами.

Некоторое время он сидел не шевелясь, прислушиваясь одним ухом к шумам и шорохам ночи. Другое оглохло. Иногда мальчик нарочно затыкал здоровое ухо. Тогда со всех сторон его охватывала глубокая, немая тишина. Становилось страшно, как будто в этой тишине его молчаливо подстерегала какая-то опасность. Он открывал ухо, как бы торопясь выпустить на волю запертые звуки. Но одно ухо не могло вместить в себя все их разнообразие.

То слышались редкие, сильные вздохи моря, и ничего больше. То начиналась хрустальная музыка сверчков, и тогда прекращался шум моря. То теплый бриз пробегал по бурьяну, наполняя ночь шелестом, не оставляющим места ни для сверчков, ни для моря. То слышался один лишь треск лампочки, в которой выгорел керосин.

Внезапно мальчик ясно почувствовал свое одиночество. Он торопливо задул огонь и бросился за дедушкой.

Роскошная августовская ночь висела над миром. Черное мерцающее небо осыпало бегущего мальчика звездами. Звон сверчков подымался, струясь, до самого Млечного Пути. Но какое дело было измученному и оскорбленному ребенку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым?

Гаврик бежал изо всех сил.

Он догнал дедушку лишь в городе, на Старопортофранковской улице, возле самого участка.

Два городских — один сидя, а другой стоя — везли дедушку на извозчике. Старик лежал, соскользнув с сиденья, в ногах у городского, поперек дрожек. Его голова бессильно прыгала и билась о подножку. По лицу, грязному от пыли и крови, бежал свет газовых фонарей.

Гаврик бросился к дрожкам, но они уже остановились у ворот участка. Городовые тащили спотыкающегося старика в ворота.

— Дедушка! — закричал мальчик.

Городовой слегка стукнул Гаврика ножнами шашки по шее. Ворота закрылись. Мальчик остался один.

28

УПРЯМАЯ ТЕТЯ

Наступил миг величайшего Петино торжества и счастья.

Не было еще и часу дня, а он уже обегал всех знакомых в доме, показывая свою новенькую гимназическую фуражку и возбужденно рассказывая, как он только что экзаменовался.

По совести признаться, рассказывать было почти нечего. Никакого экзамена, собственно, не было — было легкое приемное испытание, продолжавшееся пятнадцать минут. Оно началось в половине одиннадцатого, а в пять минут двенадцатого приказчик в магазине рядом с гимназией уже вручил мальчику, галантно улыбаясь, его старую соломенную шляпу, завернутую в бумагу.

Фуражку Петя как надел перед зеркалом в магазине, так уже и не снимал до самого вечера.

— Ух, как я ловко выдержал экзамен! — возбужденно говорил Петя, торопливо шагая по улице.

Он заглядывал во все стекла, чтобы лишний раз увидеть себя в фуражке.

— Друг мой, — замечала тетя, у которой от смеха дрожал подбородок, — успокойся. Это был не экзамен, а всего лишь испытание.

— Ну, тетя! Как вы можете так говорить? — гневно багровея и топая ногами, на всю улицу кричал Петя, готовый зарыдать от обиды. — Ведь вы же не видели, а утверждаете! Это был самый настоящий экзамен, а вы в это время сидели в приемной и не имеете права так утверждать! Я вам говорю, что был экзамен!

— Конечно. Я дура, а ты умный! Было испытание.

— А вот экзамен!

— Я ему — брито, а он мне — стрижено.

Этими словами тетя весьма прозрачно намекала на старинный украинский анекдот про одного упрямца, который поспорил с женой: стрижена или брита борода у волостного писаря.

Упрямец против всякой очевидности кричал «стрижено» до тех пор, пока разъяренная жена не кинула его в речку. Уже утопая, он продолжал показывать пальцами над водой, что стрижено.

Но Петя не обратил на этот намек никакого внимания и со слезами в голосе повторял:

— А вот экзамен, а вот экзамен!

У тети было доброе сердце. Ей стало жаль отнимать у племянника самую дорогую часть его торжества. «Экзамен» — одно слово чего стоит! Пусть же мальчик радуется. Не стоит его огорчать в этот знаменательный день.

Тут тетя даже решила немножко покривить душой.

— Впрочем, — сказала она с тонкой улыбкой, — я, вероятно, ошиблась. Кажется, это был действительно экзамен.

Петя просиял:

— Ого, еще какой экзамен!

Но в глубине души Петю, конечно, грызло сомнение. Все произошло как-то чересчур быстро и легко для «экзамена».

Правда, детей выстроили в пары и повели «в класс». Правда, был длинный стол, покрытый синим сукном. Правда, сидели строгие преподаватели в синих мундирах, в золотых очках и пуговицах, в орденах, в крахмальных, даже на вид твердых, как скорлупа, манишках и гремящих манжетах. Среди них выделялись муаровая ряса и женские кудри священника.

Опускался желудок, потели ноги, ледяной пот выступал на висках... Все было, как полагается испокон веков.

Но сам экзамен... Нет, теперь Петя ясно понимал, что это было все-таки лишь испытание.

Как только мальчики расселись по партам, один из преподавателей тотчас уткнул нос в большую бумагу на столе и произнес, прекрасно, отчетливо, кругло выговаривая каждое слово:

— Что ж, приступим, Александров Борис, Александров Николай, Бачей Петр. Пожалуйста сюда.

Услышав свою фамилию и имя, прозвучавшие так чуждо и вместе с тем так жгуче в этом гулком, пустынном классе, Петя почувствовал, будто его внезапно ударили кулаком под ложечку. Он никак не предполагал, что страшный миг наступит так быстро.

Мальчик был застигнут врасплох. Он густо покраснел и, почти теряя сознание, подошел по скользкому полу к столу.

Три мальчика допустили в распоряжение преподавателей. Петя достался священнику.

— Нуте-с,— сказал громадный старик, заворачивая широкий рукав рясы.

Затем он воткнул в узкую грудь кинжал наперсного креста на серебряной цепочке. Цепочка была из плоских звеньев, с прорезью, как в кофейных зернышках.

— Подойди, отрок. Как звать?

— Петя.

— Петр, дорогой мой, Петр. Петя дома остался. Фамилия как?

— Бачей.

— Василия Петровича сын? Преподавателя ремесленного училища из школы десятников?

— Да.

Священник откинулся на спинку стула в мечтательной позе курильщика.

Он прищурился на Петю и с непонятной для мальчика усмешкой сказал:

— Знаю, как же. Либеральный господин. Нуте-с...— Священник еще больше откинулся.

Теперь маленький стул качался на двух задних ножках.

— Какие знаешь молитвы? «Верую» читаешь?

— Читаю.

— Говори.

Петя набрал полон рот воздуха и пошел чесать без знаков препинания, норовя выпалить всю молитву одним духом:

— Верую во единого бога-отца вседержителя творца неба и земли видимым же всем и невидимым и во единого господа Иисуса Христа сына...

Тут воздух кончился, и Петя остановился.

Торопливо, чтобы священник не подумал, что он забыл, мальчик со всхлипом вобрал в себя свежую порцию воздуха, но священник испуганно махнул рукой:

— Довольно, довольно. Иди дальше.

И тут же мальчик поступил в распоряжение математика.

— До скольких умеешь считать?

— До сколько угодно,— сказал Петя, ободренный триумфом по закону божьему.

— Прекрасно. Считай до миллиона.

Пете показалось, что он провалился в прорубь, он даже — совершенно произвольно — сделал ртом такой звук, будто захлебнулся. С отчаянием посмотрел по сторонам, ища помощи. Но все вокруг были заняты, а математик смотрел в сторону сквозь очки, в стеклах которых выпукло и очень отчетливо отражались два больших классных окна с зеленою гимназического сада, с голубыми куполами Пантелеймоновского подворья и даже с каланчой Александровского участка, на которой висело два черных шарика, означавших, что во второй части — пожар.

Считать до миллиона... Петя погиб!

— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... — старательно начал мальчик, исподтишка загибая пальцы и блудливо, но грустно улыбаясь, — восемь, девять, десять, одиннадцать...

Математик бесстрастно смотрел в окно. Когда удрученный мальчик произнес «семьдесят девять», учитель сказал:

— Достаточно. Таблицу умножения учил?

— Одиныжды один — один, одиныжды два — два, одиныжды три — три, — быстро и звонко начал Петя, боясь, чтобы его не прервали, но преподаватель кивнул головой:

— Будет.

— Я еще знаю сложение, вычитание, умножение и деление!

— Будет. Ступай дальше.

Что ж это такое, рта не дают открыть! Даже обидно!

Петя перешел к следующему преподавателю, с орденом, просвечивающим сквозь сухую бороду.

— Читай вот от сих пор.

Петя с уважением взял книгу в мраморном переплете и посмотрел на толстый желтый ноготь, лежавший на крупном заголовке «Лев и собачка».

— «Лев и собачка,— начал Петя довольно бойко, хотя и за-

пинаясь от волнения.— Лев и собачка. В одном зверинце находился лев. Он был очень кровожаден. Сторожа боялись его. Лев пожирал очень много мяса. Хозяин зверинца не знал, как тут быть...»

— Хватит.

Петя чуть не заплакал. Еще даже не дошло до собачки, а он уже — «хватит»...

— Стихотворение какое-нибудь на память знаешь?

Этого момента Петя ждал с трепетом тайного торжества. Вот тут-то он себя наконец покажет в полном блеске!

— Знаю «Парус», стихотворение М. Ю. Лермонтова.

— Ну, скажи.

— Сказать с выражением?

— Скажи с выражением.

— Сейчас.

Петя быстро отставил ногу, что являлось совершенно необходимым условием выразительного чтения, и гордо закинул голову.

— «Парус», стихотворение М. Ю. Лермонтова! — провозгласил он с некоторым завыванием.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Наскоро сделав обеими руками знак удивления и вопроса, он продолжал, торопясь сказать как можно больше, пока его не остановили:

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы, он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Петя торопливо показал жестом «увы», но преподаватель успел замахать руками:

— Хватит.

— Я сейчас кончу, там еще чуть-чуть,— простонал мальчик.

Под ним струя светлей лазури...

— Хватит, хватит. Иди домой.

— А еще больше ничего не надо? Я еще знаю «Как ныне собирается...», стихотворение А. С. Пушкина.

— Ничего больше не надо. Можешь сказать родителям, что ты принят. Вот и все.

Петя был ошеломлен. Он минуты две стоял посередине класса, не зная, что же теперь делать.

Казалось совершенно невероятным, что это страшное и загадочное событие, к которому он с трепетом готовился все лето, уже совершилось.

Наконец мальчик неловко шаркнул ногой, споткнулся и бросился из класса. Но через секунду как очумелый вбежал назад и спросил прерывающимся от волнения голосом:

— Гимназическую фуражку уже можно покупать?

— Можно, можно. Ступай.

Петя ворвался в приемную, где на золоченом стуле под гипсовым бюстом Ломоносова сидела тетя в летней шляпе с вуалью и в длинных перчатках.

Он кричал так громко, что его, несомненно, слышали на улице извозчики.

— Тетя! Идем скорее! Они сказали, что уже надо покупать гимназическую фуражку!

29

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЧАСТОК

Ах, какое это было блаженство — покупать фуражку!

Сначала ее долго примеривали, потом торговались, потом выбирали герб, эту изящнейшую серебряную вещицу. Она состояла из двух скрещенных колючих веточек с «О.5.Г.» между ними — вензелем Одесской пятой гимназии.

Герб выбрали самый большой и самый дешевый, за пятнадцать копеек.

Приказчик проткнул шилом две дырки в твердом околыше синей кастановой фуражки и вставил в них герб, отогнув с внутренней стороны латунные лапки.

Дома фуражка с гербом вызвала общий восторг. Все норовили потрогать ее. Но Петя не давал. Любоваться — пожалуйста, любуйтесь, а руками не хватать!

Папа, Дуня, Павлик — все наперебой спрашивали: «Сколько стоит?», как будто в этом было дело.

Петя горячо отвечал всем:

— Руб сорок пять фуражка и пятнадцать герб, да это что? Вот если бы видели, как я выдержал экзамен, вы б тогда знали!

Глядя на фуражку, Павлик завистливо косил глаза и сопел, каждую минуту готовый зареветь.

Затем Петя побежал показывать фуражку вниз, в лавочку, Нюсе Когану.

Нюся Коган опять гостил на лимане. Наказание!

Зато чрезвычайно заинтересовался новой фуражкой отец Нюси, старик Коган, лавочник, по прозвищу «Борис — семейство крыс».

Надев очки, он долго рассматривал фуражку со всех сторон, цокая языком — «ц-ц-ц», и наконец задал вопрос:

— Сколько стоит?

Обегав всех знакомых в доме, Петя отправился на полянку и показал фуражку солдатам. Солдаты тоже спросили, сколько стоит. Больше показывать было некому, а не прошло еще и половины дня!

Петя был в отчаянии.

Вдруг он увидел Гаврика, шедшего под забором родильного приюта. Петя бросился к приятелю, оглашая воздух криками и размахивая фуражкой.

Но — боже мой! — что случилось с Гавриком? Его маленькие глаза были обведены коричневыми кругами. Они тусклой злобой блестели на худом, немытом лице. Рубаха была изодрана. Одно ухо, лилово-красное, распухшее, сразу бросалось в глаза, пугая своим страшным неправдоподобием.

«Ух, как я ловко выдержал экзамен!» — хотел было крикнуть Петя, но слова эти застряли у него в горле.

Он прошептал:

— Ой! С кем ты дрался? Кто тебя побил?

Гаврик угрюмо усмехнулся, опуская глаза.

— А ну покажь, — сказал он вместо ответа и протянул руку к фуражке. — Сколько стоит?

Хотя давать фуражку в чужие руки было мучительно, все же Петя — правда, с болью в сердце — позволил Гаврику потрогать обновку.

— Только ты не попорти!

— Не дрейфь.

Мальчики уселись под кустиком возле помойки и принялись всесторонне рассматривать фуражку.

Гаврик тотчас открыл в ней множество тайн и возможностей, ускользнувших от глаз Пети.

Во-первых, обнаружилось, что вынимается тонкий стальной обруч, распирающий дно. Обруч был оклеен заржавленной бумагой и, вытасченный из фуражки, представлял самостоятельную ценность.

Из него ничего не стоило наломать массу маленьких стальных пластинок, годных хотя бы для того, чтобы класть на рельсы под дачный поезд — интересно, что с ними делается!

Во-вторых, была черная сатиновая подкладка с напечатанной золотом прописью: «Бр. Гуральник». Если ее немножко отодрать, за нее можно прятать различные мелкие вещи — ни за что никто не найдет!

В-третьих, кожаный козырек, покрытый снаружи черным лаком, можно легко сделать более блестящим, если хорошенько натереть зелеными стручками дерева, носящего среди мальчиков название «лаковое».

Что касается герба, то его немедленно надо подогнуть по моде и даже слегка подрезать веточки.

Мальчики тут же с жаром принялись за дело и работали до тех пор, пока не извлекли из фуражки все удовольствия, какие в ней заключались.

Это немного развлекло Гаврика.

Но когда фуражка окончательно потеряла человеческий вид и надоела, Гаврик снова стал угрюм.

— Слышь, Петька, вынеси кусок хлеба и два куса сахару, — сказал он вдруг с напускной грубостью. — Отнесу деду.

— Куда?

— В участок.

Петя смотрел на приятеля широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами.

Гаврик сумрачно усмехнулся и сплюнул под ноги:

— Ну, чего смотришь? Не понимаешь, чи шо? Маленький? Нашего деда вчера забрали в участок. Надо нести передачу.

Петя продолжал ничего не понимать.

Он слышал, что в участок забирают пьяниц, буянов, воров, босяков. Но — дедушку Гаврика? Это было выше его понимания.

Петя прекрасно знал старика: мальчик часто приходил к Гаврику в гости, на берег.

Сколько раз дедушка брал его вместе с Гавриком в море ловить бычков! Сколько раз он угощал его своим особенным, душистым и придымленным чаем, всегда извиняясь, что «только нема сахару»! Сколько раз он налаживал Пете грузило и учил, как надо привязывать лесу!..

А какие смешные украинские поговорки были у него припасены на всякий случай жизни, какое множество историй из времен турецкой кампании, какую уйму солдатских анекдотов он знал!

Бывало, сидит сам, как турок, подвернув под себя ноги, штопает сеть специально вырезанной деревянной иглой и рассказывает и рассказывает. Животики можно надорвать. И про то, как солдат топор варил, и про бомбардира, попавшего в рай, и про денщика, так ловко обманувшего пьяного офицера...

В жизни не встречал Петя такого любезного, гостеприимного хозяина. Сам рассказывает охотно, но и других слушает с удовольствием, с радостью.

Начнет Петя, бывало, что-нибудь рассказывать, увлечется, размахается руками, заврется до того, что уши вянут, а дедушка ничего — сидит и серьезно кивает головой:

«А что вы себе думаете, очень даже просто могло случиться!»
И такого человека забрали в участок! Невероятно!

— Да за что же, за что?

— А вот за то самое!

Гаврик вздохнул солидно, как взрослый, немного помолчав, и вдруг, прислонившись плечом к другу, таинственно шепнул:

— Слухай...

И он рассказал Пете, что случилось ночью. Конечно, он рассказал не все. Он ни словом не упомянул ни о матросе, ни о Терентии. Из его рассказа выходило, что ночью к ним в хибарку прибежали каких-то трое, которые спрятались от городских. Остальное в точности соответствовало тому, что было.

— Тут этот самый дракон ка-ак пошел мне накручивать уши!

— Я б ему так наддал, так наддал!..— возбужденно закричал Петя, сверкая глазами.— Он бы у меня тогда хорошенько узнал!..

— Заткнись,— угрюмо сказал Гаврик и, крепко взявшись за козырек Петиной фуражки, насунул ее Пете до половины лица, так что оттопырились уши.

Проделавши это, Гаврик продолжал свой рассказ. Петя слушал его с ужасом.

— Кто ж были эти? — спросил он, когда Гаврик кончил.— Грабители?

— Зачем? Я ж тебе говорю кто: простые люди, комитетчики.

Петя не понял:

— Какие?

— Ну, с тобой разговаривать — житного хлеба сперва накушаться. Я ж тебе говорю — комитетчики. Значит, с комитету.

Гаврик совсем близко наклонился к Пете и прошептал ему в самый рот, дыша луком:

— Которые делают забастовки. Из партии. Чуешь?

— Так зачем же дедушку били и отвезли в участок?

Гаврик с презрением усмехнулся:

— Я ему сто, а он мне двести. За то, что он их ховал. Голова! Меня б тоже забрали, только не имеют права: я маленький. Знаешь, сколько полагается сидеть тем, кто ховает? Ого! Только, чуешь...

Гаврик еще больше понизил голос и прошептал совсем еле слышно, озираясь по сторонам:

— Только, чуешь, он не просидит больше как одну неделю. Те все скоро пойдут по Одессе участки разбивать. Драконов до одного покидают в Черное море... Чтоб я не видел счастья! Святой истинный крест!

Гаврик опять сплюнул под ноги и уже совсем другим, деловым тоном сказал:

— Так вынесешь?

Петя помчался домой и через две минуты вернулся с шестью

кусками сахара в кармане и половиной ситного хлеба за пазухой матроски.

— Хватит,— сказал Гаврик, посчитав сахар и взвесив на ладони хлеб.— Пойдешь со мной в участок?

Хотя участок был недалеко, но, разумеется, ходить туда безусловно запрещалось. Пете же, как назло, до такой степени захотелось вдруг в участок, что невозможно описать. В душе мальчика снова началась жестокая борьба с совестью, и борьба эта продолжалась всю дорогу, вплоть до самого участка.

Когда же совесть в конце концов победила, то уже было поздно: мальчики пришли к участку.

Все понятия и вещи в присутствии Гаврика тотчас теряли свою привычную оболочку и обнаруживали множество качеств, до сих пор скрытых от Пети,— Ближние Мельницы из печального селения вдов и сирот превращались в рабочую слободку с лиловыми петушками в палисадниках; городской становился драконом; в фуражке оказывался стальной обруч.

И вот теперь — участок.

Чем был он до сих пор в Петинем представлении? Основательным казенным зданием на углу Ришельевской и Новорыбной, против Пантелеймоновского подворья. Сколько раз мимо него проезжал Петя на конке!..

Главное в этом здании была высокая четырехугольная каланча с маленьким пожарным наверху. День и ночь, озирая сверху город, ходил человек в овчинной шубе по балкончику вокруг мачты с перекладиной. Мачта эта всегда напоминала Пете весы или трапецию. На ней постоянно висело несколько черных зловещих шариков, числом своим показывая, в какой части города пожар. Город же был так велик, что непременно где-нибудь горело.

У подножия каланчи находилось депо одесской пожарной команды. Оно состояло из ряда громадных кованых ворот. Иногда оттуда, при раздирающих криках труб, вырывались одна за другой четверки бешеных лошадей в яблоках, с развевающимися белоснежными гривами и хвостами.

Красный пожарный обоз, зловещий и вместе с тем как бы игрушечный, проносился по мостовой, сопровождаемый непрерывным набатом и оставляя за собой в воздухе оранжевые языки пламени, оторвавшиеся от факелов. Огонь отражался в медных касках. Призрак беды вставал над беспечным городом. Кроме этого, ничем замечательным в глазах Пети не отличался участок.

Но стоило только Гаврику приблизиться к нему — и он оборотился, как от прикосновения волшебной палочки, узким переулком, куда выходили решетчатые окна арестного дома.

Участок оказался просто тюрьмой.

— Постой здесь,— сказал Гаврик.

Он перебежал сырую мостовую и незаметно юркнул мимо городского в ворота участка. Как видно, и здесь Гаврик был свой человек.

Петя остался один в небольшой толпе против участка. Это были родственники. Они переговаривались через улицу с арестованными.

Петя никак не предполагал, что в участке может «сидеть» столько людей. Их было не меньше сотни.

Впрочем, они отнюдь не сидели. Одни стояли на подоконниках, держась за решетки открытых окон; другие выглядывали из-за них, махая руками; третьи подпрыгивали, стараясь через головы и плечи увидеть улицу.

К удивлению Пети, здесь не было ни воров, ни пьяных, ни босяков. Наоборот: обыкновенные, простые, вполне приличные люди, из числа тех, каких можно было каждый день встретить возле вокзала, на Ланжероне, в Александровском парке, на конке... Было даже несколько студентов. Один привлек особое внимание черной кавказской буркой поверх белого кителя с золотыми пуговицами. Приложив ладони к своим худым щекам, он кричал кому-то в толпе оглушительным гортанным голосом:

— Передайте, пожалуйста, в землячество, что сегодня ночью товарищей Лордкипанидзе, Красикова и Бурегого вызвали из камеры с вещами. Повторяю: Лордкипанидзе, Красикова и Бурегого! Сегодня ночью! Организуйте общественный протест! Привет товарищам!

Человек в пиджаке и косоворотке с расстегнутым воротом, чем-то напоминавший Терентия, кричал из другого окна:

— Пушай Сережа пойдет в контору за моей получкой! Раздавались голоса, перебивавшие друг друга:

— Не доверяйтесь Афанасьеву! Слышь, Афанасьеву не доверяйтесь!

— Колька сидит в Бульварном!

— У Павел Ивановича в ящике, за шкафом!

— Самое позднее — в среду!

Родственники тоже кричали, поднимая над головой кошелки и детей.

Одна женщина держала на руках девочку с такими же точно сережками, как у Моти. Она кричала:

— За нас не беспокойся! Нас люди не оставляют! Мы имеем что кушать. Смотри, какая наша Верочка здоровенькая!

Иногда к толпе подходил городской, держась обеими руками за ножны шашки.

— Господа, вас честью просят не останавливаться напротив окон и не вступать с задержанными в разговоры.

Но тотчас из окон раздавались оглушительные свистки, невообразимая брань, рев. В городского летели арбузные корки, кукурузные кочерыжки, огурцы.

— Дракон!

— Фараон!

— Иди бей японцев!

И городской с шашкой под мышкой неторопливо возвращался к воротам, делая вид, что ничего особенного не произошло.

Нет, положительно, на свете все было вовсе не так благополучно, как это могло показаться с первого взгляда.

Гаврик возвратился сумрачный, злой.

— Ну что, видел дедушку?

Гаврик не ответил ни слова. Мальчики пошли назад. Возле вокзала Гаврик остановился.

— Они его каждый день бьют,— глухо сказал он, вытирая драным рукавом щеки.— Увидимся.

И Гаврик пошел прочь.

— Куда?

— На Ближние Мельницы.

Через Куликово поле Петя побрел домой. Ветер гнал тучи сухой, скучной пыли.

На душе у мальчика было так тяжело, что даже сплюснутая гильза от винтовочного патрона, которую он нашел по дороге, нисколько не обрадовала его.

30

В ПРИГOTOВИТЕЛЬНОМ

Наступила осень.

Петя уже ходил в гимназию. Из большого загорелого мальчика с длинными ногами в фильдекосовых чулках он, надев форму, превратился в маленького, выстриженного под ноль, лопоухого пригoтовишку, на гимназическом языке — «мартыхана».

Длинные суконные брюки и форменная курточка, купленные за тридцать шесть рублей в конфекционе готового платья Ландесмана, сидели мешковато, очень неудобно.

Грубый воротник натирал нежную шею, привыкшую к свободному вырезу матроски.

Даже пояс, настоящий гимназический пояс с мельхиоровой бляхой, о котором больше всего после фуражки мечтал Петя, не оправдал ожидания. Он все время лез под мышки, бляха съезжала набок, языком висел свободный конец ремня.

Не придавая фигуре ничего мужественного — на что сильно рассчитывал мальчик,— пояс оказался лишь постоянным источ-

ником унижительных хлопот, вызывавших неуместные насмешки взрослых.

Но зато сколько неожиданной радости принесла Пете покупка тетрадей, учебников, письменных принадлежностей!

Как не похож оказался серьезный, тихий книжный магазин на другие, уже известные мальчику легкомысленные, вздорные магазины Ришельевской улицы или Пассажа! Пожалуй, он даже был серьезней аптеки, во всяком случае — много интеллигентней.

Уже одна его узкая, скромная вывеска

ОБРАЗОВАНИЕ

внушала чувство глубочайшего уважения.

Был темный осенний вечер, когда Петя отправился с папой в «Образование».

Это было сонное царство книжных корешков, зеленовато, как-то по-университетски освещенных газовыми рожками и увенчанных раскрашенными головами представителей четырех человеческих рас: красной, желтой, черной и белой.

Первые три головы в точности соответствовали названию своей расы. Индеец был действительно совершенно красный. Китаец — желтый, как лимон. Негр — чернее смолы. И лишь для представителя белой, господствующей расы сделали послабление: он был не белый, но нежно-розовый, с гофрированной русой бородкой. Петя, как очарованный, рассматривал голубые глобусы с медными меридианами, черные карты звездного неба, страшные и вместе с тем поразительно яркие анатомические таблицы.

Вся мудрость Вселенной, сосредоточенная в этом магазине, казалось, проникала в поры покупателя. По крайней мере, Петя, возвращаясь на конке домой, уже чувствовал себя необыкновенно образованным. А между тем в магазине пробыли не более десяти минут и купили всего пять книжек, из которых самая толстая стоила сорок две копейки.

Потом был куплен настоящий ранец из телячьей кожи шерстью наружу и маленькая корзиночка для завтраков.

Затем выбрали прекраснейший пенал с переводной картинкой на выдвижной лакированной крышке. Тугая крышка скрипела, как деревянная писанка. Все отделения пенала Петя с большим вкусом и старанием наполнил предназначенными для них предметами, особенно заботясь, чтоб ни одно не пустовало.

Были положены разных сортов перышки: синие с тремя дырочками, «коссодо», «рондо», «номер восемьдесят шесть», «Пушкин» — с курчавой головой знаменитого писателя — и множество других.

Затем — резинка со слоном, липка, растушевка, два каранда-

ша: один для писания, другой для рисования, перламутровый перочинный ножичек, дорогая ручка за двадцать копеек, разноцветные облатки, кнопки, булавки, картинки.

И все это совершенно новенькое, лаковое, упоительно пахучее — все эти маленькие, изящные орудия прилежания!

Весь вечер Петя усердно обертывал учебники и тетради специальной синей бумагой, скрепляя ее облатками. Он приклеивал к углам промокашек кружевные картинки. Лакированные букеты и ангелы крепко прижимали шелковые ленточки.

Все тетради были аккуратно надписаны:

ТЕТРАДЬ

ученика приготовительного класса О.5.Г.

Петра Бачей

Петя едва дождался утра. На дворе было еще почти темно, а дома горела утренняя лампа, когда мальчик побежал в гимназию, с ног до головы снаряженный, как на войну.

Уж теперь-то ни одна наука не устоит против Пети! Три недели мальчик с неслыханным терпением — в гимназии и дома — занимался улучшением своего научного хозяйства. Он то и дело переклеивал картинки, заново обертывал учебники, менял в пенале перья, добиваясь наибольшей красоты и совершенства.

И когда тетя, бывало, скажет:

— Ты бы лучше уроки учил...

Петя с отчаянием стонал:

— Ой, тетя, ну что вы говорите разные глупости! Как же я могу учить уроки, когда у меня еще ничего не готово?

Словом, все шло прекрасно.

Одно только омрачало радость учения: Петю еще ни разу не вызывали, и ни одной отметки еще не стояло в его записной тетради. Почти у всех мальчиков в классе были отметки, а у Пети не было.

Каждую субботу он с грустью приносил свою пустую записную тетрадь, роскошно обернутую в розовую бумагу, оклеенную золотыми и серебряными звездами, орденами, украшенную разноцветными закладками. Но вот однажды в субботу Петя, не раздеваясь, вбежал в столовую, сияющий, взволнованный, красный от счастья. Он размахивал нарядной записной тетрадью, крича на всю квартиру:

— Тетя! Павка! Дуня! Идите сюда скорее! Смотрите, мне поставили отметки! Ах, как жалко, что папа на уроках!

И, торжественно швырнув тетрадь на стол, мальчик с гордой скромностью отошел в сторону, как бы не желая мешать созерцанию отметок.

— А ну-ка, ну-ка! — воскликнула тетя, вбегая с выкройкой в руках в столовую. — Покажи свои отметки.

Она взяла со стола тетрадь и быстро пробежала ее глазами. — Закон божий — два, русский — два, арифметика — два, внимание — три и прилежание — три, — с удивлением сказала тетя, укоризненно качая головой. — Не понимаю, чего же ты радуешься? Сплошные двойки!

Петя с досады даже топнул ногой.

— Вот так я и знал! — закричал он, чуть не плача от обиды. — Как вы, тетя, не понимаете? Важно, что о т м е т к и! Понимаете: от-мет-ки! А вы этого не хотите понять... Так всегда!..

И Петя, сердито схватив знаменитую тетрадь, помчался во двор показывать отметки мальчикам.

На этом закончился первый, праздничный период Петиного учения. За ним наступили суровые будни, скучная пора зубрежки.

Гаврик больше не появлялся, и Петя его почти забыл, всецело занятый гимназией.

До поры до времени забыл о Петинем существовании и Гаврик.

Теперь он жил на Ближних Мельницах, у Терентия.

Дедушку все еще не выпускали. Он сидел то в Александровском участке, то в охранке, куда его часто возили ночью на извозчике. Но, как видно, старик умел держать язык за зубами, так как Терентия до сих пор не трогали.

Куда девался матрос, Гаврик в точности не знал. Расспрашивать же Терентия он не считал нужным. Впрочем, по некоторым признакам можно было заключить, что матрос в безопасности и находится где-то поблизости.

Мало ли было на Ближних Мельницах трущоб и закоулков, где человек мог сгинуть, пропасть, исчезнуть? И мало ли было таких сгинувших до поры до времени людей в районе Ближних Мельниц?

Не в правилах Гаврика было совать нос в чужие дела. У него и своих дел оказалось достаточно.

Терентию с семьей приходилось туго. Железная дорога бастовала почти все время. Терентий пробавлялся мелкой слесарной работой, которую брал на дом. Но, во-первых, работы было мало, а во-вторых, много времени отнимали те неотложные дела, о которых в семье принято было говорить только намеками.

Терентий как бы вовсе не принадлежал себе. Случалось, за ним являлись ночью, и он, не говоря ни слова, одевался и уходил, иногда на целые сутки.

Постоянно в доме сидели какие-то приезжие, которым надо было готовить кулеш, кипятить в чайнике воду. В сенях не выводилась осенняя грязь, в комнате столбом стоял махорочный дым.

У мальчика не хватало совести сесть на шею семейному брату, приходилось кормиться самому. Не маленький! Надо было тоже

носить передачи дедушке в участок. Конечно, без дедушки о рыбной ловле нечего было и думать. Да и погода пошла плохая — через день шторм.

Гаврик сходил на берег, перетащил лодку к соседям и запер хибарку на замок.

Теперь он целыми днями бродил по городу в старых чеботах Терентия, ища себе пропитания. Конечно, выгоднее всего было просить милостыню. Но Гаврик скорее согласился бы сдохнуть, чем протянуть руку прохожему. Вся его рыбацкая кровь закипала при одной мысли об этом.

Нет! Он привык добывать хлеб трудом. Он носил кухаркам корзинки с привоза до самого дома за две копейки. Он помогал грузчикам на станции Одесса-Товарная. Для извозчиков, которые, под угрозой штрафа, не имели права отлучаться от лошади, он бегал в монопольку за шкаликом водки.

Если же работы все-таки не находилось, а есть хотелось, он отправлялся в кладбищенскую церковь и дожидался покойника, чтобы получить в шапку горсть колева, этого погребального блюда, состоящего из вареного риса, засыпанного сахарной пудрой и выложенного лиловыми мармеладками.

Раздавать на похоронах колево — таков был одесский обычай. Этим обычаем широко пользовались кладбищенские нищие. Некоторые из них нагуливали себе довольно толстые морды. Но так как колево ели не только нищие, но и все присутствующие на похоронах, то Гаврик не считал для себя унижительным пользоваться столь удобным обычаем. Тем более, что попадавшиеся мармеладки можно было снести детям Терентия в виде гостинца, без которого Гаврик считал неудобным являться ночевать.

Иногда Терентий посылал его отнести какой-нибудь сверток по адресу, который непременно надо было выучить наизусть и ни в коем случае не записывать на бумажку. Гаврику очень нравились эти поручения, несомненно имевшие какую-то связь с теми делами, которыми постоянно был занят Терентий.

Сверток — чаще всего это были бумаги — Гаврик засовывал глубоко в карман и сверху приглаживал, чтобы не торчало. Он знал: «в случае чего» надо говорить, что сверток нашел.

Отыскав человека, надо обязательно сначала сказать: «Здравствуйте, дядя, вам кланяется Софья Ивановна». Человек ответит: «Как здоровье Софьи Ивановны?» И только тогда можно отдать сверток, но не раньше! Очень часто человек, получая сверток, давал целый гривенник «на конку».

Ух, как жутко и весело было идти по такому поручению!

Наконец, Гаврик добывал деньги игрой в ушки. Эта игра только что вошла в моду. Ею увлекались не только дети, но и взрослые. Ушками назывались форменные пуговицы различных ведомств, со вбитыми внутрь петельками.

В общих чертах игра состояла в том, что игроки ставили чашечки ушек в кон, а затем по очереди били по ним специальной ушкой-битой, стараясь их перевернуть орлом вверх. Каждая перевернутая таким образом ушка считалась выигранной.

Игра в ушки не была труднее или интереснее других уличных игр, но в ней заключалась особая, дьявольская прелесть: ушки стоили денег. Их всегда можно было купить и продать. Они котировались по особому курсу на уличной бирже.

Гаврик блестяще играл в ушки. У него был твердый, сильный удар и очень меткий глаз. В короткое время он приобрел славу чемпиона. Его мешочек всегда был наполнен превосходными, дорогими ушками. Когда его дела становились особенно скверными, он продавал часть своего запаса.

Но его мешочек никогда не пустовал. На другой же день Гаврик выигрывал еще больше ушек, чем продал накануне.

Таким образом, то, что для других было развлечением, для мальчика стало чем-то вроде выгодной профессии. Ничего не поделаешь, приходилось выкручиваться!

31

ЯЩИК НА ЛАФЕТЕ

Надвигались события. Казалось, что они надвигаются страшно медленно. В действительности они приближались с чудовищной быстротой курьерского поезда.

Как хорошо было знакомо Гаврику, жителю Ближних Мельниц, это чувство ожидания летящего поезда!

Поезд ещё где-то очень далеко, его еще не видно и не слышно, но длинное дилиньканье на станции Одесса-Товарная уже дает знать о его приближении. Путь свободен! Семафор открыт. Рельсы блестящи и неподвижны. Вокруг полная тишина. Но все уже знают, что поезд идет и никакая сила не может его остановить.

Медленно опускается на переезде шлагбаум. Мальчики торопятся взобраться на станционный забор. Стаи птиц в тревоге снимаются с деревьев и кружат над водокачкой. Они с высоты уже, наверно, видят поезд.

Издалека доносится еле слышный рожок стрелочника. И вот, совершенно незаметно, к тишине примешивается слабый шум. Даже нет. Это еще не шум. Это как бы предчувствие шума, тончайшая дрожь рельсов, наполняющихся неощутимым звуком. Но тем не менее это — дрожь, это — звук, это — шум.

Теперь он уже ясно слышен: медленные выдохи пара, каждый следующий явственнее предыдущего.

И все-таки еще не верится, что через минуту пролетит курьерский. Но вот вдруг впереди неожиданно обнаруживается паровоз, охваченный облаком пара. Кажется, что он стоит неподвижно в конце аллеи зеленых насаждений.

Да, несомненно, он остановился. Но тогда почему же он так чудовищно увеличивается с каждым мигом? Однако уже нет времени ответить на этот вопрос.

Отбрасывая в стороны шары пара, проносится курьерский, обдавая головокружительным вихрем колес, окон, площадок, бандажей, тамбуров, буферов...

Бродя целыми днями по городу, Гаврик не мог не чувствовать приближения событий. Они еще были где-то в пути — может быть, на полдороге между Одессой и Санкт-Петербургом, — но к тишине ожидания уже примешивался не столько слышимый, сколько угадываемый шум неотвратимого движения.

По улицам, качаясь на новеньких костылях, ходили обросшие бородой раненые в черных косматых маньчжурских папах и в накиннутых на плечи шинелях с Георгиевскими крестами.

Приезжавшие из Центральной России мастеровые приносили слухи о всеобщей стачке. В толпах возле участков говорили о насилии. В толпах возле университета и Высших женских курсов говорили о свободе. В толпах возле завода Гена говорили о вооруженном восстании.

Однажды в конце сентября в порт пришел большой белый пароход с телом генерала Кондратенко, убитого в Порт-Артуре.

Почти год странствовал громадный, шестидесятипудовый ящик со свинцовым гробом по чужим землям и морям, пока наконец не добрался до родины.

Здесь, в порту, его поставили на лафет и повезли по широким аллеям одесских улиц на вокзал.

Гаврик видел мрачную, торжественную процессию, освещенную бедным сентябрьским солнцем: погребальные ризы священников, кавалерию, городских в белых перчатках, креповые банты на газовых уличных фонарях.

Мортусы¹ в черных треуголках, обшитых серебряным галуном, несли на палках стеклянные фонари с бледными языками свечей, еле видными при дневном свете.

Беспрерывно, но страшно медленно играли оркестры военной музыки, смешиваясь с хором архиерейских певчих.

Нестерпимо высокие, почти воющие, но вместе с тем удручающе стройные детские голоса возносились вверх, дрожа под сводами вялых акаций. Слабое солнце сквозило в сиреневом дыму ладана. И медленно-медленно двигался к вокзалу посредине оцепленной войсками Пушкинской улицы лафет с высоко постав-

¹ М о р т у с ы — так называли в Одессе факельщиков.

ленным громадным черным ящиком, заваленным венками и лентами. Когда процессия поравнялась с вокзальным сквером, на чугунной решетке появился студент. Он взмахнул над заросшей головой студенческой фуражкой с выгоревшим добела голубым околышем и закричал:

— Товарищи!

В этой громадной толпе безмолвного народа его голос показался совсем слабым, еле слышным. Но слово, которое он выкрикнул, — «товарищи» — было так невероятно, непривычно, вызывающе, что его услышали все, и все головы, сколько их было, повернулись к маленькой фигурке, повисшей на массивной ограде сквера.

— Товарищи! Помните о Порт-Артуре, помните о Цусиме! Помните о кровавых днях Девятого января! Царь и его опричники довели Россию до неслыханного позора, до неслыханного разорения и нищеты! Но великий русский народ живет и будет жить! Долой самодержавие!

Городовые уже стаскивали студента. Но он, цепляясь ногами за ограду и размахивая фуражкой, кричал быстро, исступленно, во что бы то ни стало желая окончить речь:

— Долой самодержавие! Да здравствует свобода! Да здравствует ре...

Гаврик видел, как его стащили и, держа за руки, повели.

Погребальный звон плыл над городом. Пощелкивали подковы конницы. Гроб с телом генерала Кондратенко поставили в траурный вагон Санкт-Петербургского поезда. В последний раз грянули оркестры.

— На-а-а! кра-а-а! ул!

Поезд тронулся.

Траурный вагон медленно проплыл за светлой оградой вытянутых в струнку штыков, унося черный ящик с крестом на верхней крышке, мимо Одессы-Товарной, мимо предместий, усыпанных толпами неподвижных людей, мимо молчаливых станций и полустанков — через всю Россию на север, в Петербург. Призрак проигранной войны двигался по России вместе с этим печальным поездом.

Пете в эти несколько дней казалось, что в их доме — покойник. Ходили тихо. Говорили мало. У тети на туалете лежал скомканный носовой платок. Сразу после обеда отец молча накрывал лампу зеленым абажуром и до поздней ночи исправлял тетрадки, то и дело роняя пенсне и протирая его подкладкой сюртука.

Петя притих. Он рисовал в специальной «рисовальной тетради» вместо заданных шаров и конусов бой под Тюренченом и остроносый крейсер «Ретвизан», окруженный фонтанами взрывающихся японских мин. Только неугомонный Павлик то и дело запрягал Кудлатку в перевернутый стул и, неистово дуя в кра-

шеную жестяную трубу, возил по коридору «похороны Кондратенко».

Однажды, ложась спать, Петя услышал из столовой голоса папы и тети.

— Невозможно, невозможно жить, — говорила тетя в нос, как будто у нее был насморк.

А мальчик прекрасно знал, что она здорова.

Петя стал слушать.

— Буквально нечем дышать, — продолжала тетя со слезами в голосе. — Неужели вы этого не чувствуете, Василий Петрович? Мне бы на их месте совестно было людям в глаза смотреть, а они — боже мой! — как будто бы это так и надо. Иду по Французскому бульвару и глазам своим не верю. Великолепнейший выезд, рысаки в серых яблоках, ландо, на козлах кучер-солдат в белых перчатках, шум, гром, блеск... Две дамы в белых косынках с красными крестами, в бархатных собольих ротондах, на пальцах вот такие брильянты, лорнеты, брови намазаны, глаза блестят от белладонны, и напротив два шикарных адъютанта с зеркальными саблями, с папиросами в белых зубах. Хохот, веселье... И, как бы вы думали, кто? Мадам Каульбарс с дочерью и поклонниками катит в Аркадию, в то время когда Россия буквально истекает кровью и слезами! Ну, что вы скажете? Нет, вы только подумайте — вот такие брильянты! А, позвольте спросить, откуда? Наворовали, награбили, набили карманы... Ох, до чего же я ненавижу всю эту — простите меня за резкость — сволочь! Три четверти страны голодает... Вымирают целые уезды... Я больше не могу, не в состоянии, поймите же это!

Петя услышал горячие всхлипывания.

— Ради бога, Татьяна Ивановна... Но что же делать? Что делать?

— Ах, почему я знаю, что делать! Протестовать, требовать, кричать, идти на улицу...

— Умоляю вас... Я понимаю... Но скажите, что мы можем?

— Что мы можем? — вдруг воскликнула тетя высоким и чистым голосом. — Мы всё можем, всё! Если только захотим и не побоимся. Мы можем мерзавцу сказать в глаза, что он мерзавец, вору — что он вор, трусу — что он трус... А мы вместо этого сидим дома и молчим! Боже мой, боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия! Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь...

— Ради бога, Татьяна Ивановна, услышат дети!

— И прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у них царь — дурак и пьяница, кроме того еще и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок! А лучшие люди страны, самые

честные, самые образованные, самые умные, гниют по тюрьмам, по каторгам...

Отец осторожно прошел в детскую — посмотрел, спят ли мальчики. Петя закрыл глаза и стал дышать глубоко и ровно, делая вид, что спит. Отец наклонился к нему, поцеловал дрожащими губами в щеку и вышел на цыпочках, плотно притворив за собой дверь.

Но долго еще из столовой доносились голоса.

Петя не спал. По потолку взад и вперед двигались полосы ночного света. Щелкали подковы. Тихонько дрожали стекла.

И мальчику казалось, что это мимо окон все время ездит взад и вперед сверкающее ландо мадам Каульбарс, наворовавшей в казне (казна имела вид кованого ящика на колесах) множество денег и брильянтов.

32

ТУМАН

В этот вечер Пете открылось много такого, о чем он раньше не подозревал.

Раньше существовали понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже и не приходилось думать.

Например — Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия — самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России?

Затем папа. Папа — самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете.

Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь — это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например французскому?

Ну и, конечно, бог, о котором уже совсем нечего говорить, — все понятно.

И вдруг что же оказалось? Оказалось, что Россия — несчастная, что, кроме папы, есть еще какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь — дурак и пьяница, да еще и битый бамбуковой палкой по голове. Кроме того, министры — бездарные, генералы — бездарные, и, оказывается, не Россия побила Японию, в чем не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония — Россию.

И самое главное — что об этом говорили папа и тетя. Впрочем, кое о чем уже догадывался и сам Петя.

В участке сидели приличные, трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, еще и били. Матрос прыгнул с парохода. Солдаты остановили дилижанс. В порту стояли часовые. Горела эстакада. С броненосца стреляли по городу.

Нет, было совершенно ясно, что жизнь — вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась еще совсем недавно.

Пете ужасно хотелось спросить тетю, как это и кто бил царя по голове палкой. Главное, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делая вид, будто ничего не знаешь. Тем более, что тетя продолжала быть той же приветливой, насмешливой, деловитой тетей, какой была и раньше, ничем не показывала своих чувств, так откровенно выраженных лишь один раз вечером.

Уже шел октябрь.

Акации почти осыпались. В море ревели штормы.

Вставали и одевались при свете лампы.

По неделям над городом стоял туман. Люди и деревья были нарисованы на нем, как на матовом стекле.

Лампы, потушенные в девять часов утра, зажигались снова в пять вечера. Моросил дождь. Иногда он переставал. Ветер уносил туман. Тогда рябиновая заря долго горела на чистом, как лед, небе, за вокзалом, за привозом, за костылями заборов, за голыми прутьями деревьев, густо закиданных вороньими гнездами, большими и черными, как маньчжурские папахи.

Руки сильно зябли без перчаток. Земля становилась тугой. Страшная пустота и прозрачность стояли над чердаками. В эти недолгие часы тишина стояла от неба до земли. Город был отрезан от Куликова поля ее прозрачной стеной. Он бесконечно отдалялся со всеми своими тревожными слухами, тайнами, ожиданиями событий. Он виднелся четко, почти резко и вместе с тем страшно далеко, как в обратную сторону бинокля.

Но портилась погода, небо темнело, с моря надвигался непроницаемый туман. В двух шагах ничего не было видно. Наступал страшный слепой вечер, потом — ночь.

С моря дул прохватывающий ветер. Из порта доносился темный, вселяющий ужас голос сирены. Он начинался с низких, басовых нот и вдруг с головокружительной быстротой взвивался хроматической гаммой до пронзительного, но мягкого воя нечеловеческой высоты и мрачности. Как будто вырывался с леденящим воем смертоносный снаряд и уносился во мрак непогоды.

В такие вечера Пете было даже страшно подойти к окну и, приоткрыв ставни, посмотреть на улицу.

На всем громадном и диком пространстве Куликова поля не

было видно ни зги. Туманная тьма плотно соединяла его с городом. Тайны делались общими. Казалось, они незаметно распространяются от фонаря к фонарю, задушенному туманом.

Скользили тени редких прохожих. Иногда в темноте слышался длинный и слабый полицейский свисток. У штаба стоял усиленный караул. Раздавались грубые шаги проходящего патруля.

За каждым углом мог кто-то прятаться, каждую минуту могло что-то случиться — непредвиденное и ужасное.

И действительно, однажды случилось.

Часов около десяти вечера в столовую вбежала, не снимая платка, Дуня, ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что пять минут назад на пустыре, под стеной штаба, застрелился часовой. Она передала страшные подробности: солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги спустил курок. Ему разнесло затылок. Дуня стояла мертвенно-бледная, с пепельными губами, все время развязывая и завязывая узел теплого платка с бахромой.

— Главное дело, говорят, даже записки никакой не оставил, — вымолвила она наконец. — Наверно, неграмотный.

Тетя изо всех сил сжала косточками кулаков виски.

— Ах, да какая там записка!.. — воскликнула она со слезами досады и положила голову на скатерть возле блюда чая, где во всех подробностях, но крошечная, отражалась, покачиваясь, столовая лампа в белом абажуре. — Какая там записка! И так все ясно...

Из окна кухни, выходящего на пустырь, Петя видел блуждающие фонари кареты «скорой помощи», тени людей.

Дрожа от страха и холода, мальчик сидел на ледяном подоконнике пустой кухни, припав к облитому дождем стеклу, не в силах отвести глаз от темноты, в которой еще чудилось присутствие смерти.

Петя долго не засыпал в эту ночь, все время с ужасом представляя себе труп босого солдата, в полной караульной форме, с разmozженным затылком и синим, загадочно неподвижным лицом.

Все же на следующее утро, несмотря на весь свой ужас, он не смог преодолеть искушения взглянуть на страшное место. Необъяснимая сила тянула его на пустырь. По дороге в гимназию он завернул туда и осторожно, на цыпочках, как в церкви, приблизился по мокрой от дождя и тумана гнилой траве к тому месту, где уже стояло несколько любопытных.

Возле штабной стены мальчик увидел выдавленную в сырой земле круглую ямку величиной с человеческую голову. Она была полна дождевой воды, бледно-розовой от примеси размытой крови. На этом месте мертвый солдат, вероятно, и стукнулся затылком.

Это было все, что осталось от ночного происшествия.

Петя поднял воротник гимназической шинели и, дрожа от сырости, некоторое время стоял возле ямки. И тут под ногами мальчик заметил какой-то небольшой кружок. Он поднял его и задрожал от радости. Это был пятак, черный и пятнистый, с бирюзовым лишаем вместо орла.

Разумеется, находка была случайная и к происшествию никакого отношения не имела. Вернее всего, пятак пролежал здесь с лета, когда его потеряли игравшие в орлянку мастеровые или обронила ночевавшая под кустом нищенка. Однако монета сразу приобрела в глазах мальчика значение как бы заколдованной, не говоря уже о том, что, помимо всего, это было целое богатство: пять копеек!

Отец никогда не давал Пете на руки денег. Он считал, что деньги легко могут развратить мальчика. Найдя пятак, Петя был вне себя от восторга. Весь этот день, волшебным образом озаренный находкой, превратился для мальчика в сплошной праздник.

В классе пятак переходил из рук в руки. Среди товарищей нашлись люди, опытные в такого рода делах. Они божились, крестясь на купола Пантелеймоновского подворья, что наверняка это не что иное, как неразменный пятак, младший брат сказочного неразменного рубля. Он должен принести Пете неслыханные богатства.

Один мальчик — Жорка Колесничук — даже предлагал Пете в обмен на этот талисман завтрак вместе с корзиночкой и в придачу перочинный ножичек. Разумеется, Петя с грубым смехом отказался.

Но Жорка Колесничук не отставал.

Маленький, носатый — за что в первый же день пребывания в гимназии заработал прозвище «дубастый», — он ходил за Петей по коридору, в курточке до колен и в чересчур длинных брюках на вырост, которые то и дело подворачивались под каблук, мешая ходить, и канючил:

— Ну, дава-а-ай...

— Отчепись!

— Корзиночку и но-о-жик...

— Не треба.

— Петька, не будь вредный!

— Уйди, дубастый.

— Что тебе сто-о-ит... — ныл Жорка Колесничук.

— Сказано: нет! — неумолимо отвечал Петя.

Только круглый дурак согласился бы на такую мену.

Петя, задыхаясь, бежал из гимназии домой.

— Жада-помада! — кричал издали Жорка Колесничук, пугаясь в штанах, угрожая: — Будешь помнить!.. Придет коза до воза и скажет мэ-э-э!..

Но Петя даже ни разу не обернулся: ему хотелось как можно скорее показать находку дома и во дворе.

Какова же была его радость, когда он увидел во дворе Гаврика!

Гаврик стоял на коленях, окруженный детьми, присевшими на корточки. Он обучал их модной игре в ушки.

Петя еще даже не успел хорошенько поздороваться с приятелем, с которым не виделся столько времени, как уже был охвачен азартом. Они сыграли на пробу одну партию ушками Гаврика. Но это еще больше раззадорило Петю.

— Гаврик, дай на разживу десяток, — сказал Петя, протягивая руку, дрожащую от нетерпения. — Я, как только наиграю, так и отдам, святой истинный крест!

— Не лапай, не купишь, — сумрачно ответил Гаврик, высыпал ушки в байковый серый мешочек и аккуратно завязал его шпагатиком. — Ушки тебе не картонки. Они деньги стоят. Могу продать, если хочешь.

Петя ничуть не обиделся на Гаврика и не надулся. Он прекрасно понимал, что дружба дружбой, а каждая игра имеет свои нерушимые правила. Раз ушки стоят денег — значит, за них надо платить деньги, и никакая дружба тут не поможет. Таков железный закон улицы.

Но как же быть?

Играть хотелось мучительно. Буря пронеслась в душе мальчика. Он колебался не дольше минуты, полез в карман и протянул Гаврику знаменитый пятак.

Гаврик внимательно со всех сторон осмотрел подозрительную монету и покачал головой:

— Его никто не возьмет.

— А вот возьмет!

— А вот не возьмет!

— Дурак!

— От такового слышу... Псйди в лавочку разменяй.

— Поди ты разменяй.

— Чего я буду ходить! Твой пятак!

— Твои ушки.

— Не хочешь — не надо.

— Не надо.

Гаврик спокойно опустил мешочек в карман и равнодушно плюнул сквозь зубы далеко в сторону. Тогда Петя бросился в лавочку и попросил разменять свой пятак. Пока «Борис — семейство крыс» подносил к больным глазам подозрительную монету, мальчик пережил множество самых унижительных чувств, среди которых преобладало трусливое нетерпение вора, сбывающего краденое.

Петя, пожалуй, не удивился бы, если бы в эту минуту в лавоч-

ку спустились городовые с шашками и отвезли его на извозчике в участок за соучастие в некоем тайном и постыдном преступлении.

Наконец «Борис — семейство крыс» скинул пятак в ящик и равнодушно выбросил на чашку весов пять копеек мелочью. Петя поспешил во двор, где Гаврик уже продавал ушки другим мальчикам. Петя купил у него на все деньги несколько штук разного достоинства.

Они начали играть. Петя забыл все на свете.

На дворе уже стало совсем темно, когда у Пети не осталось больше ни одной ушки. Это было тем более ужасно, что сначала ему страшно везло и выигранные ушки уже не помещались в кармане.

А теперь, увы, ни денег, ни ушек.

Петя чуть не плакал. Он был в полном отчаянии. Гаврик сжалился над приятелем. Он дал в долг на отыгрыш две ушки-одинарки. Но Петя был слишком азартен и нетерпелив — он в пять минут проигрался снова. С Гавриком трудно было бороться.

Гаврик небрежно ссыпал весь свой баснословный выигрыш в мешочек и отправился домой, сказав, что завтра зайдет опять.

33

УШКИ

О, как много их было!..

Дутые студенческие десятки с накладными орлами. Золотые офицерские пятки с орлами чеканными. Коричневые — коммерческого училища, с жезлом Меркурия, перевитым змеями, и с плутовской крылатой шапочкой. Светлые мореходные со скрещёнными якорями. Почтово-телеграфные с позеленевшими молниями и рожками. Артиллерийские с пушками. Судейские со столбиками законов. Медные ливрейные величиной с полтинник, украшенные геральдическими львами. Толстые тройки чиновничьих вицмундиров. Тончайшие писарские «лимонки» с острыми, режущими краями, издающие при игре комариный звон. Толстые одинарки гимназических шинелей с серебряными чашечками, докрасна вытертыми посередине.

Сказочные сокровища, вся геральдика Российской империи, на один счастливый миг были сосредоточены в Петиних руках.

Ладони мальчика еще продолжали ощущать многообразные формы ушек и их солидный свинцовый вес. Между тем он был уже совершенно разорен, опустошен, пущен по ветру. Вот тебе и волшебный неразменный пятак!

Мальчик думал об ушках, и только об ушках. Они стояли все время перед его глазами видением приснившегося богатства.

Он рассеянно смотрел за обедом в тарелку супа, в масляных капсюлях которого отражались по крайней мере триста крошечных абажуров столовой лампы, он видел триста сверкающих ушек с золотыми орлами.

Он с отвращением рассматривал пуговицы отцовского сюртука, обшитые сукном и не представляющие ни малейшей ценности.

Вообще он только сегодня заметил, что, в сущности, живет в нищей семье, где во всем доме нет ни одной приличной пуговицы.

Тетя сразу обратила внимание на странное состояние мальчика.

— Что с тобой сегодня такое? — спросила она, проницательно вглядываясь в необычно возбужденное лицо Пети. — Может быть, тебя мальчишки на дворе побили?

Петя сердито мотнул головой.

— Или, может быть, опять двоек нахватался? Так ты лучше прямо скажи, чем сидеть и мучиться.

— Да нет же! Ну что вы ко мне все пристали, я не понимаю!

— А ты, часом, не болен?

— Ой, боже мой!..

Петя даже захныкал от этих расспросов.

— Ну, как знаешь. Не хочешь говорить — не надо. Страдай!

И Петя действительно страдал, ломая голову, где бы раздобыть денег, необходимых на завтрашнюю игру. Он даже неважно спал, терзаемый желанием поскорее отыгаться. Утром он решил на тонкую хитрость. Он долго и нежно терся возле отца, просовывая голову под его локоть, целовал красную пористую шею, пахнущую свежестью умывания. Отец гладил колючую головку маленького гимназиста и прижимал ее к сюртуку с отвратительными пуговицами.

— Ну что, Петюша, ну что, маленький?

Мальчик только и дожидался этого вопроса, этого нежного дрожания в отцовском голосе, показывающего, что отец теперь ни в чем не откажет, чего ни попроси.

— Папа! — сказал мальчик, выкручиваясь возле отца и с деланной застенчивостью поправляя пояс. — Папа, дай мне пять копеек.

— Для чего? — спросил отец, никогда, даже в самые нежные минуты, не отказывавшийся от строгих принципов воспитания.

— Мне очень нужно.

— Нет, ты скажи, для чего.

— Нет, ты дай.

— Нет, ты скажи. Я должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. На дельную, полезную вещь я тебе дам денег с удовольствием, а на вредную не дам. Так вот, ты мне и скажи: на что тебе нужны деньги?

Как мог Петя сказать отцу, что ему необходимы деньги для азартной игры? Разумеется, это было совершенно невозможно.

Тогда Петя сделал простодушное лицо благонаправного мальчика, которому хочется немножко полакомиться.

— Я себе куплю шоколадку, — тихим голосом сказал он.

— Шоколадку? Прекрасно! Против этого трудно что-нибудь возразить.

Петя так и просиял.

Но тут отец молча подошел к письменному столу, отомкнул его и подал совершенно ошеломленному мальчику плитку шоколада с передвижной картинкой на обертке, запечатанной, как конвертик, пятью сургучными кляксами.

Со слезами на глазах Петя взял шоколадку, пробормотав: — Спасибо, папочка.

С разбитым сердцем он отправился в гимназию.

Но все же это было лучше, чем ничего. Шоколадку можно было попытаться обменять на ушки.

Однако в этот день Пете не пришлось играть.

Едва мальчик, миновав Куликово поле, вышел на Новорыбную, где находилась гимназия, как он сразу заметил, что в городе происходит какое-то важное, торжественное и чрезвычайно радостное событие.

Несмотря на ранний час, улицы были полны народа. Вид у всех был крайне возбужденный и деловитый, хотя никто никуда не торопился. По большей части люди стояли кучками возле ворот и задерживались на углах, окружая киоски. Всюду разворачивались газеты, сразу становившиеся под мелким дождем еще более серыми.

Над всеми воротами были выставлены национальные бело-сине-красные флаги. По ним Петя привык судить о богатстве домовладельца. Были флаги небольшие, полинявшие, на коротких палках, кое-как привязанных к воротам. Были совершенно новые, громадные, обшитые трехцветным шнуром с пышными трехцветными кистями до самого тротуара.

Ветер с трудом поворачивал грузные полотнища, ощутительно пахнувшие краской сырого коленкора.

Гимназия оказалась закрытой. Навстречу бежали веселые гимназисты. Гимназический дворник в белом фартуке поверх зимнего пальто с барашковым воротником протягивал вдоль фасада, между деревьями, тонкую проволоку. Значит, вечером будет иллюминация! Она обычно зажигалась в табельные дни. Например, в день тезоименитства государя императора.

Эти три магических слова — иллюминация, табель и тезоименитство — были для мальчика как бы тремя гранями стеклянного подвеска. Такие подвески от церковных люстр весьма це-

нились среди одесских мальчиков. Стоило только поднести к глазам эту маленькую призму, как тотчас мир загорался патриотической радугой «царского дня».

Но разве сегодня царский день? Нет. О царском дне обычно известно заранее из календаря. Сегодня же на папином отрывном календаре цифра была черная, не предвещавшая ни иллюминации, ни табеля, ни тезоименитства.

Что же случилось? Неужели у царя опять, как и в прошлом году, родился наследник? Нет, нет! Не может быть, чтобы каждый год по мальчику! Наверное, что-то другое. Но, в таком случае, что?

— Послушайте,— спросил Петя у дворника,— что сегодня?

— Свобода,— ответил дворник, как показалось мальчику, несерьезно.

— Нет, кроме шуток.

— Какие могут быть шутки? Говорю — свобода.

— Как это — свобода?

— А так са́мо, что вы сегодня свободно можете идти домой, потому что уроков не будет. Отменяются.

Петя обиделся.

— Послушайте, дворник, я вас серьезно спрашиваю,— строго сказал он, изо всех сил поддерживая достоинство гимназиста Одесской пятой гимназии.

— А я вам серьезно говорю, что идите себе домой к родителям, которые вас ждут не дождутся, и не путайтесь у занятого человека под ногами.

Петя презрительно пожал плечами и независимо, как бы прогуливаясь, отошел от дворника, усвоившего себе отвратительную привычку разговаривать с гимназистами тоном классного наставника.

Городовой, к которому Петя решил обратиться со своим вопросом как к представителю власти, посмотрел на черномазого мальчика сверху вниз и неторопливо разгладил рыжие усы с подусниками.

Вдруг он неожиданно скорчил совершенно еврейское лицо и, ломая язык, сказал:

— Швобода!

Вконец обиженный, мальчик побрел домой.

Людей на улице становилось все больше и больше. Мелькали студенческие фуражки, каракулевые муфточки курсисток, широкополые шляпы вольнодумцев. Несколько раз Петя слышал не совсем понятное слово «свобода».

Наконец на углу Канатной его внимание привлекла небольшая толпа возле бумажки, наклеенной на дощатый забор дровяного склада.

Петя пробрался вперед и прочел по печатному следующее.

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

СМУТЫ И ВОЛНЕНИЯ В СТОЛИЦАХ И ВО МНОГИХ МЕСТНОСТЯХ ИМПЕРИИ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ И ТЯЖЕЛОЮ СКОРБЬЮ ПРЕИСПОЛНЯЮТ СЕРДЦЕ НАШЕ. БЛАГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРЯ НЕРАЗРЫВНО С БЛАГОМ НАРОДНЫМ, И ПЕЧАЛЬ НАРОДНАЯ — ЕГО ПЕЧАЛЬ. ОТ ВОЛНЕНИЙ, НЫНЕ ВОЗНИКШИХ, МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ГЛУБОКОЕ НАСТРОЕНИЕ НАРОДНОЕ И УГРОЗА ЦЕЛОСТИ И ЕДИНСТВУ ДЕРЖАВЫ НАШЕЙ.

ВЕЛИКИЙ ОБЕТ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ ПОВЕЛЕВАЕТ НАМ ВСЕМИ СИЛАМИ РАЗУМА И ВЛАСТИ НАШЕЙ СТРЕМИТЬСЯ К СКОРЕЙШЕМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ СТОЛЬ ОПАСНОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА СМУТЫ...

Петя не без труда дочитал до этих пор, спотыкаясь на трудных и туманных словах: «преисполняют», «ныне возникших», «повелевают», «скорейшему прекращению», и на множестве больших букв, торчавших из строчек вопреки всяким правилам правописания в совершенно неожиданных местах, как обгорелые пни на пожарище.

Мальчик ничего не понял, кроме того, что царю, наверное, приходится плохо и он просит по возможности ему помочь, кто в чем может.

Признаться, мальчику в глубине души даже стало немножко жаль бедного царя, особенно когда Петя вспомнил, что царя стукнули по голове бамбуковой палкой.

Но почему же все вокруг радуются и развешивают флаги — это было непонятно. Может быть, что-нибудь веселое написано еще дальше? Однако у мальчика не хватило прилежания дочитать эту грустную царскую бумагу до конца.

Впрочем, мальчик заметил, что почти каждый подходивший к афишке первым делом отыскивал в ней в середине место, которое почему-то всем особенно нравилось. Это место каждый непременно читал вслух и с торжеством оборачивался к остальным, восклицая:

— Эге! Действительно — черным по белому: даровать неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов.

При этом некоторые, не стесняясь тем, что находятся на улице, кричали «ура» и целовались, как на пасху. Тут же мальчик оказался свидетелем сцены, потрясшей его до глубины души.

К толпе подкатили дрожки, из которых проворно выпрыгнул господин в совершенно новом, но уже продавленном котелке, быстро прочитал, приложив к носу кривое пенсне, знаменитое место, затем трижды поцеловал ошалевшего извозчика в медно-красную бороду, плюхнулся на дрожки и, заорав на всю улицу:

«Полтинник на водку! Гони, скотина!», пропал из глаз так же быстро, как и появился.

Словом, это был во всех отношениях необыкновенный день.

Тучи поредели. Перестал дождик. Просвечивало перламутровое солнце.

Во дворе важно расхаживал в своей черной гимназической курточке с крючками вместо пуговиц и в фуражке без герба Нюся Коган, мечтая, как он теперь, ввиду наступившей свободы вероисповедания, поступит в гимназию и какой у него появится на фуражке красивый герб.

Петя долго играл с ним в классы, после каждого прыжка останавливаясь и продолжая рассказывать про гимназию страшные вещи.

Пугал:

— А потом он тебя ка-ак вызовет да ка-ак начнет спрашивать, а ты ка-ак не будешь ничего знать, а тогда он тебе ка-ак скажет: «Можете идти на место, садитесь», да ка-ак припаяет тебе кол, вот тогда будешь знать!

На что рассудительный Нюся возражал, тихо сияя:

— Почему? А если я буду хорошо готовить уроки?

И пожимал плечами.

— Все равно,— неумолимо резал Петя, прыгая на одной ноге и норовя носком выбить камешек из клетки «небо» (через ять).— Все равно! Ка-ак вlepит кол!

Потом Петя угостил Нюсю шоколадкой, а Нюся сбегал в лавочку и принес «вот такую жменю кишмиша».

Потом Петю позвали завтракать. Петя пригласил к себе Нюсю. Отец был уже дома.

— А! — воскликнул он весело, увидев Нюсю.— Надо полагать, что теперь мы скоро будем иметь удовольствие видеть вас гимназистом, молодой человек! Поздравляю, поздравляю...

Нюся вежливо и солидно шаркнул ногой.

— Почему нет? — сказал он, с застенчивым достоинством опуская глаза, и густо покраснел от удовольствия.

Тетя сияла. Папа сиял. Павлик громыхал в коридоре, играя в «свободу», причем перевернутые и расставленные в ряд стулья он почему-то накрывал ковриком и ползал под ними, нещадно дуя в трубу, без которой, к общему ужасу, не обходилась ни одна игра.

Но сегодня мальчика никто не останавливал, и он возился в полное свое удовольствие.

Каждую минуту со двора прибегала Дуня, взволнованно сообщая свежие городские новости. То у вокзала видели толпу с красным флагом — «не пройдешь!». То на Ришельевской качали солдатику: «Он, бедненький, так и подлетает, так и подпрыгивает!» То народ бежал со всех сторон к участку, где, говорят,

выпускают арестованных. «Одна женщина бежит с девочкой на руках, а у самой аж слезы из глаз капают и капают». То возле штаба поставили караул из юнкеров — никого посторонних до штабных солдат не пропускают, даже от окон отгоняют. А вольный один все-таки успел подбежать к окну, стал на камень и как закричит: «Да здравствует свобода!» А те солдаты ему из своих окошек обратно: «Да здравствует свобода!»

Все эти новости принимались с радостью, с поспешными вопросами:

— А что полиция?

— А что он?

— А что она?

— А что они?

— А что на Греческой?

Иногда открывали балкон и, не обращая внимания на холод, выходили посмотреть, что делается на улице. В конце Куликова поля можно было рассмотреть темную массу народа и красный флаг.

Вечером пришли гости, чего уже давно не бывало: папины сослуживцы, тетины знакомые курсистки. Вешалка в передней покрылась черными пальто, мантильями, широкополыми шляпами, каракулевыми шапочками пирожком.

Петя видел, как резали на кухне чайную колбасу, прекрасную ветчину и батоны хлеба. И, засыпая после этого утомительного, но веселого дня, мальчик слышал доносившиеся из столовой густые раскаты чужих голосов, смех, звон ложечек.

Вместе с ярким лучом лампы из столовой в детскую проникал синеватый дым папиросы, вносивший в свежий и теплый воздух нечто необыкновенно мужское и свободное, чего в доме не было, так как папа не курил.

За окном было гораздо светлее, чем обычно: к слабому свету уличных фонарей примешивались разноцветные, как бы желатиновые линейки иллюминации.

Петя знал, что теперь взамен флагов по всему городу между деревьями развешаны на проволоке шестигранные фонарики со стеклами, раскаленными и закопченными горящей внутри свечкой.

Двойные нити однообразных огоньков тянутся в глубину прямых и длинных одесских улиц. Они манят все дальше и дальше в таинственную даль неузнаваемого города, из улицы в улицу, как бы обещающая где-то, может быть совсем-совсем близко, вот тут за углом, некое замечательнейшее многоцветное зрелище необычайной красоты и блеска.

Но за углом все та же длинная улица, все те же однообразные, хотя и разноцветные нити фонариков, так же уставших гореть, как и человек среди них — гулять.

Красные, зеленые, лиловые, желтые, синие полотнища света, поворачиваясь в тумане, падают на прохожих, скользят по фасадам, обманывают обещанием показать за углом что-то гораздо более прекрасное и новое.

И все это утомительное разнообразие, всегда называвшееся «тезоименитство», «табель», «царский день», сегодня называется таким же разноцветным словом «конституция». Слово «конституция» то и дело раздавалось из столовой среди раскатов чужих басов и серебряного дилинканья чайных ложечек.

Петя заснул под шум гостей, которые разошлись необыкновенно поздно — наверное, часу в двенадцатом.

34

В ПОДВАЛЕ

Едва на Ближних Мельницах распространился слух, что выпускают арестованных, Гаврик тотчас побежал к участку.

Терентий, не ночевавший последнюю неделю дома и неизвестно откуда появившийся рано утром, проводил Гаврика до угла, сумрачный, шатающийся от усталости.

— Ты, Гаврюха, конечно, старика встретить, только, не дай бог, не веди его сюда. А то с этой самой «свободой», будь она трижды проклята, возле участка, наверное, полно тех драконов. Подцепите за собой какого-нибудь Якова, а потом провалите нам квартиру, даром людей закопаете. Чуешь?

Гаврик кивнул головой:

— Чую.

За время жизни на Ближних Мельницах мальчик научился многое понимать и многое узнал. Для него уже не было тайной, что у Терентия на квартире собирается стачечный комитет.

Сколько раз приходилось Гаврику просиживать на скамеечке у калитки почти всю ночь, давая тихий свисток, когда возле дома появлялись чужие люди!

Несколько раз он даже видел матроса, приходившего откуда-то на рассвете и быстро исчезавшего. Но теперь матроса почти невозможно было узнать. Он завел себе приличное драповое пальто, фуражку с молоточками, а главное — небольшие франтоватые усики и бородку, делавшие его до такой степени непохожим на себя, что мальчику не верилось, будто он именно тот самый человек, которого они вместе с дедушкой подобрали в море.

Однако стоило только всмотреться в эти карие смешливые глаза, в эту капризную улыбку, в якорь на руке, чтобы всякие сомнения тотчас рассеялись.

По неписаному, но твердому закону Ближних Мельниц —

никогда ничему не удивляться, никогда никого не узнавать и держать язык за зубами — Гаврик, встречаясь с матросом, представлялся, что видит его в первый раз. Точно так же держался и матрос с Гавриком.

Только один раз Жуков, уходя, кивнул мальчику, как хорошо знакомому, мигнул и, хлопнув по плечу совершенно как взросло-го, запел:

— Ты не плачь, Маруся, ·будешь ты моя!

И, нагнув голову, шагнул в сени, в темноту.

А между тем Гаврик догадывался, что из всех людей, приходивших к Терентию, из всех представителей завода Гена, мукомольной фабрики Вайнштейна, доков, фабрики Бродского и многих, многих других матрос был самый страшный, самый опасный гость.

Несомненно, он принадлежал к той славной и таинственной «боевой организации», о которой так много было разговоров в последнее время не только на Ближних Мельницах, но и по всему городу.

— ...Чую,— сказал Гаврик.— Только куда ж я нашего старика отведу по такому холоду, если не на Ближние Мельницы?

Терентий задумался.

— Слушай здесь,— сказал он наконец,— ты его перво-на-перво отведи на море в хибарку. В случае, если за вами кто-нибудь и прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли. Переждете в своей халабуде до вечера, а как только смеркнет, тихонько идите прямо по такому адресу... я тебе сейчас скажу, а ты хорошенько запоминай: Малая Арнаутская, номер пятнадцать. Зайдешь к дворнику и спросишь Иосифа Карловича. Ему скажешь, хорошенько запоминай: «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала Софья Петровна узнать, получили ли вы письмо из Николаева». Тогда он тебе ответит: «Уж два месяца нету писем». Чуешь?

— Чую.

— Повторить можешь?

— Могу.

— А ну скажи.

Гаврик собрал на лбу прилежные складки, сморщил носик и сосредоточенно выговорил, как на экзамене:

— Значится, Малая Арнаутская, пятнадцать, спросить у дворника Иосифа Карловича, сказать: «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева». Тогда той мне должен сказать: «Уж два месяца нету писем»...

— Верно. Тогда ты ему можешь смело сказать, что прислал Терентий, и пускай он нашего старика возьмет пока что к себе и кормит его, а там видно будет. Я туда заскочу... Чуешь?

— Чую.

— Ну, так будь здоров.

Терентий повернул домой, а Гаврик побежал к участку.

Он бежал во весь дух, продираясь сквозь толпу, становившуюся по мере приближения к вокзалу все гуще и гуще.

Начиная с Сенной площади навстречу ему стали попадаться выпущенные из участка арестованные. Они шли или ехали на извозчиках, с корзинками и кошелками, как с вокзала, размахивая шапками, в сопровождении родственников, знакомых, товарищей.

Толпы бегущих по мостовой людей провожали их, крича без перерыва:

— Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!

Возле Александровского участка, окруженного усиленными нарядами конной и пешей полиции, стояла такая громадная и тесная толпа, что даже Гаврику не удалось пробраться сквозь нее. Тут легко можно разминуться со стариком.

При одной мысли, что в случае, если действительно разминутся, дедушка может привести за собой на Ближние Мельницы «Якова», мальчик вспотел.

С бьющимся сердцем он бросился в переулок, с тем чтобы как-нибудь обойти толпу, во что бы то ни стало пробраться к участку и перехватить дедушку. Неожиданно он увидел его в двух шагах от себя.

Но, боже мой, что стало с дедушкой! Гаврик даже не сразу его узнал.

Навстречу мальчику, держась поближе к домам, покачиваясь на согнутых, как бы ватных ногах, тяжело шаркая рваными чеботами по щебню и останавливаясь через каждые три шага, шел дряхлый старик с серебряной щетиной бороды, с голубенькими слезящимися глазами и провалившимся беззубым ртом. Если бы не кошелка, болтавшаяся в дрожащей руке старика, Гаврик ни за что б не узнал дедушку. Но эта хорошо знакомая тростниковая плетенка, обшитая грязной холстиной, сразу же бросилась в глаза и заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем не сравнимой боли.

— Дедушка! — испуганно закричал он. — Дедушка, это вы?

Старик даже не вздрогнул от этого неожиданного окрика. Он медленно остановился и медленно повернул к Гаврику лицо с равнодушно жующими губами, не выражая ни радости, ни волнения — ничего, кроме покорного, выжидающего спокойствия.

Можно было подумать, что он не видит внука, — до того неподвижны были его слезящиеся глаза, устремленные куда-то мимо.

— Дедушка, куда вы идете? — спросил Гаврик громко, как у глухого.

Старик долго жевал губами, прежде чем произнес — тихо, но сознательно:

— На Ближние Мельницы.

— Туда нельзя,— шепотом сказал Гаврик, осторожно оглядываясь.— Терентий сказал, чтоб на Ближние, ради бога, не приходили.

Старик тоже оглянулся по сторонам, но как-то слишком медленно, безразлично, машинально.

— Пойдем, дедушка, пока до дому, а там посмотрим.

Дедушка покорно затоптался, поворачиваясь в другую сторону, и, не говоря ни слова, зашаркал назад, с усилием переставляя ноги.

Гаврик подставил старику плечо, за которое тот крепко взялся. Они потихонечку пошли через возбужденный город к морю, как слепой с поводырем: мальчик впереди, дедушка несколько сзади.

Очень часто старик останавливался и отдыхал. Они шли от участка до берега часа два. Этот путь Гаврик один пробегал обычно в пятнадцать минут.

Помятый и заржавленный замок валялся в коричневом бурьяне возле хибарки. Дверь косо висела на одной верхней петле, скрипя и покачиваясь от ветра. Осенние ливни смыли с почерневших досок последние следы бабушкиного мела. Вся крыша была сплошь утыкана репейником — видать, здесь хозяйничали птицеловы, устроившие в пустой хибарке засаду.

В каморке все было перевернуто вверх дном. Лоскутное одеяльце и подушка — сырые, вымазанные глиной, — валялись в углу. Однако сундучок, нетронутый, стоял на своем месте. Старик не торопясь вошел в свой дом и присел на край койки. Он поставил на колени кошелку и безучастно смотрел в угол, не обращая ни малейшего внимания на разгром. Казалось, он зашел сюда отдохнуть: вот посидит минуты две, переведет дух и пойдет себе помаленьку дальше.

В разбитое окно дул сильный, холодный ветер, насыщенный водяной пылью прибоя. Шторм кипел вдоль пустынного берега. Белые клочья чаек и пены летали по ветру над звучными скалами. Удары волн отдавались в пещерах берега.

— Что же вы сидите, дедушка? Вы ляжьте.

Дедушка послушно лег. Гаврик дал ему подушку и прикрыл одеялом. Старик поджал ноги. Его знобило.

— Ничего, дедушка. Слушайте здесь. Как смеркнет, мы отсюда пойдем в одно место. А пока лежите.

Дедушка молчал, всем своим видом выражая полное равнодушие и покорность. Вдруг он повернул к Гаврику отекавшие, как бы вывернутые наизнанку глаза, долго жевал проваленным ртом и наконец выговорил:

— Шаланду не унесет?

Гаврик поспешил успокоить его, сказав, что шаланда в без-

опасном месте, у соседей. Старик одобрительно кивнул головой и смолк.

Через час он, кряхтя, перевернулся на другой бок и осторожно застонал.

— Дедушка, у вас болит?

— Отбили...— промолвил он и виновато улыбнулся, обнаружив розовые беззубые десны.— Чисто все печенки отбили... Гаврик отвернулся.

До самого вечера старик не произнес больше ни слова. Как только стемнело, мальчик сказал:

— Пойдемте, дедушка.

Старик поднялся, взял свою кошелку, и они пошли мимо заколоченных дач, мимо закрытого тира и ресторана в город, на Малую Арнаутскую, пятнадцать. Расспросив дворника, Гаврик без труда отыскал в темном полуподвале квартиру Иосифа Карловича и постучал в дверь, обитую рваным войлоком.

— Кто там? — послышался голос, показавшийся знакомым.

— Здесь квартира Иосифа Карловича?

— А что надо?

— Откройте, дядя. Я к вам от Софьи Петровны.

Дверь тотчас открылась, и, к своему величайшему изумлению, мальчик увидел на пороге, с керосиновой лампочкой в руке, хозяина тира. Он посмотрел невозмутимо, но несколько высокомерно на мальчика и, не двигаясь с места, сказал:

— Я Иосиф Карлович. Ну, а что же дальше?

— Здравствуйте, Иосиф Карлович,— произнес мальчик тщательно, как хорошо выученный урок.— Прислала до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева.

Удивленно осмотрев мальчика с ног до головы, на что ушло по меньшей мере минуты две, хотя мальчик был весьма небольшой, хозяин тира произнес еще более высокомерно:

— Уж два месяца нету писем.

Он помолчал и, сокрушенно покачав головой, прибавил:

— Какая, знаете ли, неаккуратная дамочка! Ай-яй-яй!

И вдруг сделал любезнейшее лицо польского магната, принимающего у себя в имении папского нунция. Это ни в какой мере не соответствовало его босым ногам и отсутствию рубахи под пиджаком.

— Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, иногда посещали мое заведение? Какой приятный случай! А этот старик, если не ошибаюсь, ваш дедушка? Заходите же в комнату.

Дедушка и внучек очутились в конуре, поразившей даже их своей нищетой.

О, совсем, совсем не так представлял себе Гаврик жизнь этого могущественного, богатейшего человека, хозяина тира и — шутка ли! — обладателя четырех монтекристо.

Мальчик с удивлением оглядывал пустые, зеленоватые от сырости стены. Он ожидал увидеть на них развешанные ружья и пистолеты. Но вместо этого увидел один-единственный гвоздь, на котором висели неслыханно запущенные подтяжки, более, впрочем, похожие на вожжи.

— Дядя, а где ж ваши ружья? — почти с ужасом воскликнул Гаврик.

Иосиф Карлович сделал вид, что не расслышал этого вопроса.

Он широким жестом предложил сесть на стул и, отойдя в угол, глухо сказал:

— Вы имеете мне что-нибудь сообщить?

Гаврик от имени брата попросил временно приютить дедушку.

— Передайте вашему брату, что все будет исполнено, пускай не сомневается, — быстро сказал Иосиф Карлович. — У меня есть в городе кое-какие связи. Я думаю, что мне удастся в конце концов устроить его ночным сторожем.

Гаврик оставил дедушку у Иосифа Карловича, обещал заходить и вышел. У дверей его нагнал хозяин.

— Передайте Терентию, — сказал он шепотом, — что Софья Петровна просила передать: у нее имеется порядочный запас орехов, только, к сожалению, не очень крупных. Не грецких. Он поймет. Не грецких. Пусть наладит транспорт. Вы меня поняли?

— Понял, — сказал Гаврик, уже привыкший к подобным поручениям. — Не грецких, и пускай сам за ними присылает.

— Верно.

Иосиф Карлович полез в подкладку своего ужасного пиджака, порылся и подал Гаврику гривенник:

— Прошу вас, возьмите это себе на конфеты. К сожалению, больше ничего не могу вам предложить. Я бы вам, клянусь честью, с удовольствием подарил монтекристо, но...

Иосиф Карлович горестно развел руками, и по его истерзанному страстями лицу пробежала судорога.

— ...но, к сожалению, благодаря моему несчастному характеру я больше не имею ни одной штуки.

Гаврик серьезно и просто взял гривенник, поблагодарил и вышел на улицу, озаренную тревожным светом иллюминации.

35

ДОЛГ ЧЕСТИ

Утром Петя унес из чулана две пары летних кожаных «скороходов» и по дороге в гимназию продал их старьевщику за четыре копейки.

Когда днем явился Гаврик, мальчики тотчас расставили ушки.

Петя проиграл всё только что купленное у Гаврика еще скорее, чем в первый раз.

Да и понятно: у приятелей были слишком неравные силы. Почти все ушки Приморского района лежали в мешочках Гаврика. Он мог широко рисковать, в то время как Петя принужден был дорожить каждой двойкой и делать нищенские ставки, а это, как известно, всегда приводит к быстрому проигрышу.

На другой день Петя, уже совершенно не владея собой, потихоньку взял шестнадцать копеек — сдачу, оставленную Дуней на буфете.

На этот раз он решил вести себя умнее и осторожнее. Прежде всего для удачной игры была необходима настоящая, хорошая битка.

Петина битка — большая и на вид необыкновенно красивая ливрейная пуговица с геральдическими львами и графской короной, — несмотря на всю свою красоту, никуда не годилась: она была слишком легкая. Ее требовалось утяжелить. Петя отправился на вокзал, пробрался на запасные пути и в отдаленном тупике, за депо, сходя с ума от страха, срезал с товарного вагона свинцовую пломбу.

Дома он вколотил ее молотком в чашечку битки, потом вышел на Куликово поле и положил битку под дачный поезд. Он поднял ее с рельсов великолепно расплюснутую, горячую, тяжелую. Теперь она не уступала лучшим биткам Гаврика.

Вскоре пришел Гаврик, и началась игра. Мальчики сражались долго и ожесточенно.

Однако оказалось, что иметь хорошую битку — этого еще мало. Надо быть мастером! В конце концов Петя проиграл не только все, что у него было, но еще остался должен.

Гаврик пообещал прийти завтра за долгом.

Для Пети наступило время, похожее на дурной сон.

— На буфете лежала сдача, шестнадцать копеек, — спокойно сказал отец вечером, после обеда. — Ты, случайно, не брал?

Кровь прилила к Петиному сердцу и тотчас отхлынула.

— Нет, — сказал он как можно равнодушнее.

— А посмотри-ка мне в глаза.

Отец взял мальчика за подбородок и повернул его лицо к себе.

— Честное благородное слово, — сказал Петя, изо всех сил стараясь смотреть отцу прямо в глаза. — Святой истинный крест!

Холодея от ужаса, мальчик перекрестился на икону.

Он ожидал, что сию же секунду разверзнется потолок и в него ударит молния. Ведь должен же был бог немедленно покарать за такое наглое клятвопреступление!

Однако все было тихо.

— Это очень странно,— хладнокровно заметил отец.— Значит, у нас в доме завелся вор. Мне и тете, разумеется, нет никакой необходимости тайно брать деньги с буфета. Павлик целый день на глазах у взрослых и тоже не мог этого сделать. Ты дал честное слово. Следовательно, остается предположить, что это сделала Дуня, которая у нас служит пять лет...

В это время Дуня заправляла в передней лампу.

Она тотчас положила на подзеркальник стекло и тряпку и появилась в дверях. Не только шея, но даже обнаженные до локтей руки ее стали красными. Большое добродушное лицо было покрыто пятнами и искажено мучкой.

— Чтоб мне не было в жизни счастья,— закричала она,— если тую сдачу с базара паныч не проиграл в ушки Гаврику!

Отец взглянул на Петю.

Мальчик понял, что должен немедленно, молниеносно, сию же секунду сказать нечто благородное, гордое, справедливое, страшное, что мгновенно сняло бы с него всякое подозрение.

Минуту назад он еще мог бы, пожалуй, сознаться. Но теперь, когда дело коснулось ушек,— ни за что!

— Вы не имеете права так говорить! — заорал Петя сипнувшим голосом, и яркий румянец лживого негодования выступил на его лице.— Вы врете!

Но и этого показалось ему мало.

— Вы... вы, наверное, сами... воровка! — затопав ногами, выкрикнул Петя.

Отец с серьезной грустью укоризненно качал головой, не в состоянии понять, что делается в душе мальчика.

Покуда Дуня бестолково суетилась в кухне, собирая вещи и требуя расчета, Петя выбежал в детскую и так страшно хлопнул дверь, что на спинке кровати закачался эмалевый образок ангела-хранителя.

Мальчик наотрез отказался просить у Дуни прощения. Он лег в постель и притворился, что у него обморок. Его оставили в покое.

Отец не поцеловал его на ночь.

Петя слышал, как тетя уговаривала Дуню остаться и как та, всхлипывая, наконец согласилась.

Среди ночи Петя часто просыпался, ужасаясь своему поступку. Он был готов бежать в кухню и целовать Дуне ноги, умоляя о прощении. Но еще большее волнение охватывало мальчика при мысли о Гаврике, который потребует завтра денег.

Утром, выждав момент, когда отец повел Павлика в ванную комнату умываться, Петя вынул из шкафа старый вицмундир.

Семейное предание гласило, что вицмундир этот был сшит папой тотчас при выходе из университета и надет всего один раз

в жизни, по настоянию маминых чопорных родственников, требовавших, когда папа венчался с мамой, чтобы все было, как у людей. С тех пор вицмундир висел, всеми забытый, в шкафу.

Ушек на нем оказалось очень много, но большинство из них, к сожалению, были слишком маленькие, в игру не годившиеся.

Больших имелось всего четыре, да и они не оправдывали надежд. Это были малоценные толстые, белые, почти вышедшие из употребления тройки.

На совесть пришитые к тонкому сукну старательным одесским портным прошлого века, они не поддавались ножницам. Петя нетерпеливо зубами выдрал их с мясом.

Стоит ли говорить, что и на этот раз Петю постигла в игре полная неудача? Его долг Гаврику возрос необычайно.

Петя окончательно запутался. Гаврик посматривал на приятеля с мрачным сочувствием, не предвещавшим ничего хорошего.

— Ну, Петька, как же будет? — спросил он сурово.

В значении этих слов трудно было ошибиться. Их смысл был примерно таков: «Что ж это, брат? Набрал в долг ушек и не отдаешь? Печально. Придется набить морду. Дружба дружбой, да ничего не поделаешь. Так полагается. Сам понимаешь. Ушки — это тебе не картонки, они денег стоят. Уж ты на меня не сердись».

Петя и не сердился. Он понимал, что Гаврик совершенно прав. Он только тяжело вздохнул и попросил еще немножечко обождать. Гаврик согласился.

Петя промучился весь вечер. От умственного напряжения у него даже до того разгорелись уши, что против лампы светились совершенно как рубиновые.

Мальчик перебрал тысячи способов быстрого обогащения, но все они были или слишком фантастические, или слишком преступные.

Наконец ему в голову пришла удивительно простая и вместе с тем замечательная мысль. Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор! О, как он мог это забыть!

Не теряя времени, Петя вырвал из арифметической тетрадки лист бумаги и принялся писать бабушке, маминей маме, письмо в Екатеринослав.

Осыпая бабушку ласковыми именами и сообщая о своих блестящих гимназических успехах — что, по правде сказать, было сильно преувеличено, — Петя просил прислать ему на память — как можно скорее — майорский мундир дорогого дедушки.

Хитрый мальчик отлично понимал, на какую наживку легче всего клюнет добрая старушка, одинаково сильно чтившая память дедушки, героя турецкой кампании, и любившая Петю, своего старшего внука.

Мальчик извещал ее далее, что, по примеру дедушки-героя,

сам твердо решил стать героем и поэтому избирает военную карьеру, а мундир необходим для постоянного поддержания в нем воинского духа.

Петя надеялся, что на майорском мундире масса ушек — штук двадцать, если не тридцать, отличных офицерских пятков с чеканными орлами.

Это одно могло помочь ему выпутаться из долгов и, может быть, даже отыгаться.

По Петиним расчетам, посылка обязательно должна прийти через неделю, не позже.

Петя рассказал Гаврику все.

Гаврик вполне одобрил.

Мальчики вместе, встав на цыпочки, опустили письмо в большой желтый ящик с изображением заказного пакета за пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков.

Теперь оставалось спокойно ждать.

В предвкушении несметных богатств Гаврик открыл Петен новый неограниченный кредит, и Петя беззаботно проигрывал будущее дедушкино наследство.

36

ТЯЖЕЛЫЙ РАНЕЦ

Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила.

Несмотря на объявленную царем «свободу», беспорядки усиливались. Почта работала плохо. Отец перестал получать из Москвы газету «Русские ведомости» и сидел по вечерам молчаливый, расстроенный, не зная, что делается на свете и как надо думать о событиях.

Приготовительный класс распустили на неопределенное время. Петя целый день болтался без дела. За это время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать.

Однажды пришел Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал:

— Ну, теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На днях пойдет всеобщая.

Может быть, еще месяц тому назад Петя не понял бы, о чем говорит Гаврик. Но теперь было вполне ясно: раз «всеобщая» — значит, «забастовка».

Сомневаться же в достоверности Гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на Ближних Мельницах все известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце.

— А может, успеют дойти?

— Навряд ли.

Петя даже побледнел.

— Как же будет насчет долга? — спросил Гаврик настойчиво.

Дрожа от нетерпения поскорее начать игру, Петя поспешно дал честное благородное слово и святой истинный крест, что завтра так или иначе непременно расквитается.

— Смотри! А то — знаешь... — сказал Гаврик, расставив по-матросски ноги в широких бобриковых штанах лилового, сиротского цвета.

Вечером того же дня Петя осторожно выкрал знаменитую копилку Павлика. Запершись в ванной, он столовым ножом извлек из коробки все сбережения — сорок три копейки медью и серебром.

Проделав эту сложную операцию с удивительной ловкостью и быстротой, мальчик набросал в опустошенную жестянку различного гремучего хлама: гвоздиков, пломб, костяных пуговиц, железок.

Это было совершенно необходимо, так как бережливый и аккуратный Павлик обязательно два раза в день — утром и вечером — проверял целостность кассы: он подносил жестянку к уху и, свесив язык, тархтел копейками, наслаждаясь звуком и весом своих сокровищ. Можно себе представить, какие вопли поднял бы он, обнаружив покражу! Но все сошло благополучно.

Ложась спать, Павлик потархтел жестянкой, набитой хламом, и нашел, что касса в полном порядке.

Впрочем, известно, что богатства, приобретенные преступлением, не идут человеку впрок. В три дня Петя проиграл деньги Павлика.

Надежды на быстрое получение дедушкиного мундира не было. Гаврик опять стал настойчиво требовать долг.

Ежедневно, сидя на подоконнике, Петя дожидался Гаврика.

Он с ужасом представлял себе тот страшный день, когда все откроется: и ушки, и сандалии, и вицмундир, и копилка Павлика. А ведь это обязательно — рано или поздно — должно обнаружиться. О, тогда будет что-то страшное! Но мальчик старался об этом не думать, его терзала вечная и бесплодная мечта проигравшихся игроков — мечта отыграться!

Ходить по улицам было опасно, но все же Гаврик обязательно появлялся и, остановившись посередине двора, закладывал в рот два пальца. Раздавался великолепный свист. Петя торопливо кивал приятелю в окно и бежал черным ходом вниз.

— Получил ушки? — спрашивал Гаврик.

— Честное благородное слово, завтра непременно будут! Святой истинный крест! Последний раз.

В один прекрасный день Гаврик объявил, что ждать больше не желает. Это значило, что отныне Петя как несостоятельный

должник поступает к Гаврику в рабство до тех пор, пока полностью не расквитается.

Таков был жестокий, но совершенно справедливый закон улицы.

Гаврик слегка ударил Петю по плечу, как странствующий рыцарь, посвящающий своего слугу в оруженосцы.

— Теперь ты скрозь будешь со мною ходить, — добродушно сказал он и прибавил строго: — Вынеси ранец.

— Зачем... ранец?

— Чудак человек, а ушки в чем носить?

И глаза Гаврика блеснули веселым лукавством.

По правде сказать, Пете весьма улыбалась перспектива такого веселого рабства: ему давно уже хотелось побродяжничать с Гавриком по городу. Но дело в том, что Пете ввиду событий самым строжайшим образом было запрещено выходить за ворота. Теперь же совесть его могла оставаться совершенно спокойной: он здесь ни при чем, такова воля Гаврика, которому он обязан беспрекословно подчиняться. И рад бы не ходить, да нельзя: такие правила.

Петя сбегал домой и вынес ранец.

— Надень, — сказал Гаврик.

Петя послушно надел. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной, до пят, шинели, с пустым ранцем за спиной. По-видимому, он остался вполне доволен.

— Билет гимназический есть?

— Есть.

— Покажь!

Петя вынул билет. Гаврик его раскрыл и по складам прочел первые слова: «Дорожа своею честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения...»

— Верно, — заметил он, возвращая билет. — Сховай. Может, сгодится.

Затем Гаврик повернул Петю спиной и нагрузил ранец тяжелыми мешочками ушек.

— Теперь мы всюду пройдем очень свободно, — сказал Гаврик, застегивая ранец, и с удовольствием хлопнул по его телячьей крышке.

Петя не вполне понял значение этих слов, но, подчиняясь общему уличному закону — поменьше спрашивать и побольше знать, — промолчал. Мальчики осторожно вышли со двора.

Так начались их совместные странствования по городу, охваченному беспорядками.

С каждым днем ходить по улицам становилось все более опасно. Однако Гаврик не прекращал своей таинственно увлекательной жизни странствующего чемпиона. Наоборот. Чем в городе было беспокойнее и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в

самые глухие, опасные места. Иногда Пете даже начинало казаться, что между Гавриком и беспорядками существует какая-то необъяснимая связь.

С утра до вечера мальчики шлялись по каким-то черным дворам, где у Гаврика были с тамошними мальчиками различные дела по части купли, продажи и мены ушек. В одних дворах он получал долги. В других играл. В третьих — вел загадочные расчеты со взрослыми, которые, к крайнему Петинуму изумлению, по-видимому, так же усердно занимались ушками, как и дети.

Таща на спине тяжелый ранец, Петя покорно следовал за Гавриком повсюду. И опять в присутствии Гаврика город волшебным образом оборачивался перед изумленными глазами Пети проходными дворами, подвалами, щелями в заборах, сараями, дровяными складами, стеклянными галереями, открывая все свои тайны.

Петя видел ужасающую и вместе с тем живописную нищету одесских трущоб, о существовании которых до этого времени не имел ни малейшего представления.

Прячась в подворотнях от выстрелов и обходя опрокинутые поперек мостовой конки, мальчики колесили по городу, посещая самые отдаленные его окраины.

Благодаря Петиней гимназической форме им без труда удавалось проникать в районы, оцепленные войсками и полицией. Гаврик научил Петю подходить к начальнику заставы и жалобным голосом говорить:

— Господин офицер, разрешите нам перейти на ту сторону, мы с товарищем живем вон в том большом сером доме, мама, наверное, сильно беспокоится, что нас так долго нет.

Вид у мальчика в форменной шинели, с телячьим ранцем за плечами был такой простодушный и приличный, что обыкновенно офицер, не имевший права никого пропускать в подозрительный район, делал исключение для двух испуганных детишек.

— Валяйте, только поосторожней! Держитесь возле стен. И чтоб я вас больше не видел! Брысь!

Таким образом мальчики всегда могли попасть в любую часть города, совершенно недоступную для других.

Несколько раз они были на Малой Арнаутской, в старом греческом доме с внутренним двором. Там был фонтан в виде пирамиды губчатых морских камней, с зеленой железной цаплей наверху. Из клюва птицы в былые времена била вода.

Гаврик оставлял Петю во дворе, а сам бежал куда-то вниз, в полуподвал, откуда приносил множество мешочков с необыкновенно тяжелыми ушками. Он поспешно набивал ими Петин ранец, и мальчики быстро убегали из этого тихого двора, окруженного старинными покосившимися галереями.

В этом же дворе Петя как-то увидел дедушку Гаврика. Он тихо шел на согнутых ногах через двор к мусорному ящику.

— О! Дедушка! — закричал Петя. — Послушайте, что вы здесь делаете? А я думал, вы — в участке.

Но дедушка посмотрел на мальчика, как видно не узнавая.

Он переложил из руки в руку ведро и прошамкал глухо:

— Я здесь теперь... Сторожу... Ночной сторож... да...

И тихонько пошел дальше.

Мальчики заходили в порт, на Чумку, в Дюковский сад, на Пересыпь, на завод Гена. Они побывали всюду, кроме Ближних Мельниц.

На Ближние Мельницы Гаврик возвращался один после трудового дня.

Тетя и папа сошли бы, вероятно, с ума, если бы только могли себе представить, в каких местах побывал за это время их Петя.

37

БОМБА

Но вот однажды настал конец этой восхитительной, но жуткой бродячей жизни.

В этот памятный день Гаврик пришел раньше обыкновенного, и мальчики тотчас отправились в город.

У Гаврика было серое, необычайно собранное, неподвижное лицо с пестрыми от холода, крепко сжатыми губами. Он быстро и валко шел, глубоко засунув руки в карманы своих широких бобриковых штанов, — маленький, сгорбившийся, решительный. Только в его прозрачных, как у дедушки, стоячих глазах мелькало иногда недоброе оживление. Петя еле поспевал за своим другом. Мальчики почти бежали по улице, безлюдной, как во сне.

Напряженное ожидание чего-то висело в сером воздухе. Шаги звонко раздавались по плиткам тротуара. Под каблуком иногда ломалось оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу.

Вдруг где-то далеко, в центре, раздался легкий грохот. Можно было подумать, что везли на ломовике пирамиду пустых ящиков и внезапно они развязались и рухнули на мостовую.

Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эха.

— Что это? — шепотом спросил Петя. — Ящики?

— Бомба, — сухо и уверенно сказал Гаврик. — Когось трахнули.

Через два квартала навстречу мальчикам из-за угла выбежала женщина с корзиной, из которой сыпались древесный уголь и айва.

— Ой, господи Иисусе Христе, ой, мать пресвятая богородица... — бессмысленно повторяла женщина, стараясь дрожащей

рукой натянуть сбившийся с головы платок.— Ох, господи, что же это делается! На кусочки разорвало...

— Где?

— На Полицейской... Вот так я иду, а вот так он едет... И как рванет... На мелкие кусочки... Господи помилуй... Лошадей поубивало, экипаж на мелкие кусочки...

— Кого?

— Пристава... С Александровского участка... Вот так — я, а вот так — он... А тот боевик — напротив, и у него в руках, представьте себе, обыкновенный пакетик, даже завернутый в газету...

— Поймали?

— Боевика-то? Куда там! Как бросились все в разные стороны — его и след простыл... боевика-то... Говорят, какой-то переодетый матрос...

Женщина побежала дальше... Несмотря на всю свою суровую сдержанность, Гаврик схватил Петю за плечо и притопнул ногами.

— Это того самого, который деда бил кулаком по морде! — быстро, горячо зашептал он.— А пускай не дает волю своим рукам. Верно?

— Верно,— сказал Петя, холодея.

В этот день мальчики два раза заходили на Малую Арнаутскую улицу, во двор с фонтаном и цаплей.

В первый раз, забрав «товар», как выразился Гаврик, они отправились на Александровский проспект, оцепленный войсками. Их без особого труда пропустили.

Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота.

Мальчики прошли через большой безлюдный двор, мимо казачьей коновязи, по пустым обоймам и винтовочным гильзам, вбитым солдатскими подошвами в тугую, промерзшую землю.

Мальчики спустились в подвал и долго шли в сырой темноте мимо дровяных сараев, пока не вышли на другой двор. Из этого двора узкой щелью между двумя высокими и мрачными кирпичными стенами можно было пробраться еще в один двор.

Как видно, Гаврик хорошо знал здесь все ходы и выходы. Щель была такая узкая, что Петя, пробираясь за Гавриком, то и дело царапал ранец о стены. Наконец они выбрались на этот третий двор, узкий, высокий и темный, как цистерна. Судя по тому, как долго пришлось сюда пробираться и сколько сделали поворотов и зигзагов, дом этого двора выходил на какую-то другую улицу.

Весь двор был усеян битым стеклом и штукатуркой. Окна дома, окружавшего двор, были плотно закрыты ставнями. Казалось, что дом необитаем.

Гулкая тишина стояла вокруг.

Но за этой тишиной, по ту сторону дома, на незнакомой улице, не столько слышался, сколько угадывался тревожный шум какого-то движения.

Кроме того, сверху, будто с неба, изредка хлопали громкие выстрелы, наполняя двор колодезным шумом. Петя прижался ранцем к стене и, дрожа, зажмурился. Гаврик же не торопясь вложил в рот два пальца и свистнул.

Где-то наверху стукнул ставень, и раздался голос:

— Сейчас!

Через минуту, показавшуюся Пете часом, из двери черного хода выскочил красный, потный человек без пальто, в пиджаке, испачканном мелом.

Петя увидел и ахнул.

Это был Терентий.

— Давай, давай, давай! — бормотал Терентий, обтирая рукавом мокрое лицо.

Не обращая внимания на самого Петю, он бросился к его ранцу:

— Давай скорей! Спасибо, в самый раз! А то у нас ни черта не осталось.

Он нетерпеливо расстегнул ремешки, сопя, переложил мешочки из ранца в карманы и бросился назад, успев крикнуть:

— Пущай Иосиф Карлович сей же час присылает еще! Тащите что есть. А то не продержимся.

— Ладно, — сказал Гаврик, — принесем.

Тут под крышу ударила пуля, и на мальчиков посыпался розовый порошок кирпича.

Они поспешили той же дорогой назад, на Малую Арнаутскую, и взяли новую партию «товара». Ранец на этот раз был так тяжел, что Петя его еле тащил.

Теперь мальчик, конечно, прекрасно понимал уже, какие это ушки. В другое время он бросил бы все и убежал домой. Но в этот день он, охваченный до самого дна души азартом опасности, гораздо более могущественным, чем азарт игры, ни за что не согласился бы оставить товарища одного. К тому же он не мог отказаться от славы Гаврика. Одна мысль, что он будет лишен права рассказывать потом о своих похождениях, сразу заставила его пренебречь всеми опасностями.

Гаврик и Петя отправились обратно. Но как изменился за это время город! Теперь он кипел.

Улицы то наполнялись бегущим в разные стороны народом, то вдруг пустели мгновенно, подметенные железной метелкой залпа.

Мальчики подходили уже к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку и быстро втащил в ближайшую подворотню.

— Стой!

— Что?

Не выпуская Петиной руки, Гаврик осторожно выглянул из ворот и тотчас отвалился назад, прижавшись спиной к стене под черной доской с фамилиями жильцов.

— Слышь, Петька... Дальше не пройдем... Там ходит тот самый черт, который мне уши крутил... Смотри...

Петя на цыпочках подошел к воротам и выглянул. Возле заставы, мимо вывернутых чугунных решеток сквера и винтовок, составленных в козлы, по мостовой прогуливался господин в драповом пальто и каракулевой шляпе пирожком. Он повернулся, и Петя увидел бритое грубое лицо с мясистым носом. Что-то было в этом незнакомом лице очень знакомое. Где-то Петя его уже видел. Но где? Что-то мешало мальчику вспомнить. Может быть, мешала синева над верхней губой? И вдруг он вспомнил. Конечно, это был тот самый усатый с парохода «Тургенев», но только бритый, без усов. Он тогда врезался в память на всю жизнь. Петя узнал бы его из тысячи даже бритым.

— Усатый,— прошептал Петя, становясь рядом с Гавриком, ранцем к стенке.— Который ловил матроса. Только теперь без усов. Помнишь, я тебе говорил, а ты еще смеялся.

— Ишь побрился, чтоб не узнали... Шкура... Он меня знает как облупленного,— сказал Гаврик с досадой.— Ни за что не пройдем.

— А может, пройдем?

— Смеешься?

Гаврик выглянул из ворот.

— Ходит...

Гаврик сжал кулачок и стал со злостью грызть костяшки пальцев.

— А они тама сидят и дожидаются... У, дракон!

В наступившей на минуту полной и глубокой тишине восстания слышались отдаленные выстрелы. Их шум перекатывался где-то по крышам города.

— Слышь, Петька,— сказал вдруг Гаврик,— понимаешь, они тама сидят и даром дожидаются... без товара... Их тама всех перестреляют, очень просто... А я не могу иттить, потому что этот черт непременно за мной прилипнет!

Злые слезы закипели на глазах Гаврика. Он сильно потянул носом, высморкался в землю и сердито посмотрел Пете в глаза:

— Чуешь, что я тебе говорю?

— Чую,— одними губами проговорил Петя, бледнея от этого сердитого, дружеского, настойчивого и вместе с тем умоляющего взгляда товарища.

— Сможешь поитить один? Не сдрейфишь?

От волнения Петя не мог выговорить ни слова. Он крупно глотнул, кивнув головой. Воровато озираясь по сторонам и вы-

глядывая из ворот, Гаврик стал набивать Петины карманы своими мешочками.

— Слышь, все отдашь, весь товар. И что в ранце, отдашь, и что в карманах. А если поймаешься, молчи и отвечай, что нашел на улице и ничего не знаешь. Понял?

— Понял.

— Как только отдашь, так беги сюда обратно, я тебя буду тут дожидаться, в воротах. Понял?

— Понял.

С неудобно раздутыми карманами Петя, почти ничего не сознавая от страха и волнения, подошел к заставе.

— Куда лезешь, не видишь, что ли? — закричал усатый, бросаясь к мальчику.

— Дяденька, — захныкал Петя привычным тоненьким голосом Гаврика, — пожалуйста, пропустите, мы живем тут недалеко, на Александровском проспекте, в большом сером доме, мама очень беспокоится: наверное, думает, что меня убили.

И совершенно натуральные слезы брызнули из его глаз, катясь по замурзанным пухлым щечкам. Усатый с отвращением посмотрел на маленькую фигурку пригостишки и взял Петю за ранец. Он подвел мальчика к обочине мостовой и слегка поддал коленом:

— Жарь!

Не чувствуя под собой ног, Петя побежал к известному дому.

38

ШТАБ БОЕВИКОВ

Мальчик шмыгнул в ворота, стал пробираться через двор. Проходя здесь час тому назад с Гавриком, Петя не испытывал особенного беспокойства. Тогда он чувствовал себя под надежной защитой друга, ловкого и опытного. Избавленный от необходимости думать самому, он был всего лишь послушным спутником, лишенным собственной воли. За него думал и действовал другой, более сильный.

Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше.

И тотчас в отсутствие Гаврика мир стал вокруг Пети грозным, громадным, полным скрытых опасностей.

Опасность пряталась в каменных арках внутренней галереи, среди зловещих ящиков и старой, поломанной мебели. Она неподвижно стояла посредине двора за шелковицей, ободранной зубами лошадей. Она выглядывала из черной дыры мусорного ящика.

Все вещи вокруг мальчика приобретали преувеличенные размеры. Громадные казачьи лошади теснились, напирая на Петю золотисто-атласными танцующими крупами. Чудовищные хвосты со свистом били по ранцу. Чубатые казаки в синих шароварах с красными лампасами прыгали на одной ноге, вдев другую в стремя.

— Справа-а по три-и-и! — кричал осипший голос хорунжего.

Выванная из ножен шашка зеркальной дугой повисла в воздухе над приплюснутыми набекрень фуражками донцов.

Петя спустился в подвал.

Он долго шел ощупью в душном, но холодном мраке, дыша пыльным воздухом сараев. Ужас охватывал мальчика всякий раз, когда его ресницы задевала паутина, казавшаяся крылом летучей мыши. Наконец он выбрался на второй двор. Здесь было пусто.

Только сейчас, среди этой небывалой пустоты, в полной мере ощутил Петя свое страшное одиночество. Он готов был броситься назад, но тысячи верст и тысячи страхов отделяли его от улицы, от Гаврика.

В щели между вторым и третьим двором стояла такая невыносимая тишина, что хотелось изо всех сил кричать, не щадя горла. Кричать отчаянно, страстно, иступленно, лишь бы только не слышать этой тишины.

Такая тишина бывает лишь в промежутке между двумя выстрелами.

Теперь надо было сунуть в рот пальцы и свистнуть. Но вдруг Петя сообразил, что не умеет свистеть в два пальца. Плевать сквозь зубы давно научился, а свистеть — нет. Не сообразил. Забыл.

Мальчик неловко вложил в рот пальцы и дунул, но свиста не вышло. В отчаянии он дунул еще раз, изо всех сил. Ничего. Только слюни и шипение.

Тогда Петя собрал все свои душевные силы и, зажмурившись, крикнул:

— Э-э!

Голос прозвучал совсем слабо. Но гулкое эхо тотчас наполнило пустую цистерну двора.

Однако никто не откликнулся. Тишина стала еще страшней.

Вверху что-то оглушительно щелкнуло, и вниз полетело колесо сбитой водосточной трубы, увлекая за собой куски кирпича, костыли, известку.

— Э-э! Э-э! Э-э! Э-э! — закричал мальчик изо всей мочи.

Наверху приоткрылся ставень, и выглянуло незнакомое лицо.

— Чего кричишь? Принес? Беги сюда наверх! Живенько!

И лицо скрылось.

Петя в нерешительности оглянулся. Но он был совершенно один, и не с кем было посоветоваться.

Вверху опять щелкнуло, и вниз полетел большой кусок штукатурки, разбившейся вдребезги у самых Петиных ног.

Съежившись, мальчик бросился в дверь черного хода. Путаясь в полах слишком длинной, сшитой на рост, шинели, он стал взбираться по гремучей железной лестнице наверх.

— Давай, давай, давай! — кричал сверху сердитый голос.

Тяжелый ранец больно колотил по спине. Раздутые карманы стесняли шаг. Сразу стало жарко. Фуражка внутри стала горячая и мокрая. Пот лился на брови, на глаза. Лицо пылало.

А раздраженный, умоляющий голос продолжал кричать сверху:

— Давай! Давай же, ну тебя к черту!

Едва Петя, тяжело дыша и даже высунув от напряжения язык, добрался до площадки четвертого этажа, как его сразу схватил за плечи человек в хорошем, но грязном пальто с барашковым воротником, без шапки, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу.

Его франтоватые усики и бородка совершенно не соответствовали воспаленному простому, курносому лицу, осыпанному известкой.

Отчаянные, веселые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от извести колосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой, от которой его оторвали.

Он ужасно торопился назад. Он схватил Петю сильными руками за плечи.

Мальчику показалось, что сейчас его будут трясти, как папа в минуту ярости. Петя даже присел от страха. Но человек ласково заглянул в глаза.

— Принес? — торопливым шепотом спросил он и, не дожидаясь ответа, втащил мальчика в пустую кухню какой-то квартиры, в глубине которой — Петя сразу это почувствовал — делалось что-то громадное и страшное, что обычно в квартире делаться не может.

Человек бегло осмотрел Петю и сразу же, не говоря ни слова, полез в его оттопыренные карманы. Он торопливо стал вытаскивать из них грузные мешочки. Петя стоял перед ним, расставив руки.

Что-то было в этом незнакомом человеке с усиками и бородкой очень знакомое. Несомненно, где-то Петя его уже видел. Но где и когда?

Мальчик изо всех сил напрягал память, но никак не мог вспомнить. Что-то ему мешало, сбивало с толку. Может быть, усики и бородка?

Между тем человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре мешочка.

— Все? — спросил он.

— Нет, еще есть в ранце.

— Молодец мальчик! — закричал человек. — Ай, спасибо! А еще гимназист!

Он в знак восторга крепко взялся за козырек Петиной фуражки и глубоко насунул ее мальчику по самые уши.

И тут Петя увидел возле самого носа закопченную, тухло пахнущую порохом коренастую руку с маленьким голубым якорем.

— Матрос! — воскликнул Петя.

Но в этот же миг в глубине квартиры что-то рухнуло. Рванулся воздух. С полки упала кастрюля. Матрос мягким, кошачьим движением бросился в коридор, успев крикнуть:

— Сиди тут!

Через минуту где-то совсем рядом раздалось подряд шесть отрывистых выстрелов. Петя поскорей сбросил ранец и стал его расстегивать дрожащими пальцами.

В это время из коридора в кухню, шатаясь, вошел Терентий. Он был без пиджака, в одной сорочке с оторванным рукавом. Этим рукавом была перевязана его голова. Из-под перевязки по виску текла кровь. В правой руке он держал револьвер.

Увидев Петю, он хотел что-то сказать, но махнул рукой и сперва напился воды, опрокинув лицо под кран.

— Принес? — спросил он, задыхаясь, между двумя глотками воды, шумно бившей в его неправдоподобно белое лицо. — Где Гаврюшка? Живой?

— Живой.

Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Терентий тотчас стал доставать из ранца мешочки.

— Все равно не удержимся, — бормотал он, еле держась на ногах. — Будем по крышам уходить... Они тама орудие ставят... А ты, мальчик, тикай, а то тебя здесь подстрелят... Тикай скорей. Спасибо, будь здоров.

Терентий присел на табурет, но тотчас встал и, обтирая револьвер о колено, побежал по коридору туда, откуда слышались непрерывное хлопанье выстрелов и звон разбивающихся стекол.

Петя схватил легкий ранец и бросился к двери. Но любопытство все-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью. Посредине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решеткой драйки.

Несколько человек, среди которых Петя узнал высокую, страшно худую фигуру Синичкина, припав к подоконникам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов.

Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый

воротник матроса. Мелькали еще какая-то черная косматая бурка и студенческая фуражка.

И все это плыло и тонulo в синеватых волокнах дыма.

Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу держащуюся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом:

— Огонь! Огонь! Огонь!

И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма лишь один человек — с желтым, равнодушным, восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом — был совершенно спокоен.

Он неудобно лежал поперек комнаты, лицом вверх, на полу, среди пустых обоев и гильз.

Разбитое пенсне, зацепившееся черным шнурком за его твердое и белое ухо, лежало рядом с головой на паркете, запудренном известкой. И тут же, на паркете, аккуратно стояла очень старая техническая фуражка с треснувшим козырьком.

Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это — труп.

Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал Гаврик.

— Ну как, отнес?

— Отнес.

Петя, захлебываясь, рассказал все, что видел в страшной квартире.

— Они все равно не удержатся. Будут уходить по крышам... — шептал Петя, тяжело дыша. — Там против них пушку ставят...

Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным.

Совсем недалеко, почти рядом, ударил орудийный выстрел. Железное эхо шарахнуло по крышам.

— Пропало! — закричал Гаврик в отчаянии. — Тикай!

Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу, в третий раз изменившемуся за это утро.

Теперь в нем безраздельно хозяйничали казаки. Всюду слышалось льющееся цоканье подков.

Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками.

От них некуда было спрятаться: все парадные и ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлял собой ловушку.

Остатки рассеянных демонстраций бежали врассыпную, куда глаза глядят, без всякой надежды на спасение. Казаки настигали их и рубили поодиночке.

На Малой Арнаутской мимо мальчиков посредине мостовой пробежал кривоногий человек без пальто и шапки. Он держал

под мышкой палку с красным флагом. Это был хозяин тира. Он бежал, прихрамывая и виляя, бросаясь то туда, то сюда.

Может быть, в другое время это могло бы вызвать в мальчиках удивление, но сейчас это вызывало только ужас.

Через каждые десять шагов Иосиф Карлович поворачивал назад страшно бледное, истерзанное лицо с безумными глазами. За ним дробной рысью мчались два донца.

Звонко выворачивались подковы, высекая из гранитной мостовой искры, бледные при дневном свете.

Через минуту Иосиф Карлович оказался уже между лошадьми. Он пропустил их, увернулся и, бросившись в сторону, схватился за ручку парадного.

Дверь была заперта. Он рвал ее с отчаянием, он бил в нее изо всех сил ногами, ломился плечом. Дверь не поддавалась. Казаки повернули лошадей и въехали на тротуар.

Иосиф Карлович сгорбился, наклонил голову и обеими руками прижал к груди флаг. Блеснула шашка. Спина покачнулась. Пиджак лопнул наискось. Хозяин тира дернулся и повернулся.

На один миг мелькнуло его искаженное болью лицо с косо подрубленными бачками.

— Негодяи! Сатрапы! Палачи! — страстно закричал он на всю улицу. — Долой самодержавие!

Но в тот же миг — резко и одновременно — блеснули две шашки. Он упал, продолжая прижимать знамя к раскрытой волосатой груди с синей татуировкой.

Один из донцов наклонился над ним и что-то сделал.

Через минуту оба казака мчались дальше, волоча за собой на веревке тело человека, оставлявшее на мертвенно-серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след.

Из переулка хлынула толпа и разъединила мальчиков.

39

ПОГРОМ

В этот день Петя потерял всякое представление о времени. Когда он наконец добрался домой, ему показалось, что уже сумерки, а на самом деле не было еще и двух часов.

В районе Куликова поля и штаба все было тихо, спокойно. События в городе доходили сюда в виде слухов и отдаленных выстрелов. Но к слухам и выстрелам давно уже привыкли.

Низкое, почти черное небо дышало крепким холодом недалекого снега. В такую пору вечер начинается с утра. В мутном, синеватом воздухе уже пролетело несколько совсем маленьких снежинок. Но твердая земля все еще была совершенно черной, без единой седины.

Петя вошел через черный ход, сбросил пустой ранец в кухне и осторожно пробрался в детскую. Но было так рано, что о мальчике еще и не начинали беспокоиться.

Петя увидел тихие, спокойные комнаты, услышал почти бесшумный зуд разогнанной швейной машинки, ощутил запах кипящего борща, и вдруг ему захотелось броситься папе на шею, прижаться щекой к сюртуку, заплакать и рассказать все.

Но это чувство возникло в потрясенной душе мальчика лишь на миг, тотчас уступив место другому, новому — сдержанному и молчаливому чувству ответственности и тайны. Первый раз в жизни мальчик просто и серьезно, всем сердцем, понял, что в жизни есть такие вещи, о которых не следует говорить даже самым родным и любимым людям, а знать про себя и молчать, как бы это ни было трудно.

Отец качался в качалке, заложив за голову руки и сбросив пенсне. Петя прошел и уселся рядом на стуле, чинно сложив на коленях руки.

— Ну что, сынок, скучно ничего не делать? Ничего, поспевай. Скоро все уляжется, в учебных заведениях опять начнутся занятия. Пойдешь в гимназию. Нахватаешь двоек. Легче станет на сердце.

И он улыбнулся своей милой, близорукой улыбкой.

В кухне хлопнула дверь, по коридору быстро застучали шаги. На пороге столовой появилась Дуня. Она бессильно прислонилась к дверному косяку, тесно прижимая руки к груди.

— Ой, барин...

Больше она не могла выговорить ни слова.

Дуня трудно и часто дышала, глотая воздух полукрытым ртом. Из-под сбившегося платка на небывало бледное лицо упала прядь волос с повисшей шпилькой.

За последнее время в доме привыкли к ее неожиданным вторжениям. Почти каждый день она сообщала какую-нибудь городскую новость. Но на этот раз ее безумные глаза, судорожное дыхание, весь ее неменяемый вид говорили, что произошло нечто из ряда вон выходящее, ужасное. Она внесла с собой такую темную, такую зловещую тишину, что показалось, будто часы зашелкали в десять раз громче, а в окна вставили серые стекла. Стук швейной машинки тотчас оборвался. Тетя вбежала, приложив пальцы к вискам с лазурными жилками:

— Что?.. Что случилось?..

Дуня молчала, беззвучно шевеля губами.

— На Канатной евреев бьют, — наконец выговорила она еле слышно, — погром...

— Не может быть! — вскрикнула тетя и села на стул, держась за сердце.

— Чтоб мне пропасть! Чисто все еврейские лавочки разби-

вают. Комод со второго этажа выбросили на мостовую. Через минут десять до нас дойдут.

Отец вскочил бледный, с трясущейся челюстью, слясав надевать непослушной рукой пенсне.

— Да что ж это, господи!

Он поднял глаза к иконе и дважды перекрестился.

Дуня приняла это за некий знак. Она очнулась, полезла на стул и стала порывисто снимать икону.

— Что вы делаете, Дуня?

Но она, не отвечая, уже бегала по комнате, собирая иконы. Она суетливо расставляла их на подоконниках лицом на улицу и подкладывала под них стопки книг, коробки, цибики из-под чаю — все, что попадалось под руку.

Отец растерянно следил за ней:

— Я не понимаю... Что вы хотите?

— Ой, барин, да как же? — испуганно бормотала она. — Да как же? Разбивают евреев... А русских не трогают... У кого на окнах иконы — до тех не заходят!

Вдруг лицо отца исказилось.

— Не смейте! — закричал он высоким, срывающимся голосом и начал изо всех сил дробно стучать кулаком по столу. — Не смейте... Я вам запрещаю!.. Слышите? Сию же минуту прекратите... Иконы существуют не для этого... Это... это кощунство... Сейчас же...

Круглые крахмальные манжеты выскочили из рукавов. Лицо стало смертельно бледным, с розовыми пятнами на высоком лбу.

Никогда еще Петя не видел отца таким: он трясся и был страшен. Он бросился к подоконнику и схватил икону.

Но Дуня крепко держала ее и не отпускала.

— Барин!.. Что вы делаете?.. — с отчаянием кричала она. — Они же всех чисто поубивают! Татьяна Ивановна! Ясочка! Чисто всех побьют! Ни на что не посмотрят!..

— Молчать! — заорал отец, и жилы у него на лбу страшно вздулись. — Молчать! Здесь я хозяин! Я не позволю у себя в доме... Пускай приходят! Пускай убивают всех!.. Скоты!.. Вы не имеете права... Вы не имеете...

Тетя хрустела пальцами:

— Василий Петрович! Умоляю вас, успокойтесь!..

Но отец уже стоял, прислонясь головой к обоям и закрыв руками лицо.

— Идут! — крикнула вдруг Дуня.

Наступила тишина.

На улице слабо слышалось стройное пение. Можно было подумать, что где-то очень далеко — крестный ход или похороны.

Петя осторожно посмотрел в окно. На улице не было ни

души. Еще более опустившееся и потемневшее небо грифельного цвета висело над безлюдным Куликовым полем. Несколько длинных ниток легкого, как лебяжий пух, снега, собранного ветром, лежало в морщинах голой земли.

Между тем пение становилось все явственнее. Тогда Петя с полной ясностью увидел, что та низкая и темная туча, которая лежала на горизонте Куликова поля справа от вокзала, вовсе не туча, а медленно приближающаяся толпа.

В доме захлопали форточки.

В кухне слышались чьи-то сдержанные, очень тихие голоса, топтанье, шум юбок, и в коридоре совершенно неожиданно появилась пожилая женщина, держа за руку ярко-рыжую заплаканную девочку.

Женщина была одета, как для визита, в черные муаровые юбки, мантильку и фильдекосовые митенки. На голове у нее несколько набок торчала маленькая, но высокая черная шляпка с куриными перьями. Из-за ее плеча выглядывали матово-бледное круглое лицо Нюси и котелок «Бориса — семейство крыс».

Это была мадам Коган со всей своей семьей.

Не смея переступить порог комнаты, она долго делала в дверях реверансы, одной рукой подбирая юбки, а другую прижимая к сердцу. Сладкая, светская и вместе с тем безумная улыбка играла на ее подвижном, морщинистом личике.

— Господин Бачей! — воскликнула она пронзительным птичьим голосом, простирая обе дрожащие руки в митенках к отцу. — Господин Бачей! Татьяна Ивановна! Мы всегда были добрыми соседями!.. Разве люди виноваты, что у них разный бог?..

Она вдруг упала на колени.

— Спасите моих детей! — иступленно закричала она, рыдая. — Пусть они разбивают всё, но пусть пощадят детей!

— Мама, не смей унижаться! — злобно крикнул Нюся, засовывая руки в карманы, и отвернулся, показав свою подбритую сзади, синеватую шею.

— Наум, замолчишь ли ты наконец? — прошипел «Борис — семейство крыс». — Или ты хочешь, чтобы я тебе надавал по щекам? Твоя мать знает, что она делает. Она знает, что господин Бачей — интеллигентный человек. Он не допустит, чтоб нас убили.

— Ради бога, мадам Коган! Что вы делаете? — бормотала тетя, бросаясь и поднимая еврейку. — Как вам не стыдно? Конечно же, конечно! Ах, господи, прошу вас, входите... Господин Коган... Нюся... Дорочка... Какое несчастье!

Пока мадам Коган, рыдая, рассыпалась в благодарностях, от которых папа и тетя готовы были провалиться со стыда сквозь землю, пока она рассовывала детей и мужа по дальним комнатам, пение за окном росло и приближалось с каждым шагом.

По Куликову полю к дому шла небольшая толпа, действительно напоминавшая крестный ход. Впереди два седых старика, в зимних пальто, но без шапок, на полотенце с вышитыми концами несли портрет государя.

Петя сразу узнал эту голубую ленту через плечо и желудь царского лица. За портретом качались церковные хоругви, высоко поднятые в холодный, синеватый, как бы мыльный воздух.

Дальше виднелось множество хорошо, тепло одетых мужчин и женщин, чинно шедших в калошах, ботиках, сапогах. Из широко раскрытых ртов вился белый пар. Они пели:

— Спаси, го-о-споди, лю-у-ди твоя и благослови достоя-я-ание твое...

У них был такой мирный и такой благолепный вид, что в лице у отца на одну минуту даже заиграла нерешительная улыбка.

— Ну, вот видите, — сказал он, — идут себе люди тихо, мирно, никого не трогают, а вы...

Но как раз в этот миг шествие остановилось против дома на той стороне улицы. Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками. Ее выпуклые черные глаза цвета винограда «изабелла» были люто и решительно устремлены на окна. Она широко, по-мужски, расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком.

— А, жидовские морды! — закричала она пронзительным, привозным голосом. — Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдем! Православные люди, выставляйте иконы!

С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой голыш из кучи, приготовленной для ремонта мостовой.

Следом за ней из толпы вышло человек двадцать чубатых длинноруких молодцов с трехцветными бантиками на пальто и поддевах. Они не торопясь один за другим перешли улицу мимо кучи камней, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно.

Когда прошел последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля.

Наступила мертвая тишина. Теперь часы уже не щелкали, а стреляли, и в окнах были вставлены черные стекла.

Тишина тянулась так долго, что отец успел проговорить:

— Я не понимаю... Где же, наконец, полиция?.. Почему из штаба не посылают солдат?..

— Ах, да какая там полиция! — закричала тетя с истерической запальчивостью.

Она осеклась. Тишина сделалась еще ужаснее. «Борис — семейство крыс», присевший на край стула посередине гостиной,

в котелке, сдвинутом на лоб, смотрел в угол косо и неподвижно больными глазами.

Нюся ходил взад и вперед по коридору, положив руки в карманы. Теперь он остановился, прислушиваясь. Его полные губы кривились презрительно, натянутой улыбкой.

Тишина продолжалась еще одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Было видно, как на мостовую выкатываются банки с монпансье, бочонки, консервы.

Вся озверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой косо поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окруженный хоругвями, все время встает на цыпочки, желая заглянуть через головы.

— Господин Бачей! Вы видите, что делается? — шептал Коган, потихоньку ломая руки. — На двести рублей товару!

— Папа, замолчите! Не смейте унижаться! — закричал Нюся. — Это не относится к деньгам.

Погром продолжался.

— Барин! Пошли по квартирам, евреев ищут!

Мадам Коган вскрикнула и забилась в темном коридоре, как курица, увидевшая нож.

— Дора! Наум! Дети!..

— Барин, идут по нашей лестнице...

На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро застегнулся на все пуговицы и бросился к двери, обеими руками раздирая под бородой крахмальный воротник, давивший ему горло. Тетя не успела ахнуть, как он уже был на лестнице.

— Ради бога, Василий Петрович!

— Барин, не ходите, убьют!

— Папочка! — закричал Петя и бросился за отцом.

Прямой и легкий, с остановившимся лицом, в черном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице.

Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый голыш. Но теперь ее глаза были не черными, а синевато-белыми, подернутыми тусклой пленкой, как у мертвого вола. За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобакалейщиков.

— Милостивые государи! — неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела. — Кто вам дал право врываться в чужие дома? Это грабеж! Я не позволяю!

— А ты здесь кто такой? Домовладелец?

Женщина переложила камень из правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо.

Отец покачнулся, но ему не позволили упасть: чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло.

— Не бейте его, это наш папа! — не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. — Вы не имеете права! Дураки!

Кто-то изо всей мочи, коротко и злобно, дернул отца за рукав. Рукав оторвался. Круглая манжета с запонкой покатилась по лестнице.

Петя видел сочащуюся царапину на носу отца, видел его близорукие глаза, полные слез — пенсне сбили, — его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся надвое.

Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать.

— У, зверье! Скоты! Животные! — сквозь зубы стонал отец, пятясь от погромщиков.

А сверху уже бежали с иконами в руках тетя и Дуня.

— Что вы делаете, господа, побойтесь бога! — со слезами на глазах твердила тетя.

Дуня, поднимая как можно выше икону спасителя с восковой веточкой флердоранжа под стеклом, разгневанно кричала:

— Очумели, чи шо? Уже православных христиан бьете! Вы сначала посмотрите хорошенько, а уж потом начинайте. Ступайте себе, откуда пришли! Нема тут никаких евреев, нема. Идите себе с богом!

На улице раздавались свистки городских, как всегда явившихся ровно через полчаса после погрома. Женщина в белых чулках положила на ступеньки голыш, аккуратно вытерла руки о подол юбки и кивнула головой:

— Ну, за́раз здесь будет. Хорошенького помаленьку. А то уже слышите, как там наши городовики разоряются. Айда теперь до жиды на Малофонтанскую, угол Ботанической.

И она, подобрав тяжелые юбки, кряхтя, стала спускаться с лестницы.

40

ОФИЦЕРСКИЙ МУНДИР

Несколько дней после этого тротуар возле дома был усеян камнями, битым стеклом, обломками ящиков, растертыми шариками синьки, рисом, тряпками и всевозможной домашней рухлядью.

На полянке, в кустах, можно было вдруг найти альбом с фотографиями, бамбуковую этажерку, лампу или утюг.

Прохожие тщательно обходили эти обломки, как будто одно прикосновение к ним могло сделать человека причастным к погрому и запятнать на всю жизнь.

Даже дети, с ужасом и любопытством спускавшиеся в разграбленную лавочку, нарочно прятали руки в карманы, чтобы не соблазниться валяющимся на полу мятным пряником или раздавленной коробочкой папирос «Керчь».

Отец целыми днями ходил по комнатам, какой-то помолодевший, строгий, непривычно быстрый, с заметно поседевшими висками, с напряженно выдвинутым вперед подбородком. Сюртук зашили так искусно, что повреждений почти не было видно.

Жизнь возвращалась в свою колею.

На улицах уже не стреляли. В городе была мирная тишина. Мимо дома проехала первая после забастовки трам-кары, это громоздкое и нелепое сооружение вроде городского дилижанса с громаднейшими задними колесами и крошечными передними.

На вокзале свистнул паровик.

Принесли «Русские ведомости», «Ниву» и «Задушевное слово».

Однажды Петя, посмотрев в окно, увидел у подъезда желтую почтовую карету.

Сердце мальчика облилось горячим и замерло.

Почтальон открыл заднюю дверцу и вынул из кареты посылку.

— От бабушки! — закричал Петя и хлопнул ладонями по подоконнику.

Ах, ведь он совсем об этом забыл! Но теперь, при виде желтой кареты, сразу вспомнились и ушки, и окончательно испорченный вицмундир, и проданные сандалии, и копилка Павлика — словом, все его преступления, которые могли открыться каждую минуту.

Раздался звонок. Петя бросился в переднюю.

— Не смейте трогать, — кричал он возбужденно, — это мне! Это мне!

Действительно, к общему изумлению, на холсте было выведено крупными лиловыми буквами: «Петру Васильевичу Бачей в собственные руки».

Ломая ногти, мальчик содрал парусину, крепко прошитую суровой ниткой. У него не хватило терпения аккуратно отделать скрипучую крышку, прибитую длинными, тонкими гвоздиками.

Петя схватил кухонную секачку и грубо раскроил ящик, легкий, как скрипка. Он вынул нечто любовно завернутое в очень старый номер газеты «Русский инвалид».

Это был офицерский сюртук.

— Дедушкин мундир! — торжественно провозгласил Петя. — Вот!

Больше в посылке ничего не было.

— Я... не понимаю...— пробормотала тетя.

— Странная фантазия — посылать ребенку какие-то военные реликвии,— сухо заметил отец, пожав плечами.— Удивительно... непедагогично!

— Ах, замолчите, вы ничего не понимаете! Молодец бабушка! — воскликнул мальчик в восторге и бросился с заветным свертком в детскую.

Из тончайшей шелковой бумаги блеснули старательно завернутые золотые пуговицы. Петя торопливо стал их разворачивать.

Но боже мой, что это? Они оказались без орлов!

Пуговицы были совершенно гладкие и ничем не отличались от самых дешевых солдатских одинарок. Петя, правда, насчитал их шестнадцать штук. Но за все это нельзя было получить больше трех пятков.

Что же случилось? Впоследствии, много лет спустя, Петя узнал, что во времена императора Александра Второго пуговицы у офицеров были без орлов. Но кто же мог это предвидеть? Мальчик был совершенно подавлен. Он сидел на подоконнике, опустив на колени ненужный мундир.

За окном, мимо термометра, летели снежинки. Мальчик равнодушно следил за ними, не испытывая при виде первого снега обычной радости.

Перед его глазами одна за другой возникали картины событий, участником и свидетелем которых он был совсем недавно. Но теперь все это казалось мальчику таким далеким, таким смутным, неправдоподобным, как сон. Как будто все это произошло где-то совсем в другом городе, может быть, даже в другой стране.

Между тем Петя знал, что это не был сон. Это было вон там, совсем недалеко, за Куликовым полем, за молочным дымом снега, несущегося между небом и землей.

Где сейчас Гаврик? Что стало с Терентием и матросом? Удалось ли им уйти по крышам?

Но не было ответа на эти вопросы.

А снег продолжал лететь все гуще и гуще, покрывая черную землю Куликова поля чистой, веселой пеленой наступившей наконец зимы.

41

Е Л К А

Пришло рождество.

Павлик проснулся до рассвета. Для него сочельник был двойным праздником: он как раз совпадал с днем рождения Павлика.

Можно себе представить, с каким нетерпением дожидался мальчик наступления этого хотя и радостного, но вместе с тем

весьма странного дня, когда ему вдруг сразу делалось четыре года!

Вот только еще вчера было три, а сегодня уже четыре. Когда ж это успевает случиться? Вероятно, ночью.

Павлик решил давно подстеречь этот таинственный миг, когда дети становятся на год старше. Он проснулся среди ночи, широко открыл глаза, но ничего особенного не заметил. Все как обычно: комод, ночник, сухая пальмовая ветка за иконой.

Сколько же ему сейчас: три или четыре года?

Мальчик стал внимательно рассматривать свои руки и подрыгал под одеялом ногами. Нет, руки и ноги такие же, как вечером, когда ложился спать. Но, может быть, немного выросла голова? Павлик старательно ощупал голову — щеки, нос, уши... Как будто бы те же, что вчера.

Странно.

Тем более странно, что утром-то ему непременно будет четыре. Это уже известно наверняка. Сколько же ему сейчас? Не может быть, чтобы до сих пор оставалось три. Но, с другой стороны, и на четыре что-то не похоже.

Хорошо было бы разбудить папу. Он-то наверное знает. Но вылезать из-под теплого одеяльца и шлепать босиком по полу... нет уж, спасибо! Лучше притвориться, что спишь, и с закрытыми глазами дожидаться превращения.

Павлик прикрыл глаза и тотчас, сам того не замечая, заснул, а когда проснулся, то сразу увидел, что ночник уже давно погас и в щели ставней брезжит синеватый, темный свет раннего-раннего зимнего утра.

Теперь не было ни малейшего сомнения, что уже — четыре.

В квартире все еще крепко спали; даже на кухне не слышалось Дуниной возни. Четырехлетний Павлик проворно вскочил с кровати и «сам оделся», то есть напялил задом наперед лифчик с полотняными пуговицами и сунул босые ножки в башмаки.

Осторожно, обеими руками открывая тяжелые скрипучие двери, он отправился в гостиную. Это было большое путешествие маленького мальчика по пустынной квартире. Там впотьмах, наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное, смутное, до самого паркета опустившее темные лапы в провисших бумажных цепях.

Павлик уже знал, что это елка. Пока его глаза привыкали к сумраку, он осторожно обошел густое, бархатное дерево, еле-еле мерцающее серебряными нитями канители. Каждый шаг мальчика чутко отдавался в елке легким бумажным шумом, вздрагиванием, шуршанием картонажей и хлопушек, тончайшим звоном стеклянных шаров.

Привыкнув к темноте, Павлик увидел в углу столик с подарками и тотчас бросился к нему, забыв на минуту о елке. Подар-

ки были превосходные, гораздо лучше, чем он ожидал: лук и стрелы в бархатном колчане, роскошная книга с разноцветными картинками: «Птичий двор бабушки Татьяны», настоящее «взрослое» лото и лошадь — еще больше, еще красивее, а главное, гораздо новее, чем Кудлатка. Были, кроме того, жестяные коробочки монпансье «Жорж Борман», шоколадки с передвижными картинками и маленький торт в круглой коробке.

Павлик никак не ожидал такого богатства. Полон стол игрушек и сластей — и все это принадлежит только ему.

Однако мальчику это показалось мало. Он потихоньку перетаскивал из детской в гостиную все свои старые игрушки, в том числе и ободранную Кудлатку, и присоединил к новым. Теперь игрушек было много, как в магазине, но и этого показалось недостаточно.

Павлик принес знаменитую копилку и поставил ее посередине стола, на барабане, как главный символ своего богатства.

Устроив эту триумфальную башню из игрушек и налюбовавшись ею всласть, мальчик снова вернулся к елке. Его уже давно тревожил один очень большой, облитый розовым сахаром пряник, повешенный совсем не высоко на желтой гарусной нитке. Красота этого звездообразного пряника с дыркой посередине вызывала непреодолимое желание съесть его как можно скорее.

Не видя большой беды в том, что на елке будет одним пряником меньше, Павлик отцепил его от ветки и сунул в рот. Он откусил порядочный кусок, но, к удивлению своему, заметил, что пряник вовсе не такой вкусный, как можно было подумать. Больше того, пряник был просто отвратительный: тугой, житный, несладкий, с сильным запахом патоки. А ведь по внешнему виду можно было подумать, что именно такими пряниками питаются белоснежные рождественские ангелы, поющие на небе по нотам.

Павлик с отвращением повесил обратно на ветку надкушенный пряник. Было очевидно, что это какое-то недоразумение. Вероятно, в магазине случайно положили негодный пряник.

Тут Павлик заметил другой пряник, еще более красивый, облитый голубым сахаром. Он висел довольно высоко, и пришлось подставить стул. Не снимая пряника с ветки, мальчик откусил угол и тотчас его выплюнул — до того неприятен оказался и этот пряник.

Но трудно было примириться с мыслью, что все остальные пряники тоже никуда не годятся.

Павлик решил перепробовать все пряники, сколько их ни висело на елке. И он принялся за дело. Высунув набок язык, кряхтя и сопя, мальчик перетаскивал тяжелый стул вокруг елки, взбирался на него, надкусывал пряник, убеждался, что дрянь, слезал и тащил стул дальше.

Вскоре все пряники оказались перепробованными, кроме двух — под самым потолком, куда невозможно было добраться. Павлик долго стоял в раздумье, задрал голову. Пряники манили его своей недостижимой и потому столь желанной красотой.

Мальчик не сомневался, что уж эти-то пряники его не обманут. Он подумывал уже, как бы поставить стул на стол и оттуда попытаться достать их.

Но в это время послышался свежий шелест праздничного платья, и тетя, сияя улыбкой, заглянула в гостиную:

— А-а, наш рожденник встал раньше всех! Что ты здесь делаешь?

— Гуляю коло елочки, — скромно ответил Павлик, глядя на тетю доверчивыми, правдивыми глазами благовоспитанного ребенка.

— Ах ты моя рыбка ненаглядная! Коло! Не коло, а около. Когда ты отвыкнешь наконец от этого! Ну, поздравляю, поздравляю!

И мальчик очутился в горячих, душистых и нежных объятиях тети.

А из кухни торопилась красная от конфуза Дуня, держа перед собой хрупкую голубую чашку с золотой надписью: «С днем ангела».

Так начался этот веселый день, которому суждено было закончиться совершенно неожиданным и страшным образом.

Вечером к Павлику привели гостей — мальчиков и девочек. Все они были такие маленькие, что Петя считал ниже своего достоинства не то что играть с ними, но даже разговаривать.

Чувствуя на сердце необъятную тоску и тяжесть, Петя сидел в темной детской на подоконнике и смотрел в нарядно замерзшее окно, где среди ледяных папоротников мерцал золотой орех уличного фонаря.

Зловещее предчувствие омрачало Петину душу.

А из гостиной струился жаркий, трескучий свет елки, пылающей костром свечей и золотого дождя. Слышались подмигивающие звуки фортепьяно. Это отец, расправив фалды сюртука и гремя крахмальными манжетами, нажаривал семинарскую польку. Множество крепких детских ножек бестолково топало вокруг елки.

— Ничего, терпи, казак, — сказала тетя, проходя мимо Пети. — Не завидуй. И на твоей улице будет праздник.

— А, тетя, вы совсем ничего не понимаете! — жалобно сказал мальчик. — Идите себе.

Но вот наступил желанный миг раздачи орехов и пряников. Дети обступили елку и, став на цыпочки, потянулись к пряникам, сияющим, как ордена. Елка зашаталась, зашумели цепи.

И вдруг раздался звонкий, испуганный голосок:

— Ой, смотрите, у меня надкусатый пряник!

— Ой, и у меня!

— У меня — два, и все объединенные...

— Э! — сказал кто-то разочарованно. — Они уж вовсе не такие новые. Их уже один раз кушали.

Тетя стояла красная до корней волос среди надкусанных пряников, протянутых к ней со всех сторон.

Наконец ее глаза остановились на Павлике:

— Это ты сделал, скверный мальчишка?

— Я, тетечка, их только чуть-чуть хотел попробовать, — сказал Павлик, невинно глядя на разгневанную тетю широко открытыми, янтарными от елки глазами. И прибавил со вздохом: — Я думал, они вкусные, а они, оказывается, только для гостей.

— Замолчишь ли ты, сорванец? — закричала тетя, всплеснув руками, и бросилась к буфету, где, к счастью, оставалось еще много лакомств.

Все обиженные тотчас были удовлетворены, и скандал замяли.

Скоро сонных гостей стали уносить по домам. Праздник кончился. Павлик занялся приведением своих сокровищ в порядок.

В это время в дверях детской таинственно появилась Дуня и поманила Петю.

— Паныч, вас на черной лестнице дожидается той скаженный Гаврик, — прошептала она, оглядываясь.

Петя бросился на кухню.

Гаврик сидел на высоком подоконнике черного хода, прислонившись плечом к ледяному окну, игравшему синими искрами месяца. Из башлыка блестели маленькие злые глаза. Мальчик тяжело сопел.

В первый миг Петя подумал, что Гаврик пришел за долгом. Он уже приготовился рассказать о несчастье, постигшем их с дедушкиными пуговицами, и дать честное благородное слово, что не позже как через два дня расквитается. Но Гаврик торопливо вытащил из-за пазухи ватной кофты четыре хорошо знакомых мешочка и сунул их Пете.

— Сховай, и будем с тобой в расчете, — тихо и твердо сказал он. — От Иосифа Карловича остаток, царство ему небесное. — При этих словах Гаврик истово перекрестился. — Сховай и держи, пока не пригодятся.

— Сховаю, — шепотом ответил Петя.

Гаврик долго молчал. Наконец резко вытер кулачком под носом и сполз с подоконника.

— Ну, Петька... Будь здоров...

— А те — ушли тогда?

— Ушли. По крышам. Теперь их повсюду ищут.

Гаврик задумался, не сказал ли чего-нибудь лишнего, но потом доверчиво приблизился к самому Петиному уху и прошептал:

— Уй, сколько народа похватали! Ну, их не споймают. Я тебе говорю. Они в катакомбах отсиживаются. Все ихние боевики тама. Весной опять начнут. А Терентия жену с маленькими детьми — с Женечкой и Мотечкой — хозяин дома с квартиры выселяет. Такое дело...

Гаврик озабоченно почесал брови.

— Не знаю теперь, что мне с ними делать. Верно, придется всем вместе переезжать с Ближних Мельниц в дедушкину хибарку. А дедушка, знаешь, совсем никуда стал. Верно, скоро помрет. Ты до нас когда-нибудь, Петька, все-таки заскочи. Только пережди время. Главное, мешочки хорошенько сховай. Ничего. Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Дай пять.

Гаврик сунул Пете руку дощечкой и побежал, дробно стуча своими разбитыми чеботами по лестнице.

Петя вернулся в детскую и спрятал мешочки в ранец под книги.

Но тут вдруг с невероятным стуком распахнулась дверь, и в комнату вошел быстро отец, держа в руках изуродованный вицмундир.

— Что это значит? — спросил он таким тихим голосом, что мальчик чуть не потерял сознание.

— Святой истинный крест... — пробормотал Петя, не находя в себе сил перекреститься.

— Что это значит? — заорал отец и затрясся, багровея.

И в ту же секунду, как бы откликаясь на гневный голос отца, из гостиной раздался душераздирающий рев Павлика.

Маленький мальчик вбежал, шатаясь на ослабевших от ужаса ножках, и обнял отца за колени. Его четырехугольный ротик был так широко разинут, что ясно виднелось орущее горло. Дрожал крошечный язычок. Текли слезы. В пухлой ручке прыгала открытая копилка, полная вместо денег всякой гремучей дряни.

— П... па... п... па! — икая, лепетал Павлик. — Пе-еть...ка меня... обо... ик... обо... крал!

— Честное благород... — начал Петя, но отец уже крепко держал его за плечи.

— Негодный мальчишка, сорванец, — кричал он, — я знаю все! Ты играешь в азартные игры! Лгунишка!

Он с такой яростью стал трясти Петю, точно хотел вытрясти из мальчика душу. Нижняя челюсть его прыгала, и прыгало на черном шнурке пенсне, соскользнувшее с вспотевшего носа, пористого, как пробка.

— Сию же минуту давай сюда эти... как они там у вас называются... чушки или душики...

— Ушки,— криво улыбнувшись, пролепетал Петя, надеясь как-нибудь обернуть дело в шутку.

Но, услышав слово «ушки» из уст сына, отец вскипел еще пуще:

— Ушки? Отлично... Где они? Сию же минуту давай их сюда. Где эта уличная мерзость? Где эти микробы? В огонь! В плиту! Чтобы духу их не было!

Он стремительно осмотрел комнату и бросился к ранцу.

Петя, рыдая, бежал за ним по коридору до самой кухни, куда отец, широко и нервно шагая, быстро и брезгливо, как дохлых котят, нес мешочки.

— Папочка! Папочка! — кричал Петя, хватая его за локти. — Папочка!

Отец грубо оттолкнул Петю, затем шумно сдвинул кастрюлю и, яростно пачкая сажей манжеты, сунул мешочки в пылающую плиту.

Мальчик замер от ужаса.

— Тикайте! — закричал он не своим голосом.

Но в этот миг в плите застреляло. Раздался небольшой взрыв.

Из конфорки рванулось разноцветное пламя. Лапша вылетела из кастрюльки и прилипла к потолку. Плита треснула. Из трещин повалил едкий дым, в одну минуту наполнивший кухню.

Когда плиту залили водой и выгребли золу, в ней нашли кучу обгоревших гильз от револьверных патронов.

Но ничего этого Петя уже не помнил. Он был без сознания. Его уложили в постель. Он весь горел. Поставили термометр. Оказалось тридцать девять и семь десятых.

42

КУЛИКОВО ПОЛЕ

Едва кончилась скарлатина, началось воспаление легких.

Петя проболел всю зиму. Лишь в середине великого поста он стал ходить по комнатам.

Приближалась весна. Сначала ранняя весна, совсем-совсем ранняя. Уже не зима, но еще далеко и не весна.

Недолгий, южный снег, которым мальчику так и не пришлось насладиться в этом году, давно сошел. Стояла сухая серая погода одесского марта.

На слабых ногах Петя слонялся по комнатам, сразу сделавшимся, как только он встал с кровати, маленькими и очень низкими. Он становился на цыпочки перед зеркалом в темной передней и с чувством щемящей жалости разглядывал свое вы-

тянувшееся белое лицо с тенями под неузнаваемыми, какими-то испуганно-изумленными глазами.

Всю первую половину дня мальчик оставался в квартире совершенно один: отец бегал по урокам, тетя гуляла с Павликом.

От шума пустынных комнат нежно кружилась голова. Резкий стук маятника пугал своей настойчивостью, неумолимой непрерывностью. Петя подходил к окнам. Они были еще по-зимнему закупорены — с валиком пожелтевшей ваты, посыпанной настриженным гарусом, между рамами.

Мальчик видел нищету серой, сухой мостовой, черствую землю Куликова поля, серое небо с еле заметными, водянистыми следами голубизны. Из кухонного окна виднелись голубые прутья сирени на полянке. Петя знал, что если сорвать зубами эту горькую кожицу, то обнаружится изумительно зеленая фисташковая плоть.

Редко и погребально дрожал в воздухе низкий бас великопостного колокола, вселяя в сердце дух праздности и уныния.

И все же в этом скудном мире уже были заложены — и только дожидались своего часа — могущественные силы весны. Они ощущались во всем. Но особенно сильно — в луковицах гиацинтов.

Комнатная весна была еще спрятана в темном чулане. Там, средихлама, в мышином запахе домашней рухляди, тетя расставила вдоль стен узкие вазончики. Петя знал, что прорастание голландских луковиц требует темноты. В темноте чулана совершалось таинство роста.

Из шелковой истощенной шелухи луковицы прорезывалась бледная, но крепкая стрела. И мальчик знал, что как раз к самой пасхе чудесно появятся на толстой ножке тугие, кудрявые соцветия бледно-розовых, белых и лиловых гиацинтов.

А между тем Петино детское сердце ныло и тосковало в этом пустом, сером мире весеннего равноденствия.

Дни прибывали, и мальчику уже нечем было заполнить невероятно растянувшиеся часы между обедом и вечером. О, как они были длинны, эти тягостные часы равноденствия! Они были еще длиннее пустынных улиц, бесконечно уходивших в сторону Ближних Мельниц.

Пете уже разрешали гулять возле дома. Он медленно ходил взад и вперед по сухому тротуару, жмурясь на солнце, садившееся за вокзалом.

Еще год тому назад вокзал казался ему концом города. За вокзалом уже начиналась география. Теперь же мальчик знал, что за вокзалом продолжается город, тянутся длинные пыльные улицы предместий. Он ясно представлял себе их уходящими на запад.

Там в перспективе, заполняя широкий просвет между скучны-

ми кирпичными домами, висит чудовищный круг красного допотопного солнца, лишенного лучей и все же ослепляющего резким, угрюмым светом.

За две недели до пасхи биндюжники привезли на Куликово поле лес. Появились плотники, землекопы, десятники. Во всех направлениях по земле протянулись ленты рулеток. Подрядчики со складными желтыми аршинами в наружных карманах зашагали, отмеривая участки. Это началась постройка пасхальных балаганов.

Для Пети не было большего удовольствия, чем бродить по Куликову полю среди ящичков с большими гвоздями, топоров, пил, бревен, щепы, гадая, где что будет выстроено. Каждый новый ряд вкопанных столбов, каждая новая канава, каждый обмеренный рулеткой и отмеченный колышками участок тревожили воображение.

Разыгравшаяся фантазия рисовала сказочной красоты балаганы, полные чудес и тайн, в то время как рассудительный опыт твердил, что все будет точно таким же, как и в прошлом году. Не хуже, не лучше. Но фантазия не могла примириться с этим — она требовала нового, небывалого. Петя подходил к рабочим, к подрядчикам, терся возле них, желая что-нибудь выпытать:

— Послушайте, вы не знаете, что здесь будет?

— Известно что. Балаган.

— Я знаю, что балаган, а какой?

— Известно какой. Деревянный.

Мальчик притворно хохотал, стараясь подольститься:

— Да я сам знаю, что деревянный. Вот комик! А что в нем будет? Цирк?

— Цирк.

— Как же цирк, когда цирк круглый, а это не круглое?

— Значит, не цирк.

— Может быть, паноптикум?

— Паноптикум.

— Такой маленький?

— Значит, не паноптикум.

— Нет, серьезно, что?

— Нужник.

Багровея от неприличного слова, Петя хохотал еще громче, готовый на все унижения, лишь бы узнать хоть что-нибудь.

— Ха-ха-ха! Нет, серьезно, скажите, что здесь будет?

— Иди, мальчик, иди, тебе здесь не компания. На уроки опоздаешь.

— Я еще не хожу в гимназию. У меня была скарлатина, а потом воспаление легких.

— Так иди и ляжь в постель, чем путаться под ногами. Не морочь людям голову!

И Петя, натянуто улыбаясь, отходил прочь, продолжая ломать голову над неразрешимым вопросом.

Впрочем, было отлично известно: все равно до тех пор, пока балаганы не обтянут сверху холстом и не увешают картинами, ничего нельзя узнать. Это было так же невозможно, как угадать, какого цвета распустится к первому дню пасхи гиацинт из бледной ножки.

В страстную субботу в балаганы привезли в высшей степени таинственные зеленые ящики и сундуки с надписью: «Осторожно». Но в Одессе не было ни одного мальчика, который знал бы, что находится в этих сундуках.

Можно было только предполагать, что это восковые фигуры, волшебные столики фокусников или тяжелые плоские змеи с тусклыми глазами и раздвоенным жалом.

Было также известно, что в одном из этих сундуков находится женщина-русалка с дамским бюстом и чешуйчатым хвостом вместо ног. Но как она там живет без воды? Или, может быть, в сундуке заключена ванна? Или женщина-русалка упакована в мокрую тину? Обо всем этом можно было только догадываться.

Петя сходил с ума от нетерпения, дожидаясь начала ярмарки. Ему казалось, что еще ничего не готово, что все пропало, что вдруг ярмарка в этом году так и не откроется.

Но его опасения оказались напрасны. К первому дню праздника все было готово: картины развешаны, столбы с флагами выбелены, площадь обильно полита из длинных зеленых бочек, которые целый день накануне разъезжали между балаганами, черня сухую землю сверкающими граблями воды.

Одним словом, пасха пришла и расцвела в тот самый день, в который ей и полагалось по календарю.

Утомительно трезвонили колокола, среди взбитых облаков летело свежее солнце. Тетя в белом кружевном платье резала ветчину, отогнув кожу окорока, толстую и круглую, как револьверная кобура.

Сахарные барашки стояли на куличах. Розовый Христос летел, как балерина, на проволочке, подняв бумажную хоругвь. Вокруг зеленой кресс-салатной горки лежали разноцветные крашенки, до глянца натертые коровьим маслом, выпукло отражая вымытые окна.

Кудрявые гиацинты в вазонах, обернутых розовой гофрированной бумагой, исходили удушающе-сладким и вместе с тем смертным, погребальным своим ароматом, таким густым, что казалось: это он курился сиреневыми волокнами в солнечных лучах над пасхальным столом.

Но именно этот первый день пасхи и был для Пети особенно, невыносимо долог и скучен. Дело в том, что на первый день пасхи запрещались все без исключения зрелища и гуляния.

Этот день полиция посвящала богу. Но зато в двенадцать часов следующего — с разрешения начальства — люди начинали веселиться.

Ровно в полдень раздался свисток дежурного околоточного, и посредине Куликова поля на высокой выбеленной мачте развернулся трехцветный флаг.

И тотчас началось нечто невообразимое. Ударили турецкие барабаны полковых оркестров. Грянули шарманки и органчики каруселей. Раздались обезьяньи картавые крики рыжих и фокусников, пронзительно зазывающих публику с выбеленных помостов балаганов. Завертелся стеклярус, понеслись коляски и лошадки.

В головокруглительно голубое, облачное небо ударили утлые кораблики качелей. Всюду настойчиво, без передышки, колотили в небольшие медные колокола и треугольники. Разносчик пронес на голове сверкающий стеклянный кувшин с ледяной крашеной водой, где болталось несколько кружочков лимона, кусок льда и пыльное серебряное солнце.

И рябой солдат-портартурец в косматой черной папахе, проворно скинув сапоги, уже лез, окруженный толпой, по намыленному столбу, на верхушке которого лежали призовая бритва и помазок.

В продолжение семи дней с полудня до заката гремела головокруглительная карусель Куликова поля, наполняя квартиру Бачей разноголосым гамом предместий, пришедших повеселиться.

Целый день, с утра до вечера, Петя проводил на Куликовом поле. Он почему-то был уверен, что непременно встретится здесь с Гавриком. Очень часто, заведя в толпе лиловые бобриковые штаны и морскую фуражечку с якорными пуговицами — так был одет Гаврик в прошлую пасху, — Петя бросался, расталкивая людей, но всегда напрасно.

Что-то общее с Ближними Мельницами было в этом простонародном гулянье, где у многих мужчин оказывались тоненькие железные тросточки, как у Терентия, и у множества девочек — бирюзовые сережки, как у Моти.

Но ожидание обмануло Петю. Кончился последний день ярмарки. Оркестры сыграли последний раз марш «Тоска по родине». Флаг был спущен. Повсюду раздавались трели полицейских свистков. Площадь опустела. Все было кончено до следующей пасхи.

Печальный закат долго и угрюмо горел за нарядными, страшно тихими балаганами, за железными колесами неподвижных перекидок, за пустыми флагштоками.

Лишь изредка среди невыносимо густой тишины пролетевшего праздника раздавались потрясающий утробный рев льва и резкий хохот гиены.

Наутро приехали биндюжники, и через два дня от ярмарки не осталось и следа. Куликово поле опять превратилось в черную, скучную площадь, с которой по целым дням долетали поющие голоса ефрейторов, обучавших солдат.

— Напра-а-а... ва! Ать, два!

— Нале-е-е... оп! Ать, два!

— Кр-р-ру-у... хом! Ать, два!

А дни становились все длиннее, все назаполнимей. И вот однажды Петя отправился на море, в гости к Гаврику.

43

ПАРУС

Дедушка умирал.

И Гаврик, и Мотя, и Мотина мама, и Петя, проводивший теперь почти все время на море,— все знали, что дедушка скоро умрет.

Знал это и сам дедушка. С утра до вечера он лежал на провисшей железной кровати, вынесенной из хибарки на свежий воздух, на теплое апрельское солнце.

Когда Петя в первый раз подошел к нему поздороваться, мальчик был смущен чистотой и прозрачностью дедушкиного лица, светившегося на красной подушке тонкой подкожной лазурью.

Обросшее довольно длинной белой бородой, спокойное и ясное, лицо это поразило Петю своей красотой и важностью. Но самое удивительное и самое жуткое было в нем то, что оно как бы не имело возраста, находилось уже вне времени.

— Здравствуйте, дедушка,— сказал Петя.

Старик повернул глаза с бескровными фиалковыми веками, долго смотрел на гимназистика, но, по-видимому, не узнал.

— Это ж я, Петя, с Канатной, угол Куликова.

Дедушка неподвижно смотрел вдаль.

— Вы ему, дедушка, прошлый год еще грузило из пломбы отливали,— напомнил Гаврик.— Не узнаете?

Тень воспоминания, далекого, как облако, прошла по лицу старика. Он ясно, сознательно улыбнулся, показав десны, и проговорил тихо, но без особого усилия:

— Грузило. Да. Делал. Свинцовое.

И ласково посмотрел на Петю, жуя губами.

— Ничего. Подрос. Иди себе, деточка, иди. Поиграйся на бережку в кремушки. Поиграйся. Только в воду, смотри, не упади.

Вероятно, Петя представлялся ему совсем еще маленьким ребенком, вроде правнучка Женечки, ползавшего тут же в жел-

тых цветах одуванчика. Время от времени старик приподнимал голову, желая полюбоваться своим хозяйством.

После переезда семьи Терентия все здесь стало неузнаваемо.

Можно было подумать, что они привезли с собой сюда кусочек Ближних Мельниц.

Жена Терентия вымазала к пасхе глиняный пол, выбелила хибарку внутри и снаружи.

Помолодевшая хатка весело блестела на солнце вымытыми стеклами, обведенными синькой.

Вокруг нее зеленели готовые распуститься петушки, и в петушках были рассажены Мотины куклы, изображавшие знатных дам, выехавших на дачу.

На веревках сушилось разноцветное белье. Мотя с волосами, как у мальчика, поливала огород, обеими руками прижимая к животу большую лейку. На проволоке между двумя столбами бегала, кисло улыбаясь, собака Рудько. Возле огорода дымилась глиняная печь с вмазанным вместо трубы чугуном без дна. Вкусно пахло придымленным кулешом.

Мотина мама в сборчатой юбке стояла, наклонившись над корытом. Вокруг нее в воздухе плавали мыльные пузыри.

И дедушке иногда казалось, что время повернуло вспять, что ему, дедушке, снова сорок лет. Покойница-бабка только что выбелила хибарку. По одуванчикам ползет внучек Терентий. На крыше лежит мачта, обернутая новеньким, только что купленным парусом.

Вот сейчас дедушка взвалит мачту на плечо, захватит под мышку весла, деревянный руль, зашпаклеванный суриком, и пойдет на бережок снаряжать шаланду.

Но память быстро возвращалась. Старика вдруг начинали одолевать хозяйские заботы. Он с трудом приподнимался на локте и подзывал Гаврика.

— Что вам, дедушка?

Старик долго жевал губами, собираясь с силами.

— Шаланду не унесло? — спрашивал он наконец, и брови его поднимались горестно, домиком.

— Не унесло, дедушка, не унесло. Вы лучше ляжьте.

— Ее смолить надо...

— Засмолю, дедушка, не бойтесь. Ляжьте.

Дедушка покорно ложился, но через минуту подзывал Мотю:

— Ты что там делаешь, деточка?

— Картошку поливаю.

— Умница. Поливай. Не жалей водички. А бурьян вырываешь?

— Вырываю, дедушка.

— А то он скрозь весь огород заглушит. Ну, иди, деточка, отдохни, поиграйся в свои куколки.

Дедушка снова тяжело отваливался на спину.

Но тут начинал лаять Рудько, и старик поворачивал сердитые глаза с нависшими бровями. Ему казалось, что он очень громко, по-хозяйски, кричит на разбаловавшуюся собаку: «А ну, Рудько, цыц! Вот скаженная! На место! Цыц!»

А на самом деле выходило чуть слышно:

— Тсц, ты, тсц...

Но бо́льшую часть времени дедушка неподвижно смотрел вдаль. Там, между двумя прибрежными горками, виднелся голубой треугольник моря со множеством рыбацких парусов. Глядя на них, старик не торопясь разговаривал сам с собой:

— Да, это верно. Ветер любит парус. С парусом совсем не то, что без паруса. Под парусом иди себе куда хочешь. Хочешь, иди в Дофиновку, хочешь — в Люстдорф. Под парусом можно сходить и в Очаков, и в Херсон, и даже в Евпаторию. А без паруса, на одних веслах, это что ж: курям на смех! До Большого Фонтана за четыре часа не догребешь. Да назад четыре часа. Нет, если ты рыбак, то тебе надо парус. А без паруса лучше в море и не выходи. Один только срам. Шаланда без паруса все равно что человек без души. Да.

Все время, не переставая, дедушка думал о парусе.

Дело в том, что как-то ночью на минутку заходил Терентий повидаться с семьей. Он принес детям гостинцев, оставил жене на базар три рубля и сказал, что на днях постарается справиться новый парус.

С этого времени дедушка перестал скучать.

Мечты о новом парусе наполняли его. Он так ясно, так отчетливо видел этот новый парус, как будто бы тот уже стоял перед ним — тугой, суровый, круглый от свежего ветра.

Обессиленный навязчивой мыслью о парусе, дедушка впадал в забытие. Он переставал понимать, где он и что с ним, продолжая только чувствовать.

Сознание, отделявшее его от всего, что было не им, медленно таяло. Он как бы растворялся в окружавшем его мире, превращаясь в запахи, звуки, цвета...

Крутясь вверх и вниз, пролетала бабочка-капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках. И он был одновременно и бабочкой и ее полетом.

Рассыпалась по гальке волна — он был ее свежим шумом. На губах стало солоно от капли, принесенной ветерком, — он был ветерком и солью.

В одуванчиках сидел ребенок — он был этим ребенком, а также этими блестящими цыплячье-желтыми цветами, к которым тянулись детские ручки.

Он был парусом, солнцем, морем... Он был всем.

Но он не дождался паруса.

Однажды утром Петя пришел на море и не нашел возле хибарки старика. На том месте, где обычно стояла его кровать, теперь были устроены козлы, и на них чужой рослый старик с киевским крестиком на черной шее стругал доску.

Длинная стружка, туго завиваясь, штопором лезла из рубанка.

Тут же стояла Мотя в новом, но некрасивом, ни разу не стиранном коленкорovém платье и в тесных ботинках.

— А у нас дедушка сегодня умер,— сказала она, близко подойдя к мальчику.— Хочешь посмотреть?

Девочка взяла Петю за руку холодной рукой и, стараясь не скрипеть ботинками, ввела в мазанку.

Дедушка с выпукло закрытыми глазами и подбородком, подвязанным платком, лежал на той же самой жидкой кровати. Из крупных рук, высоко выложенных на груди поверх иконы св. Николая, торчала желтая свечечка. Сквозь вымытое стекло падал столб такого яркого и горячего солнечного света, что пламени свечки совсем не было видно. Над расплавленной ямкой воска виднелся лишь черный крючок фитилька, окруженный зыбким воздухом, дававшим понять, что свеча горит.

На третий день дедушку похоронили.

Ночью накануне похорон явился Терентий, ничего не знавший о смерти деда. На плече Терентий держал громадный, тяжелый сверток. Это был обещанный парус.

Терентий свалил его в угол и некоторое время стоял перед дедушкой, уже положенным в сосновый некрашенный гроб.

Потом, не перекрестившись, крепко поцеловал старика в твердые, ледяные губы и молча вышел вон.

Гаврик проводил брата берегом до Малого Фонтана. Отдав кое-какие распоряжения относительно похорон, на которые он, конечно, не мог прийти, Терентий пожал младшему брату руку и скрылся.

...Четыре русоусых рыбака несли на плечах дедушку в легком открытом гробу.

Впереди, рядом с мортусом в изодранном мундире, несшим на плече грубый крест, шел чистенький, умытый, аккуратно причесанный Гаврик. Он держал на полотенце громадную глиняную миску с коловом.

Гроб провожали Мотина мама с Женечкой на руках, Мотя, Петя и несколько соседей-рыбаков в праздничных костюмах, всего человек восемь. Но по мере приближения к кладбищу народу за гробом становилось все больше и больше.

Слух о похоронах старого рыбака, избитого в участке, непонятным образом облетел весь берег от Ланжерона до Люстдорфа.

Из приморских переулков целыми семьями и куренями вы-

ходили рыбаки — малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого Берега, — присоединяясь к процессии.

Теперь за нищим гробом дедушки в глубоком молчании шла уже толпа человек в триста.

Был последний день апреля. Собирался дождик. Воробьи, расставив крылья, купались в мягкой пыли переулков. Серое асфальтовое небо стояло над садами. На нем с особенной резкостью выделялась молодая однообразная зелень, вяло повисшая в ожидании дождя.

Во дворах сонно кукарекали петухи. Ни один луч солнца не проникал сквозь плетеные облака, обдававшие духотой.

Возле самого кладбища к рыбакам стали присоединяться мастеровые и железнодорожники Чумки, Сахалинчика, Одессы-Товарной, Молдаванки, Ближних и Дальних Мельниц. Кладбищенский городской с тревожным удивлением смотрел на громадную толпу, валившую в ворота.

Кладбище, как и город, имело главную улицу, соборную площадь, центр, бульвар, предместья. Сама смерть казалась бессильной перед властью богатства. Даже умерев, человек продолжал оставаться богатым или бедным.

Толпа молча прошла по главной улице тенистого города мертвецов, мимо мраморных, гранитных, лабрадоровых фамильных склепов — этих маленьких роскошных вилл, за чугунными оградами которых в черной зелени кипарисов и мирт стояли, опустив крылья, каменные высокомерные ангелы.

Здесь каждым участком земли, купленным за баснословные деньги, по наследству владели династии богачей.

Толпа миновала центр и свернула на менее богатую улицу, где уже не было особняков и мавзолеев. За железными оградами лежали мраморные плиты, окруженные кустами сирени и желтой акации. Дожди смыли позолоту с выбитых имен, и маленькие кладбищенские улитки покрывали серые от времени мраморные доски.

Затем пошли деревянные ограды и дерновые холмики.

Потом — скучные роты голых солдатских могил с крестами, одинаковыми, как винтовки, взятые на караул.

Но даже и этот район кладбища оказался слишком богатым для дедушки. Дедушку зарыли на узкой лужайке, усеянной лиловыми скорлупками пасхальных крашенок, у самой стены, за которой уже двигались фуражки конной полиции. Люди тесным кольцом окружили могилу, куда медленно опускалась на полотенцах легкая лодка нищего гроба.

Всюду Петя видел потупленные лица и большие черные руки, мывшие картузы и фуражки.

Тишина была такой полной и угрюмой, а небо — таким душ-

ным, что мальчику казалось: раздайся хоть один только резкий звук, и в природе произойдет что-то страшное — смерч, ураган, землетрясение...

Но все вокруг было угнетающе тихо.

Мотя, так же как и Петя, подавленная этой тишиной, одной рукой держалась за гимназический пояс мальчика, а другой — за юбку матери, неподвижно глядя, как над могилой вырастает желтый глиняный холм.

Наконец в толпе произошло легкое, почти бесшумное движение. Один за другим, не торопясь и не толкаясь, люди подходили к свежей могиле, крестились, кланялись в пояс и подавали руку сначала Мотиной маме, потом Гаврику.

Гаврик же, дав Пете держать миску, аккуратно и хозяйственно насупившись, выбирал новенькой деревянной ложкой колево — каждому понемногу, чтобы всем досталось, и клал его в протянутые ковшиком руки и в шапки. Люди с бережным уважением, стараясь не уронить ни зернышка, высыпали колево в рот и отходили, уступая место следующему.

Это было все, что могла предложить дедушкина семья друзьям и знакомым, разделявшим ее горе.

Некоторым из подходивших за коловом рыбакам Гаврик говорил с поклоном:

— Кланялся вам Терентий, просил не забывать: завтра часов в двенадцать маевка на своих шаландах против Аркадии.

— Приедем.

Наконец в опустошенной миске осталось всего четыре лиловых мармеладки.

Тогда Гаврик с достоинством поклонился тем, кому не хватило, сказал: «Извиняйте» — и распределил четыре лакомых кусочка между Женечкой, Мотей и Петей, не забыв, однако, и себя. Давая Пете мармеладку, он сказал:

— Ничего. Она хорошая. Братьев Крахмальниковых. Скушай за упокой души. Поедешь завтра с нами на маевку?

— Поеду, — сказал Петя и поклонился могиле в пояс, так же точно, как это делали все другие.

Толпа не спеша разошлась. Кладбище опустело. Где-то далеко, за стеной, слышался одинокий голос, затянувший песню. Ее подхватили хором:

Прощай же, товарищ, ты честно прошел
Свой доблестный путь благородный!

Но тотчас раздался полицейский свисток. Песня прекратилась. Петя услышал шум множества ног, бегущих за стеной. И все стихло.

Несколько капель дождя окропило могилу. Но дождик лишь

подразнил — перестал, не успев начаться. Стало еще более душно, сумрачно.

Мотя с мамой, Гаврик и Петя в последний раз перекрестились и пошли домой. Петя простился с друзьями у Куликова поля.

— Так не забудь, — сказал Гаврик многозначительно.

— Говоришь! — Петя с достоинством кивнул головой.

Затем он, как бы невзначай, подошел к Моте. Унизительно краснея от того, что приходится обращаться с вопросом к девочке, он быстро шепнул:

— Слышь, Мотька, что такое маевка?

Мотя сделала строгое, даже несколько постное лицо и ответила:

— Рабочая пасха.

44

МАЕВКА

Теплый дождик шел всю ночь. Он начался в апреле и кончился в мае. В девятом часу утра ветер унес последние капли.

Море курилось парным туманом, сливаясь с еще не расчищенным небом. Горизонт отсутствовал. Купальни как бы висели в молочном воздухе. Лишь извилистые и глянцевитые отражения свай покачивались на волне цвета бутылочного стекла.

Гаврик и Петя гребли, с наслаждением опуская весла в воду, теплую даже на вид.

Сначала наваливались — кто кого перегребет. Но Пете трудно было тягаться с Гавриком. Маленький рыбак без особого труда одолевал гимназистика, и лодка все время крутилась.

— А ну, хлопцы, не валяйте дурака! — покрикивал Терентий, сидевший на корме, играя своей железной палочкой. — Шаланду перекинете!

Мальчики перестали тягаться, но сейчас же придумали новую игру — кто меньше брызнет.

До сих пор брызгали довольно мало. Но едва только начали стараться, брызги, как нарочно, так и полетели из-под весел. Тогда мальчики стали толкать друг друга плечами и локтями.

— Уйди, босявка! — кричал Петя, заливаясь хохотом.

— От босявки слышу! — бормотал Гаврик, поджав губы, и вдруг нечаянно пустил из-под весла такой фонтан, что Терентий едва успел спастись, сев на дне.

Оба мальчика задохнулись от смеха, у Пети изо рта пошли даже пузыри.

— Что ж ты брызгаешься, чертяка?

— А ты не каркай под руку!

Терентий хотел было не на шутку рассердиться, но тут и его самого разобрало неудержимое, мальчишеское веселье. Он сделал зверское лицо, схватился руками за оба борта и стал изо всех сил качать шаланду.

Мальчики повалились друг на друга, стукнулись головами, заорали благим матом. Потом принялись бешено колотить веслами по воде, окатывая Терентия с двух сторон целыми снопами брызг.

Терентий не остался в долгу: он проворно сунулся к воде, отворотил зажмуренное лицо и, молниеносно работая ладонями, стал обливать мальчиков. Через минуту все трое оказались мокрыми с ног до головы. Тогда они, хохоча и отдуваясь, повалились на банки и в изнеможении застонали.

Ветерок уносил туман. Из воды в глаза ударило солнце, словно под лодку вдруг подставили зеркало.

Берег проявлялся из мути, как переводная картинка.

Яркий майский день заиграл всеми своими голубыми, сиреневыми и зелеными красками.

— Ну, побаловались, и будет,— строго сказал Терентий, вытирая рукавом мокрый лоб с белым атласным шрамом.— Пошли дальше.

Мальчики стали серьезны и налегли на весла.

Петя старательно сопел, высунув язык. Правду сказать, он немного уже устал. Но он ни за что не сознался бы в этом перед Гавриком.

Кроме того, мальчика сильно беспокоил вопрос: маевка это уже или еще не маевка? Однако ему не хотелось спрашивать, чтобы опять не оказаться в дураках, как тогда с Ближними Мельницами.

Мотя сказала, что маевка — это рабочая пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается. Ведь пасха-то не просто пасха, а рабочая.

Все же в конце концов мальчик не выдержал.

— Послушайте,— сказал он Терентию,— это уже самая маевка или еще нет?

— Еще не маевка.

— А когда она будет? Скоро?

Сказав это, Петя тотчас приготовил преувеличенно веселую, льстивую улыбку.

На основании долголетнего опыта разговоров со взрослыми он знал, что сейчас ему ответят: «Как начнется, так и будет». — «А когда начнется?» — «Как будет, так и начнется».

Но, к Петиному удивлению, Терентий ответил ему совершенно как взрослому:

— Сначала подъедем до Малого Фонтана — заберем одного человека, а там и маевку будем начинать.

Действительно, на Малом Фонтане в шаланду прыгнул франтоватый господин с тросточкой и веревочной кошелкой. Он со всего маху сел рядом с Терентием, воровато оглянулся на берег и сказал:

— Навались. Поехали.

Это был матрос.

Но боже мой, как он был наряден!

Мальчики смотрели на него с полуоткрытыми ртами, восхищенные и подавленные его неожиданным великолепием. Они до сих пор даже не предполагали, что человек может быть так прекрасен.

Мало того, что на нем были кремовые брюки, зеленые носки и ослепительно белые парусиновые туфли.

Мало того, что из кармана синего пиджака высовывался алый шелковый платок и в галстук рисунка «павлиний глаз» сверкала сапфировая подковка.

Мало того, что на груди коробком стояла крахмальная манишка, а щеки подпирал высокий крахмальный воротник с углами, отогнутыми, как у визитной карточки.

Наконец, мало того, что твердая соломенная шляпа «канотье» с полосатой лентой франтовски сидела на затылке.

Всего этого было еще мало.

На животе у него болталась цепочка со множеством брелочков, а на изящно растопыренных руках красовались серые матерчатые перчатки. И это окончательно добивало.

Если до сих пор для мальчиков еще не вполне был выяснен вопрос, кто роскошнее всех на свете — писаря или квасники, то теперь об этом смешно было думать. Можно было смело — не глядя! — отдать всех квасников и всех писарей за одни только закрученные усики матроса.

Мальчики даже грести перестали, заглядевшись на франта.

— Ой, Петька! — воскликнул Гаврик. — Смотри, у него перчатки!

Матрос сплюнул сквозь зубы так далеко, как мальчики никогда даже и во сне не плевали, и, сердито посмотрев на Гаврика, сказал:

— А кому это надо, чтобы каждый-всякий клал глаза на мой якорь? Я на него чехол надел. Ну, братишечки, будет дурака валять.

Матрос вдруг приосанился, закрутил усы, чертом посмотрел на Терентия, подыхавшего со смеху, и гаркнул:

— Эй, на катере! Слушать мою команду! Весла-а-а... на воду! Ать! Ать! — запел он, представляя боцмана. — Правое табань, левое навались! Ать!.. Ать!..

Мальчики навалились. Лодка повернула в открытое море, горевшее впереди серебряным пламенем полудня.

Там, в полуверсте от берега, виднелось скопление рыбачьих шаланд.

Жгучее чувство радостного страха охватило Петю.

С таким же точно чувством он в первый раз шел за Гавриком осенью по оцепленным кварталам города.

Но тогда мальчики были одни. Теперь же с ними находились могущественные и таинственные взрослые, которые даже и виду не подавали, что когда-нибудь прежде видели Петю.

А между тем мальчик понимал, что они его прекрасно помнят и знают. Матрос даже один раз подмигнул Пете, как бы желая сказать: ничего, брат, живем!

Со своей стороны, Петя тоже делал вид, что в первый раз в жизни видит матроса.

И это было весело, хотя и жутковато. Вообще у всех в лодке настроение было приподнятое, взвинченное, какое-то чересчур радостное.

Скоро шаланда очутилась среди множества других рыбачьих шаланд, болтавшихся на одном месте против Аркадии, как это и было условлено заранее.

Целая флотилия разноцветных лодок окружила старую, облезшую посудину покойного дедушки.

Все рыбаки, шедшие вчера за гробом старика — малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого Берега, — собрались сегодня здесь. Пришли некоторые дальние — люстдорфские и дофиновские. Затесался даже один очаковский.

Все были между собой хорошо знакомы — друзья и соседи.

Пользуясь случаем, рыбаки переговаривались, свесивши руки и чубы за борт. Гам стоял, как на привозе. Каждую новую шаланду встречали криками, брызгами, плеском весел.

Едва дедушкина шаланда, стучаясь о борты, въехала в круг, где уже плавало несколько пустых бутылок из-под пива «Санценбахера», как со всех сторон слышались восклицания:

— Здорóво, Терентий!

— Осторожно! Не потопи наши калоши своим броненосцем!

— Эй, босяки, пропустите главного политического!

— Тереха! Дорогой друг! И где это ты поймал такого молодого человека? Нет спасенья — жилет пике, бламанже, парле франсе!..

Терентий надул толстые щеки и с застенчивой важностью раскланивался на все стороны, размахивая картузиком с пуговичкой.

— Все на одного! — кричал он тонким голосом. — Бейте хоть не сразу, а по очереди. Здоров, Федя! Здоров, Степан! Здоров,

дедушка Василий! О! Митя! Живой-здоровый! А я думал — тебя тута уже давно малофонтанские бычки съели! Ну, сколько вас на фунт сушеных? Саша! Выходи на левую!

Огрызаясь таким образом от наседавших на него старых друзей-товарищей, Терентий жмурился и улыбался, растянув рот до ушей. Он с удовольствием посматривал вокруг, читая вслух названия лодок, окружавших его.

— «Соня», еще одна «Соня», и еще «Соня», и опять «Соня», и «Соня» с Люстдорфа, и еще три «Сони» с Ланжерона! Вот это да! Восемь Соней, один я! «Надя», «Вера», «Люба», «Шура», «Мотя»... Ой, мамочка-мама! Куда мы заехали? Вертай назад! — кричал он, с притворным ужасом закрывая картузиком лицо.

Кроме этих шаланд, было еще штуки четыре «Оль», штук шесть «Наташ», не меньше двенадцати «Трех святителей» и еще одна большая очаковская шаланда с несколько странным, но завлекательным названием: «Ай, Пушкин молодец».

Когда водворилась тишина и порядок, Терентий ткнул матроса локтем:

— Начинай, Родя.

Матрос не спеша снял шляпу, положил ее на колени и крошечным гребешком расчесал усики. Затем он встал и, расставив для устойчивости ноги, произнес ясно и громко, так, чтобы его слышали все:

— Здравствуйте, товарищи одесские рыбаки! С Первым вас мая!

Лицо его сразу сделалось скуластым, курносым, решительным.

— Тут мне слышалось, кому-то было интересно узнать, что я за такой сюда к вам приехал — интересный господинчик в перчаточках и в крахмалке, парле франсе. На это могу вам ответить, что я есть член Российской социал-демократической рабочей партии, фракции большевиков, посланный сюда к вам от Одесского объединенного комитета. И я есть такой же самый рабочий человек и моряк, как вы здесь все. А что касается крахмале жилет-пике, белые брючки, то на этот вопрос тоже могу я вам с удовольствием ответить одним вопросом. Вот вы все здесь одесские рыбаки и, наверное, знаете. Почему, скажите вы мне, рыба скумбрия носит на себе такую красивую голубую шкуру с синими полосками, вроде муаровыми? Не знаете? Так я вам могу свободно это объяснить. Чтоб тую скумбрию незаметно было в нашем голубом Черном море и чтоб она не так скоро споймалась на ваш рыбацкий самодур. Ясно?

На шаландах слышался смех. Матрос подмигнул, потрянул головой и сказал:

— Так вот я есть тая же самая рыба, которая специально одевается в такую шкуру, чтоб ее не сразу было заметно.

На шаландах засмеялись еще пуще:

— Добрая рыба!

— Целый дельфин!

— А не страшно тебе попасть один какой-нибудь раз на крючок?

Матрос подождал, когда кончатся возгласы, и заметил:

— А ну, споймай меня. Я скользкий.

Затем он продолжал:

— Вот я смотрю вокруг, товарищи, и думаю про нашу воду и землю. Солнышко светит. В море до черта всякой рыбы. На полях до черта пшеницы. В садах разная фрукта: яблук, аберкосы, вишня, черешня, груша. Растет виноград. На степу кони, волю, коровы, овечки. В земле золото, серебро, железо, всякие-разные металлы. Живи — не хочу. Кажется, на всех хватает. Кажется, все люди свободно могут быть довольные и счастливые. Так что же вы думаете? Нет! Всюду непременно есть богатые, которые совсем не работают, а забирают себе все, и всюду есть бедные, нищие люди, которые работают день и ночь, как проклятые, и не имеют с этого ни черта! Как же это так получается? Могу вам на это ответить: очень просто. Возьмем рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идет на привоз. И сколько ж ему, например, дают на привозе за сотню бычков? Тридцать — сорок копеек!

Матрос остановился и посмотрел вокруг.

— Еще спасибо, если дадут тридцать, — сказал похожий на дедушку старик, прилегший на носу неуклюжей шаланды «Дельфин». — Я позавчера принес четыре сотни, а она мне больше как по двадцать пять не хочет платить, хоть ты что! И тут же их сама продает по восемь гривен.

Все оживились. Матрос попал в самое больное место. Каждый старался высказать свои обиды. Кто жаловался, что без паруса не жизнь. Кто кричал, что привоз держит за горло.

Пока взрослые шумели, мальчики тоже не зевали. Некоторые рыбаки взяли с собой на маевку детей. В шаландах сидели благонравные девочки в новеньких коленкорových платьицах и босые, насупившиеся мальчики с солнечными лишаями на абрикосовых щечках. Они были в сатиновых косоворотках и рыбацких фуражечках с якорными пуговицами. Разумеется, все — друзья-товарищи Гаврика.

Конечно, дети не отставали от взрослых.

Они тотчас начали задираться, и не прошло двух минут, как разгорелся настоящий морской бой, причем Гаврику досталось по мордедохлым бычком, а Петя уронил в воду фуражку, и она чуть было не утонула.

Поднялась такая возня и полетели такие брызги, что Терентию пришлось крикнуть:

— А ну, хватит баловаться, а то всем уши пообрываю!

А матрос, перекрывая шум, продолжал:

— Значит, выходит, что у нас буржуи отнимают три четверти нашего труда. А мы что? Как только мы подыдем голову, так они нас сейчас шашкой по черепу — трах! Бьют еще нас, товарищи, сильно бьют. Подняли мы красный флаг на «Потемкине» — не удержали в руках. Сделали восстание — то же самое. Сколько нашей рабочей крови пролилось по всей России — страшно подумать! Сколько нашего брата погибло на виселицах, в царских застенках, в охранках! Говорить вам об этом не приходится, сами знаете. Вчерась, кажется, хоронили вы одного своего хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье внуков и правнуков. Перестало биться его старое благородное рабочее сердце. Отошла его дорогая нам всем душа. Где она, тая душа? Нет ее и никогда уже не будет... А может быть, она сейчас летает над нами, как чайка, и радуется на нас, что мы не оставляем своего дела и собираемся еще и еще раз драться за свою свободу до тех пор, пока окончательно не свергнем со своей спины ненавистную власть...

Матрос замолчал и стал вытирать платочком вспотевший лоб. Ветер играл красным шелковым лоскутком, как маленьким знаменем.

Полная, глубокая тишина стояла над шаландами.

А с берега уже доносились тревожные свистки городских. Матрос посмотрел туда и мигнул:

— Друзья наши забеспокоились. Ничего. Свисти, свисти! Может, что-нибудь и высвистишь, шкура!

Он злобно согнул руку и выставил локоть в сторону берега, усеянного нарядными зонтиками и панاماми.

— На, укуси!

И сейчас же красавец Федя, развалившийся на корме своей великолепной шаланды «Надя и Вера», заиграл на гармонике марш «Тоска по родине».

Откуда ни возьмись, на всех шаландах появились крашенки, таранька, хлеб, бутылки.

Матрос полез в свою кошелку, достал закуску и разделил ее поровну между всеми в лодке. Пете достались превосходная сухая таранька, два монастырских бублика и лиловое яйцо.

Маевка и вправду оказалась веселой рабочей пасхой.

Городовые, свистя, бегали по берегу. Шаланды стали разъезжаться в разные стороны.

Гипсовые головы облаков поднимались из-за горизонта.

Федя повернул лицо к небу, уронил руку за борт и чистым и сильным тенором запел известную матросскую песню:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.

Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от грешной земли!

Сверкали весла. Песня уплывала.

— Товарищ, нет силы мне вахту держать,—
Сказал кочегар кочегару...

Песня уже еле слышалась.

Тогда матрос скомандовал мальчикам:

— Весла-а-а... на́ воду!.. Ать-ать! Ать!

И, хлопнув Терентия по спине, закричал:

Черное море,
Белый пароход.
Плавает мой милый
Уж четвертый год.

Ну, босяки! Что же вы не помогаете?

И Терентий и оба мальчика весело подхватили:

Ты не плачь, Маруся,
Будешь ты моя.
Я к тебе вернусь,
Возьму за себя!

Белая чайка на неподвижно раскинутых крыльях бесшумно скользнула над самой шаландой. Казалось, она схватила на лету веселую песенку и унесла ее в коралловом клюве, как трепещущую серебряную рыбку.

Мальчики долго смотрели вслед птице, думая, что, может быть, это белоснежная дедушкина душа прилетела посмотреть на свою шаланду и на своих внуков.

Маевка кончилась.

Но к берегу пристали не скоро — часа два еще кружились в море, выжидая удобного момента.

Сначала высадили Терентия возле Золотого Берега, а потом отвезли матроса на Ланжерон.

Прежде чем сойти на берег, матрос долго осматривался по сторонам. Наконец он махнул рукой: «Ничего. Авось-небось, как-нибудь...», подхватил под мышку свою щегольскую тросточку с мельхиоровой ручкой в виде лошадиной головы и выпрыгнул из шаланды.

— Спасибо, хлопчики! — пробормотал он поспешно. — До приятного свидания.

И с этими словами исчез в толпе гуляющих.

Петя вернулся домой к обеду, с пузырями на ладонях и красным, за один день обгоревшим лицом.



ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Прошла неделя.

За это время Петя ни разу не побывал на море. Он был занят приготовлениями к отъезду в экономию. Приходилось то с папой, то с тетей отправляться в город за покупками.

Все вокруг было уже летнее.

Одесский май ничем не отличается от июня. Город изнемогал от двадцатипятиградусной жары. Над балконами и магазинами были спущены косые полосатые маркизы с красными фестонами. На них лежала резкая тень начинающих цвести акаций.

Собаки бегали с высунутыми языками, разыскивая воду. Между домами вдруг открывалось пламенное море. В «центре» за зелеными столиками под большими полотняными зонтами сидели менялы и цветочницы.

Каблуки вязли в размягченном асфальте. В адских котлах повсюду варилась смола.

О, какое это было наслаждение — целый день ходить по магазинам, делая веселые дачные покупки: серсо, сандалии, марлевые сетки для ловли бабочек, удочки, мячи, фейерверк... и потом с легкими пакетами странной формы возвращаться домой на летней, открытой конке!

Петино тело еще томилось в знойном городе, но нетерпеливая душа, залетев далеко вперед, уже ехала на пароходе, насквозь прохваченная голубым ветром путешествия.

Но однажды рано утром во дворе раздался знакомый свист. Мальчик подбежал к окну и увидел посредине двора Гаврика.

Через минуту Петя очутился внизу. У Гаврика был необыкновенно озабоченный вид. Его сероватое лицо, решительно поджатые губы и слишком блестящие глаза говорили о том, что произошло какое-то несчастье.

Сердце у Пети сжалось.

— Ну,— против воли понижая голос до шепота, спросил он,— что?

Гаврик, насупившись, отвернулся:

— Ничего. Хочешь идти с нами на шаланде?

— Когда?

— А сейчас. Я, Мотька и ты. Под парусом.

— Брешешь?

— Собака брешет.

— Под парусом?

— Плюнешь мне в глаза.

— Кататься?

— Пускай кататься. Хочешь?

— Спрашиваешь!

— Тогда — быстро!

Идти на шаланде под парусом!

Нечего и говорить, что Петя даже не сбегал домой за фуражкой. Через десять минут мальчики были уже на берегу.

Шаланда со вставленной мачтой и свернутым парусом, до половины выдвинутая в море, покачивалась на легкой волне.

Босая Мотя возилась на дне лодки, укладывая в ящик под кормой дубовый бочоночек с водой и буханку житного хлеба.

— Петька, берись! — сказал Гаврик, упираясь плечом в корму.

Мальчики навалились и, без особого труда столкнув шаланду, вскочили в нее уже на ходу.

— Поехали!

Гаврик ловко развязал и поднял новый четырехугольный парус. Слабый ветерок медленно его наполнил. Шаланду потянуло боком. Став коленями на корму, Гаврик с усилием надел тяжелый руль и набил на него румпель.

Почувствовав руль, шаланда пошла прямее.

— Побережись!

Петя едва успел присесть на корточки и нагнуться.

Повернутый встречным гик грузно перешел над самой головой слева направо, открыв сияющее море и закрыв глинистый берег, где по колено в бурьяне и дикой петрушке стояла Мотина мама, приложив руку к глазам.

Гаврик нажал на румпель и навалился на него спиной. Мачта слегка наклонилась. Вода звучно зажурчала по борту. Подскакивая и хлопая плоским дном по волне, шаланда вышла в открытое море и пошла вдоль берега.

— Куда мы едем? — спросил Петя.

— Увидишь.

— А далеко?

— Узнаешь.

В глазах у Гаврика опять появился тот же недобрый, сосредоточенный блеск.

Петя посмотрел на Мотю. Девочка сидела на носу, свесив босые ноги за борт, и неподвижно смотрела вперед. Ее щеки были строго втянуты, и ветер трепал волосы, еще недостаточно отросшие, чтобы заплести их в косичку.

Некоторое время все молчали.

Вдруг Гаврик полез в карман и вытащил довольно большие часы черной вороненой стали. Он с важностью приложил их к уху, послушал, как они тикают, и затем не без труда отколупнул крышку мраморным ногтем со множеством белых пятнышек, как известно приносящих человеку счастье.

Если бы Гаврик вытащил из кармана живую гадюку или

горсть драгоценных камней, то и тогда Петя был бы удивлен меньше.

Собственные карманные часы! Это было почти то же самое, что собственный велосипед или собственное монтекристо. Даже, может быть, больше. У Пети захватило дух. Он не верил своим глазам. Он был подавлен.

А Гаврик между тем принялся сосредоточенно отсчитывать указательным пальцем цифры, шепча себе под нос:

— Один час, два, три, чечире, пять... Девять и еще трошки. Ничего. Поспеем.

— Покажи! — закричал Петя вне себя от изумления.

— Не лапай, не купишь.

— Это твои?

— Не.— И, притянув Петю за рукав, Гаврик таинственно шепнул ему: — Казенные. С комитета. Понятно?

— Понятно,— прошептал Петя, хотя ему совершенно ничего не было понятно.

— Слухай здесь,— продолжал Гаврик, искоса поглядывая на Мотю.— Матроса нашего поймали. Чуешь? Он теперь сидит в тюрьме. Шестой день. Его после той самой маевки прямо на Ланжероне схватили. Только у него, понятно, документ на другую фамилию. Пока ничего. Ну только если те драконы его откроют, то молись богу, ставь черный крест — сейчас же и повесят. Чуешь? А они его могут открыть каждую минуту. Снимут с него усы. Найдут какого-нибудь Иуду, сделают очную и откроют. Теперь чуешь, какое выходит некрасивое дело?

— Врешь! — испуганно воскликнул Петя.

— Раз я тебе говорю — значит, знаю. Теперь слухай здесь опять. Пока он сидит там еще не открытый, ему на воле подстраивают убежать. Комитет подстраивает. Сегодня как раз в десять с половиной ровным счетом он будет бежать с тюрьмы прямо на Большой Фонтан, а отсюда на нашей шаланде под парусом обратно в Румынию. Теперь чуешь, куда мы идем? На Большой Фонтан. Шаланду переправляем. А часы мне Терентий из комитета принес, чтобы не было опоздания.

Гаврик снова достал часы и начал на них старательно смотреть:

— Без чуточки десять. Успеем в самый раз.

— Как же он убежит? — прошептал Петя.— Его же там сторожат тюремщики и часовые?

— Неважно. У него как раз в десять и с половиной прогулка. Выводят погулять на тюремный двор. Ему только надо перебежать через огороды, а на малофонтанской дороге его уже Терентий дожидается с извозчиком. И — ходу прямо к шаланде. Чуешь?

— Чую. А как же он перелезет через тюремную стену?

Она же высокая. Во какая! До второго этажа. Пока он будет лезть, они его застрелят из винтовки.

Гаврик сморщился, как от оскотины:

— Та не! Ты слухай здесь. Зачем ему лезть через стенку? Стенку Терентий подорвет.

— Как это — подорвет?

— Чудак! Говорю — подорвет. Сделает в ней пролом. Ночью под нее один человек с комитета — товарищ Синичкин — подложил танамид, а сегодня в десять и с половиной утра, аккурат как начнется у нашего матроса прогулка, Терентий с той стороны подпалит фитиль и — ходу к извозчику. И будем ждать. Танамид ка-ак бабахнет...

Петя строго посмотрел на Гаврика:

— Что бабахнет?

— Танамид.

— Как?

— Танамид, — не совсем уверенно повторил Гаврик, — который взрывает. А что?

— Не танамид, а динамит! — наставительно сказал Петя.

— Нехай динамит. Неважно, лишь бы стенку проломало.

Петя сейчас только вдруг понял как следует значение Гавриковых слов. Он почувствовал, что его спина покрывается «гусиной кожей».

Темными большими глазами он посмотрел на друга:

— Дай честное благородное слово, что правда.

— Честное благородное.

— Перекрестись.

— Святой истинный крест на церкву.

Гаврик истово и быстро перекрестился на монастырские купола Большого Фонтана. Но Петя верил ему и без этого. Креститься заставил больше для порядка. Петя всей своей душой чувствовал, что это правда.

Гаврик опустил парус. Шаланда стукнулась о маленькие лодочные мостки. Берег был пуст и дик.

— У тебя платочка нема? — спросил Гаврик Петю.

— Есть.

— Покажь!

Петя достал из кармана носовой платок, при виде которого тетя, наверно, упала бы в обморок.

Но Гаврик остался вполне доволен. Он серьезно и важно кивнул головой:

— Годится. Сховай.

Затем он посмотрел на часы. Было «десять и еще самые трошки».

— Я останусь в шаланде, — сказал Гаврик, — а ты и Мотька бежите наверх и стойте в переулочке. Будете их встречать. Как

только они подъедут, замахайте платочком, чтоб я подымал парус. Соображаешь, Петька?

— Соображаю... А если их часовой подстрелит?

— Прوماхнется,— с уверенностью сказал Гаврик и сурово усмехнулся.— Часовой как раз с Дофиновки, знакомый. Бежи, Петька. Как только их заметишь, так сразу начинай махать. Сможешь?

— Спрашиваешь!

Петя и Мотя вылезли из шаланды и побежали наверх.

Здесь, как и на всем побережье от Люстдорфа до Ланжерона, детям была знакома каждая дорожка. Продираясь сквозь цветущие кусты одичавшей сирени, мальчик и девочка взобрались на высокий обрыв и остановились в переулочке между двумя дачами.

Отсюда было видно и шоссе и море.

Далеко внизу маленькая шаланда покачивалась возле совсем маленьких мостков. А самого Гаврика было еле видно.

— Мотька, слушай здесь,— сказал Петя, осмотревшись по сторонам.— Я влезу на шелковицу — оттуда дальше видно,— а ты ходи по переулку и тоже хорошенько смотри. Кто раньше заметит.

По правде сказать, на шелковицу можно было и не лазить, так как снизу тоже все было прекрасно видно. Но Петя уже почувствовал себя начальником. Ему хотелось совершать поступки и командовать.

Мальчик разбежался и, крихтя, вскарабкался на дерево, сразу же разорвав на коленях штаны. Но это не только его не смутило, а, наоборот, сделало еще более суровым и гордым.

Он уселся верхом на ветке и нахмурился.

— Ну? Чего ж ты стоишь? Ходи!

— Сейчас.

Девочка посмотрела на Петю снизу вверх испуганными, преданными глазами, обеими руками обдернула юбочку и чинно пошла по переулку к дороге.

— Стой! Подожди!

Мотя остановилась.

— Слушай здесь. Как только их увидишь, сейчас же кричи мне. А как только я увижу — буду кричать тебе. Хочешь?

— Хочу,— тоненьким голоском сказала девочка.

— Ну, ступай.

Мотя повернулась и пошла в густой тени зеленовато-молочных, вот-вот готовых распуститься акаций, оставляя в пыли маленькие следы босых пяток.

Она дошла до угла, постояла там и вернулась обратно.

— Еще не едут. А у вас?

— И у меня еще не едут. Ходи дальше.

Девочка снова отправилась до угла и снова вернулась, сообщив, что у нее еще не едут.

— И у меня не едут. Ходи еще.

Сначала мальчику очень нравилась эта игра.

Необыкновенно приятно было сидеть высоко на дереве, с напряжением вглядываясь в конец переулка — не покажется ли мчащийся извозчик.

О, как ясно представлял он себе взмыленную лошадь и кучера, размахивающего над головой свистящим кнутом! Экипаж подлетает. Из него выскакивают с револьверами в руках Терентий и матрос. За ними бегут тюремщики. Терентий и матрос отстреливаются. Тюремщики один за другим падают убитые. Петя изо всех сил машет платком, кричит, ловко прыгает с дерева и мчится, обгоняя всех, к лодке — помогать ставить парус. А Мотья только сейчас догадалась, что это приехали они. Ничего не поделаешь: девчонка.

...Но время шло, а никого не было. Становилось скучновато.

Пете надоело смотреть на ослепительно белое шоссе — то катила карета с английским кучером, одетым, как Евгений Онегин, то с громом проезжала фура с искусственным льдом. Тогда становилось особенно жарко и особенно сильно хотелось пить.

Мальчик уже давно успел рассмотреть во всех подробностях соседнюю дачу: ярко-зеленые газоны, гравий на дорожках, туи, статую, испещренную лиловыми кляксами тени, вазу, из которой ниспадали длинные, острые листья алоэ, и художника, пишущего пейзаж.

Художник, с закрученными усиками и эспаньолкой, в бархатном берете, сидел под зонтиком на складном полотняном стульчике и, откинувшись, ударял длинной кистью по холсту на мольберте.

Ударит и полюбуется, ударит и полюбуется.

А на оттопыренный большой палец левой руки надета палитра — эта гораздо более красивая, чем сама картина, овальная дощечка, на которой в безумном, но волшебном беспорядке смешаны все краски, все оттенки моря, неба, глины, сирени, травы, облаков, шаланды...

...А между тем уже давно подъехал пыльный извозчик, и по переулку медленно шли два человека. Впереди них бежала Мотя, крича:

— У меня уже приехали! Махайте, махайте!

Петя чуть не свалился с дерева. Он вырвал из кармана платок и стал отчаянно крутить им над головой.

Шаланда закачалась сильнее, и Петя увидел, что Гаврик прыгает и машет руками.

Под шелковицей, на которой сидел Петя, прошли Терентий

и матрос. По их пламенно-красным лицам струился пот. Мальчик слышал их тяжелое дыхание.

Матрос шел без шапки, сильно хромя. Его щегольские кремовые брюки — те самые, в которых Петя видел его в последний раз, на маевке, — были порваны и выпачканы кирпичным порошком. Грязная полуоторванная манишка обнажала выпуклую, блестящую от пота грудь. Сжатые кулаки были как бы опутаны голубыми веревками жил. Усики висели. На обросшем лице сильно выдавались скулы. Глаза сухо искрились. Горло двигалось.

— Здравствуйте, дядя! — крикнул Петя.

Терентий и матрос посмотрели на мальчика и усмехнулись.

Пете показалось даже, что матрос подмигнул ему. Но они уже бежали вниз, оставляя за собой облако пыли.

— А я первая увидела, ага! — сказала Мотя.

Петя слез с дерева, делая вид, что не слышит.

Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на шаланду, подымавшую парус.

Они видели, как маленькая фигурка матроса прыгнула в лодку. Парус надулся. Его стало относить от берега, как лепесток. Теперь на опустевших мостках стояли только Терентий и Гаврик. Через минуту Терентий исчез.

Остался один Гаврик. Он махнул Пете и Моте рукой и стал не торопясь подниматься по обрыву.

Шаланда, подпрыгивая и разбивая волну, быстро уходила в открытое море, ярко синевшее крепкой зыбью.

— Поехал один, — сказал Петя.

— Ничего. Мы ему хлеба положили. Целую буханку. И восемь таранек.

Скоро к Пете и Моте присоединился Гаврик.

— Слава богу, отправили, — сказал он, перекрестившись. — А то прямо наказание.

— А как же шаланда? — спросил Петя. — Так теперь и пропала?

— Шаланда пропала, — сумрачно сказал Гаврик, почесав макушку.

— Как же вы будете без шаланды?

— Не дрейфь. Не пропадем как-нибудь.

Торопиться было некуда. Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника. Теперь почти уже весь пейзаж был готов. Затаив дыхание они засмотрелись, очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира, совсем другого, чем на самом деле, и вместе с тем как две капли воды похожего на настоящий.

— Море есть, а шаланды нету, — шепнула Мотя, как бы нечаянно положив руку на Петино плечо, и тихонько хихикнула.

Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую.

— Парус! — восхищенно вздохнула Мотя.

Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Все — как там. Даже парус.

И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море, в туманной голубизне которого таял маленький парус дедушкиной шаланды, легкий и воздушный, как чайка.

...Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

1936 г.

Константин
ПАУСТОВСКИЙ

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ
КАРА-БУГАЗ



СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды».

Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли.

Приводили их шведские шкипера — неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся снастях и слышали шум ветра в толстых реях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.

Время было неясное и беспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпigramму:

Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменяв на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заяка Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутаой на плечи шинели и кричал заякаясь:

— Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у зайки был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу — это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.

В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

— Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрас-груд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож — старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

— Ты не бранись, дед! — кричал Тихонов простуженным голосом. — Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

— Эх, беда, беда! — говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирав сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

— Понимаешь, значит? — спрашивал Тихонов. — Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу — об том один господь бог ведает да его высокородие полковник Киселев.

— О-о-о! — говорил швед.

— Вот то-то что «о-о-о»! — сердито отвечал Тихонов. — Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек — прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали прапорщику жена старика, седая старушка, и дочь Анна — темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах, как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и все вечера напролет читала.

— Бестужев... — прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине. — О-о-о! Бестужев!

— Верно, дед, — сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. — Ничего не скажешь, наш полуротный — душа человек!

Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

— Ну и мóрок, упаси господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

— Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую Библию.

— Слуша-а-ай! — протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и точно прислушивался. Трескался лед, снег шуршал о каменную стену сторожки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. Вдруг в наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду, солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

— Стой! Кто идет? — негромко окликнул Тихонов.

Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

— Стой! — снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

— Кто такие? — спросил он сурово. — Отвечай без утайки.

— погоди, служивый, — сказал из темноты усталый голос. — Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

— Офицер? — спросил он шепотом.

— Офицер.

— А ты кто?

— Я матрос.

— Есть приказание, — сказал вполголоса Тихонов, — задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

— Замерзает человек! — сказал с отчаянием матрос. — Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул Библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, как обычно что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

— Солдат? — спросил он и схватился рукой за грудь. — Куда мы вышли, служивый?

— Аландские острова, ваше благородие, — ответил Тихонов. — Разрешите спросить — откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

— Идем мы, — ответил он медленно, — из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

— Так точно, понял, ваше благородие.

— Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

— Ну? — спросил офицер.

— Ваше благородие, — умоляюще сказал Тихонов, — здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдет.

— Что вам известно?

— Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

— Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

— Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

— Эх, беда, беда! — сказал он, ворочая в печке дрова.— Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

— Свободно,— ответил матрос.— Их в Неве сколько утопили, москвитцев,— не счесть!

— Слушай, солдат...— сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

— Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай — тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

— Понял, ваше благородие,— глухо сказал Тихонов.— Что ни делай, а правду в кандалы не забьешь.

Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

— Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

— Поесть бы вам надо, Николай Иванович,— сказал матрос.— Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

— Стой, ваше благородие! — закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся.

Матрос схватил Тихонова за руки.

— Пусти! — крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

— Возьми, ваше благородие,— сказал он, задыхаясь, и сунул хлеб и сало офицеру.— Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

— Что ты, что ты! — растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова.— Разве можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

— Ну, прощай, служба!.. Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мямл рукой небритую щеку.

Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к

губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал, — очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним — второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:

— Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сенях за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

— Ввести их! — крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и оттолкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

— Кто вы такой? — повторил Киселев.

— Я сын своего несчастного отечества, — сказал офицер. — Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

— Вы бунтовщик, сударь, — сказал ласково Мерк. — Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

— Пусть будет так, — ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

— Скотина! — сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

— Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенгов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой то-

ненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну...

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна — вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей, — скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

— Смотрите, — сказала она, — может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые, переставшие смеяться глаза.

— Анна, — сказал Бестужев, — могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.

— Да, — сказала она и закрыла глаза. — Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

— Почему?

— Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную варежку и по-

целовал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела ему в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря — так желты были его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Подруга смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой — так улыбаются люди, наблюдая чужое счастье.

Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них — самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем, — стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением ее отца, обязательно женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.

Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже давно — со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першила горло. Игроки понтировали, молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и лишь кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

— Анна, что случилось?

Девушка задыхалась.

— Павел,— сказала она, впервые называя Бестужева по имени,— только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

— Успокойся, Анна,— сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце — предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя.— Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелкими и перекидывать карты.

— Господа,— сказал Бестужев,— час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

— Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!»

За Киселевым появился Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоявшую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

— Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

— Это моя невеста,— сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку: все смотрели на возбужденного полкового командира.

— Господа офицеры! — Киселев театрально поднял руку.— Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгрунд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.

— Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник — матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа.— Киселев обвел гла-

зами офицеров. Ему хотелось проверить впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

— Имя свое этот цареубийца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

— Еще раз требую,— властно сказал Киселев,— чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

— Я могу повторить лишь то, что сказал однажды,— ответил офицер.— Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул. Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатилась по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

— Он ранен,— громко сказал Лобов.— Какое бессердечие!

— Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? — спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

— У господ офицеров,— промолвил язвительно Мерк,— от злоупотребления вином сильно повредилась память.

— Он ранен! — крикнул Лобов.— Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в побелевшие от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

— Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов — человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия — его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова.

— Это кто? — спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного. — Тотчас убрать эту девку!

— Идите, прошу вас, — тихо сказал арестованный Анне. — Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.

Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

— Я требую... — кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

— Я готов стреляться, когда вам будет угодно, — сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему, как полковому командиру, нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мари-егамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слежавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед — его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он стеснял дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури услышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

— Анна, — сказал Бестужев, — вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее крошечным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.

— Какие поздние у вас гости,— сказал Бестужев Анне.

— Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

— Отец просит вас зайти к нему по важному делу,— сказала она.— Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их — то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

— Чем могу вам служить, господа? — спросил, смутившись, Бестужев.

— А мы, признаться,— ответил по-французски Пинер,— хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

— Мы верим вам,— сказал отец Анны,— мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.

Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

— Еще два дня такого ветра,— добавил он,— и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

— Ваши генералы,— сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами,— сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.

— Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом,— ответил шкипер с густой черной бородой.

Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

— За моей «Валькирией»,— сказал шкипер в желтых сапогах,— не угнался бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.

— Друзья,— сказал Бестужев,— не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?

— Готовы все,— промолвил Пинер, выколачивая трубку;—

но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я несущу на корме флаг французского королевства.

— Пусть идет он, мы уступаем французам, — сказал самый старый шкипер, и все смолкли. — Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы — шведы, финны, французы; он — русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха... — старик усмехнулся, — что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи — никто даже не станет считать.

— Самая трудная задача падет на вас, — сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву. — Вам придется освободить офицера и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

— Хорошо, — ответил Бестужев. — Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия к побегу, чтобы по возможности их избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

— Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменит мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку. Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

— Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать. Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег тоже будет сорван, позор ляжет на голову Бестужева и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пинером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых померанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города поднимаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем. Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и сделает их счастливыми. Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

— Павел,— сказала она,— отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

— Этому пленному мы обязаны своим счастьем,— продолжала Анна.— Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

— Клянусь! — ответил Бестужев.

Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

— Что это? — вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву.

Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

— Это шпицрутены,— ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она потеряла сознание.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул

по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги.

Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал:

— Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» — подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше, — думал Тихонов. — Полковник горяч на слова. Где ж это видано, чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею — и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам — выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

— Сними, братец, мундир, — сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами расстегивал медные пуговицы и стаскивал мундир. — Экий ты, братец, лодырь — рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

— Рад стараться, ваше высокородие! — деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

— Рота, слуша-ай! — прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посредине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взяли за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

— Рота, слушай! — вторично крикнул Мерк. — По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова сквозь строй. Дать триста ударов. Начина-а-ай!

— Ваше высокородие! — крикнул Тихонов и опустился на колени в мокрый снег.

— Начина-а-ай! — Мерк махнул перчаткой.

Загремели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ружья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Просвистел первый шомпол.

— Раз! — хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

— Два! — весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

— Правду в кандалы не забьешь! Не забьешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега. Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

— Лежачего не бьют, — сказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на небо мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

— Отойдите, ваше высококородие, — сказал унтер-офицер, — как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

— Убрать! — сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

— Я прошу вашего разрешения, — сказал Бестужев, — отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

— Мы снесемся об этом с господином Киселевым, — ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариегамна, — и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

— Может быть, вам прислать моего домашнего врача? — любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

— Благодарю вас,— сказал он резко.— Я нахожусь на ногах и сам могу прийти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водозной клячей, полковой лекарь Траубе — подслеповатый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мня левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

— Павел Алексеевич,— сказал он, потупившись,— что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

— Да, времена черные.

— Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

— Почему в лазарет?

— Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

— Доктор,— сказал Бестужев,— зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

— Неужто вы полагаете,— спросил он испуганно,— что я должен отказаться от лечения?

— Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

— Может быть, император помилует их?

— Никогда!

— Я лечу их,— сказал лекарь,— потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

— Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

— Кем? — повторил Бестужев.— Могут ли они бежать без посторонней помощи?

— Какое безумие! — воскликнул лекарь.— У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо:

— Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если

совесть не позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

— Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

— Тогда торопитесь, — сказал лекарь. — Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

— Кровь... — сказал он с тоской. — Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказалась от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, беспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвести среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и затягивал морские дали зловещей мути. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

— Почему ты так печален, Павел? — спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

— В лазарете умирает мой солдат, — уклончиво ответил Бестужев. — Ты же знаешь.

— А больше тебя ничто не тревожит, милый?

— Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

— Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат — служитель при лазарете, в коротком грязном халате, — загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмотрел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

— Встаньте, ваше благородие, тут мусорно, — прошептал Тихонов. — Я обернусь.

— Лежи, лежи, милый, — негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

— Ваше благородие... — сказал Тихонов и заплакал. — За что они меня так?

— Ты не плачь, Тихонов. — Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно. — Даст бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

— Какая воля! — сказал Тихонов едва слышно. — Кому воля, а кому маета. Жена померла. Остались старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте, отпишите матери про мою кончину. Отпишите: преставился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

— Куда отписать?

— Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры

на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой,— прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

— Ну, прощай, Тихонов,— сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

— Прощай, друг,— сказал наконец едва слышно Тихонов. Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

— Что, Павел? — тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы — было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

— Осталось всего четыре часа,— сказал Бестужев и, задумавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

«Анна,— писал он,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью — спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отдаться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь отдельными случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности



парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы кое-что знают о наших планах. Побег произойдет только через сутки, а дуэль — через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэгбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держа в кармане подложный приказ на случай встречи с Мерком или с кем-либо из преданных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэгбю. Лобов скроется вместе с беглецами.

Я верю Пинеру и его опыту моряка, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться, да и он сам не сможет в точности определить место за незнанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он сказал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что больше меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном — о спасительном бегстве. Я бы забыл свою честь и судьбу несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю — и ты должна знать это вместе со мной, — что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат

узники из мрачных казематов: не забывают нас, счастливцы!

Прощай! Прости за трудную любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новгородской губернии, Белозерского уезда».

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и, крадучись, спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта оспинами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

— Эх,— сказал Лобов,— много бы я дал за то, чтоб выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

— Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

— Эх, Карл, мякиш мой милый! — ответил серьезно Лобов.— А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно тлей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин — полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорогу среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили противников по ее краям. Мириться не предлагали: должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки.

Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно щурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю дыма, различил пороховой запах — от него стало тошно на сердце, — выронил пистолет и упал лицом вперед на вытопанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

— Ну что, как? — спросил Лобов.

— Выстрел в сердце.

Траубе начал судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

— Перевяжите его, — сказал Киселев.

— Что? — тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали. — Может быть, я ослышался? — Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо. — Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

— Да, да! — кричал ему вслед Траубе. — Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом.

Кляча часто останавливалась, и ее приходилось понукать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

— Он не умер, неправда, — твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами. — Он скоро очнется.

— Ах, боже мой, боже мой! — прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами. — Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, затем подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

— Уйдите! — сказала она хрипло. — Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

— Анна... — сказал Траубе, и голова его затряслась. — Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

— Уже вечер? — спросила она с недоумением. — Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Какой час?

— Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

— Я вернусь, — сказала она Траубе. — Никуда не уходите. — Она вышла на улицу и быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шлюпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плескали в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль, тяжело нырявший в беспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огней, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

— Пошли, — сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протягивала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо; на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

— Держите ближе к берегу,— сказала Анна Пинеру.— Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на таях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в порт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

— Улетели, сердешные, только след за ними горит.

— А ты помолчи, кавалер,— грубо оборвал его низенький старый солдат.— Мы люди казенные. Ты приказы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послышались тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу. От берега тянуло запахом зернистого тающего льда. В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная громада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и матросы.

— Скорей! — сказала Анна Лобову.— Течение сносит корабль на скалы. Торопитесь!

— А вы? — изумленно спросил Лобов.— Вы должны бежать вместе с нами.

— Нет,— Анна покачала головой,— я не могу уехать.

— Но почему?

— Неужели я должна вам объяснять это? — сказала Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Анна обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг вперед.

— Мы никогда не забудем,— сказал он,— вашей помощи.

Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Может быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжала плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана жизнь. Он был теперь единственным родным ей человеком.

Ветер хлопал парусами корабля. Матросы торопили. Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна откинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слышала глухой стук уключин. Ветер обдувал платье на Анне, леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока громада корабля, неясная, как видение, не начала медленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обняла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Никогда она не думала, что в жизни может быть такое полное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Вперемежку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженные головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно тянул непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, а у Тихонова — старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому ли-

цу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

— От пули не посторонишься, — говорили солдаты. — У него легкая смерть была, нисколько не мучился. Горе — как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадилом, громко сказал страшные слова:

— Приидите, последнее целование дадим.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужеву на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну.

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса, одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и отходили. Иные становились на колени и до земли кланялись мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе божьем болярине Павле и новопреставленном рабе божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и слышались всхлипыванья.

— Веселое горе — солдатская жизнь! — сказал за спиной у Анны сиплый голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптили под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна в испуге прикрыла его ладонью.

— Идемте! — Траубе взял Анну за руку. — Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил он Анну.

— Тише, — ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

— Вот видите, даже они стараются не шуметь.

Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина — морской врач — давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги еще одной тетке во Владивосток, а другой — в Киев.

Все тетки были или старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсие она слепа и делалась беспомощной, как ребенок, — куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысели, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

— За что бог наградил меня такими дурами! — в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина счита-

лась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у многих семей, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный мундир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увальнем и сухарем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и с нетерпением ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

— Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.

— Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

— Никогда я не думала, — сказала мать, — что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро обежал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золочеными орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплатка. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

— Я выберу сама, Саша, — робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный чернобородый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил ими по сторонам и с одинаковым выражением брезгливости смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму — пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и взял сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

— Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркала и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

— Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в брезгливое лицо капитана.

— Что прикажете? — спросил он, согнувшись.

— У вас под столиком валяются тряпки! — сказал, раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

— Обронили, — сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели и лицо темнело от гнева.

— Саша! — сказала мать. — Успокойся... Ради бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугий крахмальный воротник.

— Пойдем отсюда, — сказал Щедрин матери. — Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

— Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в пятом году!

Мать замахала на него руками.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый»

нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба во флоте, конечно, на дозорных судах.

— Рыщем, рыщем,— говорили между собою матросы,— блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра падал снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, налитые темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло навсегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

— Не то ночь, не то день — ни черта не разберешь! — жаловались вахтенные.— Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурвальный Марченко — бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

— Это же кабаре! — говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное.— Чистое кабаре, накажи меня бог!

В один из этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, подвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванной на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными гла-

зами, Акерман, прозвал Щедрина «Чарлзом Дарвином», а миноносец был прозван «смелым Биглем».

По старой морской привычке, все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитя стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой» за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью, любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол. Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

— Что случилось? — спросил Щедрин.

— Наш маленький отважный корабль, — ответил Акерман, — ринулся на неприятельский крейсер.

— Да ну вас! — отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

— Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! — крикнул ему в спину Акерман. — Слышите?

— Сумасшедший! — успел прокричать Щедрин.

Акерман, ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца — он казался сгустком дыма и мглы, мчавшимся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

— Теперь на том крейсере чистое кабаре, — сказал Марченко, стоя рядом с Щедриным. — С таким грузом на хвосте немислимо драться. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара.

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не последовало. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громыхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме слышались крики. Командир послал туда Щедрина.

— Мичман Акерман ранен, — сказал он. — Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

— Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте. — Он усмехнулся и добавил: — Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутливое, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тюлень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное море гудело и несло к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание ее казалось зловещим и опасным.

— Она же пустая, — сказал Марченко Щедрину. — Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу, — не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в лицо, порошил глаза, ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем; даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию, к Акерману. В каюте

было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

— Почему мы топчемся на месте, а не идем в Мариегамн? — спросил он Щедрина, не открывая глаз.

— Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней подойдем.

— Значит, мне отрежут ногу, — сказал Акерман. — Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрина рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрина тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

— Карл Игнатьевич, — сказал Щедрин очень громко, стараясь перекрыть шум ветра в ушах, — мичману Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

— Эх-хе-хе... — добродушно вздохнул Полувитя. — Придется ему потерпеть.

— Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Мариегамн? — спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

— Вот извольте, — сказал он. — Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками! — Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хрипатым голосом: — Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать!

Щедрин махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро никогда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ним лежал труп офицера, должно быть командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь

лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

— Да,— сказал Марченко,— вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

— Они задохлись,— сказал старший офицер.— Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью на дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

— Воображаю,— сказал старший офицер,— какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала накапливаться углекислота. Она их и задушила.

— А как же, Виктор Петрович,— спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди,— как они могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

— Я ведь тоже ничего не знаю, голубчик,— ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов.— Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

— Заработали железный гроб,— пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрин снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

— Вернитесь на миноносец,— сказал он.— Здесь хватит и троих матросов.

— Да нет, я ничего,— ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось.— Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

— Сами лезут к черту на рога,— сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы гребли, а Полувитя сидел, подняв воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь»,— подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто? — спрашивал себя Щедрин.— Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегамне разберусь»,— подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании»,— подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и насмешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

— Я признаю,— сказал он,— только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможности всех войн в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовой трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрина по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний воинский лоск. Они были подавлены, ходили сгорбившись, и почти у каждого в глазах была та же тревога, что и у Щедрина,— тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел к Мариегамну.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был опущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, падает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика.

Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале девятнадцатого века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Аландских островах был крепкий, краснощекий, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко — шаги врача доносились издалека. Щедрин и Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волновался, и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедрине как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капели, был доктор — обрусевший швед, проживший всю жизнь на Аланде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке, халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо к груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капели и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрину, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!» — пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

— Узнаю голоса наших матросов, — говорил Акерман. — Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судового комитета, и принес Щедрина и Акерману подарки от команды — папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

— Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры, — сказал Акерман. — Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся:

— Да вы ж почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры — это шкуры, а вы студенты. У вас мозги другие.

— Ну что ж, — сказал Акерман, — хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

— Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

— Где команды митингуют? — спросил Акерман. — На кораблях?

— Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

— Подходящее место! — усмехнулся Акерман.

— Самое подходящее, — серьезно возразил Марченко. — На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

— Чья же это могила?

— Вижу я, — сказал Марченко с сокрушением, — что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при Николае Первом. Понятно, матросы увидели ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог допытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залив замерзал кругом — от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег, да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался:

схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы не помогли ему бежать тот самый солдат Тихонов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

— Какой смертью?

— Об этом говорят разное. Кто говорит — расстреляли их перед казармами, кто говорит — засекли шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

— Офицера не могли засечь шомполами, — сказал Акерман.

— Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмехался, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

— Слушай, Акерман, — спросил он тихо, — как их зовут?

— Кого?

— Ну этих двоих, похороненных вместе.

— Солдата — Тихонов, а прапорщика — Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! — скажет Акерман. — Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнелю. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре слышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар вел, поддерживая за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал.

Доктор потер руки.

— Вот вам, молодые люди, — сказал он, — еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал, не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

— Я настаиваю, доктор, — сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову), —

чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

— Господин каперанг¹, — сказал Щедрин, — Гельсингфорс вам не поможет.

— То есть как? — нагло спросил новый больной. — Что вы городите, мальчик!

— Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын, — ответил Щедрин. — Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

— Представьте себе, не помню, — зло ответил каперанг. — Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору:

— Уберите от нас этого хама!

— Но-но! — крикнул каперанг, приподымаясь. — Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

— А вы будете иметь дело с матросами флотилии, — ответил, бледнея, Щедрин. — Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно — не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним посчитаются.

— Ишиас — болезнь весьма удобная, — пробормотал Акерман. — Болит — и ничего не видно. А бывает наоборот: и не болит — и все равно ничего не видно.

Капитан сел. Он смотрел на мичманов яростными глазами. Борода его тряслась, на виске вспухли толстые жилы.

— Замолчать! — внезапно крикнул он визгливым голосом.

— Бог мой! — сказал Акерман и зажал уши. — Если вы еще раз так крикнете, то от нас ничего не останется. Помилосердствуйте, господин каперанг!

КAPERАНГ вскочил и, прихрамывая, вышел из палаты. Халат волочился за ним по полу. Доктор и санитар вышли следом за ним. Доктор укоризненно качал головой.

Каперанга уложили в дальней палате, а через два дня ночью пришли матросы, арестовали его и отправили под конвоем в Гельсингфорс, в Центральный комитет Балтийского флота.

В апреле Щедрин выписался из больницы. Доктор запретил ему возвращаться на корабль. Недели две-три после болезни Щедрин должен был поправляться и отдыхать.

По совету доктора Щедрин снял комнату у рыбака Петера Якобсена.

¹ К а п е р а н г — сокращенное «капитан первого ранга». (Примеч. автора.)

Маленький старый дом стоял у самой воды. Дом был разноцветный: стены синие, облезлые, оконные наличники и двери — оранжевые, а внутри у каждой комнаты был свой, когда-то яркий цвет. Комната Щедрина была выкрашена в желтую краску и завешана фотографиями предков Якобсена.

По утрам, лежа на деревянной кровати, Щедрин рассматривал висевших над кроватью стариков с тонкими, словно железными губами, — шкиперов и лоцманов, живших некогда в этом доме.

Тут же висели фотографии их дочерей — светлоглазых девушек с приветливым выражением лица и жен — худых старух. Старухи сидели на фотографиях прямо, как полководцы, крепко положив на колени узловатые руки.

Среди фотографий был только один рисунок, написанный пастелью. Это был портрет молодой женщины с высоко взлетающими, нервными бровями, сумрачным блеском глаз и маленьким чистым лбом. Щедрин, глядя на этот портрет, всегда думал о том, что эта женщина делала здесь, в ничтожном рыбацьем городке, где сто лет назад было всего триста жителей.

В доме Якобсена было чисто и тихо; изредка только Якобсен пел на кухне заунывные песни и притопывал в такт ногой, ковыряясь в старых сетях.

У Якобсена была дочь трех лет, но она жила не у родителей, а у доктора. Бездетные доктор и его жена воспитывали девочку и собирались дать ей хорошее образование. Звали девочку Марией.

Жена Якобсена, Марта, была рассеянная женщина. Каждый день у нее сбегало молоко или кот воровал жареную рыбу из открытого шкафа. Якобсен беззлобно посмеивался над женой.

Вся эта жизнь производила на Щедрина такое впечатление, будто он перенесся на десятки лет назад, в патриархальную страну, где еще ходят почтовые кареты и в комнатах держат в маленьких клетках сверчков, приносящих счастье.

Странно было, сидя в этих старинных комнатах, читать газеты, пылавшие жаром революционного времени. Газеты были полны призывов, негодований, ошеломляющих известий, сообщений о возвращении в Россию Ленина.

Имя Ленина уже гремело на матросских митингах. Оно было всюду. Стремительные миноносцы разносили его по суровой Балтике. Радио, треща и разбрызгивая искры, передавало его на линейные корабли, в береговые батареи, в крепостные форты, на подводные лодки. Сигналисты набирали его пестрыми флагами.

Оно ширилось, росло, оно стало знаменем и надеждой балтийцев. Вокруг него кристаллизировались недовольство матросов, их воля, их неукротимый революционный пыл.

«Заря всемирной социалистической революции уже заня-

лась», — сказал Ленин во время встречи его на Финляндском вокзале.

Эти слова разнеслись по всему флоту. Казалось, даже море победно шумело и, неся к берегам мощные массы сверкающей воды, повторяло эти слова.

Щедрин волновался. Один раз он был на митинге на миноносце и даже сказал путаную горячую речь.

Матросы долго хлопали ему, вернее — стучали деревянными, мозолистыми ладонями и вынесли Щедрина с миноносца на берег на руках — должно быть, из жалости: Щедрин едва держался на ногах от волнения.

Акерман ходил на костылях. Он относился к революции по-деловому: сидел в судовом комитете и упрямо спорил с начальством о гречневой каше, отпусках, добавочных тельниках и других насущных матросских нуждах. Он уже меньше шутил и лишь изредка, заходя к Щедрину, произносил прежние любимые фразы:

— Змея царской власти раздавлена в прах босыми ногами илотов. Алое знамя восстания реет над великой страной.

Щедрин проснулся очень рано. В саду пересвистывались птицы. Над морем дымился ослепительный штиль. Он переливался прохладным блеском на сотни миль, плескал о гранитные берега и, как ребенок, шаловливо дул в лицо тепловатым ветром.

Щедрин пошел на кладбище. Невозможно было сидеть в комнатах в такое праздничное утро. Кроме того, Щедрин давно решил побывать на могиле Тихонова и Бестужева.

В расселинах скал пробивались слабые белые цветы. Щедрин сорвал несколько стебельков с цветами.

На кладбище Щедрин наткнулся на могилу немецких моряков с подводной лодки, захваченной «Смелым», и долго читал список имен.

Около одного из мшистых валунов он увидел Марту. Она сидела, как всегда, немного испуганная и бледная и, улыбаясь, смотрела на Щедрина. В руках у нее были темные еловые ветки. Она принесла их, очевидно, чтобы положить на родную могилу. Щедрин знал, что год назад у Марты умер четырехлетний сын.

Он подошел к ней и поздоровался. По-русски Марта говорила плохо. Но они друг друга все же понимали.

Щедрин прочел на могиле надпись и удивился. Надпись была на шведском языке, но Щедрин все же понял, что здесь похоронена какая-то женщина двадцати четырех лет, Анна-Христина Якобсен, умершая в 1827 году.

— Это ваша родственница? — спросил Щедрин.

Марта глядела на него улыбаясь, но не понимала.

— Кто это? — повторил Щедрин и дотронулся рукой до надписи.

— Анна, — сказала Марта, — бабушка Петера. Есть картина в вашей комнате. Такая милая. Она умерла в этот день.

Щедрин закивал головой. Он догадался, что это была могила той странной женщины, чей портрет он так часто рассматривал у себя над столом.

— А я ищу, — сказал он, — могилу Павла Бестужева.

Марта встала и провела Щедрина к большому камню. Он врос в землю, был отполирован матросскими сапогами. Вокруг него зеленел мох. Щедрин положил на камень цветы. Когда-то он смеялся над сентиментальностью своих теток, сейчас же сам испытывал непонятное волнение перед могилой людей, спасших его деда.

— Здесь лежат хорошие люди, — сказал он Марте, — они спасли от смерти моего деда.

Марта радостно закивала головой:

— Вы сказали — «мой дед»?

— Да.

Марта торопливо заговорила, путая русские и шведские слова. Она взяла Щедрина за рукав и смотрела ему в лицо. Она смеялась, и щеки ее даже порозовели.

— Я не понимаю, — сказал Щедрин.

Марта морщила лоб, подыскивая русские слова, но их не хватало, и Щедрин опять ничего не понял.

Марта досадливо закусил губу, и на глаза ее навернулись слезы. Она махнула рукой и быстро пошла в город. Щедрин, недоумевая, смотрел ей вслед. Ветер развеивал ее широкую юбку. Марта шла не оглядываясь.

«Чем же я ее обидел?» — подумал смущенный Щедрин, сел около могилы и закурил. Бледные, только что родившиеся бабочки летали вокруг, греясь на солнце.

Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков.

— Ну что, уже украл рыбу? — спросил Щедрин.

Кот сипло мяукнул.

Щедрин снял со стены портрет Анны Якобсен и долго его рассматривал. Щедрин еще никого не любил. Правда, он ходил одно время на каток в Петрограде, чтобы издали увидеть высокую гимназистку, бегавшую каждый день на коньках. Когда она падала и тотчас вскакивала, стряхивала снег с перчаток и мор-

гала ресницами, чтобы избавиться от налипших на них снежинок, у Щедрина начинало колотиться сердце. Но вскоре гимназистка исчезла с катка, и Щедрин ее забыл.

Щедрин смотрел на портрет, на горькие и нежные губы Анны, и думал, что эту женщину он мог бы полюбить беззаветно и преданно. Какая-то грустная тайна скрывалась за этим лицом.

Щедрин вздрогнул и повесил портрет на место: в дом входили.

В дверь постучали. Щедрин крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор. Его белые волосы были растрепаны больше, чем всегда, глаза сверкали, и на лице сияла торжественная улыбка. За спиной у доктора стояли Петер и застенчивая Марта.

— Здравствуйте, друг мой! — загремел доктор и стиснул руку Щедрина. — Я пришел к вам в качестве переводчика... Войдите! — крикнул он Якобсенам. — Сядьте на эти стулья, и мы поговорим.

— А что, собственно, случилось? — спросил растерявшийся Щедрин.

— Сейчас узнаете! — прокричал доктор и захохотал. — Сейчас вы узнаете все, но прежде всего — расцелуйте эту женщину и этого простофилю, Петера Якобсена. Ну!

Доктор так крикнул «ну», что в старых рамах звякнули стекла и кот, приседая, умчался из комнаты.

— Хорошо, — сказал, улыбаясь, Щедрин. — Я всегда рад расцеловать этих людей, но скажите, ради бога, что это значит?

— Целуйтесь! — крикнул доктор и топнул ногой.

Марта робко подошла к Щедрину, вытерла губы концом чистого передника, и они поцеловались. Петер поцеловался порывачьи — три раза — и исколол щеки Щедрина своей щетиной.

— Да будет вам известно, — сказал доктор с торжеством, — что и в двадцатом веке могут случаться чудеса. Мне надоело вычитывать их только из книг. Я часто говорю своей жене: «Ты напрасно скучаешь на Аланде. Здесь каждый день рассказывает свои интересные истории. Дни проходят перед нами, как добрые знакомые, и ты еще очень и очень пожалеешь о наших островах, когда уедешь отсюда». Судите сами. Где вы дышали таким воздухом, как у нас? Где вы видели такое прозрачное море? Нигде! Когда вы жили среди таких добрых и честных людей? Никогда!

— Все это так, — согласился Щедрин, — но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?

— Перейдем к делу, — сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы. — Если здесь нет никакой путаницы, то вы внук того

декабриста, что был спасен здесь, на Аланде, двумя русскими — солдатом и офицером.

— Да, — сказал Щедрин. — Это, кажется, так. Но откуда вы об этом узнали?

— От Марты, — сказал доктор, — вы сами ей об этом рассказали. Среди здешних моряков есть много степеней родства. Нам они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, а эти простодушные люди признают еще родство спасенных и спасителей. Если кто-нибудь из одной семьи спас человека из другой семьи, то семьи роднятся. Хороший обычай. Морское дело — опасное, спасать приходится часто, и в конце концов это привело к тому, что почти все жители острова стали родственниками. И, по законам этого острова, Петер Якобсен, Марта и их дочь Мария, находящаяся у меня на воспитании, являются в некоторой мере вашими родственниками.

— Но ведь деда моего спасли, кажется, русские!

— Вы, очевидно, ничего не знаете. Деда вашего спасли прапорщик Бестужев и его жена. Портрет ее вы сейчас видите перед собой. Это она.

Доктор показал на портрет Анны. Так вот кто была эта женщина с таким привлекательным и необычным лицом!

— В семье Якобсенов, — продолжал доктор, — живет воспоминание о всех событиях, связанных со спасением вашего деда. Это понятно. Представьте себе простую семью, где сотни лет ничего не случилось. Мужчины служили матросами, а к старости делались рыбаками. Женщины, кроме своего дома и детей, ничего не видели вокруг. Говорят, раньше Якобсены были богаты и даже имели парусники, но это было очень давно. Последний из шкиперов, отец Анны, разорился и в старости был всего только маячным сторожем в Эрасгрунде. Но он успел воспитать свою дочь в Стокгольме. Это была необыкновенная девушка. Итак, представьте себе эту скучную и добропорядочную семью, внезапно втянутую в бурю невероятных и печальных событий. В их доме поселяется молодой русский офицер Бестужев. Его пускают скрепя сердце. Старик боится и не любит русских. Офицер влюбляется в Анну. Анна тоже полюбила его; она была девушка больших чувств и капризов. Старик не хочет и слышать о замужестве дочери с русским. — Доктор замолчал, чтобы закурить папиросу. — Но вот на острове задерживают декабриста. Он пробирался в Швецию по льду замерзшего залива, наткнулся на часовых, и его схватили. Здешние рыбаки и шкипера заволновались. Появилась мысль спасти арестованного, освободить его и увезти на корабле в Швецию. Павел Бестужев стал во главе заговора. Тогда отец Анны смягчился, поверил в благородство русского и разрешил ей выйти за него замуж. Но судьба судила иначе: Бестужев

был через несколько дней убит на дуэли. Арестованный бежал с помощью Анны и моряков.

— Из-за чего была дуэль? — спросил Щедрин.

Доктор поговорил по-шведски с Петером и Мартой и ответил:

— Бестужев ударил по лицу офицера, своего начальника, за то, что тот грубо обошелся с декабристом и оскорбил Анну. Офицер убил его. Через восемь месяцев после смерти Бестужева у Анны родился от него сын. Отец Петера. Анна вскоре умерла. Она долго болела, ее даже считали здесь немного помешанной.

— Спросите их, — сказал Щедрин, — кто тот солдат, что похоронен вместе с Бестужевым.

Доктор снова поговорил по-шведски с Якобсенами и пожал плечами:

— Они не знают. Говорят, что этот солдат умер после порки. За что его пороли — об этом им никто не рассказывал. Думают, за помощь декабристу.

Щедрин посмотрел на Петера. Петер похлопал его по плечу и засмеялся. Он повернулся к Марте и что-то сказал ей, очевидно важное. Марта торопливо вышла, вернулась с маленькой старой книгой в кожаном переплете и протянула ее Щедрину.

— Эта книга Бестужева, — сказал доктор. — Единственная реликвия. Ее нашли у Анны.

Щедрин бережно взял книгу, открыл титульный лист и прочел: «Эда, финляндская повесть Евгения Баратынского».

Марта что-то застенчиво сказала доктору. Тот перевел:

— В книгу заложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.

Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.

«Анна, — прочел Щедрин, — я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».

От письма шел запах сухой лаванды.

Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.

Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.

...Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:

Когда, когда сметишь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?

Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.

В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.

«Наши мучения и гибель,— прочел Щедрин строчку из письма,— ударят по сердцам с томительною силой».

«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» — подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.

«Да и нужно ли это?» — думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?

Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливы!»

Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.

Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шляпку и сети.

Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.

В доме у доктора всё светилося такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.

Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.

Щедрина усадили на диван. Девочка села рядом с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.

Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в Скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.

Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно, маленькими ножницами.

— Дети любят золото, как сороки,— засмеялся доктор.

Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.

Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иглами и прикрепила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи,— со всех сторон из них торчали иглы.

Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.

Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.

Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.

События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.

Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.

Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.

Писем от матери не было.

Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, словно ждали неотвратимых событий.

Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.

Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специали-

ста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрина по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.

Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.

Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:

— Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое — и море, и деревья, и даже миноносец.

— Чем же и миноносец другой?

— «Смелый» похож на брошенную дачу. Всё прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда придут новые хозяева.

— Однако ты поэт, Акерман, — сказал Щедрин. — Новые хозяева придут скоро, ты не волнуйся.

— Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет — вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!

Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.

— Ты доживешь, я знаю, — сказал Акерман, — а я нет.

— Нога и вообще всё у тебя в порядке?

— Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день — как год. Поди разберись.

— Ты устал. Поезжай в Питер.

— Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье, — ответил Акерман. — Чудесное время! Я ведь не жалуясь. Это так — лирический разговор около облетающих фуксий.

Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики — символ революции.

Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.

— Саша! — крикнул Акерман, ковыляя по трапу. — Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.

Он вытащил из кармана измятый бланк телеграммы и начал читать обращение нового правительства ко всем трудящимся.

В Петроград Щедрин вернулся только зимой, после знаменитого ледяного похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Флот пробивался через тяжелые льды, чтобы не попасть в руки немцам, постепенно занимавшим Финляндию.

«Смелый» шел медленно, держа в кильватер линейному кораблю. Дни и ночи шуршал и трескался около бортов лед, и зеленоватая зернистая вода вспухала за кормой широкими буграми.

Дни были темные, как дым. По всем румбам лежала пасмурность. Глаза искали в ней хотя бы проблеск огня далеких родных берегов, но огней не было. Гудели турбины, пел в широких трубах ветер, ночи пели глухим железным гулом бортов и напирającego льда.

Команда зябла. Отопление работало плохо. Иней медленно пробирался по потолкам и стенам. Особенно тяжелы были ночи. Их густота была так велика, что дневной свет не мог пересилить ее и отступал. День мерк, едва начавшись.

Изредка над кораблями пролетали стаи ворон. Покружившись над палубами, они летели дальше, как бы отмахиваясь крыльями от грозного зрелища обледенелых кораблей.

Из Кронштадта Щедрин пошел пешком по льду в Петергоф. На «Смелом» осталось всего десять матросов; все остальные записались в сухопутные отряды — драться с белыми.

До Петергофа Щедрин шел вместе с матросами. В Петергофе на берегу матросы оглянулись на Кронштадт, и один из них сказал с веселым отчаянием:

— Прощай, Балтика!

Прошли через безлюдный, засыпанный снегом парк. Уже смеркалось. Около дворцовой решетки ходил красногвардеец — пожилой рабочий с винтовкой. Матросы остановились покурить.

— Красная гвардия, — говорили они с уважением и заходили и с тыла и с боку, осматривая рабочего. — Вольные — и те дерутся, а нам сам черт велел. Будем живы — вернемся на свои коробки.

— Ну, чего глаза распылили, молодые люди! — сказал ворчливо рабочий. — Тут останавливаться запрещается.

Матросы захохотали, зашумели и двинулись дальше. Щедрин отстал. Он разговорился с рабочим.

— Я петергофский, — сказал рабочий. — Мебельщик, специалист по ценному дереву. А теперь состою в охране. Мы по трое дежури́м. Но пока что никто не трогает, только зайцы ночью кругом скачут. Вон, глядите, весь снег по откосу затоптали... Пойдемте в сторожку, погрейтесь, небось идти через лед зябко. В сторожке у меня теплота.

Пошли в сторожку. Там было жарко, влага стекала со стен. Закурили. Щедрин сказал:

— Это хорошо, что вы дворцы охраняете.

— А как же! — ответил рабочий, сидя на корточках около печки. — Небось сам Растрелли строил. Большую красоту народ себе отвоевал.

Щедрин покурил, попрощался и ушел на вокзал. Говорили, что на Петроград из Петергофа изредка ходят поезда.

Он вошел в парк и оглянулся: дворец казался вылепленным из легкого снега.

В поезде, набитом матросами и красногвардейцами, Щедрин в два часа ночи добрался до Петрограда.

Петроград был черен, пуст. Щедрин пошел через весь город на Аптекарский остров, где жила его мать. Над громадами домов заунывно шумел ветер. Лязгали поломанные водосточные трубы. Под аркой Главного штаба курили часовые. Они потребовали документы и долго рассматривали их при свете железнодорожного фонаря.

Щедрин перешел Неву. Тускло блестел черный лед. Около Биржи было пусто, лежал на боку занесенный снегом вагон трамвая. На востоке светилось бледное электрическое зарево — там был Смольный.

Щедрин долго шел по Кронверкскому проспекту. Великий город лежал вокруг в снегах и мраке ночи. Он был суров, молчалив. «Судьба этого города, — подумал Щедрин, — будет прекрасна, необыкновенна. Я еще доживу до этого».

В окнах в квартире матери горела свеча. Двор был занесен снегом. На старых березах спали галки. Они проснулись и захлопали крыльями, когда Щедрин остановился у дверей и начал сбивать с сапог примерзший снег.

Сердце у Щедрина замирало. Он постучал.

Послышались медленные старческие шаги. Мать открыла дверь, через цепочку крикнула: «Саша!» — и уронила свечу. Прибежала тетя Юля, сняла цепочку, и через минуту Щедрин уже прижимал к мокрой черной шинели дрожащую седую голову матери, плакавшей навзрыд.

— Ну что ты, что ты! — говорил Щедрин. — Видишь, я жив! Успокойся!

Тетки, переселившиеся к матери, торопливо одевались за ширмами, задавали Щедрину бестолковые вопросы, тоже плакали от радости.

На кухне уже гудел старый погнутый самовар. Мать непрерывно вытирала глаза, суежилась около стола, все забывала, все смотрела на Щедрина и радостно и недоверчиво: уж не обманывает ли он и не надо ли ему завтра же отправляться на какой-нибудь новый фронт?



...За ночь ветер засыпал всю палубу «Смелого» лепестками бузины. Щедрин вышел, посмотрел на палубу и вспомнил снег, зимнее плавание в Балтике и ледяной поход.

«Смелый» стоял у крутого берега реки Ковжи. По берегу тянулся заглохший деревенский сад с поломанным забором. Заросли высокой крапивы все время шевелились, и из них выглядывали белоголовые дети.

— Ш-а-а! — кричал на них, как на воробьев, матрос-эстонец Винер.

Дети, прыскавая от смеха, приседали в крапиве и замолкали. Потом слышался плач. Это значило, что кто-нибудь из ребят обстрекался.

— Пустите их на палубу, Винер, — сказал Щедрин, — пусть посмотрят... Эй, ребята! — крикнул он. — Валите!

Дети выползли из крапивы и собрались у сходней, но дальше они идти боялись и так и стояли около сходней, молча разглядывая миноносец.

«Смелый» шел из Петрограда на Волгу, на колчаковский фронт. Самая трудная часть пути — Мариинская система — осталась позади. Мучения со шлюзами кончились. Впереди были Белое озеро, Шексна, Волга.

Дети сопели на берегу и не спускали глаз с миноносца. Впервые на их реке вместо запыхавшихся грязных буксиров появилось длинное и грозное морское чудовище. «Смелый» на реке был гораздо выше, чем на море, — его временно разоружили и облегчили от балласта.

— Ребята, — спросил Щедрин, — где тут деревня Мегры?

Ребята переглянулись и сделали было попытку бежать.

— Стой! — сказал Щедрин. — Кто посмелей — отвечай!

Дети вытолкнули вперед девочку в рубахе до пят.

— За бугром, — сказала девочка потупившись, и казалось, что она вот-вот заплачет.

— Где «за бугром»?

— Тута.

— А ну-ка, ведите меня все! — сказал Щедрин и сошел на берег.

Дети, сверкая голыми пятками, побежали вперед. За околицей начался лес, заросший орешником.

Дети бежали, оглядывались на Щедрина, спотыкались. Иные ушибались и хныкали, но продолжали бежать, больше всего боясь отстать и пропустить интересное зрелище.

Деревня Мегры стояла за лесистым холмом, на берегу небольшого озера. Дети открыли околицу, пропустили Щедрина, но в деревню не пошли. Деревня была чужая, из окон выглядывали незнакомые сердитые бабы.

— Где здесь живут Тихоновы? — спросил Щедрин космато-

го деда с клюкой, гревшегося на солнышке около колодца.

— Да Тихоновых тут, сердешный, четыре семьи. Тебе каких?

Щедрину пришлось объяснять деду, что ему нужны те Тихоновы, где была когда-то, лет восемьдесят назад, бабка Авдотья.

— Ишь куды загнул! — обрадовался дед. — Твое счастье, что я тебе встретился. Мне самому восьмой десяток пошел. Я старый ворон, даром не каркаю. Авдотья твоя померла, милый, когда меня не было на свете, в древнем возрасте померла.

— А кто из ее Тихоновых здесь живет? — спросил Щедрин.

— Да почитай, кроме Насти, никто и не живет. Одна Настя с дочкой. Муж у нее убитый с ероплану на германской войне. Вон она белье на озере полощет. Ты туды и иди, иди, милый.

Щедрин пошел к Насте. Она звонко била вальком серое белье и кричала маленькой девочке лет пяти:

— Беги домой, нос утри!

— Вы Настасья Тихонова? — спросил Щедрин.

Женщина живо обернулась и, вытирая руки о подол, испуганно посмотрела на Щедрина.

— Флотский, — сказала она, успокоившись. — А чего надо?

— Поговорить надо, — ответил Щедрин. — Да тут неудобно.

— А вы идите в избу, — сказала Настя. — Я сейчас уберусь и приду... Катька! — крикнула она девочке. — Проводи дядю в избу. У-у-у, бессовестная!

«Бессовестная» Катька, сопя и выставяя вперед круглый живот, торжественно повела Щедрина в избу. В избе сидел и чесался старый лохматый пес. Он с недоумением уставился на Щедрина, чихнул, поднял густую пыль и снова начал свирепо чесаться.

— Это Каштан! — хрипло сказала Катька. — Он больших не трогает. Смирнай.

Вошла Настя. Щедрин стоял. Настя вытерла подолом лавку и пригласила сесть.

— Ну, давайте поговорим. А я все думаю, кто вы такой. Уж не с фронта ли?

— Нет, — ответил Щедрин, — я не с фронта. Была у вас в семье бабка Авдотья и был у нее сын, солдат Семен Тихонов?

— Был, — сказала Настя. — Мне дед рассказывал: заporоли насмерть в солдатах где-то в чужой земле.

— Был я на его могиле, — сказал Щедрин. — Это далеко, в Финляндии, на островах.

— Скажи, какой ужас! — вздохнула Настя и покачала головой. — Куды погибать загнали! А моего-то убили, сердешного, на фронте, прямо бомбой убили с ероплана, да-а-а. — Настя вытерла кончиком платка глаза и спросила: — А почему вы тем солдатом интересуетесь?

— Деда моего он спас от смерти, — сказал Щедрин и слегка покраснел.

— Скажи пожалуйста! — покачала головой Настя. — Хороший, значит, был человек.

Щедрин рассказал, что он здесь случайно, с миноносца, идущего на Волгу, что из письма одного офицера, умершего в один год с Семеном, он узнал, откуда родом Тихонов, и зашел кстати проведать. Все равно на миноносце делать нечего — надо сидеть, дожидаться буксирного парохода.

— У вас одна дочка? — спросил Щедрин и поглядел на Катьку.

Та стояла у печки, скребла одной ногой другую и смотрела на Щедрина.

— Нет. Мальчик есть еще у меня, так он в Петергофе. Обучается столярному делу у нашего одного, мегринского. Двенадцати лет мальчик. Характером тихий, в отца, а нравом очень смысленый... А ты в Петергофе небось будешь? — спросила Настя, переходя на «ты», — это означало, что Щедрин уже признан своим человеком.

— Если не убьют, то буду.

— Может, найдешь сынка-то? Найди, навести, сделай милость! Я тебе и адрес скажу.

Щедрин записал адрес: Алексей Тихонов, Дворцовый переулок, у столяра Никанора Никитина.

Щедрин собрался идти, но Настя не отпускала его без чая.

— Чай, правда, морковный, но ты испей, будь мне другом, — сказала она ласково.

Настя дала Катьке звонкий шлепок, и девочка вылетела на улицу — к соседям за сахаром.

Щедрин видел через низкое оконце, как Настя ставила во дворе позеленевший маленький самовар и раздувала его подолом. Потом она ушла за перегородку; там слышался плеск воды и вздохи.

Настя вышла умытая, прибранная, в новом ситцевом платье. Она застыдилась, покраснелась и, накрывая на стол, шуршала вокруг Щедрина накрахмаленной розовой юбкой.

Чай пили долго, по-деревенски, высасывая из блюдца желтый кипяток. Настя с хрустом откусывала сахар крепкими белыми зубами, и Щедрин невольно ею залюбовался.

Уходить ему не хотелось. Настя проводила его до околицы, не боясь завистливых и любопытных баб, выглядывавших из окошек.

У околицы они попрощались. Она протянула ему шершавую руку, опустила глаза и неожиданно сказала вполголоса:

— Может, свидимся. Вы бы мне письмо написали.

Щедрин пообещал написать письмо и вышел за околицу.

Около леса он оглянулся. Настя стояла, прикрыв платком подбородок, и смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой. Она не ответила — стояла все такая же неподвижная, окаменелая.

В лесу Щедрина дожидались дети. Торопясь и вытирая носы рукавами, они снова побежали вперед, разбрасывая песок голыми пятками. Они довели Щедрина до сходней и остановились.

Через час подошел буксирный пароход и начал осторожно, покрикивая гудком, выводить миноносец на фарватер.

Перед вечером «Смелый» шел уже по Белому озеру. Оно было действительно белое — слюдяное и бледное. На низких его берегах стояли, как маяки, колокольни сельских церквей. За колокольнями опускалось в леса громадное чистое солнце.

Неожиданно с берегов долетел запах вянущих полевых цветов. Там уже косили сено, и бабы пели пронзительно и заунывно.

Миноносец шел по Шексне на юг, а в это время в Петергофе, в тесной квартирке мебельщика Никанора Никитина, происходил переполох.

Приятель Никитина — старый и рассудительный мебельщик Прохор — заболел и прислал сказать, чтобы Никитин поехал за него доделать книжные полки в Петроград, на Кронверкский проспект.

Дело было обычное. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков, но сейчас заказчик был необыкновенный. Даже бестолковая жена Никитина — Матрена — и то его знала. Имя его было знакомо всей России, Европе, пожалуй, всему миру, — имя одного из величайших писателей передового человечества.

Никитин поднялся в пять часов утра, всех разбудил, долго брился, поссорился с Матреной и, наконец, сердито сказал:

— Алешка со мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на настоящего человека.

Алеша Тихонов побледнел и одернул вылинявшую ситцевую рубашку.

Матрена крикнула:

— Ишь чего придумал, старый черт! Гляди, чтоб тебя одного-то пустили. Не видали твоих подручных!

— Тихо! — сказал Никитин. — Слово мое окончательное!

Матрена плюнула и сказала в пространство:

— Одежи у него нет подходящей.

— Поедет в чем ходит.

Но все-таки Матрена рывком выхватила из старого, разошедшегося комода новую ситцевую рубаху для Алеши и разгладила ее на подоконнике. Алеша торопливо натянул ее. Рубаха была еще горячая и обжигала спину.

— Куда торопишься! — крикнула Матрена. — Шею умой сначала, ходишь тут обормотом. Нет на вас настоящей гибели, на обоих!

За чаем Матрена, не глядя на мужа, говорила Алеше:

— Ты за им смотри. Он знаешь какой! Чуть что, сейчас язык распустит и пойдет чесать, и пойдет трепать, изговорится весь вконец. На одном разговоре душа держится.

— Молчи! — сказал Никитин. — Речи свои в себе держи, имей острастку.

Когда Никитин и Алеша уехали, Матрена побежала к соседкам и, гордая, покрасневшая, рассказала, что ее изверга вместе с Алешкой вызвали на работу к знаменитому человеку. Соседки завистливо вздыхали.

— Да что ты, милая! — говорили они нараспев. — Страх-то какой! Да неужто он так-таки и поехал с мальчонкой? Ему, видать, все нипочем, он у тебя отчаянный мужчина.

А между тем «отчаянный мужчина», шагая по заросшим травой торцам, по безлюдным петроградским проспектам, так охрип от волнения, что с трудом разговаривал даже с Алешей.

— Что-то голос у меня стал хриповат, ты не слышишь? — тревожно спрашивал он Алешу.

— Сип у вас сильный, Никанор Ильич, — отвечал Алеша.

Чтобы прочистить голос, Никитин зашел в пивную и выпил кружку кислого пива, похожего по вкусу на квас.

Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. Ему в Петергофе очень нравилось. Мальчик он был боязливый, на все смотрел долго и внимательно: на серое море, на дворцы, на матросов, хлопавших клешами по пустым петергофским улицам. Изредка, неизвестно откуда, доносилась стрельба. Один раз даже забухали пушки, и Алеша робко спросил Никитина, что это значит. Никитин потянул его за нос и ответил:

— Вот для таких, как ты, стараемся, для несмысленнейшей.

Объяснение было туманное, но Алеша главное понял, а потом путем расспросов выяснил и все остальное: кто такие большевики, чего хочет Юденич, кто пролетариат и кто буржуазия.

Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собеседника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели, о различных свойствах дерева, о политуре и о знаменитых мастерах, которые — вечная им память! — давно уже померли. Никитин вспоминал золотильщиков, мастеров по бронзе, лепщиков, паркетчиков. Он знал тайны многих ремесел и старался втолковать их Алеше.

Алеша слушал внимательно. Никитин давал ему книжки — то Пушкина, то Гоголя, то малоизвестного Крестовского, заставлял читать и потом придиричиво требовал, чтобы Алеша расска-

зывал ему содержание прочитанного. Но Алеша предпочитал рисовать. Кроме цветных карандашей, у него ничего не было, но этими карандашами мальчик делал рисунки, приводившие Никитина в восторг.

— Быть тебе Репиным! — говаривал Никитин. — Рука у тебя сама рисует, без всякого умственного напряжения. Учить тебя, дурака, надо.

На Кронверкском проспекте Никитин и Алеша долго стояли перед высоким серым домом. Никанор Ильич поглядывал на его широкие окна и покашливал. Потом, решившись, вошел в подворотню и спросил какого-то человека, подметавшего двор, где живет знаменитый писатель.

— Налево, первая дверь, — сказал человек и даже не обернулся.

— Нахальный человек, малообразованный, — сказал Никитин Алеше, когда они подымались по лестнице.

Позвонили. Никитин и Алеша плохо помнили, кто им открыл, кто их провел в большую комнату, где не было никого и по стенам стояли полки с книгами. Сотни книг, тысячи, может быть, десятки тысяч стояли на полках, лежали на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу. Алеше захотелось тут же сесть на корточки и рассматривать их с утра до вечера, хотя бы целый год.

Никитин огляделся и дотронулся до полки, начатой Прохором. Она была из красного дерева. Осталось только ее отполировать.

Никитин начал работать. Сначала руки у него дрожали и при каждом шорохе в соседней комнате замирало сердце, но потом от знакомой и любимой работы он успокоился и на постоянные вопросы Алеши: «А сам-то выйдет?» — отвечал:

— Откуда я знаю! Что я, бог?

Неожиданно дверь отворилась, и в нее, сутулясь и тяжело шагая, вошел высокий седоватый человек с простым курносым и добрым лицом — настоящий дядя Василий, знакомый и Никитину и Алеше водолив с шекснинской баржи. Сутулый человек был одет в серый тонкий костюм, лежавший на нем свободно и мягко.

Он громадной рукой пожал руку Никитину, измазанную политугой, провел по голове Алеши от затылка ко лбу, отчего волосы сразу взъерошились, взглянул на полировку и сказал, покашливая:

— Великолепно работаете! Великолепно!

Алеша с испугом смотрел на громадного человека: это-то и был знаменитый писатель!

Писатель достал из кармана коробку длинных папирос, раскрыл и протянул Никитину. Алеша смотрел во все глаза. Ни-

канор Ильич деликатно, тремя пальцами взял папироску и закурил, хотя не курил никогда в жизни,—неудобно было отказать такому человеку.

— Тебя как зовут, пузырь? — спросил писатель Алешу.

— Алексеем,—сердито пробормотал Алеша.

— Алексей — человек божий, зашитый в рогожу,—серьезно сказал писатель, но серые его глаза добродушно, по-стариковски улыбались,—гвоздиком прибитый, чтобы не был сердитый. Однако работайте. Я вам мешать не буду.

Он ушел. Из соседней комнаты долго погромыхивал его глухой бас. Он что-то объяснял кому-то и говорил:

— Не мне вас стыдить, не мне. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о них пишет. Вот, скажем, грушовка или анисовка. Чем разнятся? У меня на Оке был друг садовник, большой души человек...

Но тут сразу заговорило несколько голосов, и слов писателя уже нельзя было разобрать.

Алеша в оцепенении смотрел, как работает Никитин. Мастер делал чудеса. Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево казалось погруженным в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное.

Снова вошел писатель. Он долго расспрашивал Никитина о разных тонкостях мебельного дела. Алеша с испугом замечал, что Никанор Ильич все смелее разговаривает с писателем и вот-вот, как говорила Матрена, сорвется и начнет «чесать и трепать» без конца.

— Вы ученый человек,—сказал Никанор Ильич.— Объясните мне, дураку: чем это дерево хуже драгоценного камня? Игра есть, блеску — сколько хочешь, цвет лучше, чем у граната. Однако это дерево показывает себя только при свечах. Электричество на него не действует.

Писатель слушал, хмурился и улыбался.

— Ежели бы у вас были свечи и в комнате было потемней, я бы вам показал настоящий вид этого дерева,—хвастливо сказал Никанор Ильич.

— Чудесно, можно показать! — ответил писатель, подошел к окнам и спустил шторы.

Стало почти темно. Писатель ушел и вернулся со свечкой.

— А ну-ка, светите! — сказал он, и в глазах его Алеша увидел такое же веселое любопытство, как и у своих приятелей-ребят.— Что получится в этом разе?

— В этом разе,—сказал Никанор Ильич,—получится полное превращение.

Он зажег свечу и поставил ее на полку. Дерево сразу же изменилось. Оно казалось теперь бездонным и черным. Пламя свечи плавало в его глубине, как маленькое туманное солнце. Оно было окружено ореолом и зажигало вокруг себя волокна. Они светились багровым винным огнем.

— Моцарт и Сальери,— сказал неожиданно Никанор Ильич, и Алеша затрясся от испуга: предсказание Матрены сбывалось.— Читал я двадцать раз эту пьесу, никак не мог начитаться. Полирую такое вот дерево, а сам вспоминаю. Очень навязчивые слова: «Звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался — слезы невольные и сладкие текли».

Писатель ухмыльнулся в усы и позвал из соседней комнаты каких-то людей. Он показывал им дерево при свете свечи, любовался и говорил глухим басом отрывистые слова о прелести подлинного искусства — будь то литература или полировка мебели.

Алеша слушал как в тумане. Почему-то разговор перешел на архитектуру, и Никанор Ильич сказал громким и развязным голосом, что Воронихин перед Растрелли — мальчишка и щенок.

Все зашумели, а писатель держал Никанора Ильича за руку и говорил сердясь:

— Это вы, батенька, хватили не туда. А Горная академия — разве плохо? А Казанский собор?

— Тяжести много. Здание должно легко и точно стоять на земле,— ответил Никанор Ильич.

Писатель засмеялся, взял Никанора Ильича за плечи и сильно встряхнул.

Разговор вдруг зашел об Алеше, и мальчик не знал, куда деваться. Никанор Ильич начал «трепать» всем про его рисунки и повторил свои любимые слова:

— Рука у него сама рисует, без всякого умственного напряжения.

— Вот вам и ученик,— сказал писатель, обращаясь к художнику с редкой бородкой и сердитыми глазами.— Все вы позапирались в своих мастерских, учеников не создаете. В стране — революция, а вы — как кроты. А как бывало у старинных художников? Какая вокруг них вырастала замечательная семья учеников! Прекрасная была традиция. Плодотворная и великая. Надо ее возвратить нашему времени. Скупцы вы, прабабку мою напоминаете. Она ассигнации закапывала в землю, чтобы другим не достались. Деньги все сгнили, краска слезла. Она их сушила потом на печке, да что толку: никто их не брал.

Худой человек строго посмотрел на Алешу.

— Попробую,— сказал он.— Возьму его к себе в академию.

— Давно пора,— сказал писатель так сердито, как будто он

говорил об Алеше этому художнику уже целый год.— Великолепные возможности упускаете.

Алеша и не помнил, как они с Никанором Ильичом ушли от писателя.

Над безлюдным Петроградом стояла белая ночь, многоцветные воды тускло поблескивали, и на севере, за черными кущами островов, яснала заря.

— Будешь ты человеком, Алексей,— сказал Никанор Ильич.— Будешь! Слово мое окончательное!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Ботаническом саду на Аптекарском острове небольшой фотографический аппарат был наведен на голую ветку яблони. Стоял март, на ветке едва заметно завязывались почки.

Через каждые три часа аппарат щелкал и делал снимок. Так он щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела.

Алексей Тихонов часто заходил в Ботанический сад. В стволах деревьев, в рисунке листьев, в разросшихся в беспорядке ветвях он находил разнообразие форм и красок, помогавшее ему работать над своими картинами.

Он сдружился, как с человеком, с маленьким черным аппаратом, спрятанным в листве. Аппарат жил одной жизнью с растениями. Он проводил с ними и дни и ночи, когда в оранжереях было так тихо, что можно было услышать шорох земли, всасывающей падавшие с листьев капли. Когда аппарат убрали, Тихонов почувствовал сожаление, будто из оранжереи увели маленького зверя, жившего в траве и никому не причинявшего зла.

Сотрудники Ботанического сада показали Тихонову снятую аппаратом пленку. За пять минут они пропустили ее через проекционный фонарь. Тихонов смотрел на белый маленький экран и видел, как почка на глазах росла, набухала, покрылась клейким соком, лопнула и из нее, потягиваясь, как после сна, распрямляя измятые лепестки, расцвел белый цветок и вдруг весь задрожал от упавшего на него солнечного света.

Когда Тихонов думал о долгих годах, прошедших над его страной и над его собственной жизнью, он вспоминал этот как будто внезапно, но на самом деле медленно расцветший цветок.

Тихонов знал, что годы шли с закономерной, давно вычисленной неторопливостью, что страна менялась с каждым месяцем, и с каждым месяцем в сознание входили новые мысли, желания и цели, определявшие лицо иного человека.

Но вместе с тем ощущение прожитых лет было таким, будто стояло все одно и то же утро и до полудня было еще далеко. Время казалось единым, не раздробленным на скучные отрезки лет. Длился монолитный и величавый год революции.

А между тем у Тихонова на висках уже пробивалась ранняя седина, а у дряхлого Никанора Ильича тряслись руки. Он все чаще отрывался от работы и сидел неподвижно, жалуясь на сердце. Бросать работу он не хотел.

— Помирать уже время,— говорил он,— а я, видишь, работаю. Упираюсь. Почему? Очень просто: я считаю, что должен отблагодарить новую жизнь своей работой, оставить молодым поучительные и богатые подарки.

И он оставлял, старик, эти подарки. Они были в тонкости отделки дерева, в вещах, не уступавших работам лучших мебельных мастеров девятнадцатого века.

— Я самоучка,— говорил он.— Мне бы до хороших образцов дотянуться — и то победа. А вам все дано, молодым,— с вас народ взыщет побольше, чем с нас.

Знаменитый писатель умер. Умер и учитель Тихонова — художник с сердитыми глазами. Умерла и мать Тихонова, Настасья.

Он поехал в Мегры, когда получил письмо от нее с просьбой «приехать, похоронить старуху».

Настасья лежала в избе прозрачная и молчаливая, улыбалась, и зубы у нее блестели, как в молодости. Еще при жизни она рассказала Тихонову, что почти двадцать лет назад приезжал в Мегры какой-то флотский, расспрашивал про деда Семёна, запоротого насмерть, и обещал навестить в Петергофе Алешу.

— Был он у тебя? — спрашивала она тревожно.— Говори: был?

— Нет, мать, не был.

— Как же так? — спрашивала Настасья с недоумением.— Такой высокий, ладный. Я об нем сколько лет все помнила, все тужила. Неужто убили его на фронте?

Она заплакала.

На похороны приехала из Череповца и сестра Тихонова Катя — высокая смуглая девушка. Она работала учительницей, но хотела переменить профессию и стать инструктором по спорту. Она брала призы на гребных состязаниях. Любовь к воде и лодкам была у нее ревнивая и неистовая.

Тихонов взял ее с собой в Ленинград, и через месяц она уже работала на водной станции на Крестовском острове.

Тихонов жил все там же, в Петергофе, в домике Никитина. Ленинград сиял чистотой новых домов. В мраморе, в зеркальных стеклах отражался величественный город, сбросивший прежнюю хмурость, но Тихонов полюбил стариков, не хотел их обижать и по-прежнему жил у них в мезонине.

Где бы он ни был — в Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге, — он всегда знал, что вернется в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, пропахший красками, спиртовым лаком и геранью, — Матрена разводила ее с неизменным упорством.

Деревянные платформы Балтийского вокзала потемнели от росы. Была белая ночь. Электрические поезда на Петергоф ходили без огней. Вагоны мягко гремели на стыках, боясь спугнуть тишину дачных поселков, нарушить безветрие, давно стоявшее над взморьем.

Тихонов спешил в Петергоф. В газетах было опубликовано сообщение о большом празднике искусств в Ленинграде, назначенном на 24 июня. Тихонов хотел порадовать этим сообщением старика Никитина.

Сидя у окна вагона, Тихонов в десятый раз пытался прочесть это сообщение в газете, но свет был очень слаб. Прочесть можно было только напечатанное крупным шрифтом. Тихонов отложил газету и взглянул в окно. Там простиралась неясная и высокая ночь. Единственная звезда преодолела сумрак и медленно пылала над высокими зарослями садов.

«Должно быть, Юпитер», — подумал Тихонов. Он представил себе ночь над Финским заливом, когда во мгле виднеются только три огня: белый огонь маяка в Кронштадте, пепельный огонь Юпитера и тихий золотой блеск на куполе Исаакиевского собора, освещенном зарей. Заря горела тут же, за краем земли. Утро стояло рядом, и жители верхних этажей ленинградских домов видели его всю ночь из своих окон.

Старик Никитин не спал. Он окликнул Тихонова из открытого окна. Старик работал: полировал крышку от старого рояля.

— Газету привез, Алеша? — спросил Никитин. — Говорят, там про наш праздник уже напечатано.

Тихонов особенно любил старика за то, что все относившееся к архитектуре, скульптуре и украшению зданий старик считал своим личным делом. Великий зодчий Захаров, строитель Адмиралтейства, или скульптор Андреев были для него такими же своими и понятными людьми, как и знакомые бронзироващики и плотники.

Старика объединяло с этими людьми знание дела, верный глаз, любовь к материалу — будь то тонкослойное дерево, тертая краска или кусок хорошей звонкой бронзы.

«Должно быть, в этом и заключается преемственность культуры, — решил Тихонов, — в этом тысячелетнем содружестве

мастеров, кто бы они ни были — слесари, плотники, зодчие или поэты».

Никанор Ильич попросил Тихонова прочесть сообщение о празднике. Тихонов прочел его вслух, сидя на подоконнике, и простые слова сообщения показались ему созданными для того, чтобы быть высеченными на камне:

«Социалистическая культура, завоеванная кровью и созданная героической работой трудящихся Союза, уверенно идет по пути непрерывного расцвета. Социалистическая эпоха требует создания монументальных памятников и художественных произведений, которые могли бы запечатлеть и передать потомкам ее величие и ее героическую сущность. Создание этих памятников искусства даст применение разнообразным талантам, которыми так богаты народы, населяющие Союз.

Наш город — город Ленина — является не только колыбелью революции и центром передовой индустрии, но и городом знаменитых мастеров искусства.

Закон усвоения нашим обществом культурного наследства имеет в нашем городе наибольшие основания для своего выражения. Достаточно вспомнить имена хотя бы одних только зодчих — строителей города — Баженова, Растрелли, Воронихина, Захарова и других, чтобы ясной стала мысль, что именно здесь, в городе Ленина, молодая социалистическая страна может учиться законам мастерства у славных художников прошлого.

В связи с тем, что в Ленинграде открываются академии, готовящие мастеров архитектуры, скульптуры, живописи и гравюры, мастеров художественной обработки камня, дерева и металла, фарфорового и гранильного дела, Ленинградский Совет решил устроить в Ленинграде 24 июня большой народный праздник. Основная мысль, которой должен быть отмечен этот праздник, заключается в том, что социалистический город является не только местом расселения людей и средоточием государственных учреждений, общественных организаций и заводов, но и самостоятельным произведением искусства — мощным фактором в деле художественного воспитания масс».

— О чем разговор идет в этом сообщении, как я понимаю? — сказал Никанор Ильич. — О благородстве души человеческой. Я давно примечаю, что народ разный бывает, в полной зависимости от того, что он вокруг себя видит.

— Благородство твое где, — сказала из угла Матрена, — когда заказчик уже телеграмму прислал, тревожится, а крышка у тебя не готова!

— Ничего с ним не сделается, с заказчиком. Заказчик мне все простит за эту крышку. Он у меня моряк, разнообразный

человек. Говорить с ним, прямо скажу, затруднительно. Я ему про черное дерево, а он мне про климат. Я ему про темный лак, а он мне про климат. Замучил меня с этим климатом!

— А что с климатом? — спросил Тихонов.

— А с климатом дело сложное. Ежели оно ему удастся, мы будем самой счастливой нацией в мире. Стоит у него в кабинете срез дуба; лет этому дубу четыреста, если не больше. Ну, понятно, на дубе годовые слои. По-нашему это называется «древесный глаз». Одни слои толще, другие тоньше, есть и совсем тонкие, не шире нитки. Вот он и спрашивает: «Что ты перед собой видишь, Никитин, мудрый человек, всезнающий мебельщик?» — «Слои как слои, — говорю. — Дубовый слой тоже имеет красивый вид, ежели его с умом отполировать». А он начинает спорить: «Не в полировке дело, а в точных выводах. Я, говорит, немного и метеоролог и ботаник. Каждый год слой нарастает в зависимости от влаги. В дождливое лето слой растет больше, в засушливое — меньше, и по этому дубу можно рассказать на пятьсот лет назад, какой климат его окружал». — «А к чему вам это знать? — спрашиваю. — Есть ли из этого хоть самая малая польза для нашего брата — человека?» — «Есть, говорит, только рассказывать долго. Пока скажу тебе одно: прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь; а вещь эта заключается в том, что были времена, когда у нас стоял климат теплый и веселый, как на острове Цейлоне. Леса из магнолий росли кругом по берегам Финского залива. Мы, говорит, будем стараться этот климат вернуть. Сделать это, говорит, можно, и нет в этом никаких чудес».

— Помереть не дадут спокойно! — пробормотала Матрена. — Герани им не хватает, старым дуракам, давай им магнолию!

— Герань против магнолии — дрянь! — рассердился Никанор Ильич. — У герани лист надоедливый, шерсткий. Ты со мной не заводишь, старая!

Старики заспорили. Тихонов попрощался и ушел к себе в мезонин. Из окон был виден залив. Птица зашевелилась в сырых ветвях и осторожно крикнула, будто кого-то позвала. Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара.

Тихонов постоял в раздумье у окна, потом осторожно спустился и пошел в дворцовый парк.

Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Электрический огонь казался крикливым. Он как бы останавливал медленное течение ночи, уничтожал тайны, свернувшиеся, как невидимые пушистые звери, в углах комнаты, делал вещи неприятно реальными, более реальными, чем они были на самом деле.

В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Поблескивали золоченые статуи. Фонтаны ночью молчали, не было слышно их бы-

строго шороха. Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко.

Каменные лестницы около дворца были освещены зарей; желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон.

Дворец просвечивал сквозь неясную темноту деревьев, как одинокий золотой лист светится ранней осенью сквозь гущу еще свежей и темной листвы.

Тихонов пошел вдоль канала к заливу. В канале меж заросших тиной камней плавали маленькие рыбки.

Залив был чист, спокоен. Над ним лежала тишина. Море еще не просыпалось. Только розовый отблеск воды предвещал близкий восход солнца.

Океанский пароход шел к Ленинграду. Заря уже горела в его иллюминаторах, и легкий дым тянулся за кормой.

Пароход затрубил, приветствуя великий северный город, конец трудного морского пути. Далеко в Ленинграде, где уже светился бледным золотом шпиль Адмиралтейства, ему ответил протяжным криком другой пароход.

В канале стояли шлюпки. На них, укрывшись брезентом, спали молодые матросы. Тихонов видел их румяные от сна лица, слышал изредка легкий храп. Предрассветный ветер задувал с моря и шевелил листья над головой.

Тихонов прошел на берег. Никого не было, только в самом конце пристани на деревянной скамейке сидела какая-то женщина.

«Что она здесь делает в такой час?» — подумал Тихонов. Черный облезлый кот осторожно ходил по сырому настилу пристани и после каждого шага брезгливо тряс лапой.

Тихонов остановился у перил и заглянул в воду. Кот тоже заглянул, и глаза его сразу почернели: около свай шевелила хвостами стая серебряных длинных рыб.

Женщина встала и пошла к Тихонову. Он смотрел на нее, и чем ближе она подходила, тем все яснее, как из тумана, звучали легкие шаги, и уже была видна ее смущенная улыбка. Маленькая шляпка бросала тень на ее лоб, и поэтому глаза казались очень блестящими. Шелковое платье цвета морской воды поблескивало и шуршало, и Тихонов подумал, что женщине, должно быть, холодно, — предрассветный ветер, как бы он ни был тепел, всегда несет с собой запах снега.

Женщина подошла. Тихонов взглянул ей в лицо и догадался, что это иностранка.

— Скажите... — произнесла женщина медленно, и легкая морщинка появилась у нее между бровей. — Скажите, скоро будет пароход в Ленинград?

Она, видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом.

— Через два часа. Поездом вы доедете скорее.

Женщина отрицательно покачала головой:

— Поездом нет. С поезда я не могу искать в Ленинграде дорогу домой.

— Почему вы здесь в такое время? — спросил Тихонов.

— Я опоздала на последний пароход. Очень глупо. Я сидела всю ночь здесь. Только я и вот этот страшный кот.— Она показала на черного кота и засмеялась.

— Вы француженка? — спросил Тихонов и покраснел: вопрос показался ему бестактным.

Женщина подняла голову. В твердом овале ее лица и маленьком подбородке было одновременно что-то французское и северное.

— О нет! — сказала она протяжно.— Я шведка. Но я говорю по-французски.

Тихонов смотрел на нее, но думал о себе. Он старался представить себя со стороны.

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе взрослых. Его сверстники были уже маститые люди и по внешности и по своему душевному складу. Тихонов же еще плохо верил в свою талантливость и любил все, что любят мальчишки: рыбную ловлю, поезда, вокзалы, лыжи, пароходы и путешествия.

Перед людьми, равными ему по возрасту, он часто терялся, чувствовал себя связанным, знал, что он совсем не такой, каким его представляют другие. Когда он читал о себе в газетах или слышал разговоры товарищей-художников о своей одаренности, он оставался равнодушным, как будто речь шла не о нем, а о его однофамильце или двойнике.

Он знал, что до сих пор его лучшая картина еще не написана, и потому искренне удивлялся шуму, который все чаще подымался вокруг его вещей.

Сейчас он подумал о себе потому, что с особенной силой ощутил себя мальчиком. Он растерялся перед незнакомой женщиной, бывшей моложе его.

Женщина тоже смутилась и, наклонившись, чтобы спрятать лицо, гладила облезлого кота. Кот вопросительно смотрел на нее и мяукал.

Взошло солнце. Сады начали разгораться, сбрасывая расцветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила.

Залив покрылся полосами света и тумана. Далеко по воде катился глухой крик парохода, подходившего из Ораниенбаума. Пароход шел в Ленинград.

Худощавый хромой смотритель пристани вышел с удочка-

ми на дощатый настил. Он поздоровался с Тихоновым и спросил:

— Что это вы, Алексей Николаевич, так рано собрались в Ленинград?

— Нет, я провожаю,— ответил Тихонов.

Смотритель развернул удочки, сел, свесив ноги с пристани, и начал удить. Он изредка посматривал на Тихонова и незнакомую женщину и сказал про себя со вздохом:

«Мысль о потерянной молодости угнетала его дряхлое сердце».

У него клюнуло, он выругался и вытащил маленькую рыбку.

Подошел пустой пароход. Тихонов проводил женщину до схода. Она протянула ему руку и рассеянно посмотрела в глаза.

— Прощайте,— сказала она и отвернулась.— Благодарю вас.

— Граждане пассажиры,— сказал с мостика капитан,— пора!

Она взошла по сходням. Пароход сердито закричал, медленно попятился и повернулся носом в море. Высокие вежи блестели на воде.

Тихонов увидел незнакомку на палубе. Ветер обтягивал платье около ее высоких ног и хлопал кормовым флагом.

Тихонов пошел к берегу. Около смотрителя он оглянулся. Женщина все еще стояла на палубе.

— Какое лето! — сказал смотритель.— Я еще никогда не видел такого лета на Балтике. Сплошное солнце.

Тихонов согласился, неторопливо отошел от пристани, но когда скрылся за деревьями парка, быстро пошел к вокзалу.

Первый поезд на Ленинград отходил в шесть часов. Тихонов ждал его, волнуясь и глупо надеясь, что поезд отойдет раньше.

В Ленинграде он взял такси и приказал везти себя на Петергофскую пристань. Город пестрел полосами утреннего света и теней. Сторожа поливали в скверах цветы. Медленный дождь падал из брезентовых рукавов, разлетаясь под ветром. На мостах в окна машины бил невский ветер.

У пристани стоял знакомый пароход. Он был пуст. Босой матрос мыл палубу шваброй.

— Давно пришли из Петергофа? — спросил Тихонов.

— Минут десять.

Тихонов вышел на набережную. Только что она была здесь, может быть, минуту назад. Он знал это по блеску воды, по солнечным отсветам, перебегавшим вдоль гранитных берегов, по добрым глазам чистильщика сапог, задумавшегося над своими щетками, по легкому полету облаков в небе.

...Щедрин жил в новом маленьком доме, выстроенном около водной станции на Крестовском острове.

Все комнаты в этом доме были расположены на разном уровне. Из комнаты в комнату вело две-три ступени, и это придавало дому особенный, морской уют, тем более что на второй этаж поднимались лестницы с медными поручнями, похожими на трапы, а круглые окна в коридоре напоминали иллюминаторы.

Щедрин сильно поседел, и когда писал, то надевал очки. Он преподавал метеорологию и астрономию в Морской академии.

В его кабинете стояло много медных приборов и висели карты, исчерченные синим и красным карандашами. Приборы теплились в ясные дни, как свечи.

Чистота в доме была корабельная. Убирал комнаты Винер. В бою под Елабугой он потерял руку и с тех пор уже не мог управлять своими любимыми машинами.

Щедрин переписывался с Якобсенами и доктором в Мариегамне. В начале июня из Стокгольма приехала погостить на два месяца Мария Якобсен. И Щедрин и Винер звали ее Мари.

Присутствие молодой веселой женщины преобразило комнаты, бывшие до тех пор спокойными и точными, как астрономические приборы. Появился легкий, приятный беспорядок. Женские перчатки лежали на секстантах, цветы осыпались на письменный стол, на рукописи с вычислениями, запах духов и тонких тканей проникал всюду из комнаты Мари на втором этаже, серебряная бумага от шоколада валялась на диване рядом с раскрытой на середине книгой. Мари жадно читала, чтобы лучше изучить русский язык.

Около портретов Анны Якобсен, Павла Бестужева и матери Щедрина Мари всегда ставила на столик букеты листьев, ветки лип, цветы гелиотропа. Раньше дом был похож на корабль, теперь он стал похож еще и на оранжерею.

Мари была безрассудна и тревожила этим Щедрина. Она оставалась все такой же, как в Мариегамне, когда спорила у него с рукава золотую нашивку.

Она радовалась свободе, была в восторге, что могла одна ходить по городу, радовалась всему, что видела в Ленинграде: дворцам и театрам, жизни, лишенной стеснительных правил и нравоучений, простоте отношений между мужчинами и женщинами, между рабочими и учеными и, наконец, тому, что всюду на нее смотрели с улыбкой. Она в ответ тоже улыбалась, хотя и старалась сохранить на лице строгое выражение красивой и немного разочарованной женщины.

Особенно беспокоили Щедрина прогулки Мари. Она уже два раза заблудилась. Однажды ее привел домой худенький пионер, позвонил, сдал с рук на руки и сказал Винеру серьезно:

— Будьте добры, не пускайте ее одну на улицу. Я веду ее от самого Смольного.

Мари расцеловала пионера, втащила его в комнаты, показала модель «Смелого», инструменты, карты, картины, изображавшие морские бури и штили. Мальчика напоили чаем, дали ему конфет, и он ушел счастливый и оглушенный.

Второй случай был гораздо хуже. Мари уехала в Петергоф, опоздала на последний пароход и всю ночь в одном легком платье просидела на Петергофской пристани.

Щедрин в два часа ночи начал звонить во все отделения милиции, поднял на ноги десятки людей, а потом, когда Мари нашлась, ему пришлось извиняться и выслушивать шутливые замечания дежурных.

— Глупости! — сказала Мари за утренним чаем. Глаза ее сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать. — В вашей стране я ничего не боюсь. Я даже смело подошла ночью к одному человеку на пристани, и мы долго беседовали.

— О чем? — спросил Щедрин.

— Обо всем, — ответила Мари. — А потом пришел хромой человек удить рыбу и поклонился мне, как старой знакомой.

— Да это же, должно быть, Акерман! — воскликнул Щедрин. — Вот старый черт! Он все еще ловит рыбу?

— Да, — сказала Мари. — Вместе с черным котом. Как в сказке.

Мари спала до вечера. Окна были открыты. Ветер перелистывал книгу, забытую на окне. Он переворачивал страницы то вперед, то назад, разыскивая любимые строчки, наконец нашел их и затих: «Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».

Мари проснулась от шелеста в комнате. Ветер сбрасывал со стола разорванные конверты. Было сумрачно. Далеко на взморье громыхнул и покатился в пропасть железный гром.

Мари вскочила. Молния зажглась за окнами, задрожала и погасла в глубине зашумевших садов.

Мари быстро умылась, оделась и сбежала вниз. Щедрин сидел у рояля.

— Гроза, — сказал он Мари. — Вы спали девять часов.

— Что вы играете? — спросила Мари и села в кресло, поджав ноги.

Она смотрела за окно, где горячий ветер уже бушевал в садах и швырял на подоконники сорванные листья. Один лист упал на рояль. Крышки на рояле не было, и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:

— Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.

Мари засмеялась.

— Не смейтесь,— сказал ей Щедрин и тронул струны.— Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый климат¹. Не знаю, учили ли вы в Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных обледенений.

Мари поежилась.

— Не нужно их больше,— серьезно сказала она.

— Конечно, не нужно. Обледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятно, но я скажу только, что мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.

— Теплый?

— Очень,— ответил Щедрин.— Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!

— Что это значит — одуреть? — спросила Мари.

— Писать стихи, влюбляться в девушек — одним словом, сходить с ума.

— Очень хорошо! — сказала Мари.— Но что нужно для этого?

— Пустяки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные работы, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.

— Как вы дошли до этого?

Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.

— А это зачем? — сказал он.— Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.

Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть поэтому, от луж долетали маленькие волны озона.

— Сыграйте,— попросила Мари.— Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.

— Это не сказки,— сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина».— Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.

Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она? Кто этот человек —

¹ Миоценовый климат — теплый, почти тропический климат, бывший в Европе во время миоцена — отдаленной геологической эпохи. (Примеч. автора.)

худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.

Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.

Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.

Мари пошла к Летнему саду.

Она побродила по сырым аллеям сада, вышла на Лебяжью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.

Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.

Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными акварелью. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение,— но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.

Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.

Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колоннад, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.

Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стекланный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.

За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.

Милиционер открыл глаза.

— Начинается подготовка,— сказал он Мари.— Освещают лучшие здания.

— Какая подготовка? — спросила Мари.

Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.

— К празднику,— сказал милиционер.— В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград. Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не насмот-

рюсь. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь — горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.

Мари застенчиво улыбнулась.

— Я в гребной школе учусь, — сказал милиционер. — Выезжаю на аутригере¹ в море. Выплывешь вечером — города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на берег возвращаться неохота.

— А вы где стоите в городе? — спросила Мари.

— Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.

— Я шведка.

— А-а-а... — сказал милиционер. — Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.

На пристани у реки Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.

— Я не боюсь, зачем! — смущенно говорила Мари. — Вы работали, устали.

— Да вы не беспокойтесь, — уверял ее милиционер. — Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда — прямо в Сестрорецк. На выдержку.

У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она подумала: что сказали бы ее подруги в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.

К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору.

Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прибыть из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков — встречу двух поколений.

После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.

Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во

¹ А у т р и г е р — особый тип гоночной легкой лодки. (Примеч. автора.)

всем разнообразию ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья.

Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.

Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это «что-то» было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом. В его сознании все слилось в один сверкающий круг: далекий гудок океанского парохода, золотое мерцание города в утренней мгле, тишина воды, шаги женщины, хромой смотритель пристани и его слова о необыкновенном балтийском лете.

В таком состоянии Тихонов начал работать над украшением Петергофа. Работая, он думал о своем времени, о стране и о ней, незнакомке.

Ему вспомнились слова знаменитого писателя, того, что взъерошил когда-то ему волосы и обозвал «пузырем». Он перечитал все его книги и статьи. В одной из статей писатель говорил своему юному современнику:

«Когда будете писать — думайте о ней, хотя бы ее и не было, и о превосходных людях, которым вы — тоже превосходнейший человек — искренне и просто и очень задушевно рассказываете о том, что известно только вам, что необходимо узнать и ей и всем им, — понимаете?»

Она была. И Тихонов думал о ней, думал, что она пройдет здесь, увидит всю прелесть земли, украшенной им, и почувствует, так же как и он, дыхание свободной и веселой страны, куда она приехала как гостя.

Никанор Ильич страшно взволновался, узнав, что Тихонову поручили украшать Петергоф. Несколько дней он волновался впустую. Поговорить было не с кем. Матрена была туга на разговоры, а Тихонов слишком занят. Поэтому старик обрадовался до слез, когда в Петергоф приехала Катя. Приехала она к брату поговорить о том, как украсить к празднику свои лодки и яхты.

От Тихонова она спустилась к старикам, и Никанор Ильич тотчас затеял с ней разговор.

— Люблю я праздники, — сказал Никанор Ильич. — Праздник, я полагаю, иной раз человеку больше нужен, чем хлеб насущный.

— Ох, господи! — вздохнула Матрена. — Сил нет! Уйми хоть ты его, Катюша, проклятушего.

— Тихо! — грозно сказал Никанор Ильич и закашлялся. — Сама к празднику дом будешь мыть, чистить. Небось старые свои обноски не наденешь. Почему это, спрашиваю? Ответь!

Катюша кое-как помирила стариков и ушла. А вечером Никанор Ильич слег. Он жаловался на боль в сердце и позвал к себе Тихонова.

— Алеша...— сказал он и вдруг заплакал.

Матрена тоже сморкалась в своем углу.

— Слабость у меня сердечная. Неужто окочурюсь и ничего не увижу? А мне бы, дураку, жить и жить. Любопытство меня жжет. Все норовил подняться к тебе, посмотреть эскизы — чего ты придумал к празднику, — да боюсь помешать.

Тихонов принес старику эскизы. Никанор Ильич долго смотрел на них, потом похлопал Тихонова по плечу.

— Люблю я в тебе, Алеша, совершенство, — сказал он. — Ты настоящий. Слово мое окончательное.

Прощаясь, он попросил, чтобы Тихонов, когда будет в Ленинграде, заехал к заказчику и передал, что крышка от рояля готова и ее можно забрать.

Только на второй день Тихонов разыскал по адресу, данному Никанором Ильичом, маленький дом в саду на Крестовском острове. Накрапывал дождь, земля пахла прибитой дождем пылью.

Открыл Тихонову белобрысый старик без одной руки — Винер. Тихонов спросил гражданина Щедрина. Винер ввел его в комнату с настежь открытыми окнами.

На стене Тихонов увидел два портрета прекрасной работы. На одном был изображен офицер в черном мундире, на другом — молодая женщина с высоко взлетающими, нервными бровями. В ней было ясно осязаемое сходство с незнакомкой, встреченной на пристани.

Тихонов провел рукой по лбу, как бы стараясь отогнать навязчивую мысль, но женщина смотрела на него уже знакомыми глазами, и он невольно все ближе подходил к портрету и все пристальнее вглядывался в него.

Кто-то вошел, но Тихонов обернулся не сразу: ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от портрета.

За спиной Тихонова стоял высокий седой моряк и внимательно смотрел на него.

— Я к вам от Никанора Ильича, — сказал Тихонов. — Он болен. Он просил передать, что крышка от рояля готова. За ней можно приехать.

— Садитесь, — сказал моряк и показал Тихонову на кресло.

Если бы Тихонов сел в него, то очутился бы спиной к портрету. Тихонов шагнул к креслу, но передумал и сел в другое — так, чтобы видеть портрет.

Моряк все так же внимательно смотрел на Тихонова.

— Благодарю вас, — сказал он. — А что с Никанором Ильичом?

— Сердце,— коротко ответил Тихонов.

— Вы его сын?

— Нет, я его бывший ученик.

— Вы, очевидно, художник?

— Да.

— Я догадался, когда увидел, как вы вглядываетесь в этот портрет.

— Великолепная работа! Кто это?

— Это прекрасная женщина, дочь одного старого шкипера с Аландских островов.

— Она шведка? — быстро спросил Тихонов.

— Да. Ее звали Анна Якобсен. Ее жизнь была связана с очень трагическими обстоятельствами. Это жена офицера Павла Бестужева, убитого на дуэли на Аланде в начале прошлого века. Она сошла с ума.

— Моего прадеда,— сказал Тихонов,— тоже убили в Финляндии, но только не на дуэли. Его заporоли. Он был простой солдат.

— Позвольте,— сказал моряк,— когда это было?

— Я думаю, что тоже в начале прошлого века.

Моряк встал и подошел к окну. Он посмотрел на дождь, сыпавшийся пылью в лужи на дорожках, потом обернулся и спросил:

— Вы родом не из деревни Мегры на реке Ковже?

— Да, — сказал удивленно Тихонов. — Откуда вы это знаете?

Моряк не ответил.

— Ваш прадед,— сказал он,— похоронен в одной могиле с Павлом Бестужевым. Оба они были убиты в один и тот же день. Их связывала общая судьба. Ваша фамилия Тихонов?

— Да.

— Наконец-то! — Моряк широко улыбнулся и крепко, обеими руками, пожал руку Тихонову. — Меня зовут Щедрин. Я вас долго искал, потом бросил. Во время войны я служил на Аландских островах. Там я узнал подробную историю гибели Павла Бестужева. Он был вольнодумец. Он спас от казни декабриста и был убит на дуэли из-за столкновения с командиром полка. Я был на его могиле и удивился тому, что он зарыт не один, а вместе с солдатом Тихоновым. Я старался узнать, чем были связаны эти два человека — Тихонов и Павел Бестужев, — но никто не мог мне этого объяснить. Местные жители ничего не знали, рыться же в архивах я не мог. Мне бы не дали, да и было тогда совсем не до этого: началась революция. Мне попало в руки предсмертное письмо Бестужева. В нем я нашел просьбу сообщить о смерти солдата Тихонова его родным, в деревню Мегры на реке Ковже. Во время гражданской войны я

случайно попал в Мегры, разыскал потомков солдата Тихонова и видел вашу мать.

— Она меня спрашивала о вас,— перебил Тихонов.

— Она умерла? — спросил моряк.

— Да.

— Я нашел вашу мать, но она ничего толком об этой истории не знала. Она дала мне ваш адрес и просила найти вас, но адрес пропал в бою с колчаковской флотилией под Елабугой. Память у меня плохая, я никак не мог его вспомнить... Но все-таки мы встретились! — Щедрин засмеялся. — Ну, теперь я вас не выпущу. Давайте сюда шляпу.

Он отобрал у Тихонова шляпу, принес бутылку вина, печенье и папиросы.

— Выпьем по этому случаю,— сказал он. — Хорошее слабое вино. Его особенно приятно пить в такую серенькую погоду.

Тихонов выпил и почувствовал легкое головокружение. Все события последних дней казались ему невероятными, а встреча с Щедриным еще усилила это ощущение.

— В последнее время,— сказал он Щедрину,— я попал в полосу необыкновенных встреч.

— Тем лучше. Пейте. Недавно приехала с Аландских островов моя родственница, девушка, правнучка Анны Якобсен. Ее зовут Мари. Она мне рассказала более подробно о судьбе вашего прадеда. Приемный отец этой девушки — дряхлый чуждак доктор — затеял писать историю Аландских островов. Он перерыл все архивы и нашел указания, что солдат Тихонов был засечен шпицрутенами за то, что вместе с Павлом Бестужевым помог спастись декабристу... Давайте выпьем за наших дедов!

Вино казалось Тихонову растворенными в холодной воде осенними листьями.

Тихонов плохо слушал Щедрина.

«Это она!» — говорил он себе, и сердце его билось до боли.

Он хотел услышать в комнатах женские шаги, но ничего не доносилось, кроме стука стенных часов и отдаленных гудков автомобилей.

«Где же она? Надо дожидаться ее, чтобы окончилось это страшное незнание. Может быть, это совсем другая? Может быть, в комнату войдет белобрысая девушка в очках и с крикливым голосом? Я дурак,— думал Тихонов. — Мне давно пора уходить. Пора. Надо встать».

Тихонов уже готов был встать и попрощаться с Щедриным, но его остановила мысль о портрете. Сходство было слишком разительным. Он снова взглянул на портрет и увидел те же нервные, взлетающие брови и маленькую печальную складку в углу рта.

— Что с вами? — спросил Щедрин, заметив рассеянность Тихонова. — У вас усталый вид.

— Я много работаю. Мне поручили украшать Петергоф. Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!

Оставаться дольше было невозможно. Тихонов поднялся. Щедрин взял с него слово, что он в первый же свободный вечер придет на Крестовский остров, пообещал навестить больного Никанора Ильича, и они расстались.

Тихонов шел через сад, и, пока он прошел это небольшое расстояние, сотни мыслей пронесли у него в голове.

Тихонов впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа. Все это было давно мертво. О нем если и вспоминали, то с неохотой.

Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда — николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в заношенную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова.

Дождь прошел. Тучи медленно сваливались к югу и открывали на западе пустынное небо.

У калитки Тихонов столкнулся с женщиной. Он посторонился и поднял голову. Это была она, петергофская незнакомка.

Она держалась за железную решетку и смотрела на Тихонова. Тихонов снял шляпу.

— Как хорошо, — сказал он, — что я вас снова встретил! Город так велик, а вы, должно быть, не единственная шведка в Ленинграде.

Мари молчала. Рука ее медленно разжалась, на перчатке осталось серое пятно от решетки. Она прислонилась к ограде и быстро сказала:

— Да, да... Говорите.

— Что? — спросил Тихонов. — Что я могу сказать сейчас? Вы уже, пожалуй, знаете все сами.

— Если бы я знала... — сказала Мари и улыбнулась. — Пойдемте.

Она крепко взяла Тихонова за руку выше кисти и, как мальчика, повела за собой. Они молча шли по улице. Пустынное небо лежало у них под ногами, отраженное в лужах дождевой воды.

— Я был уверен, что вновь встречу вас, — сказал Тихонов. — Невозможно было не встретить.

Мари наклонила голову, как бы соглашаясь с ним.

Они вышли на пристань речных катеров.

— Поедем в город,— сказала Мари.— Вы покажете мне ваши любимые места. Этот город создан для того, чтобы бродить по нему ночи напролет.

У Мари немного болела голова. Она часто прикладывала ладонь к глазам и болезненно улыбалась.

На катере Тихонов рассказал Мари обо всем, что он узнал от Щедрина: об Анне Якобсен, о Павле Бестужеве и о своем прадеде.

— Значит, Анна завещала мне вас,— задумчиво сказала Мари.

До поздней ночи они ходили по городу. Он был в этот вечер особенно прекрасен. Он возникал перед ними мощными колоннадами зданий, горбатыми арками безлюдных мостов, бронзовыми памятниками и кущами столетних лип.

Нева несла огни в глубокой воде. Игла Адмиралтейства блистала над рекой, воспетой поэтами.

Они останавливались около чугунных решеток, смотрели сквозь них на полумрак садов, и Тихонов говорил о воплощенных мечтах знаменитых зодчих, создавших в северных болотах и лесах этот блистательный город. Это был город великих воспоминаний и не менее великого будущего.

Они шли вдоль набережных Невы. Мальчишки ловили рыбу с гранитных парапетов. У берега около какого-то сада стоял пришвартованный стальными тросами старый военный корабль. Ветки лип опускались над его палубой и орудиями, закрытыми брезентом.

— Это «Аврора»,— сказал Тихонов.— Вы знаете?

— Знаю,— ответила Мари.

Они прошли через площадь, где медный всадник скакал на север, и вернулись к Мойке.

На Мойке среди свай, высоких зданий и позеленевших гранитных берегов стояла летняя ночная тишина. Они облокотились о перила и смотрели на воду. В ней дрожала синяя звезда.

— Мари,— сказал Тихонов,— оглянитесь: в этом доме умер Пушкин.

Мари обернулась. Она смотрела на окна, на выступ дома, почти висевший над водой, на каменные, истертые столетиями тумбы, на одуванчики, проросшие среди плит по обочинам узкого тротуара.

— Сюда его привезли, когда он был ранен? — спросила она.

— Да. Его внесли вот в эту дверь.

— Может быть, здесь капала его кровь,— сказала Мари и посмотрела на Тихонова с виноватой улыбкой.

— Это были годы,— сказал Тихонов,— когда был убит Павел Бестужев и мой прадед, и Анна умерла от горя. Лучше всего об этом времени сказал сам Пушкин.

— Как? — спросила Мари. — Что он сказал?

— Простые слова: «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне — унылой и приятной». Правда, хорошо?

Мари не позволила Тихонову провожать себя. Они расстались у Летнего сада. Мари протянула Тихонову обе руки, резко вырвала их и быстро сбежала по каменной лестнице к пристани.

...Тридцать прожекторов поднялись в небо над Петергофом и перепутали свои лучи со звездами. Так начался ночной праздник.

Миноносцы, неся на бортах и мачтах цепи огней, мчались, разбивали в пену воду залива и, круто повернув, стопорили вблизи Петергофской пристани.

С палуб миноносцев морякам открывалось невиданное зрелище. Дворец пламенел хрустальным пожаром. Водопады лились среди мрамора и бронзы.

Молодые краснофлотцы и старые командиры подымались по лестницам к дворцу.

Стеклянные чашечки, полные чистого огня, горели по сторонам. Фонтаны били, теряясь в темноте нависших деревьев. Здесь, в парке, явственно ощущались тяжесть и запах листвы, воздух небывалого лета.

Окна дворца были распахнуты настежь.

На балконах, в синих и белых залах стояли моряки, отраженные в зеркалах. Зеркала повторяли их смех, улыбки, загорелые лица.

Испуганные птицы проносились сквозь этот блеск, слепли, ударялись о струи фонтанов и в брызгах и шуме крыльев улетали в ночь, к заливу. Там отражалось в воде привычное небо, забытое на этот вечер людьми.

Но вскоре заговорил и залив. Невидимые форты загремели, выбрасывая вспышки огня: Кронштадт салютовал сто одним выстрелом в честь великого города.

За гулом канонады не было слышно говора самолетов, разлетающихся по всем румбам горизонта и оставляющих за собой световые дорожки.

Потом как будто звездное небо начало падать на землю: самолеты сбросили сотни огненных шаров. Воздушные течения качали их над землей и перепутывали. Они то уносили шары к заливу широкими взмахами — и весь залив пылал, казалось, до самого дна их отражениями, — то сгущали их в облака света, сиявшие над потрясенными берегами.

Ленинград сверкал над Невой, как драгоценный камень. Никогда еще благородство его перспектив не было так ощутительно.

Мари со Щедриным и Винером приехали в Петергоф очень рано.

На террасе дворца Щедрина остановил Никанор Ильич. Матрена, в черном шелковом платье, испуганная и раскрасневшаяся, вела его под руку, — старик слеп от огней и передвигался с трудом.

— Большую красоту народ себе отвоевал, Александр Петрович, — сказал старик Щедрину и украдкой вытер набежавшую слезу. — Большую красоту!

Щедрин вспомнил зимнюю ночь, когда он с матросами шел по льду из Кронштадта в Петергоф и отогревался в сторожке у красногвардейца.

— Никанор Ильич, — спросил он, — так это вы в восемнадцатом году охраняли дворец?

— Я, милый, я. И моя доля есть во всем этом совершенстве.

Глаза Мари блестели, но лицо было строгим и бледным. Никанор Ильич посмотрел на нее. Мари вопросительно улыбнулась.

Она взяла старика под руку и повела во дворец.

По пути их встретил Акерман, выбритый и сухощавый, в парадной морской форме. Глаза его лукаво смеялись. Он поздоровался со всеми и сказал Щедрину:

— Саша, ты, я помню, когда-то смеялся над сказками. Тебе стыдно, скажи?

— Замолчи, дурак! — сказал Щедрин. — Это ты не верил, что доживешь до хороших времен.

— Стуча костылем, — сказал Акерман, — он проходил среди криков народного ликования.

Они вошли во дворец. Моряки расступились. Сдержанный гул прошел по их рядам. Мари осторожно вела дряхлого рабочего. Сзади шла Матрена, а за ней — Щедрин, Винер и Акерман.

Шепот прошел и стих, потом прошел снова: позади взволнованной молодой женщины моряки увидели легендарного капитана Александра Щедрина, прославленного победами над флотилией белых, создателя знаменитой теории о возвращении в Европу климата миоцена.

На площадке лестницы ждал Тихонов. Он видел Мари, и ему казалось, что он не сможет выдержать минут ее приближения. Он думал, что ни одно искусство в мире не может передать красоту молодой женщины, любящей и счастливой.

Моряки собрались в большом позолоченном зале. Люстры звенели, и свечи, зажженные для праздника, тонко дрожали.

Мари остановилась с Тихоновым около окна. Щедрин прошел вперед и повернулся к морякам. Седая его голова белела на темном полотне картины, висевшей за его спиной. Картина изображала старинное морское сражение. В глубине зала играл оркестр.

Щедрин поднял руку. Оркестр умолк. Два поколения моряков затаили дыхание.

— Друзья! — сказал Щедрин. — Старые и молодые моряки! Надо ли говорить о том, что каждый носит в сердце, — говорить о гордости своей эпохой, своей родиной! Мы призваны охранять страну, создающую счастье для трудового человечества. Мы дрались за нее. Мы побеждали в прошлом и будем побеждать всегда. Каждый из нас отдаст всю кровь, силы, все мужество для того, чтобы могли спокойно работать и процветать наша страна и ее культура.

Не только мы одни создавали ее. Мы, поколение победителей, не можем быть неблагодарными. Мы всегда будем беречь в своем сердце память о рабочих и крестьянах, поэтах и писателях, ученых и художниках, философах, солдатах и матросах, погибших за народное счастье в далекие времена, отделенные от нас десятками и сотнями лет.

Позвольте мне вместо праздничной речи рассказать вам простую историю, случившуюся больше ста лет назад...

Моряки зашевелились и стихли. Щедрин коротко рассказал историю гибели солдата Семена Тихонова, Павла Бестужева и Анны Якобсен.

Иногда он умолкал и проводил рукой по волосам, стараясь не выдать своего волнения.

— Павел Бестужев перед смертью оставил письмо. Я прочту из него несколько строк.

Щедрин вынул письмо. Свет от люстр был слаб, при нем было трудно читать. Молодой матрос взял с камина канделябр, стал рядом с Щедриным, и чем дальше читал Щедрин, тем заметнее наклонялся канделябр и тем чаще капли воска падали на паркет.

— «Я знаю, — читал Щедрин, — и ты должна знать это вместе со мной, что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель, — читал Щедрин, и легкий гул шел по рядам моряков, как будто они повторяли за ним вполголоса слова этого письма, подобно словам присяги, — наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительной силой. Пренебрежение к счастью народа будет считаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли...»

Мари вздрогнула. Зал гулко вздохнул, все моряки встали.

— «...будет раздавлено в пыли,— повышая голос, продолжал Щедрин,— и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев. Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны...»

Моряки слушали стоя.

— «Я завидую им,— голос Щедрина нарастал и подымался до грозного крика,— и кричу в душе: «Не забывайте нас, счастливы!»

Мари глазами, полными слез, смотрела в окно.

В зале молчали.

— Друзья,— сказал Щедрин,— еще всего несколько слов. Потомок солдата Семена Тихонова — один из лучших наших художников. Великолепием этого праздника мы обязаны ему. Правнучка Анны Якобсен, умершей от горя,— среди нас. Она приехала в нашу страну. Она нашла здесь новую родину и счастье. О нем я не могу говорить.

Щедрин замолчал. Тогда в глубине зала встал Акерман и крикнул:

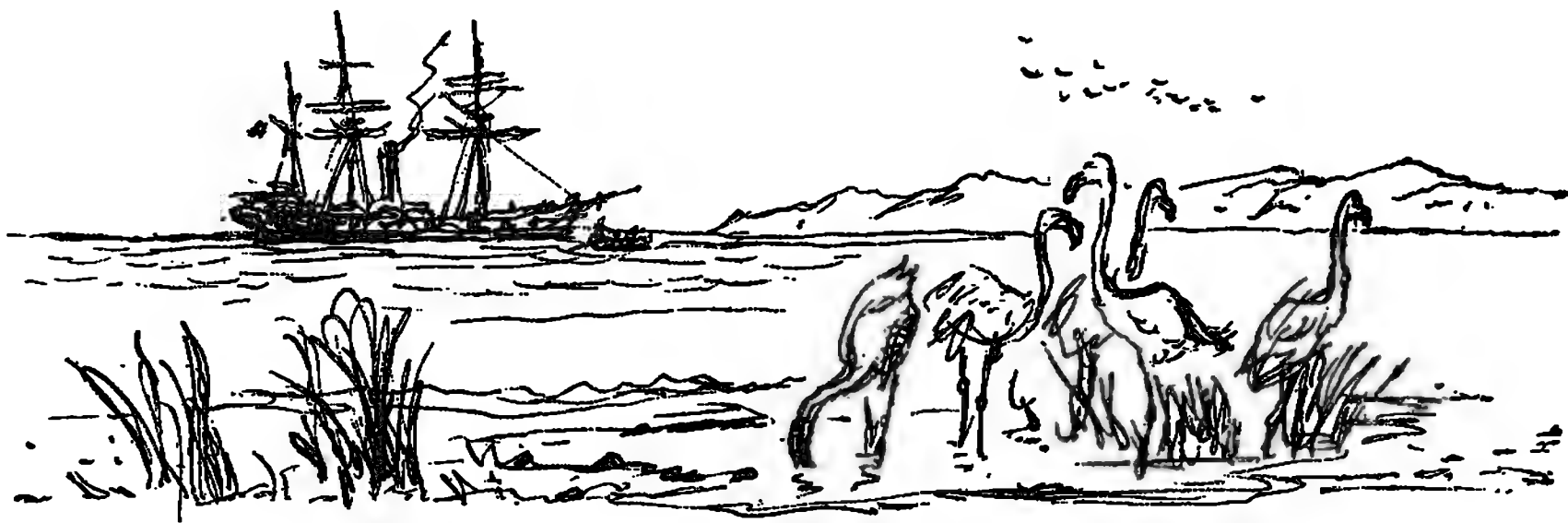
— А внук спасенного декабриста — это ты!

Зал вздрогнул от бури приветственных криков.

Широкое пламя блеснуло в окнах. Моряки оглянулись. Над Ленинградом подымались к небу сотни световых потоков.

Но Щедрин не смотрел на огни Ленинграда. Он смотрел на Мари, потому что нет в мире большей красоты, чем лицо молодой женщины, любящей и счастливой.

КАРА-БУГАЗ



ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЛЕЙТЕНАНТА ЖЕРЕБЦОВА

На Каспийском море нет прибрежий, столь решительно и во всех отношениях негодных.

Путешественник Карелин

«Спешу уведомить вас, что просьбу вашу я уважил и везу вам из плавания двух редкостных птиц, убитых мною в заливе Кара-Бугазском. Корабельный наш провизионер решился оных птиц обделать в чучела, каковые и стоят теперь в моей каюте. Птицы эти египетские, носят имя фламинго и покрыты розовым, тончайшей красоты оперением. Пребывание их на восточных бережьях Каспийского моря я почитаю загадочным, ибо до сего времени птицы эти водились в одной Африке. Обстоятельства, связанные с охотой на сих птиц, весьма замечательны и заслуживают пространного описания.

Как известно вам, весной нынешнего, 1847 года я получил приказ произвести тщательнейшим образом описание и промер берегов Каспийского моря, для чего в мое распоряжение был передан паровой корвет «Волга».

Мы вышли из Баку в Астрахань и проследовали до Гурьева, откуда начали двигаться к югу вдоль берегов неведомых и угрюмых. Описание их я опускаю, дабы не утруждать вас излишним чтением. Отмечу лишь удивительную картину берегов у полуострова Мангышлака, где Азия подымается отвесным черным порогом из зауральских пустынь. Порог отходит от моря и ровной стеной удаляется на восток, где из-за марева ничего не видно, кроме глины и солнца. Порог неприступен, и, по рассказам



кочевников, подняться на него можно токмо в одном месте — по руслу высохшего потока. В море порог опускается обрубистой стеной, имеющей местами черный, местами бурый цвет. За многие годы скитаний не видел я берегов столь мрачных и как бы угрожающих мореплавателям.

До бухты Киндерли мы плыли, преодолевая южный ветер — моряну, — несущий из пустыни пыль и запах серы, ибо в пустыне, как говорят, лежат серные горы. Ветер этот рождает стесненное дыхание и, надо полагать, вреден для всего живого.

Я сам испытывал тошнотворную сладость во рту, а матросы до того плевались, что боцманы пришли в подлинное отчаяние: вся палуба была заплевана, и ее приходилось скатывать три раза в день. Поясню, что это происходило в силу старых морских привычек, запрещающих плевать в море, каковое может оскорбиться этим и задать кораблю жестокую трепку.

После захода в бухту Киндерли, где за два месяца плавания наши глаза впервые увидели зеленую сочную траву, имевшую в этих засоленных землях вид чуда, мы отплыли к заливу Кара-Бугазскому при сильном норде. Сей последний ветер тоже имеет необыкновенные свойства. Он приносит холод, ясность и некую пустоту всего тела, как бы опорожняющая его от крови и костей. Легкость эта ничуть не приятна, а, наоборот, весьма болезненна и приводит к звону в ушах и головокружению.

В бухте Киндерли мы взяли в старинных колодцах относительно пресную воду, но к ночи она превратилась в горько-соленую. Я долго думал над этим явлением и произвел с помощником своим несколько проб. Было обнаружено, что вода засоляется, будучи оставлена в сосуде, плохо прикрытом, а то и вовсе не прикрытом. Отсюда я заключаю, что воздух в здешних местах наполнен тончайшей соленой пылью, каковая и засоляет воду, попадая в небрежно закрытые бочонки или в открытые ведра. Тем же явлением я толкую и замечательный цвет неба, подернутого сединой. Мощные пласты атмосферы наполнены солью, и солнце приобретает тусклый, несколько серебристый цвет, хотя и палит нещадно.

В заливе Киндерли видели мы остатки укреплений, воздвигнутых при Петре Первом генералом Бековичем в начале безрассудного его похода на Индию. Здесь, говорят, он зимовал со своей пудреной армией и отсюда уехал в Хорезм, где хивинцы вероломно отрубили ему голову, а кожей его обтянули боевые барабаны.

Около укреплений, густо заросших полынью, нашли мы три тутовых дерева, настолько древних, что сердцевина их походила на старое серебро.

Хочу сказать вам, что один средневековый путешественник, ежели он не врет, сообщает, что не то у залива Киндерлийского,

не то у Кара-Бугазского видел он величайший город с мечетями и караван-сараями, обнесенный стенами, полный зелени и с избытком омываемый пресными ключами. Полагаю, что он был прав, ибо вблизи Киндерлийского залива видели мы основания мощных зданий, треснувшие и рассыпающиеся прахом от долголетия и жары.

От Киндерли мы пошли к Кара-Бугазу в состоянии тревожном и недовольном. Тому было много причин. Нам предстояло проникнуть в залив, куда до нас никто не входил. О нем наслушались мы еще в Баку множество страхов. Капитан корвета «Зодиак» рассказал мне, что в 1825 году корвет его был предоставлен в распоряжение академика Эйхвальда. Академик требовал от капитана стать на якорь перед входом в Кара-Бугазский залив, дабы обследовать оный. Но капитан, не желая рисковать кораблем, решительно отказался. Опасения его были вызваны тем, что вода Каспийского моря устремляется в залив со скоростью и силой неслыханной, как бы падая в пучину. Этим и вызвано название залива: Кара-Бугаз по-туркменски означает «черная пасть». Наподобие пасти залив беспрерывно сосет воды моря. Последнее обстоятельство дало повод полагать, что на восточном берегу залива вода уходит могучей подземной рекой не то в Аральское море, не то в Ледовитый океан.

Известный и отважнейший наш путешественник Карелин дал мне о Кара-Бугазе весьма не лестную письменную аттестацию и предостерегал от углубления в залив. По его словам, выйти против течения из залива почти невозможно. К тому же залив обладает смертоносной водой, разъедающей в короткое время даже стальные предметы.

Сведения эти были известны не токмо нам, начальникам, но и матросам, которые, натурально, были взволнованы и ругали залив жестоко.

Мне было приказано во что бы то ни стало сомкнуть на морской карте берега залива, изображенные в виде двух разорванных кривых линий. Берега я сомкнул и сделал морскую опись залива при обстоятельствах чрезвычайных.

Подходя к Кара-Бугазу, мы увидели над песками купол багровой мглы, как бы дым тихого пожара, горящего над пустыней. Лоцман-туркмен изъяснил, что это «дымит Кара-Бугаз». Открытие это, никем еще не отмеченное, повергло нас в тревожное недоумение. Мы шли с чрезвычайной бдительностью, поминутно меряя глубину, пока не достигли едва заметного с моря входа в пролив.

Течение в нем было стремительное, и весь пролив был подобен Волге во время полои воды.

Раздумывать было нечего, да и прямой долг обязывал нас войти в это устрашающее горнило Азии. Тихим ходом мы двину-

лись в пролив, увлекаемые течением, и отдали якорь не ранее, чем синяя морская вода сменилась мертвой и серой водой залива.

Величайшее безмолвие царило окрест. Сдавалось, что всяческое звучание гложет в густой воде и тяжком воздухе пустыни, окрашенной в багрянец заходящего солнца.

Ночь провели под парами. Котлы за исчерпанием пресной воды питали забортной водой из залива. К утру обнаружилось, что на стенках котлов вырос слой соли толщиной почти в дюйм, хотя котлы продувались каждые четверть часа. Из сего обстоятельства вы можете судить, какова соленость этого залива, подобного Мертвому морю в Палестине.

Придурковатый наш кок отпросился искупаться, но залив его не принял. Он высоко выкидывал его ноги, и при всем тщании кок погрузиться в воду не смог. Это повеселило команду и улучшило несколько ее дурное расположение. Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что вода залива являет собой разбавленную царскую водку, иначе серную кислоту.

Утром серое зеркало залива предстало перед нами во всей монотонности. Вода была малопрозрачна. В ней плавали мертвые рыбы, занесенные из моря. На берегу мы нашли великое множество этих мертвых соленых рыб. По словам матросов, их пробовавших, они вполне годились в пищу.

Безжизненные сии воды поразили меня обилием птиц и довели до оптического обмана.

На вторые сутки, продвигаясь вдоль северного берега, мы достигли косы Кара-Сукут, где обнаружили на воде обширные красноватые полосы пены. Ночью бушевал шторм, и полосы пены соответствовали движению волн.

Удивленный неестественным цветом пены, я приказал спустить шлюпку и отправился к ближайшей пенной полосе. Зачерпнув пену, я увидел в ней красную, очень дробную рачью икру и подивился тому, что икра может существовать в столь едкой воде.

Засим я направился ко второй пенной полосе, несколько более пышной и розовой. Здесь произошел казус. Пенная полоса, гулко гогоча, поднялась в небо и с неуклюжей тяжестью пронеслась над нашей шлюпкой и обомлевшими гребцами. То была стая фламинго, сидевших на пене и питавшихся рачьей икрой.

В Кара-Сукуте наблюдали мы несметное количество диких гусей и злых пеликанов, называемых по-здешнему «бабами». Я мысленно сожалел, что вы отсутствуете на борту корвета. В последующем письме сообщу вам не лишние интереса сведения о природе Кара-Бугаза.

Преданный вам

лейтенант Жеребцов».

Второе письмо адресатом по небрежности было утеряно, и о природе залива мы узнаем лишь из краткого донесения лейтенанта Жеребцова в Гидрографическое управление. Донесение это составлено в стиле ясном и отрывистом, что в полной мере соответствует самому составителю донесения — человеку пытливому и отважному.

Долговременное изучение морских лоций, равно как и описание природы писателями различных эпох, убедило меня, что ощущения от явлений природы в разные эпохи бывают весьма неодинаковыми. На описаниях сказывается как профессия автора, так и принадлежность его к тому или иному слою общества.

Доверяя словам средневековых авторов, я представляю себе пейзаж тех времен более грубым и ясным, чем нынешний, и как бы вырезанным на твердом дереве.

Это отступление я счел необходимым сделать, чтобы было понятно, что Кара-Бугаз во впечатлении современника, хотя бы в моем, представляет собой нечто значительно более простое и менее таинственное, чем в глазах лейтенанта Жеребцова.

В донесении Жеребцова Гидрографическому управлению говорится следующее:

«Залив Кара-Бугазский, называемый туркменами «Горькое море» (Аджи-Дарья) и «Слуга моря» (Кули-Дарья), являет собой обширную водную площадь, превышающую Ладогу и почти отрезанную от моря двумя бесплодными косами. Хотя залив и лежит на широте Неаполя, но климатом обладает жарким и пустынным.

Я обошел все берега залива и нанес их на карту. Северный берег крут и обрывист и состоит из засоленной глины и белого гипса. Ни травы, ни деревьев нет. Вдоль восточного берега возвышаются унылые горы, а южный берег низок и покрыт множеством соляных озер.

Все берега пустынны и не имеют пресной воды. Мною не было обнаружено ни единого ручья, каковой впадал бы в это поистине мертвое море.

Удобных бухт для стоянки судов нет, но сие обстоятельство отнюдь не препятствует плаванию, ибо глубины залива ничтожны и всюду одинаковы. Суда могут становиться на якорь, буде к тому встретится надобность, в любом месте залива.

Имеющиеся бухты настолько мелки, что шлюпки останавливаются в кабельтове от берега и люди идут на сушу по косточку в воде полчаса, а то и больше. Ни подводных камней, ни рифов, ни островов на пути корвета не встречалось.

На основании изложенного полагаю; что плавание по заливу безопасно. Беспокойство представляют лишь жестокие ветры, дующие с востока с завидным упорством и разводящие крутую невысокую волну.

Вода в заливе имеет чрезвычайную соленость и плотность, почему удары волн гораздо сокрушительнее, чем в море. Но штормовой ветер, в отличие от моря, разводит волну в заливе как бы с большой натугой. Это приводит к весьма забавному зрелищу: один и тот же ветер успевает поднять в море шторм, а в заливе, за узкой песчаной косой, господствует еще затишье. После бури волны залива успокаиваются медленно и берега в течение долгих часов сотрясает мертвая зыбь.

Наблюдение высоты небесных светил и определение широты и долготы в заливе ненадежно, ибо скрытые на его берегах, за узкими пересыпями, исполинские соляные озера производят мощное блистание и неправильное преломление световых лучей, называемое рефракцией. Около южной косы я наблюдал весьма значительную рефракцию. Берега предстали предо мной в виде изломанных и острых гор, тогда как они были плоскими, подобно бумаге.

Дождей, по рассказам туркмен, в заливе не бывает. Дожди от чрезмерной жары высыхают, не успевая достигнуть земли.

При подходе к заливу он рисуется в виде купола из красноватой мглы, пугающей с давних времен мореплавателей. Полагаю, что явление это объясняется сильным испарением воды Кара-Бугаза.

Надлежит помнить, что залив окружен раскаленной пустыней и является, если будет уместно это сравнение, большим котлом, где выкипает каспийская вода.

Грунт залива весьма примечателен: соль, а под ней известковая глина. Соль, полагаю, особенная, не того состава, что обыкновенная, употребляемая в пищу и для засола.

Непонятным для меня представляется быстрее течение из моря в залив, что с несомненностью указывает на различие уровней воды в заливе и в море.

На основании всего сказанного я позволяю себе заключить, что побережья залива Кара-Бугазского, как и самый залив, лишены какого бы то ни было интереса государственного.

Пребывание, даже кратковременное, в водах залива порождает чувство великого одиночества и тоску по местам цветущим и населенным. На всех берегах залива на протяжении сотен верст мною не было встречено ни одного человека, и, кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я не сорвал ни одной травинки.

Токмо соль, пески и все убивающая жара властвуют над этими негостеприимными берегами и водами».

Киргизы перегоняли стада через Урал с зимних пастбищ на летние. Путь лежал через Гурьев, где находился единственный в низовьях Урала наплавной мост.

За прогон скота через мост взимали плату. Рыластые и спившиеся чиновники войскового управления, выгоревшие до рыжести, как и форменные нашивки на их пыльных мундирах, стояли по сторонам моста и пересчитывали скот. Мост трещал и гнулся. Чиновники лупили овец по головам длинными шестами и на минуту заставляли стада задерживать бег. Потом шесты поднимались, как шлагбаумы, и овцы вновь устремлялись на город рыжим потоком. Так, задерживая овец каждую минуту, чиновники на глаз прикидывали число скота.

Киргизы, дабы сбить чиновников со счета, отжимали их к ветхим перилам моста крупами злых лошадеенок.

Пыль неслась над Уралом подобно пожару. Рев и топот стад сотрясали саманные дома. Перегон скота гурьевские жители считали столь же неустрашимым несчастьем, как наводнение или пожар. Сотни верблюдов, пугаясь моста, громоздили на подходах к нему тяжелые заторы и водоворотом вращались вокруг упрямых вожakov. Жадные старухи ползали под брюхами верблюдов, собирая трясущимися руками верблюжий помет. То были торговки кизяком.

Библейского вида старцы, повязав ситцем головы, возвышались на верблюдах в куче разноцветного тряпья и моргали кровавыми глазами, — тысячи верст кочевий выжгли их зрачки, а лица превратили в мешки из перегоревшей кожи.

Пустыня переливалась через город с бухарского берега на европейский, неся с собою глинистую пыль, рыжий цвет опаленной шерсти и жажду. Стада долго сосали грязную уральскую воду желтыми от полыни губами.

— Ветхозаветное зрелище! — усмехнулся лейтенант Жеребцов, выйдя из шлюпки на берег.

Он окончил опись берегов Каспийского моря и на обратном пути зашел в Гурьев, дабы повидать поселившегося там почтенного и сурового путешественника Карелина. До Карелина у Жеребцова было важное дело. Корвет стал на якорь около устья Урала, где ему преграждала путь песчаная отмель.

Шлюпку окружили угрюмые туземцы. Жеребцов поднял воротник морской тужурки, стараясь предохранить от пыли снежной белизны рубаху, и спросил ближайшего туземца:

— Знаешь Карелина?

— Никак нет, — ответил туземец.

— Григория Силыча Карелина, путешественника?

— Да как же! — обрадовался туземец. — Какой наскрозь прошел киргизскую сторону? Как не знать!

— Сведи к нему.

Жеребцов шел, осматриваясь по сторонам.

Дома из серого кирпича и глины лежали кособоко, как умирающие старухи. Пахло ржавой рыбой и куриным пометом, ветер

порошил глаза всяческим сором, в каком было изрядное количество куриного пуха. Старухи сидели на порогах и вычесывали ленивых молодых.

«Ну и выбрал старик местечко для обитания!» Жеребцов пожал плечами: пристрастие Карелина к здешним унылым пустошам казалось неестественным. Жеребцов вспомнил о Кара-Бугазе: «Какая дрянь здесь и какая торжественная, подлинно девственная пустыня лежит почти рядом!»

Туземец привел Жеребцова на окраину города, к Уралу. В поливных садах, где под деревьями не было травы, а одна утоптанная ногами глина, лязгали погнутыми ведрами чигири¹, выпрастывая в арыки желтую жижу. Сонные волы с завязанными глазами вращали их с терпением рабов.

Туземец остановился около дощатого серого дома, окруженного осоками, и, попросив предварительно набить трубку, сказал:

— Тут!

Жеребцов постучал. Он шел к Карелину, зная, что человек этот строптив и чудаковат, и вместе с почтительностью перед исследователем, отважившимся пересечь смертоносные области Азии, испытывал некоторое стеснение.

Слуга-киргиз ввел его в кабинет, где прочно существовал прелый запах табака и кожаных фолиантов. Жеребцов сел, разглядывая чучела степных зверей, и внезапно почувствовал все легкомыслие того дела, по какому он пришел к Карелину. Карелин вышел с несвойственной его тучной фигуре поспешностью и протянул Жеребцову старческую пухлую руку. Серые его глаза быстро взглянули из-под дымчатых очков. Серая борода разлетелась веером по серой плотной куртке.

— Рад,— сказал он глухо,— благополучному возвращению вашему из трудного плавания.

Жеребцов поклонился.

— Слышал, что на корвете своем вы обошли побережья Кара-Бугаза. Весьма интересуюсь подробностями.

Рассказ свой Жеребцов окончил в сумерки, когда сквозь табачный угар, застилавший комнату, запылали за окнами несметные костры по берегам Урала: то кочевники отдыхали после пустыни, окружив город пыльными становьями.

— Насчет залива Кара-Бугазского,— отважился наконец вымолвить Жеребцов,— я имею предложить правительству дерзкий проект.

Карелин ничего не спросил, только скрипнул креслом и поправил очки.

¹ Ч и г и р ь — приспособление в виде большого колеса с черпаками для подъема воды из рек в оросительные каналы. (Примеч. автора.)

— Поскольку,— продолжал Жеребцов,— Кара-Бугаз вредоносен, надлежит прекратить его существование как обособленного залива и превратить в озеро, перегородив узкий пролив дамбой. Сооружение сие обойдется казне недорого, благо киргизу платят за работу гроши.

— А какие,— протяжно спросил Карелин,— а какие, милейший мой лейтенант, имеете вы основания, чтобы полагать залив Кара-Бугазский столь вредоносным? Какие?

Последнее слово он выкрикнул, после чего сердито заерзал на кресле.

Жеребцов опешил. Не тот ли самый Карелин писал, что Кара-Бугаз является местом таким же бесплодным, как, к примеру, луна? К чему же этот сердитый вопрос и гневный блеск глаз за жестяными очками?

— Сейчас сообщу,— промолвил Жеребцов и загнул один палец.— Залив поглощает множество воды из моря, исчезающей в нем, как в прорве. Сие обстоятельство вам хорошо известно. Известно вам также, что уровень моря медленно падает, грозя прекратить в некоторых местах судоходство. Причиной этого бедствия служит залив Кара-Бугазский.

— Раз.— Карелин вслед за Жеребцовым загнул большой пухлый палец.

— Два,— ответил Жеребцов и загнул второй палец,— рыбные богатства нашего моря из года в год скудеют. В Кара-Бугазе видел я несметное множество мертвой рыбы. Полагаю, что прекращение природного истребления рыбы и мальков в случае закупорки залива сулит значительные выгоды государству.

— Всё? — спросил нетерпеливо Карелин.— Много ли вы видели мертвой рыбы?

Жеребцов покраснел: он не привык, чтобы ему не верили.

— В иных местах люди мои насчитывали до полутора ста рыб на каждые десять сажений берега. Мертвая рыба скопляется в таком изобилии, что чайки выклевывают у нее только глаза, пренебрегая мясом, и со всем тем нигде еще не видывал я чаек таких ленивых и объевшихся. Разрешите закончить: отделение залива создаст новое соляное озеро чрезвычайной величины. Вот и все.

— Вы желали бы, как я полагаю, получить мою апробацию для этой достаточно странной мысли? — спросил Карелин свистящим шепотом и внезапно прокричал, как будто покатила тяжелый кегельный шар: — Че-пу-ха!

Он встал. За его широкой спиной дымились в окнах багровые костры. Казалось, Тамерлановы полчища остановились у скрипучего кресла кряжистого и мудреного старца. Он высился за столом подобно грубой статуе, вытесанной степными кочевниками из серого крупнозернистого камня.

Жеребцов, надеясь смягчить непонятный гнев Карелина, пробормотал, смешавшись:

— Вместо дамбы можно удовольствоваться устройством частой проволочной сетки. Она препятствовала бы каспийской рыбе проникать в залив.

Но Карелин уже остыл. Он снял очки и насмешливо уставился на Жеребцова, как бы нечто прикидывая. Затем тихим голосом определил:

— Молоды и потому опрометчивы.

— Думаю, что и вам не так уж много лет.

— Пустыня! — крикнул опять Карелин. — Пустыня съела молодость! От нее и седина, и дряблость кожи, и прочие предвестия старости. Некий газетчик, побыв неделю в кара-кумских песках, писал о благодетельном действии пустыни на кожу и особенно на кости. Кожа якобы молодеет, а зубы приобретают крепость и блестящую белизну. — Карелин усмехнулся и оттянул книзу дряблую кожу на щеках: — Вот доказательство. Солнце в пустыне является бедствием. Весь род человеческий благословляет его лучи, здесь же их заслуженно проклинаят: они отнимают у человека последние возможности к существованию. Но слова мои не имеют касательства к нашему спору. Я осведомлен, что вами отправлена в Гидрографическое управление докладная записка, где вы упоминаете о весьма замечательном грунте залива Кара-Бугазского. Если не изменяет мне память, — старик прищурился на окно, — вы изволили писать: «Грунт весьма примечателен: соль, а под ней известковая глина. Соль, полагаю, особенная, — тут Карелин приостановился и рассеянно поглядел на оторопевшего лейтенанта, — не того состава, что обыкновенная». Это-то верно?

— Совершенно точно.

— Любопытно узнать, чем же эта соль так замечательна?

Жеребцов улыбнулся:

— Определение необыкновенности получилось на корвете забавное. Найденную при пробе грунта соль мы сложили на палубе, дабы подсушить, а корабельный кок, человек, скудный умом, посолил ею борщ для команды. Через два часа весь экипаж заболел жесточайшей слабостью желудка. Соль оказалась равной по действию касторовому маслу.

Карелин беззвучно затрясся. Казалось, вместе с ним смеялись и его кресло и самый воздух кабинета, где заметно начала приплясывать слоеная гуща крепчайшего табачного дыма.

— Сударь мой, — сказал Карелин, отсмеявшись, — я ошибался, подобно вам. Я почитал Кара-Бугаз бесплодным и как бы созданным природой назло людям. Но с недавнего времени, изучая дневники свои и думая о смертоносных водах залива, я пришел в сомнение, ибо в натуре, нас окружающей, почти нет

такого зла, коего нельзя было бы употребить на потребу и выгоду человека. Едкая кара-бугазская соль является солью необычайной, и, думается мне, не глауберова ли это соль, иначе называемая щелочной? Действие ее на вашу команду весьма примечательно. Бude же в заливе осаждается глауберова соль, то уничтожение залива преступление. Соль сия обладает многими редчайшими свойствами. Одно из них, почти главнейшее, я хочу вам сообщить.— Карелин выдвинул ящик стола и достал желтоватую рукопись. Он погладил ее и обровнял края плотных листов.— Известно ли вам, что в России жил великий химик, по имени Кирилл Лаксман?

— К стыду своему, Григорий Силыч, такого имени я не слышал.

— Не к вашему стыду, милостивый государь, а к стыду всей страны нашей, где одаренные люди в той же цене, что и гурьевские будочники! — с прежней сердитостью прокричал Карелин.— Жизнь сего замечательного человека являет собой пример постоянных мучений. Его послали на службу в глушь сибирскую, в Барнаул. Лаксман тяготился служебными обязанностями и предпочитал странствовать по Сибири, когда и сделал много открытий, касающихся растительности и подземных богатств края. Одновременно он занимался химией. За заслуги научные его избрали академиком, но он, не желая сидеть в Петербурге, предпочел остаться в Сибири, заняв место горного советника. За пустую оплошность его с должности сняли и назначили исправником в Нерчинск. Вот-с, милейший мой лейтенант, какую подходящую должность подготовило российское правительство талантливому ученому и члену Академии наук... Так вот, указанный Кирилл Лаксман открыл возможность изготовлять из глауберовой соли великолепное стекло. Рукопись сия — его доклад об этом открытии. Глауберову соль Лаксман именует горькой. Глядите, что он пишет.— Карелин медленно прочел: — «Между многими новыми свойствами сея горькой соли, именуемой монгольскими народами «гуджар», наибольшего внимания достойна сила, ее в стекло претворяющая». При опытах своих Лаксман получил стекло белое и стекло черное, подобное китайскому лаку... Вот...— Карелин отодвинул рукопись.— Дальнейшие изъяснения излишни. Закупорка залива вызовет перемену свойств воды и прекратит образование глауберовой соли. Утверждение ваше, что залив вызывает обмеление Каспийского моря, равно как и сожаление о погибающей рыбе, преувеличено. Без особой натуги я могу вас тут же разбить по всем пунктам. Но, пожалуй, лучше пойдем попить чайку, благо прислали мне из Уральска клюквенный сок.

Пропуская Жеребцова в столовую, Карелин сделал страшные глаза и прошептал:

— А вы уж и проект приготовили! В Петербурге сидят дураки. Они размышлять не любят, а прямо брякнут — закрыть залив на веки вечные и удивить Европу. Ежели бы вы упомянули слово «открыть», то государственные мужи, может быть, призадумались бы, а раз закрыть — так закрыть. Закрывать — это для них святое дело...

К шлюпке Жеребцов возвратился поздним вечером, а к корвету шлюпка подошла глухою ночью. В камышах, сухо шумевших по берегам Урала, крякали спросонок дикие утки. Над морем в стороне дагестанских берегов синими взрывами разверзались зарницы. С палубы слышался гул моря у песчаных отмелей.

Жеребцов долго ходил по юту, взволнованный своей ошибкой. Каспийское море, изученное им до тонкости, показалось зловещим и неведомым. В стороне пустыни, там, где лежала Эмба, возник купол огня. Жеребцов вздрогнул: уж не залив ли Кара-Бугазский опять дымит в этой встревожившей его кромешной темноте? Но то была луна, подымавшаяся над равнинами Усть-Урта.

Жеребцов набил трубку и досадливо вздохнул: впервые за два года плавания по этому морю он ощутил от него усталость. За бортом корвета сопели в воде спящие тюлени.

Вахтенный офицер шутливо сказал Жеребцову:

— Вы бы спать шли, Игнатий Александрович. В это время спит даже рыба в море.

Жеребцов спустился в каюту и открыл иллюминатор. От зарниц долетало глухое гроыханье. Мучаясь духотой, Жеребцов вынул из стола чисто переписанный свой проект, изорвал его и выбросил через иллюминатор в море.

МАЛЬЧИК С СЕРЕБРЯНЫМ ГОРЛОМ

Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно.

К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы для «Нивы» и «Родины». Немудрые эти рассказы были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом.

Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники (дело относится к 90-м годам прошлого столетия), был заражен страстью улавливать настроения. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собствен-

ное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей.

В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова — первого исследователя Кара-Бугазского залива, я и привожу здесь, сделав необходимое сокращение. Называется рассказ «Роковая ошибка».

«Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами (в них гнездятся галки), трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре.

Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара.

Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнувшие сладкой сыростью.

Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами.

Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель.

В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот потрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели. Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастье средней России не могло уничтожить его следов.

Старик стоял, опираясь на палку, и вполголоса насмешливо читал призыв Катыка курить только его гильзы.

— Жулик! — сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой. — Пройдоха, но башковитый субъект!

— Вы это о ком?

— О Катыке, милостивый государь, о фабриканте Катыке, — ответил старик доброжелательно: видимо, он был не прочь вступить в беседу.

Я спросил, почему Катык — пройдоха и жулик.

— История эта очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне — я живу поблизости, — выпьем чайку. Я вам кстати о Катыке расскажу.

Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами, и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на названия — то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу.

— Вот что, батенька мой, — сказал он, окутываясь дымом, — позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов. Я отставной моряк, гидрограф, составитель карт Каспийского моря. Мне, изволите ли видеть, стукнул уже восьмой десяток. Вы интересовались Катыком. Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Кара-Бугазский — не знаю, слышали ли вы о нем или нет, — я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мною было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось — глауберовой. Кара-Бугаз — место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой воде, по глубокой пустынности и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила, а то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал.

По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря.

Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забыл вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подыматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддерживать в море тот уровень, какой

необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта.

Я поинтересовался, почему этот проект, правда необыкновенный, старик называет безумным.

— Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство — и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом.

Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я калужец, а пятнадцать лет провел на Каспийском море. Там — ежели вы бывали, то должны знать — унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, ни деревца, ни чистой текущей воды.

Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах кара-бугазских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей, а я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорей воротиться к себе, в жиздринские леса. Не нужен мне был Кара-Бугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Кара-Бугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве.

Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках. Сделали ей анализ, и обнаружилось, что чистейшая это глауберова соль, без коей немислимо ни стеклоделие, ни другие многие производства.

Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз да беговых лошадей — он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил; соль не вывозит, а Кара-Бугаз получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш — изрядная шельма».

Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал «пузыри» и «клопы».

По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища (письмо этому товарищу было приведено

нами в начале первой главы) — мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки или занимались химическими опытами.

Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон.

Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся.

Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи — владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко.

Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где поднимаются к небу столбы пышного паровозного пара.

Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.

ЧЕРНЫЙ ОСТРОВ

Окропленные вашей кровью
пустыни
Красным знаменем реют,
над нами шумя.
М а я к о в с к и й

Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом.

Старый пароход «Николай», захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари и засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке синий от холода вахтенный, нахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе.

Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныния, разъедавшего корабль подобно ржавчине.

Матросы валялись в кубрике. В кают-компании спал на красном плюшевом диване желтый и злой официант.

Воспользовавшись сумрачным днем, из всех щелей ползли тощие пароходные клопы. В трюме сипло пропел украденный накануне петух.

«Пора нашей гитаре на кладбище», — подумал вахтенный и посмотрел на штурвал, где можно было заметить медную дощечку, сообщавшую, что пароход «Николай» построен в 1877 году.

Вахтенный посмотрел, кстати, на желтую, выдавшую виды трубу. Из нее валил рыжий дым.

— Что они — мусором топят, что ли? — сказал вахтенный и вздрогнул: в сыром дыму на горах громыхнул пушечный выстрел.

Из кубрика вылез матрос в галошах на босу ногу. Он вяло протащил по палубе занемевшие ноги, поднялся на мостик и прислушался: глухие удары учащались.

— Похоже, бьют кадетов красные, — сказал он вахтенному. — Красные, — зашептал он, и глаза его сузились, — наступают от Хасав-Юрта, ночью будут в Петровске. С капитаном надо поговорить насчет этого. Команда полагает, что надо тикать от эвакуации. Снимемся вечером и сунемся в море — тихо, благородно, без кадетов, без оружия.

Матрос махнул рукой на восток, где море кипело, как котел с мыльной и грязной пеной.

Вахтенный взглянул на корму, где хлопал мокрый трехцветный флаг, и вздохнул. Эх, если бы все вышло так, как задумано: удрать от деникинцев, от эвакуации!

— Капитан пропал, засыплемся мы из-за этого, — тоскливо пробормотал он и вышел на палубу.

Он вгляделся в дождь, наискось бивший по гнилым пристаням, и сплюнул. Толпа людей в зеленых английских шинелях шла к пароходу. Они волочили на веревке пулемет и шли прямо по лужам, разбивая их набухшими бутсами. Сбоку вахтенный заметил знакомую фигуру капитана в дождевом плаще. Капли быстро стекали с его усов, и казалось, что капитан безмолвно плачет.

Отряд деникинцев влез на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают-компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал:

— Пошел на свое место, ворюга!

Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел.

Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха.

Солдаты с трехцветными нашивками на рукавах — «батальон смерти» — рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут клю-

чи, и грозили кому-то, стиснув зубы. У трапа поставили часового.

Капитан вошел в штурманскую рубку и долго дрожащими руками расстегивал набрякший плащ. Вахтенный уныло смотрел на него и ждал.

Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил.

— Ну, попали! Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался — у меня судно в порту на якоре и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормягу? Смеются: «Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко». — «Какой такой груз?» — «Большевик из тюрьмы — вот кого, слышали?» — «Куда же их девать?» — «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите».

Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогремело. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки: «Ветер норд-ост силой в 10 баллов. Волнение — 9 баллов. Воды в трюмах — 30 сантиметров».

— Воды в трюмах тридцать сантиметров! — Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнулся. — Людей будем сажать в трюмы. — Лицо его налилось сизой кровью. — В воду, в трюмы! Доплавались под николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх, вы...

Он хотел еще что-то прибавить, но осекся: в дверях стоял офицер с выпуклыми глазами.

— Голубчик капитан, — он галантно переступил через высокий порог каюты, — распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных.

Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка.

Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев турецкого офицера Казым-бея, командовавшего красными частями, не спас города. Казым-бей — черное его имя гремело тогда по Дагестану — был агентом муссаватистов¹. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казым-бея удесятирила ярость красных частей. Они перешли по всему фронту в наступление, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску.

«Николай» сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей — огней приказано было не зажигать. Море, порт, город, горы — все превратилось в глухую, порывистую от ветра

¹ М у с с а в а т и с т ы — участники контрреволюционного националистического движения.

тьму. Белела только пена, переливаясь через изуродованный бурями мол.

Заключенных привели очень тихо. Вахтенный считал их, стоя на мостике.

— Больше ста человек,— сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи.

Отошли ночью.

«Николай» обогнул мол, затрещал, вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы.

Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила каспийская волна.

Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разлизаны тщательным пробором. Он потребовал в кают-компанию чаю, велел позвать капитана, медленно развернул на столе карту и положил на нее маленькие руки.

Капитан вошел, красный от ветра, и угрюмо остановился у двери.

— Подойдите поближе.— Офицер сухо улыбнулся.

Улыбка эта испугала капитана: так обычно улыбаются в присутствии обреченных людей.

— Слушаю.— Капитан подошел к карте.

Офицер вынул красный карандаш, не торопясь очинил его лезвием безопасной бритвы, закурил, прищурился и, выискав что-то на карте, поставил жирный крест. Потом, примерившись, провел через все море ровную линию от Петровска до отмеченного места.

— Держитесь вот этого курса,— сказал он.

Капитан взглянул на карту.

— Курс на Кара-Бугаз?— спросил он испуганно.

— Примерно так. Но только примерно. Держите немного севернее, вот к этому острову. Как он называется? Позвольте...— офицер взглянул на карту,— к острову Кара-Ада.

— Нельзя,— глухо сказал капитан.

— То есть как это нельзя?

— Около острова нет якорных стоянок. При этом курсе шторм бьет в борт, а мы идем без груза. Считаю такое направление опасным.

— Но ведь шторм как будто стихает,— вкрадчиво проговорил офицер.

— Вообще плавание у берегов Кара-Бугаза зимой невоз-

можно. Там нет огней, множество рифов. Я не вправе подвергать риску ни людей, ни судно. Море в тех местах пустынное.

— Ах, так! — нараспев сказал офицер. — Вот и отлично. Нам как раз и нужно пустынное море. Да, нужно! — неожиданно крикнул он визгливым фальцетом. — Потрудитесь выполнять распоряжения, иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде сообщить, что мы идем в Красноводск. Не шляться по палубе без дела. Все. Ступайте!

Капитан вышел. В штурвальной рубке он заметил часового. Часовой стоял рядом с матросом и смотрел на картушку компаса, сверяя что-то по бумажке.

«Попали в капкан, не открутимся!» — подумал капитан. У себя в каюте он достал лоцию Каспийского моря, нашел описание острова Кара-Ада и прочел его.

В лоции было сказано, что этот совершенно пустынный и безводный остров, представляющий собою осколок скалы, лежит в одной миле от восточного берега моря, против мыса Бек-Таш, к северу от Кара-Бугазского залива. Остров изобилует змеями. Место для высадки со шлюпок только одно. Подходы к острову опасны из-за множества рифов. Якорных стоянок нет. Грунт — голая каменная плита — совершенно не держит якорей.

— Крышка! — Капитан бросил лоцию на стол.

Море валило горами. Жалкие мачтовые огни освещали высокий нос, дергавшийся из стороны в сторону. Сам по себе звонил колокол — это значило, что размахи доходят до сорока градусов. Офицер с выпуклыми глазами испуганно полез на спардек и лег грудью на борт — его рвало. Он плевал в черную воду, стонал и ругался. Январская ночь летела с востока со свистом, гулом, предвещая неизбежную гибель.

В трюме было темно, и от борта к борту переливалась вода. Заключенные сидели и лежали на мокрых досках. Их швыряло из угла в угол. Они хватались за ребра ржавых шпангоутов, разбивали в кровь лица, глохли от пушечных ударов волн и стонали от жестоких приступов морской болезни. Не многие из них сознавали, что это гибель, что дрянной пароход идет порожняком, что его кренит на сорок градусов, что он может каждую минуту лечь на борт и не встать, но все прекрасно знали, что впереди, на той неизвестной суше, куда их высадят, их ждет смерть.

Прекрасно знал это и геолог Шацкий, попавший в число заключенных случайно. Он не был большевиком. Он пытался пробраться из Петровска в Астрахань. Его заподозрили в шпионаже, посадили и три раза водили в Петровске на расстрел, но не расстреляли. Водили ночью. Забирали из камер по пятидесяти заключенных и выводили на свалку, где жили разжиревшие от мертвечины псы.

Смертников выстраивали и пересчитывали. Первый раз рас-

стреливали каждого десятого: Шацкий в эту ночь оказался восьмым. Второй раз расстреливали каждого пятого, но Шацкий оказался четвертым. В третий раз расстреливали каждого четвертого, но Шацкому опять повезло — он был первым. После третьего раза он поседел. Его и других уцелевших белые заставляли стаскивать трупы расстрелянных в старые известковые ямы.

Командовал расстрелами офицер с выпуклыми серыми глазами. Каждый раз он напивался для храбрости, ругал заключенных «падалью» и заставлял их, построившись в шеренгу, по нескольку раз менять места перед расчетом. На языке конвоиров — болезненного вида юношей с пьяными мутными глазами — это называлось «венской кадрили».

В Петровск Шацкий попал с полуострова Мангышлак. После разведки каменного угля и фосфоритов в горах Кара-Тау он хотел пройти к Кара-Бугазу, но киргизы-проводники наотрез отказались вести его. Был разгар лета, и по пути к Кара-Бугазу, в песках Карын-Ярык, не стало ни капли воды. Пришлось вернуться через дикое плоскогорье Удюк обратно в форт Александровский. В форте Шацкий прожил три месяца. Ему даже понравилось уныние этого серого городка, где не было тогда никакой власти. В форте он написал отчет об экспедиции и интересную работу о запасах воды на сухом, как проклятье, Мангышлаке.

Во время экспедиции он заметил, что жалкие ручьи в горах Кара-Тау текут всегда из-под каменных россыпей. Шацкий принадлежал к людям, привыкшим давать объяснения всему. Он жил в мире точных законов и достоверных гипотез.

Несколько дней он думал над происхождением этих ручьев, потом нанял двух мальчишек, и они натащали ему в пустой цементный бассейн на дворе кучу голышей с морского берега. Хозяин-рыбак решил, что Шацкий свихнулся от тоски по России и от «науки».

Шацкий с мальчишками завалил весь бассейн голышами, а на третье утро вынул часть камней. Нижние камни оказались мокрыми — на дно бассейна натекла лужица чистой воды.

Вопрос был решен: на Мангышлаке, как и всюду в пустыне, летние дни отличаются жестокой жарой, а летние ночи холодны, как мартовские ночи в Москве. Каменные россыпи являются природными конденсаторами паров из воздуха, быстро остывающих ночью. Эти россыпи вбирают влагу, пропускают ее вниз и хранят под своими слоями.

Больше всех был в восторге от открытия Шацкого его хозяин. Он мечтал выстроить большой бассейн, засыпать его галькой и каждое утро собирать десять ведер вкусной пресной воды вместо тухлой воды из колодца. Смотреть на бассейн приходил бывший неограниченный владелец Мангышлака — купец Захарий Дубский. Шацкий с неприязнью отвечал на назойливые расспросы

позеленевшего старикашки в вытертом люстриновом пиджаке.

До революции Дубский был миллионером. Он взял на откуп у царского правительства весь Мангышлак. Ему одному были разрешены торговля и рыбная ловля без соблюдения законов «об охране рыбных богатств». Богомольный и ласковый старик платил киргизам-рабочим за всю путину по два рубля, торговал водкой и посылал гостинцы своему «благодетелю», великому князю Николаю Михайловичу, жившему в Ташкенте. Этот седобородый князь славился на весь Закаспийский край тем, что нагишом гулял в сильную жару по своему саду и дому. В таком виде он принимал просителей и выслушивал доклады.

Дубский подивился на бассейн Шацкого, засунул руку на дно, поскреб там желтым ногтем, недоверчиво пососал мокрый палец и пригласил Шацкого к себе на дачу. Дача стояла на берегу моря, около маяка Тюб-Караган, и была знаменита несколькими чахлыми деревцами. Шацкий невзлюбил этот нелепый дом, где старовер-купец изнывал от чаепитий, поглядывая на дымную мглу, курившуюся над пустыней.

Пустыня вплотную подступала к форту. Она стерегла его у городских застав. Ее тощая глина и серая полынь нагоняли тоску. К тоске этой примешивалась легкая гордость: угрюмость пустыни была величава, беспощадна, и не многим, думал Шацкий, посчастливилось пережить захватывающие ощущения бесплодных и неисследованных пространств.

Кроме Дубского, в форте Александровском жил на покое отставной генерал — дурак, изобретавший ловушки для сусликов. Некогда он командовал местным захоластным гарнизоном. Рыбаки рассказывали, как этот генерал, только что прибыв в форт, вылетел на парад на разъяренном гнедом жеребце. Он подскакал к киргизам и, желая приветствовать их на родном языке, громовым голосом гаркнул:

— Здорово, саксаулы!

Киргизы испугались. Весь город потом несколько дней помирал от хохота.

Самыми интересными обитателями форта были рыбаки-зверобой, специалисты по добыче тюленей. Тюлений бой считался опасным и жестоким делом. Зимой зверобой большими обозами выезжали по льду в море. Всю осень перед этим откармливали и ярили лошадей. Лошадь на тюленьем бое решала все: если лед трескался с пушечным гулом и начинал медленно уплывать в море, зверобой бешено гнали лошадей к берегу, и дикие эти лошади перескакивали с санями через трещины.

Били только детенышей тюленей — белков, еще не умевших плавать. Били палками на льду и привозили в форт золотистые дорогие шкурки.

Каждую зиму гибло несколько зверобойных артелей — ко-

шей. Их относило на льдинах в море, в сторону Персии. Спасали редко — в форте не было телеграфа, чтобы дать знать в Россию о несчастье.

Шацкий узнал, что в форте Александровском томился в ссылке Тарас Шевченко, забритый в солдаты и отправленный в каторжный мангышлакский гарнизон за «распространение вредных идей».

Только в ноябре Шацкому удалось на рыбацкой шхуне — реюшке — перебраться из форта в Петровск.

Сейчас Шацкий лежал в трюме рядом с матросом-большевиком — эстонцем Миллером. С ним он просидел три месяца в тюрьме. Их вместе два раза водили на расстрел, и если Шацкий не сошел с ума, то только благодаря Миллеру.

Молчаливый этот юноша в морской каскетке скупко рассказывал о родной Эстонии, о дюнах и старинном Ревеле. Шацкий никак не мог отделаться от впечатления, что сейчас в Ревеле пасмурная зима, пахнущая зеленоватым балтийским льдом, нарядная от тихих огней и пустынная, ибо тысячи Миллеров ушли из дому и дрались в красных частях под Самарой и Шенкурском, сидели в вонючих тюрьмах, голодали, жили в дырявых, обледе- нелых теплушках.

Миллер попал в плен во время разведки. Деникинцы неизбежно должны были, как он говорил, «укоцать» его, но он думал о чем-то далеком от смерти, должно быть о бегстве.

Когда в но́чи расстрелов Шацкого била дрожь, Миллер хлопывал его по спине и напоминал:

— Бросьте! Раз родились — все равно помрем.

Шацкого поражала выдержка Миллера, штурвального Балтийского флота, ставшего большевиком в жаркие дни июля семнадцатого года. Миллер был моложе Шацкого на десять лет, не знал и сотой доли того, что было известно Шацкому, но геолог чувствовал себя перед ним мальчишкой.

Миллер был непримирим и знал то, о чем геолог не имел понятия, — законы борьбы и победы. Он смотрел на людей спокойно и понимающе, всегда насвистывал, а на допросах отвечал очень вежливо, но неясно, улыбался и со скукой, как на давно знакомый трюк, смотрел на бесившихся бледных офицеров.

Он прославился тем, что довел до истерики начальника контрразведки и после этого спокойно налил и подал ему стакан воды. Начальник смахнул стакан со стола, ударил стеклом по бумагам и пообещал Миллеру повесить его в тот же вечер, но не повесил.

Контрразведка считала Миллера «опасным субъектом» и комиссаром и надеялась вымотать из него важные сведения. Его ни

разу не били шомполами. Конвоиры поглядывали на Миллера с некоторым почтением: «Твердый, гад: видать, боевой».

Сейчас в трюме одессит Школьник — бывший шорник и партизан — пробрался к Миллеру, единственному моряку среди заключенных, попросил закурить и сказал:

— Ты моряк, ты знаешь устройство парохода.

— Ага, — ответил Миллер.

— Я решил так. (Школьник произнес это слово очень мягко.) Надо потопить пароход вместе с той сволочью. — Школьник ткнул горячей папиросой вверх. — Открой кран, как он у вас зовется — кингстон или как иначе. Все одно нас убьют. Если пропадать, так кончим и их вместе. Такь.

— Кингстон не здесь, — равнодушно ответил Миллер. — К чему глупости? Их пластинка кончается, а из нас если десяток останется в живых, и то неплохо. Не устраивай массового самоубийства, Школьник, не делай паники.

— Такь! Такь! — с горечью пробормотал Школьник и отполз от Миллера.

Капитан всю ночь просидел у себя, не снимая пальто. Рассвет пришел поздно, только к восьми часам. В промерзлых каютах качался серый туман. За потными иллюминаторами все так же ревело море. На востоке, над необъятными пустынями Азии, желтела ледяная заря.

Капитан вышел на палубу. В кают-компании лежали на полу зеленые солдаты. Громадное и неуютное морское утро сочилось на их изжеванные шинели с трехцветными нашивками, на сваленные винтовки, на опухшие лица. Пахло блевотиной и спиртом. В грязном зеркале отражался вазон с высохшей фуксией.

Официант неизвестно зачем перетирал пожелтевшие чашки и накрывал столы хрустящими крахмальными скатертями. Застарелая привычка брала свое.

Он взглянул исподлобья на капитана и вздохнул. Да, кончились прекрасные плавания из Астрахани в Баку, когда даже он, официант, страдавший профессиональной мизантропией, шутил с пассажирами и трепал по головкам детей.

— Дожили, Константин Петрович! — Официант открыл дверцу пустого шкафа. — Может, водочки выпьете? Небось вся душа отсырела. Семкин вчерась в кубрике верно выразился: «плавучая виселица» мы, а не пароход «Николай».

Официант отвернулся и вытер грязной салфеткой глаза. Тощая его шея густо покраснела.

Капитан крикнул и пошел на мостик. Там стоял с биноклем на ремешке вчерашний старый офицер на тонких ножках. Он смотрел на восток и морщился.

Офицер подошел к капитану, ласково заглянул в глаза и спросил, почесывая бородку:

— Когда же будет наконец Кара-Ада, капитан?

— Когда придем, тогда и будет.

— Так, так, так, понимаю.— Офицер вынул золотой портсигар и закурил, не предложив капитану.— Так, так, так.— Он положил капитану руку на плечо. Рука показалась чугунной.— Когда будем в пяти милях от острова, сообщите мне. Кстати, артачиться нет ни малейшего смысла.— Он стиснул капитанское плечо.— Рейс секретный. Предупредите людей, что за болтовню они ответят головой.

Капитан кивнул и осторожно высвободил плечо. Офицер, покачиваясь на паучьих ножках, забалансировал к трапу.

Через два часа вахтенный матрос доложил, что открылся берег. Шторм стихал. Ледяная вода медленно лизала борта «Николая». В ясности зимнего дня наплывали черные низкие обрывы, грубо вытесанные на синем блестящем небе. «Николай» шел тихим ходом к одинокому острову, окруженному пеной бурунов.

К этому времени в трюме умерло десять сыпнотифозных. Трупы их плескались в воде. Грузин Гогоберидзе дико кричал и лил себе в уши пригоршнями ледяную воду. У него начиналась заушница. Он бредил. Ему казалось, что контрразведчики прижигают голову раскаленным железом, и он звал товарищей:

— Сандро, спасай! Сандро, не давай умирать!

В полдень трюм открыли.

Гнилой воздух вырвался оттуда вместе с исступленным криком грузина:

— Сандро, бей негодяев!

Шацкий поднял голову. Высоко по обочинам железного колодца качались зеленые шинели, и над ними, еще выше, мчалось обрывками туч холодное небо. Хотелось пить. Свет затопил трюм. Заключенные моргали, стряхивая с ресниц мутные слезы.

Тогда впервые Шацкий увидел ржавое брюхо трюма и рыжую воду под ногами. Синие заостренные лица мертвецов плавали в ней, тихо покачиваясь. Три аварца лежали грудой, туго укутав головы мокрыми бурками. Один из них был жив. Он поднял голову, проговорил что-то длинное и жалобное на незнакомом языке и свалился в воду.

Миллер подошел к железному трапу и медленно полез вверх. Оттуда кричали, но Шацкий ничего не слышал — он упорно лез вслед за Миллером, стараясь не сорваться.

Из трюма вышло восемьдесят человек. Всех, кто не мог подняться сам, оставили в трюме и снова закрыли его широкими тяжелыми досками.

Заключенных согнали на корму — толпу желтых от качки, голода и жажды людей. Свежий воздух рвал обескровленные легкие.

Пароход покачивался у горбатого острова, черным камнем торчавшего из воды.

Седой офицер поднялся на мостик. Он оглядел толпу заключенных и усмехнулся.

— Поздравляю, товарищи, с благополучным прибытием! — Он показал театральным жестом в сторону острова: — Вот ваше убежище. Здесь вы можете провозгласить Советскую власть... Поручик, разбить всех на двадцатки!

Долго спускали шлюпки. Шацкий равнодушно ждал. Матрос тайком сунул ему в руку пачку махорки. Шацкий тупо посмотрел на махорку и отдал ее Миллеру. Он не курил.

Высадка заключенных на остров Кара-Ада продолжалась несколько часов. Шлюпки не могли подойти к берегу из-за сильного прибоя. Заключенных заставляли прыгать по пояс в воду и добираться до берега пешком. Школьник не устоял на ногах. Его сшибло волной и унесло в море.

На берегу Шацкий лег на камни и смотрел на пароход. Грязный и угрюмый, выкрашенный в черный и желтый цвет, он мотался на волнах, распуская хвост зловонного дыма.

Шацкий не понимал, что случилось. Он как-то не заметил, что их высадили без всего: не дали ни воды, ни пищи, ни даже черствого хлеба. Один Миллер знал, что это значит. Между островом и берегом бушевал широкий пролив.

Шацкий видел, как последняя шлюпка вернулась к пароходу и матросы долго, мешая друг другу, подтягивали ее на таях. Потом из трюма вытащили трупы и бросили в воду — за кормой всплеснула вода. «Николай» дал гудок и, застилая остров дымом, пошел на юг, в сторону Баку.

— Что делать, Миллер? — пробормотал Шацкий и сел на камнях.

Миллер потряс его за плечо:

— Встать и собрать все топливо, какое найдется в этом проклятом месте. Имейте мужество. Здесь нет ни капли пресной воды. Без воды мы, здоровые, проживем только три дня. На берегу, за проливом, может быть, кочуют туркмены. Надо дать дымовой сигнал.

Весь вечер Шацкий сосал холодные мелкие голыши, чтобы обмануть жажду. Спотыкаясь, он бродил по острову, разыскивая сухие ветки и обломки досок, выброшенные на берег. Море было пустынно. Шацкий знал, что в это время года здесь не встретишь ни одного судна, ни одной туркменской лодки. Кто пойдет к этим мертвым и черным берегам, где нет ничего, кроме песков и горькой соли!

К ночи развели два костра и положили около них тифозных. К утру в живых осталось шестьдесят человек.

Трое студентов из Темир-Хан-Шуры решили плыть к берегу.

Миллер их не удерживал. Он завалил костры сухой полынью и всяким сором, чтобы вызвать густой и белый дым. Студенты разделись. Двое поплыли, а третий лег на берег лицом к земле и заплакал: он не мог даже войти в воду, его шатало и мутило. Пловцы утонули вблизи берега. В проливе снова свирепствовал шторм. Течение несло на камни потоки черной воды. К вечеру заключенные подползли к кострам и лежали неподвижно. Миллер жевал конец своего матросского ремня и смотрел на берег, надеясь увидеть огни ответных костров. Но их не было. Тяжелая ночь неслась из пустыни туманом и сажей. Она сгоняла к острову всю стужу голодных сыпучих песков.

— Миллер,— прошептал среди ночи Шацкий,— Миллер, я вспомнил: киргизы зимой гонят скот к Кара-Бугазу, там в оврагах лежит снег.

— Если бы пошел снег, было бы нам счастье,— пробормотал Миллер.

За ночь умерло еще пятнадцать человек. Шацкий к утру лежал почти без сознания. С востока наносило не то низкие черные тучи, не то холодный дым исполинского пожара. Шацкий открывал красные глаза и тупо смотрел на тучи, ожидая, что вот-вот из них упадет хотя бы капля дождя.

Тучи неслись, толкаясь и опускаясь все ниже. Море стихло. Ветер менялся, и море готовилось обрушиться на остров с севера, откуда, может быть, уже шел спасительный снежный буран.

Он вспомнил, что в трюме их сидело больше ста человек. Где же остальные? Неужели всех расстреляли?

Язык распух. Шацкий с трудом поворачивал голову, и каждое слово причиняло острую боль воспаленному нёбу. Тучи спускались все ниже и ниже. До них уже явственно долетали стоны людей, умиравших на обломке черной скалы. Вместе с тучами спускался на остров сырой и жестокий вечер.

Миллер на коленях пополз к костру и ногами подтолкнул в огонь последние гнилые доски. Сладковатый трупный смрад несло на костер из-за ближайших камней. Миллер упал на живот и затих.

Последняя ночь пришла в густом гудении норда. В полночь Шацкий ощутил на лице прикосновение чего-то мокрого и холодного. С неба падал редкий колючий снег. Шацкий хотел крикнуть, разбудить Миллера, но не мог. Он только открыл рот и ловил редкие снежинки, залетающие с ветром и морскими брызгами на лопнувшие черные губы.

Но все же надо было разбудить Миллера, если он не умер. Шацкий уперся руками в острые камни и сел. Ноги горели: должно быть, он обморозил их ночью. Ветер качал его, как тряпичное чучело на огороде, бил в спину и охлаждал воспаленную кожу.

Шацкий заставил себя открыть глаза, хотя ему было совершенно ясно, что открыть их — значит умереть, что он больше не вынесет зрелища этой дикой, завывающей ночи. Он осторожно разлепил клейкие веки и посмотрел вперед, как лунатик: за снежной пургой в крошечной темноте пылало три огня. Были это бред или действительно на берегу пылали огни?

Шацкий нащупал рядом с собой куртку Миллера и изо всей силы дернул ее за ворот. Миллер застонал.

— Миллер! — прошептал Шацкий, хотя ему казалось, что он кричит. — Миллер, голубчик, встаньте. На берегу огни! Много огней!

Миллер зашевелился и с трудом перевернулся на спину. Цепляясь за руки и плечи Шацкого, он медленно сел, обдав его горячим дыханием.

— Братишки... — сказал он тихо, и голос его сорвался. — Братишки, скорее! Смерть наша кругом, братишки!

Он встал шатаясь.

— Чего? — крикнул он Шацкому. — Лежи, не двигайся! Дотяни до утра! Должно быть, заметили.

Заключенные не шевелились. Один только красногвардеец поднял голову и тотчас ее уронил.

Утро застало в живых только двадцать два человека. А к полудню с юга, из-за мыса Бек-Таш, исполинским серым крылом вынесло ныряющий парус. Он взлетал и тонул в черных волнах, борясь с жестоким нордом.

Парус видел один только Миллер. Шацкий лежал в бреду. Ему казалось, что камень обнял его тяжелыми руками и хочет вдавить в землю.

Миллер бросил в догорающий костер валявшуюся рядом шинель. От костра повалил удушливый желтый дым.

Последнее, что видел Миллер, — скуластое лицо в малахае, потом ему ожгло рот приятной жидкостью, потом чей-то свистящий голос сказал по-русски: «Бери вот этих пятнадцать, остальные все мертвые». Больше Миллер ничего не помнил.

Никому не удалось узнать имени киргиза, который заметил с берега дым костров на Кара-Ада. Может быть, этот киргиз еще жив. Может быть, он гоняет баранту «Овцевода» в Адаевских степях, около Гурьева, или работает на соляных промыслах в Кара-Бугазе, — никто этого не знает, имя его поглотила пустыня. У кочевников не было паспортов; они уходили в степь, и найти их было невозможно.

Никто не знает имен тех киргизов, которые разожгли на берегу у Бек-Таша ответные костры. Они жгли костры и говорили о несчастье, о том, что на проклятом острове,

где нет ничего, кроме змей, оказались люди. Человек, попавший на Кара-Ада, может только бедствовать.

Надо было подать лодку, но лодок у киргизов не было. Лодки были далеко, в Кара-Бугазском заливе, где русские выстроили дощатый дом и поселили в нем человека с густой черной бородой и разрезанным горлом.

По всем кочевьям гулял слух, что у этого человека в горло вставлена серебряная трубка. Старики удивлялись, как это басмачи до сих пор не польстились на драгоценную трубку и не убили странного русского. Рассказывали, что русский записывает в толстую книгу ветры, движение облаков, цвет воды и другие приметы. Занятия русского пахивали чертовщиной. По всему было видно, что это настоящий, хотя и добрый, колдун. Он лечил кочевников от трахомы и нарывов и всегда перевозил их через пролив на своей лодке.

Человека с серебряным горлом звали Николаем Ремизовым. Он был первым метеорологом, согласившимся зазимовать на временной метеорологической станции в Кара-Бугазе вместе со стариком сторожем Арьянцем.

По мнению товарищей, Ремизов остался в Кара-Бугазе на верную смерть. Но прошло уже полгода, а его никто не тронул. Вести из России не приходили совсем. Ремизов только догадывался, что там бушует море гражданской войны.

Он жил с Арьянцем подобно Робинзону. Они били диких гусей, ловили в проливе рыбу. Им оставили на год муки, сахару, керосину и чаю. Весь ноябрь они заготавливали саксаул, и в тесном их доме было тепло и пахло хлебом, который выпекал Арьянец.

«Местность вокруг на сотни километров необитаема», — записал в своем дневнике Ремизов в первый же день переселения в дощатый дом с туркменских объемистых лодок.

Ремизов не считал метеорологию точной наукой, называл ее искусством и занимался не столько метеорологическими наблюдениями, сколько изучением Кара-Бугазского залива и пустыни.

Он утверждал, что изречение «все течет, все изменяется» родилось впервые в мозгу жителя пустыни.

«В пустыне нет ничего постоянного», — записал он в своем дневнике. — Здесь все находится в непрерывном движении, хотя на первый взгляд вы и погружаетесь в царство неподвижности.

Двигутся пески, стираются старые дороги, появляются и исчезают кибитки, каждый час меняются ветры, кочуют люди. Песчаные пустыни — единственные движущиеся пространства суши. Это материки, взлетающие во время ураганов на воздух и создающие необыкновенные цветовые эффекты, носящие имя закатов».

В описываемый январский вечер Ремизов сидел над дневником и торопливо записывал свои выводы о характере оседания глауберовой соли в Кара-Бугазском заливе. Выводы эти в ту минуту казались ему гениальными. Сейчас они стали азбучной истиной.

Он точно выяснил, что глауберова соль — мирабилит — осаждается кристаллами на дне залива и плавает во взвешенном состоянии в его водах только зимой, когда температура воды падает до пяти градусов тепла. Кара-Бугаз, этот завод мирабилита, работает только зимой — примерно с ноября до марта. Зимние штормы выбрасывают мирабилит на берега громадными горами, сотнями тысяч тонн.

В марте, как только вода потеплеет, мирабилит растворяется в ней без остатка. Летом в водах залива твердого мирабилита нет.

Летняя жара действует на залив, как топка. Она доводит воду до такой густоты, что при пяти градусах тепла в воде уже начинается кристаллизация мирабилита. И лето и зима в заливе одинаково благоприятны для непрерывного, но периодического роста запасов мирабилита. Это явление казалось Ремизову похожим на круговорот растительной жизни в природе. Каждую весну цветут деревья и каждую осень дают новые плоды. Залив каждую зиму давал новые и новые миллионы тонн мирабилита, давал в течение тысячелетий и будет давать тысячелетиями, сколько бы миллионов тонн мирабилита ни вычерпывали, ни вывозили и ни перерабатывали.

— Вот где богатство! — сказал Ремизов, перечитывая свежую запись.

Говорил он странным голосом, с металлическим звоном. Если трубка засаривалась слюной, голос свистел и из фальцета переходил в густой бас.

Ремизов отложил дневник и начал фантазировать. Он уверял Арьянца, что через несколько лет на бесплодных берегах Кара-Бугаза поставят бронзовый памятник Жеребцову — первому исследователю залива и крестному отцу Ремизова. Жеребцов будет стоять в мятой морской фуражке. У ног его развернется медная карта залива. На памятнике вычеканят надпись: «Отважному исследователю Кара-Бугаза — Советская Россия».

Арьянец сидел на корточках перед очагом и кипятил чай из солоноватой воды. Приближался девятый час вечера. Снаружи, за проливом, глухо ударил выстрел, потом второй, третий.

Ремизов встал.

— Один не ходи, пойдем вместе, — сказал Арьянец.

Они вышли в ветреную ночь. За узким проливом кто-то гортанно кричал, потом снова выстрелил в воздух.

Ремизов отвязал лодку, выстрелил в ответ и налег на весла. Арьянц понуро сидел на корме. Выстрелы с северного берега означали просьбу подать лодку. Таких случаев было уже несколько, но ни разу еще киргизы не подходили к заливу ночью, и это тревожило Арьянца.

На берегу вертелись на злых лошаденках два молодых киргиза. Они молча подали Ремизову и Арьянцу плоские широкие ладони и заговорили оба сразу. Ремизов понял только одно: на острове Кара-Ада погибают люди. Вот уже второй день они жгут костры и просят помощи. Нужно гнать парусную туркменскую лодку. Какие люди и как они туда попали, никто не знает. Ремизов похолодел. Такой холод, предвещавший безрассудные поступки и похожий на припадок восторга, он переживал только в детстве, когда плакал по ночам над книгами.

Ремизов взял одного из киргизов и вернулся обратно. У метеорологической станции стояла на приколе парусная лодка. Около часа они яростно работали, прикрепляя парус, взяли с собой два бочонка с водой, бутылку водки и немного жареной рыбы и пошли в море.

Арьянц стоял на берегу. Ремизов крикнул ему напоследок: — В случае чего, держи направление на Красноводск!

Арьянц махнул рукой: какой смысл разговаривать с сумасшедшим!

Вышли из залива поздней ночью. Начало качать. Ремизов вспомнил, что на сотни миль вокруг нет ни одного судна, ни одной живой человеческой души, только свинцовое и смертельно холодное море, ночь и их двое на скрипучей туркменской лодке. Невольная дрожь прошла по спине.

Теплый дощатый дом, окруженный сухим бурьяном, длинные дни, гром редких выстрелов по диким уткам, пять ящиков с книгами (из них был прочитан только один) — все это осталось позади, скрытое черной водой.

Киргиз говорил, чтобы держать подальше в море — у берегов есть подводные камни, целые горы камней и лодку разобьет о них, как стекло о железо.

Так в шторме они шли всю ночь. Только один раз Ремизову удалось покурить.

На рассвете они заметили черный зубец Кара-Ада. Ремизов спросил киргиза, есть ли около Бек-Таша удобное место для высадки. Киргиз с сомнением покачал головой. Дело осложнялось. Ремизов закусил губу и повел взлетающую лодку к острову, где костер вдруг задымил ядовитым желтым дымом.

— Живы! — засмеялся киргиз и потряс головой. — Ай, живы те люди!

Его мокрое от брызг лицо блестело жиром.

...На острове Ремизов застал множество трупов и пятнадцать живых людей, лежавших без памяти. Ремизов влил живым в рот немного воды с водкой и вместе с киргизом перетащил их в лодку. Пришел в себя только Миллер. Остальные стонали и бредили.

— Кто вы? — спросил Ремизов Миллера, когда лодка, черпая воду, пошла по ветру к Бек-Ташу, где стояла киргизская зимовка. — Что это за женщина с вами? Как вы попали на остров?

— Пять дней не пили, — ответил Миллер и лег на дно лодки. — Пять дней. Тифозные все поумирали. Что сделали гады — хуже расстрела!

— Кто же вы? — снова спросил Ремизов.

— Заключенные из Петровска. Есть партийцы, есть красногвардейцы, есть случайные. Деникинцы бежали из Петровска, нас погрузили на пароход, в трюм, выкинули на остров без воды, без пищи.

Ремизов ничего не ответил. Вот оно подошло и к пустыне, то, чего он втайне боялся, — гражданская война, сыпняк, все, что мешало ему дорабатывать до конца свои открытия, от чего он спрятался здесь, в заливе, где раз в год проходило два десятка кибиток и не было ни одного русского.

— Женщина неизвестная, — сказал Миллер, — случайная женщина. И вот этот ученый — тоже случайный. Три раза белогвардейцы его ставили к стенке.

— Какой ученый? — спросил Ремизов и повернул руль, огибая прибрежные скалы.

Ответить Миллер не успел: лодка вошла в буруны.

Киргизы подхватили ее и дружно вытащили на берег.

Молча переносили в кибитки бредящих людей. К ночи умерло пять человек. Утром умер шестой — старик крестьянин, бредивший станицей на «ридной Кубани».

Из всех заключенных выжило только девять человек.

Шестеро пошли с киргизами к Красноводску, надеясь добраться до железной дороги, а троих — Миллера, Шацкого и женщину — Ремизов взял к себе.

Шацкий все время хитро улыбался. Женщина — армянка, учительница из Ростова — непрерывно плакала.

Ремизов до тех пор не представлял себе, что можно плакать несколько дней подряд. Он сдал армянку на попечение Арьянцу. Старик часами бормотал немудрые утешения и, слушая рассказы учительницы, сурово качал головой:

— Собаки, бешеные собаки! Травить надо таких людей!

Один Миллер был спокоен. Но и он не спал по ночам и много курил.

На третью ночь Шацкий разбудил Ремизова и сказал ему, волнуясь:

— Все, что я сейчас расскажу, держите в величайшем секрете. Я сделал гениальное открытие, но его нельзя огласить, иначе все человечество будет уничтожено величайшей мировой катастрофой. Я геолог. Я пришел к выводу, что в геологических пластах сконцентрирована не только чудовищная энергия, носящая материальный характер, но и психическая энергия тех диких эпох, когда создавались эти пласты. Понимаете?

Ремизов сел на койке:

— В чем дело?

— Слушайте внимательно. Мы нашли способы развязывать материальную энергию — нефть, уголь, сланцы, руду. Все это очень просто. Но у нас не было способа развязать психическую энергию, сжатую в этих пластах. Этот способ открыт американцами. Они ненавидят нас, они хотят стереть с земли Советское государство. Они готовятся выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами. Больше всего ее в известняках и фосфоритах. Фосфориты — это спрессованная злая воля, это сумеречный первобытный мозг, это звериная злоба. Чтобы спастись, надо применить дегазацию. Против известняков мы выпустим молодую мощную энергию аллювиальных напластований. Необходимо немедленно ехать в Москву и предупредить Совнарком. Необходимо оцепить кордоном все местности, где есть выходы известняков и фосфоритов. Иначе мы погибнем всюду, даже в таких укромных углах, как Кара-Бугаз.

Ремизов зажег лампу и внимательно посмотрел на Шацкого. Перед ним сидел старик. Лицо Шацкого стало похоже на львиную маску.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два, — ответил Шацкий.

Ремизов осветил Шацкого и посмотрел на зрачки: они были неподвижны, как у филина, пойманного днем.

«Один кончен», — подумал Ремизов. Восточный ветер гудел над жалкой хибаркой, охранявшей сон бредивших людей.

Ремизов сел к столу, открыл тетрадь и записал:

«Третьего февраля 1920 года. Сегодня вечером говорил с Миллером. Он предлагает пробираться в Астрахань, где Советская власть обосновалась прочно. Я колебался недолго. Здесь оставляю Арьянца с Шацким и учительницей. Геолог сошел с ума. Нет права и человеческих сил заниматься изучением залива и метеорологией после того, что случилось. Пришли сроки, когда все «непреложные истины» об аполитичности науки летят в пропасть. Сырая весна шумит над Россией, и эту весну мне нельзя прозевать».

...Остальные заключенные из Петровской тюрьмы — около трехсот человек — были высажены деникинцами на восточный берег моря вблизи Кара-Бугаза. Эта партия заключенных пошла через пустыню в Красноводск. До Красноводска было четыреста километров. Незадолго перед этим белые были выбиты из Красноводска красными частями, наступавшими со стороны Ашхабада. Город был взят после жестокого боя в Гипсовом ущелье.

Заключенные шли в не затихавшем ни на один день песчаном урагане. Дул норд. Каждый час в конце страшного шествия, растянувшегося на несколько километров, падали выбившиеся из сил. Они кричали и звали передних, но остановиться надолго было равносильно смерти.

Первыми погибли женщины с детьми и матрос-инвалид, ковылявший по пескам на костылях. Передние уходили далеко, задние теряли их след, шли наугад в песчаную муть пустыни, шли до вечера, падали и лежали, зная, что помощи ниоткуда не будет.

По редким туркменским зимовьям прошел слух, что из пустыни к Красноводску движется «шествие проклятых аллахом». Туркмены складывали кибитки и бежали в глубь степей.

Заключенные питались сырыми ящерицами и черепахами. Изредка они находили колодцы с тухлой водой. Вел их туркмен, хорошо знавший пустыню, и только это спасло небольшую часть людей из «шествия мертвых».

Среди заключенных был учитель, грузин Халадзе, участник революционных восстаний в Персии. Был знаменитый штурман Бархударов, доставлявший из Астрахани оружие повстанцам под самым носом деникинских дозорных судов. Деникинцы так и не поймали бархударовский груз. Дозорное судно погналось за пароходом Бархударова, но Бархударов потопил пароход. В Петровской тюрьме ему дали сто шомполов и назначили к расстрелу, но вместо расстрела выбросили с остальными заключенными на мертвые берега Кара-Бугаза. Был офицер англо-индусских войск Муртузалли, перешедший на сторону красных и дравшийся против деникинцев в партизанских отрядах в горах Дагестана. Был ученый, старик Мухин, автор проекта «О социализации недр земли».

В восьмидесяти километрах от города стало ясно, что все оставшиеся в живых до Красноводска не дойдут. Тогда Мухин, принявший начальство над «шествием мертвых», приказал им не двигаться и ждать помощи. Он отобрал сорок человек наиболее крепких и пошел с ними к городу, оставляя через каждые три-четыре километра одного человека как живую веху, чтобы можно было найти оставленных людей.

До Красноводска дошли трое. Они упали на улице, но

успели рассказать попавшимся навстречу красногвардейцам о том, что случилось в пустыне. Через полчаса из Красноводска выслали верблюдов и помчались всадники отыскивать по живым вехам брошенных людей. Большую часть удалось спасти.

ДЕЛО ВДОВЫ НАЧАР

Седые дрозды сидели в поломанных клетках, одурев от кухонного чада. Синий жар дымился из-за дощатой перегородки, заклеенной розовыми обоями. Хозяин столовой Тигран, похожий на седого ежа, сердито нашвыривал на тарелки жирный гуляш. Квас в бутылках из-под кислоты пенился от солнца. Ртуть в термометрах вытягивалась готовыми переломиться столбиками и закрывала пятидесятое деление. Было девять часов утра.

Поданный мне и геологу Прокофьеву гуляш напоминал раскаленный кокс. Одно его присутствие на хромоногом столике обжигало лицо крепче палящего красноводского солнца.

Прокофьев со страхом посмотрел на тарелку и отодвинул ее кончиком вилки. Есть такое блюдо, по его словам, «не представлялось возможным». Мы выпили по бутылке горячего квасу и пошли в купальню. Всю дорогу нас преследовал запах солода. Он явно исходил от нас. Прокофьев вежливо бранился: впервые от него, научного работника Нефтяного института, пахло не лабораторией и нефтью, а пивным суслом.

Что может быть освежительнее купанья в такое беспощадное утро! На белых лодках переливались отблески волн. Их зеленое сияние было нежно, как цвет лунного камня. Серебряные булавки мальков стягивались веерами к плававшей на воде корке. Виднелось дно, голубоватое песчаное дно, где бродили, выпучив глаза, сердитые бычки. Даже ржавые банки от консервов, валявшиеся на дне, казались сделанными из благородных металлов.

Море почти не шумело. От скал Уфра дул на город горячий ветер и падал, изнемогая, у берегов.

Утро купанья перевернуло все мои планы. Я ехал в Кара-Бугаз, где намечалась постройка большого химического комбината — форпоста индустрии в пустынях Кара-Кума. Десять дней я задыхался в вагонной пыли и слеп от светоносной жары, добираясь до Красноводска через Ташкент.

В Красноводске я встретился с большевиком геологом Прокофьевым. Я застал его вечером в общежитии треста «Карабугазсульфат» в самом бедственном положении.

В соседнем кино мужественно носился по клавишам не-

истовый пианист. Прокофьев сидел на койке в носках, скучал, страдал от жары и не мог выйти — по мягкости характера он уступил свои желтые ботинки соседу по койке, шоферу Мише. Миша пошел в кино. Желая блеснуть перед Красноводском, он выпросил у Прокофьева ботинки, оставив взамен рваные парусиновые сапоги, пропитанные смазочным маслом. Прокофьев подозревал, что Миша увлекся одной из красноводских гражданок.

Я сбегал за водой к соседке. Мы разожгли досадливо фыркавший примус и разлеглись на койках в ожидании чая. Прокофьев знал нрав примуса и категорически заявил, что раньше как через час чайник не вскипит.

Узнав, что я еду в Кара-Бугаз, Прокофьев оживился, встал и заходил по комнате из угла в угол.

— Прежде всего, — сказал он, — вам надо хорошенько обдумать маршрут. Давайте сообразим.

— То есть какой маршрут? До Кара-Бугаза отсюда двести километров морем.

Прокофьев снисходительно засмеялся:

— Если вы едете в Кара-Бугаз как работник треста, то двести километров. Но вы же едете совсем за другим: вы хотите, насколько я понял, изучить всю проблему Кара-Бугаза. Так? Тогда маршрут сильно осложнится. Я сам давно мечтаю о такой поездке. Она у меня разработана во всех мелочах. Но у меня нет денег, а у вас деньги есть, поэтому я уступаю вам свой маршрут бесплатно.

Положительно это был новый тип ученого-филантропа: Мише он отдал ботинки, мне уступал тщательно разработанный маршрут.

Каждый шаг Прокофьева по темной комнате вызывал угрожающее жужжанье. Тысячи мух носились вокруг него, не находя покоя от порывистых движений этого высокого человека.

Пианист в кино ударил по клавишам кулаками; рояль дико вскрикнул, как человек, испуганный из-за угла.

— Слыхали? — спросил Прокофьев. — Варварство!

Он снова зашагал по комнате.

— В Кара-Бугаз вам придется ехать по спирали, — продолжал Прокофьев. — Что такое Кара-Бугаз? Величайший в мире и неисчерпаемый источник глауберовой соли. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, как использовать эти богатства. В Кара-Бугазе есть соль, но нет угля, нефти, воды, газов, нет основы для переработки этой соли в ценнейшие химические вещества и потому как будто нет места для комбината. Но уголь, нефть, вода и газы лежат по широкой кривой вокруг залива. Прежде чем изучать залив, вам нужно изучить подступы к нему. На этом и основан мой маршрут.

Чайник вскипел. В это время пришли инженер Хоробрых и топограф Бархин. Они сбежали из кино, не выдержав жестокой музыки и мучимые жаждой.

Хоробрых тотчас же вырвал инициативу разговора из мягких рук Прокофьева. Это был высокий человек с лицом Шаляпина и военной выправкой. Он заведовал изысканиями грунтовой дороги из Красноводска в Кара-Бугаз.

Несколько дней я наблюдал его. Он работал, как полководец на фронте, хотя армия его состояла из завхоза Корчагина, нескольких комсомольцев-топографов, пятерых туркмен-рабочих и четырех верблюдов. Но эта маленькая армия действовала быстро и верно. Распоряжения Хоробрых отличались краткостью и напоминали знаменитую наполеоновскую речь: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты пирамид!»

В приказах Хоробрых, к сожалению нигде не записанных, были суровость и величие пустыни. Он говорил громовым голосом: «Топографы! Вы должны выйти на горькие родники Кош-Аджи и держаться тех колодцев, где по надписям времен Тамерлана, высеченным в скале, можно напоить сто верблюдов. От этих колодцев ведите трассу на северо-запад, но помните, что измерения в тех местах очень часто искажаются отблесками соляных озер».

Хоробрых всю жизнь провел в Средней Азии. Он участвовал в гражданской войне. Легкий налет военного коммунизма остался на нем до последних дней — налет стремительных решений, смелых выходов и внешней грубоватости.

Зимой он ездил верхом в Кара-Бугаз через пустыню, а осенью ходил на туркменских лодках из Кара-Бугаза в Баку.

Никто из инженеров не отваживался на это. Плавание походило на игру со смертью.

Хоробрых написал статью о мореходных качествах этих лодок и напечатал ее в краеведческом журнале в Ашхабаде. По статье выходило так, что туркменские лодки как будто прочнее пароходов и быстрее моторных катеров. Хоробрых больше всего ценил в этих лодках то, что они делались без конопатки — отдельные доски пригонялись друг к другу «под нож» с исключительной точностью. Лишь одно обстоятельство смущало Хоробрых: попадая в воды Кара-Бугаза, туркменские лодки часто давали жестокую течь и даже тонули.

Хоробрых занялся изучением этого явления — не из любопытства, а потому, что до последнего времени на этих лодках перевозилась глауберова соль (мирабилит) с отдаленных промыслов в пролив. Причина течи заключалась в кара-бугазской воде и в том, что каждое дерево, даже самое сухое, содержит в себе некоторую долю пресной влаги. Кара-бугазская вода, объяснял Хоробрых, является насыщенным раствором

соли. Когда лодка попадает в Кара-Бугаз, то его едкая вода моментально всасывает в себя всю влагу из лодочных дощатых бортов, пазы между досками расходятся, и лодка, естественно, тонет. За эту теорию Хоробрых держался твердо.

Остаток вечера прошел в спорах о причинах течи туркменских лодок и в рассказе Хоробрых об истории исследований Кара-Бугазского залива. Хоробрых в первый раз был в Кара-Бугазе в 1914 году и с полным правом считал себя кара-бугазским старожилом.

Вечером Прокофьев не успел передать мне маршрут, и разговор наш был закончен наутро в купальне.

— Маршрут ваш должен быть следующий, — сказал Прокофьев, сидя в тени на ступеньках купальни. — Сначала Красноводск, где вы сейчас и находитесь, потом Дагестан — Бериkey и Махачкала, потом Эмба, наконец полуостров Мангышлак, и только после этого вы имеете право попасть в Кара-Бугаз. Всего три тысячи километров по Каспийскому морю и несколько сот километров по суше. Район Красноводска богат нефтью и газами, Дагестан — газами, Эмба — нефтью и известняком, а Мангышлак — каменным углем, фосфоритами и нефтью. Все это необходимо для переработки кара-бугазского мирабилита в ценные химические продукты. Без этого нет никакого смысла строить кара-бугазский комбинат. Ну что, согласны?

— Согласен.

Прокофьев прыгнул в воду. Своим телом он вогнал почти до самого дна много воздуха: вода вокруг него сделалась снежной от пузырьков мелкого газа.

Из соседней кабинки с грохотом свалился в воду Хоробрых. «Здорово, орлы!» — прокричал он, нырнул и пошел сажёнками к скалам Уфра. Он плыл, погружаясь в блеск воды. Он тонул в нем, как в необыкновенном световом океане. Прямо на Хоробрых шел наливной пароход с желтой, канареечной трубой. На мостике его чернела громадная надпись: «Лафарг».

Зной ложился розовым дымом на мертвые горы и песчаные косы, сверкавшие вдали подобно неведомым обширным материкам.

Вечером я встретил Прокофьева в Новом городе, за вокзалом. Улицы упирались в рыжие и угрюмые скалы.

Прокофьев сообщил мне последнюю новость: в столовую горпо привезли ключевую джебельскую воду. Мы поспешили к столовой. Вода из опреснителей казалась нам хуже касторки. Это была густая и мутная вода, пахнущая керосином и рыжая от каких-то хлопьев, неохотно оседавших на дно. Пить ее было бесполезно: жажду она почти не утоляла. Для одного Хоробрых нужно было два ведра в день, выдавали же на чело-

века только по ведру, так как один из опреснителей поставили на ремонт.

О водяном кризисе свидетельствовали мертвые очереди из пустых ведер, закручивавшиеся спирально вокруг водоразборных будок. Надменные верблюды шагали прямо по ведрам, оставленным хозяйками на попечение старого философа-туркмена. Гром катился по улицам, туркмен лупил верблюдов по сизым бокам, хозяйки, красные, как кочегары, бежали вперевалку к ведрам, призывая проклятия на верблюдов.

По пути мы догнали Хоробрых. В ответ на сообщение о джебельской воде он сделал безразличное лицо, хотя тут же довольно охотно согласился идти с нами в столовую. Как истый инженер и среднеазиатец, он доказывал нам, что вода из опреснителей ничуть не хуже родниковой.

В столовой чай заказывали оптом — по пять, восемь, даже десять стаканов. Бархин и Корчагин сидели окруженные душистым паром и уничтожали коробку экспедиционной пастилы. Из кино долетала музыка. Дневная пыль спокойно лежала на мостовых, а не взлетала среди улиц шумными смерчами.

Воздух был чист. В зеленоватом небе висели, касаясь крыш, переспелые звезды. Даже на Востоке бывают вечера, напоминающие восточные пейзажи наших художников и восточные стихи. Бархин посмотрел на небо и промолвил:

— Шехерезада.

— Что «Шехерезада»? — строго спросил Хоробрых.

— Небо.

— Почему «Шехерезада»?

— Арабское слово «Шехерезада» похоже на наше слово «путаница», — мягко вмешался Прокофьев. — Бархин, у вас возникла интересная ассоциация: Шехерезада — путаница. Посмотрите на небо: какая чудовищная путаница звезд всех величин!

— Посадить среди этой путаницы соловья, и пусть поет, — сказал Хоробрых. — Ах, ах, ширазские соловьи и розы Хороссана! Ах, Зюлейка, лилия иранских долин!

Хоробрых издевался над шаблонной восточной экзотикой. Он любил на Востоке иное — рыжие пески, цветение хлопка, почтовых верблюдов (нарров), заросли тау-сагыза, Гиндукушскую плотину и опреснители. К мечетям Самарканда он относился почтительно, но только как к архитектурным сооружениям. Поэзия Саади была для него выкрутасами старого хитреца-перса, морочившего голову наивным шахам. Из изречений Саади он ценил только одно и часто повторял его топографам:

«Если ты идешь с хромым, то поджимай ногу, чтобы его хромота не была так заметна».

Этот предел восточной вежливости веселил Хоробрых.

— Пейте лучше чай,— предложил он Прокофьеву,— и расскажите, кстати, о ваших работах в Чикишляре. Это гораздо интереснее.

Лицо Прокофьева в запыленных роговых очках казалось совершенно черным от вечера и загара.

— Что Чикишляр! — ответил Прокофьев.— Там каждая пядь — нефть. Нефтью залиты целые гектары. Баку меркнет перед Чикишляром. Из всех трещин в земле бьют благороднейшие газы.

— Ну-ну,— примирительно пробормотал Хоробрых,— лучше вашего Чикишляра нет уже и места на свете.

— Давайте поговорим серьезно. Вот уже два года на всех совещаниях я кричу о Чикишляре, Нефте-Даге, Челекене и Бая-Даге. Но больше всего, конечно, о Чикишляре. Вам известно, что я потратил на Чикишляр три года тщательных исследований и имею право говорить о Чикишляре с полной достоверностью.

Рассердившись, Прокофьев рассказал нам интересную историю о Чикишляре.

У меня есть одна слабость: мне хочется возможно большее число людей приохотить к писательству. Часто встречаются люди, пережившие много интереснейших вещей. Багаж прожитой жизни они таскают повсюду с собой и тратят попусту, рассказывая случайным попутчикам или, что гораздо хуже, не рассказывая никому.

Сожаление о зря погибающем великолепном материале преследует меня непрерывно. К таким людям я обыкновенно пристаю с просьбой описать пережитое, но почти всегда наталкиваюсь на неверие в собственные силы, на испуг и, наконец, на ироническую усмешку. Плоская мысль, что писательство — легкое занятие, до сих пор колом стоит в мозгах многих людей. Большинство ссылагается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство — это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол.

Выслушав Прокофьева, я предложил ему написать обо всем, что он рассказал. Вопреки моим опасениям, Прокофьев охотно согласился.

Он сидел в Красноводске, дожидаясь парохода на Кара-Бугаз. Пароход застрял в Гассан-Кули, и даже капитан порта не мог сказать точно, когда он придет, во всяком случае не раньше, чем через неделю.

Для записей Прокофьев взял себе два дня. В общежитии

он писать не мог. Топографы сильно заинтересовались его писательскими опытами и начали изощряться в остроумии насчет «святого вдохновения» и «лавров Шолохова, не дающих Прокофьеву спать». Прокофьев уходил с утра в Новый город, к своему приятелю, и писал в его прохладной комнате. В общегитие он возвращался только вечером, и мы тотчас же шли на окраину города купаться.

Ночь, как бы разведенная на саже, опускалась на море и берег глубокой тишиной. Мы не видели воды, мы лишь чувствовали ее прохладный уровень на разгоряченном теле. Постепенно глаза привыкали к темноте, и светносная круп звезд начинала осыпаться вокруг нас, падала в воду, вода слабо светилась, и, стоя в ней по пояс, мы ясно представляли вокруг себя открытое и мелкое тропическое море.

Портовые фонари лежали на воде неподвижно, как голубые глаза глубоководных рыб, поднявшихся в полночь поглазеть на звезды. Море пахло остро, как пахнут огороды, обильно политые на рассвете. В запахе его были крепкие соки соли и устриц.

Прокофьев, одеваясь на ощупь в кромешной темноте, говорил, что писательство — самое тяжелое и заманчивое занятие в мире и что если бы он не был геологом, то наверняка бы сделался писателем. Двух дней, чтобы записать свой рассказ, ему уже не хватало. Он просил отсрочки еще на два дня. Из-за этого я пропускал очередной пароход на Баку (по маршруту Прокофьева я должен был ехать в Дагестан). Мы долго спорили, но в конце концов мне пришлось согласиться.

Рассказ свой Прокофьев отдал мне за день до моего отъезда. Ему очень не хотелось, чтобы я читал его при нем. Ложный стыд еще не выветрился из него окончательно. Назывался рассказ «Черные реки».

Вот этот рассказ.

«Года три назад я заинтересовался странным явлением, происходившим на острове Челекен. Явление это заключалось в том, что с острова вот уже тридцать лет добывают нефть, тогда как, по всем геологическим данным, запасы нефти на Челекене очень невелики и должны были быть исчерпаны за первые десять—пятнадцать лет добычи.

Одно из научных учреждений командировало меня на Челекен для выяснения этого обстоятельства.

Я впервые попал в Среднюю Азию. Меня удивила пустыннось тех мест, где мне пришлось бывать. В научной литературе эти места упоминаются довольно часто, и, казалось, они должны быть более населенными.

Кратковременное пребывание на Челекене убедило меня, что корни неистощимости челекенской нефти можно выяснить

только на материке, примерно в районе Чикишляра, Гассан-Кули и Атрека.

Я выехал туда. В Гассан-Кули на рейде пассажиров пересаживали на плоскодонные фелюги, а в километре от суши — с фелюг на арбы и по мелкой воде вывезли наконец на плоский песчаный берег.

Я ощутил необычайную духоту, жажду и тревогу. Я задыхался от запаха гнилой рыбы и пережил состояние, знакомое всем впервые попадающим на Восток. Его можно назвать «тоской по привычному». Прохладные лаборатории института и густая листва ленинградских садов, создававшая в комнатах зеленый сумрак, показались мне потерянным раем. Я спрашивал себя, действительно ли существуют березовые леса и реки, заросшие кувшинками, морозящие дожди и трава. Особенно неправдоподобным казалось существование травы — настолько голой и кремнистой была здешняя пересохшая земля.

Я бывал в Баку, жил в Грозном, на Эмбе и как геолог прекрасно знал, что нефтяные залежи лежат на высохшем дне бывших морских заливов, в местах, обычно бесплодных и малопривлекательных. Самая тоскливость этих мест, куда я попал, показалась мне довольно верным доказательством, что нефть здесь должна быть в большом количестве.

Я поселился в ауле Кульджар, у туземного врача — табиба. Это был коричневый напыщенный старик-туркмен, считавший меня тоже знахарем по части нефти и других ископаемых богатств и потому как бы товарищем по профессии. Табиб вынужден был скрывать от непосвященных свои занятия.

Когда я приехал в Кульджар, аул стоял на месте уже год и был окружен поясом зловонных отбросов и грязи. Я тогда еще не знал, что аулы могут стоять на месте лишь полтора-два года. После этого они так загрязняют всю землю вокруг, что их приходится переносить на свежее место.

Я ушел с головой в свою работу. Возможно, многие не знают теории о первичной и вторичной нефти. Сущность этой теории в том, что нефть, возникая в одном месте, совершает далекие странствования под землей, обычно из глубоких пластов поближе к поверхности, передвигаясь по пустотам и пористым породам в сторону наименьшего сопротивления. Большую роль при этом играет давление нефтеносных газов.

По моим наблюдениям, в случае с Челекеном мы имеем классический пример передвижения нефти. Забыл упомянуть, что нефть, найденная в том месте, где она образовалась, называется первичной, а нефть, найденная далеко от места образования, или такая вот бродячая нефть, называется вторичной. На Челекене нефть вторичная, непрерывно наплывающая в та-мошные нефтеносные пласты откуда-то со стороны. Этим и

объясняется неисчерпаемость челекенских залежей. Но где родина нефти? Этот вопрос занимал меня чрезвычайно.

Мне было очень трудно найти рабочих. Все туркмены моего аула были из рода Игдыр. Род этот, испокон веков владевший неисчислимыми стадами, знаменит предрассудками. Только молодежь после революции начала работать, старики же до сих пор считают работу унижительной и проводят время в праздности, курении и игре в кости. Работают женщины.

В качестве рабочих табиб любезно приводил мне тэриакашей — курильщиков дрянного грязного опиума, людей ненадежных и оцепенелых. Временами их невозможно было сдвинуть с места. Лишь через месяц у меня появился бойкий и толковый, но чрезмерно любопытный помощник — юноша Гузар. Он интересовался буквально всем, и мне пришлось объяснять ему даже теорию первичной и вторичной нефти. В его глазах я был великий ученый-большевик, знающий происхождение чудес и значительно более почтенный, чем доживающие свой век в ауле эвляды — потомки пророка.

Табиб изводил меня медленно, но верно. Он втайне ненавидел большевиков и, упоминая о революции, со вздохом провозглашал старинное изречение: «Когда караван поворачивает, то хромой верблюд оказывается впереди». Под хромым верблюдом он, очевидно, подразумевал бедняков, ставших у власти.

Он бесил меня своими способами лечения. Он настаивал красный перец на верблюжьем молоке и растирал этой ядовитой гадостью веки у трахоматозных. Больным сифилисом он давал курить смешанную с табаком и растертую в мельчайший порошок высушенную голову ящерицы — варана. Нарывы он лечил прикладыванием теплого мяса только что убитых ящериц или щенков. Но самым варварским было лечение дизентерии. От нее летом погибало много детей. Табиб изо всей силы закручивал больному пупок, не обращая внимания на отчаянные крики. Этот способ лечения обычно кончался грыжей.

Табиб знал только четыре болезни — трахому, дизентерию, сифилис и туберкулез желез. Все остальные недуги он называл сердечными и лечил их прижиганием. Способ прижигания напоминал изощренную пытку. Больному туго привязывали к боку тлеющую кошму. Когда ожог, по мнению табиба, достигал нужных размеров, кошму снимали и на обожженное место клали компресс из мочи.

Я терпел две недели, потом послал с okazji записку в Чикишляр, требуя, чтобы табибу запретили калечить людей.

Вскоре после этого я уехал в горы. Здесь мне удалось сделать ценное открытие, заставившее меня забыть о табибе.

Перед отъездом я переселился от табиба в кибитку вдовы Начар. Она перешла в шалаш, стоявший в нескольких шагах от кибитки. Кибитка Начар мне понравилась. Она была очень чистая и стояла далеко от аула, за чертой зловония и дохлых щенков, в полосе крепких ветров, дувших с отдаленных гор.

У подножия гор я нашел выходы газов и путем ряда наблюдений окончательно убедился, что место моего исследования было центром богатых залежей первичной нефти, откуда она распространялась медленными подземными потоками, имевшими, по моим предположениям, два направления — к Челекену и Нефте-Дагу.

Тогда уже в научных кругах была во всей широте поставлена проблема Кара-Бугаза, иначе говоря — проблема добычи и переработки величайших на земном шаре залежей мирабилита. Меня интересовал главным образом вопрос о переработке мирабилита. Уже тогда носилась в воздухе идея создания в Кара-Бугазе мощного химического комбината. Существование комбината немыслимо без основных слагаемых — сырья, топлива и воды.

В Кара-Бугазе было только сырье — мирабилит, топлива же и воды не было. Я открыл величайшие газоносные земли — затрудняюсь даже приблизительно определить запасы газов в Чикишлярском районе — и был уверен, что этим разрешаю в значительной степени вопрос о топливе для комбината, так как передача горючих газов на расстояние — вопрос, давным-давно решенный техникой.

Кроме выходов газа, я открыл богатейшие источники йода и брома.

Одна часть топливной задачи была решена, но оставалась еще вторая часть — нефть.

В этом деле никаких сомнений и долгих раздумываний не было. Весь район был насыщен нефтью, как губка. Но эта нефть, равно как и челекенская, была слишком далека от Кара-Бугаза и лежала глубоко под землей. Нефте-Даг был ближе. Выгоднее всего было бы перебрасывать в Кара-Бугаз именно нефте-дагскую нефть.

Помню, как-то ранним утром я сидел около палатки и думал об этом. Гузар подошел ко мне и очень взволнованно сказал, что двое тэриакешей нашли за холмом брошенную мечеть и что туда следовало бы переселиться.

Гузар звал меня немедленно пойти осмотреть новое наше жилище.

Я пошел к мечети раздосадованный. Гузар оторвал меня от стройного порядка размышлений. Мне необходимо было, зная более или менее точно направление открытых мною

нефтяных течений, определить, где следует искать нефть вблизи Кара-Бугаза. Мне нужно было наметить точки, где было больше всего вероятия встретить нефть, то есть, иными словами, найти кратчайшее расстояние от Кара-Бугаза до нефтяной полосы, идущей на север и, как я предполагал, сливающейся с нефтеносными землями Мангышлака и Эмбы.

Мы поднялись на холм. Я думал увидеть разрушенную мечеть с осыпавшимися синими, как купорос, изразцами, но перед нами чернело глинобитное приземистое здание, угрюмое и непривлекательное. Оба тэриакеша сидели у входа посмеиваясь. Они сердито взглянули на меня и Гузара, когда мы проходили мимо них внутрь мечети. Я заранее решил в мечеть ни в коем случае не переселяться. Затея Гузара была совершенно нелепа.

Войдя в мечеть, я оторопел. У стены под разрушенной кровлей, пропускавшей плотные солнечные лучи, напоминавшие по цвету солому, сидела бедно одетая женщина в платке, закрывавшем рот, и тихо стонала. Рядом с ней спал на земле маленький мальчик.

— Начар пришла к нам, чтобы ей помогли,— пробормотал смущенный Гузар.

Я понял его детскую хитрость с переселением в мечеть, выдуманную, чтобы заманить меня сюда, и сказал, невольно улыбаясь:

— Переводи.

Начар откинула платок и быстро заговорила, протягивая к нам лиловые высохшие руки. Из глаз ее катились редкие слезы. Она говорила долго и страстно, сорвала ожерелье из медных монет и бросила его к моим ногам. Гузар часто спрашивал ее и спорил с ней. Они оба волновались, и голоса их переходили в клекот.

Я рассматривал Начар. Я был поражен измученностью и красотой ее лица. Я привык думать, что туркменки скуласты, широколицы и изуродованы воловьей работой.

Наконец Начар остановилась, снова надвинула платок на рот и села, прислонившись к стене.

Гузар переводил с большим трудом. Начар не туркменка, она — афганка. Двадцать лет назад, когда ей было три года, ее украли у родителей и продали в аул Кульджар бедняку Мураду.

Когда ей пошел пятнадцатый год, Мурад женился на ней. Весь аул ненавидел ее, как чужеземку. Мурад бил ее, потому что первый год у нее не было детей. Потом родился мальчик, и жить стало легче — рождение первенца-сына считается в туркменских семьях счастливым предзнаменованием. Потом родилась девочка, но Мурад вскоре после этого умер. По

законам шарията¹, у Начар отобрали всех овец — их было всего только пятьдесят голов. Месяц назад у нее украли и неизвестно куда продали дочь. Мальчишки забрасывали ее верблюдьим пометом.

Она обошла все кибитки, плача и умоляя сказать ей, куда продали дочь, но в каждой кибитке мужчины встречали ее побоями. Она ушла ночью тайком в Красноводск, взяв с собой мальчика. Начар хотела жаловаться большевикам-судьям и русским женщинам, которые защищают туркменских женщин от мужей, но старики догнали ее недалеко от аула, избили и вернули обратно. Вчера к ней пришли трое эвлядов² и табиб, называли ее блудливой козой, грозили убить ее и ушли, содрав кошму с кибитки русского.

— Они убьют ее, — сказал Гузар и задрожал всем телом. — Иолдаш³ Прокофий, нам нельзя возвращаться в аул. Они убьют нас троих и мальчика с нами.

Я промолчал. Все научные дела вылетели из моей головы. Я был охвачен единственным чувством — бешенством. Я вышел из мечети и сказал ухмылявшимся тэриакешам:

— Накормите эту женщину, а потом свертывайте палатки — мы переходим на новое место.

— Пусть подыхает, афганская ведьма! — ответил старый тэриакеш и сверкнул на меня желтыми лошадиными зубами.

И я, геолог, работник одного из выдающихся научных институтов, схватил его за халат, рванул изо всей силы, так что у него с бритой головы свалилась папаха, и крикнул голосом, испугавшим меня самого:

— Слышишь, собака, что тебе говорят?!

Тэриакеш присел и закрыл глаза — казалось, он ждал выстрела.

Через три часа мы снялись и, захватив с собой Начар и ее мальчика, двинулись в сторону Гассан-Кули.

Так печально окончилась моя первая экспедиция в район Атрека. Я был доволен, что все случившееся совпало с окончанием главных работ. Остались мелочи, не имевшие значения.

В дороге один тэриакеш сбежал. Ночевали мы в пустыне. Я всю ночь не спал и прислушивался, но, кроме шороха ящериц, ничего не слышал.

На второй день мы добрались до Гассан-Кули. На руках у меня остались необработанные материалы экспедиции и трое людей, отдавших свою судьбу в мое распоряжение: Гузар, вдова и ее четырехлетний мальчик. Было от чего потерять голову. Я решил везти всех в Красноводск, а там видно будет.

¹ Шариа́т — бытовые законы у мусульман. (Примеч. автора.)

² Эвля́д (туркм.) — старший в роде.

³ Иолда́ш (туркм.) — товарищ.

В Красноводске я устроил Гузара в школу для туркмен, а с Начар пошел в райком партии. Заведующая женотделом Бариль — бывшая швея, маленькая, вспыльчивая и упрямая женщина, постоянно ронявшая пенсне, — выслушала меня, и лицо ее покрылось красными пятнами.

— Вы, товарищ, молодец, — сказала она, и глаза ее заблестели. — Оставьте эту женщину здесь. Мы все устроим.

Она протянула мне крепкую руку. Я вышел с чувством облегчения.

Через неделю я получил повестку от председателя суда и узнал из нее, что я назначаюсь общественным обвинителем по делу «о пережитках варварского быта, выразившихся в истязании и преследовании гражданки Начар».

От председателя суда я узнал, что таиб и шесть стариков-эвлядов арестованы, доставлены в Красноводск, следствие заканчивается и через несколько дней будет суд.

Днями, оставшимися до суда, я воспользовался не для того, чтобы готовиться к обвинительной речи, а для составления доклада об использовании природных нефтяных газов Чикишляра.

Поскольку этот вопрос сравнительно нов, я позволю себе остановиться на моем докладе подробнее.

При разработке вопросов о газах я исходил из нужд карабугазского комбината. Ни уголь, ни нефть не могут соперничать как топливо с газом. Весь вопрос лишь в том, как перебросить газ за четыреста километров из Чикишляра в Кара-Бугаз. Пять лет назад постройка газопровода в сто — сто пятьдесят километров считалась величайшим техническим достижением, а сейчас уже работают газопроводы длиной в семьсот пятьдесят километров. Поэтому прокладка газопровода в четыреста сорок километров не составит большого труда.

Горы Большие Балханы, пересекающие путь газопроводу, несколько ему не мешают. В настоящее время газопроводы успешно пересекают местность с любым рельефом.

Я изложил свой проект инженерам. Они возразили, что прокладка газовой линии потребует постройки больших газохранилищ.

Должен сказать, что ни разу я не встречал специалиста, который не нашел бы возражения против даже самого совершенного проекта. Это профессиональная привычка. У старых специалистов это не только привычка, но и неприязнь к масштабам. Они со вздохом вспоминают старые уютные заводы, где дворы зарастали одуванчиками и в которых всегда стояла солнечная тишина. Некуда было торопиться, и некого было перегонять.

Возражения инженеров заставили меня сделать некоторые

вычисления. Инженер Хоробрых поддержал меня со свойственным ему напором. Он подтвердил мои вычисления громовой речью, направленной против трусливых «трепачей-инженеров». Оказалось, что никаких газохранилищ не нужно, так как сам по себе газопровод является исполинским хранилищем. Действительно, газопровод длиной в четыреста километров вмещает два с половиной миллиона кубических метров газа. Ни одно газохранилище в мире не может вместить такого количества газа.

Применение газов очень обширно. Они идут на топливо, на обслуживание быта, употребляются в нефтяной промышленности для освежения старых скважин, из них делают сажу, необходимую для резиновой промышленности, твердую угольную кислоту, так называемый «сухой лед», и множество химических веществ: древесный спирт, ацетон, водород, ацетилен для автогенной сварки, бутadiен для получения искусственного каучука, эфир, бензол, хлороформ, охлаждающие вещества.

В своем докладе я настаивал на необходимости продолжать исследования в Чикишлярском районе в значительно большем размере, чем были мои работы. Необходимо глубокое бурение на тысячу и больше метров. Закладка газовых скважин должна вестись с большой осторожностью и только тогда, когда есть возможность использовать газ. Иначе можно выпустить на воздух совершенно зря миллионы кубических метров газа. Закрывать газовую скважину очень трудно. Газ почти всегда пробьет себе ход и хлынет по сторонам обсадных труб.

В будущем году я опять вернусь в Чикишлярский район, чтобы вычислить количество газов. Для этого есть два весьма простых и интересных способа. Первый способ состоит в том, что вычисляется объем пор и пустот в газоносной породе, который и будет равен объему газа, ибо газ эти пустоты заполняет. Этот способ дает грубые цифры. Второй способ — так называемый «метод спуска давления» — состоит в том, чтобы определить уменьшение давления газа, выходящего из скважины. Зная дебит скважины (иначе говоря — количество газа, которое она дает), вычисляют подземный запас газа. Делают это следующим образом. Предположим, скважина дала сто тысяч кубических метров газа и давление после этого упало на одну десятую. В этом случае подземный запас газа в скважине составляет девять десятых дебита, то есть будет равен девятистам тысячам кубических метров.

Вот в основных чертах главные точки моего доклада. А затем начался суд.

Здание суда в Красноводске — единственное место, где в палисаднике цветут терпкие и пыльные цветы охряного цвета с серой шершавой листвой.

Я не помню, что я говорил. Я, кажется, говорил, что половина туркменских женщин страдает бесплодием в результате каторжного труда, что только Октябрьская революция сорвала платки, которыми молодые туркменки завязывали рот в знак того, что женщина должна всю жизнь молчать. Я требовал запрещения носить национальный женский головной убор, весящий около трех кило и вызывающий туберкулез шейных позвонков.

Подсудимые мрачно смотрели на кончики своих бород. Табиб отказался от последнего слова, снабдив свой отказ напыщенным изречением. «Сын пророка,— сказал он,— не поленился драться, но поленился говорить».

Приговор был суровый: пять лет каждому, с высылкой после отбытия наказания из пределов Туркменской республики.

В зале суда я увидел Начар. Она была уже без платка, в европейском платье.

— Товарищ дорогой,— сказала мне Бариль,— посмотрите на нее! Какая поразительная красавица! Мое платье никогда не сидело на мне так, как на ней. Я отправлю ее в Баку на швейную фабрику. Но надо, чтобы раньше она перестала пугаться мужчин и автомобилей.

Здесь, собственно говоря, можно поставить точку. Должен лишь добавить, что вмешательство мое в жизнь доставило мне столько же тревоги и радости, сколько и исследовательские мои работы по нефти на Челекене и в Чикишляре».

— Будет ли продолжение у этого рассказа? — спросил я Прокофьева.

— Боюсь, что в продолжении придется принять участие и вам,— ответил он.— Вы уезжаете завтра, а Бариль отправляет Начар в Баку с завтрашним пароходом. К вам просьба: поглядывайте за ней в дороге и доставьте ее в Баку по адресу.

— Прокофьев,— воскликнул я,— вы каждый день все дальше отодвигаете меня от Кара-Бугаза!

Он засмеялся:

— Совершенно ложный взгляд. Здесь все незримо связано с этим заливом. Бариль едет на днях в Кара-Бугаз для работы среди туркмен и казахов. В Кара-Бугазе вы ее встретите, и она вам расскажет и покажет кучу интересных вещей.

На следующий день над горами носились тучи серого праха. Слюдяное солнце выливалось на землю океаны белой жары. Шелудивые псы с желтыми мудрыми глазами обнюхивали на пристани пыльные груды узлов и чемоданов, рыча друг на друга предостерегающе и нежно.

Пароход «Чичерин» вынес свой неестественно высокий нос

в волнующуюся равнину моря. Прокофьев долго махал с пристани выгоревшей до седины шляпой и кричал, чтобы в Махачкале я обязательно навел на геолога Шацкого.

Бариль крикнула мне, показывая на Начар: «Смотрите, чтобы она не утопла!» Хоробрых дымил обгрызенной трубкой и помахал мне рукой с видом милостивого начальника, зорко следящего за точным выполнением своих приказаний. В эту минуту я почувствовал себя подчиненным ему и понял, что топографы были правы, когда говорили, что за этим человеком можно работать, «как за бетонной стеной».

В последнюю минуту прибежал запыхавшийся Корчагин. Он нигде не мог найти верблюжьих седел для нужд изыскательской партии и притащил свое разочарование на пристань, где оно разбилось о непреклонную волю Хоробрых. «Надо найти — и найдешь. Идем вместе», — сказал Хоробрых, и я видел, как они прошли в решетчатые пристанские ворота и поднялись на пригорок. Там в увядших желтых цветах белело низкое здание горсовета.

Вздымая смерчи пыли, по набережной промчался на грузовике Миша. Он изрыгал проклятия охрипшей от жажды сиреной. Белая надпись на бортах его грузовика — «Карабугаз-трест» — была видна очень далеко.

Потом город и ломаные черствые горы быстро покатались влево. Волны бестолково заплясали около красных плавучих бочек. Ударил ветер. «Чичерин» медленно и торжественно опустил нос и, раздувая дым из трубы, раздувая флаг, раздувая брезент над палубой и парусиновые ветрогонки, с шумом и дрожью поднялся на широкую волну, катившуюся с моря. К вечеру волна улеглась, и на западе разгорелся закат. Ниже заката, над самым морем, проносились из края в край голубыми снарядами зарницы. Тишина обволокла пароход.

Я принес пугливой Начар кипятку. Мы сели на палубу, напоминая со стороны семью бродяг, занятых чаепитием. Начар была в старом шелковом платье Бариль, в светлых чулках и белом шарфе. Рядом с ней брел на потертой гитаре невзрачный моряк.

Начар уже знала по-русски несколько слов, но произносила их шепотом и при этом краснела. После чая она закрыла шарфом нижнюю часть лица и сидела неподвижно, глядя на море. Мне кажется, так она просидела всю ночь: утром, когда мы приближались к плакатно-желтым берегам Апшерона, я застал ее в этой же позе.

К полудню над тусклой водой началось далекое нагромождение Баку — серых гор, серого неба, серых домов, покрытых заплатами яркого, но тоже серого солнечного цвета. Прошли остров Нарген, мыс Зых, и весь этот тускло сияющий

город, притягивающий жадные взгляды «Стандарт-Ойл» и «Ройл-Дейч», город революции, 26 комиссаров, нефти, громоздился все выше и выше над радужной плоскостью залива, пока «Чичерин» не подошел к нему вплотную, покрикивая басовым гудком.

Я отвез Начар по адресу, записанному со слов Бариль, и передал с рук на руки молодой приветливой работнице, женоргу швейной фабрики.

Вечером пыльный горячий поезд унес меня к северу, в Дагестан, где должна была развернуться одна из страниц будущей истории Кара-Бугаза.

УЧИТЕСЬ У ВОДОРΟΣЛЕЙ

Солнце, в течение тысячелетий бывшее проклятием пустыни, делается ее благословением.

Академик Иоффе

Три тысячи километров остались позади. Я живу в фанерном доме на берегу Кара-Бугазского залива. С утра до вечера работает безжалостное солнце, выпаривая и сгущая кара-бугазскую воду. Оно мешает мне сосредоточиться, чтобы вспомнить самые яркие точки на этом длинном пути вокруг Каспийского моря.

Целый мир отшумел за спиной и остался лишь в памяти да на исписанных бледным карандашом листках.

После Баку на рассвете поезд ворвался в пахучие заросли Берикее. На западе, в стороне Хунзаха и Ведено, в стороне аулов, закутанных в дым романтических преданий, тяжелой медью горели горы. К их подножиям прижался завод «Дагестанские огни» — первый завод в Союзе, работающий на газах, бьющих из-под земли. Этими газами завод отапливает свои стеклоплавильные печи. Сырье для стекла — мирабилит — завод привозит из Кара-Бугаза.

В Баку я узнал, что до постройки химического комбината в Кара-Бугазе мирабилит предполагают перерабатывать в Дагестане. Но где? Здесь, в Берикее, где земля газит, как неприработанный газовый завод, или на севере, в Чир-Юрте?

Общее мнение слагалось в пользу Чир-Юрта, где запроектирована постройка мощного химического комбината.

Голубое сверкающее сердце дагестанских гор — Сулакская электростанция будет перебрасывать сюда ток. Рядом дымится Грозный с его мазутом и нефтеносными газами. Здесь порт Махачкала, куда морем можно доставлять мирабилит из

Кара-Бугаза, здесь рельсовые пути в Ростов, Новороссийск, выход в центр страны и к Черному морю.

Махачкала кажется городом, построенным из окаменелой морской пены.

Зернистый камень набережных и зданий блестит крупинками слюды, напоминающими большие брызги.

Море подкатывает к подножию города зеленую и глубокую воду.

Черные бушприты парусных шхун качаются над низкой оградой вокзала, почти касаясь семафоров. Вагоны скорых поездов Тбилиси — Москва на десять минут превращаются в каюты кораблей. В их окнах перепутались рей, снасти, желтые трубы. В купе врывается крепкий каспийский ветер. Мальчишки машут перед обмякшими от южной синевы пассажирами связками только что пойманных бычков, пахнущих холодом и йодом.

В Махачкале я нашел себе спутника. Ищите себе спутника в каждом городе, иначе новые места произведут на вас впечатление утомительного музея. Спутник должен быть из местных жителей. Он окунет вас с головой в незнакомую жизнь. Он будет невольно хвастаться своим городом, хотя иногда и ругнет его грязной дырой. Но таково свойство старожилов. В присутствии новичков очертившие места открывают перед ним свою подлинную сущность, играют новыми красками. Мир любопытнейших вещей неожиданно раскрывается перед изумленными глазами, и пыльная Махачкала предстает как город, омытый озоном, дождями, забрызганный по самые крыши прибоем, как город великих возможностей и свершившихся достижений.

Дымные горы Дагестана подойдут вплотную к его беленым домишкам. Недавняя история газавата¹, боев с муссаватистами, история Октябрьской революции, скатившейся с гор на равнины, — и город уже шумит над вами, как шумят приморские ветры. Вы чувствуете цветение молодой республики, терпкой и каменистой, цветение, похожее на расцвет черешневых садов Буйнакса, которым нет равных во всем Союзе.

Моим спутником был сотрудник местной газеты Красногорский — сидящий маленький человек в черепаховых очках. Он был родом из Минска, но считал Дагестан своим отечеством. Он говорил о нем как о стране неслыханных богатств и вздыхал так тяжело, будто все эти богатства ему, Красногорскому, приходилось тащить на своих немошных плечах.

С Красногорским я ездил на Туралинские соляные озера под городом и был у геолога Шацкого.

Туралинские озера — Большое и Малое — называют

¹ Г а з а в а т — священная война у мусульман. (Примеч. автора.)

«искусственным Кара-Бугазом». Академия наук испробовала на этих озерах новый способ, ускоряющий осаждение мирабилита из воды.

В Кара-Бугазе мирабилит кристаллизуется и выпадает на дно в естественных условиях. «Садка» мирабилита происходит зимой, когда температура воды падает до пяти градусов тепла. Мирабилит ложится неравномерными слоями и занимает громадное пространство в восемнадцать тысяч квадратных километров.

Зимние штормы выбрасывают мирабилит на берега. До 1929 года добыча сводилась к тому, что выбросы оттаскивали подальше от полосы прибоя, чтобы их не смыло обратно, давали мирабилиту просохнуть и вывозили на верблюдах к морю. Так было до 1929 года, пока не начал работать Кара-Бугазский трест.

Трест не мог, подобно старым промышленникам, ставить добычу мирабилита в зависимость от капризов залива: что шторм накидает, то и ладно. Трест не мог примириться с тем, что залив выбрасывает мирабилит на неудобные берега на пространстве в сто пятьдесят километров, смешивает его с глиной, закидывает водорослями и гнилой рыбой, а весной слизывает обратно и растворяет в своей потеплевшей воде.

Нужны были новые способы добычи, которые давали бы мирабилит чистый и в тех местах, где его удобно добывать и сушить. Такими новыми способами были добыча мирабилита со дна залива при помощи экскаваторов и солесосов и метод бассейнизации. Последний состоит в том, что воду из залива перекачивают в бассейны, там она испаряется, концентрируется и дает зимой очень чистый мирабилит.

Этот метод и проверялся на Туралинских соляных озерах. Слой воды в 2 метра 65 сантиметров в бассейне дал слой мирабилита в 55 сантиметров.

Опыты блестяще удались: количество полученного мирабилита точно отвечало предварительным расчетам.

...Я помнил просьбу Прокофьева навестить геолога Шацкого. Он жил на окраине города, на улице, широкой рекой сливавшейся с гор. По ней шли горцы, шлепая в теплой пыли рваными чувяками и постукивая желтыми ногтями по рукояткам черных кинжалов. Ослы тащили бидоны с молоком, уравновешенные по другую сторону седла толстыми младенцами, засунутыми в козовые мешки.

Красногорский сопровождал меня. Он знал о существовании Шацкого, но не знал причин его недавней болезни и истории об острове Кара-Ада.

Нас встретил приветливый бритый старик со смеющимися

глазами. Это и был Шацкий. Жена его, учительница-армянка, принадлежала к той категории женщин, какие всю жизнь вкладывают в служение близким.

Прокофьев предупреждал меня, что Шацкий совершенно выздоровел, но до сих пор врачи не разрешают ему участвовать в геологических экспедициях. Сильная усталость или возбуждение вызывают у него возврат прежних бредовых мыслей. Поэтому Шацкий занят разработкой теоретических вопросов. В этой области он уже создал несколько интересных работ.

Я сказал Шацкому, что меня интересует вопрос о Кара-Бугазе.

— Наше время такое,— ответил он,— что мы должны уметь ставить далекие задачи. Кара-Бугаз меня тоже очень интересует, но не так, как вас. Меня он интересует как место, где удобнее всего провести опыты по завоеванию новых форм энергии. Вы же знаете, что Прокофьев не столько ученый, сколько поэт. Мы должны держать фантазию на тугой узде. В Кара-Бугазе надо построить химический комбинат. Без мощного источника энергии его не построить. Прокофьев ищет газы, другие ищут по соседству с Кара-Бугазом уголь и нефть. Все это прекрасно, но забыли о главном — забыли, что Кара-Бугаз сам по себе является неисчерпаемым и неистощимым источником новой энергии.

— Какой?

— Солнечной. Я знаю, что такое солнце. К делу завоевания солнца надо применить способ гомеопатии. Гомеопаты лечат сильнейшими ядами, но в микроскопических дозах. Солнце действует благотворно лишь в малых дозах. По существу оно смертоносно. Там, где его больше, чем следует, оно производит величайшие опустошения. Оно убивает громадные пространства земли. Классический пример этого — закаспийские пустыни.

Красногорский возразил, что дело не в солнце, а в недостатке в тех местах воды. Шацкий выслушал его внимательно.

— Воды достаточно,— ответил он, усмехаясь.— Беда в том, что вода испаряется быстрее, чем накапливается. Мы со всех сторон окружены усыхающими землями. Баланс получается не в пользу человека.— Он посмотрел на меня прищурившись.— Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем об этом. Вы знаете, что за последние десять лет сожжено каменного угля столько же, сколько его было израсходовано за весь исторический период существования человечества. Через сто — полтораста лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть только шестьдесят процентов потребности мирового хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно услышать без особого напряжения. Для этого даже не нужно абсолютного слуха. Мировые запасы нефти будут уничтожены.

Истощение энергетических запасов неминуемо должно вызвать войну между капиталистическими странами...

— Шура! — строго сказала жена. — Никакой войны не будет!

— Война между капиталистическими странами неизбежна, — упрямо повторил Шацкий. — Когда последние запасы угля и нефти подойдут к концу, начнется война.

— Шура, — еще строже сказала жена, — ты же сам прекрасно знаешь, что никакой войны не будет!

— Капиталистический мир неумело и слишком неповоротливо ищет новые источники энергии. Бензин заменяют спиртом. «Сухой закон» в Америке выдумали не для того, чтобы отучить страну от пьянства, а для того, чтобы весь спирт пустить на горючее. Там автомобили заправляют вместо бензина ромовым спиртом с Ямайки.

— Неужели вы как ученый не видите выхода? — спросил я.

— А солнце? — спросил меня, в свою очередь, Шацкий. — Солнце! Каждый сантиметр земли получает от солнца ежегодно сто тысяч калорий. Растения берут только семь десятых процента этого количества солнечной энергии. Думают, что их можно заставить брать больше и получать фантастические урожаи, но я полагаю, что это немыслимо. Избыток полученной энергии убьет растения. Не забывайте нашего гомеопатического метода. Но, во всяком случае, вы видите, какие чудовищные запасы энергии изливаются на землю непрерывно и будут изливаться еще миллионы лет. Человечество пошло по линии наименьшего сопротивления. Оно кинулось на те виды энергии, запасы которых ничтожны, забыв об источниках энергии непрерывных, каких хватит на всю историю человеческого рода.

— Интересно! — шепнул мне Красногорский.

В глазах его я уловил блеск законной гордости. Он, казалось, хотел сказать: «Смотрите, какие замечательные люди живут у нас в Дагестане!»

— Вернемся к Кара-Бугазу, — продолжал Шацкий. — Мы остановились на том, что нам необходимо использовать энергию солнца. В этом смысле Кара-Бугаз — лучшее место в Союзе. Там великолепное солнечное сияние. Если бы Кара-Бугазский залив превратился в озеро, то оно бы высохло в шесть лет. Вообще вы не можете представить себе, как быстро сохнет весь этот край.

Шацкий задумчиво уставился за окно. Моря не было видно, но взамен моря был виден сизый морской воздух, похожий на толщу пара.

— Я задумал небольшой научный труд под заглавием «Испаряющаяся земля». Мы преступно относимся к солнцу. Годовые запасы его энергии на земном шаре определяются

в сто миллиардов киловатт-часов. Это дает по одному киловатт-часу на каждый квадратный метр.

— Но как будто солнечные машины — гелиоскопы — не дали хороших результатов, — промолвил Красногорский.

— И не дадут, — ответил Шацкий. — Нужны другие пути. У нас есть в руках химия. Перед ее возможностями оптический принцип улавливания солнечной энергии отходит на задний план. Надо ловить, концентрировать, сгущать солнечную энергию химическим путем. Надо учиться у красных морских водорослей. Они используют двадцать четыре процента того количества солнечной энергии, какое проникает в морские глубины, тогда как наши земные растения, тонущие в солнечных потоках, используют только ничтожные доли процента. Нужда всему научит.

Шацкий прошелся по комнате.

— Духота, духота! — пробормотал он. — Здешние вечера вызывают астму. Горы накаляются за день и всю ночь излучают тепло. Я предлагаю пройти к морю.

Жена охотно согласилась отпустить его с нами. Мы вышли к морю. Звезды спали на волнах, то широко открывая, то щуря белые огни. По краю берега у пенной полосы прибоя промчался тбилисский экспресс. Его радостный гудок прокатился громом над морем — поезд торопился вырваться из плоских степей в путаницу гор, заливов, рек, виноградников, в успокоительный, калейдоскоп Кавказа.

— Вот... — Шацкий торжественно показал на море. — Вот громадные водные плоскости. Их можно заставить собирать солнечную энергию. К этому делу будут приспособлены и пустыни. Химическое улавливание солнца состоит в том, чтобы использовать свойство солнечной энергии вызывать химические реакции. Эти реакции, в свою очередь, создают электрическую энергию. В лабораториях уже существуют приборы — фотоэлементы, превращающие энергию солнца путем химических процессов в электричество. Удалось добиться, что фотоэлемент под влиянием солнца дает ток, вращающий небольшой электромотор. Кара-Бугаз нужно сделать всесоюзной лабораторией по ловле солнца и в первую очередь приложить взятую в плен солнечную энергию к переработке его баснословных богатств.

Когда мы вернулись, жена Шацкого тихо спросила меня, не болтал ли он чепухи.

— При нем нельзя упоминать о Кара-Ада, — сказала она, когда мы прощались. — Он как будто забыл об этом, но самое имя Кара-Ада приводит его в беспокойное состояние. Я ведь с ним тоже была там, — добавила она и смутилась.

ПОЛКОВОДЕЦ

Ночью я уехал из Махачкалы на Эмбу, в Гурьев. Путь лежал через Астрахань.

Утром я не узнал Каспийского моря. Жидкая серая глина простиралась до горизонта обширным озером. На краю его торчали прямо из воды угрюмые черные маяки и колокольни без крестов — то были рыбацьи села на плоских островах волжской дельты.

Мы подходили к двенадцатифутовому рейду, где среди моря гремел и качался на якорях плавучий город — больница, почта, пассажирские пристани, лихтера и «грязнухи», похожие на старинные мониторы.

Я видел Астрахань, облепленную сотнями парусов, пропахшую сухой селедкой и пыльную, как глинобитные города Азии.

На плотках у рыбных промыслов день и ночь загорелые люди, все в чешуе, как в стальной кольчуге, подхватывали баграми из рыбацких лодок пятнистые туши севрюг и швыряли их с тяжелым шлепаньем на доски. Девушки в синих штанах нескончаемыми вереницами несли в холодильники золотых сазанов, держа их под коралловые мокрые жабры.

Из Астрахани мы трое суток плелись на колесном пароходе в Гурьев, не видя ничего, кроме неба, сожженного суховеями, желтого моря и расставленных на якорях рыбацких шаланд.

Между Астраханью и Гурьевом нет ни одного порта, ни одного убежища. В шестидесяти километрах от берега можно легко достать шестом песчаное дно. Далеко от берегов в море протянулись заросли камыша с черными тугими головками. Поэтому берега зовут «чернями». Издали они напоминают узкую кайму, проведенную тушью по бледному горизонту.

И путь этот и пароход хорошо изучены постоянными пассажирами. Путь монотонен, как азиатское выцветшее небо. Сначала рыжая вода из Волги, потом за Белинским Банком вода медленно начинает зеленеть, потом Забурунье, где во всякую погоду качает. На пароходе всегда один и тот же толстенький капитан, одни и те же бородатые штурвальные, обзирающие море в медный старинный бинокль, тот же повар — горький вдовец, готовящий безвкусные щи и пересоленную рыбу.

Наконец появляются бакланы и тюлени, спящие на воде брюхом вверх, и по всему пароходу проходит вздох облегчения — значит, скоро Гурьевский рейд. За ним уже угадывается пустыня, заросшая астрагалом и покрытая корками соли.

И вот рейд. Пароход подползает к нему среди белых,

как мел, островов. С непривычки можно спутать с островами отраженные в тихой воде облака, похожие на материки. Они неподвижно стоят над пустыней, чуть розовея. Кажется, что их поставили здесь нарочно, чтобы показать на них все разнообразие вечерних красок и величавость ночи, синей, как кобальт.

Пароход с углем wpłyвает в узкий проток между высокими камышами — Урал, и лишь к полночи сквозь пыль, висящую в воздухе, загораются светофоры в городке «Эмбанефти». Против него, на правом берегу Урала, сонно моргает окнами Гурьев.

Пахнет рыбой и горелой травой. Пароход будит город плачущим визгом гудка и наваливается на пустынную пристань.

Утром я увидел за Уралом весь городок «Эмбанефти». Казалось, что на азиатском берегу — его здесь зовут Бухарской стороной — села несметная стая белых птиц. Все дома были как бы слеплены из снега. Весь городок построен из прессованного камыша, даже трехэтажное здание треста. Сверху камыш оштукатурен и покрашен мелом.

Камыш — лучший строительный материал для пустынных побережий Каспийского моря, где леса нет, но заросли камыша тянутся на сотни километров. Будущий Кара-Бугаз легче всего построить из камыша. Саманные дома рядом с камышовыми напоминают крепости пещерных людей. Саман — глина, смешанная с навозом. Строить дома из самана в безводной пустыне не легче, чем из леса, — приготовление самана требует много воды.

Во время своей поездки я встретил только одного человека — инженера Купера, жалеющего, что саманные лачуги умирают. Я познакомился с Купером на наплавном мосту через Урал. Он с завистью смотрел на мальчишек, удивших сазанов. Когда мальчишка, трясясь от волнения, вытащил из грязной воды запыхавшегося сазана, Купер обернулся ко мне и сказал:

— Счастливы! Как бы я хотел быть мальчишкой и сидеть на солнцепеке с леской! Замечательное занятие!

Куперу я должен быть благодарен: он познакомил меня с знатоком всего Эмбинского района, старожилом пустыни — инженером Давыдовым.

Он ввел меня в кабинет этого инженера, как вводят не посвященного в комнату чудес. Из-за стола поднялся сухой и высокий человек в белом, похожий на капитана дальнего плавания.

Он строго посмотрел на меня и широким жестом предложил сесть. Седая его голова казалась отлитой из металла. Купер почтительно сел в стороне, испросив разрешение присутствовать при нашей беседе.

Давыдов заговорил. У него был голос густой и внятный.

Разглядывая его, я вспомнил о Пржевальском, о старинных исследователях Гоби и Сахары, о генералах, потерявших в песках многотысячные армии, обо всей детской романтике, какой была насыщена пустыня в мои школьные годы,—дромадерах, кожаных ведрах, самумах, лошадиных скелетах около одиноких колодцев.

Давыдов говорил короткими фразами и как бы задыхался, ставя точки.

— Что может дать нам Кара-Бугаз и что может дать Кара-Бугазу Эмба? Прекрасно! Мы можем дать нефть, хотя наша нефть слишком хороша, чтобы пускать ее на топливо. Самые южные наши выходы нефти — Кара-Чунгул, Каратон и другие — лежат сравнительно близко от Кара-Бугаза и Мангышлака.

Я полагаю, что весь восточный берег моря — Эмба, Мангышлак, Кара-Бугаз, вплоть до Чикишляра — должен превратиться в мощный индустриальный пояс на границе пустыни. Мы даем нефть, Мангышлак — уголь и фосфориты, Кара-Бугаз — мирабилит, серу, серную кислоту, соду и другие химические продукты, Чикишляр — газы, Челекен — нефть и озокерит¹. Баку должен работать на запад, мы — на восток.

Что мы еще можем дать Кара-Бугазу? Здесь, на Эмбе, возникла идея постройки железной дороги из Александрова Гая в Хиву. Я прошел весь этот путь с караванами и произвел изыскания. Это будет первая линия, которая прорежет самое сердце пустыни. Она оживит ряд богатств, донныне лежащих мертвым грузом: кушумские луговые массивы, индерскую соль и калий, гурьевскую рыбу, эмбинские нефтеносные земли, Аральское море и Хивинский оазис.

Новая дорога сыграет громадную роль в освоении бесплодных пространств Усть-Урта. Тем самым она должна влиять весьма благотворно на развитие Кара-Бугаза. В пустыне, которую пересечет дорога, воды нет. Дорога будет работать тепловозами.

Наконец, третье. Кара-Бугаз будет вырабатывать соду. Для производства соды мы будем снабжать его прекрасным известняком из Ракуши. Ракуша — пристань эмбинских промыслов на море. Мы сделаем из Ракуши порт.

Мы будем строить нефтеперегонные заводы. Для перегонки нефти нужна серная кислота. Кара-Бугаз даст нам ее, и мы будем квиты. Как видите, создание кара-бугазского комбината затрагивает хозяйственные нервы всего побережья от Эмбы до Атрека. Пустыня получит свое индустриальное сердце...

¹ О з о к е р и т (иначе горный воск) — минерал. Хорошо сгорает, дает сильное пламя. (Примеч. автора.)

Давыдов помолчал.

— Давнишние мечты осуществились,— промолвил он и отвернулся к окну.

Я посмотрел на его профиль. Он напомнил мне бронзовые лица полководцев на полустертых римских монетах.

Как-то во время одного из бесчисленных споров с Прокофьевым мы говорили о профессиях, укрепляющих волю. Прокофьев утверждал, что самой сильной волей обладают исследователи. Давыдов был прирожденным исследователем. Общение с пустыней сказывалось в зоркости глаза и спокойной силе голоса. Все начатое Давыдов доводил до конца. В соленых пустошах Доссора он решил разбить парк. Мысль эта казалась совершенно дикой даже ботаникам. Насмешки Давыдов встречает с глубоким безразличием.

Два года он возился с умиравшими в едкой земле кустами, он опреснил землю умелой поливкой и дренажем, и сейчас в Доссоре рабочие ходят по вечерам в «собственный парк». Там можно потрогать рукой давно забытые шершавые ветки и уловить запах листвы.

После утверждения в Москве изысканий железной дороги из Александрова Гая в Хиву Давыдов подал заявление о приеме в партию.

«Я убедился,— писал он,— что только политика партии может оживить пустыню, над завоеванием которой я работал всю жизнь».

Молчание длилось долго. Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо:

— Не я один отдал всю жизнь пустыне. Но на мою долю выпало быть свидетелем и участником завоевания этих мертвых пространств. Недавно еще Кара-Бугаз наводил суеверный ужас на кочевников и моряков. Даже исследователи не решались обойти его берега. Чем он был в представлении людей из культурных оазисов? Заливом смерти и ядовитой воды, адом. Веками пустыня лежала нетронутая. Веками она копила богатства. Теперь мы их отнимаем. Мы находим способы превращать самые страшные свойства пустыни в источники жизни. Я говорю о солнце. Его энергией пустыня будет орошена. Есть великий физический закон. Он говорит, что энергия рождается лишь при условии разности температур. Резкие скачки температуры в пустыне в течение одних и тех же суток порождают жестокие ветры. Кара-Бугаз известен как самое бурное место на Каспийском море. Там, собственно говоря, свирепствует непрерывный шторм. Наш промысел Доссор многие называют полюсом ветров. Ураганы Доссора

бесплодно расточают миллионы лошадиных сил только на то, чтобы подымать чудовищную пыль. Ветер — это громадная энергия, но до сих пор мы используем ее в жалких размерах. Вот, полюбуйтеь.

За окном скрипучие ветряные насосы с утробным воем качали в арыки уральскую теплую жижу.

— Ветер — его мы называем голубым углем — лучшая энергия для пустыни. Здесь существуют условия для непрерывных и ровных ветров. В безветренные годы пустыня дает все же семьдесят процентов ветровой энергии по сравнению со средним ветреным годом. Вам не известна годовая мощность ветров в Казахстане? Ну что ж, очень любопытная цифра. Двести тридцать миллионов лошадиных сил. В энергетических запасах Казахстана ветер занимает девяносто шесть процентов.

Купер заерзал на стуле.

— Не считите меня фантазером, — Давыдов встал, — но ветры пустыни необходимо использовать и для целей транспорта. Я не нашел еще точного воплощения этой мысли, но я представляю себе парусное сообщение в песках, где нет ни растительности, ни поселений, ни гор и ничто поэтому не сможет помешать движению. Солнце, ветер и резкие смены температуры создали пустыню, они же ее и уничтожат. Это не подлежит никакому сомнению. Завтра товарищ Купер едет на наш отдаленный промысел — Макат. Поезжайте с ним, и, я надеюсь, вы увидите много интересных вещей.

Вечером я встретил Купера на теннисном корте. Он принимал мячи, гортанно подсчитывая количество очков. Вокруг корта сидели на корточках казахи в широких ситцевых штанах розового цвета и одобрительно покрикивали при каждом ловком ударе.

За Уралом Гурьев густо чадил кизяком. Здесь же, на Бухарской стороне, зажглись молочные огни, и над пустыней подымалась медленная луна. Чем выше она подымалась, тем делалась светлее, будто с нее сходила пыль коричневых суглинков.

Купер, увидев меня, бросил игру и подошел. Пока мы беседовали, с нами поравнялся верблюд. Он остановился, надменно разглядывая нас и пожевывая лиловыми губами. Купер взял меня за локоть и отвел в сторону, — оказывается, мы стояли среди дороги.

Верблюд презрительно икнул и торжественно двинулся дальше. Он тащил маленькую телегу. В ней спала казашка с грудным ребенком и гроыхала жестяная граммофонная труба.

Мы долго смотрели вслед, пораженные этим зрелищем. Верблюд свернул с дороги и поволол тележку прямо в пустыню.

— Пошел пастись в степь, — объяснил Купер и вздохнул.

Я привык, что многие инженеры, работающие в глухих ме-

стах, жалуются на свою судьбу. Как бы ни был жизнерадостен инженер и как бы ни нравилась ему работа, он не упустит случая изобразить себя мучеником, страдающим от отсутствия новых книг, от того, что газеты из Москвы идут две недели и в кооперативе нет боржома и лезвий для бритв.

Отбыв эту повинность, он снова придет в хорошее настроение и с жаром начнет рассказывать о своем предприятии.

При этом оно всегда или «лучшее в мире», или «могло бы быть лучшим в мире», если бы Москва не резала кредиты.

Я приготовился выслушать жалобы Купера и не ошибся.

Директор треста звал Купера «дачником» и «красавчиком». В минуту раздражения он стучал кулаком по столу и кричал, что Эмба в дачниках не нуждается. Угрозам директора никто не придавал значения. Все знали, что в случаях серьезных директор никогда не кричал.

— До моего приезда, — жаловался Купер, — все было тихо. Как только я приехал, так и пошло. Разведка на сто километров в пустыню! В Каратоне промысел затопило во время урагана! Начальника моего укусила фаланга, он скоропостижно скончался, и вместо него назначили меня. Прислали из Баку директора-выдвиженца — страшно вспыльчивый мужчина, черт бы его побрал! — и наконец, извольте радоваться, хотят создать здесь мощный индустриальный пояс. Уже не центр, а целый пояс!

С этим любителем тишины я ездил в Макат. Сто сорок километров машина прошла в два часа. Тянулись волны едва заметных подъемов и спусков, потом их сменила ровная, как исполинское озеро, степь. Воздух был мутен и напоминал жидкий клей. Коричневые смерчи с тяжелым шумом проносились через дорогу. Суслики сыпались горохом из-под колес. Сухая горечь сводила рот невыносимой жаждой.

Иногда шофер гнал машину прямо по суглинкам и высохшим соляным озерам.

Купер рассказывал, что весной во время редких дождей вся пустыня превращается не в грязь, а в слизь. Машина может работать на полном газу и не двигаться с места.

Я вынужден был слушать болтовню Купера.

— Необходимо издать декрет, — говорил он, — запрещающий уничтожать своеобразные постройки и бытовые черты, если они не противоречат советскому строю. Разнообразие впечатлений делает жизнь полнее, а полнота жизни создает настроение бодрости и подъема. Поэтому надо сохранить кубические восточные постройки, их цвет, их планировку, сохранить арки на улицах и открыть завод для выделки восточных изразцов.

Купер договорился до того, что нужно один из старых русских городов, вроде Углича, сделать показательным по старине:

засеять его улицы ромашкой и болиголовом, заселить бывшими просвирнями, владеющими, по свидетельству Пушкина, чистейшим московским языком.

Болтовня прекратилась только в Макате. Ураган поднимался белыми языками. Пробивая пелену пыли, шагал караван верблюдов с водой из Доссора. Доставка воды в Макат обходится каждый год в пятьсот тысяч рублей.

Над мелким озером торчал низкорослый лес черных вышек. Серый зной прожигал до костей. Глубокие насосы выбрасывали толчками из скважин пенистую нефть. Здесь кончалась нефтяная река или нефтяное море, истоки которого открыл Прокофьев.

Из Маката мы проехали в Доссор, а оттуда вернулись в Гурьев в моторном вагоне по узкоколейке.

Розоватый дым курился над пустыней. На разъездах вокруг вагона стояла тишина. Изредка слышалось слабое посвистывание сусликов.

Ночь упала внезапно и накрыла пустыню громадной звездной шапкой.

Впереди вагона лилась река дымного электрического огня. Запахом полыни и свежестью ночи сквозило в широкие окна. Я сказал Куперу:

— Вы говорили о своеобразии Востока. Что может быть своеобразнее этого моторного вагона в ночной пустыне!

— Я вас понимаю,— многозначительно ответил Купер.— У вас начинается то же заболевание, что и у Давыдова. Оно называется «пустынной болезнью».

В этот момент я окончательно убедился, что Купер — типичный «дачник» в нашей эпохе.

— Когда построена эта дорога?

— В тысяча девятьсот двадцать седьмом году. И строил ее Давыдов.

Уезжая из Гурьева, я унес в своей памяти образ седого полководца пустынь — Давыдова, бросающего в солончаки первые светносные точки социалистической индустрии, и образ «дачника» Купера.

ГОРЫ ИЗ РОЗОВОГО МЕЛА

Поездка на Мангышлак стояла в маршруте Прокофьева на последнем месте. Она завершала движение по спирали вокруг залива, заканчивала изучение районов, неразрывно связанных с Кара-Бугазом.

Только после нее я, по словам Прокофьева, имел право попасть в Кара-Бугаз.

Поездку на Мангышлак можно было бы назвать путешествием в страну звезд.

Я познакомился в форте Урицком (бывшем форте Александровском) с партийцем Васильевым. Как и Давыдов, он готовился развенчать жестокие легенды о пустыне и превратить ее в помощницу социалистической индустрии. Он изучил материалы экспедиций (Андрусова, Нацкого и Баярунаса) и составлял краткие и точные планы первоначального использования открытых этими геологами богатств. Он думал о новых дорогах в горы Кара-Тау, где раскаленный воздух окружает залежи антрацита, нефти, фосфоритов, меди и марганца широким защитным поясом.

В свободное время он любил читать журнал «Мироведение». Там из месяца в месяц отмечалась огромная, но не замечаемая нами жизнь неба: появление новых звезд, падение метеоров, гипотезы о новых солнечных системах и ход работ по изучению космических лучей.

Я думаю, что на это занятие Васильева натолкнуло мангыш-лакское небо. Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет. Оно было настолько ярким, что по ночам казалось, будто планеты летят к нам из неизмеримых пространств, летят в одну точку земного шара — на мертвый полуостров Мангышлак.

Планеты были по-старому далеки, но впечатление стремительно падающего неба осталось у меня от Мангышлака до сих пор.

Поездка по полуострову была непродолжительна. Она заняла всего шесть дней. Я ездил вместе с Васильевым.

Мы видели песчаные моря, замкнутые на горизонте в берега отвесных розовых и белых гор. Горы подымались одним порогом. Вершины их были такими же плоскими, как и пустыня у их подножий.

Мы видели пласты каменного угля, лежавшего прямо на земле. До 1914 года этот уголь добывало пароходное общество «Кавказ и Меркурий», но потом бросило — перевозка угля обходилась слишком дорого. Вся область угольных залежей богата родниками пресной воды. В урочище Тюбеджик мы видели пески, спекшиеся от окаменевшей нефти. Пески пахли гудроном, как пахнет усовершенствованная московская мостовая.

Я рассказал Васильеву теорию Прокофьева. Нефть на Мангышлаке, по-моему, — ее блестящее подтверждение.

Васильев ничего не ответил.

Волгарь из Черного Яра, человек молчаливый и очень точный, он избегал скороспелых выводов и преждевременных обобщений.

— Возможно, — промолвил он. — Но сейчас меня больше занимают фосфориты.

Залежи фосфоритов лежали у подножия гор из розового мела. Горы эти, изрытые глубокими оврагами, напоминали издали обнаженный человеческий мозг. Я слышал от одного из исследователей Мангышлака, что если бы распрямить эти складки, то площадь гор увеличилась бы в двести раз.

Горы подымались розовыми куполами и казались очень легкими, будто состояли из пористых исполинских губок. У их подножия на песке валялись каменные желваки, шары и лепешки. Васильев толкнул одну лепешку ногой:

— Вот фосфорит.

Некоторые шары были больше метра в диаметре, и мы прятались в их тени от солнца.

Шел третий час дня, самый тяжелый, когда зной сгущается до состояния сиропа. Мы решили спастись от жары в продольную долину. Там, по словам Васильева, находился оазис:

Я усмехнулся, представив себе жалкий колодец с двумя ведерками воды и кустами колючек вокруг. Какой мог быть оазис под этим испепеляющим небом!

Мы ехали по сплошным россыпям фосфоритов, прошли ущелье в горах, поднялись на гребень, и глубоко под нами открылась долина, заросшая квадратами тяжелого проса. По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары, и прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. В тени чинар белел саманный кубический дом.

Васильев искоса посмотрел на меня. Лошади, предчувствуя водопой, ржали, сердясь на неторопливых всадников. Я оглянулся назад. Пустыня подстерегала этот клочок тучной и зеленеющей земли. Пустыня казалась отсюда гигантской шкурой павшего верблюда. Кусты чия торчали клочьями не успевшей вылинять шерсти. Воздух над землей блестел, как глицерин.

На спуске мы снова попали в обширные поля фосфоритов.

— Вот вам и сырье для Кара-Бугаза.— Васильев остановился около одного из шаров, расколовшегося на две совершенно одинаковые части. Внутри были видны кристаллы. Они тянулись узкими лучами от центра шара к его поверхности.— Кара-бугазский комбинат будет изготавливать серную кислоту. Если обработать этой кислотой фосфорит, то получится великолепный суперфосфат. Мы проведем дорогу к морю, начнем вывозить фосфорит и отправлять его в Кара-Бугаз. У нас в Средней Азии для удобрения хлопка идет смесь суперфосфата и хлопковых жмыхов. Она называется пахтанури.

От Васильева я узнал о горах Таур-Кыр и о весенних мощных потоках воды в оврагах Карын-Ярык. Горы Таур-Кыр лежат вблизи восточного берега Кара-Бугаза, южнее мыса Кулан-Гурлан. В этих горах побывал один только человек — геолог Лупов. Здесь он нашел залежи каменного угля на площади в

тысячу шестьсот квадратных километров, россыпи фосфоритов и много небольших пресных источников.

Геолог Баярунас пытался пройти Таур-Кыру с севера, из Мангышлака, но рабочие отказались идти с ним в эти неведомые горы.

Залежи угля в Таур-Кыре — самые близкие к кара-бугазским мирабилитовым промыслам, но до сих пор они толком не исследованы.

Карын-Ярык — исполинская впадина, тянущаяся от гор Кара-Тау к Кара-Бугазу. По ней должны стекать в залив все весенние воды с гор Кара-Тау, но часть вод застаивается и образует непроходимые соленые болота, часть стекает в многочисленные воронки в почве.

Потоки весенних вод достигают исключительной мощности. Судя по их следам, они бывают в сто пятьдесят метров шириной и в два метра глубиной. Земля, полная пустот, всасывает эти водопады, засоляет их или придает воде слабительные свойства и выбрасывает кое-где эту воду на поверхность в виде небольших родников.

Мы подъехали к саманной мазанке и поздоровались с женой молодого казаха — стремительной и сухой женщиной, носившей поверх сапог кожаные, вышитые серебром туфли, — и с ее отцом. Старик носил редкую бороду, торчавшую по сторонам подбородка.

— Хабар бар?¹ — спросил старик.

Мы напились холодной вкусной воды, выполнили обязанность гостей — рассказали городские новости — и заночевали у казаха.

Всю ночь пустыня не давала мне спать. Звезды осколками льда таяли на черном небе. Талая вода сыпалась туманом на землю и превращалась в смутный свет. Великие реки Млечного Пути вливались в ночные пески Карын-Ярыка, простиравшиеся на юг до самого Кара-Бугаза.

Вода сонно шепталась в арыке. Васильев, мучаясь от блох, рассказывал мне, что расстояние от нашего Солнца до солнца ближайшей к нам солнечной системы — звезды Альфа Центавра — в двести пятьдесят тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.

Я удивлялся и дремал. Изредка я вздрагивал и просыпался. Мне снилось, что звенит не вода в арыке, а свет звезд, несущийся к Земле триллионы лет. Мне снился Млечный Путь, упавший с неба на Каспийское море. По этому пути шел пароход «Чичерин», и сквозь его прозрачное днище были видны тысячи рыб и медуз, падавших дождем на морское дно. Прокофьев рас-

¹ Х а б а р б а р? (каз.) — Что нового?

сказывал мне, что рыбы ложатся тугими слоями и через тысячи лет превращаются в нефть.

Окончательно я проснулся к рассвету. Голубизна лилась с востока. Звезды пожелтели и казались мелкими плодами, ссыхающимися от приближения солнца. Я вышел и глотал на пороге воздух залпом, как пьют холодную воду.

Лошади смотрели на меня и тихо ржали. Должно быть, они здоровались со мной и просили не торопиться с отъездом.

Ослепительное меловое плоскогорье Удюк развернулось перед нами на обратном пути, как белое твердое море. Мы медленно въехали в мел и вытащили черные автомобильные очки. В этих местах солнце было жестоким испытанием.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАЛИВА

Лейтенант Жеребцов обошел берега Кара-Бугазского залива в 1847 году.

Старая Россия не проявляла интереса к своим богатствам. Только в 1897 году министерство торговли и промышленности раскачалось и отправило в Кара-Бугаз экспедицию во главе с гидрологом Шпиндлером. Экспедиция выяснила, что залив является величайшим в мире источником глауберовой соли.

С тех пор началась пестрая история залива. Она нигде не записана. Ее приходится восстанавливать по статьям геологов, по рассказам моряков и туркмен-фелюжников, по докладам начальников экспедиций, по забытым проектам, судовым журналам кораблей и другим немногочисленным и противоречивым источникам.

Вокруг Кара-Бугаза закипала золотая лихорадка.

В конце XIX века в Петербурге был созван всемирный геологический конгресс. На нем впервые геологи узнали о богатствах Кара-Бугаза.

Вся Европа и Америка жили тогда, как живут и сейчас, искусственным сульфатом (так называется мирабилит, освобожденный от воды). Для изготовления сульфата были построены тысячи заводов. Поэтому сведения о Кара-Бугазе ударили в гущу сульфатных промышленников, как тяжелый бризантный снаряд. Тотчас же был составлен проект мирового химического комбината на острове Челекен. Комбинат должен был работать на кара-бугазском сульфате. Во главе комбината стали французские, английские и бельгийские капиталисты.

Но царское правительство уперлось и отказалось сдать Кара-Бугаз и Челекен в концессию.

Три года шел торг, но кончился ничем.

В 1909 году купчиха Князева послала в Кара-Бугаз собствен-

ную экспедицию. Богатства Захария Дубского, неограниченного владельца Мангышлака, не давали покоя этой завистливой женщине.

Естественно, нашлись «ласковые» инженеры, согласившиеся за приличную плату «присоединить» Кара-Бугаз к владениям Князевой и взять от ее имени заявку на все западные и юго-западные берега залива.

Но Князева опоздала. Гильзовый фабрикант Катык и акционерное общество «Айваз» уже захватывали лучшие куски берега, куда прибой выбрасывал больше всего мирабилита. Они взяли в банках солидные куши на переработку природных богатств залива. Деньги эти пошли на биржевые махинации. Добытые для отвода глаз жалкие тысячи пудов мирабилита лежали и каменели на берегах.

От экспедиции купчихи Князевой на берегах Кара-Бугаза остались засыпанные песком и съеденные солью зеленые лодки.

Для плавания в заливе начальник этой экспедиции искал в Баку мелкосидящие пароходы. Таких пароходов было только два. Один принадлежал подозрительной пароходной компании «Маньчжурия», другой — не менее темным дельцам братьям Ашуровым. «Маньчжурия» и Ашуровы решили обобрать Князеву как липку и заломили фантастические цены за аренду пароходов. Пришлось идти в залив на туркменских лодках, взяв в качестве лоцмана бывалого человека — казанского татарина.

Сотрудники экспедиции Князевой — студенты — пересекли залив на лодках по нескольким направлениям. Они задохались на берегах, отравленных сероводородом, переходили вброд мелководные заливы, где воды было почти по косточку, но мирабилита не нашли: стояло жаркое лето и мирабилит весь растаял в теплой воде.

Но все же экспедиции, предпринятой на деньги Князевой, удалось выяснить, что мирабилит обильно осаждается зимой, когда каждый предмет, погруженный в воду залива, покрывается кристаллами мирабилита. Экспедиция предложила самый совершенный, как ей казалось, способ добычи мирабилита со дна залива — вычерпывать его простыми мешками, поставила заявочные столбы, огородив владения Князевой, и уехала.

В журналах этой экспедиции впервые было сказано, что в пятидесяти километрах от восточного берега залива, у подошвы гор Таур-Кыр, есть залежи каменного угля. Сотрудники экспедиции хотели обследовать их, но летом ни один туземец не захотел сопровождать их в горы.

Вскоре началась первая мировая война, и Кара-Бугаз был забыт. Только редкие кочевники появлялись зимой у его свинцовых штормовых пространств. Но и они не задерживались на угрюмых берегах и уходили дальше, к Красноводску.

Залив бушевал в одиночестве. По туркменским зимовкам говорили, что русские отшатнулись от его проклятой воды и не могли извлечь из нее ничего полезного.

В 1920 году Владимир Ильич Ленин поставил вопрос об использовании богатств Кара-Бугаза. Было отпущено сорок тысяч рублей золотом на снаряжение экспедиции. Она должна была выяснить способы добычи мирабилита и после этого немедленно начать добычу.

Во главе экспедиции стал геолог Подкопаев. Научные результаты этой экспедиции были огромны, практических же результатов она почти не дала — неопытный инженер набрал в Астрахани многосемейных рабочих и привез их в пустыни Кара-Бугаза. Запасов продовольствия было мало. Их съели раньше, чем успели наладить добычу.

Рабочие разбежались.

Научная часть экспедиции Подкопаева работала в заливе три года. Она прибыла в залив на пароходе «Нижний Новгород» в сопровождении двух военных баркасов: «Шаумяна» и «Перебойны».

Подкопаев определил, что ежегодно в заливе оседает очень много мирабилита. Залежи были признаны величайшими в мире.

Мирабилит в заливе начинает кристаллизоваться в половине ноября, а к половине марта кристаллизация прекращается и начинается обратный процесс — растворение мирабилита в воде. В связи с этим мирабилит был назван «периодическим минералом».

В Кара-Бугазе, кроме мирабилита, было найдено много хлористого магния и хлористого натрия (обыкновенной поваренной соли).

Проникнуть в Кара-Бугаз Подкопаеву было очень трудно. Мешал капризный бар, перегораживавший залив во всю ширину. Во время штормов на बारे вздымались буруны, во время штилей был ясно виден стремительный перепад воды с песчаных мелей в глубины залива. На बारे цвет воды резко менялся: морская синева соприкасалась со свинцом.

Баркас «Перебойна» со своей отчаянной командой ухитрился на боку перелезть через бар и обошел северные берега залива.

Экспедицию застал нэп. Пошли слухи, что в Баку сотнями тонн скупают соду. В заливе неожиданно появилось плоское, как клоп, и черное от копоти судно. Оно скрежетало расшатанной машиной и выпускало на воздух половину пара из котлов.

Буйная команда неведомого судна навалила полные трюмы сульфата и после частой стрельбы пачками по диким гусям смылась из залива в Баку. Там сульфат был продан под видом соды. Предприимчивых моряков судили, и рейс неведомого судна был для него первым и последним.

В 1923 году у мыса Кургузулл, что значит по-казахски «кри-

вая девушка», появилась партия рабочих под начальством студента в рваной тужурке.

Партия была прислана стекольным заводом «Дагестанские огни». Завод останавливался из-за недостатка сульфата, тогда как величайшие его залежи лежали рядом, в Кара-Бугазе.

У мыса Бек-Таш завод построил пристань и каменный дом. Из Кургузулла сульфат подвозили к пристани на верблюдах и туркменских лодках и перегружали на пароходы.

1923 год можно считать первым годом эксплуатации кара-бугазских богатств. Студент в рваной тужурке поселился в новом доме в Бек-Таше и так и остался в Кара-Бугазе до теперешних дней.

Сульфат — это сухая глауберова соль, настолько белая, что летом при сильном солнечном свете на нее нельзя смотреть, не рискуя повредить глаза. Мирабилит — это та же самая глауберова соль, но насыщенная водой. В мирабилите десять частей воды и одна часть глауберовой соли. Промышленности нужен сульфат. Нет никакого смысла возить мирабилит. Это значило бы возить воду.

Поэтому мирабилит сушат, или, как говорят химики, обезвоживают. Жаркий климат Кара-Бугаза и сухие постоянные ветры очень помогают этой сушке.

Мирабилит раскладывают низкими плоскими кучами, и через два дня на нем образуется слой тончайшего сухого сульфата. Сульфат смело сгребают, не боясь перемешать с мирабилитом, так как между сульфатом и мирабилитом образуется твердая корка. Потом корку разрыхляют, и мирабилит снова сохнет, выделяя новый пласт сульфата.

Такая сушка тянется долго и всецело зависит от кара-бугазских капризов. Стоит подуть ветру, и облака сульфата уносятся в пустыню, застилая все вокруг сверкающей горькой пудрой.

Пока студент вывозил сульфат в Дербент, в Кара-Бугазе появился новый хозяин — «Киркуулисопь». Эта организация занялась заготовкой поваренной соли в громадном соляном озере Куули, лежащем между Кара-Бугазом и морем, и попутно добычей кара-бугазского сульфата.

Сотрудники «Киркуулисопи», набранные неведомо где, славились по всему побережью как люди предприимчивые и не очень чистые на руку. Они заготавливали экспортную соль для Персии. Дальнозоркие кочевники-туркмены начали замечать персидские фелюги, грузившие соль по ночам, подозрительных людей, внезапно появлявшихся на промыслах и так же быстро исчезающих, дым парохода на горизонте, никогда не приближавшегося к берегу, и много других странных вещей. По этим признакам туркмены — жители пограничных мест — тотчас же заключили, что соль сильно воруют.

Вскоре был пойман пароход «Армения», перегружавший ночью в открытом море соль из своих трюмов в персидские фелюги. Сотрудники «Киркуулисоли» занимались контрабандой в фантастических размерах. Контрабандисты были пойманы.

На этом бесславная история «Киркуулисоли» окончилась. Ее сменила «Карабусоль» во главе с отважным моряком Болонкиным. Так же как и «Киркуулисоль», эта новая «соль» предпочла заняться добычей поваренной соли из озера Ала-Тепе, не желая возиться с сульфатом.

Наконец осенью 1926 года в залив приехала правительственная комиссия и положила предел кара-бугазскому хаосу. Комиссия обнаружила на берегах залива свыше ста пятидесяти тысяч тонн сульфата, заготовленного всеми феерическими хозяевами залива, столь стремительно канувшими в небытие.

Новой организации — «Туркменсоли» — было поручено немедленно начать правильную добычу сульфата на южном берегу залива, около мыса Умчалл. Добыча началась и шла в небольших размерах до 1929 года, когда был создан трест для эксплуатации богатств залива — «Карабугазсульфат». Первый период в жизни залива отошел в прошлое.

Трест «Карабугазсульфат» пришел как полновластный хозяин. Он включил Кара-Бугаз в общий план индустриализации восточных окраин, в смелый план завоевания пустынь.

СТАРЫЙ ВРУН БЕКМЕТ

Ты увядал, но сейчас
расцветает, Хорезм!

Современная туркменская песня

Бариль пришла в отчаяние. Ни о какой работе с землекопами-туркменами нельзя было думать, пока на северных промыслах «Карабугазсульфата» обретался старикашка Бекмет. Сегодня он опять сорвал ей антирелигиозную беседу.

Вечером покрытые кислой пылью туркмены собрались около кибиток. Горели костры. Ветер дул на залив. Белый дым полыни, сгоравшей на огне, стлался над водой слоистым облаком.

Сквозь дым сверкали молочные неясные звезды. Тяжелый прибой, устав выбрасывать липкую пену, стихал у песчаного берега.

Единственный пес на промыслах — Хаким — бегал по берегу и долго, до хрипоты, лаял на юг. Там глухим и мрачным огнем горело зарево восходившей луны. Хаким ненавидел две вещи — луну и паровой катер, который часто приходил к ним на северные промыслы из залива, где обосновался трест. Хаким

ложился на пристани и рычал на катер, когда тот дергался на волне и сотрясал деревянный настил.

В этот день собрались все, даже Мурад, бывший почтальон из Гассан-Кули.

Мурад болел ревматизмом — очень редкой болезнью в пустыне. Он прославился этим и был окружен сиянием своей исключительности, как всегда бывает с людьми, носящими в себе загадочную болезнь. Ревматизм для туркмена был так же необыкновенен, как для европейца пендинка или решта.

Я помню, как в пыльной базарной щели в Красноводске я битый час смотрел, как вытаскивали из ноги великана туркмена длинного червя — решту, тонкого, как конский волос. Корчагин стоял рядом со мной и поражался. У себя в Костроме он не подозревал о таких болезнях.

Червя осторожно наматывали на спичку. Когда червь начал идти туго, спичку вместе с червем прибинтовали к ноге, оператор хлопнул больного по рыжей пыльной спине и отпустил на денек погулять. Все лечение состояло в том, что, зацепив головку червя спичкой, его очень осторожно в течение недели выматывали из-под кожи до конца. Если червь обрывался, то все лечение шло насмарку.

Примерно такое же впечатление производила на туркмен болезнь Мурада. Они садились вокруг него на корточки и заставляли сгибать и разгибать колено. Под коленной чашкой слышался громкий треск, и передние зрители отползали, валясь на задних, и испуганно чмокали. Бекмет посоветовал Мураду выпустить из-под языка полную пиалу крови, и, если бы не гневное вмешательство Бариль, Бекмет пустил бы кровь бывшему почтарю своей щербатой бритвой.

История болезни Мурада так заинтересовала Бариль, что она даже написала об этом заметку в «Туркменскую искру». Она требовала немедленно принять меры, чтобы впредь такие случаи не повторялись.

Хоробрых, назначенный после постройки дороги из Красноводска в Кара-Бугаз заведующим северными промыслами треста, прочитав заметку, сказал Бариль:

— Чтобы избавить гассан-кулийских почтарей от ревматизма, надо включить в план будущего года землечерпальные работы в Гассан-Кули на полтора миллиона рублей. Вот что может получиться из маленькой газетной заметки!

— Ой, эти мне инженеры! — воскликнула Бариль. — Эти мне инженеры, что считают всех круглыми дураками, кроме себя!

История Мурада была чрезвычайно проста. Он служил в Гассан-Кули почтальоном. Пароход останавливался около Гассан-Кули в двенадцати километрах от берега. Ближе подойти было нельзя из-за мелководья. Чтобы добраться до парохода,

нужно полтора километра проехать по морю на арбе, после этого пересесть на плоскодонную лодку — кулаз — и плыть к пароходу.

Мурад выезжал к пароходу четыре раза в месяц. Никто не знал, да и не мог знать, когда пароход придет и на сколько он опоздает. Мурад становился на якорь на рейде, вынимал скудную еду и закусывал.

Приходил вечер, приходила ночь, а парохода все не было. Тогда Мурад ложился спать на дно кулаза, пока его обычно поздней ночью не будил пронзительный пароходный гудок.

Мурад получал почту, греб к берегу, но лентяй арбакеш всегда уезжал, не дождавшись парохода. Мурад, навалив на плечи кожаные мешки с почтой, брел по колено в воде полтора километра до берега.

Мурад бродил по ночному морю с почтой двадцать лет и летом и зимой, когда ледяная вода сводила ноги до судорог.

Один раз он уронил мешок в воду, и часть писем подмокла.

В тот вечер на антирелигиозную беседу пришли и молодой Гузар, бывший спутник Прокофьева, и старый червовод из Фирюзы, имени которого никто не знал. Червовод разводил в былое время шелковичных червей. Но однажды у него не хватило тутовых листьев — главного сырья для его кропотливого производства, — умерла старуха жена, и червовод пошел бродить по Туркмении, разнося повсюду свою мудрость бедняка.

В первых рядах, конечно, сидел Бекмет. Он радостно кивал Бариль, тараторил и толкал соседей, устраиваясь поудобнее. На лице его разливалось блаженство. Он с нетерпением ждал, что скажет Бариль. «Старый притворщик», — подумала Бариль и начала говорить.

Помогал ей Гузар, хорошо знавший русский язык. Нужен был умелый подход. Бариль говорила не о том, что аллаха нет, а просто и коротко объясняла истинное значение всяческих чудес — грома, молнии, автомобиля и парохода. Туркмены слушали, открыв рты.

Бариль подумала, улыбнувшись, что это не собрание рабочих-землекопов, а детский сад. Действительно, сожженные солнцем, отважные мужчины, знавшие в пустыне каждый след и каждый холм, громко смеялись от восхищения и хлопали друг друга по шапке, поднимая облака удушливой пыли.

Тонкие коричневые руки, умевшие бить из ружья без промаха на полкилометра, они прятали в рукава рваных халатов.

Бариль еще не кончила, но Бекмет перебил ее и торопливо сказал:

— Автомобиль, эту чертову арбу, выдумал человек, хвала ему, но вот чего человек не выдумал, так это веселящего дерева,

носящего имя «кассак». Такое дерево могло быть создано только аллахом.

Слушатели обернулись к Бекмету, и глаза их заблестели. Бекмет начал одну из своих историй.

— Было это в ауле Варун-Кала,— говорил он, не обращая внимания на недовольство Бариль.— Ты тоже слушай. Это случай из жизни, и я сам был его очевидцем. Я остановился в этом ауле по пути в Мекку. Я шел в Мекку потому, что я не хуже дервишей, которые слизали свою святость вместе с пылью с гроба пророка. Тогда по аулам ездили еще царские чиновники, а в Хиве сидел шах Сейид-Асфендиар.

Русские чиновники собирали деньги. Давай каждый год пять рублей, а через двадцать лет тебя за это повезут пароходом в Медину, а оттуда ты можешь с толпой правоверных идти в Мекку. Пароход будет тебя ждать и не уйдет, пока опять не соберет столько людей, сколько овец в тесном загоне. Я давал пять рублей, потому что я хотел быть святым — хаджи — и носить зеленую чалму на своей глупой голове.

И вот я получил бумагу и билет на пароход и по пути в Ашхабад заночевал в ауле Варун-Кала, у человека с рыжей головой, по имени Хушет. Я рассказывал ему весь вечер о Мекке и Йемене, где цветет кофе и в горах трепещут листьями высокие пальмы. Сердце правоверного не может выдержать таких соблазнов. Зависть ко мне грызла Хушета весь вечер. Потом приехал ночевать еще один гость, на хорошей лошади и в новенькой арбе.

Отходя ко сну, Хушет сказал: «Я подумаю. Может быть, я тоже поеду с тобой в Мекку, чтобы увидеть вечернюю звезду прямо над черным камнем пророка». — «Ты сделаешь доброе дело», — ответил я и уснул.

Я проснулся ночью и услышал, что кто-то ходит около моей постели.

«Кто там?» — спросил я спросонок.

«Спи,— ответил Хушет.— Я ищу огня, чтобы закурить наргиле».

Утром он встретил меня радостный и сказал, что он тоже едет в Мекку, но догонит меня в Красноводске. И действительно, он догнал меня в Красноводске. И мы вместе совершили великий путь, молясь и почти не принимая пищи.

Ай, что мы видели! Мы видели города, где столько людей, сколько песку в бархане, видели Стамбул и плыли по многим морям. В Мекке мы ночевали в караван-сараях с паломниками из Белуджистана, Индии и Триполи. Я все ночи не спал, слушал шум толпы, пение молящихся и рев сотен верблюдов.

Пять раз я удостоился счастья поцеловать черный камень пророка.

На третью ночь в наш караван-сарай пришел человек из Омана и принес в мешке сухие ветки с маленькими сморщенными плодами.

Он кричал, что продает веселящее дерево — кассак, — дабы дух паломников радовался перед лицом аллаха.

Мы купили плоды этого дерева, и каждый проглотил по четыре зерна. Мы почувствовали великую радость, будто напились русской водки. Мы хохотали, плясали и рассказывали друг другу соблазнительные истории. Только к утру мы уснули крепким сном, и какой-то бродяга — да упадет проклятье на весь его черный род! — стащил мои чувяки и мешок с хлебом и маслами из-под головы Хушета.

Мы вернулись домой. На обратном пути я благословлял Хушета, не пожалевшего отдать свои последние деньги на путешествие к гробу пророка.

Но как только мы вошли в аул Варун-Кала, явились полицейские, арестовали Хушета и повезли в Ашхабад. Я изумлялся, не зная, за что так грубо и недостойно обошлись с человеком, носившим имя хаджи и искупившим былые грехи постом и молитвой.

Что же я узнал в тот же день? Через месяц после нашего отъезда жена Хушета, тихая и скромная женщина, рассказала властям, что Хушет убил ночью того гостя, что приехал на хорошем коне, закопал его труп за аулом, коня и арбу продал в Ашхабаде и на эти деньги и совершил свое паломничество ко гробу пророка. Вот до чего может довести человека благоговение и вера!..

Бекмет кончил, и нельзя было понять, говорит ли он серьезно или смеется. Бариль внимательно посмотрела на него. Старик был не так уж прост, как ей казалось раньше.

Она встала от костра и пошла в дощатый тесный дом, где Хоробрых отвел ей угол за холстинной перегородкой. Гузар шел с ней и смеялся: забавные вещи рассказывает старик!

— Веселый старик, очень веселый старик! — все время повторял он. — Тебе сильно помочь может.

«Хороша помощь! — с горечью подумала Бариль. — Черт бы его унес с его помощью!»

Хоробрых и его помощник Казанский, белобрысый техник, загорелый до того, что пробор на его голове казался кровавым шрамом, предпочитали спать на воздухе. В доме обитали фаланги и скорпионы. На берегу их было меньше — нечисть эта не выносила сульфата.

Хоробрых и Казанский стелили бурки на плоских кучках сульфата и спали спокойно, если их не будил шторм, начинав-

ший глухой орудийный обстрел побережья и вздымавший самумы соли. Верблюды поворачивались задом к ветру и ревели. Хоробрых и Казанский вскакивали, ругались и, плача от едкой пыли, прятались в дом.

Бариль тоже спала на сульфате. Ночью он поблескивал синеватым огнем. Сульфатное ложе сияло подобно хрустальной постели из прочитанной еще в детстве и забытой сказки.

Хоробрых курил и говорил густым голосом:

— Надо заставить Мурада выкупаться раз десять в заливе, и от его ревматизма останется одна слава по кочевкам. Товарищ Бариль, вы бы занялись этим, иначе его произведут в туркменского святого, и получится совсем неудобно.

— Мне надоели эти постоянные шуточки,— миролюбиво отозвалась Бариль.— Конечно же, я его вылечу назло вам. Я давно это решила.

Хоробрых долго не спал. Завтра нужно было начать работы по прорытию тоннеля. Рабочих было мало, да и те боялись бить ломами мергель.

Старый туркмен, прозванный Хоробрых «царем Менелаем», раздувал слухи, что в мергеле сидит злой дух и будет жестоко мстить каждому, кто дойдет до сердца горы.

Хоробрых решил с раннего утра отправить Гузара верхом к соседним кибиткам с призывом идти на работу. За каждую завербованную кибитку он назначил Гузару плату в десять рублей.

На северных промыслах трест решил, по опыту Махачкалы, начать бассейнизацию добычи сульфата.

Для этого выбрали высохшее озеро и назвали его «Озеро № 6» (у инженеров под всеми широтами одинаковая болезненная страсть нумеровать все).

К озеру надо было прокопать из залива канал, потом пробить тоннель длиной в сто тридцать метров через небольшую гору и затем накачать по этому каналу осенью в озеро три метра кара-бугазской воды.

Три метра воды должны были дать осадок в пятьдесят сантиметров чистого мирабилита на площади в квадратный километр. Жаркие ветры и солнце ежедневно должны были превращать верхний слой мирабилита на озере в пленку сульфата толщиной в три сантиметра.

Сульфат в озере лежит ровно, поверхность его плоская, как стол, и потому собирать его можно машинами. Трест заказал сборочные машины и начал нажимать на Хоробрых, чтобы поскорее закончить работу.

Канал был готов раньше назначенного срока, хотя первое время Казанский измучился, обучая вчерашних кочевников держать лопату. Они всё пытались держать ее тыльной стороной

от себя, и жалко было смотреть, как они мучились, овладевая этой дьявольской машиной. Но потом дело пошло.

Канал уперся в гору. Утром «царь Менелай» явился к Хоробрых и прошамкал, что рабочие, будучи правоверными, отказываются разрушать гору, иначе аллах покроет всю степь черной корой и духи гор сметут в воду и потопят кибитки с людьми, верблюдами и жалким скарбом.

— Старик, — сказал Хоробрых оглушительным голосом, — собери почетных людей в своей кибитке. Я приду, и мы будем говорить о духах гор. Ты, говорят, знаешь слова от проказы, я знаю заклинание от духов гор. Каждому аллах дает свое: ящерице — хвост, ослу — уши, а умному — слово, спасающее от бедствий.

«Менелай» ушел. Бариль считала, что такие «фокусы» Хоробрых ни к чему не приведут. Казанский предложил обойтись без рабочих и рвать гору динамитом. Хоробрых рассмеялся:

— После первого же взрыва все кибитки снимутся, помчатся в пустыню, и вы их потом не заманите сюда, даже если при-тащите баржу с нарзаном. Нужен подход. Я среднеазиатец, положитесь на меня.

Хоробрых приказал отнести в кибитку «Менелая» тюбик кокчая. Без этого кислого, пахнувшего аптекой напитка не могло обойтись ни одно сложное дело. Чай просветлял мозги и разгонял излишние страхи.

Днем случилось событие, едва не испортившее все дело. Мурад внял уговорам Бариль и выкупался в заливе. Сейчас он лежал в кибитке, испуская отчаянные крики. Его истерзанное насекомыми тело жгла ужасающим огнем едкая кара-бугазская вода.

Туркмены волновались. Бекмет уже приступил к умирающему с зазубренной бритвой, готовясь пустить нечистую кровь, но в этот момент появилась Бариль.

— Прочь! — крикнула она так повелительно, что Бекмет уронил бритву и глаза его забежали от страха. — Прочь, бездельник! Что это за мода резать живых людей!

Она подняла ногу Мурада в ситцевой штанине, где лиловые пионы цвели на розовом фоне, и несколько раз быстро согнула в колене. Туркмены отшатнулись, затаив дыхание. Они ждали оглушительного треска, но не слышали ничего. Тишина была столь глубокой, что было слышно, как жевал верблюд, лежавший в ста шагах от кибитки.

Мурад перестал стонать.

— Ну что? — сказала с легким торжеством Бариль. — Принесите ему ведро пресной воды и дайте обмыться.

Ужас пробежал по лицам туркмен. Закон пустыни, позволявший мыть только лицо, руки и ноги, был низвергнут этой женщиной, носившей на носу стеклянную машинку.

Никто не двинулся, кроме старухи Мурада. Она принесла ведро воды. Все вышли из кибитки и слушали с трепетом, как Мурад, охая и все призывая имя пророка, плескался над чугунным котлом.

Потом он вышел свежий и побледневший от первого мытья, торжественно прошел к Бариль и поклонился ей в пояс, прижав руки к груди. Он чувствовал себя, как юноша, впервые укравший невесту.

— Хоробрых,— смеясь, сказала Бариль инженеру, собиравшемуся идти на совет старейшин,— сегодня у нас на промыслах началась Октябрьская революция. Важно сдвинуть кочевников с мертвой точки, а потом пойдет легко.

— Я же вам всегда говорил,— ответил Хоробрых.

Как ни напрягала Бариль память, она не могла припомнить, чтобы инженер говорил что-нибудь подобное.

Совет старейшин длился два часа. Сначала пили чай и говорили о плохих травах в Адаевской степи и о том, что песок совсем занес старые караванные дороги в Кунград.

Хоробрых не участвовал в разговоре, но тревожно прислушивался. Снаружи доносились странные звуки. Казалось, туркмены снимают кибитки.

Потом Хоробрых говорил о тоннелях и сравнивал их с самыми невинными колодцами в горах. Он взывал к прославленной храбрости туркмен, долго рассказывал, как из сульфата будут делать великолепный прозрачный камень — стекло — и муку для удобрения хлопковых полей.

Туркмен Тайбазар встал первым:

— Я пойду. Давай железную палку.

Вторым встал казах Ныязов.

— А заклинание? — вскричал Бекмет разочарованно.

Чтобы успокоить его, Хоробрых прочел несколько строк первых пришедших ему на память стихов:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?..

Старики погладили бороды и закивали бараньими шапками.

Хоробрых вышел и длинно выругался. Бариль считала, что Хоробрых перегнул палку и поступает, как сумасшедший. Хоробрых пожал плечами:

— Пустое! Почему вы охраняете старых дураков от невинных насмешек?

Эти азиатские методы действий вызывали у Бариль раздражение, но вскоре она перестала негодовать — у подножия горы глухо застучали ломы.

— Мы раздавим пустыню, как фалангу,— промолвил Хоробрых и пошел к горе.

Начинался август. Он пылал невыносимым пожаром. Жара низвергалась сверху белыми, как соль, широкими реками. Пыль залепляла поры на коже. Люди не могли потеть, и от этого ощущение духоты доходило до тяжелых головокружений. Кровь густела, и Хоробрых начал чувствовать ее вес в своем теле. Казалось, что в венах застывает столярный клей.

Туркмены долбили гору. Жара, казалось, ожесточала их. Удары ломов были беспощадны. Никто уже не думал о духах гор. Над «царем Менелаем» посмеивались за глаза и называли его трусом.

Старики приползали к тоннелю и сидели в его тени, наблюдая кипение не виданной еще в пустыне работы. Они говорили, что, когда кончат тоннель, надо переносить кибитки к Бек-Ташу, потому что «человек с деревянным наргиле» (так они называли Хоробрых, не выпускавшего изо рта трубки) хочет строить железную дорогу от северных промыслов на Бек-Таш. Говорили, что русские привозят складные дома и в них никогда не заводятся блохи, как в кибитках, что Москва приказала обучить всех туркменских детей грамоте и что скоро в пустыне будут строить заводы и город, равный по красоте Хиве.

Бариль оказалась права — кочевники были сдвинуты с мертвой точки.

Пышная их фантазия, свойственная людям пустынь, преображала в легенды все, что начиналось на берегах Кара-Бугаза.

«Царь Менелай» скрипел и жаловался — говорят, через несколько десятилетий пустыня расцветет садами и пресная вода заблестит в хлопковых садах.

Женщина со стеклянной машинкой на носу рассказывала, что люди уже научились делать дождь и над пустыней будут идти обильные дожди. Аллах ошибся и дал ему, «Менелаю», родиться слишком рано. Придется умереть и не увидеть родные края цветущими, как берега счастливого Мешедиссера.

«Менелай» бывал в молодости на персидском берегу в Мешедиссере и всю жизнь рассказывал о померанцевых зарослях и лесах ореха, свисавших над морем, как богатые ковры висят на балконах домов в дни народных празднеств.

— Мешедиссер! — восклицал он и плакал от слабости, стараясь представить себе свою родину — колодцы Суили, — окруженную рощами чинар и шумливой травой.

С каждым днем жизнь становилась непонятнее и давала богатую пищу для выдумок и размышлений.

В залив пришла странная машина. Она рыла дно. Потом пришла вторая машина, которая должна была сосать со дна залива густую воду и перекачивать ее по каналу в озеро. Хаким

лаял на новые машины два дня, после чего взбесился, и Гузар пристрелил его.

Потом была объявлена байга. Блестящая мысль о байге пришла в голову Хоробрых в одну из бессонных ночей.

— Мы начинаем соревнование в песках, — предупредил он утром Бариль, загадочно улыбаясь.

Бариль подозрительно посмотрела на него: опять этот инженер затевает какую-нибудь мистификацию. О каком соревновании можно говорить, когда термометр дошел до шестидесяти пяти градусов!

Бариль в последнее время была занята женщинами. Ей удалось приучить их мыть руки и не совать грудным детям в рот недоеденные собаками черствые корки. Мысль о мытье рук с особой очевидностью пришла однажды вечером, когда туркменка-стряпуха месила лепешки для обитателей дощатого дома.

— Как вы думаете, сколько фунтов грязи она добавила к лепешкам? — спросила Бариль Казанского.

— Все равно съедим, — рассеянно ответил Казанский.

Это был человек, убежденный, что жить в пустыне легко и приятно, так как здесь нет «никакой волюнки». Под «волюнкой» Казанский подразумевал бумажки, отношения и телефонограммы.

Лепешки были съедены в один присест, но Бариль к ним не прикоснулась.

Она занялась туркменками. Почти у всех были запущенные болезни; в тридцать лет туркменки превращались в старух, теряли способность рожать детей и закрывали платками дурно пахнущие рты.

В тоннеле работа подходила к концу.

Две партии шли с двух сторон и со дня на день должны были встретиться. Тогда-то Хоробрых и объявил в тоннеле байгу.

Байга — это скачки лучших наездников. Одному из наездников дают на седло барана. Победителем считается тот, кто вырвет на всем скаку барана и домчит его до палатки судей, увернувшись от разъяренных соперников.

Хоробрых решил, что понятие соревнования можно внедрить среди туркмен только путем сравнения. Ударную работу он называл байгой. Лучшим рабочим, землекопом над землекопами, будет считаться тот, кто пробьет насквозь последние пласты мергеля и первым просунет руку встречной партии.

С обеих сторон было поставлено по шесть добровольцев, и байга началась. Старики осторожно пробрались в тоннель, ибо их слово было решающим.

Работа шла под свист, крики и хохот. Каждая крупная глыба мергеля, отбитая от стены, вызывала жестокое возбуждение.

Гора гудела и содрогалась.

Бариль отгоняла детей от входа в тоннель, где люди так кричали, что казалось, шла драка не на живот, а на смерть. Бариль смеялась, оттаскивая детей, пот стекал с ее усталого лица, и наконец потоки пота смыли пенсне с ее носа. Пенсне упало и разбилось. Дети бросились врассыпную. В эту же минуту из тоннеля долетел такой рев, что Бариль содрогнулась и перестала искать разбитые стеклашки.

Партии встретились. Первым пробил отверстие Гузар. К вечеру тоннель был окончен.

Старики возвращались взволнованные. Байга в тоннеле напомнила им молодость и скачки на меловых плоскогорьях Мангышлака. Весь вечер по кибиткам шел гомон. Все удивлялись, что первым пробил стену Гузар, а не Ныязов, считавшийся самым сильным из землекопов.

Бариль шурилась и смущенно улыбалась. Весь залив окутался туманом, а в этом тумане блуждали потерянные звезды, костры, красный уголек из трубки Хоробрых, поблескивали вода и голубоватый сульфат. Близорукость превратила знакомые места в декорацию веселой пьесы.

Гузару была выдана первая на промыслах бумажка, где сообщалось, что он — лучший ударник и землекоп над землекопами по всему побережью.

Гузар спрятал бумажку на груди и пошел пить кокчай со стариками — великая честь, которой удостаивали только лучших наездников.

Хоробрых не удержался и написал в тот вечер воззвание к кочевникам. Он хотел разослать его по соседним кибиткам, чтобы привлечь рабочих на постройку узкоколейной железной дороги.

Дорогу длиной в тридцать километров было решено провести от промысла к Каспийскому морю, где в Бек-Таше еще во времена хозяйничанья в заливе «Дагестанских огней» построили пристань. Сульфат к морю перевозили на туркменских лодках. Это обходилось очень дорого. Лодки сплошь и рядом сутками отстаивались около бара, дожидаясь затишья. В бурную погоду бар бывал очень опасен — все берега вблизи залива чернели от обломков разбитых лодок и шхун.

«Кочевники! — писал Хоробрых. — Советская власть постановила превратить вашу страну в цветущие поля и сады. В Кара-Бугазе мы начали добывать удивительную соль; из нее делают стекло и пищу для утучнения виноградников, хлопка и джугары.

Кочевники! Навьючивайте кибитки и идите к озеру Ала-Тепе, где вам будет дана вода и пища. Оставьте скитанья по мертвым пустыням и становитесь рабочими, ибо пришли новые времена. Все смертно, и старая жизнь умирает. Не верьте длинным языкам стариков, злых от несчастной жизни».

Наутро Гузар снова помчался по кибиткам, а к вечеру сле-

дующего дня первые медлительные верблюды, навьюченные кошами, гнутыми палками и детьми, торжественно прошли по бесплодным берегам в сторону Ала-Тепе.

По случаю награждения Гузара Бариль устроила собрание рабочих. Впервые на это собрание пришли робкие женщины. Они сидели сзади и боялись даже шептаться.

Бариль долго искала у себя в чемодане запасное пенсне, не нашла, расстроилась и опоздала на собрание. Когда она подходила к кибитке «Менелая», черный круг туркмен не шелохнулся. Старикашка Бекмет что-то врал, но, должно быть, очень увлекательно, так как даже Гузар не отрывал глаз от его шамкающего рта.

Бариль подошла и прислушалась. Она опоздала к началу рассказа и услышала его с середины.

Бариль не любила легенд. Каждый, кто бывал на Востоке, с большой осторожностью относится к пресловутым восточным легендам. Досужие описатели связывают с легендами названия всех озер, городов и рек Средней Азии.

Но легенда Бекмета была особенная. Он рассказывал ее, покачиваясь:

— Говорит он Файреддину: «Вот люди хвалятся тучной пшеницей и сладким виноградом, кожами и мягкой шерстью, высокими лесами и жирной рыбой. А чем богат твой край?» Файреддин молчит. Ленин опять говорит: «Вот приехали все на съезд в Москву и рассказывают каждый про свое, а ты один молчишь. Скажи свое слово, друг, не пугайся. Чем живете вы в вашем краю, чего ждете от времени?»

Заплакал Файреддин:

«Товарищ, что могу я сказать, старый туркмен из рода Абдалла, перед всеми вами? Чего мы ждем от времени, когда время ворует у нас последнюю воду из колодцев и засыпает песком вчерашние виноградники? Я из страны, что называется Усть-Урт и еще Кара-Кум. Богаты мы нищетой и жаждой, песком и солью. Ты думаешь, иолдаш, о счастье бедняков, а мы думаем о воде. Но нет воды! Аллах иссушил нашу землю на десять локтей в глубину, и даже дождь высыхает, не успевая достигнуть земли. Реки текут под песками, но вода в них горькая, как кожа персидского апельсина. Со времени Тимура вянет наша страна. Что делать, товарищ? Книзу все земли заняты, кверху все земли заняты, и нет нам места на земле. Ты велик, и ты могуществен. Ты большой человек, у тебя чуткое ухо и острый глаз, но чем ты можешь помочь нам, туркменам? Потому я и молчу на великом съезде».

Тогда Ленин засмеялся и ответил старому Файреддину:

«Чего не может аллах и не может Тимур, то могут сделать большевики, Файреддин».

Файреддин покачал головой.

«Если ты идешь с горбатым,— ответил он,— то не вытягивайся во весь рост, чтобы горб его не бросался людям в глаза. Если ты говоришь с человеком из Кара-Кума, то не смейся над ним и не обещай невозможного».

Так ответил Файреддин и ушел раздосадованный.

Но чудо совершилось. К осени дошел до кибитки Файреддина слух, что в Хорезм приехало много инженеров, пришли машины, похожие на железных верблюдов, из лодок выгружают цемент и большевики хотят пустить воду в иссохшее от тысячелетий древнее ложе Аму-Дарьи, называемое Узбой.

Узбой уходит в сторону от реки и простирается далеко, на десять дней хода каравана, в самую безводную пустыню.

Файреддин посмеялся над ребячеством большевиков. Они не знали, что в Узбое бывает дно из крепкого песка и бывает дно из такого песка, какой сосет воду, будто тысяча буйволов, не пивших три дня. Можно вылить целое море в Узбой, но песок в один час высосет его и оставит только мертвых рыб и горькую пену. Нельзя победить пустыню, и недаром созданы верблюды и саксаул.

Файреддин смеялся, а большевики копали канал и строили плотину. Дно Узбоя в тех местах, где был сыпучий песок, они заливали цементом.

И вот взошел день великого торжества. Светлая вода из Аму хлынула в Узбой, и песок не украл ни одного ведра ее.

Через ряд лет пески зарастут хлопком и виноградом, карагачами и инжиром. Нищая страна, сухая, как язык пса, издохшего от жажды, будет пить воду, как люди пьют вино.

Файреддин зарезал барана, угощал всех, плакал и подарил маленьким детям на забаву свою зеленую чалму, купленную в Мекке, где и Файреддин пролил свою слезу на черный камень пророка. И теперь старый Файреддин служит распределителем воды на новом канале и ходит гордый, как верблюд...

Когда Бекмет кончил, туркмены молча взглянули на Бариль. Они ждали.

— Товарищи! — сказала Бариль, и горло ее стиснула спазма. — Товарищи, лучше Бекмета я ничего вам рассказать не могу.

Тогда Бекмет встал. Он низко поклонился Бариль, с трудом коснувшись сухими пальцами твердой земли, и сказал с достоинством:

— Напрасно ты сердилась на меня, женщина. Умные люди говорят: «Страна при расцвете рождает певцов и героев, а при упадке — пыль и много начальства». Вы родились быть героями, а я — глупый и старый певец.

Бариль вернулась в дом и долго сморкалась за перегородкой. Хоробрых притворно удивлялся и расспрашивал, где она могла

схватить насморк. Расспросы окончились тем, что Бариль вылетела из-за занавески разгневанная и крикнула ему:

— Идите к черту! Вы хвастаетесь, что сделали экскаватор из керосиновых баков. Подумаешь, какая гениальность! Нужно было для этого учиться на инженера! Вы все не стоите одного старого вруна Бекмета.

— Товарищ Бариль, — ответил Хоробрых, — вы подрываете мой авторитет. Бекмета я назначил десятником. Кстати, вы знаете, что он был бродячим певцом?

Вечером Бариль ушла далеко вдоль берега. Звезды, казавшиеся раньше сквозь стекла пенсне мелкими зернами, сейчас пылали в воде залива мутными фонарями.

Бариль вспомнила весь сегодняшний день и улыбнулась заливу. Он лежал безмолвно. Нити звездных отражений казались светящимся следом мирабилитовых кристаллов, медленно падавших на дно. Сотни серых бабочек, пахнувших полынью, кружились около Бариль и щекотали лицо.

ГРУБАЯ ОШИБКА ПРИРОДЫ

В лоции Каспийского моря, составленной в 1877 году, сказано: «Родниковой воды нет нигде на всем побережье от Мангышлака до Атрека, за исключением родника Балкуи, находящегося на возвышениях в северной части Красноводского залива. Родник этот дает, впрочем, такое ничтожное количество воды, что о нем не стоило бы и упоминать, если бы он не был единственным на всем побережье».

К лоции приложены карты. На них вместо Кара-Бугазского залива сияет белое пятно.

В Большой советской энциклопедии сказано, что вода в пустынях Кара-Бугаза бывает только весной в мелких глинистых лужах. Из этих луж кочевники поят скот. Лужи быстро высыхают, и кочевники торопятся гнать стада на север, где вблизи Темира лежат травянистые степи.

Ученые пишут о воде из колодцев, найденных вблизи Кара-Бугаза, очень вежливо: «вода относительно пресная», «солончатая», «неприятная на вкус» и, наконец, более решительно: «тухлая» и «не годная для питья».

Старинные путешественники пишут о цветущих оазисах в этих местах. Их рассказы легендарны и неясны, как и вся история восточных стран, но в них должна быть крупица истины.

Наконец, Семенов-Тянь-Шанский говорит о закаспийских пустынях как о странах, потерявших воду.

Вода была. Об этом свидетельствуют многочисленные

мертвые колодцы, разбросанные в горах по берегам залива. На дне их нет ничего, кроме потрескавшейся глины.

Инженер Ронкин в 1927 году нашел несколько великолепных высохших колодцев около мыса Умчалл. Стенки их были выложены чисто обтесанными камнями. Около колодцев валялись каменные колоды для водопоя. Часть колодцев на южном берегу залива засыпана была во время войны иомудов¹ с казахами.

Когда трест «Карабугазсульфат» пришел в залив, воды не было. Только на Северной косе нашли колодцы с небольшим количеством хорошей воды. Пресная вода в этих колодцах лежала тонкой пленкой. Воду из таких колодцев приходилось брать с величайшей осторожностью; если ее взбалтывали, она мгновенно засолялась. Такие колодцы около мыса Бек-Таш дают в сутки двадцать пять тысяч ведер воды.

И тресту, добывшему уже в 1931 году пятьсот тысяч тонн сульфата, построившему вблизи залива первый маленький поселок (даже с асфальтовым тротуаром), и будущему комбинату нужна вода. Необходимо исправить грубую ошибку природы, отнявшей воду у богатейших в мире залежей «периодического минерала».

Начались поиски воды. Вначале это дело казалось совершенно безнадежным. Даже от карт этих мест тянет сухостью и начинается жажда.

Кочевники знают, что в желтых песках вода есть всегда. Все дело лишь в том, чтобы ее из-под песков вывести наружу. Кочевник, умирающий от жажды, стремится дойти до ближайших желтых песков, где почти всегда вода стоит на небольшой глубине. Но глинистая пустыня смертоносна. В ней воды нет никогда.

На Умчалле лежат большие пространства желтых песков. В них уже на глубине семидесяти метров нашли мокрый пресный песок.

В горах Большие Балханы, в шестидесяти километрах к юго-востоку от залива, нашли источники прекрасной пресной воды, дающие двадцать пять тысяч кубических метров воды в сутки. Комбинату же понадобится восемьдесят пять тысяч кубических метров воды в сутки. Большие Балханы почти не обследованы. Там воды должно быть гораздо больше. В этих горах, кроме того, очень легко задержать путем небольших плотин весенние дождевые воды и этим увеличить запасы воды почти в три раза.

В старинных рукописях, записанных со слов водителей караванов, говорится, что в оврагах Карын-Ярык, в северо-восточном углу залива, есть родники, где можно напоить сто двадцать

¹ И о м у д ы — туркменское племя.

верблюдов. Есть все данные, что в этих оврагах будут найдены обильные подземные источники.

Прошлое перекликается с будущим. Водители караванов из Кунграда на Эмбу оставили записи для своих товарищей — караванбашей, простодушно полагая, что караваны будут ходить тысячи лет. Сейчас эти записи расшифровываются, и сотрудники научных институтов, посмеиваясь, выясняют, сколько может выпить верблюд и каков поэтому дебит старинных источников. Наши химики, работая над искусственным обезвоживанием карабугазского мирабилита, выяснили, что можно получить в виде отходов столько хорошей пресной воды, что она значительно смягчит водяной голод как комбината, так и первого города, который вырастет в пустыне. Один квартал этого города уже выстроен и носит название Кара-Бугаз-порт.

Но все же воды мало. Ее хватит для населения будущего Кара-Бугаза, но не хватит для комбината. Поэтому предполагается построить мощные опреснители. Это будет надежнее всего.

Недавно в Ленинграде начаты работы по применению для технических целей слабосоленой морской воды. Опыты идут удачно. Если они закончатся успешно, то надобность в опреснителях отпадет. Тогда для производства пойдет каспийская вода, а питьевой, хорошей воды хватит с избытком — ее дадут те источники, о каких говорилось выше. Из-за воды начался бой между специалистами. Меньшая часть их морщилась при одном упоминании о Кара-Бугазе. По мнению этих специалистов, в Кара-Бугазе должна идти только добыча сульфата, а переработку надо перенести в Дагестан. Постройку комбината в Кара-Бугазе эти специалисты считают фантазией. Нет воды, нет вблизи топлива, нет зелени, дикая жара — все это кажется им непреодолимыми трудностями. К счастью, таких специалистов мало.

Победило мнение большинства специалистов, считающих, что постройка комбината должна вестись именно в Кара-Бугазе.

Наоборот — говорят специалисты, отбросившие профессиональное недоверие, — преодоление величайших трудностей, необходимость вырвать у пустыни воду, уголь, нефть и фосфориты говорят в пользу постройки комбината в Кара-Бугазе. Комбинат нанесет пустыне смертельный удар. Добыча воды, нефти, разработка угля создадут вокруг комбината оазисы, откуда начнется планомерный поход на пески. Оазисы будут расти, пески отступать, и край, потерявший воду, отнимет ее у пустыни обратно. А при наличии воды эту землю, залитую солнцем, можно довести до неслыханного расцвета.

Пока гидрографы ищут воду в песках Умчалла, в горах Большие Балханы, в оврагах Карын-Ярык, в урочище Бек-Таш и в древних документах, настоящую воду привозят в трюмах пароходов из Баку.

Трест переделал трюмы двух хороших пароходов Каспийского пароходства под перевозку воды. Но пароходство боится залива, как скорпион огня, и посылает эти пароходы в другие рейсы, а воду возит в пахнувших керосином трюмах «Фрунзе» и «Дзержинского». Каспару ничего не стоит оставить весь Кара-Бугаз без воды. Бывали случаи, когда по вине Каспара водяной паек рабочим треста приходилось срезать с двух ведер в день до четверти ведра.

«Фрунзе» и «Дзержинский» — изумительные пароходы, сами не знающие, куда и когда они ходят.

Я дожидался «Фрунзе» в Красноводске десять дней, чтобы ехать на нем в Кара-Бугаз. Он бродил в это время около Гассан-Кули, и никто в мире не мог сказать, когда появится в красноводских водах этот летучий голландец.

Капитан порта уныло сочувствовал мне. В конце концов в управлении порта я стал своим человеком.

Я даже подозреваю, что мое отсутствие ощущалось сотрудниками управления примерно так, как отсутствие сторожа-туркмена, сидевшего на пороге управления уже десять лет. Ко мне привыкли. Меня называли по имени и отчеству. Я был в курсе всех портовых новостей и тщательно изучил доску с грозной вывеской: «Предостережения мореплавателям». Там вывешивались бюллетени о погоде.

Я пришел к твердому выводу, в дальнейшем подтвержденному на опыте, что на Каспийском море бывает всего три штилевых дня в году.

Наконец ночью меня радостно разбудили — «Фрунзе» пришел. Я бросился на пристань, но ленивый вахтенный сказал мне, что еще неизвестно, пойдут ли они в Кара-Бугаз. Может быть, придется идти в Баку чистить котлы. К утру выяснилось, что «Фрунзе» идет в Баку.

Снова я ходил в управление порта, но с той лишь разницей, что вместо «Фрунзе» я ждал «Полторацк», затерявшийся у тех же загадочных гассан-кулийских берегов. Капитан порта, вздыхая, предупреждал меня, что «Полторацк» тоже может переменить курс и мне лучше всего поехать в Баку и ждать там, ибо в Баку ждать веселее.

Снова я изучал штормовые предупреждения и говорил за дежурного по телефону, когда тот отлучался. От этого телефона у меня две недели болела рука. Его приходилось вертеть, как шарманку, то правой рукой, то левой, когда правая уставала, и не раньше чем через полчаса сердитая телефонистка кричала в трубку:

— Чего вы звоните, как на пожар? Повесьте трубку.

Так пароходство обслуживало Кара-Бугаз. В 1930 году оно ввело в залив пароход «Ян» — базу для землечерпалки. «Ян» сел

на мель, и снять его не удалось. Он простоял на мели семь месяцев, и его разъело водой, как решето. Дыры в бортах заливали цементом, но вода тотчас же проедала их снова. Ржавчина отваливалась от парохода кусками.

Кара-бугазская вода не разъедает только алюминий. Железные суда могут спастись непрерывным движением. Более или менее длительная стоянка тотчас же приводит к разрушению корпуса.

Пароходство прислало комиссию капитанов осмотреть знаменитый бар — бич Кара-Бугаза. Летом 1931 года бар обмелел настолько, что через него не могли проходить даже моторные лодки. Капитаны предложили бар прорыть, но против этого запротестовали химики. Бар, по их словам, является естественным регулятором притока каспийской воды в залив. Химики утверждали, что углубление бара неизбежно вызовет изменение притока воды, тем самым будет нарушен режим Кара-Бугаза, а это, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на садке мирабилита.

Тогда моряки предложили построить канал и шлюз для прохода судов в Кара-Бугаз, минуя бар.

Для решения вопроса о баре при Академии наук была создана особая комиссия. Она решила, что углубление бара не может вызвать перемену свойств кара-бугазской воды, ибо эти свойства вызываются не только притоком воды из моря, но и влиянием грунтовых вод, почвы, окружающей залив, химических процессов, происходящих в этой почве, температуры воздуха и ряда других обстоятельств.

Ранней весной 1931 года в Москве заседала конференция по Кара-Бугазу.

Глухие туманы лежали над городом. Сквозь туманы моросил ледяной дождь. В измороси и серости московского дня на трибуну выходили люди, опаленные кара-кумским солнцем, и говорили о необыкновенном заливе, бушующем и дымящемся в жестоких сарматских ярусах Усть-Урта. Сотни фотографий были разбросаны по столам. Казалось, фотографические аппараты хватил солнечный удар — таким меловым блеском пылали пески, небо, соль, залив.

Конференция по Кара-Бугазу была строго научной, производственной, но со стороны напоминала заседание штаба, готовившего поход на пустыню, объявившего непримиримую войну грубым и нетерпимым ошибкам природы.

Разрозненные записи этой конференции я возил всюду с собой. Они покрылись коричневой пылью Эмбы, солью Кара-Бугаза, заржавели, стерлись, и теперь в кают-компании старого парохода я старался разобрать их, чтобы переписать наново. Пароход шел рывками, будто кто-то дергал его сзади за красный

погнутый руль. Писать было трудно. Официант покосился на меня и сказал вполголоса уборщице:

— Калькулятор!

«Промышленное освоение Кара-Бугаза,— писал я,— создание на востоке Каспия нового мощного индустриального центра в значительной мере повлияет на весь хозяйственный уклад, на всю жизнь Туркмении. Девять десятых ее территории похоронено под песками Кара-Кума. Мы осуществим на деле лозунг партии об индустриализации окраин».

«Кара-Бугазский залив представляет собой море белого золота».

На этом моя работа над записями окончилась. Официант начал в сердцах гасить лампочки и с треском захлопывать тяжелые окна. Мне пришлось собрать свои записи и уйти.

Наш пароход привозил в Кара-Бугаз пресную шолларскую воду¹ и весь до сих пор был пропитан свежим запахом этой воды. Казалось, что пароход плывет не по морю, а по прозрачному пресному озеру и по звездам.

Обычная ослепительная ночь дымилась со всех румбов. Тепличный ветер долетал от берегов Персии, как из открытого на ночь окна цветочного магазина. Он приносил запах растертых пальцами листьев ореха, тяжелой листвы и сырых песков.

За кормой глухо гудел светящийся след от винта и терялся в полночной тьме. Там закатывались в остывающих песках громадные звезды. Свет их был на востоке ярче, чем на западе. Сухость пустынь сообщала ему напряженную резкость. На западе звезды мигали во влажном воздухе, в испарениях, и в них, как в стеклянных сосудах, переливалась сверкающая жидкость.

Со мной ехали Прокофьев, девушка-химичка из Москвы и женщина-инженер, седая и усталая, похожая больше на врача.

Девушка тревожно ходила по палубе. Морской ветер шевелил ее платье и успокоительно похлопывал кормовым флагом.

Нижняя палуба бросала на воду тусклые полосы света. Там звенели чайники, лился кипяток, смеялись дети. Там был крепкий сухопутный мир. Там люди чувствовали себя на пароходе, как в поезде. Они не прислушивались к глубокому молчанию штиля, плавно несшего пароход на запад, к берегам Европы.

Качки не было, но море дышало, то подымая, то чуть-чуть опуская тяжелый пароходный корпус.

— Вот мы объехали весь этот край,— сказал мне Прокофьев.— Мы видели пески, бесплодную землю, пили соленую воду, узнали, что такое Кара-Бугаз. Все это так. Но достаточно ли у нас воображения, чтобы представить себе будущее этих зе-

¹ Шолларская вода.— Баку снабжается водой из Шолларских источников в горах. (Примеч. автора.)

мель? Интересно проверить. Спросим об этом наших спутниц.

Девушка-химичка ответила не задумываясь:

— Будет жарко, шумно и весело, как в Баку в праздничный день. Мне очень нравятся каспийские пароходы. Они хорошо выкрашены в желтый цвет. Масса желтых пароходов будет дымить в двух новых портах, где их будут строить,— ну да, в Бек-Таше и Карши. Хоробрых получит первую премию на будущей сельскохозяйственной выставке за самые душистые и сочные в мире кара-бугазские дыни. Ветряные двигатели начнут высасывать из залива густую воду и наполнять бассейны. Академик Иоффе поставит первые солнечные машины, а мы с вами по вечерам будем ходить в порт и пить под акациями вкусную воду со льдом и апельсинным сиропом. С Казанского вокзала начнут отходить поезда с табличками: «Москва — Кара-Бугаз, через Ташкент — Красноводск». В заливе откроют курорт, потому что нет во всем Союзе лучшего купанья, чем там. Хватит с вас и этого.

Женщина-инженер думала о другом.

— Вы знаете,— промолвила она,— я выросла на Востоке. В Кара-Бугаз я приехала, когда в кибитке начальника треста застучала первая пишущая машинка. С тех пор прошло два года, но уже сейчас залив не узнать. И вот я думаю, что такие вещи, как будущий комбинат, ударят по старому Востоку, по исламу, по всей этой окаменелой жизни, как гром. Комбинат научит грамоте, выправит мозги, вскрыет и уничтожит весь ужас кочевого состояния. Была у кочевников песня, где говорилось: «Кочевник проходит через жизнь, как пыль. Никто не хочет знать его имени, никто не знает, сколько весит его горе». Вот с этим будет покончено.

Прокофьев молчал.

— Вы что ж, не можете ничего придумать? — спросила его химичка.

— Нет,— ответил Прокофьев.— Придумывать не надо, так как действительность превзойдет все мои выдумки и мне самому станет стыдно. Я не обладаю фантазией. Я думаю вот о чем. Вы знаете, что существует некий страшный закон энтропии. Он говорит, что никакая энергия на земном шаре не исчезает, за исключением тепловой, но всякая энергия в эту тепловую превращается. Земля непрерывно теряет тепловую энергию в результате лучеиспускания в мировое пространство. Английский физик Томсон, открывший этот закон, заканчивает свою книгу о нем очень мрачными словами. Происходит, говорит он, неудержимое рассеяние энергии, и спустя некоторое, правда очень долгое, время на Земле наступит мертвый покой, и она обратится в вечное кладбище.

Так вот, Кара-Бугаз и все эти проклятые людьми пустыни

убьют закон энтропии. Земля бесцельно отдает свою тепловую энергию в мировое пространство, вот туда,— Прокофьев махнул рукой на юг, где вселенная дымилась и разгоралась звездным жаром,— а пустыни — Кара-Кум, Кара-Бугаз — мы должны сделать первыми резервуарами, улавливающими энергию солнца, как раз ту энергию, которую мы получаем из мирового пространства. Мы уравновесим потерю. Это дерзкий вызов космическим законам, особенно в глазах непросвещенных людей. Здесь мы будем высасывать солнечную энергию, сгущать ее, превращать в электричество, в тепло, в свет, в какую угодно иную энергию, и этот край расцветет так, как, может быть, никогда не цвели самые пышные сады.

Одолевать пустыню тяжело, особенно когда человек думает, что он одолевает ее ради своего месячного оклада. Необходимо понять, что ваша работа в пустыне — дело славы, дело высокого племени новых людей,— а это ведь так и на самом деле,— и тяжесть с вас слетит, как пот после купанья в море. Отсюда вывод: никогда не упускайте из виду далеких горизонтов. Помните, что скулят только близорукие. Давайте волю своему воображению. Сила его необычайна. Воспитайте в себе чувство времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями — это уже страшно много...

Мы легли спать в каюте, наполненной ветром и свежестью моря.

Видения городов из сверкающего радугами стекла преследовали меня всю ночь. Города эти подымались из морей и отражались в зеркалах заливов нагромождениями хрусталя и теплых неподвижных огней. Летние рассветы разгорались над ними. Рассветы пахли растертыми в ладонях листьями ореха, густой листвой, шолларскими водами, мангышлакской полынью.

Я проснулся. Прокофьев спорил с женщиной-инженером о свойствах стекла из кара-бугазского сульфата. Я вышел на палубу. Мы огибали Апшеронский маяк. Над Баку лежала свежая тишина ночи, а на востоке, над Кара-Бугазом, сметая звезды, стремительно раскрывала небо высокая морская голубизна — над пустынями Хорезма подымался один из бесчисленных прекрасных дней.

Борис
ПОЛЕВОЙ
ПОВЕСТЬ
О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный, свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.

Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тьяканье лисиц и первые, еще неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело скрипки.

Снова порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Само небо уплотнилось и сузилось. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом величии. По тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце и что занявшийся день обещает быть ясным, морозным, ядреным.

Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы переваривать ночную добычу, убралась с поляны лисица, оставив на снегу кружевной, хитро запутанный след. Старый лес зашумел ровно, неумолчно. Только птичья возня, стук дятла,

веселое цвikanье стрелявших меж ветвей желтеньких синиц да жадный сухой крик соек разнообразили этот тягучий, тревожный и грустный, мягкими волнами перекатывающийся шум.

Сорока, чистившая на ветке ольховника черный острый клюв, вдруг повернула голову набок, прислушалась, присела, готовая сорваться и улететь. Тревожно хрустели сучья. Кто-то большой, сильный шел сквозь лес, не разбирая дороги. Затрепцали кусты, заметались вершины маленьких сосенок, заскрипел, оседая, наст. Сорока вскрикнула и, распустив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела прочь.

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно задвигались.

Старый лось застыл в сосняке, как изваяние. Лишь клочковатая шкура нервно передвигалась на спине. Настороженные уши ловили каждый звук, и слух его был так остер, что слышал зверь, как короед точит древесину сосны. Но даже и эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, кроме птичьей трескотни, стука дятла и ровного звона сосновых вершин.

Слух успокаивал, но обоняние предупреждало об опасности. К свежему аромату талого снега примешивались острые, тяжелые и опасные запахи, чуждые этому дремучему лесу. Черные печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста темные фигуры. Не шевелясь, он весь напрягся, готовый сделать прыжок в чащу. Но люди не двигались. Они лежали в снегу густо, местами друг на друге. Их было очень много, но ни один из них не двигался и не нарушал девственной тишины. Возле возвышались вросшие в сугробы какие-то чудовища. Они-то и источали острые и тревожащие запахи.

Испуганно кося глазом, стоял на опушке лось, не понимая, что же случилось со всем этим стадом тихих, неподвижных и совсем не опасных с виду людей.

Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь вздрогнул, кожа на спине его передернулась, задние ноги еще больше поджались.

Однако звук был тоже не страшный: будто несколько майских жуков, басовито гудя, кружили в листве зацветающей березы. И к гуденью их примешивался порой частый, короткий треск, похожий на вечерний скрип дергача на болоте.

А вот и сами эти жуки. Сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе. Снова и снова скрипнул в вышине дергач. Один из жуков, не складывая крыльев, метнулся вниз. Остальные опять затанцевали в небесной лазури. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на поляну,

лизнул наст, кося глазом на небо. И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, понесся прямо к поляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты — что-то громадное, более страшное, чем внезапный порыв осенней бури, ударило по вершинам сосен и брякнулось о землю так, что весь лес загудел, застонал. Эхо понеслось над деревьями, опережая лося, рванувшегося во весь дух в чащу.

Увязло в гуще зеленой хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иней с древесных вершин, сбитых падением самолета. Тишина, тягучая и властная, овладела лесом. И в ней отчетливо слышалось, как простонал человек и как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса на поляну.

Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями торчала на его впалых боках, сосульками свисала с тощего, поджарого зада. В этих краях с осени бушевала война. Она проникла даже сюда, в заповедную глушь, куда раньше, и то не часто, заходили только лесники да охотники. Грохот близкого боя еще осенью поднял медведя из берлоги, нарушив его зимнюю спячку, и вот теперь, голодный и злой, бродил он по лесу, не зная покоя.

Медведь остановился на опушке, там, где только что стоял лось. Понюхал его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело и жадно задышал, двигая впалыми боками, прислушался. Лось ушел, зато рядом раздавался звук, производимый каким-то живым и, вероятно, слабым существом. Шерсть поднялась на загривке зверя. Он вытянул морду. И снова этот жалобный звук чуть слышно донесся с опушки.

Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, под которыми с хрустом проваливался сухой и крепкий наст, зверь направился к неподвижной, вбитой в снег человеческой фигуре...

2

Летчик Алексей Мересьев попал в двойные «клещи». Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили четыре немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром...

А получилось все это так. Звено истребителей под командой лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать «ИЛы», отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Штурмовики, эти «летающие танки», как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам со-

сен, подкрались прямо к лётному полю, на котором рядами стояли большие транспортные «юнкерсы». Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами «ломовиков», поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами. Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заметались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы и как пришедшие в себя экипажи «юнкерсов» начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух.

Вот тут-то Алексей и совершил промах. Вместо того чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят летчики, соблазнился легкой дичью. Бросив машину в пике, он камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный «ломовик», с удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное пестрое, сделанное из гофрированного дюраля тело. Уверенный в себе, он даже не смотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один «юнкерс». Алексей погнался за ним. Атаковал — и неудачно. Его огневые трассы скользнули поверх медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал, опять настиг свою жертву и свалил ее где-то уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигарообразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив «юнкерс» и дав два победных круга у места, где над зеленым всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому.

Но долететь туда уже не пришлось. Он увидел, как три истребителя его звена ведут бой с девятью «мессерами», вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на немцев, ровно втрое превосходивших их по числу, летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сторону, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от своих птенцов.

Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей, стыдно до того, что он почувствовал, как запылали под шлемом щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был «мессер», несколько отбившийся от других и, очевидно, тоже высмотревший себе добычу. Выжимая всю скорость из своего «ишачка», Алексей бросился на врага с фланга. Он атаковал немца по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутинном крестике прицела,

когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промеха быть не могло. Цель была близка и виднелась на редкость отчетливо. «Боеприпасы!» — догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом. Нажал для проверки гашетки и не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты: гоняясь за «ломовиками», он расстрелял весь боекомплект.

Но враг-то не знал об этом! Алексей решил безоружным втесаться в кутерьму боя, с тем чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Немец заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. Четыре «мессершмитта», выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные «клещи».

Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия «Рихтгофен». Она была укомплектована лучшими асами фашистской империи и находилась под покровительством самого Геринга. Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков и что они, очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть, чтобы взять в плен живым. Такие случаи тогда бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика.

Длинное зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. «Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» — решил он.

Но вывернуться ему не удалось. Немцы преграждали ему путь пулеметными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться с диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного летчика с искаженными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унижительный животный страх.

Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке.

Подшибли! Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто

это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело.

Во что ранен мотор? Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Все это не подумал, а скорее ощутил Алексей. Чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, к которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолет на обратный курс, к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным родными руками.

Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море, лес... «И все-таки не плен!» — успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежещающий треск, и все мгновенно исчезло, точно он вместе с машиной канул в темную густую воду.

Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножия. Это спасло ему жизнь...

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Какие-то неопределенные человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм и задышало на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал рывок — и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в легкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, а в ногах.

«Жив!» — мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. «Немцы! — тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. — Плен, значит, все-таки плен!.. Что же делать?»

Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не притачал; пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было повернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал

острые грани пистолета. Но лежал он неподвижно: может быть, враг примет его за мертвого и уйдет.

Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова подошел к Мересьеву; похрустел настом, наклонился. Алексей опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что немец один, и в этом была возможность спастись: если подстеречь его, внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав пустить в ход оружие, завязать борьбу на равных... Но это надо сделать расчетливо и точно.

Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаз и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил: перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободранный медведь.

3

Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной человеческой фигуры, едва видневшейся из синевато сверкавшего на солнце сугроба.

Его грязные ноздри тихо подергивались. Из приоткрытого рта, в котором виднелись старые, желтые, но еще могучие клыки, свисала и покачивалась на ветру тоненькая ниточка густой слюны.

Поднятый войной из зимней берлоги, он был голоден и зол. Но медведи не едят мертвечины. Обнюхав неподвижное тело, остро пахнущее бензином, медведь лениво отошел на полянку, где в изобилии лежали такие же неподвижные, вмерзшие в наст человеческие тела. Стон и шорох вернули его обратно.

И вот он сидел около Алексея. Щемящий голод боролся в нем с отвращением к мертвому мясу. Голод стал побеждать. Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями «чертову кожу» комбинезона. Комбинезон не поддался. Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грузную, навалившуюся ему на грудь тушу. В то время как все существо его рвалось к бурной и яростной защите, он заставил себя медленным, незаметным движением опустить руку в карман, нащупать там рубчатую рукоять пистолета, осторожно, чтобы не щелкнул, взвести большим пальцем курок и начать незаметно вынимать уже вооруженную руку.

Зверь еще сильнее рванул комбинезон. Крепкая материя затрепала, но опять выдержала. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защебив через мех и вату тело.

Алексей последним усилием воли подавил в себе боль и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал курок.

Глухой выстрел треснул раскатисто и гулко.

Вспорхнув, проворно улетела сорока. Иней посыпался с потревоженных ветвей. Зверь медленно выпустил жертву. Алексей упал в снег, не отрывая от противника глаз. Тот сидел на задних лапах, и в черных, заросших мелкой шерстью, гноящихся его глазках застыло недоумение. Густая кровь матовой струйкой пробивалась меж его клыков и падала на снег. Он зарычал хрипло и страшно, грузно поднялся на задние лапы и тут же замертво осел в снег, прежде чем Алексей успел выстрелить еще раз. Голубой наст медленно заплывал красным и, подтаивая, слегка дымился у головы зверя. Медведь был мертв.

Напряжение Алексея схлынуло. Он снова ощутил острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание...

Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко. Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами зажигали наст. В тени снег казался даже не голубым, а синим.

«Что же, медведь померещился, что ли?» — было первой мыслью Алексея.

Бурая лохматая, неопрятная туша валялась подле на голубом снегу. Лес шумел. Звучно долбил кору дятел. Звонко цвикали, прыгая в кустах, проворные желтобрюхие синички.

«Жив, жив, жив!» — мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенес смертельную опасность.

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла все его тело. В голове стоял глухой, тяжелый шум, точно вращались в ней, грохоча, сотрясая мозг, старые, щербатые жернова. Глаза ломило, будто кто-то нажимал на них поверх век пальцем. Все окружающее то виднелось четко и ярко, облитое холодными желтыми солнечными лучами, то исчезало, покрываясь серой, мерцающей искрами пеленой.

«Плохо... Должно быть, контузило при падении и с ногами что-то случилось», — подумал Алексей.

Приподнявшись, он с удивлением оглядел широкое поле, видневшееся за лесной опушкой и ограниченное на горизонте сизым полукругом далекого леса.

Должно быть, осенью, а вернее всего — ранней зимой по опушке леса через это поле проходил один из оборонительных рубежей, на котором недолго, но упорно, как говорится — на-

смерть, держалась красноармейская часть. Метели прикрыли раны земли слежавшейся снежной ватой. Но и под ней легко угадывались кротовые ходы окопов, холмики разбитых огневых точек, бесконечные выбоины мелких и крупных снарядных воронок, видневшихся вплоть до подножий избитых, израненных, обезглавленных или вывернутых взрывами деревьев опушки. Среди истерзанного поля в разных местах вмерзло в снег несколько танков, окрашенных в пестрый цвет щучьей чешуи. Все они — в особенности крайний, который, должно быть, взрывом гранаты или мины повалило набок, так что длинный ствол его орудия высунутым языком свисал к земле, — казались трупами неведомых чудовищ. И по всему полю — у брустверов неглубоких окопчиков, возле танков и на лесной опушке — лежали вперемешку трупы красноармейцев и немецких солдат. Было их так много, что местами громоздились они один на другой. Они лежали в тех же закрепленных морозом позах, в каких несколько месяцев назад, еще на грани зимы, застигла людей в бою смерть.

Все говорило Алексею об упорстве и ярости бушевавшего здесь боя, о том, что его боевые товарищи дрались, позабыв обо всем, кроме того, что нужно остановить, не пропустить врага. Вот недалеко, у опушки, возле обезглавленной снарядом толстой сосны, высокий, косо обломленный ствол которой истекает теперь желтой прозрачной смолой, валяются немцы с размозженными черепами, с раздробленными лицами. В центре, поперек одного из врагов, лежит навзничь тело огромного круглолицего большогоголового парня без шинели, в одной гимнастерке без пояса, с разорванным воротом и рядом винтовка со сломанным штыком и окровавленным, избитым прикладом.

А дальше, у дороги, ведущей в лес, под закиданной песком молодой елочкой, наполовину в воронке, так же навзничь лежит на ее краю смуглый узбек с тонким лицом, словно выточенным из старой слоновой кости. За ним под ветвями елки виднеется аккуратная стопка еще не израсходованных гранат, и сам он держит гранату в закинутой назад мертвой руке, как будто, перед тем как ее бросить, решил он глянуть на небо, да так и застыл.

И еще дальше, вдоль лесной дороги, возле пятнистых танковых туш, у откосов больших воронок, в окопчиках, подле старых пней, — всюду мертвые фигуры в ватниках и стеганых штанах, в грязновато-зеленых френчах и рогатых пилотках, для тепла насунутых на уши; торчат из сугробов согнутые колени, запрокинутые подбородки, вытаявшие из наста восковые лица, обглоданные лисами, обклеванные сороками и вороньем.

Несколько воронов медленно кружили над поляной, и вдруг напомнила она Алексею торжественную, полную мрачной мощи картину Игоровой сечи, воспроизведенную в школьном учебнике истории с полотна великого русского художника.

«Вот и я лежал бы тут!» — подумал он, и снова все существо его наполнилось бурным ощущением жизни. Он встряхнулся. В голове еще медленно кружились щербатые жернова, ноги горели и ныли пуще прежнего, но Алексей, сидя на уже похолодевшей и посеребренной сухим снежком медвежьей туше, стал думать, что́ ему делать, куда идти, как добраться до своих передовых частей.

Планшет с картой он потерял при падении. Но и без карты Алексей ясно представлял себе сегодняшний маршрут. Немецкий полевой аэродром, на который налетали штурмовики, лежал километрах в шестидесяти на запад от линии фронта. Связав немецкие истребители воздушным боем, его летчикам удалось оттянуть их от аэродрома на восток примерно километров на двадцать, да и ему, после того как вырвался он из двойных «клещей», удалось, вероятно, еще немного протянуть к востоку. Стало быть, упал он приблизительно километрах в тридцати пяти от линии фронта, далеко за спиной передовых немецких дивизий, где-то в районе огромного, так называемого Черного леса, через который не раз приходилось ему летать, сопровождая бомбардировщиков и штурмовиков в их короткие рейды по ближним немецким тылам. Этот лес всегда казался ему сверху бесконечным зеленым морем. В хорошую погоду лес клубился шапками сосновых вершин, а в непогоду, подернутый серым туманом, напоминал помрачневшую водную гладь, по которой ходят мелкие волны.

То, что он рухнул в центре этого заповедного леса, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что вряд ли здесь, в этих девственных чащобах, можно было встретить немцев, тяготевших обычно к дорогам и жилью. Плохо же потому, что предстояло совершить хотя и не очень длинный, но тяжелый путь по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь человека, на кусок хлеба, на крышу, на глоток кипятку. Ведь ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?..

Он тихо привстал с медвежьей туши. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, пронзила его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унт. Унт не слезал, и каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил рванул унт обеими руками — и тут же потерял сознание. Очнувшись, он осторожно развернул байковую портянку. Вся ступня распухла и представляла собой сплошной сизый синяк. Она горела и ныла каждым своим суставом. Алексей поставил ногу на снег — боль стала слабее. Таким же отчаянным рывком, как будто он сам у себя вырывал зуб, снял он второй унт.

Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то при-

щемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. Конечно, в обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги. Но он был один в лесной чаще, в тылу врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а смерть. И он решил идти, идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест, идти, чего бы это ни стоило.

Он решительно вскочил с медвежьей туши, охнул, заскрипел зубами и сделал первый шаг. Постоял, вырвал другую ногу из снега, сделал еще шаг. В голове шумело, лес и поляна покачнулись, поплыли в сторону.

Алексей чувствовал, что слабеет от напряжения и боли. Закусив губу, он продолжал идти, добираясь к лесной дороге, что вела мимо подбитого танка, мимо узбека с гранатой, в глубь леса, на восток. По мягкому снегу идти было еще ничего, но как только он ступил на твердый, обдутый ветрами, покрытый ледком горб дороги, боль стала такой нестерпимой, что он остановился, не решаясь сделать еще хотя бы шаг. Так стоял он, неловко расставив ноги, покачиваясь, точно от ветра. И вдруг все посерело перед глазами. Исчезли дорога, сосны, сизая хвоя, голубой продолговатый просвет над ней... Он стоял на аэродроме у самолета, своего самолета, и его механик, или, как он называл его, «технарь», долговязый Юра, блестя зубами и белками глаз, всегда сверкавшими на его небритом и вечно чумазом лице, приглашающим жестом показывал ему на кабину: дескать, готово, давай к полету... Алексей сделал к самолету шаг, но земля пылала, жгла ноги, точно ступал он по раскаленной плите. Он рванулся, чтобы перескочить через эту пышущую жаром землю прямо на крыло, но толкнулся о холодный фюзеляж и удивился. Фюзеляж был не гладкий, покрытый лаком, а шероховатый, облицованный сосновой корой... Никакого самолета — он на дороге и шарит рукой по стволу дерева.

«Галлюцинация? Схожу с ума от контузии, — подумал Алексей. — Идти по дороге невыносимо. Свернуть на целину? Но это намного замедлит путь...» Он сел на снег, снова теми же решительными, короткими рывками стащил унты, ногтями и зубами разорвал их в подъемах, чтобы не теснили они разбитые ступни, снял с шеи большой пуховый шарф из ангорской шерсти, разорвал его пополам, обмотал ступни и снова обулся.

Теперь идти стало легче. Впрочем, идти — это неправильно сказано: не идти, а двигаться, двигаться осторожно, наступая на пятки и высоко поднимая ноги, как ходят по болоту. От боли и напряжения через несколько шагов начинало кружить голову. Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя острое биение пульса в венах.

Так двигался он несколько часов. Но, когда оглянулся, в конце просеки еще виднелся освещенный поворот дороги, у которого темным пятнышком выделялся на снегу мертвый узбек. Это очень огорчило Алексея. Огорчило, но не испугало. Ему захотелось идти быстрее. Он поднялся с сугроба, крепко сцепил зубы и пошел вперед, намечая перед собой маленькие цели, сосредоточивая на них внимание,— от сосны к сосне, от пенька к пеньку, от сугроба к сугробу. На девственном снегу пустынной лесной дороги вился за ним вялый, извилистый, нечеткий след, какой оставляет раненый зверь.

4

Так двигался он до вечера. Когда солнце, заходящее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушки сосен и в лесу стали сгущаться серые сумерки, возле дороги, в поросшей можжевельником ложинке, Алексею открылась картина, при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи и волосы шевельнулись под шлемом.

В то время как там, на поляне, шел бой, в ложине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая, хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец в черном мундире войск СС и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен не добытым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжавшие горло врага.

Так их и похоронила метель — хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами.

Несколько мгновений Мересьев стоял пораженный, потом

подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча, с рукоятью красного дерева, в которую был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржавом лезвии сохранилась надпись: «Alles für Deutschland». Кожаные ножны кинжала Алексей снял с эсэсовца. Нож был необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заскорузлую, обледенелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры, положил сверху несколько сосновых веток...

Пока он занимался всем этим, стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная и густая тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес шумел то убаюкивающе-певуче, то порывисто и тревожно. По лощине тянул не видимый уже глазом, тихо шуршащий и покалывающий лицо снежок.

Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый кромешней тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спрятал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью.

Наготове был пистолет со взведенным курком, но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далекого воя волков — ничего из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма.

Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся, вспомнил, что с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь «чертову кожу» и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело была мелкая неудержимая дрожь. Но самое страшное было ноги: они болели еще острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера срывал с себя унты. Время было дорого.

Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, прибавился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней ока-

залось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Был, видно, в сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про себя: «Спасибо, родная!» — поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который уже оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей.

У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень.

5

Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки десять — двенадцать километров, он дойдет до своих за три, самое большее — за четыре дня.

Так, хорошо! Теперь: что значит пройти десять — двенадцать километров? Километр — это две тысячи шагов; стало быть, десять километров — двадцать тысяч шагов, а это много, если учесть, что после каждых пятисот — шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать...

Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры: сосну, пенек, ухаб на дороге — и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Вышло, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров десять.

Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от ледящего прикосновения.

Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновения пятой минуты. Он со страхом взглянул на нее, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное; а когда она коснулась цифры «шестьдесят», сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше.

К полудню, когда лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей и в лесу крепко запахло смолой и талым снегом, он совершил всего четыре таких перехода. Он так и сел посреди дороги на снегу, уже не имея сил добраться до ствола большой березы, валявшегося чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода.

Вздохнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего, безвкусного сала, хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от банки и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь глотать.

Перед тем как двинуться снова в путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.

6

...Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием.

Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашел он зажигалку, сделанную ему на память из винтовочного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажег. Желтые шустрые огоньки вырвались из-под сизого дыма. Смолистое сухое дерево занялось быстро и весело. Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стонами и свистом.

Костер трещал и шипел, распространяя сухой благотворный жар. Алексею стало уютно, он опустил «молнию» комбинезона, достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотографию тоненькой девушки в пестром, цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги, в траве. Он долго смотрел на нее, потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и, задумчиво подержав в руках, убрал обратно в карман.

«Ничего, ничего, все будет хорошо,— сказал он, обращаясь не то к этой девушке, не то к самому себе, и задумчиво повторил: — Н и ч е г о...»

Теперь уже привычными движениями сорвал он с ног унты,

размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они еще больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые и их надули воздухом. Цвет у них был еще более темный, чем вчера.

Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова побрел по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой теряя сознание. Вдруг среди других шумов леса, которые привыкшее ухо почти перестало улавливать, услышал он отдаленный звук работающих моторов. Сначала он подумал, что это ему мерещится от усталости, но моторы гудели все громче, то подвывая на первой скорости, то затихая. Очевидно, то были немцы, и ехали они по той же дороге. Алексей почувствовал, как сразу похолодело у него внутри.

Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости, о боли в ногах, свернул он с дороги, добрел по целине до густого елового подлеска и тут, зайдя в чащу, опустился на снег. С дороги его, конечно, трудно было заметить, ему же дорога была отчетливо видна, освещенная полуденным солнцем, уже стоявшим над зубчатым забором еловых вершин.

Шум приближался. Алексей вспомнил, что на снегу заброшенной дороги ясно виден его одинокий след. Но уходить было поздно, мотор передней машины гудел где-то совсем близко. Алексей еще крепче вжался в снег. Сначала мелькнул среди ветвей плоский, похожий на колун броневик, окрашенный известью. Покачиваясь и звеня цепями, он приближался к месту, где след Алексея свертывал в лес. Алексей затаил дыхание. Броневик не остановился. За броневиком шел маленький открытый вездеход. Кто-то в высоковерхой фуражке, уткнувшись носом в бурый меховой воротник, сидел рядом с шофером, а сзади на высокой скамейке покачивались автоматчики в серо-зеленых шинелях и касках. На некотором расстоянии, фырча и лязгая гусеницами, шел еще один, уже большой, вездеход, на котором рядами сидело человек пятнадцать немцев.

Алексей вжимался в снег. Машины были так близко, что ему в лицо пахнуло теплым смрадом газолиновой гари. Волосы шевельнулись у него на затылке, и мускулы свернулись в тугие клубки. Но машины прошли, запах развеялся, и уже откуда-то издали раздавался еле различимый шум моторов.

Дождавшись, пока все стихнет, Алексей выбрался на дорогу, на которой отчетливо отпечатались лестничные следы гусениц, и по этим следам продолжал путь. Он двигался теми же равномерными переходами, так же отдыхал, так же поел, пройдя половину дневного пути. Но теперь он шел по-звериному, осторожно. Встревоженный слух ловил каждый шорох, глаза рыскали по сторонам, как будто он знал, что где-то рядом крадется, прячется большой опасный хищник.

Летчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый раз встретил на земле живых, неповерженных врагов. Теперь он брел по их следу, злорадно усмехаясь. Невесело же живется им здесь, неуютно, не хлебосольна оккупированная ими земля! Даже вот по девственному лесу, где за три дня не видел Алексей ни одной человеческой, живой приметки, приходится их офицеру ездить под таким конвоем.

«Ничего, ничего, все будет хорошо!» — подбадривал себя Алексей и все шагал, шагал, шагал, стараясь не замечать, что ноги его болят все острее и что он сам заметно слабеет. Желудок уже не обманывали ни кусочки молодой еловой коры, которые он все время грыз и проглатывал, ни горьковатые березовые почки, ни нежная и клейкая, тянущаяся под зубами кашлица молодой липовой коры.

До сумерек он едва прошел пять перегонов. Зато на ночь он развел большой костер, обложив хвоей и сушняком огромный полусгнивший березовый ствол, валявшийся на земле. Пока ствол этот тлел горячо и неярко, он спал, вытянувшись на снегу, ощущая живительное тепло то в одном, то в другом боку, инстинктивно поворачиваясь и просыпаясь, чтобы подбросить сушняку к затухавшему бревну, сипевшему в ленивом пламени.

Среди ночи разыгралась метель. Зашевелились, тревожно зашумели, застонали, заскрипели над головой сосны. Тучи колючего снега поволокло по земле. Шелестящий мрак заплясал над ухающим, искрящимся пламенем. Но снежная буря не встревожила Алексея. Он спал сладко и жадно, защищенный теплом костра. Огонь защищал от зверей. А немцев в такую ночь можно было не бояться. Они не посмеют появиться в метель в глухом лесу. И все же, пока натруженное тело отдыхало в дымном тепле, ухо, уже приученное к звериной осторожности, ловило каждый звук. Под утро, когда буря спала и в темноте над притихшей землей навис густой белесый туман, почудилось Алексею, что за звоном сосновых вершин, за шелестом падающего снега услышал он отдаленные звуки боя, разрывы, автоматные очереди, винтовочные выстрелы.

«Неужели линия фронта? Так скоро?»

7

Но, когда утром ветер размел туман, а лес, посеребренный за ночь, седой и веселый, засверкал на солнце иглистым инеем и, как будто радуясь этому его внезапному преобразению, защебетала, запела, зачирикала птичья братия, почуявшая грядущую весну, сколько ни прислушивался Алексей, не мог он уловить шума боя — ни стрельбы, ни даже гула канонады.

Белыми дымчатыми струйками, колюче посверкивая на солнце, сыпался с деревьев снег. Кое-где на снег с легким стуком падали тяжелые весенние капли. Весна! В это утро она впервые заявила о себе так решительно и настойчиво.

Жалкие остатки консервов — несколько волоконцев покрытого ароматным салом мяса — Алексей решил съесть утром, так как почувствовал, что иначе ему не подняться. Он тщательно выскреб банку пальцем, порезав в нескольких местах руку о ее острые края, но ему мерещилось, что еще осталось сало. Он наполнил банку снегом, разгреб седой пепел затухавшего костра, поставил банку в тлевшие угли, а потом с наслаждением, маленькими глотками выпил эту горячую, чуть-чуть пахнущую мясом воду. Банку он сунул в карман, решив кипятить в ней чай. Пить горячий чай! Это было приятным открытием и немного подбодрило Алексея, когда он вновь двинулся в путь.

Но тут его ожидало большое разочарование. Ночной бурей совершенно замел дорогу. Он преградил ее косыми, островерхими сугробами. Глаза резала однотонная сверкающая голубизна. Ноги вязли в пухлом, еще не улежавшемся снегу. Вырывать их приходилось с трудом. Даже палки, которые сами вязли, плохо помогали.

К полудню, когда тени под деревьями стали черными, а солнце заглянуло через вершины на просеку дороги, Алексей сумел сделать всего около тысячи пятисот шагов и устал так, что каждое новое движение доставалось ему напряжением воли. Его качало. Земля выскальзывала из-под ног. Он поминутно падал, мгновение неподвижно лежал на вершине сугроба, прижимаясь лбом к хрустящему снегу, потом поднимался и делал еще несколько шагов. Неудержимо клонило в сон. Тянуло лечь, забыться, не шевелить ни одним мускулом. Будь что будет! Он останавливался, цепenea и пошатываясь из стороны в сторону, затем, больно закусив губу, приводил себя в сознание и снова делал несколько шагов, с трудом выволакивая ноги.

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. С тоской огляделся он кругом. Рядом, на обочине дороги, стояла курчавая молоденькая сосенка. Последним усилием шагнул к ней и повалился на нее, попал подбородком в расщелину ее раздвоенной вершины. Тяжесть, приходившаяся на разбитые ноги, несколько уменьшилась, стало легче. Он лежал на пружинящих ветках, наслаждаясь покоем. Желая улечься удобнее, он оперся подбородком о рогатку сосенки, подтянул ноги — одну, другую, и они, не неся на себе тяжести тела, легко освободились из сугроба. И тут у Алексея опять мелькнула мысль.

Ну да, ну да! Ведь можно же срезать вот это маленькое деревце, сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху, выбрасывать палку вперед, упираться в рогатку подбородком, переносить на нее тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у сосенки, переставлять ноги вперед. Медленно? Ну да, конечно, медленно, зато не так будешь уставать и можно будет продолжать путь, не ожидая, пока осядут, умнутся сугробы.

Он тут же упал на колени, срубил кинжалом деревце, отрезал ветки, обмотал рогатку носовым платком, бинтами и тотчас же попробовал двинуться в дорогу. Выбросил палку вперед, уперся в нее подбородком и руками, сделал шаг, два, снова выбросил палку, снова уперся, снова шаг, два. И пошел, считая шаги и устанавливая себе новые нормы передвижения.

Вероятно, со стороны было бы странно видеть человека, бредущего таким непонятным способом в глухом лесу,двигающегося по глубоким сугробам со скоростью гусеницы, идущего от зари до зари и проходящего за этот срок не больше пяти километров. Но лес был пуст. Никто, кроме сорок, не наблюдал за ним. Сороки же, за эти дни убедившиеся в безобидности этого странного трехногого, неповоротливого существа, при его приближении не улетали, а только неохотно соскакивали с дороги и, повернув голову набок, насмешливо смотрели на него своими любопытными черными глазами-бусинками.

8

Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку, ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности.

Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдираал кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был «чай» из собранных на проталинах лакированных листочков брусники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлебывая пахнувший дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь.

На шестой ночлег он расположился опять под зеленым шатром раскидистой ели, а костер разложил рядом, вокруг старого смолистого пня, который, по его расчетам, должен был жарко тлеть всю ночь. Еще не стемнело. На вершине ели суежилась не-

видимая белка. Она лущила шишки и время от времени, пустые и растерзанные, бросала вниз. Алексея, у которого теперь пища не выходила из ума, заинтересовало, что же находит в шишках зверек. Он поднял одну из них, отколупнул нетронутую чешуйку и увидел под ней однокрылое семечко размером с просяное зерно. Оно напоминало крохотный кедровый орешек. Он раздавил его зубами. Во рту почувствовался приятный запах кедрового масла.

Алексей тотчас же собрал вокруг несколько нераскрывшихся сырых еловых шишек, положил их к огню, подкинул веток, а когда шишки ошетинились, стал вытряхивать из них семена и тереть между ладонями. Он сдувал крылышки, а крохотные орешки бросал в рот.

Тихо шумел лес. Тлел смолистый пень, распространяя душистый, отдающий ладаном неедкий дым. Пламя то разгоралось, то затухало, и из шумящей тьмы то выступали в освещенный круг, то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебряных берез.

Алексей подбрасывал ветки и снова принимался за еловые шишки. Запах кедрового масла будил в памяти давно позабытую картину детства... Маленькая комната, густо населенная знакомыми вещами. Стол под висячей лампой. Мать в праздничном платье, вернувшаяся от всенощной, торжественно достает из сундука бумажный фунтик и высыпает из него в миску кедровые орехи. Вся семья — мать, бабушка, два брата, он, Алексей, самый маленький, — садится вокруг стола, и начинается торжественное лущение орешков, этого праздничного лакомства. Все молчат. Бабушка выковыривает зернышки шпилькой, мать — булавкой. Она ловко надкусывает орешек, извлекает оттуда ядрышки и складывает их кучкой. А потом, собрав их в ладонь, отправляет разом в рот кому-нибудь из ребят, и при этом счастливчик ощущает губами жесткость ее трудовой, не знающей усталости руки, пахнувшей ради праздника земляничным мылом.

Камышин... детство! Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице!..

Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, тьякают лисицы. У костра съежился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний путь.

— Ничего, ничего, все будет хорошо! — говорит вдруг этот человек, и при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растрескавшимся губами каким-то своим далеким мыслям.

На седьмые сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него вьюжной ночью звуки отдаленного боя.

Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаявшей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми, порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медлительными, солидными грачами на побуревшем горбу дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова.

Алексей с детства любил эту пору, и даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь с силами, потом выбрасывал палку вперед, как можно дальше, и продолжал медленно двигаться на восток.

Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа — его экипаж — в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.

Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневiku на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг — на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах — валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколотая была записка. «За чем пойдешь, то и найдешь», — написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово: «собака».

Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптаный в снег, уже поклеванный, старый, заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части; две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие.

Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль: партизаны должны быть где-то здесь, поблизости! Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметил и откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал что есть мочи:

— Ого-го! Партизаны! Партизаны!

Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче.

— Партизаны! Партиза-ны-и-и! Эге-е-ей! — звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчаливых вражеских тел.

Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли, — да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? — но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь.

Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг — или это, может быть, показалось от большого напряжения? — Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь восторженно встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею.

Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада эта была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочал тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки.

Ясно! Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в десяти, что-то на ней происходило, кто-то наступал и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея.

Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских следов, где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди.

Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.

10

В этот день ему не удалось сделать по снегу и полтора шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбывал старый пень, обложил его сушняком, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колесиком, чиркнул еще раз — и похолодел: в зажигалке кончился бензин. Он тряс ее, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщетно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колесика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица. Камешек истерся, а огня так и не удалось добыть.

Пришлось на ощупь поползти до молоденького густого соснячка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, охватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние. Но в спящем лесу звуки канонады раздавались отчетливей, ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов.

Проснувшись утром с ощущением безотчетной тревоги и горя, Алексей сразу подумал: «Что же случилось? Плохой сон?» Вспомнил: зажигалка. Однако, когда ласково пригревало солнце, когда все кругом — и жухлый крупитчатый снег, и стволы сосен, и самая хвоя — лоснилось и сверкало, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другое: расцепив отекавшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и, как куль, рухнул на землю. Повернулся на спину, чтобы дать отойти затекшим членам, и стал смотреть сквозь иглистые ветви сосенок на бездонное голубое небо, по которому торопливо плыли чистенькие, пушистые, с позолоченными кудрявыми краями об-

лака. Тело понемногу стало отходить, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять.

Держась за сосенку, Алексей еще раз попытался встать. Это ему наконец удалось, но как только он попробовал подтянуть ноги к деревцу — тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной, новой, зудящей боли в ступнях.

Неужели всё? Неужели так и придется погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданных зверьем костей? Слабость неодолимо прижимала к земле. Но вдали гремела канонада. Там шел бой, там были свои. Неужели он не найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь — десять километров?

Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на четвереньки и по-звериному пополз на восток, пополз сначала безотчетно, загипнотизированный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки, что меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди и подкатывает к горлу клубок. Точно не себе, а убеждая кого-то другого, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух:

— Ничего, уважаемый, теперь-то уж все будет в порядке!

После одного из перегонов он отогрел окоченевшие кисти, зажав их под мышками, подполз к молодой ели, вырезал из нее квадратные куски коры, затем, ломая ногти, отодрал от березы несколько длинных белых лычек. Вынул из унтов куски шерстяного шарфа, обмотал ими руки, сверху, с тыльной стороны ладони, положил в виде подошвы кору, привязал ее берестой и прикрутил бинтами из индивидуальных пакетов. На правой руке получилась очень удобная и широкая култышка. На левой же, где привязывать приходилось уже зубами, сооружение оказалось менее удачным. Но руки были теперь «обуты», и Алексей пополз дальше, чуя, что двигаться стало легче. На следующем привале привязал по куску коры и к коленям.

К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число «шагов» руками. Канонада, вследствие ли того, что он приблизился к ней, или в результате какого-то акустического обмана, звучала сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить «молнию» комбинезона и расстегнуться.

Когда он переползал моховое болотце с зелеными кочками, вытаявшими из-под снега, судьба приготовила ему еще подарок: на седоватом сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими, острыми, полированными листочками, и между ними, прямо на поверхности кочек, лежали багровые, чуть

помятые, но все еще сочные ягоды клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, теплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой.

От приятной, сладковатой кислоты подснежной клюквы, от этой первой настоящей пищи, которую он ел за последние дни, в желудке у него сделались спазмы. Но не хватило силы воли переждать острую, режущую боль. Он елозил по кочкам и, уже приноровившись, как медведь, языком и губами собирал кислосладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек, не чувствуя ни льдистой сырости внешней воды, хлюпавшей в унтах, ни жгучей боли в ногах, ни усталости — ничего, кроме ощущения сладковатой и терпкой кислоты во рту и приятной тяжести в желудке. Его стошнило. Но удержаться он не мог и снова принялся за ягоды. Он снял с рук самодельную обувь, набрал ягод в банку, набил ими шлем, привязал его тесемками к ремню и пополз дальше, с трудом преодолевая тяжелую дрему, наполнившую весь его организм.

На ночь, забравшись под шатер старой ели, он поел ягод, пожевал коры и семечек из еловых шишек. Заснул он сторожким, тревожным сном. Несколько раз казалось, что кто-то в темноте бесшумно подкрадывается к нему. Он открывал глаза, напряживался так, что начинало звенеть в ушах, выхватывал пистолет и сидел, окаменев, вздрагивая от звука упавшей шишки, от шелеста подмерзавшего снега, от тихого журчанья маленьких подснежных ручейков.

Только под утро каменный сон сломил его. Когда совсем рассвело, вокруг дерева, под которым он спал, он увидел мелкие, кружевные следы лисьих лап, и меж ними виднелся на снегу продолговатый следок волочившегося хвоста.

Так вот кто не давал ему спать! По следам было видно, что лиса ходила вокруг и около, присаживалась и снова ходила. Нехорошая мысль мелькнула у Алексея. Охотники говорят, что этот хитрый зверь чувствует человеческую смерть и начинает преследовать обреченного. Неужели это предчувствие и привязало к нему трусливого хищника?

«Чепуха, какая чепуха! Все будет хорошо...» — подбодрил он себя и пополз, стараясь поскорее уйти от этого места.

В тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые, матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой — комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался: ежик. Большой старый еж, забираясь в чащу куста на зимовку, для тепла накатал на себя палых осенних листьев. Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить зверя или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет

и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца и всякий раз с трудом преодолевал желание выстрелить. В пистолете оставалось только три патрона: два для врага, один, в случае надобности, для себя. Он заставлял себя убирать пистолет. Он не имел права рисковать.

А тут кусок мяса сам попал к нему в руки. Ни минуты не задумываясь над тем, что ежи считаются, по поверью, животными погаными, он быстро сорвал со зверька чешую листвы. Ёж не просыпался, не развертывался и походил на смешной, ошетинившийся иглами огромный боб. Ударом кинжала Алексей убил ежа, развернул его, неумело содрал желтую шкурку на брюшке и иглистый панцирь, рассек на части и с наслаждением стал рвать зубами еще теплое сизое жилистое мясо, плотно приросшее к костям. Ёж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и проглотил все мелкие кости и только после этого ощутил во рту противный запах псины. Но что значит этот запах по сравнению с полным желудком, от которого по всему организму разливались сытость, теплота и дрема!

Он еще раз осмотрел, обсосал каждую косточку и прилег на снег, наслаждаясь теплом и покоем. Он, может быть, даже заснул бы, если бы его не разбудил раздавшийся из кустов осторожный брех лисицы. Алексей насторожился, и вдруг сквозь глухой гул орудийной канонады, все время слышной с востока, различил он короткие трески пулеметных очередей.

Сразу стряхнув усталость, забыв про лису, про отдых, он снова пополз вперед, в глубь леса.

11

За болотцем, которое он переполз, открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками прикрученных к вбитым в землю кольям.

Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной, нехоженой дороги. Значит, где-то недалеко жилье! Сердце Алексея тревожно забилося. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь! А если и так, там все же есть и свои, а они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему.

Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения, полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверно, должна быть видна спасительная деревня. Стремясь из последних сил к жилью, он не замечал, что, кроме этой изгороди да колеи, все отчетливее и отчетливее проступавшей из-под талого снега, ничто не говорит о близости человека.

Вот наконец и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас же опустил — таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним.

Несомненно, еще недавно это было небольшой лесной деревенькой. Очертания ее без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над заметенными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, метелки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром. Это было пустое снежное поле, на котором, как пни сведенного леса, торчали трубы и посреди — совсем уже нелепый — возвышался колодезный журавль с деревянной позеленевшей, обитой по краям железом бадьей, медленно раскачиваемой ветром на ржавой цепи. Да еще на въезде в деревню около огороженного зеленым забором сада возвышалась кокетливая арочка, на которой тихо покачивалась и поскрипывала ржавыми петлями калитка.

И ни души, ни звука, ни дымка... Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек. Заяц, которого Алексей спугнул в кустах, побежал от него, смешно подбрасывая зад, прямо в деревню, остановился, встал столбиком, подняв передние лапки и оттопырив ухо, постоял у калитки и, видя, что какое-то непонятное большое и странное существо продолжает ползти по его следу, поскакал дальше, вдоль обгорелых пустых палисадников.

Алексей продолжал машинально двигаться вперед. Крупные слезы ползли по его небритым щекам и падали на снег. Он остановился у калитки, где минуту назад стоял заяц. Над ней сохранился кусок доски и буквы на нем «Детс...». Нетрудно было представить, что за этим вот зеленым заборчиком возвышалась хорошенькая постройка детского сада. Сохранились еще и маленькие скамейки, которые обстругал и выскоблил стеклышком заботливый деревенский столяр. Алексей оттолкнул калитку, подполз к скамеечке и хотел сесть. Но тело его уже привыкло к горизонтальному положению. Когда он сел, заломило позвоночник. И чтобы насладиться отдыхом, он лег на снегу, полусвернувшись, как это делает усталый зверь.

В сердце его накипала тоска.

У скамейки снег оттаял. Земля чернела, и над ней заметно для глаза, колеблясь и переливаясь, поднималась теплая влага. Алексей взял в горсть теплую, оттаявшую землю. Она маслянисто прожималась между пальцами, пахла навозом и сыростью, пахла коровником и жильем.

Вот жили люди... Отвоевали когда-то, в стародавние времена, у Черного леса этот клочок скудной серой земли. Раздирали ее сохой, царапали деревянной бороной, холили, удобряли. Жили трудно, в вечной борьбе с лесом, со зверем, с думами о том, как

дотянуть до нового урожая. В советское время организовали колхоз, появилась мечта о лучшей жизни, появились машины, завелся достаток. Деревенские плотники построили детский сад. И, наблюдая через вот этот зеленый заборчик, как возится здесь румяная детвора, мужики по вечерам, может, думали уже: а не собратся ли с силами, не срубить ли читальню и клуб, где можно было бы в тепле и покое, под вой метели посидеть зимний вечерок; не засветит ли здесь, в лесной глуши, электричество... И вот — ничего, пустыня, лес, вековая, ничем не нарушаемая тишина...

Чем больше Алексей раздумывал, тем острее работала его усталая мысль. Он видел Камышин, маленький пыльный городок в сухой и плоской степи у Волги. Летом и осенью городок обдували острые степные ветры. Они несли с собой тучи пыли и песка. Он колот лица, руки, он задувал в дома, просачивался в закрытые окна, слепил глаза, хрустел на зубах. Эти тучи песка, приносимые из степи, называли «камышинский дождик», и многие поколения камышинцев жили мечтой остановить пески, вволю подышать чистым воздухом. Но только в социалистическом государстве сбылась их мечта: люди договорились и вместе начали борьбу с ветрами и песком. По субботам весь город выходил на улицу с лопатами, топорами, ломami. На пустой площади появился парк, вдоль маленьких улиц выстроились аллеи тоненьких топольков. Их бережно поливали и подстригали, как будто это были не городские деревья, а цветы на собственном подоконнике. И Алексей помнил, как весь город, от мала до велика, ликовал по веснам, когда голые тонкие прутьики давали молодые побеги и одевались в зелень... И вдруг он живо представил себе немцев на улицах родного Камышина. Они жгут костры из этих деревьев, с такой любовью выращенных камышинцами. Окутан дымом родной городок, и на месте, где был домик, в котором вырос Алексей, где жила его мать, торчит вот такая закоптелая и уродливая труба.

В сердце его накипала тягучая и жуткая тоска.

Не пускать, не пускать их дальше! Драться, драться с ними, пока есть силы, как тот русский солдат, что лежал на лесной поляне на горах вражеских тел.

Солнце коснулось уже сизых зубцов леса.

Алексей полз там, где когда-то была деревенская улица. Тяжелым трупным запахом несло от пожарищ. Деревня казалась более безлюдной, чем глухая, безлюдная чаща. Вдруг какой-то посторонний шум заставил его насторожиться. У крайнего пепелища он увидел собаку. Это была дворняга, длинношерстая, вислоухая, обычный этакий Бобик или Жучка. Тихо урча, она трепала кусок вялого мяса, зажав его в лапах. При виде Алексея этот пес, которому полагалось быть добродушнейшим существом,

предметом постоянной воркотни хозяек и любимцем мальчишек, вдруг зарычал и оскалил зубы. В глазах его загорелся такой свирепый огонь, что Алексей почувствовал, как шевельнулись у него волосы. Он сбросил с руки обувку и полез в карман за пистолетом. Несколько мгновений они — человек и этот пес, ставший уже зверем, — упорно вглядывались друг в друга. Потом у пса шевельнулись, должно быть, воспоминания, он опустил морду, виновато замахал хвостом, забрал свою добычу и, поджав зад, убрался за черный холмик пожарища.

Нет, прочь, скорее прочь отсюда! Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине, пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она, как магнит, с нарастающей по мере приближения силой тянула его к себе.

12

Так полз он еще день, два или три... Счет времени он потерял, все слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Порой не то дрема, не то забытие овладевали им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на восток, была так велика, что и в состоянии забытья он продолжал медленно ползти, пока не наткнулся на дерево или куст или не оступалась рука и он падал лицом в талый снег. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться, двигаться вперед во что бы то ни стало.

На пути своем он жадно оглядывал каждый куст, но больше ежей не попадалось. Питался подснежными ягодами, сосал мох. Однажды встретила ему большая муравьиная куча. Она возвышалась в лесу, как ровный, очесанный и омытый дождями стожок сена. Муравьи еще не проснулись, и обиталище их казалось мертвым. Но Алексей сунул руку в этот рыхлый стог, и, когда вынул ее, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися ему в кожу. И он стал есть этих муравьев, с наслаждением ощущая в сухом, потрескавшемся рту пряный и терпкий вкус муравьиной кислоты. Он снова и снова совал руку в муравьиную кучку, пока весь муравейник не ожил, разбуженный неожиданным вторжением.

Маленькие насекомые яростно защищались. Они искусили Алексею руку, губы, язык, они забрались под комбинезон и жалили тело, но эти ожоги были ему даже приятны. Острый вкус муравьиной кислоты подбодрил его. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился — и тотчас же

отпрянул: из темного водного зеркала на фоне голубого неба смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый темной кожей череп, обросший неопрятной, уже курчавившейся щетиной. Из темных впадин смотрели большие, круглые, дико блестевшие глаза, свалывшиеся волосы сосульками падали на лоб.

«Неужели это я?» — подумал Алексей и, страшась снова наклониться над водой, не стал пить, поел снега и пополз прочь на восток, притягиваемый все тем же могучим магнитом.

Ночевать он забрался в большую бомбовую воронку, окруженную желтым бруствером выброшенного взрывом песка. На дне ее было тихо и уютно. Ветер не залетал сюда и только шуршал сдуваемыми вниз песчинками. Звезды же снизу казались необычайно яркими, и мнилось — висят они невысоко над головой, а мохнатая ветка сосны, покачивавшаяся под ними, казалась рукой, которая тряпкой все время вытирала и чистила эти сверкающие огоньки. Под утро похолодало. Сырая изморозь повисла над лесом, ветер переменял направление и потянул с севера, превращая эту изморозь в лед. Когда тусклый запоздалый рассвет пробился наконец сквозь ветви деревьев, густой туман осел и понемногу растаял, все кругом оказалось покрытым скользкой ледяной коркой, а ветка сосны над воронкой казалась уже не рукой, держащей тряпку, а причудливой хрустальной люстрой с мелкими подвесками. Подвески эти тихо и холодно звенели, когда ветер встряхивал ее.

За эту ночь Алексей как-то особенно ослаб. Он даже не стал жевать сосновую кору, запас которой нес за пазухой. С трудом оторвался он от земли, точно тело приклеилось к ней за ночь. Не стряхивая с комбинезона, с бороды и усов намерзшего на них ледка, он стал карабкаться на стенку воронки. Но руки бесильно скользили по обледеневшему за ночь песку. Снова и снова пытался он вылезть, снова и снова соскальзывал на дно воронки. Раз от разу попытки его становились слабее. Наконец он с ужасом убедился, что без посторонней помощи ему не выбраться. Эта мысль еще раз заставила его карабкаться по скользкой стенке. Он сделал только несколько движений и соскользнул, обессиленный и немощный.

«Все! Теперь все равно!»

Он свернулся на дне воронки, ощущая во всем теле тот страшный покой, который размагничивает волю и парализует ее. Вялым движением он достал из кармана гимнастерки истертые письма, но читать их не было силы. Вынул обернутую в целлофан фотографию девушки в пестром платье, сидевшей в траве цветущего луга. Серьезно и грустно улыбаясь, спросил он ее:

— Неужели прощай? — и вдруг вздрогнул и застыл с фото-

графией в руке: где-то высоко над лесом в холодном, промозглом воздухе померещился ему знакомый звук.

Он сразу очнулся от тягучей дремы. Ничего особенного не было в этом звуке. Он был так слаб, что даже чуткое ухо зверя не отличило бы его от ровного шороха обледенелых древесных вершин. Но Алексей слышал его все отчетливей. По особым, свистящим нотам он безошибочно угадал, что летит «ишачок», на каком летал и он.

Рокот мотора приближался, нарастал, переходя то в свист, то в стон, когда самолет поворачивался в воздухе, и вот наконец высоко в сером небе появился крохотный, медленно движущийся крестик, то таявший, то снова выплывавший из серой дымки облаков. Вот видны уже красные звезды на его крыльях, вот над самой головой Алексея, сверкнув на солнце плоскостями, он сделал мертвую петлю и, повернув, стал уходить назад. Скоро рокот его стих, утонув в шуме обледенелого, нежно гремевшего под ветром ветками леса, но Алексею долго еще казалось, что он слышит этот свистящий, тонкий звук.

Он представил себя в кабине. За одно мгновение, в которое человек не успел бы даже выкурить папиросу, он был бы на родном лесном аэродроме. Кто же летел? Может быть, Андрей Дегтяренко вышел на утреннюю разведку? Он любит во время разведки забираться ввысь в тайной надежде встретить противника... Дегтяренко... Машина... Ребята...

Ощувив в себе новый прилив энергии, Алексей оглядел обледеневшие стенки воронки. Ну да! Так не вылезешь. Но не лежать же на боку и ждать смерти! Он вытащил из ножен кинжал и вялыми, слабыми ударами принялся рубить ледяную корку, выгребать ногтями смерзшийся песок, делать ступеньки. Он обломал ногти, окровавил пальцы, но орудовал ножом и ногтями все упрямее. Потом, опираясь коленями и руками на эти ступеньки-ямки, он стал медленно подниматься. Ему удалось добраться до бруствера. Еще усилие — лечь на него, перевалиться. Но ноги соскользнули, и, больно ударившись лицом об лед, он покатился вниз. Он крепко ушибся. Но рокот мотора еще стоял у него в ушах. Он снова стал карабкаться и снова соскользнул. Тогда, критически осмотрев свою работу, он принялся углублять ступеньки, сделал края верхних более острыми и опять полез, осторожно напрягая силы все слабеющего тела.

С большим трудом он перевалился через песчаный бруствер, бессильно скатился с него. И пополз туда, куда ушел самолет и откуда, разгоняя туман-снег и сверкая в хрустале гололедицы, поднималось над лесом солнце.

Но ползти было совсем трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Казалось, земля во много раз увеличивала свою силу притяжения. Невозможно было преодолевать ее. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчасика. Но сегодня Алексея неистово тянуло вперед. И, преодолевая вяжущую усталость, он все полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша, кроме звуков канонады и перестрелки.

Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. Это удалось. Перекатываться с боку на бок было легче, не требовалось больших усилий. Только очень кружилась голова, поминутно уплывало сознание и часто приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится круговое движение земли, леса, неба.

Лес стал редким, местами просвечивал плешинами вырубок. На снегу виднелись полосы зимних дорог. Алексей уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться. Когда от этой страшной работы всех его ослабевших мышц он на мгновение терял сознание, руки и все его тело продолжали делать те же сложные движения, и он катился по снегу — на звук канонады, на восток.

Алексей не помнил, как провел он эту ночь и много ли еще прополз утром. Все тонуло во мраке мучительного полузабытья. Смутно вспоминались только преграды, стоявшие на пути его движения: золотой ствол срубленной сосны, истекающий янтарной смолой, штабель бревен, опилки и стружки, валявшиеся повсюду, какой-то пень с отчетливыми кольцами годовичных слоев на срезе...

Посторонний звук вывел его из полузабытья, вернул ему сознание, заставил сесть и оглядеться. Он увидел себя посреди большой лесной вырубки, залитой солнечными лучами, заваленной срубленными и неразработанными деревьями, бревнами, уставленной штабелями дров. Полуденное солнце стояло над головой, густо пахло смолой, разогретой хвоей, снежной сыростью, и где-то высоко над не оттаявшей еще землей звенел, заливался, захлебываясь в собственной своей немудреной песенке, жаворонок.

Полный ощущения неопределенной опасности, Алексей оглядел лесосеку. Вырубка была свежая, незапущенная, хвоя на неразделанных деревьях не успела еще повянуть и пожелтеть, медовая смола капала со срезов, пахло свежими щепками и сы-

рой корой, валявшимися повсюду. Значит, лесосека жила. Может быть, немцы заготавливают здесь лес для блиндажей и укреплений. Тогда нужно поскорее убираться. Лесорубы могут вот-вот прийти. Но тело точно окаменело, скованное чугуной болью, и нет сил двигаться.

Продолжать ползти? Но инстинкт, выработавшийся в нем за дни лесной жизни, настораживал его. Он не видел, нет, он по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Кто? Лес тих, звенит над вырубкой жаворонок, глухо долбят дятлы, сердито перепискиваются синички, стремительно перепархивая в поникших ветвях рубленых сосен. И все же всем существом своим Алексей чувствовал, что за ним следят.

Треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубах молодого частого соснячка, согласно кивавшего ветру курчавыми вершинами, несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносился тихий, взволнованный шепот — человеческий шепот. Снова, как тогда, при встрече с собакой, почувствовал Алексей, как шевельнулись волосы.

Он выхватил из-за пазухи заржавевший запылившийся пистолет и принужден был взводить курок усилиями обеих рук. Когда курок щелкнул, в сосенках точно кто-то отпрянул. Несколько деревцев передернули вершинами, как будто за них задели, и вновь все стихло.

«Что это: зверь, человек?» — подумал Алексей, и ему показалось — в кустах кто-то тоже вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что, совершенно не задумываясь над тем, кто там — друг или враг, издал торжествующий вопль, вскочил на ноги, всем телом рванулся вперед на голос и тут же со стоном упал как подрубленный, уронив в снег пистолет...

14

Свалившись после неудачной попытки встать, Алексей на мгновение потерял сознание, но то же ощущение близкой опасности привело его в себя. Несомненно, в сосняке скрывались люди, они наблюдали за ним и о чем-то перешептывались.

Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Опасность вернула его из полузабытья. Сознание работало четко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Может, русские, такие же, как и он, окруженцы,

пробирающиеся из немецких тылов через линию фронта к своим? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то отчетливо вскрикнул: «Человек?»

Пистолет дрожал в его руке, одревеневшей от ползанья. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона... В это время из кустов раздался взволнованный детский голосок:

— Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь?

Эти странные слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский и, несомненно, ребенок.

— Ты что тут делаешь? — спросил другой детский голос.

— А вы кто? — ответил Алексей и смолк, пораженный тем, как немогущ и тих был его голос.

За кустами его вопрос произвел переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка:

— Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца за пять верст по духу узнаю. Ты есть дойч?

— А вы кто?

— А тебе почто знать? Не ферштею...

— Я русский.

— Врешь... Лопни глаза, врешь: фриц!

— Я русский, русский, я летчик, меня немцы сбили.

Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами — свои, русские, советские. Они не верят ему, — что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться.

Слезы текли по черным впадинам его щек.

— Гляди, плачет! — раздалось за кустами. — Эй, ты, чего плачешь?

— Да русский, русский я, свой, летчик...

— А с какого аэродрома?

— Да вы-то кто?

— А тебе что? Ты отвечай!

— С Мончаловского... Помогите же мне, выходите! Какого черта...

В кустах зашептались оживленнее. Теперь Алексей отчетливо слышал фразы:

— Ишь, говорит — с Мончаловского... Может, верно... И плачет... Эй ты, летчик, брось наган-то! — крикнули ему. — Брось, говорю, а то не выйдем, убежим!

Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрекача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему, причем старший, худенький, голубоглазый, с русыми пеньковыми волосами, дер-

жал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за нее полными неукротимого любопытства глазами, шел меньший, рыженький, с пятнистым от веснушек лицом, шел и шептал:

— Плачет. И верно, плачет. А тощей-то, тощей-то!

Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет:

— Говоришь, летчик? А документы есть? Покажь.

— Кто тут? Наши? Немцы? — шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.

— А я знаю? Мне не докладывают. Лес тут, — дипломатично ответил старший.

Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом оттого, что перед ними оказался свой, родной, Красной Армии летчик.

— Свои, свои, третий день свои!

— Дяденька, ты почему такой тощей-то?

— ...Их тут наши так тряханули, так чесанули, так бабахнули! Бой тут был, страсть! Набито их ужась, ну ужась сколько!

— А удирали кто на чем... Один привязал к оглоблям корыто и в корыте едет. А то двое раненые идут, за лошадиный хвост держатся, а третий на лошади верхом, как фон барон... Где же тебя, дяденька, сбили?

Пострекотав, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, километров пять. Алексей, совсем ослабевший, не мог даже повернуться, чтобы удобнее лечь на спину. Санки, с которыми ребята пришли за ветлами на «немецкую вырубку», были слишком малы, да и не под силу было мальчикам тащить без дороги, по снежной целине, человека. Старший, которого звали Серёнькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея караулить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая: «А ляд его знает, фриц хитер — и помирающим прикинется, и документик достанет...» А впрочем, понемногу опасения эти рассеялись, мальчуган разболтался.

Алексей дремал с полузакрытыми глазами на мягкой, пушистой хвое. Он слушал и не слушал его рассказ. Сквозь спокойную дрему, сразу вдруг сковавшую его тело, долетали до сознания только отдельные несвязные слова. Не вникая в их смысл, Алексей сквозь сон наслаждался звуками родной речи. Только потом узнал он историю злоключений жителей деревеньки Плавни.

Немцы пришли в эти лесные и озерные края еще в октябре, когда желтый лист пламенел на березах, а осины точно охвачены были тревожным красным огнем. Боев в районе Плавней не произошло. Километрах в тридцати западнее, уничтожив красноармейскую часть, которая полегла на укреплениях наспех построенной оборонительной линии, немецкие колонны, возглавляемые мощным танковым авангардом, миновали Плавни, спрятанные в стороне от дорог, у лесного озера, и прокатились на восток. Они стремились к большому железнодорожному узлу Бологое, чтобы, захватив его, разъединить Западный и Северо-Западный фронты. Здесь, на далеких подступах к этому городу, все летние месяцы и всю осень жители Калининской области — горожане, крестьяне, женщины, старики и подростки, люди всех возрастов и всех профессий, — день и ночь, в дождь и в зной, страдая от комаров, от болотной сырости, от дурной воды, копали и строили оборонительные рубежи. Укрепления протянулись с юга на север на сотни километров через леса, болота, по берегам озер, речушек и ручьев.

Немало горя хватили строители, но труды их не пропали даром. Немцы с ходу прорвали несколько оборонительных поясов, но на одном из последних рубежей их задержали. Бои стали позиционными. К городу Бологое немцам прорваться так и не удалось, и они вынуждены были перенести центр удара южнее, а тут перешли к обороне.

Крестьяне из деревни Плавни, подкреплявшие обычно скудный урожай своих супесчаных полей удачным рыбачеством в лесных озерах, совсем уже было обрадовались, что война миновала их. Переименовали, как этого требовали немцы, председателя колхоза в старосту и продолжали жить по-прежнему артелью, надеясь, что не вечно же оккупантам топтать советскую землю и что им, плавненским, в их глуши, может, и удастся пересидеть напасть. Но вслед за немцами в мундирах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черном, с черепом и костями на пилотках. Жителям Плавней было предписано выставить через двадцать четыре часа пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. В противном случае деревне сулили большие беды. Добровольцам явиться к крайней избе, где помещались артельный рыбный склад и правление, иметь с собой смену белья, ложку, вилку, нож и продуктов на десять дней. К положенному сроку никто не пришел. Впрочем, немцы в черном, уже, должно быть, наученные опытом, не очень на это и надеялись. Они схватили и расстреляли для острастки перед зданием правления председателя колхоза, то бишь старосту, пожилую воспитательницу из детского сада Веронику Григорьевну, двух колхозных бригадиров да человек десять крестьян, подвернувшихся им под руку. Тела не велели хоронить и заявили,

что так будет со всей деревней, если через сутки добровольцы не явятся на место, названное в приказе.

Добровольцы опять не явились. А утром, когда немцы из зондеркоманды СС пошли по деревне, все избы оказались пустыми. В них не было ни души — ни старых, ни малых. Ночью, бросив свои дома, землю, все свое годами нажитое добро, почти всю скотину, люди под покровом густых в этих краях ночных туманов бесследно исчезли. Деревня вся как есть, до последнего человека, снялась и ушла в лесную глушь — за восемнадцать верст, на старую вырубку. Накопав землянок, мужчины ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны.

Мятежную деревню зондеркоманда сожгла дотла, как и большинство деревень и сел в этом районе, названном немцами мертвой зоной.

— ...Батя у меня председателем колхоза был, старостой они его называли, — рассказывал Серёнька, и слова его долетали до сознания Алексея точно из-за стены, — так они его убили и братеньку старшего убили, инвалид он был, без руки, руку ему на гумне отрезало. Шестнадцать человек... Я сам видел, нас всех согнали смотреть. Батя все кричал, все матерился... «Пропишут вам за нас, сукины сыны! — кричал. — Кровавой слезой, — кричал, — за нас заплачете!..»

Странное ощущение испытал летчик, слушая маленького белокурого мужичка с большими грустными, усталыми глазами. Он точно плавал в вязком тумане. Необоримая усталость крепко опутывала все его измотанное нечеловеческим напряжением тело. Он не мог шевельнуть даже пальцем и просто не представлял себе, как это он всего часа два тому назад еще передвигался.

— Так в лесу и живете? — еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом освобождаясь от пут дремы.

— А как же, так и живем. Трое нас теперь: мы с Федькой да matka. Сестренка была Нюшка — зимой померла, опухла и померла, и еще маленький помер, так что, выходит, нас трое... А что: немцы не воротятся, а? Дедя наш, маткин, значит, отец, он у нас сейчас за председателя, говорит: не воротятся, мертвого, говорит, с погоста не таскают. А matka все боится, все бежать хочет: а ну, говорит, опять вернутся... А вон дедя с Федькой, глянь!

На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея пальцем высокому сутулому старику в рваном, из крашенной луком домотканины армяке, подвязанном веревкой, и в высоковерхой офицерской немецкой фуражке.

Старик, дедя Михайла, как называли его ребятишки, был высок, сутул, худ. У него было доброе лицо Николы-угодника немудреного сельского письма, с чистыми, светлыми, детскими глазами и мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Закутывая Алексея в старую баранью шубу, всю со-

стоявшую из пестрых заплаток, без труда поднимая и перевертывая его легкое тело, он все приговаривал с наивным удивлением:

— Ах ты, грех-то какой, вовсе истощился человек! До чего дошел... Ах ты, боже ты мой, ну сущий шкилет! И что только война с людьми делает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Осторожно, как новорожденного ребенка, опустил он Алексея на салазки, прикрутил к ним веревочной вожжой, подумал, стащил с себя армяк, свернул и подмостил ему под голову. Потом вышел вперед, впрягся в маленький хомут, сделанный из мешковины, дал по веревке мальчикам, сказал: «Ну, с богом!» — и втроем они потянули салазки по талому снегу, который цеплялся за полозья, скрипел, как картофельная мука, и оседал под ногами.

15

Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности.

Беглая деревня жила в вековом бору. Зсмлянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро, дым льнул ко мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром.

Все население — преимущественно бабы и дети да несколько стариков, — узнав, что Михайла везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки похожего на «сущий шкилет», высыпало навстречу. Когда «тройка» с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборванные, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканью глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки.

— Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что собрались, ну что? Театра это вам? Спиктакля? — серчал Михайла, сноровисто нажимая на свой хомутик. — Да не суйте вы под ногами, бога ради, овцы, прости господи, полоумные!

А из толпы до Алексея доносилось:

— Ой, какой! Верно, шкилет! Не шевелится, жив ли?

— Без памяти он... Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ, уж тощ!

Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб, и, пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор: у кого жить Алексею?

— У меня землянка суха. Песок-песочек и воздух вольный... Печура у меня,— доказывала маленькая круглолицая женщина с бойко сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз.

— «Печура»! А живет-то вас сколько? От одного духа представишься!.. Михайла, давай ко мне, у меня три сына в красноармейцах и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану!

— Нет, нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит; лепешки тащи к нам: все равно ведь ему, где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим, у меня леж морозеный есть и грибков белых нитка... Ушищу ему, суп с грибами.

— Где ж ему ушищу, он одной ногой в гробу!.. Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко!

Но Михайла подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни.

...Алексей помнит: лежит он в маленькой темной земляной норе; слегка чадая, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете её видны с нар стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, по-старушечьи одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу,— младшая сноха деда Михайлы Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями.

Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И, хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься.

Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелется сизыми живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастеращего, и тонкая фигура Вари — все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюжкой с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно, вздыхает и говорит Варваре:

— Манка это... С мирного времени для Костюньки берегли.

Не надо ему теперь ничего, Костюньке-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз.

Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то — лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный парок.

Приходят Серёнька с Федькой. С крестьянской степенностью Серёнька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам», кладет на стол два кусочка пиленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей.

— Мамка прислала. Он полезный, сахар-то, ешьте, — говорит он и деловито обращается к деду: — Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа не больно обгорелые, топор без топорща. Принесли, сгодится.

А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну.

Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников.

— Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет! А? Слышь, Алеха, говорю — русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша. А? Не так? — приговаривал дед Михайла, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку: за починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок. — И в работе, брат Алеха, она, эта самая баба, нам не сдает, а то и тю-тю! — гляди, и обставит мужика-то на работе! Только язык этот бабий, ох, язык! Заморочили мне, Алеха, эти самые чертовы бабы голову, ну просто наовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла, я, грешный человек, и подумал: «Слава те, господи, поживу в тишине-покое!» Вот меня бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались, и остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде... Ох-хо-хо!

Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей Плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды — всего, что нажито было трудом поколений; жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерзли, — но колхоз, который передовикам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли

коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя дед Михайла. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне.

Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка всё, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведённых от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожара выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабы бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня.

Хоть дед Михайла и ворчал на «своих баб» и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь малопонятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить «женское отродье»:

— Ведь ты смотри, Алеха, друг ты мой любезный, что получилось. Баба — она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то, детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь, как: крохи считаем. Ага, голод! А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны, и не наши деревенские, нет — наши-то где-то, слышь, под Оленином воюют, — а чужие, с чугулки какие-то. Ладно. Нагрянули. «С голоду помираем». И, что же думаешь, на следующий день бабешки им полные сумки напихали. А у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А? Не так?.. То-то вот и оно! Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска, и вывел бы наперед бабу, и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то!..

Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему, да руки не поднимались, так был слаб. Но, когда дед Михайла принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки.

Тут же, у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайлы.

Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше двадцати — двадцати двух лет, что она легкая, стройная, миловидная и что, глядя на Алексея как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище и принесенный сюда в рукавице «для жилого духу» вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.

16

На третий день гостеванья Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему:

— Обовшивел ты, Алеха, — беда: что жук навозный. А чесаться-то тебе трудно. Вот что: баньку я тебе сооружу. Что?.. Баньку. Помою тебя, косточки попарю. Оно, с трудов-то твоих, больно хорошо, банька-то. Что? Не так?

И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали с шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, калился большой валун. Варя наносила воды в старую кадку. На полу постлали золотой соломы. Потом дед Михайла разделся по пояс, остался в одних подштанниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожи пахнущего летом мочала. Когда же в землянке стало так жарко, что с потолка начали падать тяжелые холодные капли, старик выскочил на улицу, на железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в кадку. Целая туча пара шибанула к потолку, расползлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковы руки.

Варя помогала свекру. От жара скинула она свой ватник и головной платок. Тяжелые косы, существование которых под дырявым платком трудно было даже подозревать, развернулись и упали на плечи. И вся она, худая, большеглазая, легкая, неожиданно преобразилась из старухи богомолки в молоденькую девушку. Это преображение было так неожиданно, что Алексей, первоначально не обращавший на нее внимания, застыдился своей наготы.

— Держись, Алеха! Ау, друг, держись, такое наше дело, значит, с тобой теперь! Слышал, в Финляндии вон и вовсе, говорят, мужики с бабами в одной бане полоскаются. Что, неправда?

Может, и врут. А она, Варька-то, сейчас, значит, вроде как бы медицинская сестра при раненом воине. Да. И стыдиться ее не положено. Держи его, я рубаху сниму. Ишь попрела рубаха-то, так и ползет!

И тут увидел Алексей выражение ужаса в больших и темных глазах молодой женщины. Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломѣ лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдавшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом, резкими полукружьями ребер.

Старик возился у шайки со щелоком. Когда же он, обмакнув мочалку в серую маслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе:

— Ах ты, беда!.. Сурьезное твое дело, брат Алеха! А? Сурьезное, говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, а от нее, косой...— И вдруг накинулся на Варю, поддерживавшую Алексея сзади: — А ты что на голого человека уставилась, срамница, ну! Что губы-то кусаешь? Ух, все вы, бабы, сорочье отродье! А ты, Алексей, не думай, не думай ни о чем худом. Да мы, брат, тебя ей, косой, нипочем не отдадим. Уж мы тебя, значит, выходим, поправим, уж это верно!.. Будь здоров!

Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея щелоком, перевертывал, обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели. Варя молча помогала ему.

Но зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное, костлявое тело, бессильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взгляд ее невольно замечал сквозь туман пара ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей, невеста как попавший в их семью летчик, а ее Миша, что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными, сильными руками, довели немцы до такого состояния и что это его, Мишино, бессильное, порой кажущееся мертвым тело держат теперь ее руки. И ей становилось страшно, у нее начинала кружиться голова, и, только кусая губы, удерживала она себя от обморока...

...А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке в длинной, вкривь и вкось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После бани, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, сделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крош-

ками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребятишки и которые Варя мелко-мелко накрошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул — в первый раз крепко, без снов.

Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михайлы:

— Бабий ум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать дён во рту просяного зернышка не держал, а ты вкрутую... Да эти самые крутые яйца — ему смерть!.. — Вдруг голос деда стал просительным: — Ему бы не яиц сейчас, ему бы сейчас, знаешь что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлебать! О! Вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот Партизаночку бы твою, а?..

Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил:

— Не дам! Не дам и не дам, и не проси, черт ты старый! Ишь! И говорить об этом не смей. Чтобы я Партизаночку мою... Супчику похлебать... Супчику! Вон и так эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу! Придумал тоже!

— Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова! — задребезжал тенорок старика. — У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия! Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил...

— Не надо мне его крови. За меня мои проливают. И не проси, сказано — не дам, и не дам!

Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал, ослепленный. Старик кинулся к нему:

— Ай ты не спал, Алеха? А? Ай слышал разговор? Слышал? Только ты ее, Алеха, не суди; не суди, друг, слова-то ее. Слова, они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курицы она для тебя пожалела? И-и, нет, Алеша! Всю семью ихнюю — а семья была большущая, душ десять, — немец перевел. Полковником у нее старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, кроме Василисы, в одночасье в ров. И хозяйство все порушили. И-их, большая это беда — в ее-то годы без роду-племени остаться! От хозяйства от всего оказалась у ней одна курица, значит. Хитрая курица, Алеша! Еще в первую неделю немцы всех курей-уток переловили, потому для немца птица — первое лакомство. Все — «курка, матка, курка!» Ну, а эта спаслась. Ну просто артист, а не курица! Бывало, немец — во двор, а она — на чердак и сидит там, будто ее и нет. А свой войдет — ничего, гуляет. Шут ее знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню, и вот за хитрость за ее вот эту самую Партизанкой мы ее и окрестили.

Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его, должно быть, беспокоило. Посутившись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме:

— Не суди, Алеха, бабу-то! Ты, друг любезный, в то вникни: была она, как старая береза в большом лесу, на нее ниоткель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пенёк на вырубке, и одна ей утеха — эта самая курица. Чего молчишь-то, ай заснул?.. Ну, спи себе, спи.

Алексей спал и не спал. Он лежал под полушубком, дышавшим на него кислым запахом хлеба, запахом старого крестьянского жилья, слушал успокаивающее пиликанье сверчка, и не хотелось ему шевелить хотя бы пальцами. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой, в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые, распухшие ноги горели, их ломало изнутри какой-то тягостной болью, но не было сил ни повернуться, ни пошевелиться.

В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками, точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины.

Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы «плакали» и оплывали. Мужики, партизанившие западнее деревни, в Оленинских лесах, и раньше, нет-нет, хоть поодиночке, хоть по ночам, наведывавшиеся в подземную деревеньку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабьи плечи. А тут весна, тает снег, и надо думать о посеве, об огородах.

Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайлы то и дело вспыхивали между ними шумные споры с взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых, настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабьих голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку — о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть: может, уже отошла земля, или не подходящ ли ветерок, чтобы проветрить семена, проклекшие от душной земляночной сырости, — как сразу же гасли эти ссоры.

Раз дед вернулся днем довольный и озабоченный. Он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузлую ладонь, показал Алексею:

— Видал? С поля я. Отходит земля-то, а озимь, слава тебе

господи, ничего, обозначилась. Снега обильные. Смотрел я. Если с яровыми не вывезем, озимь и то кусок даст. Пойду бабам гукну, пусть порадуются, бедолаги!

Точно стая галок весной, зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная с поля, разбудила новую надежду. А вечером дед Михайла потирал руки:

— Ить и ничего решили министры-то мои долговолосые. А, Алеха? Одна бригада, значит, на коровах пашет, это где лужок в низинке, где пахота тяжелая. Да много ли напашешь: всего шесть коровенок от стада-то нашего осталось! Второй бригаде поле, что повыше, посуше, — это лопатой да мотыгой. И ништо — огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья — на взгорье, там песочек, под картофель, значит, земельку готовим; этим вовсе легко: там ребятишек с лопатами копать заставим и кои бабы слабые — тех. А там, глядишь, и помощь нам будет от правительства, значит. Ну, а не будет, опять невелика беда. Уж мы и сами как-нибудь, уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немца отсюда шугнули, а теперь жисть пойдет. У нас народ жилист, любую тяготу вытянет.

Дед долго не мог уснуть, ворочался на соломе, кряхтел, чесался, стонал: «О господи, боже ты мой!» — несколько раз сползал с нар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными, жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от кресала лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полузабытьи:

— Спишь, Алеха? А я вот все думаю. А? Все вот думаю, знаешь. Есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади, да... Его лет тридцать назад, как раз в николаевскую войну, молнией полоснуло — и вершина напроць. Да, а он крепкий, дубок-то, корень у него могучий, соку много. Вверх ему ходу не стало, дал вбок росток, и сейчас, гляди, какая опять шапка кудрява... Так вот и Плавни наши... Только бы солнышко нам светило, да земелька рожала, да родная наша власть у нас, а мы, брат Алеха, лет за пяток отойдем, отстроимся! Живучие. Ох-хо-хо, будь здоров! Да еще — чтоб война бы поскорей кончилась! Разбить бы их, да и за дело всем, значит, миром! А, как думаешь?

В эту ночь Алексею стало плохо.

Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой еще силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал.

Барвара всю ночь просидела возле него, подобрала ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими круглыми

грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушубок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимом военными ветрами.

Чуть свет поднялся старик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевелевую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.

Он ушел, не сказав Алексею ни слова.

17

Мересьев лежал в таком состоянии, что даже и не заметил исчезновения хозяина. Весь следующий день пробыл он в забытии и очнулся только на третий, когда солнце уже стояло высоко и от волокового оконца в потолке через всю землянку, до самых ног Алексея, не рассеивая мрака, а, наоборот, сгущая его, тянулся светлый и плотный столб солнечных лучей, пронизавший сизый, слоистый дым очага.

Землянка была пуста. Сверху сквозь дверь доносился тихий хриповатый голос Вари. Занятая, должно быть, каким-то делом, она пела старую, очень распространенную в этих лесных краях песню. Это была песня об одинокой печальной рябине, мечтающей о том, как бы ей перебраться к дубу, тоже одиноко стоящему где-то поодаль от нее.

Алексею не раз и раньше доводилось слышать эту песню. Ее пели девчата, веселыми табунами приходившие из окраинных селений ровнять и расчищать аэродром. Ему нравился медленный, печальный мотив. Но раньше он как-то не вдумывался в слова песни, и в суете боевой жизни они скользили мимо сознания. А вот теперь из уст этой молодой большеглазой женщины они вылетали, окрашенные таким чувством, и столько в них было большой и не песенной, а настоящей женской тоски, что сразу почувствовал Алексей всю глубину мелодии и понял, как Вая-рябина тоскует о своем дубе.

...Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Бек одной качаться...—

пропела она, и в голосе ее почувствовалась горечь настоящих слез, а когда смолк этот голос, Алексей представил, как сидит она сейчас где-то там, под деревьями, залитыми весенним солн-

цем, и слезами полны ее большие круглые тоскующие глаза. Он почувствовал, что у него у самого защеботало в горле, ему захотелось поглядеть на эти старые, заученные наизусть письма, лежащие у него в кармане гимнастерки, взглянуть на фотографию тоненькой девушки, сидящей на лугу. Он сделал движение, чтобы дотянуться до гимнастерки, но рука бессильно упала на тюфяк. Снова все поплыло в сероватой, расплывавшейся светлыми радужными кругами тьме. Потом в этой тьме, тихо шелестевшей какими-то колючими звуками, услышал он два голоса — Варин и еще другой, женский, старушечий, тоже знакомый. Говорили шепотом:

— Не ест?

— Где там ест!.. Так, пожевал вчера лепешечки самую малость — стошнило. Разве это еда? Молочко вот тянет помаленьку. Даем.

— А я вот, гляди, супчику принесла... Может, примет душа супчик-то.

— Тетя Василиса! — вскрикнула Варя. — Неужто...

— Ну да, куриный, чего всполохнулась? Обыкновенное дело. Потрожь его, побуди — можа, поест.

И, прежде чем Алексей, слышавший все это в полузабытьи, успел открыть глаза, Варя затрясла его сильно, бесцеремонно, радостно:

— Алексей Петрович, Алексей Петрович, проснись!.. Бабка Василиса супчику куриного принесла! Проснись, говорю!

Лучина, потрескивая, горела, воткнутая в стену у входа. В неровном чадном свете ее Алексей увидел маленькую, сгорбленную старуху с морщинистым, длинноносым, сердитым лицом. Она возилась у большого узла, стоявшего на столе, развернула мешковину, потом старый шушун, потом бумагу, и там обнаружился чугунок; из него ударил в землянку такой вкусный и жирный дух куриного супа, что Алексей почувствовал судороги в пустом желудке.

Морщинистое лицо бабки Василисы сохраняло суровое и сердитое выражение.

— Принесла вот, не побрезгуйте, кушайте на здоровье. Может, бог даст, на пользу пойдет...

И вспомнились Алексею печальная история бабкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище: Партизаночка, и все — и бабка, и Варя, и вкусно дымившийся на столе котелок — расплылось в мути слез, сквозь которую сурово, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза.

— Спасибо, бабушка, — только и сумел сказать он, когда старуха пошла к выходу.

И уже от двери услышал:

— Не на чем. Что тут благодарить-то? Мои-то тоже воюют. Может, и им кто супчику даст. Кушайте себе на здоровье. Поправляйтесь.

— Бабушка, бабушка! — Алексей рванулся к ней, но руки Вари удержали его и уложили на тюфяк.

— А вы лежите, лежите! Ешьте вот лучше супчик-то. — Она поднесла ему вместо тарелки старую алюминиевую крышку от немецкого солдатского котелка, из которого валил вкусный жирный пар. Поднося ее, она отвертывалась, должно быть, для того, чтобы скрыть невольную слезу. — Ешьте вот, кушайте!

— А где дед Михайла?

— Ушел он... По делам ушел, район искать. Скоро не будет. А вы кушайте, кушайте вот.

И у самого своего лица увидел Алексей большую, почерневшую от времени, с обгрызенным деревянным краем ложку, полную янтарного бульона.

Первые же ложки супа разбудили в нем звериный аппетит — до боли, до спазм в желудке, но он позволил себе съесть только десять ложек и несколько волоконцев белого мягкого куриного мяса. Хотя желудок настойчиво требовал еще и еще, Алексей решительно отодвинул еду, зная, что в его положении излишняя пища может оказаться ядом.

Бабкин супчик имел чудодейственное свойство. Поев, Алексей заснул — не впал в забытие, а именно заснул — крепким, оздоравливающим сном. Проснулся, поел и снова заснул, и ничто — ни дым очага, ни бабий говор, ни прикосновение Вариных рук, которая, опасаясь, не умер ли он, нет-нет да и наклонялась послушать, бьется ли у него сердце, — не могло его разбудить.

Он был жив, дышал ровно, глубоко. Он проспал остаток дня, ночь и продолжал спать так, что, казалось, нет в мире силы, которая могла бы нарушить его сон.

Но вот ранним утром где-то очень далеко раздался совершенно неотличимый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, однообразно воркующий звук. Алексей встрепнулся и, весь напружившись, поднял голову с подушки.

Чувство дикой, необузданной радости поднялось в нем. Он замер, сверкая глазами. Потрескивали в очаге остывающие камни, вяло и редко пиликал уставший за ночь сверчок, слышно было, как над землянкой спокойно и ровно звенят старые сосны и даже как барабанит у входа полновесная весенняя капель. Но сквозь все это слышался ровный рокот. Алексей угадал, что это тарахтит мотор «ушки» — самолета «У-2». Звук то приближался и нарастал, то слышался глуше, но не уходил. У Алексея захватило дух. Было ясно, что самолет где-то поблизости, что он кружит над лесом, то ли что-то высматривая, то ли ища место для посадки.

— Варя, Варя! — закричал Алексей, стараясь приподняться на локтях.

Вари не было. С улицы слышались возбужденные женские голоса, торопливо пробежавшие шаги. Там что-то происходило.

На мгновение приоткрылась дверь землянки, в нее сунулось пестрое лицо Федьки.

— Тетя Варя! Тетя Варя! — позвал мальчуган, потом возбужденно добавил: — Летит... Кружит... Над нами кружит... — Он исчез прежде, чем Алексей успел что-нибудь спросить.

Он сделал усилие и сел. Всем телом своим он чувствовал, как бьется сердце, как возбужденно пульсирует, отдаваясь в висках и в больных ногах, кровь. Он считал круги, совершаемые самолетом, насчитал один, другой, третий и упал на тюфяк, упал, сломленный волнением, снова стремительно и властно ввергнутый в тот же всемогущий, целительный сон.

Его разбудил звук молодого, сочного, басовито рокочущего голоса. Он отличил бы этот голос в любом хоре других голосов. Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко.

Алексей открыл глаза, но ему показалось, что он продолжает спать и во сне видит это широкое, скуластое, грубое, точно сделанное столяром вчерне, но не обтертое ни шкуркой, ни стеклышком добродушное угловатое лицо друга с багровым шрамом на лбу, со светлыми глазами, опущенными такими же светлыми и бесцветными, свинными — как говорили недруги Андрея — ресницами. Голубые глаза с недоумением всматривались в дымный полумрак.

— Ну, дидусь, показуй свий трофей, — прогудел Дегтяренко.

Видение не пропадало. Это был действительно Дегтяренко, хотя казалось совершенно невероятным, как друг смог найти его тут, в подземной деревеньке, в лесной глуши. Он стоял, большой, широкоплечий, с расстегнутым, по обыкновению, воротом. В руках он держал шлем с проводками радифона и еще какие-то кулечки и сверточки. Лучинный свет освещал его сзади. Золотой бобрík коротко стриженных волос нимбом светился над его головой.

Из-за Дегтяренко виднелась бледная, совершенно измученная физиономия деда Михайлы с возбужденно вытаращенными глазами, а рядом с ним стояла медсестра Леночка, курносая и озорная, смотревшая во тьму со зверюшечьим любопытством. Девушка держала под мышкой толстую брезентовую сумку с красным крестом и прижимала к груди какие-то странные цветы.

Стояли молча. Андрей Дегтяренко с недоумением оглядывался, должно быть ослепленный темнотой. Раза два взгляд его равнодушно скользнул по лицу Алексея, который тоже никак не

мог освоиться с неожиданным появлением друга и все боялся, не окажется ли все это бредовым видением.

— Да вот же он, господи, вот лежит! — прошептала Варя, срывая с Мересьева шубу.

Дегтяренко еще раз недоуменно скользнул взглядом по лицу Алексея.

— Андрей! — сказал Мересьев, силясь подняться на локтях.

Летчик с недоумением, с плохо скрытым испугом смотрел на него.

— Андрей, не узнаешь? — шепнул Мересьев, чувствуя, что его всего начинает трясти.

Еще мгновение летчик смотрел на живой скелет, обтянутый черной, точно обугленной, кожей, стараясь признать веселое лицо друга, и только в глазах, огромных, почти круглых, поймал он знакомое упрямое и открытое мересьевское выражение. Он протянул руки вперед. На земляной пол упал шлем, посыпались свертки, сверточки, раскатились яблоки, апельсины, печенье.

— Лешка, ты? — Голос летчика стал влажен, бесцветные и длинные ресницы его слиплись. — Лешка, Лешка! — Он схватил с постели это больное, детски легкое тело, прижал его к себе, как ребенка, и все твердил: — Лешка, друг, Лешка!

На секунду оторвал от себя, жадно посмотрел на него издали, точно убеждаясь, действительно ли это его друг, и снова крепко прижал к себе:

— Да то ж ты! Лешка! Бисов сын!

Варя и медсестра Лена старались вырвать из его крепких медвежьих лап полуживое тело.

— Да пустите ж его, бога ради, он еле жив! — сердилась Варя.

— Ему ж вредно ж волноваться, положите! — скороговоркой, пересыпая свою речь бесконечными «ж», твердила сестра.

А летчик, по-настоящему поверив наконец, что этот черный, старый, невесомый человек действительно не кто иной, как Алексей Мересьев, его боевой товарищ, его друг, которого они всем полком мысленно давно уже похоронили, схватился за голову, издал дикий, торжествующий крик, схватил его за плечи и, уставившись в его черные, радостно сверкающие из глубины темных орбит глаза, заорал:

— Живый! Ах, мать честная! Живый, бис тобі в лопатку! Да где ж ты был столько дней? Как же ты так?

Но сестра — эта маленькая смешная толстушка с курносым лицом, которую все в полку звали, игнорируя ее лейтенантское звание, Леночкой или сестрой медицинских наук, как однажды она, на погибель себе, отрекомендовалась начальству, певунья и хохотушка Леночка, влюбленная во всех лейтенантов сразу, — сурово и твердо отстранила расходившегося летчика:

— Товарищ капитан, отойдите ж от больного!

Бросив на стол букет цветов, за которыми еще вчера летали в областной город, букет, оказавшийся совершенно ненужным, она раскрыла брезентовую сумку с красным крестом и деловито приступила к осмотру. Коротенькие ее пальчики ловко бегали по ногам Алексея, и она все спрашивала:

— Больно? А так? А так?

В первый раз по-настоящему Алексей обратил внимание на свои ноги. Ступни чудовищно распухли, почернели. Каждое прикосновение к ним вызывало боль, точно током пронзавшую все тело. Но что особенно не нравилось, видимо, Леночке — это то, что кончики пальцев стали черными и совсем потеряли чувствительность.

За столом сидели дед Михайла и Дегтяренко. Потихоньку угостившись на радостях из фляги летчика, они вели оживленную беседу. Дробным старческим тенорком дед Михайла, по-видимому, уже не в первый раз, принимался рассказывать:

— Так, значит, выходит, ребятишки наши на вырубке его и отыскали. Немцы лес на блиндажи там рубили, ну, ребятишек этих мать, то есть дочка моя, за щепой туда и погнала. Там они его и увидели. Ага, что за чудо за такое? Сперва им, значит, медведь померещился — дескать, подстреленный и катится этак-то. Они было тягу, да любопытство их повернуло: что за медведь за такой, почему катится? Ага! Не так? Смотрят, значит, катится с боку на бок, катится и стонет...

— Как это «катится»? — усомнился Дегтяренко и протянул деду портсигар: — Куришь?

Дед взял из портсигара папиросу, достал из кармана сложенный кусочек газеты, аккуратно оторвал уголок, высыпал на него табак из папиросы, свернул и, закулив, с удовольствием затянулся:

— Как не курить, курим-потягиваем. Ага! Только мы при немце не видали его, табаку-то. Мох курим, опять же сухой молочайный лист, да!.. А как он катился, ты его спроси. Я не видел. Ребята говорят, так и катился — со спины на брюхо, с брюха на спину: ползти-то ему по снегу, вишь, не под силу было, — вот он какой!

Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные сестрой армейские одеяла.

— А ты, друг, сиди, сиди, не наше это, мужское, дело — пеленать! Ты слушай да на ус мотай, да начальству какому-нибудь там своему перескажи... Великого подвига человек этот! Вишь он какой. Полную неделю всем колхозом его отхаживаем, а он шевелиться не может. А то вот сил в себе насбирал, по лесам да по болотам нашим полз. На это, брат, мало кто способный!

И святым отцам по житиям такого-то подвига совершать не приходилось. Куда там! Экое дело, подумаешь — на столбе стоять! Что, не так? Ага, а ты, парень, слушай, слушай!..

Старик наклонился к уху Дегтяренко и зашептал его своей пушистой мягкой бороденкой:

— Только, сдается мне, он, того, — как бы не помер, а? От немца-то он, вишь, уполз, а от нее, от косой, нешто уползешь? Одни кости, и как он полз, не постигну я. Уж очень, должно быть, к своим тянуло. И бредит-то все одним: аэродром да аэродром, да слова там разные, да Оля какая-то. Есть у вас там такая? Аль жена, может?.. Ты слышишь меня или нет, летун, а летун, слышишь? Ау...

Дегтяренко не слышал. Он старался представить себе, как этот человек, его товарищ, казавшийся в полку таким обычным парнем, с отмороженными или перебитыми ногами день и ночь ползет по талому снегу через леса и болота, теряя силы, ползет, катится, чтобы только уйти от врага и попасть к своим. Профессия летчика-истребителя приучила Дегтяренко к опасности. Бросаясь в воздушный бой, он никогда не думал о смерти и даже чувствовал какую-то особую, радостную взволнованность. Но чтобы вот так, в лесу, одному!..

— Когда вы его нашли?

— Когда? — Старик зашевелил губами, снова взял папиросу из открытой коробки, изувечил ее и принялся делать сигарку. — Когда же? Да в чистую субботу, под самое прощенное воскресенье, стало быть как раз с неделю назад.

Летчик прикинул в уме числа, и вышло, что полз Алексей Мересьев восемнадцать суток. Проползти столько времени раненому, без пищи — это казалось просто невероятным.

— Ну, спасибо тебе, дидусь! — Летчик крепко обнял и прижал к себе старика. — Спасибо, брат!

— Не на чем, не на чем, за что тут благодарить! Ишь спасибо! Что я чужак иностранный какой! Ага! Скажешь, нет? — И он сердито крикнул невестке, стоявшей в извечной позе бабьего горького раздумья, подперев щеку ладонью: — Подбери с полу продукт-то, ворона! Ишь разбросали такую ценность!.. «Спасибо», ишь ты!

Тем временем Леночка закончила укутывать Мересьева.

— Ничего, ничего ж, товарищ старший лейтенант, — сыпала она чистые и мелкие, как горох, словечки, — в Москве ж вас в два счета на ноги поставят. Москва ж — город же! Не таких излечивают!

По тому, что была она излишне оживлена, что без умолку твердила, как вылечат Мересьева в два счета, понял Дегтяренко: осмотр дал невеселые результаты и дела его приятеля плохи. «И чего стрекочет, сорока!» — с неприязнью подумал он о «сестре

медицинских наук». Впрочем, в полку никто не принимал эту девушку всерьез: шутили, что лечить она может только от любви,— и это несколько утешало Дегтяренко.

Завернутый в одеяла, из которых торчала только голова, Алексей напоминал Дегтяренко мумию какого-то фараона из школьного учебника древней истории. Большой рукой провел летчик по щекам друга, на которых кустилась густая и жесткая рыжеватая поросль.

— Ничего, Лешка! Вылечат! Есть приказ — тебя сегодня в Москву, в гарный госпиталек. Профессора там сплошные. А сестры,— он прищелкнул языком и подмигнул на Леночку,— мертвых на ноги поднимают! Мы еще с тобой в воздухе пошумим! — Тут Дегтяренко поймал себя на том, что говорит он, как и Леночка, с таким же напускным, деревянным оживлением; руки же его, гладившие лицо друга, вдруг ощутили под пальцами влагу.— Ну, где носилки? Понесли, что ли, чего тянуть! — сердито скомандовал он.

Вместе со стариком осторожно уложили они спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички.

— Вот что,— остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок эсэсовский кинжал, который не раз с любопытством осматривал, чистил, точил, пробовал на палец хозяйственный дед Михайла,— возьми, дедушка, на память.

— Ну, спасибо, Алеха, спасибо! Сталька знатная, гляди-ка. И написано что-то не по-нашему вроде.— Он показал кинжал Дегтяренко.

— «Аллес фюр Дойчланд» — «Все для Германии»,— перевел Дегтяренко выведенную по лезвию надпись.

— «Все для Германии»,— повторил Алексей, вспомнив, как достался ему этот кинжал.

— Ну, берись, берись, старик! — крикнул Дегтяренко, впрягаясь в передок носилок.

Носилки заколыхались и с трудом, осыпая землю со стен, пролезли в узкий проход землянки.

Все, кто набился в нее провожать найденыша, хлынули наверх. Только Варя осталась дома. Не торопясь поправила она лучину в светце, подошла к полосатому тюфяку, еще хранившему вмятые в него очертания человеческой фигуры, и погладила его рукой. Взгляд ее упал на букет, о котором впопыхах все позабыли. Это было несколько веточек оранжерейной сирени, бледной, чахлой, похожей на жителей беглой деревеньки, проводших зиму в сырых и холодных землянках. Женщина взяла букет, вдохнула хилый, еле уловимый в угарной копоти нежный весенний запах и вдруг повалилась на нары и залилась горькими бабьими слезами.

Провожать неожиданного своего гостя вышло все наличное население деревни Плавни. Самолет стоял за лесом на подтаявшем у краев, но еще ровном и крепком льду продолговатого лесного озера. Дороги туда не было. По рыхлому, крупитчатому снегу, прямо по целине, вела стежка, протоптанная час назад дедом Михайлом, Дегтяренко и Леночкой. Теперь по этой стежке валила к озеру толпа, возглавляемая мальчишками со степенным Серёнькой и восторженным Федькой впереди. На правах старого друга, отыскавшего летчика в лесу, Серёнька солидно шагал перед носилками, стараясь, чтобы не застревали в снегу огромные, оставшиеся от убитого отца валенки, и властно покрикивал на чумазую, сверкавшую зубами, фантастически оборванную детвору. Дегтяренко и дед, шагая в ногу, тащили носилки, а сбоку, по целине, бежала Леночка, то подтыкая одеяло, то закутывая голову Алексея своим шарфом. Позади грудились бабы, девчонки, старухи. Толпа глухо гомонила.

Сначала яркий, отраженный снегом свет ослепил Алексея. Погожий весенний день так ударил ему в глаза, что он зажмурился и чуть не потерял сознание. Легонько приоткрыв веки, Алексей приучил глаза к свету и тогда огляделся. Перед ним открывалась картина подземной деревни.

Старый лес стоял стеной, куда ни глянь. Вершины деревьев почти смыкались над головой. Ветви их, скупно процеживая солнечные лучи, создавали внизу полумрак. Лес был смешанный. Белые колонны голых еще берез, вершины которых походили на сизые, застывшие в воздухе дымы, соседствовали с золотыми стволами сосен, а между ними то тут, то там виднелись темные треугольники елей.

Под деревьями, защищавшими от вражьих глаз и с земли и с воздуха, где снег был давно вытоптан сотнями ног, были накопаны землянки. На ветвях вековых елей сохли детские пеленки, на сучьях сосенок проветривались опрокинутые глиняные горшки и кринки, а под старой елкой, со ствола которой свешивались бороды седого мха, у самого ее могучего комля, на земле меж жилистыми кореньями, где по всем статьям полагалось бы лежать хищному зверю, сидела старая, засаленная тряпичная кукла с плоской добродушной физиономией, нарисованной чернильным карандашом.

Толпа, предшествуемая носилками, медленно двигалась по вытоптанной на мху «улице».

Очутившись на воздухе, Алексей ощутил сначала бурный прилив неосмысленной животной радости, потом на смену ей пришла сладкая и тихая грусть.

Маленьким платочком Леночка утерла с его лица слезы и,

по-своему истолковав их, приказала носильщикам идти по-тише.

— Нет, нет, быстрее, давайте быстрее, ну! — заторопил Мересьев.

Ему и без того казалось, что его несут слишком медленно. Он начал бояться, что из-за этого можно не улететь, что вдруг самолет, посланный за ним из Москвы, уйдет, не дождавшись их, и ему не удастся сегодня попасть в спасительную клинику. Он глухо стонал от боли, причиняемой ему торопливой поступью носильщиков, но все требовал: «Скорее, пожалуйста, скорее!» Он торопил, хотя слышал, что дед Михайла задыхается, то и дело спотыкается и сбивается с ноги. Две женщины сменили старика. Дед Михайла засеменил рядом с носилками, по другую сторону от Леночки. Вытирая офицерской своей фуражкой вспотевшую лысину, побагровевшее лицо, морщинистую шею, он довольно бормотал:

— Ишь гонит, а? Торопится!.. Правильно, Леша, истина твоя, торопись! Раз человек торопится, жизнь в нем крепка, найденых ты наш разлюбезный. Что, скажешь — нет?.. Ты нам пиши из госпиталя-то! Адресок-то запомни: Калининская область, Бологовский район, будущая деревня Плавни, а? Будущая, а? Ничего, дойдет, не забудь, адресок-то верный!

Когда носилки поднимали в самолет и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крышку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своем сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоеденной курятиной, как дед Михайла суетился вокруг машины, покрикивая на баб, разгоняя ребятишек, как сорвало с деда ветром фуражку и покатило по льду и как стоял он простоволосый, сверкая лысиной и серебристыми своими жиденскими сединами, развеваемыми ветром, похожий на Николу-угодника немудреного сельского письма. Стоял, махая рукой вслед убегающему самолету, единственный мужчина в пестрой бабьей толпе.

Оторвав самолет от ледяного наста, Дегтяренко прошел над головами провожавших и осторожно, почти касаясь лыжами льда, полетел вдоль озера под прикрытием высокого обрывистого берега и скрылся за лесистым островом. На этот раз полковой сорвиголова, которому на боевых разборах частенько доставалось от командира за излишнюю лихость в воздухе, летел осторожно, — не летел, а крался, льнул к земле, шел по руслам ручьев, прикрываясь озерными берегами. Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полета заставили его потерять сознание, и очнулся он

только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолета, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.

19

Он попал на родной аэродром в самый разгар лётного дня, загруженного до предела, как и все дни той боевой весны.

Гул моторов не затихал ни на минуту. Одну эскадрилью, севшую на дозаправку, сменяла в воздухе другая, третья. Все, от летчиков до шоферов бензоцистерн и кладовщиков, выдававших горючее, сбились в этот день с ног. Начальник штаба потерял голос и теперь исторгал какое-то пискливое сипенье.

Несмотря на всеобщую занятость и чрезвычайное напряжение, все в этот день жила ожиданием Мересьева.

— Не привезли? — кричали пилоты механикам сквозь рев мотора, еще не подрулив к своему капониру.

— А об нем не слышать? — интересовались «бензиновые короли», когда очередной бензовоз подруливал к закопанным в землю цистернам.

И все слушали, не трещит ли где-нибудь над леском знакомый полковой санитарный самолет...

Когда Алексей очнулся на упруго покачивающихся носилках, он увидел плотный круг знакомых лиц. Он открыл глаза. Толпа обрадованно зашумела. Возле самых носилок увидел он молодое, неподвижное, сдержанно улыбающееся лицо командира полка, рядом с ним широкую, красную и потную физиономию начальника штаба и даже круглое, полное и белое лицо командира БАО — батальона аэродромного обслуживания, — которого Алексей терпеть не мог за формализм и скупость. Сколько знакомых лиц! Носилки несет долговязый Юра. Он все время безуспешно старается оглянуться назад, посмотреть на Алексея и потому спотыкается на каждом шагу. Рядом бежит рыженькая девушка — сержант с метеостанции. Алексею раньше казалось, что она за что-то не любит его, старается не попадаться ему на глаза и всегда исподтишка следит за ним каким-то странным взглядом. Шутя он называл ее «метеорологическим сержантом». Возле семенит летчик Кукушкин, маленький человек с неприятным, желчным лицом, которого в эскадрилье не любят за вздорный нрав. Он тоже улыбается и старается попадать в такт огромным шагам Юры. Мересьеву вспомнилось, что перед отлетом он в большой компании зло разыграл Кукушкина за не отданный им долг и был уверен, что этот злопамятный человек никогда не простит ему обиды. А вот сейчас он бежит около его носилок, бережно поддерживает их и свирепо расталкивает локтями толпу, чтобы предохранить их от толчков.

Алексей никогда и не подозревал, что у него столько друзей. Вот они, люди-то, когда раскрываются! Ему стало жаль «метеорологического сержанта», который его почему-то боялся, было неловко перед командиром БАО, о скаредности которого он пустил по дивизии столько шуток и анекдотов, захотелось извиниться перед Кукушкиным и сказать ребятам, что это вовсе уж не такой неприятный и неуживчивый человек. У Алексея было ощущение, что после всех мучений он попал наконец в родную семью, где все ему искренне рады.

Его бережно несли через поле к серебристому санитарному самолету, замаскированному на опушке голого березового леса. Было видно, что техники уже запускают с помощью резинового амортизатора остывший мотор «санитара».

— Товарищ майор...— сказал вдруг Мересьев командиру полка, стараясь говорить как можно громче и увереннее.

Командир, по обычаю своему тихо, загадочно улыбаясь, наклонился к нему.

— Товарищ майор... разрешите мне не лететь в Москву, а тут, с вами...

Командир сорвал с головы шлем, мешавший ему слушать.

— Не надо в Москву, я хочу здесь, в медсанбате.

Майор снял меховую перчатку, нащупал под одеялом руку Алексея и пожал ее:

— Чудак, вас же лечить надо серьезно, по-настоящему.

Алексей замотал головой. Ему было хорошо, покойно. Ни пережитое, ни боль в ногах не казались уже страшными.

— Чего он? — просипел начальник штаба.

— Просит оставить его тут, с нами,— ответил командир, улыбаясь.

И улыбка его в этот момент была не загадочная, как всегда, а теплая, грустная.

— Дурак! Романтика, пример для «Пионерской правды»,— засипел начальник штаба.— Ему честь, за ним самолет из Москвы прислали по распоряжению самого командующего армией, а он — скажи пожалуйста!..

Мересьев хотел было ответить, что никакой он не романтик, что просто уверен он — тут, в палатке медсанбата, где он однажды провел несколько дней, залечивая вывих ноги после неудачного приземления на подбитой машине, в родной атмосфере, он поправится скорее, чем среди неведомых удобств московской клиники. Он подобрал уже слова, чтобы ответить начальнику штаба поязвительнее, но произнести их не успел.

Тоскливо завывала сирена. Лица у всех сразу стали деловыми, озабоченными. Майор отдал несколько коротких приказаний, и люди стали разбегаться, как муравьи: кто к самолетам, притаившимся на опушке леса, кто к землянке командного пункта,

холмиком возвышавшейся у края поля, кто к машинам, спрятанным в леске. Алексей увидел четко вычерченный дымом на небе и медленно расплывшийся седой след многохвостой ракеты. Он понял: «Воздух!» Сердце его забило, ноздри заходили, и он почувствовал во всем своем слабом теле возбуждающий холодок, что всегда бывало с ним в минуту опасности.

Леночка, механик Юра и «метеорологический сержант», которым нечего было делать в охватившей аэродром напряженной суеде боевой тревоги, втроем подхватили носилки и бегом, стараясь попадать в ногу и, конечно, от волнения не попадая, понесли их к ближайшей лесной опушке.

Алексей застонал. Они перешли на шаг. А вдали уже судорожно тарахтели автоматические зенитки. Уже выползали на взлетную дорожку, мчались по ней и уходили в небо один за другим звенья самолетов, и сквозь знакомый звон своих моторов Алексей уже слышал наплывающий из-за леса неровный, качающийся гул, от которого мускулы у него как-то сами собой собирались в комки, напряживались, и он, этот немогущий человек, привязанный к носилкам, почувствовал себя в кабине истребителя несущимся навстречу врагу, почувствовал себя гончей, учуявшей дичь.

Носилки не влезли в узкую щель. Когда заботливый Юра и девушка хотели снести Алексея вниз на руках, он запротестовал и сказал, чтобы оставили носилки на опушке, в тени большой коренастой березы. Лежа под ней, он стал очевидцем событий, стремительно, как в тяжелом сне, развернувшихся в последующие минуты. Летчикам редко приходится наблюдать с земли воздушный бой. Мересьеву, летавшему в боевой авиации с первого дня войны, не доводилось видеть воздушный бой с земли ни разу. И вот он, привыкший к молниеносным скоростям воздушной схватки, с удивлением смотрел, каким медленным и нестрашным выглядит воздушный бой отсюда, как тягучи движения стареньких тупоносых «ишачков» и каким безобидным слышится сверху гром их пулеметов, напоминающих здесь что-то домашнее: не то стрекотанье швейной машины, не то хруст медленно разрываемого коленкора.

Двенадцать немецких бомбардировщиков гусиным строем обошли аэродром стороной и исчезли в ярких лучах высоко стоявшего солнца. Оттуда, из-за облаков с полыхающими от солнца краями, на которые больно было смотреть, слышался басовитый, похожий на гуденье майских жуков рев их моторов.

Еще отчаяннее бесновались и лаяли в леске автоматические зенитки. Дымки разрывов расплывались в небе, похожие на летящие семена одуванчика. Но видно ничего не было, кроме редкого взблескивания крыльев истребителей.

Гуд гигантских майских жуков все чаще и чаще перебивали

короткие звуки разрываемого коленкора: гrrrr, гrrrr, гrrrr! В сверкании солнечных лучей шел невидимый с земли бой, но был он так не похож на то, что видит участник воздушной схватки, и казался он снизу таким незначительным и неинтересным, что Алексей следил за ним совершенно спокойно.

Даже когда сверху слышался пронзительно сверлящий, нарастающий визг и, точно черные капли, стряхнутые с кисточки, понеслись вниз, стремительно увеличиваясь в объеме, серии бомб, он не испугался и слегка приподнял голову, чтобы посмотреть, куда они упадут.

Тут несказанно удивил Алексея «метеорологический сержант». Когда визг бомб поднялся до самой высокой ноты, девушка, стоявшая по пояс в щели и, как всегда, исподтишка смотревшая на него, вдруг выскочила, бросилась к носилкам, упала и всем дрожащим от волнения и страха телом закрыла его, прижимая к земле.

На мгновение рядом, возле самых глаз, увидел он ее загорелое, совсем детское, с пухлыми губами и тупым облупившимся носиком лицо. Грянул разрыв — где-то в лесу. Сразу же ближе раздался другой, третий, четвертый. Пятый грохнул так, что, подпрыгнув, загудела земля и со свистом упала обрубленная осколком широкая крона березы, под которой лежал Алексей. Еще раз мелькнуло перед глазами бледное, искаженное ужасом девичье лицо, он почувствовал на своей щеке ее прохладную щеку, и в коротком перерыве между грохотом двух бомбовых очередей губы этой девушки испуганно и неистово шепнули:

— Милый!.. Милый!

Новая бомбовая очередь потрясла землю. Над аэродромом с грохотом взметнулись к небу столбы разрывов — точно выскочила из земли шеренга деревьев, их кроны мгновенно распахнулись, потом с громом опали комья мерзлого грунта, оставив в воздухе бурый, едкий, пахнувший чесноком дым.

Когда дым осел, кругом было уже тихо. Звуки воздушного боя едва слышались из-за леса. Девушка уже вскочила на ноги, щеки ее из зеленовато-бледных стали багровыми, она покраснела до слез и, не глядя на Алексея, извинилась:

— Я не сделала вам больно? Дура я, дура, господи, извините меня!

— Что ж теперь каяться? — ворчал Юра, которому стыдно было, что не он, а эта вот девчонка с метеостанции закрыла собой его друга.

Ворча, он отряхнул свой комбинезон, почесал в затылке, покачал головой, смотря на лучистый излом обезглавленной осколком березы, ствол которой быстро заплывал прозрачным соком. Этот сок раненого дерева, сверкая, стекал по мшистой коре и капал на землю, чистый и прозрачный, как слеза.

— Глядите ж, береза плачет,— сказала Леночка, которая и в минуту опасности не потеряла своего задорно-удивленного вида.

— Заплачешь! — мрачно ответил Юра. — Ну, сеанс окончен, понесли! Цел санитар-то, не пригрело его?

— Весна! — сказал Мересьев, посмотрев на израненный ствол дерева, на прозрачный, сверкающий на солнце сок, частыми каплями падающий на землю, на курносого, в не по росту большой шинели «метеорологического сержанта», которого он не знал даже, как зовут.

Когда втроем — Юра спереди, а девушки сзади — несли его носилки к самолету через дымящиеся еще воронки, в которые натекала талая вода, он с любопытством косился на маленькую крепкую руку, высовывавшуюся из грубого обшлага шинели и цепко державшую носилки. Что с ней? Или эти слова померещились ему с испугу?

В этот знаменательный для Алексея Мересьева день ему довелось стать свидетелем еще одного события. Уже близок был серебристый самолет с красными крестами на крыльях и фюзеляже, уже видно было, как, покачивая головой, ходит вокруг него бортмеханик, оглядывая, не побил ли машину осколком и взрывной волной, — когда один за другим стали садиться истребители. Они вырывались из-за леса и, скользя вниз, не делая обычного круга, приземлялись и с ходу подруливали к лесной опушке, к своим капонирам.

Скоро небо стихло. Аэродром очистился, смолкла воркотня моторов в лесу. Но у командного пункта еще стояли люди и смотрели в небо, загораживая ладонями глаза от солнца.

— «Девятка» не пришла! Кукушкин застрял! — сообщил Юра.

Алексей вспомнил маленькое желчное личико Кукушкина, всегда сохранявшее брюзгливое выражение, и вспомнил, как этот самый Кукушкин сегодня заботливо поддерживал носилки.

Неужели? Эта мысль, такая обычная для летчиков в горячие дни, сейчас, когда Алексей выключился из жизни аэродрома, заставила его вздрогнуть.

В это время в небе послышался рокот.

Юра радостно подскочил:

— Он!

У командного пункта произошло движение. Что-то случилось. «Девятка» не садилась, а шла над аэродромом по широкому кругу, и, когда она проходила над головой Алексея, он увидел, что часть крыла у нее отбита и — самое страшное! — из фюзеляжа виднелась только одна «нога». Воздух одна за другой пропороли красные ракеты. Кукушкин снова прошел над головами. Его самолет напоминал птицу, кружащуюся над разоренным гнездом и не знающую, куда ей сесть. Он шел уже на третий круг.

— Сейчас прыгнет, бензин на исходе, на соплях дожимает! — прошептал Юра, смотря на часы.

В таких случаях, когда посадка была уже невозможна, летчику разрешалось, набрав высоту, выбрасываться с парашютом. Вероятно, такой приказ получила уже с земли и «девятка». Но она упрямо ходила по кругу.

Юра смотрел то на самолет, то на часы. Когда ему казалось, что мотор работает тише, он приседал и отворачивался. Неужели он думает спасти машину? «Прыгай, да прыгай же!» — думал каждый.

С аэродрома соскользнул истребитель с единицей на хвосте: рванувшись в воздух, он с первого же круга мастерски подстроился к раненой «девятке». По спокойно-мастерскому стилю полета Алексей угадал, что это сам командир полка. Решив, очевидно, что у Кукушкина испортилось радио или что он растерялся, он пошел к нему, покачал крыльями, сигналив: «делай, что я», и стал уходить в сторону, забирая ввысь. Он приказывал ему отойти в сторону и прыгать. Как раз в это время Кукушкин сбавил газ и пошел на посадку. Раненый самолет его с поломанным крылом пронесся над самой головой Алексея, быстро приближаясь к земле. Вот где-то у самой черты земли он резко накренился влево, припав на здоровую «ногу», немного пробежал на одном колесе, сбавляя скорость, потом упал направо и повернулся вокруг своей оси, подняв целые тучи снега.

В последнее мгновение он скрылся из глаз. Когда же снежная пыль осела, стало видно — в стороне от раненой, накренившейся набок машины что-то чернеет на снегу. И к этой черной точке бежали люди и, побрякивая сиреной, во весь опор несли санитарный автомобиль.

«Спас, спас машину! Вот так Кукушкин! Когда это он так научился?» — думал Мересьев, лежа на носилках и завидуя товарищу.

Ему самому захотелось что есть духу бежать туда, где на снегу лежал этот маленький, никем не любимый человек, оказавшийся вдруг таким стойким, таким мастером. Но Алексей был спеленат, прижат к полотну носилок, раздавлен огромной болью, которая снова со всей силой навалилась на него, как только схлынуло нервное напряжение.

Все эти происшествия заняли не больше часа, но их было так много, что Алексей не сразу разобрался в них. Только когда носилки его были закреплены в специальных гнездах санитарного самолета и он невзначай опять перехватил на себе пристальный взгляд «метеорологического сержанта», он по-настоящему понял значение слов, сорвавшихся у девушки с побелевших губ между разрывами двух бомбовых очередей. Ему стало стыдно, что он даже не знал по имени эту славную самоотверженную девушку.

— Товарищ сержант...— тихо сказал он, благодарно посмотрев на нее.

За ревом прогреваемого мотора вряд ли эти слова дошли до нее. Но она шагнула к нему и протянула небольшой сверток.

— Товарищ старший лейтенант, это ваши письма. Я берегла их, я знала, что вы живы, что вы вернетесь. Знала, чувствовала...

Она положила ему на грудь тоненькую стопку писем. Среди них он узнал треугольнички матери с выведенными нечетким старческим почерком адресами и знакомые конверты, похожие на те, что он всегда носил с собой в кармане гимнастерки. Он просиял, увидев эти конверты, и сделал движение, чтобы высвободить руку из-под одеяла.

— Это от девушки? — горестно спросил «метеорологический сержант», снова краснея до того, что длинные бронзовые ресницы слиплись от слез.

Мересьев понял, что не ослышался тогда, во время разрыва, понял и не решился сказать правду.

— От замужней сестры. У нее другая фамилия,— сказал он, чувствуя, что сам себе противен.

Сквозь рокот прогреваемых моторов слышались голоса. Открылся боковой люк, в него влез незнакомый врач в халате поверх шинели.

— Один больной уже здесь? — спросил он, посмотрев на Мересьева.— Отлично! Вносите другого, сейчас летим. А вы что тут делаете, мадам? — Он посмотрел сквозь запотевшие очки на «метеорологического сержанта», старавшегося спрятаться за спину Юры.— Прошу выйти, сейчас летим. Эй! Давайте носилки!

— Пишите, ради бога пишите, я буду ждать! — услышал Алексей шепот девушки.

Врач с помощью Юры поднимал в самолет носилки, на которых кто-то тихо и протяжно стонал. Когда их ставили в гнездо, простыня слетела, и Мересьев увидел на них искаженное страданием лицо Кукушкина.

Доктор потер руки, осмотрел кабину, похлопал Мересьева по животу:

— Отлично, великолепно! Итак, молодой человек, вот вам компаньон, чтобы не скучно было лететь. А? Теперь все посторонние вон. А эта Лорелея в сержантском звании исчезла? Очень хорошо. Прошу двигаться!..

Он вытолкнул замешкавшегося Юру. Двери закрыли, самолет вздрогнул, тронулся, запрыгал и потом стих и плавно поплыл в родной стихии под ровный рокот моторов. Врач, держась за стены, подошел к Мересьеву.

— Как себя чувствуем? Дайте пульс.— Он с любопытством посмотрел на Алексея и покачал головой: — М-да! Сильная лич-

ность! Про ваши приключения друзья рассказывают что-то такое совершенно невероятное, джек-лондоновское.

Он присел в свое кресло, поерзал в нем, усаживаясь поудобнее, и сразу обмяк и поник, засыпая. И видно стало, как смертельно устал этот немолодой бледный человек.

«Что-то джек-лондоновское!» — подумал Мересьев, и в памяти возникло далекое воспоминание детства — рассказ о человеке, который с обмороженными ногами движется через пустыню, преследуемый больным и голодным зверем. Под убаюкивающий, ровный гул моторов все начало плыть, терять очертания, растворяться в серой мгле, и последней мыслью засыпающего Алексея была странная мысль о том, что нет ни войны, ни бомбежки, ни этой мучительной, непрерывной, ноющей боли в ногах, ни самолета, несущегося к Москве, что все это из чудесной книжки, читанной в детстве в далеком городе Камышине.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Андрей Дегтяренко и Леночка не преувеличивали, расписывая своему другу великолепие столичного госпиталя, куда по просьбе командующего армией был помещен Алексей Мересьев, а за компанию и лейтенант Константин Кукушкин, доставленный вместе с ним в Москву.

До войны это была клиника института, где известный советский ученый изыскивал новые методы быстрого восстановления человеческого организма после болезней и травм. У этого учреждения были крепко сложившиеся традиции и мировая слава.

В дни войны ученый превратил клинику своего института в офицерский госпиталь. По-прежнему больным предоставлялись тут все виды лечения, какие только знала к тому времени передовая наука. Война, бушевавшая недалеко от столицы, вызвала такой приток раненых, что госпиталю пришлось вчетверо увеличить число коек по сравнению с тем, на какое он был рассчитан. Все подсобные помещения — приемные для встреч с посетителями, комнаты для чтения и тихих игр, комнаты медицинского персонала и общие столовые для выздоравливающих — были превращены в палаты. Ученый уступил для раненых даже свой кабинет, смежный с его лабораторией, а сам вместе со своими книгами и привычными вещами перебрался в маленькую комнатку, где раньше была дежурка. И все же порой приходилось ставить койки в коридорах.

Среди сверкающих белизною стен, казалось самым архитек-

тором предназначенных для торжественной тишины храма медицины, отовсюду слышались протяжные стоны, оханье, храп спящих, бред тяжелобольных. Прочно воцарился тут тяжкий, душный запах войны — запах окровавленных бинтов, воспаленных ран, заживо гниющего человеческого мяса, который не в силах было истребить никакое проветривание. Уже давно рядом с удобными, сделанными по чертежам самого ученого кроватями стояли походные раскладушки. Не хватало посуды. Наряду с красивым фаянсом клиники были в ходу мятые алюминиевые миски. Разорвавшаяся неподалеку бомба взрывной волной выдавила стекла огромных итальянских окон, и их пришлось забить фанерой. Не хватало воды, то и дело выключался газ, и инструменты приходилось кипятить на старинных спиртовках. А раненые всё поступали. Их привозили все больше и больше — на самолетах, на автомашинах, в поездах. Приток их рос по мере того, как на фронте возрастала мощь нашего наступления.

И все же персонал госпиталя — весь, начиная с его шефа, заслуженного деятеля науки и депутата Верховного Совета, и кончая любой сиделкой, гардеробщицей, швейцаршей, — все эти усталые, иногда полуголодные, сбившиеся с ног, не высыпавшиеся люди продолжали фанатически блюсти порядки своего учреждения. Сиделки, дежурившие порой по две и даже по три смены подряд, использовали любую свободную минуту, для того чтобы чистить, мыть, скрести. Сестры, похудевшие, постаревшие, шатавшиеся от усталости, по-прежнему являлись на работу в крахмальных халатах и были так же скрупулезно требовательны в исполнении врачебных назначений. Ординаторы, как и прежде, придирались к малейшему пятнышку на постельном белье и свежим носовым платком проверяли чистоту стен, лестничных перил, дверных ручек. Сам же шеф, огромный краснолицый старик с седеющей гривой над высоким лбом, усатый, с черной, густо посеребренной эспаньолкой, неистовый ругатель, дважды в день, как и до войны, в сопровождении стаи накрахмаленных ординаторов и ассистентов обходил в положенные часы палаты, смотрел диагнозы новичков, консультировал тяжелые случаи.

В те дни боевой страды у него была уйма дел и вне этого госпиталя. Но он всегда находил время для любимого детища, выкраивая часы за счет отдыха и сна. Распекая кого-нибудь из персонала за нерадивость — а он делал это шумно, страстно, обязательно на месте происшествия, в присутствии больных, — он всегда говорил, что его клиника, образцово, как и прежде, работающая в настороженной, затемненной, военной Москве, — это и есть их ответ всем этим гитлерам и герингам, что он не желает слышать никаких ссылок на трудности войны, что бездельники и лодыри могут убираться ко всем чертям и что именно сейчас-то, когда все так трудно, в госпитале должен быть особо строгий по-

рядок. Сам он продолжал совершать свои обходы с такой точностью, что сиделки всё так же проверяли по его появлению стенные часы в палатах. Даже воздушные тревоги не нарушали точности этого человека. Должно быть, именно это и заставляло персонал творить чудеса и в совершенно невероятных условиях поддерживать довоенные порядки.

Однажды во время утреннего обхода шеф госпиталя — назовем его Василием Васильевичем — наткнулся на две койки, стоявшие рядом на лестничной площадке третьего этажа.

— Что за выставка? — рявкнул он и метнул из-под мохнатых своих бровей в ординатора такой взгляд, что этот высокий, сутулый, уже немолодой человек очень почтенной внешности вытянулся, как школьник:

— Только ночью привезли... Летчики. Вот этот с переломом бедра и правой руки. Состояние нормальное. А тот, — он показал рукой на очень худого человека неопределенных лет, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами, — тот тяжелый. Раздроблены плюсны ног, гангрена обеих ступней, а главное — крайнее истощение. Я не верю, конечно, но сопровождавший их военврач второго ранга пишет, будто больной с раздробленными ступнями восемнадцать дней выползал из немецкого тыла. Это, конечно, преувеличение.

Не слушая ординатора, Василий Васильевич приподнял одеяло. Алексей Мересьев лежал со скрещенными на груди руками; по этим обтянутым темной кожей рукам, резко выделявшимся на белизне свежей рубашки и простыни, можно было бы изучать костное строение человека.

Профессор бережно покрыл летчика одеялом и ворчливо перебил ординатора:

— Почему здесь лежат?

— В коридоре места уже нет... Вы сами...

— Что «вы сами», «вы сами»? А в сорок второй?

— Но это же полковничья.

— Полковничья? — Профессор вдруг взорвался: — Какой это болван придумал? Полковничья! Дурачье!

— Но ведь нам же сказано: оставить резерв для Героев Советского Союза.

— «Героев», «героев»? В этой войне все герои. Да что вы меня учите? Кто здесь начальник? Кому не нравятся мои распоряжения, может немедленно убираться. Сейчас же перенести летчиков в сорок вторую! Выдумываете всякие глупости: «полковничья»!

Он пошел было прочь, сопровождаемый притихшей свитой, но вдруг вернулся, наклонился над койкой Мересьева и, положив на плечо летчика свою пухлую, изъеденную бесконечными дезинфекциями, шелушащуюся руку, спросил:

— А верно, что ты больше двух недель полз из немецкого тыла?

— Неужели у меня гангрена? — упавшим голосом проговорил Мересьев.

Профессор царапнул сердитым взглядом свою остановившуюся в дверях свиту, глянул летчику прямо в черные большие его зрачки, в которых были тоска и тревога, и вдруг сказал:

— Таких, как ты, грешно обманывать. Гангрена. Но носа не вешать. Неизлечимых болезней на свете нет, как нет и безвыходных положений. Запомнил? То-то.

И он ушел, большой, шумный, и уже откуда-то издалека, из-за стеклянной двери коридора, слышалась его басовитая воркотня.

— Забавный дядька, — сказал Мересьев, тяжело смотря ему вслед.

— Псих. Видал? Под нас подыгрывается. Знаем мы таких простеньких! — отозвался со своей койки Кукушкин, криво усмехаясь. — Значит, сподобились чести в полковничью попасть.

— Гангрена, — тихо произнес Мересьев и повторил с тоской: — Гангрена...

2

Так называемая полковничья палата помещалась во втором этаже в конце коридора. Окна ее выходили на юг и на восток, и поэтому солнце кочевало по ней весь день, постепенно перемещаясь с одних коек на другие. Это была сравнительно небольшая комната. Судя по темным пятнам, сохранившимся на паркете, стояли в ней до войны две кровати, две тумбочки и круглый стол посередине. Теперь здесь помещались четыре койки. На одной лежал весь забинтованный, похожий на запеленатого новорожденного раненый. Он лежал всегда на спине и смотрел из-под бинтов в потолок пустым, неподвижным взглядом. На другой, рядом с которой лежал Алексей, помещался подвижный человек с морщинистым рябым солдатским лицом, с белесыми тонкими усиками, услужливый и разговорчивый.

Люди в госпитале быстро знакомятся. К вечеру Алексей уже знал, что рябой — сибиряк, председатель колхоза, охотник, а по военной профессии снайпер, и снайпер удачливый.

Со дня знаменитых боев под Ельней, когда он в составе своей Сибирской дивизии, в которой вместе с ним служили два его сына и зять, включился в войну, он успел, как он выражался, «нащелкать» до семидесяти немцев. Был он Герой Советского Союза, и, когда назвал Алексею свою фамилию, тот с интересом оглядел его невзрачную фигурку. Фамилия эта в те дни была

широко известна в армии. Большие газеты даже посвятили снайперу передовые.

Все в госпитале — и сестры, и врач-ординатор, сам Василий Васильевич — называли его уважительно Степаном Ивановичем.

Четвертый обитатель палаты, лежавший в бинтах, за весь день ничего о себе не сказал. Он вообще не произнес ни слова, но Степан Иванович, все на свете знавший, потихоньку рассказал Мересьеву его историю. Звали его Григорий Гвоздев. Он был лейтенант танковых войск и тоже Герой Советского Союза. В армию он пришел из танкового училища и воевал с первых дней войны, приняв первый бой на границе где-то у Брест-Литовской крепости. В известном танковом сражении под Белостоком он потерял свою машину. Тут же пересел на другой танк, командир которого был убит, и с остатками танковой дивизии стал прикрывать войска, отступавшие к Минску. В бою на Буге он потерял вторую машину, был ранен, пересел на третью и, заменив погибшего командира, принял на себя командование ротой. Потом, очутившись в немецком тылу, он создал кочующую танковую группу из трех машин и с месяц бродил с ней по глубоким немецким тылам, нападая на обозы и колонны. Он заправлялся горючим, довольствовался боеприпасами и запасными частями на полях недавних сражений. Здесь, по зеленым лощинам у большаков, в лесах и болотах, в изобилии и без всякого присмотра стояли подбитые машины любых марок.

Родом он был из-под Дорогобужа. Когда из сводок Советского Информбюро, которые аккуратно принимали на рацию командирской машины танкисты, Гвоздев узнал, что линия фронта подошла к родным его местам, он не вытерпел, взорвал три своих танка и с бойцами, которых у него уцелело восемь человек, стал пробираться лесами.

Перед самой войной ему удалось побывать дома, в маленькой деревеньке на берегу извилистой луговой речки. Мать его, сельская учительница, тяжело заболела, и отец, старый агроном, член областного Совета депутатов трудящихся, вызвал сына из армии.

Гвоздев вспоминал деревянный приземистый домик у школы, мать, маленькую, исхудалую, беспомощно лежавшую на старом диване, отца в чесучовом, старинного покроя пиджаке, озабоченно покашливавшего и пощипывавшего седую бородку возле ложа больной, и трех сестер-подростков, маленьких, чернявых, очень похожих на мать. Вспоминал сельскую фельдшерицу Женю — тоненькую, голубоглазую, которая проводила его на подводе до самой станции и которой он обещал каждый день писать письма. Пробираясь, как зверь, по вытоптанным полям, по сожженным, пустым деревням Белоруссии, обходя города и избегая проезжих дорог, он тоскливо гадал, что увидит в маленьком родном доме,

удалось ли его близким уйти и что с ними стало, если они не ушли.

То, что Гвоздев увидел на родине, оказалось страшнее самых мрачных предположений. Он не нашел ни домика, ни родных, ни Жени, ни самой деревни. От полоумной старухи, которая, приплясывая и бормоча, что-то варила в печке, стоявшей среди черных пепелищ, он узнал, что, когда подходили немцы, учительше было очень худо и что агроном с девочками не решились ни увезти, ни покинуть ее. Гитлеровцы узнали, что в деревне осталась семья члена областного Совета депутатов трудящихся. Их схватили и в ту же ночь повесили на березе возле дома, а дом зажгли. Женю, которая побежала к самому главному немецкому офицеру просить за семью Гвоздева, будто бы долго мучили, будто домогался ее офицер, и, что уж там произошло, старуха не знала, а только вынесли девушку из избы, где жил офицер, на вторые сутки, мертвую, и два дня лежало ее тело у реки. А деревня сгорела всего пять дней назад, и спалили ее немцы за то, что кто-то ночью зажег их бензоцистерны, стоявшие на колхозной конюшне.

Старуха отвела танкиста на пепелище дома и показала старую березу. На толстом суку в детстве висели его качели. Теперь береза засохла, и на убитом жаром суку ветер покачивал пять веревочных обрезков. Приплясывая и бормоча про себя молитвы, старуха повела Гвоздева на реку и показала место, где лежало тело девушки, которой он обещал писать каждый день, да так потом ни разу и не собрался. Он постоял среди шелестевшей осоки, потом повернулся и пошел к лесу, где ждали его бойцы. Он не сказал ни слова, не проронил ни одной слезы.

В конце июня, во время наступления армии генерала Конева на Западном фронте, Григорий Гвоздев вместе со своими бойцами пробился через немецкий фронт. В августе он получил новую машину, знаменитую «Т-34», и до зимы успел прослечь в батальоне человеком «без меры». Про него рассказывали, о нем писали в газетах истории, казавшиеся невероятными, но происходившие на самом деле. Однажды, посланный в разведку, он на своей машине ночью на полном газу прорвался немецкие укрепления, благополучно пересек минное поле, стреляя и сея панику, прорвался в занятый немцами городок, зажатый в полукольцо частями Красной Армии, и вырвался к своим на другом конце, наделав немцам немало переполоху. В другой раз, действуя в подвижной группе в немецком тылу, он, выскочив из засады, ринулся на немецкий гужевой обоз, давя гусеницами солдат, лошадей и подводы.

Зимой во главе небольшой танковой группы он атаковал гарнизон укрепленной деревни у Ржева, где помещался маленький оперативный штаб противника. Еще у околицы, когда танки про-

ходили оборонительную полосу, в его машину угодила ампула с горючей жидкостью. Чадное, душное пламя окутало танк, но экипаж его продолжал бороться. Точно гигантский факел, несся танк по деревне, стреляя из всего своего бортового оружия, маневрируя, настигая и гусеницами давя бегущих немецких солдат. Гвоздев и экипаж, который он подобрал из людей, вышедших вместе с ним из окружения, знали, что они вот-вот должны погибнуть от взрыва бака или боеприпасов. Они задыхались в дыму, обжигались о накалявшуюся броню, одежда уже тлела на них, но они продолжали драться. Тяжелый снаряд, разорвавшийся под гусеницами машины, опрокинул танк, и то ли взрывной волной, то ли поднятыми песком и снегом сбило с него пламя. Гвоздева вынули из машины обгоревшим. Он сидел в башне рядом с убитым стрелком, которого заменил в бою...

Второй месяц уже находился танкист на грани жизни и смерти, без надежды поправиться, ничем не интересуясь и иной раз не произнося за сутки ни одного слова.

Мир тяжелораненых обычно ограничен стенами их госпитальной палаты. Где-то за пределами этих стен идет война, вершатся великие и малые события, бурлят страсти, и каждый день накладывает какой-то новый штришок на душу человека. В палату «тяжелых» жизнь внешнего мира не впускают, и бури за стенами госпиталя доходят сюда только отдаленными и глухими отголосками. Палата поневоле жила своими маленькими событиями. Муха, сонная и пыльная, появившаяся неизвестно откуда на отопителем дневным солнцем стекле,— происшествие. Новые туфли с высокими каблуками, которые надела сегодня палатная сестра Клавдия Михайловна, собиравшаяся прямо из госпиталя в театр,— новость. Компот из чернослива, поданный на третье вместо всем надоевшего урюкового киселя,— тема для беседы.

И то всегдашнее, что заполняло для «тяжелого» томительно медленные госпитальные дни, что приковывало к себе его мысли, была его рана, вырвавшая его из рядов бойцов, из трудной боевой жизни и бросившая сюда, на эту вот мягкую и удобную, но сразу же опостылевшую койку. Он засыпал с мыслью об этой ране, опухоли или переломе, видел их во сне и, проснувшись, сейчас же лихорадочно старался узнать, убавилась ли опухоль, сошла ли краснота, повысилась или понизилась температура. И как в ночной тишине настороженное ухо склонно вдесятеро преувеличивать каждый шорох, так и тут эта постоянная сосредоточенность на своем недуге делала раны еще более болезненными и заставляла даже самых твердых и волевых людей, спокойно смотревших в бою в глаза смерти, пугливо улавливать оттенки в голосе профессора и с замиранием сердца угадывать по лицу Василия Васильевича его мнение о ходе болезни.

Кукушкин много и сердито брюзжал. Ему все казалось, что

шины наложены не так, что они слишком зажаты и что от этого кости срастутся неправильно и их придется ломать. Гриша Гвоздев молчал, погруженный в унылое полузабытье. Но нетрудно было заметить, с каким взволнованным нетерпением осматривает он свое багрово-красное, увешанное лохмотьями обгорелой кожи тело, когда Клавдия Михайловна, меняя ему повязки, горстями бросает вазелин на его раны, и как он настораживается, когда слышит разговор врачей. Степан Иванович, единственный в палате, кто мог передвигаться, правда согнувшись кочергой и цепляясь за спинки кроватей, постоянно смешно и сердито бранил настигшую его «дуру бомбу» и вызванный контузией «растреклятый радикулит».

Мересьев тщательно скрывал свои переживания, делал вид, что его не интересуют разговоры врачей. Но всякий раз, когда ноги разбинтовывали для электризации и он видел, как медленно, но неуклонно ползет вверх по подъему предательская багровая краснота, глаза его расширялись от ужаса.

Характер у него стал беспокойным, мрачным. Неловкая шутка товарища, складка на простыне, щетка, упавшая из рук у старой сиделки, вызывали в нем вспышки гнева, которые он с трудом подавлял. Правда, строгий, медленно увеличивающийся рацион отличной госпитальной пищи быстро восстанавливал его силы, и во время перевязок или облучения худоба его не вызывала уже больше испуганных взглядов молоденьких практиканток. Но с той же быстротой, с какой крепнул организм, становилось хуже его ногам. Краснота перевалила уже подъем и расползлась по щиколоткам. Пальцы совершенно потеряли чувствительность, их кололи булавками, и булавки эти входили в тело, не вызывая боли. Распространение опухоли удалось приостановить каким-то новым способом, носившим странное название «блокада». Но боль росла. Она становилась совершенно нестерпимой. Днем Алексей тихо лежал, уткнувшись лицом в подушку. Ночью Клавдия Михайловна впрыскивала ему морфий.

Все чаще и чаще в разговорах врачей звучало теперь страшное слово «ампутация». Василий Васильевич иногда останавливался у койки Мересьева, спрашивал:

— Ну как, ползун, мозжит? Может, отрезать, а? Чик — и к стороне.

Алексей весь холодел и сжимался. Стиснув зубы, чтобы не закричать, он только мотал головой, и профессор сердито бормотал:

— Ну, терпи, терпи — твое дело. Попробуем еще вот это, — и делал новое назначение.

Дверь за ним закрывалась, стихали в коридоре шаги обхода, а Мересьев лежал с закрытыми глазами и думал: «Ноги, ноги, ноги мои!..» Неужели остаться без ног, калекой на деревяшках,

как старый перевозчик дядя Аркаша в родном его Камышине! Чтобы при купанье так же, как тот, отстегивать и оставлять на берегу деревяшки, а самому на руках, по-обезьяньи лезть в воду...

Эти переживания усугублялись еще одним обстоятельством. В первый же день в госпитале он прочел письма из Камышина. Маленькие треугольнички матери, как и все вообще материнские письма, были коротки, наполовину состояли из родственных поклонов и успокоительных заверений в том, что дома все слава богу и что он, Алеша, о ней может не беспокоиться, а наполовину — из просьб беречь себя, не стужаться, не мочить ног, не лезть туда, где опасно, остерегаться коварства врага, о котором мать достаточно наслышана от соседок. Письма эти по содержанию были все одинаковы, и разница в них была только в том, что в одном мать сообщала, как попросила соседку помолиться за воина Алексея, хотя сама в бога не верит, но все же на всякий случай, — а вдруг что-нибудь там да есть; в другом — беспокоилась о старших братьях, сражавшихся где-то на юге и давно не писавших, а в последнем писала, что видела во сне, будто на волжское половодье съехались к ней все сыны, будто вернулись они с удачной рыбалки вместе с покойником-отцом и она всех угощала любимым семейным лакомством — пирогом с визигой, — и что соседки истолковали этот сон так: кто-нибудь из сыновей должен обязательно приехать домой с фронта. Старуха просила Алексея попытаться начальство, не отпустят ли его домой хоть на денек.

В синих конвертах, надписанных крупным и круглым ученическим почерком, были письма от девушки, с которой Алексей вместе учился в ФЗУ. Звали ее Ольгой. Она работала теперь техником на Камышинском лесозаводе, где в отрочестве работал и он токарем по металлу. Девушка эта была не только другом детства. И письма от нее были необычные, особенные. Недаром читал он их по нескольку раз, возвращался к ним снова и снова, ища за самыми простыми строчками какой-то иной, не вполне понятный ему самому, радостный, скрытый смысл.

Писала она, что хлопот у нее полон рот, что теперь и ночевать домой она не ходит, чтобы не терять времени, а спит тут же, в конторе, что завода своего теперь Алексей, пожалуй, и не узнал бы и что поразился бы и сошел бы с ума от радости, если бы догадался, что они сейчас производят. Между прочим писала, что в редкие выходные, которые случаются у нее не чаще раза в месяц, бывает она у его матери, что чувствует себя старушка неважно, так как от старших братьев — ни слуху ни духу, что живется матери туго, в последнее время она стала сильно прихварывать. Девушка просила почаще и побольше писать матери и не волновать ее дурными вестями, так как он для нее теперь, может быть, единственная радость.

Читая и перечитывая письма Оли, Алексей раскусил материнскую хитрость со сном. Он понял, как ждет его мать, как надеется на него, и понял также, как страшно потрясет он их обеих, сообщив о своей катастрофе. Долго раздумывал он, как ему быть, и не хватило духу написать домой правду. Он решил подождать и написал обеим, что живет хорошо, перевели его на тихий участок, а чтобы оправдать перемену адреса, сообщил для пущего правдоподобия, что служит теперь в тыловой части и выполняет специальное задание и что, по всему виду, проторчит он в ней еще долго.

И вот теперь, когда в беседах врачей все чаще и чаще звучало слово «ампутация», ему становилось страшно. Как он калекой приедет в Камышин? Как он покажет Оле свои культяпки? Какой страшный удар нанесет он своей матери, растерявшей на фронтах всех сыновей и ожидающей домой его, последнего! Вот о чем думал он в томительно тоскливой тишине палаты, слушая, как сердито стонут матрацные пружины под беспокойным Кукушкиным, как молча вздыхает танкист и как барабанит пальцами по стеклу согнутый в три погибели Степан Иванович, проводящий все дни у окна.

«Ампутация? Нет, только не это! Лучше смерть... Какое холодное, колючее слово! Ампутация! Да нет же, не быть тому!» — думал Алексей. Страшное слово даже снилось ему в виде какого-то стального, неопределенных форм паука, раздиравшего его острыми, коленчатыми ногами.

3

С неделю обитатели сорок второй палаты жили вчетвером. Но однажды пришла озабоченная Клавдия Михайловна с двумя санитарями и сообщила, что придется потесниться. Койку Степана Ивановича, к его великой радости, установили у самого окна, Кукушкина перенесли в угол, рядом со Степаном Ивановичем, а на освободившееся место поставили хорошую низкую кровать с мягким пружинным матрацем.

Это взорвало Кукушкина. Он побледнел, застучал кулаком по тумбочке, стал визгливо ругать и сестру, и госпиталь, и самого Василия Васильевича, грозил жаловаться кому-то, куда-то писать и так разошелся, что чуть было не запустил кружкой в бедную Клавдию Михайловну, и, может быть, даже запустил бы, если бы Алексей, бешено сверкая своими цыганскими глазами, не осадил его грозным окриком.

Как раз в этот момент и внесли пятого.

Он был, должно быть, очень тяжел, так как носилки скрипели, глубоко прогибаясь в такт шагам санитаров. На подушке

бессильно покачивалась круглая, наголо выбритая голова. Широкое желтое, точно налитое воском, одутловатое лицо было безжизненно. На полных бледных губах застыло страдание.

Казалось, новичок был без сознания. Но как только носилки поставили на пол, больной сейчас же открыл глаза, приподнялся на локте, с любопытством осмотрел палату, почему-то подмигнул Степану Ивановичу — дескать, как она, жизнь-то, ничего? — басовито прокашлялся. Грузное тело его было, вероятно, тяжело контужено, и это причиняло ему острую боль. Мересьев, которому этот большой распухший человек с первого взгляда почему-то не понравился, с неприязнью следил за тем, как два санитары, две сиделки и сестра общими усилиями с трудом поднимали того на кровать. Он видел, как лицо новичка вдруг побледнело и покрылось испариной, когда неловко повернули его бревноподобную ногу, как болезненная гримаса перекосила его побелевшие губы. Но тот только скрипнул зубами.

Очутившись на койке, он сейчас же ровно выложил по краю одеяла каемку пододеяльника, стопками разложил на тумбочке принесенные за ним книжки и блокноты, аккуратно расставил на нижней полочке пасту, одеколон, бритвенный прибор, мыльницу, потом хозяйственным оком подвел итог всем этим своим делам и тотчас, точно сразу почувствовав себя дома, глубоким и раскатистым басом прогудел:

— Ну, давайте знакомиться. Полковой комиссар Семен Воробьев. Человек смирный, некурящий. Прошу принять в компанию.

Он спокойно и с интересом оглядел товарищей по палате, и Мересьев успел поймать на себе внимательно-испытующий взгляд его узеньких золотистых, очень цепких глаз.

— Я к вам ненадолго. Не знаю, кому как, а мне здесь заливаться недосуг. Меня мои конники ждут. Вот лед пройдет, дороги подсохнут — и айда: «Мы красная кавалерия, и про нас...» А? — пророкотал он, заполняя всю комнату сочным, веселым басом.

— Все мы тут ненадолго. Лед тронется — и айда... ногами вперед в пятидесятую палату, — отозвался Кукушкин, резко отвернувшись к стене.

Пятидесятой палаты в госпитале не было. Так между собой больные называли мертвецкую. Вряд ли комиссар успел узнать об этом, но он сразу уловил мрачный смысл шутки, не обиделся и только, с удивлением глянув на Кукушкина, спросил:

— А сколько вам, дорогой друг, лет? Эх, борода, борода! Что-то вы рано состарились.

С появлением в сорок второй нового больного, которого все стали называть между собой Комиссар, весь строй жизни палаты сразу переменялся. Этот грузный и немощный человек на второй же день со всеми перезнакомился и, как выразился потом о нем Степан Иванович, сумел при этом к «каждому подобрать свой особый ключик».

Со Степаном Ивановичем он потолковал всласть о конях и об охоте, которую они оба очень любили, будучи большими знатоками. С Мересьевым, любившим вникать в суть войны, задорно поспорил о современных способах применения авиации, танков и кавалерии, причем не без страсти доказывал, что авиация и танки — это, конечно, славная штука, но что и конь себя не изжил и еще покажет, и если сейчас хорошо подремонтировать кавалерийские части, да подкрепить их техникой, да в помощь старым рубакам-командирам вырастить широко и смело мыслящую молодежь — наша конница еще удивит мир. Даже с молчаливым танкистом он нашел общий язык. Оказалось, дивизия, в которой он был комиссаром, воевала у Ярцева, а потом на Духовщине, участвуя в знаменитом коневском контрударе, там, где танкист со своей группой выбился из окружения. И Комиссар с увлечением перечислял знакомые им обоим названия деревень и рассказывал, как и где именно досталось там немцам. Танкист по-прежнему молчал, но не отворачивался, как бывало раньше. Лица его из-за бинтов не было видно, но он согласно покачивал головой. Кукушкин же сразу сменил гнев на милость, когда Комиссар предложил ему сыграть партию в шахматы. Доска стояла у Кукушкина на койке, а Комиссар играл «вслепую», лежа с закрытыми глазами. Он в пух и прах разбил сварливого лейтенанта и этим окончательно примирил его с собой.

С прибытием Комиссара в палате произошло что-то подобное тому, что бывало по утрам, когда сиделка открывала форточку и в нудную больничную тишину вместе с веселым шумом улиц врывался свежий и влажный воздух ранней московской весны. Комиссар не делал для этого никаких усилий. Он просто жил, жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя забывать о мучивших его недугах.

Проснувшись утром, он садился на койке, разводил руки вверх, вбок, наклонялся, выпрямлялся, ритмично вращал и наклонял голову — делал гимнастику. Когда давали умыться, он требовал воду похолоднее, долго фыркал и плескался над тазом, а потом вытирался полотенцем с таким азартом, что краснота выступала на его отекавшем теле, и, глядя на него, всем невольно хотелось сделать то же. Приносили газеты. Он жадно выхватывал их у сестры и торопливо вслух читал сводку Советского

Информбюро, потом уже обстоятельно, одну за другой, — корреспонденции с фронта. И читать он умел как-то по-своему — так сказать, активно: то вдруг начинал шепотом повторять понравившееся ему место и бормотать «правильно» и что-то подчеркивал, то вдруг сердито восклицал: «Врет, собака! Ставлю мою голову против пивной бутылки, что на фронте не был. Вот мерзавец! А пишет». Однажды, рассердившись на какого-то завравшегося корреспондента, он тут же написал в редакцию газеты сердитую открытку, доказывая в ней, что на войне таких вещей не бывает, быть не может, прося унять расходившегося вралю. А то задумывался над газетой, откидывался на подушку и лежал так с раскрытыми глазами или начинал вдруг рассказывать интересные истории о своих конниках, которые, если судить с его слов, все были герой к герою и молодец к молодцу. А потом снова принимался за чтение. И странно, эти его замечания и лирические отступления нисколько не мешали слушателям, не отвлекали, а, наоборот, помогали постигать значение прочитанного.

Два часа в день, между обедом и лечебными процедурами, он занимался немецким языком, твердил слова, составлял фразы и иногда, вдруг задумываясь над смыслом чужого языка, говорил:

— А знаете, хлопцы, как по-немецки цыпленок? Кюхельхен. Здорово! Кюхельхен — что-то эдакое маленькое, пушистое, нежное. А колокольчик знаете как? Глёткен. Звонкое слово, верно?

Как-то раз Степан Иванович не утерпел:

— А на что вам, товарищ полковой комиссар, немецкий-то язык? Не зря ли себя томите? Силы бы вам поберечь...

Комиссар хитро глянул на старого солдата:

— Эх, борода, разве это для русского человека жизнь? А на каком же языке я буду с немками в Берлине разговаривать, когда туда придем? По-твоему, по-чалдонски, что ли? А?

Степан Иванович, сидевший на койке у Комиссара, хотел, должно быть, резонно возразить, что-де линия фронта идет пока близко от Москвы и что до немков далековато, но в голосе Комиссара звучала такая веселая убежденность, что солдат только крякнул и деловито добавил:

— Так-то так, не по-чалдонски, конечно. Однако поберечься бы вам, товарищ комиссар, после эдакой-то контузии.

— Бережен-то конь первым с копыт и валится. Не слыхал? Нехорошо, борода!

Никто из больных бороды не носил. Комиссар же всех почему-то именовал «бородами». Получалось это у него не обидно, а весело, и у всех от этого шутивого названия легчало на душе.

Алексей целыми днями приглядывался к Комиссару, пытаясь понять секрет его неиссякаемой бодрости. Несомненно, тот сильно страдал. Стоило ему заснуть и потерять контроль над собой,

как он сразу же начинал стонать, метаться, скрежетать зубами, лицо его искажалось судорогой. Вероятно, он знал это и старался не спать днем, находя для себя какое-нибудь занятие. Бодрствуя же, он был неизменно спокоен и ровен, как будто и не мучил его страшный недуг, неторопливо разговаривал с врачами, пошучивал, когда те прощупывали и осматривали у него больные места, и разве только по тому, как рука его при этом комкала простыню, да по бисеринкам пота, выступавшим на переносице, можно было угадать, до чего трудно ему было сдерживаться. Летчик не понимал, как может этот человек подавлять страшную боль, откуда у него столько энергии, бодрости, жизнерадостности. Алексею тем более хотелось понять это, что, несмотря на все увеличивавшиеся дозы наркотиков, он сам не мог уже спать по ночам и иногда до утра лежал с открытыми глазами, вцепившись зубами в одеяло, чтобы не стонать.

Все чаще, все настойчивее звучало теперь на осмотрах злое слово «ампутация». Чувствуя неуклонное приближение страшного дня, Алексей решил, что жить без ног не стоит.

5

И вот день настал. На обходе Василий Васильевич долго ощупывал почерневшие, уже не чувствовавшие прикосновений ступни, потом резко выпрямился и произнес, глядя прямо в глаза Мересьеву: «Резать!» Побледневший летчик ничего не успел ответить, как профессор запальчиво добавил: «Резать — и никаких разговоров, слышишь? Иначе подохнешь! Понял?»

Он вышел из комнаты, не оглянувшись на свою свиту. Палату наполнила тяжелая тишина. Мересьев лежал с окаменелым лицом, с открытыми глазами. Перед ним маячили в тумане синие безобразные култышки инвалида-перевозчика, он опять видел, как тот, раздевшись, на четвереньках, по-обезьяньи, опираясь на руки, ползет по мокрому песку к воде.

— Леша, — тихо позвал Комиссар.

— Что? — отозвался Алексей далеким, отсутствующим голосом.

— Так надо, Леша.

В это мгновение Мересьеву показалось, что это не перевозчик, а он сам ползет на культиках и что его девушка, его Оля, стоит на песке в пестром развевающемся платье, легкая, солнечная, красивая, и, кусая губы, с напряжением смотрит на него. Так будет! И он зарыдал бесшумно и сильно, уткнувшись в подушку, весь сотрясаясь и дергаясь. Всем стало жутко. Степан Иванович, кряхтя, сполз с койки, напялил халат и, шаркая туфлями, перебирая руками по спинке кровати, кряхтя, пошел к Мересьеву.

Но Комиссар сделал запрещающий знак: дескать, пусть плачет, не мешай.

И действительно, Алексею стало легче. Скоро он успокоился и почувствовал даже облегчение, какое всегда ощущает человек, когда наконец решит долго мучивший его вопрос. Он молчал до самого вечера, пока за ним не пришли санитары, чтобы нести его в операционную. В этой белой, ослепительно сверкающей комнате он тоже не проронил ни слова. Даже когда ему объявили, что состояние сердца не позволяет усыплять его и операцию придется делать под местным наркозом, он только кивнул головой. Во время операции он не издал ни стона, ни крика. Василий Васильевич, сам делавший эту несложную ампутацию и, по обыкновению своему, грозно пушивший при этом сестер и помощников, несколько раз заставлял ассистента смотреть, не умер ли больной под ножом.

Когда пилили кость, боль была страшная, но он привык переносить страдания и даже не очень понимал, что делают у его ног эти люди в белых халатах, с лицами, закрытыми марлевыми масками.

Очнулся он уже в палате, и первое, что увидел, было заботливое лицо Клавдии Михайловны. Странно, но он ничего не помнил и даже удивился, почему у этой милой, ласковой белокурой женщины такое взволнованное, вопрошающее лицо. Заметив, что он раскрыл глаза, она просияла, тихонько пожала ему руку под одеялом.

— Какой вы молодец! — И сейчас же взялась за пульс.

«Что это она?» — Алексей чувствовал, что ноги у него болят где-то выше, чем раньше, и не прежней горячей, мозжащей, дергающей болью, а как-то тупо и вяло, будто их крепко стянули выше голени веревками. И вдруг увидел по складкам одеяла, что тело его стало короче. Мгновенно вспомнилось ослепительное сверканье белой комнаты, свирепая воркотня Василия Васильевича, тупой стук в эмалированном ведре.

«Уже?!» — как-то вяло удивился он и, сясь улыбнуться, сказал сестре:

— Я, кажется, стал короче.

Улыбка получилась нехорошая, похожая на гримасу. Клавдия Михайловна заботливо поправила ему волосы:

— Ничего, ничего, голубчик, теперь легче будет.

— Да, верно, легче. На сколько килограммов?

— Не надо, родной, не надо. А вы молодец, иные кричат, других ремнями привязывают и еще держат, а вы не пикнули... Эх, война, война!

В это время из вечерней полутьмы палаты слышался сердитый голос Комиссара:

— Вы чего там панихиду затеяли? Вот передайте-ка ему,

сестричка, письма. Везет человеку, даже меня завидки берут: столько писем сразу!

Комиссар передал Мересьеву пачку писем. Это были письма из родного полка. Датированы они были разными днями, но пришли почему-то вместе, и вот теперь, лежа с отрезанными ногами, Алексей одно за другим читал эти дружеские послания, повествующие о далекой, полной трудов, неудобств и опасностей, неудержимо тянувшей к себе жизни, которая была потеряна теперь для него безвозвратно. Он смаковал и большие новости и дорогие мелочи, о которых писали ему из полка. Было ему одинаково интересно и то, что политработник из корпуса проболтался, будто полк представлен к награждению орденом Красного Знамени, что Иванчук получил сразу две награды, и то, что Яшин на охоте убил лисицу, которая почему-то оказалась без хвоста, что у Степы Ростова из-за флюса расстроился роман с сестрой Леночкой. На миг он уносился мыслью туда, на затерянный среди лесов и озер аэродром, который летчики так часто поругивали за коварный грунт и который казался ему теперь лучшей точкой на земле.

Он так увлекся письмами, что не обратил внимания на разницу в датах и не заметил, как Комиссар подмигнул сестре, с улыбкой показывая в его сторону, и тихо шепнул ей: «Мое-то лекарство куда лучше, чем все эти ваши люминалы и вероналы». Алексей так никогда и не узнал, что, предвидя события, Комиссар прятал часть его писем, чтобы в страшный для Мересьева день, передав летчику дружеские приветы и новости с родного аэродрома, смягчить для него тяжелый удар. Комиссар был старый воин. Он знал великую силу этих небрежно и наспех исписанных клочков бумаги, которые на фронте порой бывают важнее, чем лекарства и сухари.

В письме Андрея Дегтяренко, грубоватом и простом, как и он сам, лежала маленькая бумажка, покрытая мелкими кудрявыми буквами и изобилующая восклицательными знаками:

«Товарищ старший лейтенант! Нехорошо, что вы не держите своего слова!!! В полку вас очень часто вспоминают и, я не вру, только о вас и говорят. Недавно товарищ командир полка в столовой сказал, что вот Мересьев Алексей — это да!!! Вы же знаете, что он так только о самых хороших говорит. Возвращайтесь скорее, вас тут ждут!!! Леля большая, из столовой, просит передать вам, что теперь она без прений будет давать вам по три вторых, пусть даже ее за это Военторг уволит. Только нехорошо, что вы не держите слова!!! Другим вы все-таки написали, а мне ничего не написали. Мне это очень обидно, поэтому не пишу вам отдельного письма, а вы мне напишите, пожалуйста, отдельное, как вы живете и как чувствуете!..»

Под этой забавной запиской стояла подпись: «Метеорологи-

ческий сержант». Мересьев улыбнулся, но взгляд его упал на слова: «Возвращайтесь скорее, вас тут ждут», — которые в письме были подчеркнуты. Алексей приподнялся на койке и с видом, с каким шарят по карманам, обнаружив, что потерял важный документ, судорожно провел рукой там, где были ноги. Рука нащупала пустоту.

Лишь в эту минуту Алексей вполне осмыслил всю тяжесть потери. Он никогда больше не вернется в полк, в авиацию, вообще на фронт. Ему никогда больше не подымать самолета в воздух и не бросаться в воздушный бой, н и к о г д а! Теперь он инвалид, лишенный любимого дела, прикованный к месту, обуза в доме, лишний в жизни. Это нельзя исправить, это до самой смерти.

6

После операции с Алексеем Мересьевым случилось самое страшное, что может произойти при подобных обстоятельствах. Он ушел в себя. Он не жаловался, не плакал, не раздражался. Он молчал.

Целые дни, неподвижный, лежал он на спине, смотря все на одну и ту же извилистую трещину на потолке. Когда товарищи заговаривали с ним, он отвечал — и часто невпопад — «да», «нет» и снова смолкал, уставившись в темную трещину штукатурки, точно это был некий иероглиф, в расшифровке которого было для него спасение. Он покорно выполнял все назначения врачей, принимал все, что ему прописывали, вяло, без аппетита съедал обед и опять ложился на спину.

— Эй, борода, о чем думаешь? — кричал ему Комиссар.

Алексей поворачивал в его сторону голову с таким выражением, точно не видел его.

— О чем, спрашиваю, думаешь?

— Ни о чем.

В палату как-то зашел Василий Васильевич:

— Ну, ползун, жив? Как дела? Герой, герой, не пикнул! Теперь, брат, верю, что ты восемнадцать дней от немцев на карачках уползал. Я на своем веку столько вашего брата видел, сколько ты картошки не съел, а таких, как ты, резать не приходилось. — Профессор потер свои шелушащиеся, красные руки с изъеденными сулемой ногтями. — Чего хмуришься? Его хвалят, а он хмурится. Я ж генерал-лейтенант медицинской службы. Ну, приказываю улыбнуться!

С трудом растягивая губы в пустую, резиновую улыбку, Мересьев думал: «Знать бы, что все так кончится, стоило ли ползти? Ведь в пистолете оставалось три патрона».

Комиссар прочел в газете корреспонденцию об интересном воздушном бое. Шесть наших истребителей, вступив в бой с двадцатью двумя немецкими, сбили восемь, а потеряли всего один. Комиссар читал эту корреспонденцию с таким смаком, будто отличились не неведомые ему летчики, а его кавалеристы. Даже Кукушкин загорелся, когда заспорили, стараясь представить, как все это произошло. А Алексей слушал и думал: «Счастливые! Летают, дерутся, а вот мне уже никогда больше не подняться».

Сводки Советского Информбюро становились все лаконичней. По всему было видно, что где-то в тылу Красной Армии уже сжимается мощный кулак для нового удара. Комиссар со Степаном Ивановичем деятельно обсуждали, где этот удар будет нанесен и что он сулит немцам. Еще недавно Алексей был первым в таких разговорах. Теперь он старался их не слушать. Он тоже угадывал нарастание событий, чуя приближение гигантских, может быть, решающих боев. Но мысль о том, что его товарищи, даже, наверно, Кукушкин, который быстро поправляется, будут участвовать в них, а он обречен на прозябание в тылу и что ничем этого уже не исправишь, была для него так горька, что, когда теперь Комиссар читал газеты или начинался разговор о войне, Алексей закрывался с головой одеялом и двигал щекой по подушке, чтобы не видеть и не слышать. А в голове почему-то вертелась фраза: «Рожденный ползать — летать не может!»

Клавдия Михайловна принесла несколько веток вербы, неведомо как и откуда попавших в суровую, военную, перегороженную баррикадами Москву. На столик каждому она поставила в стакане по прутику. От красненьких веток с белыми пушистыми шариками веяло такой свежестью, точно сама весна вошла в сорок вторую палату. Все в этот день были радостно возбуждены. Даже молчаливый танкист пробурчал несколько слов из-под своих бинтов.

Алексей лежал и думал: в Камышине мутные ручьи бегут вдоль раскисших от грязи тротуаров по сверкающим булыжникам мостовой, пахнет отогретой землей, свежей сыростью, конским навозом. В такой вот день стояли они с Олей на крутом берегу Волги, и мимо них по необозримым просторам реки в торжественной тишине, звенящей серебряными колокольчиками жаворонков, бесшумно и плавно шел лед. И казалось, что это не льдины движутся по течению, а они с Олей бесшумно плывут навстречу всклокоченной, бурной реке. Они стояли молча, и так много счастья мерещилось им впереди, что тут, над волжскими просторами, на вольном весеннем ветру, им не хватало воздуха. Ничего этого теперь не будет. Она отвернется от него, а если не отвернется, разве он может принять эту жертву, разве вправе он допустить, чтобы она, такая светлая, красивая, стройная, шла рядом

с ним, ковыляющим на култышках!.. И он попросил сестру убрать со стола наивную памятку весны.

Вербу убрали, но от тяжелых мыслей трудно было избавиться: что скажет Оля, узнав, что он стал безногим? Уйдет, забудет, вычеркнет его из своей жизни? Все существо Алексея протестовало: нет, она не такая, она не бросит, не отвернется! И это даже хуже. Он представлял себе, как она из благородства выйдет за него замуж, за безногого, как из-за этого бросит она мечты о высшем техническом образовании, впряжется в служебную лямку, чтобы прокормить себя, инвалида-мужа и, кто знает, может быть, и детей.

Имеет ли он право принять эту жертву? Ведь они еще ничем не связаны, ведь она невеста, а не жена. Он любил ее, любил хорошо и поэтому решил, что права он такого не имеет, что надо самому перерубить все связывавшие их узлы, перерубить наотмашь, сразу, чтобы избавить ее не только от тяжелого будущего, но и от мук колебания.

Но тут пришли письма со штемпелем «Камышин» и сразу перечеркнули все эти решения. Письмо Оли было полно какой-то скрытой тревоги. Словно предчувствуя несчастье, она писала, что она будет с ним всегда, что бы с ним ни случилось, что жизнь ее в нем, что она думает о нем каждую свободную минуту и что думы эти помогают ей переносить тяжести военной жизни, бессонные ночи на заводе, рытье окопов и противотанковых рвов в свободные дни и ночи и, что там таить, полуголодное существование. «Твоя последняя маленькая карточка, где ты сидишь на пенке с собакой и улыбаешься, всегда со мной. Я вставила ее в мамин медальон и ношу на груди. Когда мне тяжело, открываю и смотрю... И, знаешь, я верю: пока мы любим друг друга, нам ничего не страшно». Писала она также, что его мать последнее время очень беспокоится о нем, и опять требовала, чтобы он писал старушке чаще и не волновал ее дурными вестями.

В первый раз письма из родного города, каждое из которых было раньше счастливым событием, надолго согревавшим душу в трудные фронтовые дни, не обрадовали Алексея. Они внесли новое смятение в его душу, и вот тут-то он и совершил ошибку, которая потом доставила ему столько мук: он не решился написать в Камышин о том, что ему отрезали ноги.

Единственно, кому он подробно написал о своем несчастье и о невеселых своих думах, была девушка с метеостанции. Они почти не были знакомы, и поэтому с ней легко было разговаривать. Не зная даже ее имени, он так и адресовал: ППС, такая-то метеостанция, для «метеорологического сержанта». Он знал, как на фронте берегут письмо, и надеялся, что рано или поздно оно даже с таким странным адресом найдет своего адресата. Да это

было ему и неважно. Ему просто хотелось перед кем-нибудь высказаться.

В невеселом раздумье текли однообразные госпитальные дни Алексея Мересьева. И, хотя его железный организм легко перенес мастерски сделанную ампутацию и раны быстро затягивались, он заметно слабел и, несмотря на все меры, день ото дня худел и чахнул у всех на глазах.

7

А между тем на дворе буйствовала весна.

Она врывалась и сюда, в сорок вторую палату, в эту комнату, насыщенную запахом йодоформа. Она проникала в форточки прохладным и влажным дыханием талого снега, возбужденным чириканьем воробьев, веселым и звонким скрежетом трамваев на поворотах, гулким стуком шагов по обнажившемуся асфальту, а вечером — однообразным и мягким пиликаньем гармошки. Она заглядывала в боковое окно с освещенной солнцем веточки тополя, на которой набухали продолговатые почки, облитые желтоватым клеем. Она входила в палату золотистыми пятнышками веснушек, осыпавшими бледное доброе лицо Клавдии Михайловны и глядевшими на мир сквозь любой сорт пудры и доставлявшими сестрице немало огорчений. Весна настойчиво напоминала о себе веселым и дробным биением крупных капель о жестяные карнизы окон. Как и всегда, весна размягчала сердца, будила мечты.

— Эх, вот теперь бы с ружьишком да куда-нибудь на вырубку! Как, Степан Иванович, а?.. В шалашике на заре посидеть бы в засаде... больно хорошо!.. Знаешь, утро розовое, ядреное да с морозцем, а ты сидишь — ухо востро, и вдруг гл-гл-гл и крылья — фью-фью-фью... И над тобой садится — хвост веером — и другой, и третий...

Степан Иванович с шумом втягивает в себя воздух, точно и впрямь у него потекли слюнки, а Комиссар не унимается:

— А потом у костерика плащ-палатку постелешь, чайку с дымком да хорошую чарочку, чтобы каждому мускулу тепло стало, а? После трудов-то праведных...

— Ой, и не говорите, товарищ полковой комиссар... А в наших краях об эту пору знаете на что бывает охота? Ну не поверите — на щуку, вот те Христос, не слышали? Знатное дело: баловство, конечно, а не без прибытка. Щука-то, как в озерах лед треснет да речки разольются, все к берегу льнет, нерестится она. И для этого дела лезет, — ну, только что не на берег — в траву, в мох, что полон водой покрыло. Заберется туда, трется, икру

сеет. Идешь бережком — и вроде поленья-кругляши потоплые. Ан это она. Из ружья вдаришь! В другой раз и в мешок всего добра не оберешь. Ей-богу! А то еще...

И начинались охотничьи воспоминания. Разговор незаметно сворачивал на фронтовые дела, принимались гадать, что делается сейчас в дивизии, в роте, не «плачут» ли построенные зимой землянки, и не «поползли» ли укрепления, и каково-то весной немцу, привыкшему на Западе шагать по асфальту.

В послеобеденный час начиналось кормление воробьев. Степан Иванович, вообще не умеющий сидеть без дела и вечно что-нибудь мастеривший своими сухонькими беспокойными руками, придумал собирать оставшиеся от обеда крошки и выбрасывать их в форточку за окно птицам. Это вошло в обычай. Бросали уже не крошки, оставляли целые куски и нарочно крошили их. Таким образом, по выражению Степана Ивановича, на довольствие была поставлена целая воробьиная стая. Всей палате доставляло огромное наслаждение наблюдать, как маленькие и шумные птицы деятельно трудятся над какой-нибудь большой коркой, пищат, дерутся, а потом, очистив подоконник, отдыхают, ошипываются на ветке тополя и вдруг дружно вспархивают и улетают куда-то по своим воробьиным делам. Кормление воробьев стало любимым развлечением. Некоторых птичек начали узнавать, наделили даже прозвищами. Особыми симпатиями палаты пользовался куцый нахальный и шустрый воробей, вероятно поплатившийся своим хвостом за дурной, драчливый нрав. Степан Иванович назвал его «Автоматчиком».

Интересно, что именно возня с этими шумными птичками окончательно вывела танкиста из его молчаливого состояния. Сначала он вяло и равнодушно следил за тем, как Степан Иванович, согнутый пополам, опираясь на костыли, долго прилаживался на батарее, чтобы подняться на подоконник и дотянуться до форточки. Но, когда на следующий день воробьи прилетели, танкист, морщась от боли, даже присел на койке, чтобы лучше видеть суматошную птичью возню. На третий день за обедом он сунул под подушку солидный кусок сладкого пирога, точно этот госпитальный деликатес должен был особенно понравиться горластым нахлебникам. Однажды «Автоматчик» не появился, и Кукушкин заявил, что его, вероятно, слопала кошка — и поделом. Молчаливый танкист вдруг взбесился и обругал Кукушкина «лязгой», а когда на следующий день куцый опять пищал и дрался на подоконнике, победно вертя головой с нагло поблескивавшими глазками, танкист засмеялся — засмеялся в первый раз за долгие месяцы.

Прошло немного времени, и Гвоздев вовсе ожил. К общему удивлению, он оказался веселым, разговорчивым и легким человеком. Добился этого, конечно, Комиссар, который был действи-

тельно мастером подбирать, как говорил Степан Иванович, к каждому человеку свой ключик. И добился вот как.

Самым радостным часом в сорок второй палате было, когда в дверях с таинственным видом, держа руки за спиной, появлялась Клавдия Михайловна и, оглядев всех сияющими глазами, произносила:

— А ну, кто сегодня плясать будет?

Это значило: прибыли письма. Получивший должен был хоть немножко попрыгать на кровати, изображая танец. Чаще всего это приходилось делать Комиссару, получавшему иногда сразу с десятков писем. Ему писали из дивизии, из тыла, писали сослуживцы, командиры и политработники, писали солдаты, писали по старой памяти командирские жены, требуя, чтобы он «приструнил» разболтавшегося мужа, писали вдовы убитых товарищей, прося житейского совета или помощи в делах, писала даже пионерка из Казахстана, дочь убитого командира полка, имени которой Комиссар никак не мог запомнить. Все эти письма он читал с интересом, на все обязательно отвечал и тут же писал в нужное учреждение с просьбой помочь жене командира такого-то, сердито разносил «разболтавшихся» мужей, грозил управдому, что сам придет и оторвет ему голову, если он не поставит печки семье фронтовика, боевого командира такого-то, и журил девочку из Казахстана со сложным и незапоминающимся именем за двойку по русскому языку во второй четверти.

И у Степана Ивановича шла деятельная переписка и с фронтом и с тылом. Письма своих сыновей, тоже удачливых снайперов, письма дочери — колхозного бригадира — с бесконечным числом поклонов от всей родни и знакомых, с сообщениями, что, хотя колхоз снова послал людей на новостройку, такие-то хозяйственные планы перевыполнил на столько-то процентов, Степан Иванович с великой радостью оглашал немедленно вслух, и вся палата, все сиделки, сестры и даже ординатор, сухой и желчный человек, были всегда в курсе его семейных дел.

Даже нелюдим Кукушкин, который, казалось, был в ссоре с целым светом, получал письма от матери откуда-то из Барнаула. Он выхватывал письмо у сестры, выжидал, когда народ в палате засыпал, и читал, потихоньку шепча про себя слова. В эти минуты на маленьком его лице с резкими, неприятными чертами появлялось особое, совершенно не свойственное ему, торжественное и тихое выражение. Он очень любил свою мать, старушку фельдшерицу, но почему-то стыдился этой своей любви и тщательно скрывал ее.

Только один танкист в радостные минуты, когда в палате шел оживленный обмен полученными новостями, становился еще мрачнее, отворачивался к стене и натягивал на голову одеяло: некому было ему писать. Чем больше писем получала палата, тем

острее чувствовал он свое одиночество. Но вот однажды Клавдия Михайловна явилась какая-то особенно возбужденная. Стараясь не глядеть на Комиссара, она торопливо спросила:

— А ну, кто сегодня пляшет?

Она смотрела на койку танкиста, и доброе лицо ее так все и лучилось широкой улыбкой. Все почувствовали, что произошло что-то необычайное. Палата насторожилась.

— Лейтенант Гвоздев, пляшите! Ну, что же вы?

Мересьев увидел, как вздрогнул Гвоздев, как резко он повернулся, как сверкнули из-под бинтов его глаза. Он тут же сдержался и сказал дрожащим голосом, которому старался придать равнодушный оттенок:

— Ошибка. Рядом лег еще какой-нибудь Гвоздев.— Но глаза его жадно, с надеждой смотрели на три конверта, которые сестра держала высоко, как флаг.

— Нет, вам. Видите: лейтенанту Гвоздеву Г. М., и даже палата сорок два. Ну?

Забинтованная рука жадно выбросилась из-под одеяла. Она дрожала, пока лейтенант, прихватив конверт зубами, нетерпеливыми щипками раскрывал его. Глаза Гвоздева возбужденно сверкали из-за бинтов. Странное оказалось дело. Три девушки-подруги, слушательницы одного и того же курса, одного и того же университета разными почерками и в разных словах писали примерно одно и то же. Узнав, что герой-танкист лейтенант Гвоздев лежит раненый в Москве, решили они завязать с ним переписку. Писали они, что если он, лейтенант, не обидится на их назойливость, то не напишет ли он им, как он живет и как его здоровье, а одна из них, подписавшаяся «Анюта», писала: не может ли она ему чем-нибудь помочь, не нужно ли ему хороших книжек, и, если ему что-нибудь надо, пусть, не стесняясь, он обратится к ней.

Лейтенант весь день вертел эти письма, читал адреса, рассматривал почерки. Конечно, он знал о подобного рода переписках и даже сам однажды переписывался с незнакомкой, ласковую записку которой он нашел в большом пальце шерстяных варежек, доставшихся ему в праздничном подарке. Но переписка эта сама собой увяла, после того как его корреспондентка прислала ему с шутиливой надписью свою фотографию, где она, пожилая женщина, была снята в кругу своих четырех ребят. Но тут было другое дело. Смущало и удивляло Гвоздева только то, что письма эти пришли так неожиданно и сразу, и еще непонятно было, откуда студентки медфакультета вдруг узнали о его боевых делах. Недоумевала по этому поводу вся палата, и больше всех — Комиссар. Но Мересьев перехватил многозначительный взгляд, которым он обменялся со Степаном Ивановичем и сестрой, и понял, что и это — дело его рук.

Как бы там ни было, но на следующий день с утра Гвоздев выпросил у Комиссара бумаги и, самовольно разбинтовав кисть правой руки, до вечера писал, перечеркивал, комкал, снова писал ответы своим неизвестным корреспондентам.

Две девушки сами собой отсеялись, зато заботливая Аня стала писать за троих. Гвоздев был человек открытого нрава, и теперь вся палата знала, что делается на третьем курсе медфака, какая увлекательная наука биология и как скучна органика, какой симпатичный голос у профессора и как он славно подает материал и, наоборот, как скучно талдычит свои лекции доцент такой-то, сколько дров навалили на грузовые трамваи на очередном студенческом воскреснике, как сложно одновременно и учиться и работать в эвакогоспитале и как «задается» студентка такая-то, бездарная зубрила и вообще малосимпатичная особа.

Гвоздев не только заговорил. Он как-то весь развернулся. Дела его быстро пошли на поправку.

Кукушкину сняли лубки. Степан Иванович учился ходить без костылей и передвигался уже довольно прямо. Он целые дни проводил теперь на подоконнике, наблюдая за тем, что делается на «вольном свете». И только Комиссару и Мересьеву становилось с каждым днем хуже. Особенно быстро сдавал Комиссар. Он уже не мог делать по утрам свою гимнастику. Тело его все больше и больше наливалось зловещей желтоватой прозрачной припухлостью, руки сгибались с трудом и уже не могли держать ни карандаша, ни ложки за обедом.

Сиделка по утрам умывала и вытирала ему лицо, с ложки кормила его, и чувствовалось, что не тяжелые боли, а вот эта беспомощность угнетает и выводит его из себя. Впрочем, и тут он не унывал. Так же бодро рокотал днем его бас, так же жадно читал он в газетах новости и даже продолжал заниматься немецким. Только приходилось класть для него книги в специально сконструированный Степаном Ивановичем проволочный пюпитр, и старый солдат, сидя возле, перелистывал ему страницы.

По утрам, пока не было еще свежих газет, Комиссар нетерпеливо выпрашивал у сестры, какова сводка, что нового передали по радио, какая погода и что слышно в Москве. Он упросил Василия Васильевича провести к его кровати радиотрансляцию.

Казалось, чем слабее и неможнее становилось его тело, тем упрямее и сильнее был его дух. Он с тем же интересом читал многочисленные письма и отвечал на них, диктуя по очереди то Кукушкину, то Гвоздеву. Однажды Мересьев, задремавший после процедуры, был разбужен его громовым басом.

— Чинуши! — гремел он гневно. На проволочном пюпитре серел листок дивизионной газеты, которую, невзирая на приказ «не выносить из части», кто-то из друзей регулярно ему присылал. — Остудели они там, в обороне сидя, Кравцов — бюро-

крат?! Лучший в армии ветеринар — бюрократ?! Гриша, пиши, пиши, сейчас же!

И он продиктовал Гвоздеву сердитый рапорт на имя члена Военного совета армии, прося унять «строкачей», незаслуженно обругавших хорошего, прилежного человека. Отправив с сестрой письмо, он еще долго и сочно бранил «щелкунов», и было странно слышать эти полные деловой страсти слова от человека, не могущего даже повернуть голову на подушке.

Вечером того же дня случилось еще более примечательное происшествие. В тихий час, когда света еще не зажигали и по углам палаты уже начинали сгущаться сумерки, Степан Иванович сидел на подоконнике и задумчиво смотрел на набережную. На реке рубили лед. Несколько баб в брезентовых фартуках пешнями откалывали его узкими полосками вдоль темного квадрата проруби, потом за один-два удара рубили полосы на продолговатые доли, брались за багры и по доскам вытягивали эти доли из воды. Льдины лежали рядами: снизу — зеленовато-прозрачные, сверху — желто-рыхлые. По дороге вдоль реки к месту колки тянулась вереница подвод, привязанных одна к другой. Старикашка в треухе, в стеганых штанах и ватнике, перехваченном поясом, за которым торчал топор, под уздцы подводил к вырубке коней, и женщины баграми вкатывали льдины на дровни.

Хозяйственный Степан Иванович решил, что работают они от колхоза, но что организовано дело бестолково. Уж очень много людей толкалось, мешая друг другу. В его хозяйственной голове уже составилась план. Он мысленно разделил всех на группы по трое в каждой — как раз по столько, чтобы они могли вместе без труда вытаскивать на лед глыбы. Каждой группе он мысленно отвел особый участок и платил бы им не чохом, а каждой группе с числа добытых глыб. А вон той круглолицей румяной бабенке он посоветовал бы начать соревнование между тройками... Он до того увлекся своими хозяйственными размышлениями, что не вдруг заметил, как одна из лошадей подошла к вырубке так близко, что задние ноги ее вдруг соскользнули и она очутилась в воде. Сани поддерживали лошадь на поверхности, а течение тянуло ее под лед. Старикашка с топором бестолково засуетился возле, то хватаясь за грядки дровней, то дергая лошадь под уздцы.

— Лошадь тонет! — ахнул на всю палату Степан Иванович.

Комиссар, сделав невероятное усилие, весь позеленев от боли, привстал на локте и, опершись грудью о подоконник, потянулся к стеклу.

— Дубина!.. — прошептал он. — Как он не понимает? Гужи... Надо рубить гужи, конь сам вылезет... Ах, погубит скотину!

Степан Иванович тяжело карабкался на подоконник. Лошадь тонула. Мутная волна порой уже захлестывала ее, но она еще

отчаянно боролась, выскакивала из воды и начинала царапать лед подковами передних ног.

— Да руби же гужи! — во весь голос рявкнул Комиссар, как будто старик там, на реке, мог услышать его.

— Эй, дорогой, руби гужи! Топор-то за поясом, руби гужи, руби! — сложив ладони рупором, передал на улицу Степан Иванович.

Старикашка услышал этот словно с неба грянувший совет. Он выхватил топор и двумя взмахами перехватил гужи. Освобожденная от упряжки лошадь сейчас же выскочила на лед и, остановившись у проруби, тяжело поводила блестящими боками и отряхивалась, как собака.

— Это что значит? — раздалось в этот момент в палате.

Василий Васильевич в незастегнутом халате и без обычной своей белой шапочки стоял в дверях. Он принялся неистово браниться, топтать ногами, не желая слушать никаких доводов. Он сумел разогнать к чертям обалдевшую палату и ушел, ругаясь и тяжело дыша, так, кажется, и не поняв смысла происшествия. Через минуту в палату вбежала Клавдия Михайловна, расстроенная, с заплаканными глазами. Ей только что была от Василия Васильевича страшная головомойка, но она увидела на подушке зеленое, безжизненное лицо Комиссара, лежавшего неподвижно, с закрытыми глазами, и рванулась к нему.

Вечером ему стало плохо. Впрыскивали камфару, давали кислород. Он долго не приходил в себя. Очнувшись, Комиссар сейчас же попытался улыбнуться Клавдии Михайловне, стоявшей над ним с кислородной подушкой в руках, и пошутить:

— Не волнуйтесь, сестренка. Я и из ада вернусь, чтобы принести вам средство, которым там черти веснушки выводят.

Было невыносимо больно наблюдать, как, яростно сопротивляясь в тяжелой борьбе с недугом, день ото дня слабеет этот большой, могучий человек.

8

Слабел с каждым днем и Алексей Мересьев. В очередном письме он сообщил даже «метеорологическому сержанту», кому единственно поверял теперь свои горести, что, пожалуй, ему отсюда уже не выйти, что это даже и лучше, потому что летчик без ног — все равно что птица без крыльев, которая жить и клевать еще может, но летать — никогда, что не хочет он оставаться бескрылой птицей и готов спокойно встретить самый плохой исход, лишь бы скорее он наступал. Писать так было, пожалуй, жестоко: в ходе переписки девушка призналась, что давно уже равнодушна к «товарищу старшему лейтенанту», но что нипо-

чем бы ему в этом не созналась, не приключись с ним такое горе.

— Замуж хочет, наш брат нынче в цене. Ей ноги что, был бы побольше аттестат,— язвительно прокомментировал верный себе Кукушкин.

Но Алексей помнил бледное, прижавшееся к нему лицо в час, когда смерть просвистела над их головами. Он знал, что это не так. Знал он также, что девушке тяжело читать его грустные откровения. Не узнав даже, как зовут «метеорологического сержанта», он продолжал верить ей свои невеселые мысли.

Ко всем Комиссар умел найти ключик, а вот Алексей Мересьев не поддавался ему. В первый же день после операции Мересьева появилась в палате книжка «Как закалялась сталь». Ее начали читать вслух. Алексей понял, кому адресовано это чтение, но оно мало утешило его. Павла Корчагина он уважал с детства. Это был один из любимых его героев. «Но Корчагин ведь не был летчиком,— думал теперь Алексей.— Разве он знал, что значит «заболеть воздухом»? Ведь Островский писал в постели свои книжки не в те дни, когда все мужчины и многие женщины страны воюют, когда даже сопливые мальчишки, став на ящики, так как у них не хватает роста для работы на станке, точат снаряды».

Словом, книжка в данном случае успеха не имела. Тогда Комиссар начал обходное движение. Будто невзначай, он рассказал о другом человеке, который с парализованными ногами мог выполнять большую общественную работу. Степан Иванович, всем на свете интересовавшийся, стал удивленно охать. И сам вспомнил, что в их краях есть врач без руки, наипервейший на весь район лекарь, и на лошади он верхом ездит, и охотится, да при этом так одной рукой с ружьем справляется, что белку дробинкой в глаз сшибает. Тут Комиссар помянул покойного академика Вильямса, которого лично знал еще по энтээсовским делам. Этот человек, наполовину парализованный, владея только одной рукой, продолжал руководить институтом и вел работы огромных масштабов.

Мересьев слушал и усмехался: думать, говорить, писать, приказывать, лечить, даже охотиться можно и вовсе без ног, но он-то летчик, летчик по призванию, летчик с детства, с того самого дня, когда мальчишкой, карауля бахчу, где среди вялой листвы на сухой, потрескавшейся земле лежали огромные полосатые шары славившихся на всю Волгу арбузов, услышал, а потом увидел маленькую серебряную стрекозу, сверкнувшую на солнце двойными крыльями и медленно проплывшую высоко над пыльной степью куда-то по направлению к Сталинграду.

С тех пор мечта стать летчиком не оставляла его. Он думал о ней на школьной парте, думал, работая потом за токарным станком. По ночам, когда все в доме засыпало, он вместе с Ляпидев-

ским находил и спасал челюскинцев, вместе с Водопьяновым сажал тяжелые самолеты на лед среди торосов Северного полюса, вместе с Чкаловым прокладывал неизведанный человеком воздушный путь через полюс в Соединенные Штаты.

Комсомольская организация послала его на Дальний Восток. Он строил в тайге город юности — Комсомольск-на-Амуре. Но и туда, в тайгу, он привез свою мечту о полетах. Среди строителей он нашел парней и девушек, так же, как и он, мечтавших о благородной профессии летчика, и трудно поверить, что они действительно своими руками построили в этом существовавшем пока что только на планах городе свой аэроклуб. Когда смеркалось и туманы окутывали гигантскую стройку, все строители забирались в бараки, закрывали окна, а перед дверями зажигали дымные костры из сырых веток, чтобы отгонять тучи комаров и гнуса, наполнявших воздух своим тонким зловещим звоном. Вот в этот-то час, когда строители отдыхали после трудового дня, аэроклубовцы, возглавляемые Алексеем, смазав свое тело керосином, должны были отгонять комара и гнуса, выходили в тайгу с топорами, кирками, с пилами, заступами и толом. Они пилили, корчевали пни, ровняли землю, отвоевывая у тайги пространство для аэродрома. И они отвоевали его, собственными руками вырвав у лесной чащи несколько километров для лётного поля.

С этого аэродрома Алексей и взмыл в первый раз в воздух на учебной машине, осуществив наконец заветную мечту детства.

Потом он учился в военном авиаучилище, сам учил в нем молодых. Здесь и застала его война, для которой он, несмотря на угрозы школьного начальства, оставил инструкторскую работу и ушел в действующую армию. Все его устремления в жизни, все его волнения, радости, все его планы на будущее и весь его настоящий жизненный успех — все было связано с авиацией...

А они толкуют ему о Вильямсе!

— Он же не летчик был, Вильямс, — сказал Алексей и отвернулся к стене.

Но Комиссар не оставил своих попыток «отомкнуть» его. Однажды, находясь в обычном состоянии равнодушного оцепенения, Алексей услышал комиссарский бас.

— Леша, глянь: тут о тебе написано.

Степан Иванович уже нес Мересьеву журнал. Небольшая статья была отчеркнута карандашом. Алексей быстро пробежал глазами отмеченное и не встретил своей фамилии. Это была статья о русских летчиках времен первой мировой войны. Со страницы журнала глядело на Алексея незнакомое лицо молодого офицера с маленькими усиками, закрученными «шильцем», с белой кокардой на пилотке, надвинутой на самое ухо.

— Читай, читай, прямо для тебя, — настаивал Комиссар.

Мересьев прочел. Повествовалось в статье о русском военном летчике, поручике Валерьяне Аркадьевиче Карповиче. Летая над вражескими позициями, поручик Карпович был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «дум-дум». С раздробленной ногой он сумел на своем «фармане» перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли, но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции. Он долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому к концу войны вернулся в армию. Он служил инспектором в школе военных пилотов и даже, как говорилось в заметке, «порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане». Он был награжден офицерским «Георгием» и успешно служил в русской военной авиации, пока не погиб в результате катастрофы.

Мересьев прочел эту заметку раз, другой, третий. Немножко напряженно, но, в общем, лихо улыбался со снимка молодой худощавый поручик с усталым волевым лицом. Вся палата безмолвно наблюдала за Алексеем. Он поерошил волосы и, не отрывая от статейки глаз, нащупал рукой на тумбочке карандаш и тщательно, аккуратно обвел ее.

— Прочел? — хитровато спросил Комиссар. (Алексей молчал, все еще бегая глазами по строчкам.) — Ну, что скажешь?

— Но у него не было только ступни.

— А ты же советский человек.

— Он летал на «фармане». Разве это самолет? Это этажерка. На нем чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо.

— Но ты же советский человек! — настаивал Комиссар.

— Советский человек, — машинально повторил Алексей, все еще не отрывая глаз от заметки; потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, и он обвел всех изумленно-радостным взглядом.

На ночь Алексей сунул журнал под подушку, сунул и вспомнил, что в детстве, забираясь на ночь на полати, где спал с братьями, клал он так под подушку уродливого корноухого медведя, сшитого ему матерью из старой плюшевой кофты. И он засмеялся этому своему воспоминанию, засмеялся на всю комнату.

Ночью он не сомкнул глаз. Тяжелым сном забылась палата. Скрипя пружинами, вертелся на койке Гвоздев. С присвистом, так, что казалось, рвутся у него внутренности, храпел Степан Иванович. Изредка поворачиваясь, тихо, сквозь зубы постанывал Комиссар. Но Алексей ничего не слышал. Он то и дело доставал журнал и при свете ночника смотрел на улыбающееся лицо поручика. «Тебе было трудно, но ты все-таки сумел, — думал он. — Мне вдесятеро труднее, но вот увидишь, я тоже не отстану».

Среди ночи Комиссар вдруг стих. Алексей приподнялся и увидел, что лежит он бледный, спокойный и, кажется, уже не дышит. Летчик схватил колокольчик и бешено затряс им. Прибежала Клавдия Михайловна, простоволосая, с помятым лицом и рассыпавшейся косой. Через несколько минут вызвали ординатора. Щупали пульс, впрыскивали камфару, совали в рот шланг с кислородом. Возня эта продолжалась около часу и порой казалась безнадежной. Наконец Комиссар открыл глаза, слабо, еле заметно улыбнулся Клавдии Михайловне и тихонько сказал:

— Извините, взбулгачил я вас, а без толку. До ада так и не добрался и мази-то от веснушек не достал. Так что вам, родная, придется в веснушках щеголять, ничего не поделаешь.

От шутки всем стало легче на душе. Крепок же этот дуб! Может, выстоит он и такую бурю. Ушел ординатор — скрип его ботинок медленно угас в конце коридора; разошлись сиделки; и только Клавдия Михайловна осталась, усевшись бочком на кровати Комиссара. Больные уснули, но Мересьев лежал с закрытыми глазами, думая о протезах, которые можно было бы прикреплять к ножному управлению в самолете хотя бы ремнями. Вспомнил он, что когда-то, еще в аэроклубе, он слышал от инструктора, старого летчика времен гражданской войны, что один коротконогий пилот привязывал к педалям колодочки.

«Я, брат, от тебя не отстану», — убеждал он Карповича. «Буду, буду летать!» — звенело и пело в голове Алексея, отгоняя сон. Он лежал тихо, закрыв глаза. Со стороны можно было подумать, что он крепко спит, улыбаясь во сне.

И тут услышал он разговор, который потом не раз вспоминал в трудные минуты жизни.

— Ну зачем, зачем вы так? Это же страшно — смеяться, шутить, когда такая боль. У меня сердце каменеет, когда я думаю, как вам больно. Почему вы отказались от отдельной палаты?

Казалось, что говорила это не палатная сестра Клавдия Михайловна, хорошенькая, ласковая, но какая-то бесплотная. Говорила женщина страстная и протестующая. В голосе ее звучало горе и, может быть, нечто большее. Мересьев открыл глаза. В свете затененного косынкой ночника увидел он на подушке бледное, распухшее лицо Комиссара с тихо и ласково посверкивающими глазами и мягкий, женственный профиль сестры. Свет, падавший сзади, делал ее пышные русые волосы словно сияющими, и Мересьев, сознавая, что поступает нехорошо, не мог оторвать от нее взгляда.

— Ай-яй-яй, сестреночка... Слезки, вот так раз! Может, бромчику примем? — как девочке, сказал ей Комиссар.

— Опять смеетесь. Ну что вы за человек? Ведь это же чудовищно, понимаете — чудовищно: смеяться, когда нужно плакать,

успокаивать других, когда самого рвет на части. Хороший вы мой, хороший! Вы не смеее, слышите, не смеее так относиться к себе...

Она долго беззвучно плакала, опустив голову. А Комиссар смотрел на худенькие, вздрагивающие под халатом плечи грустным, ласковым взглядом.

— Поздно, поздно, родная. В личных делах я всегда безобразно опаздывал, все некогда да недосуг, а теперь, кажется, опоздал совсем.

Комиссар вздохнул. Сестра выпрямилась и полными слез глазами, с жадным ожиданием посмотрела на него. Он улыбнулся, еще вздохнул и своим обычным добрым и чуть насмешливым тоном продолжал:

— Слушайте-ка, умница, историю. Мне вдруг вспомнилось. Давно это было, еще в гражданскую войну, в Туркестане. Да... Эскадрон один увлекся погоней за басмачами, да забрался в такую пустыню, что кони — а кони были российские, к пескам непривычные, — падать начали. И стали мы вдруг пехотой. Да... И вот командир принял решение: выюки побросать и с одним оружием пешком выходить на большой город. А до него километров сто шестьдесят, да по голому песку. Чуете, умница? Идем мы день, идем второй, идем третий. Солнце палит-жарит. Нечего пить. Во рту кожа трескаться стала, а в воздухе горячий песок, под ногами песок поет, на зубах хрустит, в глазах саднит, в глотку набивается, ну — мочи нет. Упадет человек на бурун, сунется лицом в землю и лежит. А комиссаром у нас был Володин Яков Павлович. На вид хлипкий, интеллигент — историком он был... Но крепкий большевик. Ему бы как будто первому упасть, а он идет и все людей шевелит: дескать, близко, скоро — и пистолетом трясет над теми, кто ложится: вставай, пристрелю...

На четвертые сутки, когда до города всего километров пятнадцать осталось, люди вовсе из сил выбились. Шатает нас, идем, как пьяные, и след за нами неровный, как за раненым зверем. И вдруг комиссар наш песню завел. Голос у него дрянной, жидкий, и песню завел чепуховую, старую солдатскую: «Чубарики, чубчики», — а ведь поддерживали, запели! Я скомандовал: «Построиться», шаг подсчитал, и — не поверите — легче идти стало.

За этой песней оторвали другую, потом третью. Понимаете, сестренка, сухими, потрескавшимися ртами да на такой жаре! Все песни по дороге перепели, какие знали, и дошли, и ни одного на песке не оставили... Видите, какая штука.

— А комиссар? — спросила Клавдия Михайловна.

— А что комиссар? Жив, здоров и теперь. Профессор он, археолог. Доисторические поселения какие-то из земли выкапывает. Голоса он после того, верно, лишился. Хрипит. Да на что

ему голос? Он же не Лемешев... А ну, хватит баек. Ступайте, умница, даю вам слово конника больше сегодня не помирать.

Мересьев заснул наконец глубоким и покойным сном. Снились ему песчаная пустыня, которой он никогда в жизни не видал, окровавленные, потрескавшиеся рты, из которых вылетают звуки песни, и этот самый Володин, который во сне почему-то походил на комиссара Воробьева.

Проснулся Алексей поздно, когда солнечные зайчики лежали уже посреди палаты, что служило признаком полдня,— и проснулся с сознанием чего-то радостного. Сон? Какой сон... Взгляд его упал на журнал, который и во сне крепко сжимала его рука. Поручик Карпович все так же натянуто и лихо улыбался с помятой страницы. Мересьев бережно разгладил журнал и подмигнул ему.

Уже умытый и причесанный, Комиссар с улыбкой следил за Алексеем.

— Чего ты с ним перемигиваешься? — довольно спросил он.

— Полетим, — ответил Алексей.

— А как же? У него только одной ноги не хватает, а у тебя обеих?

— Так ведь я же советский, русский! — отозвался Мересьев.

Он произнес это слово так, как будто оно гарантировало ему, что он обязательно превзойдет поручика Карповича и будет летать.

За завтраком он съел все, что принесла сиделка, с удивлением посмотрел на пустые тарелки и попросил еще; он был в состоянии нервного возбуждения, напевал, пробовал свистеть, вслух рассуждал сам с собой. Во время профессорского обхода, пользуясь расположением Василия Васильевича, он донял его расспросами, что нужно сделать, чтобы ускорить выздоровление. Узнав, что для этого надо больше есть и спать, он потребовал за обедом два вторых и, давась, с трудом доедал четвертую котлету. Спать же днем он не смог, хотя и пролежал с закрытыми глазами часа полтора.

Счастье бывает эгоистично. Мучая профессора вопросами, Алексей не заметил того, на что обратила внимание вся палата. Василий Васильевич явился с обходом аккуратно, как всегда, когда солнечный луч, медленно переползавший в течение дня по полу через всю палату, коснулся выщербленной паркетины. Профессор был внешне так же внимателен, но все обратили внимание на какую-то внутреннюю, совершенно не свойственную ему рассеянность. Он не бранился, не бросал своих обычных соленых словечек, и в уголках его красных, воспаленных глаз непрерывно дрожали жилки. Вечером он пришел осунувшийся, заметно постаревший. Тихим голосом сделал выговор сиделке, забывшей тряпку на дверной ручке, посмотрел температурный лист Комис-

сара, заменил ему назначение и молча пошел, сопровождаемый своей тоже растерянно молчавшей свитой,— пошел, споткнулся на пороге и упал бы, если бы его не подхватили под руки. Этому грузному, хриплоголосому, шумному ругателю положительно не шло быть вежливым и тихим. Обитатели сорок второй проводили его недоуменными взглядами. Всем успевшим полюбить этого большого и доброго человека стало как-то не по себе.

На следующее утро все разъяснилось: на Западном фронте был убит единственный сын Василия Васильевича, тоже Василий Васильевич, тоже медик, молодой, подававший надежды ученый, гордость и радость отца. В положенные часы весь госпиталь, за-таившись, ждал, придет или не придет профессор с традиционным своим обходом. В сорок второй с напряжением следили за медленным, почти незаметным движением солнечного луча по полу. Наконец луч коснулся выщербленной паркетины — все переглянулись: не придет. Но как раз в это время раздались в коридоре знакомые тяжелые шаги и топот ног многочисленной свиты. Профессор выглядел даже несколько лучше, чем вчера. Правда, глаза его были красны, веки и нос вспухли, как это бывает при сильном насморке, а полные шелушащиеся его руки заметно дрожали, когда он брал со стола Комиссара температурный лист. Но он был по-прежнему энергичен, деловит, только шумная его бранчивость исчезла.

Точно сговорившись, раненые и больные спешили наперебой чем-нибудь его порадовать. Все в этот день чувствовали себя лучше. Даже самые тяжелые ни на что не жаловались и находили, что их дело идет на поправку. И все, может быть даже с излишним усердием, превозносили госпитальные порядки и прямо-таки волшебное действие различных лечений. Это была дружная семья, сплоченная общим большим горем.

Василий Васильевич, обходя палаты, изумлялся, почему это сегодня с утра у него такие лечебные удачи.

Изумлялся ли? Может быть, он раскрыл этот безмолвный наивный заговор, и, если раскрыл, может быть, легче стало ему нести свою большую, неизлечимую рану.

9

У окошка, выходящего на восток, ветка тополя уже выбросила бледно-желтые клейкие листочки; из-под них выбились мохнатые красные сережки, похожие на жирных гусениц. По утрам листочки эти сверкали на солнце и казались вырезанными из компрессной бумаги. Они сильно и терпко пахли солоноватым молодым запахом, и аромат их, врываясь в открытые форточки, перебивал госпитальный дух.

Воробьи, прикормленные Степаном Ивановичем, совершенно обнаглели. «Автоматчик» по случаю весны обзавелся новым хвостом и стал еще более суетлив и драчлив. По утрам птицы устраивали на карнизе столь шумные сборища, что убиравшая палату сиделка, не вытерпев, с ворчаньем лезла на окно и, высунувшись в форточку, сгоняла их тряпкой.

Лед на Москве-реке прошел. Пошумев, река успокоилась, вновь легла в берега, покорно подставив могучую спину пароходам, баржам, речным трамваям, которые в те тяжелые дни заменяли поредевший автотранспорт столицы. Вопреки мрачному предсказанию Кукушкина, никого в сорок второй не смыло половодьем. У всех, за исключением Комиссара, дела шли хорошо, и только и разговоров было, что о выписке.

Первым покинул палату Степан Иванович. За день до этого он бродил по госпиталю тревожный, радостно возбужденный. Ему не сиделось на месте. Потолкавшись по коридору, он возвращался в палату, присаживался у окна, начинал что-нибудь мастерить из хлебного мякиша, но сейчас же срывался и снова убегал. Только под вечер, под самые сумерки, он стих, уселся на подоконник и глубоко задумался, вздыхая и охая. Это был час процедур, в палате оставалось трое: Комиссар, молча следивший взглядом за Степаном Ивановичем, да Мересьев, старавшийся во что бы то ни стало уснуть.

Было тихо. Вдруг Комиссар заговорил чуть слышно, повернув голову к Степану Ивановичу, — его силуэт вырисовывался на позлащенном закатом окне:

— А в деревне сейчас сумерки, тихо-тихо. Талой землей, отопревшим навозом, дымком пахнет. Корова в хлеву подстилкой шуршит, беспокоится: телиться ей время. Весна... А как они, бабы-то, успели ль по полю навоз раскинуть? А семена, а упряжь в порядке ли?

Мересьеву показалось, что Степан Иванович даже не с удивлением, а со страхом посмотрел на улыбающегося Комиссара:

— Колдун вы, товарищ полковой комиссар, что ли, чужие думки угадываете... Да-а-а, бабы, они, конечно, деловые, это верно. Однако ж бабы, черт его знает, как они там без нас... Действительно.

Помолчали. На реке гукнул пароход, и крик его весело прокатился по воде, мечась между гранитными берегами.

— А как думаешь: скоро война кончится? — спросил Степан Иванович почему-то шепотом. — К сенокосу не кончится?

— А что тебе? Год твой не воюет, ты доброволец, свое отвоевал. Вот и просись, отпустят, будешь бабами командовать, в тылу тоже деловой человек не лишний, а? Как, борода?

Комиссар с ласковой улыбкой смотрел на старого солдата. Тот спрыгнул с подоконника, взволнованный и оживленный.

— Отпустят? А? Вот я тоже располагаю, должны бы. Ведь вот думаю сейчас: нешто в комиссию заявить? И верно, три войны — империалистическую отгрохал, гражданскую всю как есть прошел да и этой хватил. Можя, и хватит, а? Как посоветуешь, товарищ полковой комиссар?

— Так и пиши в заявлении: отпустите, мол, к бабам в тыл, а другие пускай меня от немца защищают! — не стерпев, крикнул со своей койки Мересьев.

Степан Иванович виновато посмотрел на него, а Комиссар сердито поморщился:

— Чего тебе советовать, Степан Иванович, сердца своего спроси, оно у тебя русское, оно подскажет.

На следующий день Степан Иванович выписался: Переодевшись в свое, военное, он пришел в палату прощаться. Маленький, в старой, вылинявшей, добела застиранной гимнастерке, туго перехваченной поясом и так заправленной, что не было на ней ни одной складки, он казался моложе лет на пятнадцать. На груди у него сверкали начищенные до ослепительного блеска Звезда Героя, орден Ленина и медаль «За отвагу». Халат он набросил на плечи, как плащ-палатку. Распахиваясь, халат не скрывал его солдатского величия. И весь Степан Иванович, от кончика стареньких кирзовых сапог и до тонких усиков, которые он смочил и молодцевато, «шильцем», подкрутил вверх, смахивал на бравого российского воина с рождественской открытки времен войны 1914 года.

Солдат подходил к каждому товарищу по палате и прощался, называя его по званию и отщелкивая при этом каблуками с таким усердием, что на него было весело смотреть.

— Разрешите попрощаться, товарищ полковой комиссар! — отрубил он с особым удовольствием у крайней койки.

— До свиданья, Степа. Счастливо.— И Комиссар, преодолев боль, сделал движение ему навстречу.

Солдат упал на колени, обнял его большую голову, и они, по русскому обычаю, поцеловались трижды накрест.

— Поправляйся, Семен Васильевич, дай тебе бог здоровья и долгих лет, золотой ты человек! Отец нас так не жалел, век помнить буду...— растроганно бормотал солдат.

— Ступайте, ступайте, Степан Иванович, его вредно волновать,— твердила Клавдия Михайловна, дергая солдата за руку.

— И вам, сестрица, спасибо за ласку и заботу вашу,— торжественно обратился к ней Степан Иванович и отвесил ей полный земной поклон.— Ангел вы наш советский, вот вы кто...

Совершенно смущенный, не зная, что еще сказать, он стал пятиться к двери.

— А куда же писать тебе, в Сибирь, что ли? — с улыбкой спросил Комиссар.

— Да уж что там, товарищ полковой комиссар! Известно, куда солдату в войну пишут,— ответил смущенно Степан Иванович и, еще раз поклонившись земно, теперь уже всем, скрылся за дверь.

И стало в палате сразу тихо и пустовато. Потом заговорили о своих товарищах, о больших, ожидающих их боевых делах. Все поправлялись, и это были теперь не мечты, а деловые разговоры. Кукушкин уже ходил по коридорам, придираясь к сестрам, посмеиваясь над ранеными, уже ухитрился перессориться со многими из ходячих больных. Танкист тоже поднимался теперь с койки и, останавливаясь перед коридорным зеркалом, подолгу рассматривал свое лицо, шею, плечи, уже разбинтованные и заживающие. Чем оживленнее становилась его переписка с Анютой, чем глубже вникал он в ее университетские дела, тем тревожнее рассматривал он свое лицо, обезображенное ожогом. В сумерки или в полутемной комнате оно было хорошо, даже, пожалуй, красиво: тонкого рисунка, с высоким лбом, с маленьким, чуть горбатым носом, с черными короткими усиками, отпущенными в госпитале, с упрямым выражением свежих юношеских губ; но при ярком свете становилось заметным, что кожа была покрыта шрамами и стянута около них.

Когда он волновался или возвращался распаренный из водолечебницы, рубцы эти безобразили его совершенно, и, посмотрев на себя в зеркало в такую минуту, Гвоздев готов был плакать.

— Ну, чего ты киснешь? В киноартисты, что ли, собрался? Коли она, эта твоя, настоящая, так ее это не испугает, а коли испугает — значит, дура, и катись она тогда к чертям собачьим! Скатертью дорога, настоящую найдешь,— утешал Мересьев.

— Все бабы такие,— вставил Кукушкин.

— И ваша мать? — спросил Комиссар; Кукушкина, единственного во всей палате, он величал на «вы».

Трудно даже передать, какое впечатление этот спокойный вопрос произвел на лейтенанта. Кукушкин вскинулся на койке, свирепо сверкнул глазами и побледнел так, что лицо его стало белее простыни.

— Ну, вот видите, значит, бывают на свете и хорошие,— примирительно сказал Комиссар.— Почему же Грише не повезет? В жизни, хлопцы, так и бывает: по что пойдешь, то и найдешь.

Словом, вся палата оживала. Только Комиссару становилось все хуже. Он жил на морфии, на камфаре и от этого иной раз по целым суткам беспокойно дергался на койке в состоянии наркотического полузабытья. С уходом Степана Ивановича он как-то особенно подался. Мересьев попросил

переставить свою койку поближе к Комиссару, чтобы помочь ему в случае надобности. Его все больше и больше тянуло к этому человеку.

Алексей понимал, что жизнь без ног будет несравнимо тяжелей и сложнее, чем у остальных людей, и его инстинктивно тянуло к человеку, который, несмотря ни на что, умел по-настоящему жить и, невзирая на свою немощь, как магнит, притягивал к себе людей. Теперь Комиссар все реже и реже выходил из состояния тяжелого полузабытья, но в моменты просветления он был прежним.

Как-то поздним вечером, когда госпиталь затих и в его помещениях воцарилась тяжелая тишина, нарушаемая лишь глухими стонами, храпом и бредом, чуть слышно доносившимися из палат, в коридоре послышались знакомые тяжелые, громкие шаги. Мересьеву сквозь стеклянную дверь был виден весь слабо освещенный затемненными лампами коридор с фигурой дежурной сестры, сидевшей в дальнем конце у столика и вязавшей нескончаемую кофту. В конце коридора показалась высокая фигура Василия Васильевича. Он медленно шел, заложив руки за спину. Сестра вскочила было при его приближении, но он досадливо отмахнулся от нее. Халат у него был не застегнут, шапочки на голове не было, пряди густых седоватых волос свешивались ему на лоб.

— Вася идет,— шепнул Мересьев Комиссару, которому он только что излагал свой проект протеза особой конструкции.

Василий Васильевич точно споткнулся и стал, опираясь рукой о стену, что-то бормоча под нос, потом оттолкнулся от стены и вошел в сорок вторую. Он остановился посреди палаты и начал тереть лоб, точно пытаясь вспомнить что-то. От него пахло спиртом.

— Присаживайтесь, Василий Васильевич, посумерничаем,— предложил Комиссар.

Нетвердым шагом, подволакивая ноги, профессор подошел к его кровати, сел так, что застонали прогнувшиеся пружины, потер руками виски. Он и раньше не раз во время обхода задерживался возле Комиссара потолковать о ходе военных дел. Он заметно отличал Комиссара среди больных, и в этом ночном визите не было, собственно, ничего странного. Но Мересьев почему-то почувствовал, что между этими людьми может произойти какой-то особый разговор, при котором не нужен третий. Закрыв глаза, он сделал вид, что спит.

— Сегодня двадцать девятое апреля, день его рождения. Ему исполнилось — нет, должно было исполниться тридцать шесть лет,— тихо сказал профессор.

С большим усилием Комиссар выпростал из-под одеяла огромную, распухшую руку и положил ее на руку Василия



Васильевича. И случилось невероятное: профессор заплакал. Было невыносимо видеть, как плачет этот большой, сильный, волевой человек. Алексей невольно втянул голову в плечи и закрылся одеялом.

— Перед тем как ехать туда, он пришел ко мне. Он сказал, что записался в ополчение, и спросил, кому передать дела. Он работал тут, у меня. Я был так поражен, что даже накричал на него. Я не понимал, зачем кандидату медицины, талантливому ученому нужно было брать винтовку. Но он сказал — я помню это слово в слово, — он сказал мне: «Папа, бывает время, когда кандидат медицины должен брать винтовку». Он так сказал и опять спросил: «Кому сдавать дела?» Мне стоило только поднять телефонную трубку — и ничего, ничего бы не случилось, понимаете — ничего! Ведь он же заведовал у меня отделением, он работал в военном госпитале... Ведь так?

Василий Васильевич замолчал. Было слышно, как он тяжело и хрипло дышит.

— Не надо, голубчик, что вы, что вы, уберите руку, я знаю, как вам больно шевелиться... Да, и я думал всю ночь, как быть. Вы понимаете, мне было известно, что еще у одного человека — вы знаете, о ком я говорю, — был сын, офицер, и его убили в первые дни войны. И вы знаете, что сделал этот отец? Он послал на фронт второго сына, послал летчиком-истребителем — на самую опасную воинскую специальность... Я думал тогда об этом человеке, мне стало стыдно своих мыслей, и я не позвонил по телефону...

— А сейчас жалеете?

— Нет. Разве это называется сожалением? Я хожу и думаю: неужели я убийца своего единственного сына? Ведь он мог быть сейчас здесь, со мной, и мы бы оба делали с ним очень полезные для страны дела. Ведь это же был настоящий талант — живой, смелый, сверкающий. Он мог стать гордостью советской медицины... если бы мне тогда позвонить!

— Вы жалеете, что не позвонили?

— О чем вы? Ах, да... Не знаю, не знаю.

— А если бы теперь все повторилось снова, вы сделали бы иначе?

Наступило молчание. Слышалось ровное дыхание спящих. Ритмично поскрипывала кровать — очевидно, профессор в тяжелом раздумье раскачивался из стороны в сторону, — да в батареях парового отопления глухо постукивала вода.

— Так как же? — спросил Комиссар, и в голосе его чувствовалась бесконечная теплота.

— Не знаю... На ваш вопрос сразу не ответишь. Не знаю, но, кажется, повторись все сначала, я поступил бы так же.

Я же не лучше, но и не хуже других отцов... Какая это страшная вещь — война...

— И поверьте, другим отцам при страшной вести было не легче вашего. Нет, не легче.

Василий Васильевич долго сидел молча. О чем он думал, какие мысли ползли в эти тягучие минуты под его высоким морщинистым лбом?

— Да, вы правы, ему было не легче, и все-таки он послал второго... Спасибо, голубчик, спасибо, родной! Эх! Что там толковать...

Он встал, постоял у койки, заботливо положил на место и закрыл руку Комиссара, подоткнул у него одеяло и молча вышел из палаты. А ночью Комиссару стало плохо. Без сознания, он то начинал метаться по койке, скрежеща зубами и громко стелая, то вдруг стихал, вытягивался, и всем казалось, что наступил конец. Он был так плох, что Василий Васильевич, который со дня смерти сына переехал из огромной пустой квартиры в госпиталь, где он спал теперь на клеенчатой кушетке в маленьком своем кабинетике, распорядился отгородить его от остальных ширмой, что делалось обычно, как было известно, перед тем как больной отправлялся в «пятидесятую палату».

Потом, когда с помощью камфары и кислорода пульс наладился, дежурный врач и Василий Васильевич ушли досыпать остаток ночи; за ширмой осталась только Клавдия Михайловна, встревоженная и заплаканная. Мересьев тоже не спал, со страхом думая: «Неужели это конец?» А Комиссар все мучился. Он метался и в бреду вместе со стоном упрямо, хрипло выговаривал какое-то слово, и показалось Мересьеву, что он требует:

— Пить, пить, да пить же!

Клавдия Михайловна вышла из-за ширмы и дрожащими руками налила воды в стакан.

Но больной воды не принял, стакан напрасно стучал о его зубы, вода плескалась на подушку, а Комиссар упорно, то прося, то требуя, то приказывая, произносил все то же слово. И вдруг понял Мересьев, что слово это не «пить», а «жить», что в крике этом бессознательно бунтует против смерти все существо могучего человека.

Потом Комиссар стих и открыл глаза.

— Слава богу! — прошептала Клавдия Михайловна и с облегчением стала свертывать ширму.

— Не надо, оставьте, — остановил ее голос Комиссара. — Не надо, сестренка, так нам уютнее, и плакать не надо: и без вас на свете слишком сыро... Ну, что вы, советский ангел!.. Как жалко, что ангелов, даже таких, как вы, встречаешь только на пороге... туда.

Странное состояние переживал Алексей.

С тех пор как он поверил, что путем тренировки сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.

Теперь у него была цель жизни: вернуться к профессии истребителя. С тем же фанатическим упрямством, с каким он, обезножев, выползал к своим, стремился он к этой цели. Еще в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя попусту драгоценного времени. И вышло, что он должен, во-первых, быстрее поправиться, вернуть утраченные во время голодания здоровье и силу, а для этого больше есть и спать; во-вторых, восстановить боевые качества летчика и для этого развивать себя физически доступными ему, пока еще коечному больному, гимнастическими упражнениями; в-третьих, и это было самое важное и трудное, развивать обрубленные по голень ноги так, чтобы сохранить в них силу и ловкость, а потом, когда появятся протезы, научиться проделывать на них все необходимые для управления самолетом движения.

Даже хождение для безногого — нелегкое дело. Мересьев же намеревался управлять самолетом, и именно истребителем. А для этого, в особенности в мгновения воздушного боя, когда все рассчитано на сотые доли секунды и согласованность движений должна подниматься до степени безусловного рефлекса, ноги должны уметь проделывать не менее точную, искусную, а главное — быструю работу, чем руки. Нужно было так себя натренировать, чтобы пристегнутые к обрубкам ног куски дерева и кожи выполняли эту тонкую работу, как живой орган.

Любому человеку, знакомому с техникой пилотажа, это показалось бы невероятным. Но Алексей верил теперь, что это в пределах человеческих возможностей, а раз так, то он, Мересьев, обязательно этого достигнет. И вот Алексей взялся за осуществление своего плана. С педантизмом, который поражал его самого, он взялся исполнять прописанные процедуры и принимал положенное количество лекарств. Он много ел, всегда требовал добавки, хотя иной раз у него и не было аппетита. Что бы ни случилось, он заставлял себя отсыпать положенное число часов и даже выработал привычку спать после обеда, которой долго сопротивлялась его деятельная и подвижная натура.

Заставить себя есть, спать, принимать лекарства — нетрудно. С гимнастикой было хуже. Обычная система, по которой Мересьев раньше делал зарядку, человеку, лишенному ног, привязанному к койке, не годилась. Он придумал свою: по целым

часам сгибался, разгибался, упершись руками в бока, крутил торс, поворачивал голову с таким азартом, что хрустели позвонки. Товарищи по палате добродушно посмеивались над ним. Кукушкин поддразнивал его, называя то братьями Знаменскими, то Лядумегом, то именами каких-то других знаменитых бегунов. Он видеть не мог этой гимнастики, которую считал образцом госпитальной дури, и обычно, как только Алексей за нее брался, убегал в коридор, брюзжа и сердясь.

Когда с ног сняли бинты и Алексей получил в пределах койки бóльшую подвижность, он усложнил упражнения. Подсунув обрубки ног под спинку кровати, упершись руками в бока, он медленно сгибался и разгибался, с каждым разом замедляя темп и увеличивая число «поклонов». Затем он разработал серию упражнений для ног. Улегшись на спину, он по очереди то сгибал их, подтягивая к себе, то разгибал, выбрасывая вперед. Когда он в первый раз проделал это, то сразу понял, какие огромные, а может быть, непреодолимые трудности его ожидают. В обрубленных по голень ногам подтягивание вызывало острую боль. Движения были робки и неверны. Их трудно было рассчитать, как, скажем, трудно лететь на самолете с поврежденным крылом или хвостом. Невольно сравнивая себя с самолетом, Мересьев понял, что вся идеально рассчитанная конструкция человеческого тела у него нарушена и, хотя тело еще цело и крепко, оно никогда не достигнет прежней, с детства выработанной гармонии движений.

Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днем отводил ей на минуту больше, чем вчера. Это были страшные минуты — минуты, когда слезы сами лились из глаз и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. Но он заставлял себя проделывать упражнения сначала один, потом два раза в день, с каждым разом увеличивая их продолжительность. После каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью: сумеет ли он снова возобновить их? Но приходило положенное время, и он принимался за свое. Вечером он ощупывал мускулы бедра, голени и с удовольствием чувствовал под рукой не дряблое мясо и жирок, как это было вначале, а прежний, тугой мускул.

Ноги занимали у Мересьева все мысли. Порой, забывшись, он ощущал боль в ступне, менял позу, и только тут доходило до его сознания, что ступни нет. В силу какой-то нервной аномалии отрезанные части ног еще долго как бы жили вместе с телом, вдруг начинали чесаться, ныть к сырой погоде и даже болели. Он так много думал о ногах, что часто видел себя во сне здоровым, быстрым. То по тревоге несется во весь опор к самолету, с ходу вспрыгивает на крыло, садится в кабину и пробует ногами рули, пока Юра снимает чехол с мотора. То

вместе с Олей, взявшись за руки, бегут они что есть духу по цветущей степи, бегут босиком, ощущая ласковое прикосновение влажной и теплой земли. Как это хорошо и как тяжело после этого, проснувшись, увидеть себя безногим!

После таких снов Алексей впадал иногда в угнетенное состояние. Ему начинало казаться, что он зря себя мучает, что никогда ему не летать, как никогда не бегать ему босиком по степи с милой девушкой из Камышина, которая становилась ему все ближе, все желаннее, по мере того как все больше и больше времени отдаляло его от нее.

Отношения с Олей не радовали Алексея. Почти каждую неделю Клавдия Михайловна заставляла его «плясать», то есть прыгать на койке, прихлопывая в ладоши, чтобы получить от нее конверт, надписанный круглым и аккуратным ученическим почерком. Письма эти становились все пространнее, все теплее, как будто короткая, юная, прерванная войной любовь становилась для Оли все более и более зрелой. С тревожной тоской читал он эти строки, зная, что не имеет права ответить ей тем же.

Школьные товарищи, учившиеся вместе в фабзавуче при деревообделочном заводе в городе Камышине, питавшие в детстве друг к другу романтическую симпатию, которую они лишь в подражание взрослым именовали любовью, расстались потом на шесть-семь лет. Сначала девушка уехала учиться в механический техникум. Потом, когда она вернулась и стала работать механиком на заводе, Алексея уже не было в городе. Он учился в лётной школе. Встретились снова они незадолго перед войной. Ни он, ни она не искали этой встречи и, может быть, даже не вспоминали друг друга — слишком уж много воды утекло с тех пор. Но однажды весенним вечером Алексей шел по улице городка, провожая куда-то мать, и им навстречу попала девушка, на которую он даже не обратил внимания, заметив лишь ее стройные ноги.

«Что же ты не поздоровался? Аль забыл — ведь это же Оля», — и мать назвала фамилию девушки.

Алексей обернулся. Девушка тоже обернулась и смотрела им вслед. Взгляды их встретились, и он почувствовал, как сразу встрепенулось сердце. Оставив мать, он бегом пустился к девушке, стоявшей на тротуаре под голым тополком.

«Ты?» — удивленно произнес он, оглядывая ее такими глазами, словно перед ним была какая-то красивая заморская диковинка, неведомо как попавшая на тихую вечернюю, полную весенней грязи улицу.

«Алеша?» — так же удивленно и даже недоверчиво спросила она.

Они смотрели друг на друга, в первый раз после шестилет-

ней или семилетней разлуки. Перед Алексеем стояла миниатюрная девушка, стройная, гибкая, с круглым и милым мальчишеским лицом, чуть побрызганным по переносице золотыми веснушками. Она смотрела на него большими серыми лучистыми глазами, слегка подняв мягко очерченные брови со щеточками на концах. В этой легкой, свежей, изящной девушке было очень мало от того круглоликого, румяного и грубоватого подростка, крепкого, как гриб-боровичок, важно ходившего в засаленном отцовском рабочем пиджаке с закатанными рукавами, каким она была в год их последних встреч в фабзавуче.

Позабыв про мать, Алексей восхищенно смотрел на нее, и ему казалось, что он все эти шесть или семь лет никогда ее не забывал и мечтал об этой встрече.

«Вот ты теперь какая!» — сказал он наконец.

«Какая?» — спросила она звонким гортанным, тоже совсем другим, чем в школе, голосом.

Из-за угла вырвался ветерок, просвистел в голых прутьях тополька. Рванул юбку девушки, охватившую ее стройные ноги. Простым, естественно грациозным движением прижала она юбку и, засмеявшись, присела.

«Вот какая!» — повторил Алексей, уже не скрывая своего восхищения.

«Да какая же, какая?» — смеялась она.

Посмотрев на молодых людей, мать грустно улыбнулась и пошла своей дорогой. А они все еще стояли, любясь друг другом, и не давали друг другу говорить, перебивая себя восклицаниями: «а помнишь», «а знаешь», «а где теперь...», «а что теперь...».

Они долго стояли так, пока Оля не показала на окна ближайших домиков, за стеклами которых среди гераней, елочек белели любопытствующие лица.

«У тебя есть время? Пойдем на Волгу», — сказала она, и, взявшись за руки, чего они не делали даже в годы отрочества, забыв обо всем на свете, они отправились на крутоярье — высокий, обрывавшийся к реке холм, откуда открывался просторный вид на широко разлившуюся Волгу, по которой торжественно плыли льдины.

С этих пор мать редко видела дома своего любимца. Неприхотливый в одежде, он начал вдруг ежедневно гладить себе брюки, чистить мелом пуговицы форменной куртки, достал из чемодана фуражку с белым верхом и парадным лётным знаком, ежедневно брил свою жесткую щетину, а по вечерам, повертевшись около зеркала, отправлялся к заводу встречать Олю, возвращавшуюся с работы. Днем он тоже где-то пропадал, был рассеян, невпопад отвечал на вопросы. Старушка материнским чутьем все поняла. Поняла и не обиделась: старому стариться, молодому расти.

Молодые люди ни разу не говорили о своей любви. Возвращаясь после прогулки над сверкающей в вечернем солнце тихой Волгой или вдоль окружавших город бахчей, где на черной и густой, как деготь, земле уже лежали толстые плети с лапчатыми темно-зелеными листьями, считая дни таявшего отпуска, Алексей давал себе слово поговорить с Олей начистоту. Приходил новый вечер. Он встречал ее у завода, провожал до деревянного двухэтажного домика, где у нее была маленькая комната, светлая и чистая, как кабинка самолета. Терпеливо ждал, пока она переодевалась, скрывшись за дверью платяного шкафа, и старался не смотреть на мелькавшие из-за двери голые локти, плечи, ноги. Потом она шла умываться и возвращалась румяная, свежая, с мокрыми волосами, всегда в одной и той же беленькой шелковой блузке, которую она носила по будням.

И они шли в кино, в цирк или в сад. Куда — Алексею было все равно. Он не смотрел на экран, на арену, на гуляющую толпу. Он смотрел на нее, смотрел и думал: «Вот теперь обязательно, ну обязательно объяснюсь по дороге домой!» Но дорога кончалась, и у него не хватало духу.

Раз в воскресенье они с утра решили ехать в луга за Волгу. Он зашел за ней в лучших своих белых брюках и в рубашке с открытым воротом, которая, по словам матери, очень шла к его смуглому скуластому лицу. Оля была уже готова. Сунула ему в руку какой-то узелок, завернутый в салфетку, и они пошли к реке. Старый безногий перевозчик, инвалид первой мировой войны, любимец мальчишек, учивший в свое время Алексея ловить пескарей на перекате, гремя своими деревяшками, оттолкнул тяжелую лодку и короткими рывками стал грести. Мелкими толчками, пересекая течение наискось, лодка пошла через реку навстречу пологому, ярко зеленевшему берегу. Девушка сидела на корме, задумчиво ведя рукой по воде.

«Дядя Аркаша, ты нас не помнишь?» — спросил Алексей.

Перевозчик равнодушно посмотрел на молодые лица.

«Не помню», — сказал он.

«Ну как же, я Алешка Мересьев, ты меня на косе учил пескарей вилкой щучить».

«Ну что ж, может, и учил, много вас тут у меня озоровало, где же всех упомянуть!»

Лодка прошла мостки, у которых стоял бокастый катер с гордой надписью «Аврора» на облупленном борту, и с хрустом врезалась в крупный песок берега.

«Теперь здесь мое место. Я не от горкомхоза, а от себя — участник, значит, — пояснил дядя Аркаша, слезая в воду своими деревяшками и подталкивая лодку к берегу; деревяшки

тонули в песке, и лодка шла туго.— Придется вам прыгать так», — флегматично сказал перевозчик.

«Сколько тебе?» — спросил Алексей.

«А давай сколько не жаль. С вас побольше бы полагалось, вон вы какие счастливые! Только не припомню я вас, нет, не припомню».

Прыгая с лодки, они промочили ноги, и Оля предложила разуться. Они разулись. От прикосновения босых ног к влажному теплему речному песку стало им так свободно и весело, что захотелось бегать, кувыркаться, кататься по траве, как козлята.

«Лови!» — крикнула Оля и, быстро-быстро перебирая крепкими загорелыми ногами, побежала через песчаную отмель на пологий заливной берег, в изумрудную зелень цветущих лугов.

Алексей бежал за ней что есть силы, видя перед собой только пестрое пятно ее легкого цветастого платья. Он бежал, чувствуя, как цветы и султанчики щавеля больно хлещут его по босым ногам, как тепло и мягко поддается под ступнями влажная, разогретая солнцем земля. Ему казалось, что для него очень важно догнать Олю, что от этого зависит многое в их будущей жизни, что, наверно, сейчас тут, на цветущем, одуряюще пахнущем лугу, он легко скажет ей все, что до сих пор не хватало духу ей высказать. Но как только он начинал ее настигать и протягивал к ней руки, девушка делала крутой поворот, как-то по-кошачьи вывертывалась и, рассыпая звонкий смех, убегала в другом направлении.

Она была упряма. Так он ее и не догнал. Она сама свернула с луга на берег и бросилась в золотой горячий песок, вся покрасневшая, с открытым ртом, высоко, часто вздымающейся грудью, жадно вдыхая воздух и смеясь. На цветущем лугу, среди белых звездочек ромашек, он сфотографировал ее. Потом они купались, и он покорно уходил в прибрежный кустарник и отворачивался, пока она переодевалась и выжимала мокрый купальный костюм.

Когда она окликнула его, он увидел ее сидящей на песке, с поджатыми под себя загорелыми ногами, в одном тонком и легком платье, с головой, обмотанной лохматым полотенцем. Расстелив на траве чистую салфетку, прижав ее по углам камешками, она раскладывала на ней содержимое узелка. Они пообедали салатом, холодной рыбой, аккуратно завернутой в промасленную бумагу; было даже самодельное печенье. Оля не позабыла даже соли, даже горчицы, которые стояли в маленьких баночках из-под кольдкрема. Было что-то очень милое и трогательное в том, как эта легкая и ясная девушка хозяйничает серьезно и умело. Алексей решил: довольно тя-

нуть. Все. Сегодня вечером он с ней объяснится. Он убедит ее, он докажет ей, что она обязательно должна стать его женой.

Повалявшись на пляже, еще раз выкупавшись и договорившись вечером встретиться у нее, они, усталые и счастливые, медленно пошли к перевозу. Почему-то не было ни катера, ни лодки. Они долго, до хрипоты звали дядю Аркашу. Солнце ложилось уже в степь. Снопы ярко-розовых лучей, скользнув по гребню крутоярья на той стороне, золотили крыши домов городка, пыльные притихшие деревья кроваво сверкали в стеклах окон. Летний вечер был зноен и тих. Но что-то в городке случилось. На улицах, обычно пустынных в такую пору, сновало много народу, проехали два грузовика, набитые людьми, прошла строем небольшая толпа.

«Напился, что ли, дядя Аркаша? — предположил Алексей. — А что, если придется здесь ночевать?»

«С тобой я ничего не боюсь», — сказала она, взглянув на него своими большими лучистыми глазами.

Он обнял ее и поцеловал, поцеловал в первый и единственный раз. На реке уже глухо постукивали уключины. С того берега двигалась переполненная народом лодка. Теперь с неприязнью посмотрели они на эту приближавшуюся к ним лодку, но почему-то покорно пошли ей навстречу, словно предчувствуя, что она им везет.

Люди молча спрыгивали с лодки на берег. Все были празднично одеты, но лица у них были озабоченны и хмуры. Молча проходили по кладям мимо парочки серьезные торопливые мужчины и взволнованные, заплаканные женщины. Ничего не понимая, молодые люди спрыгнули в лодку, и дядя Аркаша, не глядя на их счастливые лица, сказал:

«Война... Сегодня по радио сообщили, что началась...»

«Война?.. С кем?» — Алексей даже подскочил на скамейке.

«Все с им, проклятым, с германцем, с кем же, — сердито загребая веслами и резко толкая их, ответил дядя Аркаша. — Уже народ по военкоматам пошел... Мобилизация».

Прямо с прогулки, не заходя домой, Алексей зашел в военный комиссариат. С ночным поездом, отошедшим в 12.40, он уже уехал по назначению в свою лётную часть, едва успев забежать домой за чемоданом и даже не простившись с Олей.

Они переписывались редко, но не потому, что их симпатии ослабели и они стали забывать друг друга, — нет. Ее писем, написанных круглым ученическим почерком, он ждал нетерпеливо, носил их в кармане и, оставаясь наедине, перечитывал снова и снова. Это их прижимал он к груди и на них смотрел в суровые дни лесных скитаний. Но отношения между молодыми людьми оборвались так внезапно и в такой неопре-

деленной стадии, что в письмах этих они говорили друг с другом, как старые добрые знакомые, как друзья, боясь примешивать к этому что-то большее, что так и осталось невысказанным.

И вот теперь, попав в госпиталь, Алексей с недоумением, возраставшим от письма к письму, замечал, как Оля вдруг пошла сама ему навстречу, как, не стесняясь, говорила она теперь в письмах о своей тоске, жалела, что не вовремя приехал за ними тогда дядя Аркаша, просила, что бы с ним ни случилось, пусть он знает, что есть человек, на которого он может всегда рассчитывать, и чтобы, скитаясь по чужим краям, он знал, что у него есть угол, куда он может, как свой, вернуться с войны. Казалось, писала какая-то новая, другая Оля. Когда он глядел на ее карточку, ему всегда думалось: дунь ветер и она улетит вместе со своим цветастым платьем, как улетают парашютики семян созревших одуванчиков. Писала же эти письма женщина — хорошая, любящая, тоскующая по любимому и ожидающая его. Это радовало и смущало, радовало помимо воли, а смущало потому, что Алексей считал — он не имеет права на такую любовь и недостойн такой откровенности. Ведь он не нашел в себе силы написать в свое время, что он уже не тот цыгановатый, полный сил юноша, а безногий инвалид, похожий на дядю Аркашу. Не решившись написать правду, боясь убить больную мать, он принужден был теперь обманывать Олю в письмах, запутываясь в этом обмане с каждым днем все больше и больше.

Вот почему письма из Камышина вызывали в нем самые противоречивые чувства: радости и горя, надежды и тревоги; они одновременно и вдохновляли и мучили его. Однажды солгав, он принужден был выдумывать дальше, а врать он не умел, и поэтому его ответы Оле были коротки и сухи.

Легче было писать «метеорологическому сержанту». Это была несложная, но самоотверженная, честная душа. В минуту отчаяния, после операции, чувствуя потребность излить кому-нибудь свое горе, Алексей написал ей большое и мрачное письмо. В ответ получил вскоре тетрадный лист, исписанный витиеватыми буквами, точно бублик тмином, осыпанный восклицательными знаками и украшенный кляксами от слез. Девушка писала, что, если бы не военная дисциплина, она сейчас же все бы бросила и приехала к нему, чтобы ухаживать за ним и делить его горе. Она умоляла больше писать. И столько было в сумбурном письме наивного, полудетского чувства, что Алексею стало грустно, и он бранил себя за то, что, когда эта девушка передавала ему Олины письма, он на ее вопрос называл Олю своей замужней сестрой. Такого человека нельзя было обманывать. Он честно написал ей о невесте, жи-

вущей в Камышине, и о том, что не решился сообщить матери и Оле правду о своем несчастье.

Ответ «метеорологического сержанта» прибыл по тем временам неправдоподобно быстро. Девушка писала, что посылает письмо с одним заехавшим к ним в полк майором, военным корреспондентом, который ухаживал за ней и на которого она, конечно, не обратила внимания, хотя он веселый и интересный. По письму видно, что она огорчена и обижена, хочет сдержаться, хочет — и не может. Пеняя ему за то, что он не сказал ей тогда правды, она просила считать ее своим другом. В конце письма уже не чернилами, а карандашом было приписано, что пусть он, «товарищ старший лейтенант», знает, что она крепкий друг и что если та, из Камышина, ему изменит (она-де знает, как ведут себя женщины там, в тылу), или разлюбит, или убьют его увечья, то пусть он не забывает о «метеорологическом сержанте», только пусть пишет ей всегда одну правду. С письмом передали Алексею тщательно зашитую посылочку. В ней было несколько вышитых носовых платочков из парашютного шелка с его меткой, кисет, на котором был изображен летящий самолет, гребенка, одеколон «Магнолия» и кусок туалетного мыла. Алексей знал, как дороги были девушкам-солдатам все эти вещицы в те трудные времена. Знал, что мыло и одеколон, попавшие к ним в каком-нибудь праздничном подарке, сохраняются ими обычно как священные амулеты, напоминающие прежнюю, гражданскую жизнь. Он знал цену этим подаркам, и ему было радостно и неловко, когда он раскладывал их на своей тумбочке.

Теперь, когда он со всей свойственной ему энергией тренировал искалеченные ноги, мечтая вернуть себе возможность летать и воевать, он чувствовал в себе неприятную раздвоенность. Его очень тяготило, что он вынужден лгать и недоговаривать в письмах к Оле, чувство к которой крепло в нем с каждым днем, и откровенничать с девушкой, которую он почти не знал.

Но он дал себе торжественное слово, что, только осуществив свою мечту, вернувшись в строй, восстановив свою работоспособность, он вновь заговорит с Олей о любви. С тем большей фанатичностью стремился он к этой своей цели.

11

Комиссар умер первого мая.

Произошло это как-то незаметно. Еще утром, умытый и причесанный, он дотошно выпрашивал у брившей его парикмахерши, хороша ли погода, как выглядит праздничная Мо-

сква, порадовался, что начали разбирать на улицах баррикады, посетовал, что в этот вот сверкающий, богатый весенний день не будет демонстрации, пошутил над Клавдией Михайловной, предпринявшей по случаю праздника новую героическую попытку запудрить свои веснушки. Казалось, ему стало лучше, и у всех родилась надежда: может быть, дело пошло на поправку.

Уже давно, с тех пор как он лишился возможности читать газеты, к его койке провели наушники радиотрансляции. Гвоздев, немного смекавший в радиотехнике, что-то реконструировал в них, и теперь они орали и пели на всю палату. В девять часов диктор, голос которого в те дни слушал и знал весь мир, начал читать приказ народного комиссара обороны. Все замерли, боясь пропустить хотя бы слово и вытянув головы к двум черным кругляшам, висевшим на стене. Уже прозвучали слова: «Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперед к победе!» — а в палате еще царила напряженная тишина.

— Вот разъясните мне такое дело, товарищ полковой комиссар... — начал было Кукушкин и вдруг вскрикнул с ужасом: — Товарищ комиссар!

Все оглянулись. Комиссар лежал на кровати, прямой, вытянутый, строгий, с глазами, неподвижно устремленными в какую-то точку на потолке, и на лице его, осунувшемся и побелевшем, окаменело торжественное, покойное и величавое выражение.

— Умер! — вскрикнул Кукушкин, бросаясь на колени у его кровати. — У-ме-ер!

Вбегали и выбегали растерянные сиделки, металась сестра, застегивая на ходу халат, влетел ординатор. Не обращая ни на кого внимания, по-детски зарыв лицо в одеяло, шумно сопя, вздрагивая плечами и всем телом, рыдал на груди покойного лейтенант Константин Кукушкин, вздорный и неуживчивый человек...

Вечером этого дня в опустевшую сорок вторую принесли новичка. Это был летчик-истребитель, майор Павел Иванович Стручков, из дивизии воздушного прикрытия столицы. В праздник немцы решили совершить на Москву большой налет. Их соединения, двигавшиеся несколькими эшелонами, были перехвачены и после жестокого сражения разбиты где-то в районе Подсолнечной, и только один «юнкерс» прорвался сквозь кольцо и, набирая высоту, продолжал путь к столице. Экипаж его решил, должно быть, любой ценой выполнить задание, чтобы омрачить праздник. Вот за ним-то, заметив его еще в суматохе воздушного боя, и погнался Стручков. Он летел на великолепной советской машине — из тех, какими начала тогда переос-

нащатся истребительная авиация. Он настиг немца высоко, в шести километрах над землей, уже над подмосковной дачной местностью, сумел ловко подобраться к его хвосту и, поймав врага в целик, нажал гашетку. Нажал и удивился, не услышав знакомого тарахтения. Спусковой механизм отказал.

Немец шел чуть впереди. Стручков тянулся за ним, держась в мертвой зоне, прикрытый килем его хвоста от двух пулеметов, защищавших бомбардировщик сзади. В свете чистого майского утра Москва уже вырисовывалась неясно на горизонте ворохом серых громад, затянутых дымкой. И Стручков решился. Расстегнул ремни, откинул колпак и сам как-то весь поджался, напряг все мускулы, будто готовясь прыгнуть на немца. Точно приладив ход своей машины к ходу бомбардировщика, он прицелился. Мгновение они висели в воздухе рядом, один позади другого, словно близко привязанные друг к другу невидимой нитью. Стручков четко видел в прозрачном колпаке «юнкерса» глаза немецкого башенного стрелка, следившего за каждым его маневром и выжидавшего, когда хоть кусок его крыла выйдет из мертвой зоны. Он видел, как от волнения немец сорвал с себя шлем, и даже различил цвет его волос, русых и длинных, спадавших на лоб сосульками. Черные рыльца спаренного крупнокалиберного пулемета неотрывно смотрели в сторону Струčkова и пошевеливались, как живые, выжидая. На мгновение Стручков почувствовал себя безоружным человеком, на которого вор наставил пистолет. И он сделал то, что делают в таких случаях смелые безоружные люди. Он сам бросился на врага, но не с кулаками, как это сделал бы на земле,— он бросил вперед свой самолет, нацелившись сверкающим кругом своего винта в хвостовое оперение немца.

Он даже не услышал треска. В следующее мгновение, подброшенный страшным толчком, он почувствовал, что перевертывается в воздухе. Земля пронеслась у него над головой и, став на место, со свистом ринулась ему навстречу, ярко-зеленая и сияющая. Тогда он рванул кольцо парашюта. Но, прежде чем без сознания повиснуть на стропах, краем глаза он успел заметить, что рядом, вращаясь, как кленовый лист, сорванный осенним ветром, обгоняя его, несется вниз сигарообразная туша «юнкерса» с отрубленным хвостом. Струčkова, бессильно раскачивавшегося на стропах, крепко ударило о крышу дома, и он без сознания упал на праздничную улицу московского пригорода, жители которого с земли наблюдали его великолепный таран. Они подхватили его, отнесли в ближайший дом. Прилегающие улицы сразу же заполнила такая толпа, что вызванный врач еле пробрался к крыльцу. От удара о крышу у летчика оказались поврежденными коленные чашечки.

Весть о подвиге майора Стручкова была немедленно передана по радио специальным выпуском «Последних известий». Председатель Моссовета сам провожал его в лучший госпиталь столицы. И, когда Стручкова доставили в палату, вслед за ним санитарки внесли цветы, кульки с фруктами, коробки конфет — дары благодарных москвичей.

Это был веселый, общительный человек. Чуть ли не с порога палаты он осведомился у больных, как тут в госпитале «насчет пожрать», строг ли режим, есть ли хорошенькие сестры. А пока его перебинтовывали, успел рассказать Клавдии Михайловне забавный анекдот на вечную тему о Военторге и вернуть довольно смелый комплимент ее внешности. Когда сестра вышла, Стручков подмигнул ей вслед:

— Симпатия. Строга? Небось держит вас в страхе божьем? Ничего, не дрейфьте. Что вас, тактике не учили, что ли? Неприступных женщин нет, как нет и неприступных укреплений! — И он расхохотался раскатисто, громко.

Он вел себя в госпитале как старожил, как будто пролежал тут целый год. Со всеми в палате он сразу перешел на «ты» и, когда ему понадобилось высморкаться, бесцеремонно взял с тумбочки Мересьева носовой платок из парашютного шелка со старательно вышитой «метеорологическим сержантом» меткой.

— От симпатии? — Он подмигнул Алексею и спрятал платок себе под подушку. — Тебе, друг, хватит, а не хватит — симпатия еще вышьет, ей это — лишнее удовольствие.

Несмотря на румянец, пробивавшийся сквозь загар его щек, был он уже не молод. На висках, у глаз, гусиными лапками лучились глубокие морщины, и во всем чувствовался старый солдат, привыкший считать домом то место, где стоит его вещевой мешок, где на рукомойнике лежат его мыльница и зубная щетка. Он внес с собой в палату много веселого шума и сделал это так, что никто не был на него за это в обиде и всем казалось — знают они его уже давным-давно. Новый товарищ пришелся всем по сердцу, и только не понравилась Мересьеву явная склонность майора к женскому полу, которую он, впрочем, не таил и о которой охотно распространялся.

На следующий день хоронили Комиссара.

Мересьев, Кукушкин, Гвоздев сидели на подоконнике выходящего во двор окна и видели, как тяжелая упряжка артиллерийских коней вкатила во двор пушечный лафет, как, сверкая на солнце трубами, собрался военный оркестр и строем подошла воинская часть. Вошла Клавдия Михайловна и согнала больных с окна. Она была, как и всегда, тихая и энергичная, но Мересьев почувствовал, что голос у нее изменился, дрожит и срывается. Она пришла измерить новичку температуру. В это время оркестр во дворе заиграл траурный

марш. Сестра побледнела, термометр выпал из ее рук, и сверкающие капельки ртути побежали по паркетному полу. Закрыв лицо руками, Клавдия Михайловна выбежала из палаты.

— Что с ней? Милого ее, что ли...— Стручков кивнул головой в сторону окна, откуда плыла тягучая музыка.

Никто ему не ответил.

Свесившись через подоконник, все смотрели на улицу, куда из ворот медленно выплывал на лафете красный гроб. В зелени, в цветах лежало тело Комиссара. За ним на подушках несли ордена — один, два, пять, восемь... Опустив головы, шли какие-то генералы. Среди них, тоже в генеральской шинели, но почему-то без фуражки, шел и Василий Васильевич. Позади, поодаль от всех, перед медленно отбивавшими шаг бойцами, простоволосая, в белом своем халатике, спотыкаясь и, должно быть, не видя ничего перед собой, шла Клавдия Михайловна. В воротах кто-то накинул ей на плечи пальто. Она продолжала идти, пальто соскользнуло с ее плеч и упало, и бойцы прошли, раскалывая шеренги пополам и обходя его.

— Хлопцы, кого хоронят? — спросил майор.

Он тоже все пытался подняться к окну, но ноги его, зажатые в лубки и залитые в гипс, мешали ему, и он не мог дотянуться.

Процессия удалилась. Уже издали глухо плыли по реке, отдаваясь от стен домов, тягучие торжественные звуки. Уже вышла из ворот хромая дворничиха и закрыла со звоном металлические ворота, а обитатели сорок второй все еще стояли у окна, провожая Комиссара в его последний путь.

— Кого же хоронят? Ну? Чего это вы все точно деревянные! — нетерпеливо спрашивал майор, все еще не оставляя своих попыток дотянуться до подоконника.

Тихо, глухо, надтреснутым и словно серым голосом ответил ему наконец Константин Кукушкин:

— Настоящего человека хоронят... Большевика хоронят.

И Мересьев запомнил это: настоящего человека. Лучше, пожалуй, и не назовешь Комиссара. И очень захотелось Алексею стать настоящим человеком, таким же, как тот, кого сейчас увезли в последний путь.

12

Со смертью Комиссара изменился весь строй жизни сорок второй палаты.

Некому было сердечным словом нарушать мрачную тишину, которая порой наступает в палатах госпиталей, когда, не

сговариваясь, все погружаются вдруг в невеселые думы и на всех нападает тоска. Некому было шуткой поддержать упавшего духом Гвоздева, дать совет Мересьеву, ловко и не обидно осадить брюзгу Кукушкина. Не стало центра, стягивавшего и спланивавшего всех этих разнохарактерных людей.

Но теперь это было не так уже и нужно. Лечение и время делали свое дело. Все быстро поправлялись, и чем ближе двигалось дело к выписке, тем меньше думали они о своих недугах. Мечтали о том, что ждет их за стенами палаты, как встретят их в родной части, какие ожидают их дела. И всем им, натасковавшимся по привычному военному быту, хотелось поспеть к новому наступлению, о котором еще не писали и даже не говорили, но которое как бы чувствовалось в воздухе и, словно надвигающаяся гроза, угадывалось по наступившей вдруг на фронтах тишине.

Вернуться из госпиталя к боевым трудам для военного человека — дело обычное. Только для Алексея Мересьева представляло оно проблему: сумеет ли он восполнить искусством и тренировкой отсутствие ног, сядет ли он опять в кабину истребителя? Все с большим и большим упорством стремился он к намеченной цели. Постепенно наращивая минуты, он довел время тренировки ног и общей гимнастики до двух часов утром и вечером. Но и этого казалось ему мало. Он начал заниматься гимнастикой после обеда. Майор Стручков, искоса наблюдавший за ним веселыми, насмешливыми глазами, всякий раз объявлял:

— А теперь, граждане, вы увидите загадку природы: великий шаман Алексей Мересьев, непревзойденный в лесах Сибири, в своем репертуаре.

Действительно, в упражнениях, которые с таким упорством проводил Алексей, было что-то фанатическое, делавшее его похожим на шамана. Смотреть на его бесконечное раскачивание, равномерные повороты, на упражнения для шеи и рук, которые он делал упорно, с методичностью раскачивающегося маятника, было трудно, и ходячие товарищи его отправлялись на это время бродить по коридору, а прикованный к койке Стручков закрывался с головой одеялом и пытался уснуть. Никто в палате, конечно, не верил в возможность летать без ног, однако упорство товарища все уважали и, скрывая это за шутками, пожалуй, даже преклонялись перед ним.

Трещины в коленных чашечках майора Струčkова оказались серьезнее, чем предполагалось сначала. Заживали они медленно, ноги были все еще в лубках, и, хотя никаких сомнений в его выздоровлении не было, майор не уставал на все лады бранить «окаянные чашечки», причинившие ему столько хлопот. Эта воркотня его стала переходить в постоянное раз-

дражение. Из-за какой-нибудь мелочи он взрывался, начинал бранить все и вся. В такую минуту казалось — он может ударить того, кто попытался бы его урезонить. По молчаливому согласию, товарищи оставляли его тогда в покое, давая ему, как говорил он сам, «расстрелять все патроны», и дожидались, пока его природная жизнерадостность не возьмет верх над раздражением и расшатавшимися на войне нервами.

Свое все возрастающее нетерпение Стручков объяснял тем, что был лишен возможности даже потихоньку покуривать в уборной, и еще тем, что нельзя было ему повидаться, хотя бы в коридоре, с рыженькой сестричкой из операционной, с которой он уже будто бы перемигнулся, когда его носили на перевязку. Может быть, это было в какой-то степени и так, но Мересьев заметил, что вспышки раздражения вздыбливали майора после того, как видел он в окне пролетающие над Москвой самолеты или по радио и из газет узнавал о новом интересном воздушном бое, об успехе знакомого летчика. Это приводило в нетерпеливо-раздраженное состояние и самого Мересьева. Но он даже и виду не показывал и теперь, сравнивая себя со Стручковым, внутренне торжествовал. Ему казалось, что он хоть немного стал приближаться к избранному им облику «настоящего человека».

Майор Стручков оставался верен себе: много ел, сочно хохотал по всякому малейшему поводу, любил потолковать о женщинах и при этом казался одновременно и женолюбом и женоненавистником. Особенно ополчался он почему-то на женщин тыла.

Мересьев терпеть не мог этих стручковских разговоров. Слушая Стручкова, он невольно видел перед собой все время Олю или смешного солдатика с метеостанции — девушку, которая, как рассказывали в полку, прикладом винтовки выкинула из своей будки и чуть вгорячах не пристрелила чересчур предприимчивого старшину из батальона аэродромного обслуживания, и Алексею казалось, что это на них клеветает майор Стручков. Однажды, хмуро выслушав очередную историю майора, которую он закончил сентенцией о том, что «все они такие» и с любой можно поладить «в два счета», Мересьев не сдержался.

— С любой? — спросил он, стиснув зубы так, что скулы побелели.

— С любой, — беспечно отозвался майор.

В палату вошла Клавдия Михайловна, вошла и удивилась тяжелому напряжению, которое она увидела на лицах больных.

— В чем дело? — спросила она, бессознательным движением заправляя под косынку локон.

— Беседуем про жизнь, сестричка! Наше дело такое, ста-

риковское, — беседовать, — весь просияв, улыбнулся ей майор.

— И с этой? — зло спросил Мересьев, когда сестра вышла.

— А что, она из другого теста, что ли?

— Клавдию Михайловну оставьте! — строго сказал Гвоздев. — У нас один старик ее советским ангелом назвал.

— Кто хочет пари, ну?

— Пари? — крикнул Мересьев, свирепо сверкая цыганскими глазами. — На что же споришь?

— Да хоть на пистолетную пулю, как спорила раньше офицерня: ты выиграешь — в меня стреляешь, я выиграю — в тебя, — смеясь и стараясь превратить все в шутку, сказал Стручков.

— Пари? На это? Ты что, забыл, что ты советский командир? Если ты прав, можешь плюнуть мне в морду! — Алексей зло покосился на Стручкова. — Но смотри, как бы я тебе не плюнул.

— Не хочешь пари — не надо. Разбушевался. Подумаешь!.. Я вам, хлопцы, и так докажу, что нечего из-за нее беситься.

С этого дня Стручков стал оказывать Клавдии Михайловне всяческое внимание, веселил ее анекдотами, рассказывать которые он был великий мастер. В нарушение неписаного правила, по какому летчики очень неохотно делятся с посторонними своими военными приключениями, рассказывал ей всяческие случаи из своей действительно большой и интересной жизни и даже, вздыхая, намекал на какие-то свои семейные неудачи, на горькое одиночество, хотя все в палате знали, что он холост и никаких особых неудач у него нет.

Клавдия Михайловна, не очень, правда, отличая его от других, иногда присаживалась к нему на койку, слушая его рассказы о боевых перелетах, причем, как бы забывшись, он брал ее руку, и она не отнимала. У Мересьева накипала тяжелая ярость. Вся палата была возмущена Стручковым. А тот вел себя так, словно с ним действительно побились об заклад. Стручкова всерьез предупредили, чтобы он бросил свою недостойную игру. Палата готовилась уже решительно вмешаться в это, как вдруг события приняли совершенно иной оборот.

Однажды вечером, в час своего дежурства, Клавдия Михайловна зашла в сорок вторую без дела, просто поболтать, за что особенно любили ее раненые. Майор затеял какой-то рассказ, она присела возле его койки. Что произошло, никто не видел. Все оглянулись, услышав только, как она резко вскочила. Гневно, с сомкнутыми на лбу темными бровями, с пятнистым румянцем, покрывшим щеки, смотрела она на смущенного, даже испуганного Стручкова:

— Товарищ майор, если бы вы не были больным, а я сестрой милосердия, я дала бы вам по физиономии.

— Ну что вы, Клавдия Михайловна, я, право же, не хотел... И подумаешь, важность...

— Ах, важность? — Она смотрела на него уже не с гневом, а с презрением. — Хорошо, тогда нам не о чем говорить. Слышите! И вот перед вашими товарищами прошу вас впредь обращаться ко мне только по делу, когда вам потребуется медицинская помощь. Спокойной ночи, товарищи.

И она ушла необычной для нее тяжелой походкой, должно быть изо всех сил стараясь казаться спокойной.

Мгновение вся палата молчала. Потом послышался торжествующий, злой смех Алексея, и все накинулись на майора:

— Что, съел?

Мересьев с сияющими глазами вежливо осведомился:

— Разрешите сейчас плевать, товарищ майор, или погодить?

Стручков сидел озадаченный. Однако он не сдался и сказал не очень, правда, уверенно:

— М-да, атака отбита. Ну ничего, повторим.

До самой ночи лежал он молча, тихонько что-то насвистывая и иногда вслух отвечая на какие-то свои мысли: «М-да».

Вскоре после этого случая выписался Константин Кукушкин. Он выписался без всяких переживаний, заявив на прощанье, что медицина надоела ему до чертиков. Прощался он небрежно и только все наказывал Мересьеву и сестре, если ему будут письма от матери, обязательно переслать их к нему в полк и письма эти беречь и не терять.

— Ты напиши, как устроишься, как встретят, — напутствовал его Мересьев.

— А что мне тебе писать? Какое тебе до меня дело? Не буду я тебе писать, бумагу изводить, — все равно не ответишь.

— Ну, как знаешь.

Этой фразы Кукушкин, должно быть, не слышал. Не оборачиваясь, выходил он уже из палаты. Так же, не оглядываясь, вышел он из дверей госпиталя, прошел по набережной, скрылся за углом, хотя отлично знал, что, по заведенному в госпитале обычаю, вся палата в эту минуту торчит в окнах, провожая товарища.

Впрочем, он все-таки написал Алексею, и написал довольно скоро. Письмо было суховатое, деловое. О себе он сообщил только, что в полку ему, кажется, обрадовались; впрочем, тут же оговорился, что в последних боях были большие потери и тут рады каждому более или менее опытному человеку. Перечислил фамилии убитых и раненых товарищей, написал, что Мересьева по-прежнему помнят, что командир полка, получивший теперь звание подполковника, узнав о гимнастических подвигах Алексея и о его намерении вернуться в авиацию, заявил: «Мересьев вернется. Раз он решил — своего добьется», и

что начальник штаба ответил: нельзя, дескать, объять необъятное, а командир заявил на это, что для таких, как Мересьев, необъятного нет. К удивлению Алексея, были даже строчки и о «метеорологическом сержанте». Кукушкин писал: сей сержант так одолел его расспросами, что он, Кукушкин, принужден был скомандовать ему налево кругом марш... В конце письма писал Кукушкин, что уже в первый день пребывания в части он сделал два вылета, что ноги зажили вполне и что в ближайшие дни полк пересядет на новые самолеты, «ЛА-5», которые скоро придут и про которые Андрей Дегтяренко, летавший на приемку, сказал, что по сравнению с ними все машины немецких марок — сундуки и рухлядь.

13

Наступило раннее лето. В сорок вторую палату оно заглянуло все с той же ветки тополя, листья на которой стали жесткими и блестящими. Они порывисто шелестели, точно перешептывались, и к вечеру тускнели от налетавшей с улицы пыли. Красивые сережки на ветке этой давно уже превратились в кисточки зеленых блестящих бусинок, а теперь бусинки полопались, из них пошел легкий пух. В полдень, в самую жару, этот теплый тополевый пух носило по Москве, он залетал в открытые окна палаты и пышными розоватыми валиками лежал у двери и по углам, куда сгоняли его теплые сквознячки.

Стояло прохладное, желтое и сверкающее летнее утро, когда Клавдия Михайловна торжественно привела в палату пожилого человека в железных, перевязанных веревочками очках, у которого даже новый, топорщащийся от избытка крахмала халат не изменял внешности старого мастерового. Он принес что-то завернутое в белую тряпку и, положив на полу у койки Мересьева, осторожно и важно, точно фокусник, стал развязывать узелки. Под руками у него скрипела кожа, а в палате разнесся приятный и острый, кисловатый запах дубильных веществ.

В свертке у старика оказалась пара новых желтых скрипучих протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. Протезы — это составляло едва ли не главную гордость мастера — были обуты в новенькие желтые, казенного образца башмаки. Башмаки сидели так ловко, что создавалось впечатление живых обутых ног.

— Калошки надеть, так хоть под венец! — сказал мастер, любясь поверх очков изделием своих рук. — Сам Василий Васильевич наказал мне: «Сделай, говорит, Зуев, такие протезы, чтобы лучше ног были». И — нате, пожалуйста, Зуев сделал. Царские!

У Мересьева сердце тоскливо сжалось при виде своих искусственных ног, сжалось, похолодело, но жажда поскорее попробовать протезы, пойти, пойти самостоятельно победила все остальное. Он выкинул из-под одеяла свои култышки и стал торопить старика с примеркой. Но старому протезисту, делавшему, по его словам, еще в «мирное время» протезы какому-то «большому князю», сломавшему ногу на скачках, такая торопливость не нравилась. Он был очень горд изделием и хотел как можно дольше растянуть удовольствие от его вручения.

Он обтер протезы рукавом, ногтем сколупнул с кожи пятнышко, подышал на это место, обтер его полкой белоснежного халата, потом поставил протезы на пол, неторопливо свернул тряпку, спрятал ее в карман.

— Ну, старина, давай, что ли, — торопил Мересьев, сидя на кровати.

Сейчас он взглянул на голые обрубленные ноги глазами постороннего и остался ими доволен. Они были крепкие, жилистые, и не жир, как это всегда бывает при вынужденной неподвижности, а тугие мускулы переливались под смуглой кожей, точно это были не обрубки, а полноценные ноги много и скоро ходящего человека.

— А что давай, что давай?.. Скоро, да не споро, — ворчал старик. — Мне Василий Васильевич говорит: «Отличись, говорит, Зуев, на этих протезах; лейтенант, говорит, без ног летать собрался». А я что, я готов, я — пожалуйста, возьмите. С такими протезами не только что ходить, а и на лисапете кататься, с барышнями польку-бабочку танцевать... Работка!

Он сунул обрубок правой ноги Алексея в шерстистое и мягкое гнездо протеза и крепко охватил ногу прикрепляющими ремнями. Отошел, полюбовался, прищелкнул языком:

— Хороша обувка?.. Не беспокоит? То-то! Лучше Зуева, почитай, и мастера в Москве нет. Зуев — золотые руки.

Он ловко надел второй протез и едва успел застегнуть ремни, как Мересьев неожиданно сильным, пружинистым движением спрыгнул с койки на пол. Раздался глухой стук, Мересьев вскрикнул от боли и тут же, около кровати, тяжело рухнул во весь рост.

У старого мастера от удивления очки полезли на лоб. Он не ожидал от своего заказчика такой прыти. Мересьев лежал на полу, беспомощный, пораженный, широко разбросав свои искусственные ноги в ботинках. В глазах его были недоумение, обида, страх. Неужели он обманулся?

Всплеснув руками, Клавдия Михайловна бросилась к нему. Вместе со старым мастером подняли они Алексея и посадили на койку. Он сидел подавленный, обмякший, с тоскливым выражением на лице.

— Э-э-э, мил человек, этак-то негоже, вовсе негоже,— ворчал мастер.— Ишь прыгнул, будто и верно живые ноги ему приставили. Нос-то вешать не к чему, друг милый, только теперь твое дело такое — начинать все сначала. Теперь забудь, что ты вояка, теперь ты дитя малое — по шажку, по шажку учись ходить, сначала с костыликами, потом по стеночкам, потом с палочкой. Да не вдруг, да помаленьку, а он — накося! Ноги-то и хорошие, да не свои. Таких, мил друг, как папа с мамой срабатывали, тебе уж никто не сделает.

От неудачного прыжка ноги тяжело ныли. Но Мересьев хотел сейчас же попробовать протезы. Ему принесли легкие алюминиевые костыли. Он уперся ими в пол, зажал под мышками подушки и теперь тихо, осторожно соскользнул с койки и встал на ноги. И точно: он походил теперь на младенца, не умеющего ходить, инстинктом угадывающего, что пойти он может, и боящегося оторваться от спасительной, поддерживающей его стенки. Как младенца, которого мать или бабушка выводят в первое путешествие на просунутом под мышками полотенце, Мересьева с двух сторон заботливо поддерживали Клавдия Михайловна и старый протезист. Постояв на месте, чувствуя с непривычки острую боль в местах прикрепления протезов, Мересьев неуверенно переставил сначала один, потом другой костыль, перенес на них тяжесть корпуса и подтянул сперва одну, потом другую ногу. Туго и хрустко заскрипела кожа, раздались два тяжелых удара об пол: бум, бум.

— Ну, и в добрый час, в добрый час,— забормотал старый мастер.

Мересьев сделал еще несколько осторожных шагов, и дались они ему, эти первые шаги на протезах, с таким трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль муки втащил на пятый этаж. Добравшись до койки, он повалился на нее грудью, весь мокрый от пота, не имея сил даже повернуться на спину.

— Ну, как протезы? То-то, благодари бога, что есть на свете мастер Зуев! — по-стариковски хвалился протезист, осторожно развязывая ремни, освобождая слегка уже отекавшие и опухшие с непривычки ноги Алексея.— На таких не только что летать, и до самого господина бога долететь можно. Работа!

— Спасибо, спасибо, старик, работа знатная,— бормотал Алексей.

Мастер молча потоптался, будто желая и не решаясь что-то спросить или, наоборот, сам ожидая вопроса.

— Ну, прощайте, коли так. Счастливо обносить,— сказал он, несколько разочарованно вздохнул и медленно двинулся к двери.

— Эй, мастер,— окликнул его Стручков,— на-ка вот, вы-

пьешь по случаю «царских»-то протезов! — И он сунул в руку старику комок крупных кредиток.

— Ну, спасибо, спасибо, — оживился старик, — по такому случаю как не выпить! — Он солидно уложил деньги куда-то в задний карман, для чего загнул халат таким жестом, как будто это был фартук ремесленника. — Спасибо вам, выпьем, а уж протезы — будь здоров, на совесть. Мне Василий Васильевич говорит: «Особые нужны, Зуев, не подгадь!» Ну, а Зуев, само собой, разве подгадит! Вы ему при случае, Василь-то Васильевичу, отрапортуйте: дескать, довольны работкой.

И старик удалился, кланяясь, что-то бормоча. А Мересьев лежал, рассматривая валявшиеся подле кровати свои новые ноги, и чем больше он на них смотрел, тем больше они ему нравились и остроумностью конструкции, и мастерством работы, и легкостью: на лисапете ездить, польку-бабочку танцевать, на самолете летать аж до господа бога. «Буду, все буду, обязательно буду», — думал он.

В этот день Оле было отправлено пространное и веселое письмо, в котором он сообщал: работа его по приемке самолетов движется к концу, и надеется он, что начальство пойдет ему навстречу и, может быть, к осени, а в крайнем случае зимой направит его с нудной работы в осточертевшем тылу на фронт, в полк, где товарищи его не забыли и ждут. Это было первое радостное его письмо со дня катастрофы, первое, в котором он писал невесте, что все время думает и тоскует по ней, и — правда, очень робко — выражал заветную мысль, что, может быть, встретятся они после войны и, если она не переменит своего мнения, заживут вместе. Он несколько раз перечел письмо и потом, вздохнув, тщательно вымарал последние строки.

Зато «метеорологическому сержанту» пошло письмо зазорное и веселое, с красочным описанием этого дня, с изображением протезов, каких не нашивал сам государь император, с описанием его, Мересьева, на протезах, делающего свои первые шаги, и старого болтуна-мастера, с рассказом о своих надеждах и на лисапете ездить, и польку-бабочку танцевать, и долететь до самого неба. «Так что ждите теперь меня там, в полку, не забывайте и скажите коменданту, чтобы на новом месте обязательно помещение мне оставил», — писал Мересьев и косился вниз, на пол. Протезы валялись так, что казалось, будто кто-то спрятался под кровать и лежит там, широко разбросав ноги, обутые в новые желтые ботинки. Алексей оглянулся, убедился, что никто за ним не следит, и ласково погладил холодную скрипучую кожу.

И еще в одном месте вскоре горячо обсудили появление «царских» протезов в сорок второй палате — на третьем курсе медицинского факультета Московского государственного университета. Вся женская часть, составлявшая в те времена подавля-

ющее большинство этого курса, со слов Анюты была отлично осведомлена о делах сорок второй палаты. Анюта очень гордилась своим корреспондентом, и, увы, письма лейтенанта Гвоздева, отнюдь не рассчитанные на широкую гласность, читались вслух в выдержках, а иногда и целиком, за исключением особо интимных мест, которых, к слову сказать, по мере роста переписки становилось все больше и больше.

Весь третий курс медиков во главе с Анютой симпатизировал героическому Грише Гвоздеву, не любил вздорного Кукушкина, находил, что советский снайпер Степан Иванович чем-то похож на толстовского Платона Каратаева, преклонялся перед несокрушимым духом Мересьева и как свое личное несчастье воспринял смерть Комиссара, которого после восторженных отзывов Гвоздева все сумели оценить и по-настоящему полюбить. Многие не удержались от слез, когда читалось письмо о том, как ушел из жизни этот большой и шумный человек.

Все чаще и чаще ходили письма между госпиталем и университетом. Молодые люди не довольствовались почтой, которая шла в те дни слишком медленно. Гвоздев привел как-то в письме слова Комиссара о том, что письма теперь доходят до адресата, как свет далеких звезд. Корреспондент может погаснуть, а письма его будут еще долго ползти и ползти, рассказывая адресату о жизни давно умершего человека. Деятельная и предприимчивая Анюта стала искать более совершенных средств связи и нашла их в лице пожилой сестры, которая имела две службы и работала в университетской клинике и в госпитале Василия Васильевича.

С тех пор университет узнавал о происшествиях в сорок второй палате на второй, самое большее — на третий день и мог быстро на них откликаться. В связи с «царскими» протезами в столовой завязался спор, будет Мересьев летать или нет. Спор молодой, горячий, в котором обе стороны одинаково симпатизировали летчику. Учитывая большую сложность управления истребителем, пессимисты говорили: нет. Оптимисты считали, что для человека, который, уходя от врагов, полмесяца лез ползком через лесную чащу и прополз бог знает сколько километров, нет ничего невозможного. Для подкрепления своих доводов оптимисты вспоминали примеры из истории и книг.

В этих спорах Анюта не участвовала. Протезы неизвестного ей летчика не очень ее занимали. В редкие свободные минуты она обдумывала свои отношения с Гришей Гвоздевым, которые, как ей казалось, все более и более усложнялись. Сначала, узнав о командире-герое с такой трагической биографией, она написала ему, движимая бескорыстным желанием как-то смягчить его горе. Потом, по мере того как их заочное знакомство крепло, фигура абстрактного героя Отечественной войны уступила место насто-

ящему, живому юноше, и юноша этот все больше и больше интересовал ее. Она заметила, что беспокоится и тоскует, когда от него нет писем. Это новое радовало и пугало ее. Что это, любовь? Разве можно полюбить человека только по письмам, ни разу его не видав, не слышав даже его голоса? В письмах танкиста становилось все больше и больше мест, которые нельзя было читать однокурсникам. После того как сам Гвоздев признался ей однажды, что то же чувство, как он выразился, «заочной любви» овладело и им, Анята убедилась, что она влюбилась и влюбилась не по-детски, как это бывало в школе, а по-настоящему. Ей казалось, что жизнь потеряет для нее смысл, если перестанут приходить эти письма, которых она ждала теперь с таким нетерпением.

Так, не видя друг друга, объяснились они в любви. После этого с Гвоздевым стало твориться что-то странное. Письма его стали нервными, мятущимися, полными недомолвок. Потом, собравшись с духом, он написал ей, что это нехорошо, что они объяснились, не видя друг друга, что она, вероятно, не представляет себе, как сильно ожог обезобразил его, что он вовсе не похож на ту старую фотографию, которую послал ей. Он не хочет ее обманывать и просит прекратить писать о чувствах, пока она не увидит своими глазами, с кем имеет дело.

Девушка сначала возмутилась, потом испугалась. Вынула из кармана карточку. На нее смотрело тонкое юношеское лицо с упрямыми скулами, красивым прямым носом, с маленькими усиками и изящными губами. «А теперь? Какой-то ты теперь, милый ты мой, несчастный?» — шептала она, глядя на карточку. Как медик, она знала, что ожоги плохо рубцуются и оставляют глубокие, незаживающие следы. Ей почему-то на миг представился муляж головы человека после волчанки, который она видела в анатомическом музее. Точно вспаханное синими бороздами и буграми лицо с неровными, изъеденными губами, с клочками бровей и красными веками без ресниц. А что, если он такой? Девушка ужаснулась, даже побледнела, но тут же мысленно закричала на себя... Ну и что, если так? Он дрался с врагами на горящем танке, он защищал ее свободу, ее право учиться, ее честь и жизнь. Он — герой, он столько раз рисковал на войне и рвется обратно, чтобы снова драться и снова рисковать жизнью. А она? Что она сделала для войны? Рыла окопы, дежурила на крыше, работает теперь в эвакогоспитале? Разве это можно сравнить с тем, что сделал он?! «Я сама недостойна его за одни эти сомнения!» — кричала она на себя, невольно отгоняя страшное видение изуродованного шрамами лица.

Она написала ему письмо, самое нежное и самое большое за всю их переписку. Об этих ее колебаниях Гвоздев, понятно, ничего не узнал. Получив в ответ на свои тревоги хорошее

письмо, он долго читал и перечитывал его, поведал о нем даже Стручкову, на что тот, благосклонно выслушав, ответил:

— Не дрейфь, танкист: «нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить» — это, брат, когда сказано? То-то. А ныне, брат, и вовсе — нынче мужчина в большом дефиците.

Откровение это, понятно, не успокоило Гвоздева. Приближался срок его выписки, он все чаще гляделся в зеркало, то рассматривая себя издали, так сказать, беглым, поверхностным взглядом, то приближая свое изуродованное лицо к самому стеклу и часами разглаживая язвины и шрамы.

По его просьбе Клавдия Михайловна купила ему пудры и крема. Он сразу же убедился, что изъяны его никакой косметикой не скроешь. Однако ночью, когда все спали, он потихоньку ходил в уборную и там подолгу масси́ровал багровые рубцы, засыпал их пудрой и снова масси́ровал, а потом с надеждой смотрел в зеркало. Издали он выглядел хоть куда — крепкий, широкоплечий, с узким тазом, на прямых поджарых ногах. Но вблизи! Красные шрамы на щеках и подбородке, рубчатая, стянутая кожа приводили его в отчаяние. Он со страхом думал: а как-то взглянет она? Вдруг ужаснется, вдруг поглядит на него, повернется и уйдет, пожав плечами. Или, что было бы хуже всего, побеседует с ним из вежливости часок-другой, а потом скажет что-нибудь такое официальное, холодное — и до свиданья. Гвоздев волновался, бледнел от обиды, как будто все это уже совершилось.

Тогда он выхватывал из кармана халата фотографическую карточку и испытующе смотрел на полную девушку с высоким лбом, с мягкими негустыми и пышными волосами, зачесанными назад, с толстеньким вздернутым, истинно русским носиком и нежными, детскими губами. На верхней губе темнело едва заметное родимое пятнышко. Немного выпуклые, должно быть серые или голубые, глаза смотрели на него с этого нехитрого и милого лица открыто и честно.

«Какая же ты есть? Ну, скажи: не испугаешься, не убежишь? Хватит у тебя сердца не заметить моего безобразия?» — точно спрашивал он ее, испытующе смотря на карточку.

Тем временем мимо него вдоль коридора, постукивая костылями и поскрипывая протезами, взад-вперед размеренно, неумолимо двигался старший лейтенант Мересьев. Прошел раз, прошел два, десять, пятнадцать, двадцать раз. Он бродил — по какой-то своей программе — утром и вечером, задавая себе уроки и с каждым днем удлиняя путь.

«Славный малый! — думал про него Гвоздев. — Упорный, упрямый. Экая силища воли у человека! За неделю научился быстро и ловко ходить на костылях. А у иных на это уходят месяцы. Вчера отказался от носилок и сам пошел в процедурную по лестнице. И дошел и поднялся обратно. Слезы текут по лицу,

а он поднимается. И даже накричал на санитарку, которая хотела ему помочь. А как он сиял, когда самостоятельно добрался до верхней площадки! Точно взошел на Эльбрус».

Гвоздев отошел от зеркала и посмотрел вслед Мересьеву, быстро перебиравшему ногами и костылями. Ишь чешет! А какое у него хорошее, симпатичное лицо! Маленький шрамик, пересекающий бровь, несколько его не портит, даже придает какую-то значительность. Вот бы ему, Гвоздеву, сейчас такое лицо. Что ноги — ног не видать! Ходить и летать он, конечно, научится. Но лицо (куда денешься с эдакой вот брюквой!), на котором точно пьяные черти ночью горох молотили...

...Алексей Мересьев, совершавший в счет вечернего урока двадцать третий рейс вдоль коридора, всем своим усталым, измученным телом чувствовал, как отеки и горят бедра, как ноют занемевшие от костылей плечи. Проходя мимо Гвоздева, он косился на танкиста, стоявшего у стенного зеркала: чудак, ну чего он терзает свою бедную физиономию! Кинозвездой ему, конечно, теперь не стать, а танкистом — за милую душу... Велика беда — лицо, была бы голова цела, да руки, да ноги. Да, да, ноги, настоящие ноги, а не эти вот обрубки, которые болят и горят, точно протезы сделаны не из кожи, а из раскаленного железа.

Тук, тук. Скрип, скрип. Тук, тук. Скрип, скрип...

Закусив губы и сдерживая слезы, которые все-таки выжимала на глаза острая боль, старший лейтенант Мересьев с трудом совершал свой двадцать девятый рейс по коридору, заканчивая суточный урок.

14

Григорий Гвоздев вышел из госпиталя в середине июня.

За день или за два перед этим они хорошо поговорили с Алексеем, и оба как-то внутренне даже порадовались, что они товарищи по несчастью и у них обоих одинаково сложное состояние личных дел. Как бывает в таких случаях, оба без утайки рассказали друг другу свои опасения, поведали все, что каждому из них было вдвойне тяжело носить в себе, потому что гордость не позволяла ни с кем делиться своими сомнениями. Показали друг другу карточки девушек.

У Алексея была изрядно затертая и выгоревшая любительская фотография. Он сам снял Олю в тот прозрачный яркий июньский день, когда бегали они босиком по теплой траве в цветущей степи Заволжья. Худенькая, как девочка, в пестром

своим платьем, она сидела, поджав босые ноги, с рассыпанным букетом на коленях, в траве, среди цветущих ромашек, сама ясная, беленькая и чистая, как ромашка в утренней росе. Перебирая цветы, она задумчиво наклонила голову набок, и глаза у нее были раскрыты широко и восторженно, как будто в первый раз увидела она великолепие мира.

Посмотрев на фотографию, танкист заявил, что такая девушка в беде не бросит. Ну, а бросит — и черт с ней: значит, внешность у нее обманчивая, а тогда так и надо, даже к лучшему: значит, дрянь, а с дрянью разве можно связать свою жизнь!

Алексею лицо Анюты тоже понравилось. Сам того не заметив, он изложил Гвоздеву своими словами то же, что только что услышал от него. Немудреная эта беседа никакой ясности, понятно, в личные дела их не внесла, но обоим стало легче, словно прорвался тяжелый, затяжной нарыв.

Условились они, что Гвоздев, выйдя из госпиталя, с Анютой, которая по телефону обещала ему зайти за ним, пройдет мимо окон палаты и Алексей тотчас же изложит танкисту в письме свое о ней впечатление. Гвоздев же, со своей стороны, обещал написать приятелю, как его Аня встретит, как отнесется к его изуродованному лицу и как пойдут у них дела. Мересьев тотчас же загадал: если у Гриши все будет хорошо, он немедленно расскажет Оле в письме все о себе, взяв с нее слово не огорчать мать, которая все еще была слаба и еле поднималась с постели.

Вот почему оба они одинаково волновались, ожидая выписки танкиста. Волновались так, что не спали ночь, и ночью оба потихоньку вылезли в коридор — Гвоздев, чтобы еще раз помассировать шрамы перед зеркалом, а Мересьев, чтобы, обмотав для тишины концы костылей тряпками, лишний раз потренироваться в ходьбе.

В десять часов Клавдия Михайловна, лукаво улыбаясь, сообщила Гвоздеву, что за ним пришли. Точно ветер сдунул его с койки. Покраснев так, что рубцы на его лице стали еще заметнее, он стал быстро собирать вещи.

— Славная девушка, серьезная такая, — улыбаясь, говорила сестра, глядя на эти суматошные сборы.

Гвоздев весь так и засветился.

— Серьезно? Вам понравилась? Нет, правда, хорошая? — Он так волновался, что убежал, забыв проститься.

— Мальчишка! — буркнул майор Стручков. — Такие и на муху ловятся.

В последние дни с этим бесшабашным человеком стало твориться что-то неладное. Он стал молчалив, часто без повода раздражался и, получив теперь возможность сидеть на койке, целыми днями смотрел в окно, упершись кулаками в щеки, не отвечая на вопросы.

Вся палата: и помрачневший майор, и Мересьев, и двое новеньких высунулись в окно, ожидая появления товарища на улице. Было тепло. По небу быстро, меняя форму, ползли мягкие, пушистые облака со светящимися золотыми краями. Над рекой в этот момент торопливо проходила серенькая рыхлая тучка, рассеянно роняя по пути крупный, редкий, сверкавший на солнце дождь. Гранит набережной от этого блестел, как полированный, асфальт покрылся темными мраморными пятнами, и так славно тянуло от него парной влагой, что хотелось высунуться из окна и подставить голову под этот ласковый дождик.

— Идет! — прошептал Мересьев.

Тяжелая дубовая дверь подъезда медленно растворилась. Из нее вышли двое: полненькая девушка без шляпки, с простой прической, в белой блузке и темной юбке и молодой военный, в котором даже Алексей не сразу признал танкиста. В одной руке военный нес чемодан, на другой руке шинель, и ступал он так легко и пружинисто, прочно, что было приятно смотреть на него. Должно быть, пробуя свои силы, радуясь возможности широко двигаться, он даже не сбежал, а как-то ловко соскользнул со ступенек подъезда, взял свою спутницу под руку, и они пошли по набережной, приближаясь к окну палаты, посыпаемые редким и крупным золотым дождем.

Алексей смотрел на них, и сердце его наполнялось радостью: обошлось хорошо, недаром у нее такое открытое, простое и милое лицо. Такая не отвернется. Ну да, такие не отворачиваются от человека в беде.

Они поравнялись с окном, остановились, подняв головы. Молодые люди стояли у отлакированного дождем гранитного парапета набережной, на фоне косых светящихся линий, оставляемых медленно летящими каплями. И тут заметил Алексей, что у танкиста на лице растерянность и напряженная тревога и что Аня его, и в самом деле такая же славная, как на фотографии, чем-то озадачена, смущена, что рука ее нетвердо лежит на руке танкиста и поза у нее взволнованная и нерешительная, точно вот-вот сейчас она выдернет эту руку и убежит.

Помахав руками, напряженно поулыбавшись, парочка тронулась по набережной и скрылась за поворотом. В палате все молча разбрелось по своим местам.

— А дела у Гвоздева не баские, — заметил майор и, услышав в коридоре стук каблуков Клавдии Михайловны, вздрогнул и резко отвернулся к окну.

Остаток дня Алексей чувствовал себя тревожно. Вечером он даже не занимался ходьбой, раньше всех завалился спать, но еще долго после того, как уснула палата, нервно скрипели пружины его койки.

На следующее утро он еще на пороге спросил сестру, не

передали ли для него письмо. Письма не было. Он вяло умылся, вяло поел. Но хождением он занимался больше, чем обычно, и, наказывая себя за вчерашнюю слабость, проделал лишних пятнадцать рейсов в счет невыполненной вчера нормы. Это неожиданное достижение заставило его забыть все тревоги. Он доказал, что двигаться на костылях может свободно, не слишком утомляясь. Ведь если пятьдесят метров коридора помножить на сорок пять, по числу рейсов, то получалось две тысячи двести пятьдесят метров, или два с четвертью километра, — сколько было примерно от офицерской столовой до аэродрома. Он мысленно прикинул в уме этот памятный путь, который вел мимо развалин старой сельской церкви, мимо кирпичного куба спаленной школы, уныло глядевшего на дорогу черными глазницами пустых окон, через лесок, где прятались накрытые еловыми ветками бензовозы, мимо землянок командного пункта, мимо маленькой дощатой будки, где над картами и схемами священнодействовал «метеорологический сержант». Немало, ей-богу, немало!

Мересьев решил увеличить дневной урок до сорока шести рейсов, по двадцать три утром и вечером, а завтра со свежими силами попробовать ходить без костылей. Это сразу отвлекло его от тусклых мыслей, подняло в нем дух, настроило на деловой лад. Вечером он принялся за свои путешествия с таким подъемом, что почти не заметил, как перекатил за тридцать рейсов. Вот в эту-то минуту гардеробщица с вешалки и остановила его, появившись с письмом. Он взял маленький конвертик, адресованный: «Старшему лейтенанту Мересьеву в собственные руки». Слово «собственные» было подчеркнуто, и это не понравилось Алексею. На письме над обращением тоже стояло, опять подчеркнутое: «Только адресату».

Прислонившись к подоконнику, Алексей распечатал конверт, и по мере того как читал он это пространное послание, написанное Гвоздевым ночью на вокзале, мрачнее и мрачнее становилось его лицо. Писал Гвоздев, что Анята оказалась именно такой, какой они ее представляли, что красивее ее, может быть, нет в Москве, что встретила она его, как родного, и еще больше ему понравилась.

«...Но то, о чем мы с тобой толковали, все так и получилось. Она хорошая. Она мне ничего не сказала и даже виду не подавала. Все по-хорошему. Но ведь я-то не слепой, вижу — пугает ее моя проклятая рожа. Все как будто ничего, а вдруг оглянусь — замечу: смотрит на меня, и не то ей стыдно, не то страшно, не то жалко меня, что ли... Привела меня к себе в университет. Лучше бы мне туда не ходить. Окружили меня студентки, смотрят... Ты представляешь, они, оказывается, всех нас знают, Анята им все про нас рассказывала... И вижу, она на них глядит как-то виновато: дескать, извините, что такое страшилище привела.

А главное, Алеша, виду она не показывает, ухаживает за мной, ласковая и все говорит, говорит, словно замолчать боится. Потом пошли к ней. Живет она одна, родители в эвакуации, семья, видать, почтенная. Стала чаем угощать, а сама все в чайник на мое отражение глядит и все вздыхает. Словом, чувствую: не могу, к чертям! Я ей прямо и сказал, так, мол, и так. «Вижу, внешность моя вам не по душе. Что ж, и правильно, понимаю и не обижен». Она в слезы, а я говорю: «Не плачьте, вы девушка хорошая, вас любой полюбит, зачем себе жизнь портить». Потом я сказал ей: «Теперь вы меня видали, какой я есть красавец, и подумайте хорошенько, а я в часть поеду, адрес пришлю. Коли не передумаете, напишите». И сказал ей: «Не невольте себя, был я — и нет меня: война». Она, конечно: «Нет, нет, что вы», — плачет. В это время объявили какую-то дурацкую воздушную тревогу, она вышла, а я под шумок утек — и прямо в офицерский полк. С ходу получил направление. Все хорошо, литер в кармане, еду. Только, Алеша, еще больше я в нее влюбился и уж как без нее дальше жить буду — не знаю».

Читал Алексей письмо друга, и ему казалось, что заглянул он в свое будущее. Вот именно так, наверно, произойдет и с ним. Оля не оттолкнет, не отвернется, нет, она вот так же великодушно захочет принести себя в жертву, будет улыбаться сквозь слезы, ласкать, подавляя в себе неприязнь.

— Нет, нет, не надо! Не надо! — вслух сказал Алексей.

Он быстро доковылял до палаты, сел за стол и единым духом написал Оле письмо, короткое, холодно-деловое. Он не решился написать правду — зачем? Мать больная, стоит ли обрушивать на нее еще одно горе. Он написал Оле, что много думал над их отношениями, что, наверно, ей тяжело ждать. Сколько еще времени продлится война? А годы идут, молодость уходит. Война же — такая вещь, что ожидания могут пройти впустую. А вдруг убьют его, и она овдовеет, не побыв даже женой, или того хуже: его искалечат и ей придется выйти замуж за инвалида. Зачем? Пусть она не пропускает молодости и скорее его позабудет. Она может ему не отвечать, он не обидится. Он понимает ее, хотя это и очень тяжело. Так будет лучше.

Письмо жгло руки. Не перечитывая, запечатал он его в конверт, быстро доковылял до синего почтового ящика, висевшего в коридоре за сверкающим титаном с кипяченой водой.

Вернувшись в палату, он снова уселся за стол. Кому поведать свою тоску? Матери нельзя. Гвоздеву? Он, конечно, понял бы, да где он — ищи его теперь в бесконечной путанице множества фронтовых дорог. В полк? Но до него ли там счастливым, занятым обычными боевыми делами! «Метеорологическому сержанту»! Вот кому. И он стал писать; и писалось легко, как легко

плачется на плече друга. Но вдруг оборвал на полуфразе, задумался, с ожесточением скомкал и разорвал написанное.

— «Нет мук страшнее муки слова», — насмешливо процитировал Стручков.

Он сидел на койке с письмом Гвоздева в руках, которое он, должно быть, по бесцеремонности своей взял с тумбочки Алексея и прочитал.

— Что это сегодня на всех напало?.. Гвоздев тоже, ой, дуралей! Девуца поморщилась, горе какое!.. Развел психологию, тоже мне брат Карамазов... Не сердись, что прочел? Какие у нас, у фронтовиков, секреты!

Алексей не сердился. Он думал. А может быть, завтра подкараулить почтальона и взять у него письмо обратно?

Спал эту ночь Алексей тревожно, и снился ему то занесенный сугробами аэродром и неведомой конструкции самолет «ЛА-5», с птичьими лапами вместо шасси; в кабину будто бы лез технарь Юра, лез и говорил, что Алексей «свое отлетал», теперь его очередь летать; то дед Михайла в белой рубахе и мокрых портках будто парил Алексея веником на соломе и все смеялся: перед свадьбой-де и запарить не грех. А потом, под самое утро, приснилась Оля. Сидела она на перевернутой лодке, опустив в воду загорелые и крепкие свои ножки, легкая, тоненькая, какая-то вся светящаяся. Будто она, загородившись ладошкой от солнца, смеясь, манила его к себе, а он будто плыл к ней, но течение, сильное и бурное, тянуло его назад от берега, от девушки. Он все сильнее работал руками, ногами, всеми мускулами и подплывал к ней все ближе, ближе и видел уже, как ветер треплет пряди ее волос, как сверкают капли воды на загорелой коже ее ног...

На этом он и проснулся, радостный, просветленный. Проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, стараясь снова заснуть и вернуть приятный сон. Но это удастся только в детстве. Образ хрупкой загорелой девушки из сна как-то сразу осветил все. Не раздумывать, не раскисать, не разводить, как говорил майор, достоевщину, а плыть к Оле навстречу, плыть против течения, плыть вперед, чего бы это ни стоило, положить все силы — и доплыть! А письмо? Он хотел было идти к ящику и караулить почтальона, но махнул рукой: пусть идет своей дорогой. Настоящей любви такое письмо не спугнет. Теперь, поверив, что любовь настоящая, что его ждут веселым и печальным, здоровым и больным — всяким, он ощущал большой подъем сил.

Утром он попробовал ходить без костылей. Осторожно спустился с кровати. Встал. Постоял, расставив ноги и беспомощно разведя руки для баланса. Потом, придерживаясь за стену руками, сделал шаг. Захрустела кожа протеза. Тело понесло в сторону,



но он сбалансировал рукой. Сделал второй шаг, все еще не отрываясь от стены. Он никогда не думал, что ходить так трудно. В детстве, мальчишкой, он учился ходить на ходулях. Встанет на колодочки, оттолкнется спиной от стены — шаг, другой, третий, неудержимо тянет вбок, и он соскакивает, а ходули валяются в пыльную мураву, которой заросла окраинная улица. Но на ходулях легче, с них можно прыгнуть. С протезов не прыгнешь. И, когда его на третьем шаге бросило в сторону и подвернулась нога, он грузно, ничком грохнулся на пол.

Для учебы он выбрал процедурный час, когда население палаты уносили в лечебные кабинеты. Он никого не позвал на помощь, пополз к стене, медленно, опираясь о нее, поднялся на ноги, пощупал ушибленный бок, посмотрел на синяк на локте, уже начинавший багроветь, и, стиснув зубы, опять сделал шаг вперед, отделившись от стены. Теперь он, кажется, усвоил секрет. Его составные ноги отличались от обычных прежде всего отсутствием эластичности. Он не знал их свойств и не выработал в себе привычки, своего рода рефлекса, чтобы менять положение ног при хождении, переносить тяжесть с пятки на ступню, делая шаг, и снова перекладывать тяжесть корпуса на пятку следующей ноги. И, наконец, ставить ступни не параллельно, а под углом, носками врозь, что придает при передвижении большую устойчивость.

Все это приходит к человеку в раннем детстве, когда он под надзором матери делает первые неуклюжие шажки на мягких коротеньких ножках. Эти навыки запечатлеваются на всю жизнь, становятся естественным импульсом. Когда же человек надел протезы и естественные соотношения его организма изменились, этот с детства приобретенный импульс не помогает, а, наоборот, затрудняет движения. Выбатывая новые навыки, приходится все время этот импульс преодолевать. Многие, лишившись ног, не обладая силой воли, до старости не могут снова постигнуть так легко дающееся нам в детстве искусство ходить.

Мересьев умел добиваться своего. Учтя ошибки, он снова оттолкнулся от стены и, отворачивая носок искусственной ноги в сторону, стал на пятку, потом перенес тяжесть корпуса на носок. Сердито скрипнул протез. В момент, когда тяжесть переходила на носок, Алексей резко оторвал от пола вторую ногу и выбросил ее вперед. Пятка тяжело грохнула об пол. Теперь, балансируя руками, он стоял среди комнаты, не решаясь на следующий шаг. Стоял, шатался, все время теряя равновесие и чувствуя, как холодный пот выступает у переносицы.

В таком виде и застал его Василий Васильевич. Он постоял в дверях, понаблюдал за Мересьевым, подошел и взял его под мышки:

— Браво, ползун! А почему один, без сестры, без санитаря?

Гордыня человеческая... Ну ничего, во всяком деле важен первый шаг, теперь самое трудное сделал.

В последнее время Василия Васильевича сделали начальником очень высокого медицинского учреждения. Дело было большое, отнимало уйму времени. С госпиталем пришлось проститься. Но по-прежнему старик числился его шефом и, хотя хозяйничали в нем уже другие, ежедневно появлялся в палатах, когда находил время, делал обход, консультировал. Только лишился он навсегда после гибели сына прежней веселой и деятельной своей ворчливости, ни на кого больше не кричал, не сквернословил, и те, кто знал его близко, видели в этом признак быстро надвигающейся старости.

— Ну, Мересьев, давайте вместе учиться... А вы идите себе, идите, тут не цирк, нечего смотреть. Ну, dokonчите обход без меня,— цыкнул он на сопровождающих.— А ну, голубчик, давайте, раз... Да держитесь, держитесь за меня, чего стесняться! Держитесь, я генерал, меня слушаться надо. Ну, два, так... Теперь на правую. Хорошо. Левоу. Здорово!

Знаменитый медик весело потер руки, как будто, уча человека ходить, совершал бог весть какой важный медицинский эксперимент. Но такое уж было свойство его характера — увлекаться всем, за что бы он ни брался, и вкладывать в это всю свою большую, энергичную душу. Он заставил Мересьева пройти вдоль палаты, и, когда тот, совершенно измученный, брякнулся на стул, он поставил свой стул рядом с ним.

— Ну, а летать — как, будем? То-то. Ныне, батенька, война такая: люди с оторванной рукой роту в атаку ведут, смертельно раненные строчат из пулемета, доты вон грудью закрывают... Только вот мертвые не воюют...— Старик потускнел, вздохнул.— Да и те воюют, славой своей. Да... Ну-с, начнем, молодой человек.

Когда Мересьев отдыхал после второго рейса по палате, профессор вдруг показал на койку Гвоздева:

— А этот как, танкист? Ожил, выписался?

Мересьев сказал, что ожил, поехал воевать, только одна беда: лицо, в особенности нижняя его часть, ожог изуродовал непоправимо.

— Уже написал? Уже разочарование, девушки не любят? Так посоветуйте ему усы и бороду. Серьезно. Еще прослывет оригиналом, девушкам это вполне может понравиться!

В дверь сунулась запыхавшаяся сестра и заявила, что звонят из Совнаркома. Василий Васильевич тяжело поднялся со стула, и по тому, как опирался он при этом о колени своими пухлыми синими шелушащимися руками, как тяжело разогнул он спину, стало особенно заметно, насколько подался он за последние недели. Уже в дверях он оглянулся и весело крикнул:

— Так обязательно напишите этому... как его, вашему другу, что я ему бороду прописал. Испытанное средство! Шумный успех у дам!

А вечером старый служитель клиники принес Мересьеву палку, великолепную старинную, черного дерева палку, с удобной ручкой из слоновой кости и с какими-то накладными монограммами.

— От профессора, от Василия Васильевича: свою собственную прислал в подарок. Вам ходить с палочкой велел.

Скучно было в госпитале в этот летний вечер. И в сорок вторую потянулись экскурсии. Соседи справа, слева, даже сверху приходили смотреть профессорский подарок. Палка действительно была хороша.

15

Предгрозовое затишье на фронте затянулось. В сводках отмечались бои местного значения, поиски разведчиков. Раненых было мало, начальство разгрузило сорок вторую палату, оставив в ней две койки: справа мересьевскую и слева, у окна, выходящего на набережную, майора Стручкова.

Поиски разведчиков! Мересьев и Стручков были опытные воины, и они знали: чем больше эта пауза, чем длительнее это напряженное затишье, тем крепче и сильнее грянет гроза.

Однажды в сводке промелькнуло сообщение, что где-то на южном участке фронта снайпер Герой Советского Союза Степан Ивушкин убил двадцать пять немцев, доведя общий счет уничтоженных им врагов до двухсот. Пришло письмо от Гвоздева. Он не писал, конечно, ни где он, ни что с ним, но сообщал, что снова попал в хозяйство своего прежнего командира Павла Алексеевича Ротмистрова, что жизнью доволен, что там масса черешни, что все они объедаются ею, и просил Алексея, если он получит это письмо, черкнуть пару слов Анюте. Он тоже ей пишет, да кто знает, доходят ли до нее его письма, так как он все время на марше и местопребывание постоянно меняется.

Военному человеку даже по этим двум весточкам о друзьях стало ясно, что гром грянет где-то на юге. Конечно, Алексей и Анюте написал и Гвоздеву послал профессорский совет насчет бороды, только знал он, что тот теперь находится в состоянии той самой предбоевой военной лихорадки, которая так трудна и в то же время так дорога каждому воину, и теперь Гвоздеву не до бороды, может быть, и не до Анюты.

Случилось в сорок второй и еще одно радостное происшеств-

вие. Был опубликован Указ, которым майору Стручкову Павлу Ивановичу присваивалось звание Героя Советского Союза. Но и эта большая радость ненадолго взбодрила майора. Он продолжал хмуриться. Угнетало его, что из-за этих «чертовых чашечек» он должен лежать в такое горячее время. Была для хандры и другая причина, которую он тщательно скрывал и которая открылась Алексею совершенно неожиданно.

Теперь, когда Мересьев всей силой своей воли устремился к одной цели — научиться ходить, — он плохо замечал, что творится вокруг него. День свой он рассчитал по строгому графику. Три часа в день — по часу утром, в полдень и вечером — проводил он на протезах, расхаживая по коридору. Сначала больных раздражала фигура в синем халате, бесконечно, с методичностью маятника мелькавшая в дверях палат, и равномерный скрип протезов, тягуче разносившийся в коридорных просторах. Потом к этому так привыкли, что как-то и не мыслили определенных часов суток без этой маячащей фигуры, и, когда Мересьев однажды заболел гриппом, из соседних палат в сорок вторую пришли гонцы узнать, что случилось с безногим лейтенантом.

По утрам Алексей делал зарядку, а потом, сидя на стуле, тренировал ноги для управления самолетом. Иной раз он упражнялся до одури, до того, что начинало звенеть в ушах, перед глазами мельтешили сверкающие зеленые круги и пол начинал качаться под ногами. Тогда он шел к рукомойнику, мочил голову, потом отлеживался, чтобы прийти в себя и не пропустить часа ходьбы и гимнастики.

На этот раз, найдя до головокружения, он, не видя ничего перед собой, нащупал дверь и тихо опустился на свою койку. Только тогда проникли в его сознание голоса: ровный, чуть-чуть насмешливый — Клавдии Михайловны и бурный, обиженный — майора Струčkова.

Оба были так увлечены разговором, что и не заметили, как вошел Мересьев.

— Да поймите же меня, я серьезно говорю! Доходит это до вас? Женщина вы или нет?

— Женщина, конечно, только ничего до меня не доходит, и серьезно на эту тему вы говорить не можете. Да и не нужна она мне, ваша серьезность.

Стручков вышел из себя. Резко, будто выкрикивая ругательство, он закричал на всю палату:

— Да люблю же я вас, черт возьми! Надо же не женщиной, а поленом осиновым быть, чтобы этого не видеть! Ну, дошло? — Он отвернулся, забарабанил пальцами по окну.

Клавдия Михайловна тихо пошла к двери — неслышной, осторожной походкой опытной медицинской сестры.

— Стойте, куда вы? Ну, что вы мне ответите?

— Здесь не время и не место об этом разговаривать. Я на работе.

— Что вы крутите? Что вы жилы из меня тянете? Отвечайте! — В голосе майора слышалась тоска.

Клавдия Михайловна остановилась в дверях. Ее стройная фигурка четко вырисовывалась на фоне темного коридора. Мересьев и не подозревал, что эта тихая и немолодая уже сестра может быть такой по-женски сильной и привлекательной. Она стояла, закинув голову, и словно с пьедестала смотрела на майора.

— Хорошо, я вам отвечу. Я не люблю вас и, вероятно, никогда не смогла бы полюбить.

Она ушла. Майор бросился на кровать и сунул голову в подушку. Мересьеву стали понятны все стручковские чудачества последних дней — его вспыльчивость, нервозность, когда в комнате появлялась сестра, резкие переходы от веселости к вспышкам бешеного гнева.

Он, должно быть, действительно страдал. Алексею было его жалко, и в то же время он был доволен. Когда майор поднялся с койки, Алексей не удержался от удовольствия пошутить:

— Что ж, разрешите плюнуть, товарищ майор?

Если бы он знал, что произойдет, он никогда, даже в шутку, не сказал бы этого. Майор подбежал к его койке и отчаянным каким-то голосом крикнул:

— Плюй! Ну, плюй, и будешь прав. Есть за что. Не хочешь?.. Что же теперь делать-то буду, а? Ну что, научи, скажи — ты ведь слышал... — Он сел на койку и закачался, стиснув голову кулаками. — Наверно, думаешь — легкое развлечение? Легкое! Я же всерьез, я же ей предложение, дуре, сделал!

Вечером Клавдия Михайловна пришла в палату с назначениями. Она была, как всегда, тихая, ласковая, терпеливая. Казалось, что вся она излучает покой. Майору она тоже улыбалась, но посматривала на него с некоторым изумлением и опаской.

Стручков сидел у окна, сердито кусая ногти. Когда шаги Клавдии Михайловны, удаляясь, застучали по коридору, он проводил ее сердитым и восхищенным взглядом:

— «Советский ангел»... И какой дурак дал ей такое прозвище! Это же черт в халате!

Вошла сестра из канцелярии, тощая пожилая женщина.

— Мересьев Алексей — ходячий? — осведомилась она.

— Бегающий, — буркнул Стручков.

— Я пришла сюда не для шуток! — строго заметила сестра. — Мересьева Алексея, старшего лейтенанта, зовут к телефону.

— Барышня? — оживился майор, подмигивая в сторону сердитой сестры.

— Я ей в паспорт не смотрела, — проскрипела та, величественно выплывая из палаты.

Мересьев соскочил с койки. Бодро постукивая палкой, он опередил сестру и действительно бежал по коридору. Он уже около месяца ждал ответа от Оли, и у него мелькнула нелепая мысль: а что, если это она? Этого не могло быть: в такое время приехать из-под Сталинграда в Москву! Да и как она могла найти его тут, в госпитале, когда он ей писал, что работает в тыловой организации, и не в Москве, а в пригороде.

Но в эту минуту Мересьев верил в чудо и, даже сам не замечая того, бежал, в первый раз по-настоящему бежал на протезах, изредка опираясь на палку, переваливаясь с боку на бок, и протезы скрипели: скрип, скрип, скрип...

В телефонной трубке звенел грудной, приятный, но совершенно незнакомый голос. Его спросили, он ли старший лейтенант Алексей Петрович Мересьев, из сорок второй палаты.

Сердито и резко, как будто в вопросе этом содержалось что-то для него обидное, Мересьев крикнул в трубку:

— Да!

Голос в трубке на минутку осекся. Потом с заметным напряжением холодно извинился за беспокойство.

— Говорит Анна Грибова. Я знакомая вашего друга, лейтенанта Гвоздева, вы меня не знаете, — с некоторым усилием произнесла девушка, явно обиженная неласковым ответом.

Но Мересьев, схватившись обеими руками за трубку, уже кричал в нее что есть мочи:

— Вы Анюта? Та самая? Нет, я вас отлично знаю, отлично! Гриша мне...

— Где он, что с ним? Он сорвался так внезапно. Я вышла из комнаты по тревоге. Я санпост. Вернулась — никого нет, ни записки, ни адреса. Я ничего не понимаю, где он, почему исчез, что с ним... Алеша, дорогой, вы меня извините, что я вас так называю, я вас тоже знаю и очень волнуюсь, где он, почему так внезапно...

У Алексея стало тепло на душе. Он был рад за друга. Значит, этот чудаковатый переосторожничал. Вот действительно брат Карамазов! Значит, не пугают настоящих девушек увечья война. Значит, и он, да, он, может рассчитывать, что его вот так же взволнованно будут искать! Все это с быстротой тока неслось в его голове в то время, как он, захлебываясь, кричал в трубку:

— Анюта! Все в порядке, Анюта! Досадное недоразумение. Он жив-здоров и воюет! Ну да! Полевая почта 42531-В. Он бороду отращивает, Анюта, ей-богу, роскошная борода, как у... как у... как у... партизана. Она ему очень идет.

Бороду Анюта не одобрила. Она сочла ее лишней. Еще более обрадованный Мересьев заявил, что, раз так, Гриша ее одним

махом сбредет ко всем чертям, хотя все находят, что борода его очень красит.

В общем, они повесили трубки друзьями, сговорившись, что перед выпиской Мересьев обязательно ей позвонит.

Возвращаясь в палату, Алексей вспомнил, что к телефону он бежал, попробовал бежать — и не вышло. От резких ударов протеза об пол острая боль пронзила все его тело. Ну ничего: не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра, а он побежит, черт возьми! Все будет хорошо! Он не сомневался, что снова станет и бегать, и летать, и воевать, и, любя зарок, дал себе зарок: после первого воздушного боя, после первого сбитого немца написать Оле обо всем. Будь что будет!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

В разгар лета 1942 года из тяжелых дубовых дверей госпиталя в Москве, опираясь на крепкую, черного дерева палку, вышел коренастый молодой человек в открытом френче военного летчика, в форменных брюках навыпуск, с тремя кубиками старшего лейтенанта на голубых петлицах. Его провожала женщина в белом халате. Косынка с красным крестом, какие носили сестры милосердия в прошлую мировую войну, придавала ее доброму, миловидному лицу немного торжественное выражение. На площадке подъезда они остановились. Летчик снял мягкую, выгоревшую фуражку и неловко поднес к губам руку сестры, а та взяла ладонями его голову и поцеловала в лоб. Потом, слегка переваливаясь, он быстро спустился по ступенькам и, не оглядываясь, пошел по асфальту набережной мимо длинного здания госпиталя.

Раненые в синих, желтых, коричневых пижамах махали ему из окон руками, палками, костылями, что-то кричали, что-то советовали, напутствуя его. Он тоже махал им рукой, но видно было, что стремился он как можно скорее уйти от этого большого серого здания и отворачивался от окон, чтобы скрыть свое волнение. Он шел быстро, странной, прямой, подпрыгивающей походкой, легко опираясь на палку. Если бы не тихий скрип, отмечавший каждый его шаг, никому и в голову не пришло бы, что у этого стройного и крепко сбитого подвижного человека ампутированы ноги.

Алексея Мересьева направили после госпиталя долечиваться в санаторий Военно-Воздушных Сил, находившийся под Москвой. Туда же ехал и майор Стручков. Из санатория за ними

выслали машину. Но Мересьев убедил госпитальное начальство, что в Москве у него родственники, не навестив которых он не может уехать. Он оставил вещевой мешок Стручкову и ушел из госпиталя пешком, обещав добраться до санатория вечером на электричке.

Родственников у него в Москве не было. Но уж очень хотелось ему посмотреть столицу, не терпелось попробовать свои силы в самостоятельной ходьбе, потолкаться в шумной толпе, которой до него не было никакого дела. Он позвонил Анюте и попросил, если она сможет, встретиться с ним часов в двенадцать. Где? Ну, где же?.. Ну, у памятника Пушкину, что ли... И вот теперь он шел один по набережной величавой, закованной в гранит реки, которая сверкала на солнце чешуей мелкой ряби, и жадно вдыхал всей грудью теплый летний, пахнувший чем-то очень знакомым, приятно сладким воздух.

Как же кругом хорошо!

Все женщины казались ему красивыми, зелень деревьев поражала яркостью. Воздух был так свеж, что от него, как от хмеля, кружилась голова, и так прозрачен, что терялись перспективы, и казалось: протяни руку — и можно дотронуться до этих старых зубчатых, никогда не виданных им в натуре кремлевских стен, до купола Ивана Великого, до громадной пологой арки моста, тяжелым изгибом повисшей над водой. Томный, сладковатый запах, висевший над городом, напоминал детство. Откуда он? Почему так взволнованно бьется сердце и вспоминается мать, не теперешняя, худенькая старушка, а молодая, высокая, с пышными волосами? Ведь они же с ней ни разу не бывали в Москве.

До сих пор Мересьев знал столицу по фотографиям в журналах и газетах, по книгам, по рассказам тех, кто побывал в ней, по протяжному звону старинных курантов в полночь, проносящемуся над засыпающим миром, по пестрому и яркому шуму демонстраций, бушевавшему в радиорепродукторе. И вот она перед ним раскинулась, разомлевшая в ярком летнем зное, просторная и прекрасная.

Алексей прошел по пустынной набережной вдоль Кремля, отдохнул у прохладного гранитного парапета, глядя в серую, затянутую радужной пленкой воду, плескавшуюся у подножия каменной стены, и медленно стал подниматься на Красную площадь. Цвели липы. Среди асфальта улиц и площадей в подстриженных кронах, желтевших нехитрыми, сладко пахнущими цветами, деловито гудели пчелы, не обращая внимания ни на гудки проезжавших машин, ни на дребезжанье и скрежет трамваев, ни на жаркое, пахнущее нефтью марево, дрожащее над раскаленным асфальтом.

Так вот ты какая, Москва!

После четырехмесячного лежания в госпитале Алексей был

так поражен ее летним великолепием, что не сразу заметил: столица была одета в военную форму и находилась, как говорят летчики, в готовности номер один, то есть в любую минуту могла подняться на борьбу с врагом. Широкая улица у моста была преграждена большой уродливой баррикадой, сделанной из бревенчатых клеток, заполненных песком, как забытые ребенком на столе кубики, по углам моста возвышались квадраты четырехамбразурных бетонных дотов. На серой глади Красной площади разноцветными красками намалеваны дома, газоны, аллеи. Окна магазинов на улице Горького забиты щитами, засыпаны песком. А в переулках, тоже похожие на игрушки, рассыпанные и забытые своевольным дитятей, лежали сваренные из рельсов ржавые ежи. Военному человеку, попавшему сюда с фронта, да еще не знавшему раньше Москвы, все это не очень бросалось в глаза. Изумляли только странная раскраска некоторых домов и стен, напоминавшая нелепые картины футуристов, да еще «Окна ТАСС», смотревшие на прохожих с заборов, с витрин, словно соскочившие на улицы со страниц Маяковского.

Поскрипывая протезами и уже тяжелее опираясь на палку, изрядно уставший, Мересьев шел вверх по улице Горького и с удивлением искал глазами ямы, язвы, расколотые бомбами дома, зияющие провалы, выбитые окна. Живя на одном из самых западных военных аэродромов, он почти каждую ночь слышал, как над землянкой эшелон за эшелоном плыли на восток немецкие бомбардировщики. Не успевала смолкнуть вдали одна волна, как наплывала другая, и воздух иной раз гудел всю ночь. Знали летчики: фриц идет на Москву. И представляли себе, какой там должен быть сейчас ад.

И вот теперь, рассматривая военную Москву, Мересьев искал глазами следы налетов, искал и не находил. Ровны были асфальтовые мостовые, непотревоженными шеренгами стояли дома. Даже стекла в окнах, хотя и залепленные сетками бумажных полосок, за редким исключением были целы. Но фронт был близко, и это угадывалось по озабоченным лицам жителей, из которых половина были военные, в пыльных сапогах, в мокрых от пота, липших к плечам гимнастерках, с «сидорами», как тогда звали вещевые мешки, за плечами. Вот на залитую солнцем улицу вырвалась из переулка длинная колонна пыльных грузовиков с помятыми крыльями, с простреленными стеклами кабин. Запыленные бойцы в плащ-палатках, развевавшихся за плечами, сидя в расхлябанных деревянных кузовах, с интересом оглядывались кругом. Колонна двигалась, обгоняя троллейбусы, легковые машины, трамваи, как живое напоминание о том, что неприятель здесь, близко. Мересьев проводил колонну долгим взглядом. Вот прыгнуть бы в этот пыльный кузовок, а к вечеру,

глядишь, был бы уже на фронте, на родном аэродроме! Он представил себе свою землянку, в которой они жили вместе с Дегтяренко, нары, устроенные на козлах из елок, острый запах смолы, хвои и бензина от самодельной лампы, сделанной из сплющенного сверху снарядного стакана, вой прогреваемых моторов по утрам и не затихавший ни днем, ни ночью шум сосен над головой. Землянка эта представилась покойной, уютной, настоящим домом. Эх, поскорее бы туда, в эти болота, которые летчики проклинали за сырость, за топкость грунта, за непрерывный комариный звон!

До памятника Пушкину Алексей еле дошел. По пути он несколько раз отдыхал, опираясь обеими руками на палку, и делая вид, что рассматривает какие-то пустячки, выставленные в запыленных витринах промтоварных магазинов. С каким удовольствием бы он сел... нет, не сел, а повалился на теплую, разогретую солнцем зеленую скамью недалеко от памятника, повалился и вытянул ноющие, затекшие, натертые ремнями ноги. Но радостное настроение не схлынуло, несмотря на усталость. Уж очень хорош был этот яркий день! Бездонно было небо, простиравшееся над каменной женщиной, стоящей на угловой башне крайнего дома. Мягкий, ласковый ветерок тянул вдоль бульвара свежий и сладкий запах цветущих лип. Задорно звенели и дребезжали трамваи, и славно смеялись маленькие москвичи, бледные, худенькие, сосредоточенно рывшиеся в теплом и пыльном песке у подножия памятника. Чуть поодаль, в глубине бульвара, за веревочной изгородью, под конвоем двух румяных дева́х в щеголеватых гимнастерках серебрилась огромная сигара аэростата, и этот атрибут войны показался Мересьеву не ночным сторожем московского неба, а большим и добродушным зверем, бежавшим из зоопарка и дремавшим сейчас на бульваре в холодке под цветущими деревьями.

Мересьев зажмурил глаза, подставляя улыбающееся лицо солнцу.

Сначала малыши не обратили внимания на летчика. Они напоминали воробьев на подоконнике сорок второй палаты. Под веселый их щебет Алексей всем своим существом впитывал солнечное тепло и уличный шум. Но вот один босой мальчуган, удирая от приятеля, споткнулся о вытянутые ноги летчика и полетел на песок.

На мгновение круглая рожица его исказилась плаксивой гримасой, потом на ней появилось озадаченное выражение, сменившееся настоящим ужасом. Мальчуган вскрикнул и, со страхом глянув на Алексея, пустился прочь. Вся ребячья стайка собралась возле него и что-то долго тревожно чирикала, искоса поглядывая на летчика. Потом медленно и опасливо она стала приближаться.

Поглощенный своими думами, Алексей не видел всего этого. Он заметил мальчуганов, смотревших на него с удивлением и страхом, и только тогда до сознания его дошел их разговор.

— И все ты, Витамин, врешь! Летчик как летчик, старший лейтенант, — серьезно заметил бледный и худой паренек лет десяти.

— И не вру. Провалиться мне, честное пионерское, — деревянные! Говорю вам: не настоящие, а деревянные, — оправдывался круглолицый Витамин.

Мересьева точно в сердце укололи. И сразу не так уж ярко и весело показался ему день. Он поднял глаза, и от взгляда его ребята попятились, продолжая смотреть ему на ноги. Задетый за живое, Витамин задорно напирал на худенького:

— Ну, хочешь, спрошу? Думаешь, струшу? Давай на спор!

Он вдруг отделился от стайки и, осторожно ступая, готовый каждую минуту сорваться, как это делал воробей «Автоматчик», стал боком приближаться к Мересьеву.

— Дяденька старший лейтенант... — сказал он, весь напрягаясь, как бегун на старте перед рывком. — Дяденька, у вас какие ноги — настоящие или деревянные? Вы инвалид?

И тут он, этот похожий на воробья мальчуган, заметил, что карие глаза летчика заплывают слезами. Если бы Мересьев вскочил, заорал на него, бросился бы за ним, размахивая своей диковинной палкой с золотыми буквами, это не произвело бы на него такого впечатления. Не умом — нет, воробьиным своим сердчишком мальчуган почувствовал, какую боль он причинил этому смуглому военному, сказав слово «инвалид». Он молча отступил в притихшую толпу приятелей, и та тихо исчезла, точно растаяла в знойном душистом воздухе, пахнущем медом и разогретым асфальтом.

Кто-то назвал его по имени. Он сразу вскочил. Перед ним была Анюта. Он сразу узнал ее, хотя в жизни она была не такая хорошенькая, как на фотографии. У нее было бледное, усталое лицо, она была в полувоенной форме — гимнастерке и сапогах. Старенькая пилотка пирожком лежала у нее поверх прически. Но глаза, зеленоватые выпуклые глаза, смотрели на Мересьева так светло и просто, излучали такое дружелюбие, что неизвестная эта девушка показалась давно знакомой, точно выросли они с ней на одном дворе.

Мгновение они молча изучали друг друга.

— Я вас совсем другим себе представляла.

— Каким же это? — Мересьев чувствовал, что не в силах согнать с лица не очень уместную улыбку.

— Да таким... как бы это сказать... героическим, высоким, ну, сильным, что ли, с такой вот челюстью и с трубкой, обязательно с трубкой... Мне Гриша о вас столько писал...

— Вот Гриша ваш — это действительно герой! — перебил

ее Алексей и, увидев, как девушка просияла, продолжал, подчеркивая слова «у вас», «ваш»: — Он у вас настоящий человек. Я — что, а он, ваш-то Гриша, он, наверно, вам ничего о себе не рассказывал...

— Знаете что, Алеша... Вас можно называть Алешей? Я так привыкла по его письмам... У вас дел больше в Москве нет? Да? Пойдемте ко мне, я уже отдежурила, у меня целые сутки свободные. Пойдемте! У меня есть водка. Вы любите водку? Я вас угощу.

На миг откуда-то из глубины памяти глянуло на Алексея и подмигнуло ему хитрое лицо майора Стручкова: дескать, видишь, живет одна, водка, ага! Но Стручков был так посрамлен, что Алексей ему теперь ни на грош не верил. До вечера оставалось много времени, и они пошли по бульвару, весело болтая, как старые добрые друзья. Ему было приятно, что девушка эта еле сдержалась, кусая губы, когда он рассказывал о том, какая беда постигла Гвоздева в начале войны. Зеленоватые глаза ее светились, когда он описывал его военные приключения. Как она гордится им! Как, вся зардевшись, спрашивает о нем всё новые и новые подробности! Как негодует, рассказывая о том, что Гвоздев ни с того ни с сего прислал ей вдруг свой денежный аттестат! И почему он так неожиданно сорвался и уехал? Не предупредил, не оставил записки, не дал адреса. Военная тайна? Но какая же это военная тайна, когда человек уезжает не простившись и потом ничего не пишет?

— Кстати, почему вы мне по телефону так старательно подчеркивали, что он отращивает бороду? — спросила Аня, испытующе взглянув на Алексея.

— Так, сбrehнул, чепуха, — попытался уклониться Мерсеев.

— Нет, нет, скажите! Я не отстану, скажите. Это тоже военная тайна?

— Какая же тут тайна! Да просто это профессор наш Василий Васильевич ему... прописал, чтобы он девушкам... чтобы он одной девушке больше нравился.

— Ах, вот что, теперь я все понимаю. Та-а-а-ак!

Аня как-то сразу потускнела, стала старше, точно выключился свет в выпуклых зеленоватых глазах, вдруг стали заметнее бледность ее лица, крохотные, точно иголкой прочерченные морщинки на лбу и у глаз. И вся она, в старенькой гимнастерке, с выгоревшей пилоткой на темно-русых гладких волосах, показалась Алексею очень усталой и утомленной. Только яркий, сочный маленький ее рот с едва приметным пушком и крохотной родинкой-точкой над верхней губой говорил, что девушка совсем еще молода, что вряд ли ей стукнуло и двадцать лет.

В Москве, бывает, идешь, идешь по широкой улице, под сенью красавцев домов, а потом свернешь с этой улицы, сделаешь в сторону шагов десять — и перед тобой старый пузатый домик, вросший в землю и смотрящий тусклыми от старости стеклами маленьких окон. В таком вот домике и жила Анюта. Они поднялись по узкой, тесной лесенке, на которой пахло кошками и керосином, во второй этаж. Девушка открыла ключом дверь. Перешагнув через стоящие меж дверьми, на холодке, сумки с провизией, миски и котелки, они вошли в темную и пустую кухню, через нее — в коридорчик, заставленный и завешанный, и оказались у небольшой двери. Худенькая старушка высунулась из двери напротив.

— Анна Даниловна, там вам письмо, — сказала она и, проводив молодых людей любопытным взором, скрылась.

Отец Анюты был преподавателем. Вместе с институтом эвакуировались в тыл и родители Анюты. Две маленькие комнаты, тесно, как мебельный магазин, заставленные старинной мебелью в полотняных чехлах, остались на попечение девушки. От мебели, от старых шерстяных портьер и пожелтевших занавесей, картин, олеографий, от статуэток и вазочек, стоявших на пианино, тянуло духом сырости и запустения.

— Вы извините, я на казарменном положении: из госпиталя хожу прямо в университет, а сюда так, наведываюсь, — сказала Анюта, краснея, и поспешно вместе со скатертью стянула со стола всяческий мусор.

Она вышла, вернулась, постелила скатерть и аккуратно одернула края.

— А если домой вырвешься, так устанешь, что еле дойдешь до дивана и спишь не раздеваясь. Уж где тут убираться!

Через несколько минут уже пел электрический чайник. На столе сверкали старые, с вытертыми боками фасонистые чашки. На фаянсовой доске лежал нарезанный лепестками черный хлеб, в вазе на самом доньшке виднелся мелко-мелко крошенный сахар. Под вязаным, тоже прошлого века, чехлом с шерстяными помпонами вызревал чай, источая приятный аромат, напоминающий о довоенных временах, а посреди стола сверкала голубизной непочатая бутылка под конвоем двух тоненьких рюмок.

Мересьев был усажен в глубокое бархатное кресло. Из зеленой бархатной обивки вылезло столько мочала, что его не в силах были скрыть вышитые шерстью дорожки, аккуратно приколотые к сиденью и спинке. Но было оно таким уютным, так ловко и ласково обнимало оно человека со всех сторон, что Алексей тотчас же развалился на нем, блаженно вытянув затекшие, горящие ноги.

Анюта села возле него на маленькую скамеечку и, глядя

снизу вверх, как девочка, снова начала расспрашивать его о Гвоздеве. Потом вдруг спохватилась, ругнула себя, хлопотала, потащила Алексея к столу.

— Может быть, выпьете, а? Гриша говорил, что танкисты, ну, конечно, и летчики...

Она придвинула к нему рюмку. Водка голубовато сверкала в ярких солнечных лучах, пересекавших комнату. Запах спирта напоминал далекий лесной аэродром, командирскую столовку, веселый гул, сопровождавший выдачу за обедом «нормы горячего». Заметив, что вторая рюмка пуста, он спросил:

— А вы?

— Я не пью,— сказала Анюта просто.

— А если за него, за Гришу?

Девушка улыбнулась, молча налила себе рюмку; держа ее за тонкую талию, задумчиво чокнулась с Алексеем.

— За его удачу! — решительно сказала она, лихо опрокинула рюмку в рот, но тотчас же поперхнулась, закашлялась, покраснела и еле отдышалась.

Мересьев почувствовал, как с непривычки водка ударила ему в голову, разлилась по телу теплом и покоем. Он налил еще. Анюта решительно затрясла головой:

— Нет-нет, я не пью, вы же видели.

— А за мою удачу? — сказал Алексей. — Анюта, если бы вы знали, как мне нужна удача!

Как-то очень серьезно посмотрев на него, девушка подняла рюмку, ласково кивнула ему головой, тихо пожала ему руку у локтя и снова выпила. Задохнувшись, она еле откашлялась.

— Что я делаю? После круглосуточного дежурства! Это только за вас, Алеша. Вы же... мне Гриша много о вас писал... Я очень, очень хочу вам удачи! И у вас удача будет, обязательно, слышите — обязательно! — Она рассмеялась звонким, рассыпчатым смехом. — Что же вы не кушаете? Кушайте хлеб. Не стесняйтесь, у меня еще есть. Это вчерашний, а сегодняшний я еще не получала. — Улыбаясь, она придвинула ему фаянсовую дощечку с тоненькими лепестками хлеба, нарезанного, как сыр. — Да кушайте, кушайте, чужак, а то охмелеете, что с вами будет?

Алексей отодвинул от себя дощечку с лепестками хлеба, глянул Анюте прямо в зеленоватые ее глаза и на ее маленький, пухлый, с яркими губами рот.

— А что бы вы сделали, если бы я вас сейчас поцеловал? — спросил он глухим голосом.

Она испуганно глянула на него, сразу, должно быть, отрезвев, даже не гневно, нет, а изучающе и разочарованно, как человек смотрит на осколок битого стекла, который минуту назад издали сверкал и мнился ему драгоценным камнем.

— Вероятно, выгнала бы вас и написала бы Грише, что он плохо разбирается в людях,— холодно сказала она, вновь настойчиво придвигая ему хлеб.— Закусите, вы пьяны.

Мересьев просиял:

— Вот это правильно, вот за это спасибо вам, умница! От всей Красной Армии спасибо! Я напишу Грише, что он хорошо, он здорово разбирается в людях.

Они проболтали часов до трех, пока пыльные сверкающие столбы, пронизавшие комнату наискосок, не стали забираться на стену. Пора было на поезд. С какой-то грустью Алексей встал с удобного зеленого кресла, унося на френче обрывок мочала. Анюта пошла его провожать. Они шли под руку, и, отдохнув, ступал он так уверенно, что девушке подумалось: полно, так ли, не шутил ли Гриша, говоря, что у приятеля нет ног? Анюта рассказывала Алексею об эвакуационном госпитале, где она вместе с другими медичками работала теперь по сортировке раненых, о том, как им сейчас трудно, потому что с юга каждый день прибывает по нескольку эшелонов, и о том, какие эти раненые чудесные люди, как стойко переносят они страдания. Вдруг на полужизне она перебила себя и спросила:

— А вы серьезно сказали, что Гриша отращивает бороду? — Она помолчала, задумалась, потом тихо прибавила: — Я все поняла. Скажу вам честно, как папе: ведь действительно сначала тяжело смотреть на эти его шрамы. Нет, не тяжело — это не то слово, а немножко страшно, что ли... нет, и не страшно, это тоже не то... Я не знаю, как сказать. Вы меня поняли? Это, может быть, нехорошо... Что сделаешь! Но бежать, бежать от меня — чудак, господи, какой страшный чудак! Если будете ему писать, напишите, что он меня очень, ну, очень этим обидел.

Огромное помещение вокзала было почти пусто. Наполняли его военные, то деловито спешившие, то молча сидевшие у стен на скамейках, на своих мешках, на корточках и на полу, озабоченные, хмурые, точно занятые какой-то одной, общей мыслью. Когда-то по этой дороге осуществлялась основная связь с Западной Европой. Теперь путь на Запад был перерублен врагом километрах в восьмидесяти от Москвы, и по слепому короткому отростку шло пригородное сообщение. Ходили только фронтовые составы, на которых военные люди часа за два добирались из столицы прямо до вторых эшелонов своих дивизий, державших здесь оборону, да из поездов электрички каждые полчаса высыпали на платформу толпы рабочих, живших в пригородах, крестьянок с молоком, ягодами, грибами и овощами. Их шумная волна на мгновение заливала вокзальное помещение, но сейчас же выплескивалась на площадь, и вновь на вокзале оставались одни фронтовики.

В центральном зале висела большая, до самого потолка,

карта советско-германского фронта. Девушка в военном, толстощекая и румяная, стоя на лесенке-стремянке, держа в руке газету со свежей сводкой Совинформбюро, перекалывала на карте булавками шнурок, отмечающий линию фронта.

В нижней части карты шнурок резко, углом перемещался вправо. Немцы наступали на юге. Они прорвались в изюмбарвенковские ворота. Фронт их шестой армии, тупым клином вдававшийся в глубь страны, уже тянулся к голубой жиле донской излучины. Девушка переколола шнурок вплотную к Дону. Совсем рядом толстой артерией извивалась Волга с крупным кружком Сталинграда и маленькой точкой Камышина над ним. Было ясно, что вражеский клин, прилипший к Дону, тянется к этой основной водной артерии и уже близок от нее и от исторического города. Большая толпа, над которой возвышалась девушка на стремянке, в подавленном молчании смотрела на ее пухлые руки, перекалывавшие булавки.

— Прет, собака... Гляди, как прет! — сокрушенно подумал вслух молодой солдат, обливавшийся потом в еще не обмявшейся новенькой шинели, угловато коробившейся на нем.

Худой седоусый железнодорожник в замасленной форменной фуражке хмуро посмотрел на бойца с высоты своего роста:

— Прет? А ты чего пускаешь? Известно, прет, коли ты от него пятишься. Вояки! Вон куда — аж на самую матушку-Волгу пустили! — В тоне его слышались боль и скорбь, точно сына корил он за большой, непростительный промах.

Боец виновато огляделся и, вздернув на плечах новенькую свою шинельку, стал выдираться из толпы.

— Да, провоевали изрядно, — вздохнул кто-то и горько покачал головой. — Э-эх!

— За что его ругать?.. Он чем виноват? Мало их, что ли, полегло? Силища-то какая прет, почитай вся Европа на танках. Удержи-ка ее сразу, — заступился за бойца старый человек в брезентовом пыльнике, с виду не то сельский учитель, не то фельдшер. — Коли подумать как следует, должны мы с вами этому бойцу в ножки поклониться, что живые да свободные по Москве ходим. Какие страны немец за недели танками затапывал! А мы год с лишним воюем — и ничего, и бьем, и сколько уже его набили. Ему вон, бойцу-то, весь мир должен в ножки кланяться, а вы — «пятишься»!

— Да знаю, знаю, не агитируй меня, бога ради! Ум-то знает, а сердце-то болит, душа-то разрывается, — хмуро отозвался железнодорожник. — Ведь по нашей земле фашист идет, наши дома терзает...

— А он там? — спросила Аня, показывая рукой на юг.

— Там. И она там, — отвечал Алексей.

У самой голубой петли Волги, повыше Сталинграда, он

видел маленький кружочек с надписью «Камышин». Для него это была не просто географическая точка. Зеленый городок, заросшие травой окраинные улицы, тополя, шелестящие глянцеви́тыми пыльными листьями, запах пыли, укропа, петрушки из-за огородных плетней, полосатые шары арбузов, словно разбросанные на черной и сухой глине бахчи в высохшей ботве, остро пахнувшие полынью степные ветры, необозримая сверкающая гладь реки и девушка, стройная, сероглазая, загорелая, и мать, седая, суетливо-беспомощная...

— И они там,— сказал он еще раз.

2

Поезд электрички, бойко журча колесами и сердито рявкая сиреной, резво бежал по Подмоскoвью. Алексей Мересьев сидел у окна, притиснутый к самой стенке бритым старичком в широкополой горьковской шляпе, в золотом пенсне на черном шнурочке. Огородная тяпка, заступ и вилы, аккуратно обернутые газетой и перевязанные шнурком, торчали у старичка меж колен. Как и все в те грозные дни, старичок жил войной. Он бойко тряс перед носом Мересьева сухой ладошкой и многозначительно шептал ему на ухо:

— Вы не смотрите, что я штатский,— я отлично понял наш план: заманить врага в приволжские степи, да-с, дать ему растянуть свои коммуникации, как говорят теперь, оторваться от баз, а потом вот отсюда, с запада и с севера, раз-раз, коммуникации перерезать и разделаться с ним. Да-с, да-с... И это очень разумно. Ведь против нас не один Гитлер. Своим кнутом он гонит на нас Европу. Ведь мы один на один против армии шести стран сражаемся. Единоборствуем. Надо амортизировать этот страшный удар хотя бы пространством, да-с. Это единственный разумный выход. Ведь, в конце концов, союзники-с молчат... А? Как вы думаете?

— Я думаю, чепуху вы говорите. Родная земля — слишком дорогой материал для амортизаторов,— неприветливо отозвался Мересьев, вспомнив почему-то пепелище мертвой деревни, по которой он проползал зимой.

Но старичок бубнил и бубнил у самого уха, обдавая летчика запахом табака и ячменного кофе.

Алексей высунулся в окно. Подставляя лицо порывам теплого пыльного ветра, жадно смотрел он на бегущие мимо поезда платформы с полинявшими зелеными решетками, с кокетливыми ларьками, забитыми горбылем, на дачки, глядевшие из лесной зелени, на изумрудные заливные лужки у высохших русел крохотных речушек, на восковые свечи сосновых стволов, ян-

тарно золотевшие среди хвои в лучах заката, на широкие синеющие вечерние дали, открывшиеся из-за леса.

— ...Нет, вот вы военный, вы скажите: хорошо это? Вот уже больше года мы деремся с фашизмом один на один, а? А союзники-с, а второй фронт? Вот вы представьте картину. Воры напали на человека, который, ничего не подозревая, работал себе в поте лица. И он не растерялся, этот человек, схватился с ними драться и дерется. Кровью истекает и дерется, бьет их чем попало. Он один, а их много, они вооружены, они его давно подстерегали. Да-с. А соседи видят эту сцену и стоят у своих хат и сочувствуют: дескать, молодец, ах, какой молодец! Так их, ворюг, и надо, бей их, бей! Да вместо того чтобы помочь от воров отбиться, камушки, железки ему протягивают: на, дескать, ударь этим крепче. А сами в сторонке. Да-с, да-с, так они и делают сейчас, союзники... Пассажиры-с...

Мересьев с интересом оглянулся на старичка. Многие теперь смотрели в их сторону, и со всех концов переполненного вагона слышалось:

— Что ж, и правильно. Один на один воюем. Где он, второй фронт-то?

— Ничего, с работой, бог даст, и одни справимся, а к обеду, чай, и они поспеют, второй-то фронт.

Поезд притормозил около дачной платформы. В вагон вошло несколько раненых в пижамах, на костылях и с палочками, с кулечками ягод и семечек. Они ездили, должно быть, из какого-то госпитального дома для выздоравливающих на здешний базар. Старичок сейчас же сорвался с места:

— Садитесь, голубчик, садитесь,— и чуть не насильно усадил рыжего парня на костылях, с забинтованной ногой на свое место.— Ничего, ничего, сидите, не беспокойтесь, мне сейчас выходить.

Для пущего правдоподобия старичок со своими тятками и граблями сделал даже движение к двери. Молочницы стали тесниться на скамейках, уступая раненым место. Откуда-то сзади Алексей услышал осуждающий женский голос:

— И не стыдно человеку? Возле увечный воин стоит, мается, затолкали совсем, а он, здоровый, сидит и ухом не ведет. Словно сам от пули заговоренный. А еще командир, летчик!

Алексей вспыхнул от незаслуженной этой обиды. Бешено шевельнулись его ноздри. Но вдруг, просияв, он вскочил с места:

— Садись, браток.

Раненый смутился, отпрянул:

— Что вы, товарищ старший лейтенант! Не беспокойтесь, я постою. Тут недалеко, две остановки.

— Садись, говорят! — крикнул ему Мересьев, чувствуя прилив озорной веселости.

Он пробрался к стенке вагона и, прислонившись к ней, встал, опираясь о палку обеими руками. Стоял и улыбался. Старушка в клетчатом платке поняла, должно быть, свою оплошность.

— Вот народ!.. Ближние кто, уступите место командиру с клюшкой. И не стыдно? Вон ты, в шляпке: кому война, а тебе, знать, мать родна, — расселась!.. Товарищ командир, ступайте сюда вот, на мое местечко... Да раздайтесь вы, бога ради, дайте командиру пройти!

Алексей сделал вид, что не слышит. Нахлынувшая было радость потускнела. В это время проводница назвала нужную ему остановку, и поезд стал мягко тормозить. Пробираясь сквозь толпу, Алексей опять столкнулся у двери со старичком в пенсне. Тот подмигнул ему, как старому знакомому.

— А что, думаете, все-таки второй фронт откроют? — спросил он шепотом.

— Не откроют, так сами справимся, — ответил Алексей, сходя на деревянный перрон.

Журча колесами, голосисто побрякивая сиреной, поезд скрылся за поворотом, оставив негустой след пыли. Платформу, на которой осталось всего несколько пассажиров, сразу обняла душистая вечерняя тишина. До войны здесь, должно быть, было очень хорошо и покойно. Сосновый лес, плотно обступивший платформу, ровно и успокаивающе звенел своими вершинами. Наверно, года два тому назад в такие вот погожие вечера по тропкам и дорожкам, ведущим через лесную сень к дачам, расходились с поездов толпы нарядных женщин в легких пестрых платьях, шумные детишки, веселые загорелые мужчины, возвращавшиеся из города с кулечками снеди, бутылками вина — гостинцами дачникам. Немногие оставленные теперь поездом пассажиры с тяпками, заступами, вилами и другим огородным инвентарем быстро сошли с платформы и деловито зашагали в лес, погруженные в свои заботы. Только Мересьев со своей палкой напоминал гуляющего, любовался красотой летнего вечера, дышал полной грудью и жмурился, ощущая на коже теплое прикосновение солнечных лучей, пробившихся сквозь ветви сосен.

В Москве ему подробно объяснили дорогу. Как истый военный, по немногим ориентирам он без труда определил путь к санаторию, находившемуся в десяти минутах ходьбы от станции, на берегу небольшого спокойного озера. Когда-то, до революции, один русский миллионер решил построить под Москвой летний дворец, да такой, чтобы подобного ни у кого не было. Он заявил архитектору, что не пожалеет денег, лишь бы дворец

был совершенно оригинальным. Потрафляя вкусу патрона, архитектор построил у озера какой-то гигантский диковинный кирпичный терем с узкими решетчатыми окнами, башенками, крылечками, с ходами и переходами, с острыми коньками крыш. Аляповатым, нелепым пятном было вписано это сооружение в раздольный русский пейзаж у самого озера, заросшего осокой. А пейзаж был хорош! К воде, в тихую пору стеклянно гладкой, сбегал изящной и беспокойной стайкой молодой осинник, трепеща листьями. То там, то тут белели в пенистой зелени стволы берез. Синеватое кольцо старого бора окаймляло озеро широким зубчатым кругом. И все это повторялось в опрокинутом виде в водном зеркале, растворяясь в прохладной голубизне тихой прозрачной влаги.

Многие из знаменитых художников подолгу жилали у здешнего хозяина, славившегося на всю Русь отменным хлебосольством, и этот раздольный пейзаж, и в целом и отдельными своими уголками, был навеки запечатлен на многих полотнах как образец могучей и скромной красоты великорусской природы.

Вот в этом-то дворце и помещался санаторий Военно-Воздушных Сил РККА. В мирное время летчики жилали здесь с женами, порой и целыми семьями. В дни войны их направляли сюда долечиваться после госпиталей. Алексей пришел к санаторию не по широкой асфальтовой, обсаженной березами круглой дороге, а по тропе, проторенной прямо от станции через лес к озеру. Он зашел, так сказать, с тыла и, никем не замеченный, затерялся в большой и шумной толпе, окружившей два битком набитых автобуса, что стояли у парадного подъезда.

Из разговоров, из реплик, из напутственных выкриков и пожеланий Алексей уловил, что провожают летчиков, направляющихся из санатория прямо на фронт. Отъезжающие были веселы, возбуждены, как будто ехали они не туда, где за каждым облачком стерегла их смерть, а в родные мирные гарнизоны; на лицах провожавших отражались нетерпение, грусть. Алексей понимал это. С начала нового гигантского сражения, разыгравшегося на юге, он сам испытывал эту необоримую тягу. Она развивалась по мере того, как на фронте нарастали события и усложнялась обстановка. Когда же в военных кругах, правда еще пока тихо и осторожно, стало произноситься слово «Сталинград», эта тяга переросла в щемящую тоску, и вынужденное госпитальное безделье стало невыносимым.

Из окон щеголеватых машин выглядывали загорелые, возбужденные лица. Невысокий лысоватый армянин в полосатой пижаме, хромой, один из тех общепризнанных остроумцев и добровольных комиков, какие обязательно попадают в каждой партии отдыхающих, ковыляя, суетился около автобусов и, размахивая палкой, напутствовал кого-то из отъезжающих:

— Эй, кланяйтесь там в воздухе фрицам! Федя! Расквитайся с ними за то, что они тебе курс лунных ванн не дали закончить. Федя, Федя! Ты им там в воздухе докажи, что непорядочно с их стороны мешать советским асам принимать лунные ванны.

Федя, загорелый парень с круглой головой, с большим шрамом, пересекавшим высокий лоб, высовывался из окна и кричал, что пусть лунный комитет санатория будет покоен.

В толпе и автобусах грохнул смех, под смех этот машины тронулись и медленно поплыли к воротам.

— Ни пуха ни пера! Счастливого пути! — слышалось из толпы.

— Федя, Федя! Присылай скорее номер полевой почты! Зиночка вернет тебе твое сердце заказным пакетом...

Автобусы скрылись за поворотом аллеи. Осела позлащенная закатом пыль. Отдыхающие в халатах, в полосатых пижамах медленно разбрелись по парку. Мересьев вошел в вестибюль санатория, где на вешалках висели фуражки с голубыми околышами, а на полу лежали по углам кегли, волейбольные мячи, крокетные молотки и теннисные ракетки. До канцелярии довел его давешний хромотой. При ближайшем рассмотрении у него оказалось серьезное, умное лицо с большими, красивыми грустными глазами. По пути он шутливо отрекомендовался председателем санаторного лункома и заявил, что лунные ванны, как доказала медицина, — лучшее средство для лечения любого ранения, что стихии и неорганизованности в этом деле он не допускает и сам выписывает наряды на вечерние прогулки. Шутил он как-то автоматически. Глаза у него при этом сохраняли все то же серьезное выражение и зорко, с любопытством изучали собеседника.

В канцелярии Мересьева встретила девушка в белом халате, такая рыжая, что казалось, будто голова у нее охвачена буйным пламенем.

— Мересьев? — строго спросила она, откладывая книжку, которую читала. — Мересьев Алексей Петрович? — Она окинула летчика критическим взором. — Что вы меня разыгрываете! Вот у меня записано: «Мересьев, старший лейтенант, из энского госпиталя, без ног», а вы...

Только теперь Алексей рассмотрел ее круглое, белое, как у всех рыжих, личико, совершенно терявшееся в ворохе медных волос. Яркий румянец проступал сквозь тонкую кожу. Она смотрела на Алексея с веселым удивлением круглыми, как у совы, светлыми, нагловатыми глазами.

— И все-таки я Мересьев Алексей, и вот мое направление... А вы Леля?

— Нет, откуда вы взяли? Я Зина. У вас что, протезы, что ли, такие? — Она недоверчиво смотрела на ноги Алексея.

— Ага! Так та самая Зиночка, которой Федя отдал свое сердце?

— Это вам майор Бурназян наговорил? Успел. Ух, как я ненавижу этого Бурназяшку! Над всем, над всем смеется! Что особенного в том, что я учила Федю танцевать? Подумаешь!

— А теперь вы меня будете учить, идет? Бурназян мне обещал выписать путевку на лунные ванны.

Девушка с еще большим удивлением глянула на Алексея:

— То есть как это — танцевать? Без ног? Ну вас!.. Вы, должно быть, тоже над всем смеетесь.

В это время в комнату вбежал майор Стручков и сгреб Алексея в свои объятия:

— Зиночка, так договорились — старшего лейтенанта в мою комнату.

Люди, пролежавшие долго в одном госпитале, встречаются потом как братья. Алексей обрадовался майору, как будто он несколько лет не видел его. Вещевой мешок Струčkова уже лежал в санатории, и майор чувствовал себя тут дома, всех знал, и все его знали. За сутки он успел уже кое с кем подружиться и кое с кем поссориться.

Маленькая комната, которую они заняли вдвоем, выходила окнами в парк, подступавший прямо к дому толпой стройных сосен, светло-зелеными зарослями черники и тонкой рябинкой, на которой трепетало, как на пальме, несколько изящных резных листьев-лапок и желтела одна-единственная, зато очень увесистая гроздь ягод.

Сразу же после ужина Алексей забрался в кровать, растянулся на прохладных, влажных от вечернего тумана простынях и мгновенно уснул.

И увидел он в эту ночь странные, тревожные сны. Голубой снег, луна. Лес, как мохнатая сеть, накрыл его, и надо ему из этой сети вырваться, но снег держит его за ноги. Алексей мучается, чувствуя, что настигает его неясная, но страшная беда, а ноги вмерзли в снег, и нет сил вырвать их оттуда. Он стонет, переворачивается — и перед ним уже не лес, а аэродром. Долговязый технарь Юра в кабине странного, мягкого и бескрылого самолета. Он машет рукой, смеется и вертикально взлетает в небо. Дед Михайла подхватывает Алексея на руки и говорит ему, как ребенку: «Ну и пусть его, пусть, а мы с тобой попаримся, косточки погреем, хорошо, мило-дорого!» Но кладет он его не на горячий полóк, а на снег. Алексей хочет подняться — и не может: земля прочно притягивает его. Нет, это не земля притягивает, это медведь навалился на него своей жаркой тушей, душит, ломает, храпит. Мимо едут автобусы с летчиками, но они не замечают его, эти люди, весело смотрящие из окон. Алексей хочет им крикнуть, чтобы помогли, хочет броситься

к ним или хотя бы посигналить рукой, но не может. Рот открывается, но слышен лишь шепот. Алексей начинает задыхаться, он чувствует, как останавливается у него сердце, он делает последнее усилие... почему-то мелькает перед глазами смеющееся лицо Зиночки в буйном пламени рыжих волос, насмешливо светятся ее нагловатые, любопытные глаза...

Алексей просыпается с ощущением безотчетной тревоги. Тихо. Легонько посапывая носом, спит майор. Призрачный лунный столб, пересекая комнату, уперся в пол. Почему же вдруг вернулись образы этих страшных дней, которые Алексей почти никогда не вспоминал, а если и начинал вспоминать, то они ему самому казались бредовой сказкой? Ровный и тихий звон, сонный ропот вместе с душистой прохладой ночного воздуха льется в ярко освещенное луной, широко распахнутое окно. Он то взволнованно наплывает, то глохнет, удаляясь, то тревожно застывает на шипящей ноте. Это шумит за окном бор.

Усевшись на кровати, летчик долго слушает таинственный звон сосен, потом резко встряхивает головой, точно отгоняет наваждение, и снова наполняет его упрямая, веселая энергия. В санатории ему полагается прожить двадцать восемь дней. После этого решится, будет ли он воевать, летать, жить или ему будут вечно уступать место в трамвае и провожать его сочувственными взглядами. Стало быть, каждая минута этих долгих и вместе с тем коротких двадцати восьми дней должна быть борьбой за то, чтобы стать настоящим человеком.

Сидя на кровати в дымчатом свете луны, под храп майора Алексей составил план упражнений. Он включил сюда утреннюю и вечернюю зарядки, хождение, бег, специальную тренировку ног, и что особенно его увлекло, что сулило ему всесторонне развить его надставленные ноги — была идея, мелькнувшая у него во время разговора с Зиночкой.

Он решил научиться танцевать.

3

В тихий, прозрачный августовский полдень, когда все в природе сверкало и лоснилось, но по каким-то еще незаметным признакам уже чувствовалась в горячем воздухе тихая грусть увядания, на берегу крохотной речки, извивавшейся с мягким журчаньем между кустами, на маленьком песчаном пляжике загорало несколько летчиков.

Разомлевшие от жары, они дремали, и даже неутомимый Бурназян молчал, зарывая в теплый песок свою изувеченную, неудачно срóсшуюся после ранения ногу. Они лежали, скры-

тые от посторонних взоров серой листвой орешника, но им была видна протоптанная в зеленой траве дорожка, протянувшаяся по косогору над поймой. На этой-то дорожке Бурназян, возившийся со своей ногой, и увидел удивившее его зрелище.

Из леска в полосатых пижамных штанах и ботинках, но без рубашки вышел вчерашний новичок. Осмотрелся, никого не заметил и вдруг пустился бежать странными скачками, прижимая к бокам локти. Пробежал метров двести и перешел на шаг, тяжело дыша, весь облитый потом. Отдышался, снова побежал. Тело его блестело, как бока загнанной лошади. Бурназян молча показал товарищам на бегуна. Они стали следить за ним из-за кустов. От несложных этих упражнений новичок задыхался, на лице его то и дело появлялись гримасы боли, порой он постанывал, но все бегал и бегал.

— Эй, друг! Лавры Знаменских покою не дают? — не вытерпел наконец Бурназян.

Новичок остановился. Усталость и боль точно соскользнули с его лица. Он равнодушно посмотрел на кусты и, ничего не ответив, ушел в лес странной, раскачивающейся походкой.

— Это что же за циркач? Сумасшедший? — озадаченно спросил Бурназян.

Майор Стручков, только что очнувшийся от дремы, пояснил:

— У него нет ног. Он тренируется на протезах, он хочет вернуться в истребительную авиацию.

Точно холодной водой плеснули на этих разомлевших людей. Они повскакали, заговорили разом. Всех поразило, что парень, у которого они не заметили ничего, кроме странной походки, оказался без ног. Его идея летать без ног на истребителе показалась нелепой, невероятной, даже кощунственной. Вспомнили случаи, когда людей из-за пустяков, из-за потери двух пальцев на руке, из-за расшалившихся нервов или обнаруженного плоскостопия, отчисляли из авиации. К здоровью пилотов всегда, даже во время войны, предъявлялись требования, неизмеримо повышенные по сравнению с требованиями в других родах войск. Наконец; казалось совершенно невозможным управлять такой тонкой и чуткой машиной, как истребитель, имея вместо ног протезы.

Конечно, все сходились на том, что мересьевская затея неосуществима. Но дерзкая фанатическая мечта безногого их увлекала.

— Твой друг или безнадежный идиот, или великий человек, — заключил спор Бурназян, — середины для него нет.

Весть о том, что в санатории живет безногий, мечтающий летать на истребителе, мгновенно распространилась по палатам. Уже к обеду Алексей оказался в центре всеобщего внимания. Впрочем, сам он, казалось, этого внимания не замечал.

И все, кто наблюдал за ним, кто видел и слышал, как он раскатисто смеялся с соседями по столу, много и с аппетитом ел, по традиции отвешивал положенное число комплиментов хорошеньким подавальщицам, как с компанией гулял он по парку, учился играть в крокет и даже побросал мяч на волейбольной площадке, не заметили в нем ничего необычного, кроме медлительной, подпрыгивающей походки. Он был слишком обыкновенен. К нему сразу привыкли и перестали обращать на него внимание.

На второй день своего пребывания в санатории Алексей появился под вечер в канцелярии у Зиночки. Он галантно вручил ей завернутое в лопушок обеденное пирожное и, бесцеремонно усевшись у стола, спросил ее, когда она собирается выполнить свое обещание.

— Какое? — спросила она, высоко подняв подрисованные дуги бровей.

— Зиночка, вы обещали научить меня танцевать.

— Но... — пыталась возразить она.

— Мне говорили, что вы такая талантливая учительница, что безногие у вас пляшут, а нормальные, наоборот, лишаются не только ног, но и голову теряют, как было с Федей. Когда начнем? Давайте не тратить времени попусту.

Нет, этот новичок ей положительно нравился. Безногий — и учи его танцевать! А почему нет? Он очень симпатичный, смуглый, с ровным румянцем, пробивающимся сквозь темную кожу щек, с красивыми волнистыми волосами. Ходит он совсем как здоровый, и глаза у него занятные, какие-то шальные и немножечко, пожалуй, грустные. Танцы в жизни Зиночки занимали немалое место. Она любила и действительно умела танцевать... Нет, а Мересьев — положительно ничего!

Словом, она согласилась. Она объявила, что училась танцам у знаменитого на все Сокольники Боба Горохова, который, в свою очередь, является лучшим учеником и последователем уже совершенно знаменитого на всю Москву Поля Судаковского, преподающего танцы где-то в военных академиях и даже в клубе Наркоминдела; что она унаследовала от этих великих людей лучшие традиции салонных танцев и что, пожалуй, она научит танцевать и его, хотя, конечно, не очень уверена, как это можно танцевать, не имея настоящих ног. Условия же ему предъявлялись при этом суровые: он будет послушен и прилежен, постарается в нее не влюбиться — это мешает урокам, — а главное, не будет ревновать, когда ее будут приглашать танцевать другие кавалеры, так как, танцуя с одним, можно быстро дисквалифицироваться и это вообще скучно.

Мересьев безоговорочно принял условия. Зиночка потрянула пламенем своих волос и, ловко двигая стройными маленькими

ножками, тут же, в канцелярии, показала ему первое па. Когда-то Мересьев лихо плясал «русскую» и старые танцы, какие играл в камышинском городском садике оркестр пожарной команды. Он обладал чувством ритма и быстро схватывал веселую науку. Трудность заключалась для него теперь в том, что управлять, и при этом ловко, маневренно управлять, приходилось не живыми, эластичными, подвижными ногами, а кожаным приспособлением, прилаженным к голени с помощью ремней. Нужны были нечеловеческие усилия, напряжения мускулов, воли, чтобы движением голени заставлять жить тяжелые, неповоротливые протезы.

И он заставил их подчиниться. Каждое вновь разученное колено, все эти глиссады, парады, змейки, точки — вся хитрая техника салонного танца, теоретизированная знаменитым Полем Судаковским, оснащенная могучей и звучной терминологией, доставляла ему большую радость. Каждое новое па веселило его, как мальчишку. Выучив его, он поднимал и начинал кружить свою учительницу, празднуя победу над самим собой. И никто, и в первую очередь его учительница, и подозревать не мог, какую боль причиняет ему все это сложное, разнохарактерное топтанье, какой ценой дается ему эта наука. Никто не замечал, как порой он вместе с потом небрежным жестом, улыбаясь, смахивает с лица невольные слезы.

Однажды он приковылял в свою комнату совершенно измученный, разбитый и веселый.

— Учусь танцевать! — торжественно объявил он майору Стручкову, задумчиво стоявшему у окна, за которым тихо догорал летний день и последние лучи солнца желтовато искрились меж вершин деревьев.

Майор молчал.

— И научусь! — упрямо добавил Мересьев, с удовольствием сбрасывая с ног протезы и изо всех сил царапая ногтями затекшие от ремней ноги.

Стручков не обернулся, он издал какой-то странный звук, точно всхлипнул, и плечи его при этом вскинулись. Алексей молча полез под одеяло. Что-то странное творилось с майором. Этот немолодой человек, еще недавно потешавший и возмущавший палату своим веселым цинизмом и шутливым пренебрежением к женскому полу, вдруг влюбился, влюбился, как пятиклассник, безотчетно, безудержно и, увы, казалось, безнадежно. По несколько раз бегал он в канцелярию санатория звонить в Москву, Клавдии Михайловне. С каждым отъезжающим слал ей цветы, ягоды, шоколадки, писал записочки и длиннейшие письма и радовался, шутил, когда ему вручали знакомый конверт.

А она его знать не хотела, не обнадеживала, даже не жале-

ла. Она писала, что любит другого, мертвого, майору по-дружески советовала оставить и забыть ее, зря не тратиться и не терять времени. Вот этот-то деловой, сухой тон, тон дружеского участия, такой оскорбительный в делах любви, и выводил его из себя.

Алексей уже лег, укрылся одеялом и дипломатически затих, когда майор вдруг отскочил от окна, затряс его за плечи и закричал у него над ухом:

— Ну чего, чего ей надо? Что я, обсевок в поле? Урод, старик, дрянь какая-нибудь? Да другая бы на ее месте... да что там говорить!

Он бросился в кресло, охватил голову ладонями, закачался так, что и кресло застонало.

— Ведь женщина же она! Должна же она чувствовать ко мне... ну, хоть любопытство, что ль. Ведь ее же, черта, любят, и как любят!.. Э-эх, Лешка, Лешка! Ты его знал, этого вашего... Ну скажи: ну чем он лучше меня, чем он ей в сердце вцепился? Умен, красавец? Что за герой за такой?

Алексей вспомнил комиссара Воробьева, его большое, распухшее тело, желтевшее на белых простынях, и женщину, застывшую над ним в вековой позе женского горя, и этот неожиданный рассказ про то, как красноармейцы шли в пустыне.

— Он был настоящий человек, майор, большевик. Дай бог нам с тобой стать такими.

4

По санаторию распространилась весть, казавшаяся нелепой: безногий летчик... увлекся танцами.

Как только Зиночка кончала свои дела в конторе, в коридоре ее уже ждал ученик. Он встречал ее с букетом земляники, шоколадкой или апельсином, оставленным от обеда. Зиночка важно подавала ему руку, и они шли в пустовавший летом зал, где прилежный ученик заблаговременно сдвигал к стенам ломберные столики и стол для игры в пинг-понг. Зиночка грациозно показывала ему новую фигуру. Нахмутив брови, летчик серьезно следил за вензелями, которые вычерчивали на полу маленькие, изящные ножки. Потом девушка делалась серьезной, хлопала в ладоши и начинала отсчитывать:

— Раз-два-три, раз-два-три, глиссад направо... Раз-два-три, раз-два-три, глиссад налево... Поворот. Так. Раз-два-три, раз-два-три... Теперь змейка. Делаем вместе.

Может быть, ее увлекла задача научить танцевать безногого, какой не доводилось, вероятно, решать ни Бобу Горохову, ни даже самому Полю Судаковскому. Может быть, нравился де-

вушке ее смуглый, черноволосый, загорелый ученик с упрямыми, «шалыми» глазами, а вернее всего — то и другое вместе, но только отдавала учебе она свое свободное время и всю душу.

По вечерам, когда пустели пляжи, волейбольные и городошные площадки, любимым развлечением в санатории были танцы. Алексей неукоснительно участвовал в вечерах, недурно танцевал, не пропуская ни одного танца, и его учительница уже не раз жалела, что поставила ему такие суровые условия обучения. Играл баян, крутились пары. Мересьев, разгоряченный, со сверкающими от возбуждения глазами, выделял все эти глиссады, змейки, повороты, точки, ловко и, как казалось, без труда вел свою легонькую и изящную даму с пылающими кудрями. И никому из наблюдавших за этим разудалым танцором не могло даже в голову прийти, что делает он, исчезая порой из зала.

С улыбкой на разгоряченном лице выходил он на улицу, небрежно обмахиваясь платком, но, как только переступал порог и вступал в полутьму ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за перила, шатаясь, со стоном сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую, росистую траву и, прижавшись всем телом к влажной, еще державшей дневное тепло земле, плакал от жгучей боли в натруженных, стянутых ремнями ногах.

Он распускал ремни, давал ногам отдохнуть. Потом снова надевал колодки, вскакивал и быстро шагал к дому. Незаметно он появлялся в зале, где, обливаясь потом, играл неутомимый инвалид-баянист, подходил к рыженькой Зиночке, которая уже искала его в толпе глазами, широко улыбался, показывая ровные, белые, точно из фарфора отлитые, зубы, и ловкая, красивая пара снова устремлялась в круг. Зиночка пеняла ему за то, что он оставил ее одну. Он весело отшучивался. Они продолжали танцевать, ничем не отличимые от других пар.

Тяжелые танцевальные упражнения уже давали свои результаты. Алексей все меньше и меньше ощущал сковывающее действие протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему.

Алексей был доволен. Лишь одно тревожило его теперь — отсутствие писем от Оли. Больше месяца назад, в связи с неудачей Гвоздева, послал он ей свое, как ему теперь казалось, роковое и, во всяком случае, совершенно нелепое письмо. Ответа не было. Каждое утро после зарядки и бега, для которого он с каждым днем удлинял маршрут на сто шагов, он заходил в канцелярию и смотрел ящик с письмами. В ячейке «М» писем было всегда больше, чем в других. Но напрасно снова и снова перебирал он эту пачку.

Но вот однажды, когда он занимался танцами, в окне комнаты, где продолжалось обучение, показалась черная голова Бур-

назяна. В руках он держал свою палку и письмо. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, Алексей выхватил конверт, надписанный крупным ученическим почерком, и выбежал, оставив в окне озадаченного Бурназяна, а посреди комнаты — рассерженную учительницу.

— Зиночка, все нынче этакie вот... современные кавалеры,— тоном тетки-сплетницы проскрипел Бурназян.— Не верьте, девушка, бойтесь их, как черт святых мощей. Ну его, поучите-ка лучше меня! — И, бросив палку в комнату, Бурназян, тяжело кряхтя, полез в окно, возле которого стояла озадаченная, грустная Зиночка.

А Алексей, держа в руке заветное письмо, быстро, точно боялся, что за ним гонятся и могут отнять его богатство, бежал к озеру. Тут, продравшись через шелестящие камыши, сел он на мшистый камень на отмели, совершенно скрытый высокой травой со всех сторон, осмотрел дорогое письмо, дрожавшее в пальцах. Что в нем? Какой приговор оно в себе заключает? Конверт был потрепан и затерт. Немало побродил он, должно быть, по стране, разыскивая адресата. Алексей осторожно оторвал от него полоску и сразу глянул в конец письма. «Целую, родной. Оля», — значилось внизу. У него отлегло от сердца. Уже спокойно расправил он на колене тетрадные листы, почему-то испачканные глиной и чем-то черным, закапанные свечным салом. Что же это стало с аккуратной Оленькой? И тут прочел он такое, от чего сердце его сжалось гордостью и тревогой. Оказывается, Оля вот уже месяц как покинула завод и теперь живет где-то в степи, где камышинские девушки и женщины роют противотанковые рвы и строят обводы вокруг «одного большого города, название которого свято для всех нас», — так писала она. Нигде ни словом не был помянут Сталинград. Но и без этого, по тому, с какой заботой и любовью, с какой тревогой и надеждой писала она об этом городе, было ясно, что речь идет о нем.

Оля писала, что тысячи их, добровольцев, с лопатами, с кирками, с тачками день и ночь работают в степи и роют, носят землю, бетонируют и строят. Письмо было бодрое, и лишь по отдельным строчкам, прорвавшимся в нем, можно было догадаться, как лихо приходится им там, в степи. Только рассказав о своих делах, целиком, должно быть, захвативших ее, Оля отвечала на его вопрос. Сердито писала она, что оскорблена его последним письмом, которое получила она тут, «на окопах», что, если бы он не был на войне, где так треплются нервы, она ему этого оскорбления не простила бы.

«Родной мой,— писала она,— что же это за любовь, если она боится жертв? Нет такой любви, милый, а если и есть, то, по-моему, и не любовь это вовсе. Вот я сейчас не мылась неделю, хожу в штанах, в ботинках, из которых пальцы торчат в раз-

ные стороны. Загорела так, что кожа слезает клочьями, а под ней какая-то неровная, фиолетовая. Если бы я, усталая, грязная, худая и некрасивая, пришла бы к тебе сейчас отсюда, разве ты оттолкнул бы меня или даже осудил меня? Чудачок ты, чудачок! Что бы с тобой ни случилось, приезжай и знай, что я тебя всегда и всякого жду... Я много думаю о тебе, и, пока не попала «на окопы», где все мы засыпаем каменным сном, едва добравшись до своих нар, я тебя часто видела во сне. И ты знай: пока я жива, у тебя есть место, где тебя ждут, всегда ждут, всякого ждут... Вот ты пишешь, что с тобой что-нибудь может случиться на войне. А если бы со мной «на окопах» случилось какое-нибудь несчастье или искалечило бы меня, разве б ты от меня отступился? Помнишь, в фабзавуче мы решали алгебраические задачи способом подстановки? Вот поставь меня на свое место и подумай. Тебе стыдно станет этих твоих слов...»

Мересьев долго сидел над письмом. Палило солнце, ослепительно отражаясь в темной воде, шелестел камыш, и синенькие бархатные стрекозы бесшумно перелетали с одной шпажки осоки на другую. Шустрые жучки на длинных тонких ножках бежали по гладкой воде у корешков камыша, оставляя за собой кружевной, зыбкий след. Маленькая волна тихонько обсасывала песчаный берег.

«Что это? — думал Алексей. — Предчувствие, дар угадывать?» «Сердце — вещун», — говорила когда-то мать. Или трудности окопной работы умудрили девушку и она чутьем поняла то, что он не решался ей сказать? Он еще раз перечитал письмо. Да нет же, никакого предчувствия, откуда это он взял! Просто она отвечает на его слова. Но как отвечает!

Алексей вздохнул, медленно разделся, положил одежду на камень. Он всегда купался здесь, в этом известном только ему одному заливчике, у песчаной косы, закрытой шелестящей стеной камышей. Отстегнув протезы, он медленно сполз с камня, и, хотя ему было очень больно ступать обрубками ног по крупному песку, он не стал на четвереньки. Морщась от боли, вошел он в озеро и опрокинулся в холодную, плотную воду. Отплыв от берега, он лег на спину и замер. Он видел небо, голубое, бездонное. Суетливой толпой ползли, напирая друг на друга, мелкие облака. Перевернувшись, он увидел берег, опрокинутый в воду и точно повторенный на ее голубой прохладной глади, желтые кувшинки, плававшие среди круглых, лежавших на воде листьев, белые крылатые точки лилий. И вдруг представилась ему на мшистом камне Оля, какой он видел ее во сне. Она сидела в пестром платье, свесив ноги. Только ноги ее не касались воды. Два обрубка болтались, не доставая до поверхности. Алексей ударил кулаком по воде, чтобы прогнать это видение. Нет, способ подстановки, предложенный Олей, ему не помог!

Обстановка на юге осложнялась. Уже давно газеты не сообщали о боях на Дону. Вдруг в сводке Совинформбюро мелькнули названия задонских станиц, лежащих на пути к Волге, к Сталинграду. Тем, кто не знал тамошних краев, эти названия мало что говорили. Но Алексей, выросший в той местности, понял, что линия донских укреплений прорвана и война перекинулась к стенам Сталинграда.

Сталинград! Это слово еще не упоминалось в сводке, но оно было у всех на устах. Его произносили осенью 1942 года с тревогой, с болью, о нем говорили даже не как о городе, а как о близком человеке, находящемся в смертельной опасности. Для Мересьева эта общая тревога увеличивалась тем, что Оля находилась где-то там, в степи под городом, и кто знает, какие испытания предстояло ей пережить! Он писал ей теперь каждый день. Но что значили его письма, адресуемые на какую-то полевую почту? Найдут ли они ее в сумятице отступления, в пекле гигантской битвы, которая завязалась в приволжской степи?

Санаторий летчиков волновался, как муравейник, на который наступили ногой. Брошены были все привычные занятия: шашки, шахматы, волейбол, городки, неизменный фронтовой «козел» и «очко», в которое любители острых ощущений тайком резались раньше в приозерных кустах. Ничто не шло на ум. За час до подъема, к первой, семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходились даже самые ленивые. Когда в эпизодах сводки упоминались подвиги летчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сестрам, ворчали на режим и на пищу, как будто администрация санатория была виновата в том, что им приходится в такое горячее время торчать здесь, на солнце, в лесной тиши у зеркального озера, а не сражаться там, над сталинградскими степями. В конце концов отдыхающие заявили, что они сыты отдыхом, и потребовали досрочной отправки в действующие части.

Под вечер прибыла комиссия отдела комплектования ВВС. Из пыльной машины вышло несколько командиров с петлицами медицинской службы. С переднего сиденья тяжело снялся, опираясь руками о спинку, известный в Военно-Воздушных Силах медик, военврач первого ранга Миrowsкий, грузный толстяк, любимый летчиками за отеческое к ним отношение. За ужином было объявлено, что комиссия с утра начнет отбор выздоравливающих, желающих досрочно прекратить отпуск для немедленного направления в часть.

В этот день Мересьев встал с рассветом, не делал своих обычных упражнений, ушел в лес и пробродил там до завтрака.

Он ничего не стал есть, нагрубил подавальщице, попенявшей ему на то, что он все оставил в тарелках, а когда Стручков заметил ему, что не за что ругать девушку, которая ничего ему, кроме добра, не желает, выскочил из-за стола и ушел из столовой. В коридоре, у сводки Совинформбюро, висевшей на стене, стояла Зина. Когда Алексей проходил мимо, она сделала вид, что не видит его, и только гневно повела плечиком. Но, когда он прошел, действительно не заметив ее, девушка с обидой, чуть не плача, окликнула его. Алексей сердито оглянулся через плечо:

— Ну, что вы хотите? Чего вам?

— Товарищ старший лейтенант, за что вы...— тихо сказала девушка, краснея так, что цвет лица ее слился с медью волос.

Алексей сразу пришел в себя и весь как-то поник.

— Сегодня решается моя судьба,— глухо сказал он.— Ну, пожмите руку на счастье...

Прихрамывая больше, чем всегда, он прошел к себе и заперся в комнате.

Комиссия расположилась в зале. Туда притащили всяческие приборы — спирометры, силомеры, таблицы для проверки зрения. Весь санаторий собрался в смежном помещении, и желающие досрочно уехать, то есть почти все отдыхающие, выстроились было тут в длиннейшую очередь. Но Зиночка выдала всем билеты, на которых были написаны часы и минуты явки, и попросила разойтись. После того как первые прошли комиссию, разнесся слух, что смотрят снисходительно и не очень придираются. Да и как было комиссии придирааться, когда гигантская битва, разгоравшаяся на Волге, требовала новых и новых усилий! Алексей сидел на кирпичной ограде перед затейливыми сенцами, болтал ногами и, когда кто-нибудь выходил из двери, спрашивал, будто не особенно интересуясь:

— Ну как?

— Воюем! — весело отвечал вышедший, застегивая на ходу гимнастерку или подтягивая ремень.

Перед Мересьевым пошел Бурназян. У двери он оставил свою палку и вошел, бодрясь, стараясь не болтаться из стороны в сторону и не припадать на короткую ногу. Его держали долго. Под конец из открытого окна долетели до Алексея обрывки сердитых фраз. Потом из двери вылетел вспаренный Бурназян. Он царапнул Алексея злым взглядом и, не поворачиваясь, проковылял в парк.

— Бюрократы, тыловые крысы! Что они понимают в авиации? Это им балет, что ли?.. Короткая нога... Клистирки, шприцы проклятые!

У Алексея похолодело под ложечкой, но он вошел в комнату бодрым шагом, веселый, улыбающийся. Комиссия сидела за большим столом. Посередине мясистой глыбой возвышался

военврач первого ранга Миrowsольский. Сбоку, за маленьким столиком со стопками личных дел, сидела Зиночка, хорошенькая, совсем игрушечная в своем белом, туго накрахмаленном халатике, с медной прядью волос, кокетливо выбивавшейся из-под марлевой косынки. Она протянула Алексею его «дело» и, передавая, тихонько пожала руку.

— Ну-с, молодой человек,— сказал врач, щурясь,— снимайте гимнастерку.

Недаром Мересьев столько занимался спортом и загорал. Врач залюбовался его плотным, крепко сбитым телом, под смуглой кожей которого отчетливо угадывалась каждая мышца.

— С вас Давида лепить можно,— блеснул познаниями один из членов комиссии.

Мересьев легко прошел все испытания, он выжал кистью раза в полтора больше нормы, выдохнул столько, что измерительная стрелка коснулась ограничителя. Давление крови было у него нормальное, нервы в отличном состоянии. В заключение он ухитрился рвануть стальную ручку крафт-аппарата так, что прибор испортился.

— Летчик? — с удовольствием спросил врач, разваливаясь в кресле и уже нацеливаясь писать на уголке «личного дела старшего лейтенанта Мересьева А. П.» резолюцию.

— Летчик.

— Истребитель?

— Истребитель.

— Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас ваш брат ох как нужен!.. Да вы с чем лежали в госпитале?

Алексей замялся, чувствуя, что все внезапно проваливается, но врач уже читал его личное дело, и широкое, доброе лицо его растягивалось от удивления:

— Ампутация ног... Что за чушь! Тут описка, что ли? Ну, чего вы молчите?

— Нет, не описка,— тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на эшафот, выговорил Алексей.

Врач и вся комиссия подозрительно уставилась на этого крепкого, отлично развитого, подвижного парня, не понимая, в чем дело.

— Засучите брюки! — нетерпеливо скомандовал врач.

Алексей побледнел, беспомощно оглянулся на Зиночку, медленно поднял брюки и так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникший, с опущенными руками.

— Так что же вы, батенька мой, нас морочите? Столько времени отняли. Не думаете же вы без ног пойти в авиацию? — сказал наконец врач.

— Я не думаю: я пойду! — тихо сказал Алексей, и его цыганские глаза сверкнули упрямым вызовом.

— Вы с ума сошли! Без ног?

— Да, без ног — и буду летать, — уже не упрямо, а очень спокойно ответил Мересьев; он полез в карман своего лётного френча старого образца и достал оттуда аккуратно свернутую вырезку из журнала. — Видите, он же летал без ноги, почему же я не могу летать без обеих?

Врач, прочтя заметку, удивленно, с уважением посмотрел на летчика:

— Но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он тренировался десять лет. Нужно ж научиться орудовать протезами, как ногами, — сказал он, смягчаясь.

Тут Алексей неожиданно получил подкрепление: Зиночка выпорхнула из-за своего столика, молитвенно сложила на груди ручки и, покраснев так, что на висках ее выступили бисеринки пота, залепетала:

— Товарищ военврач первого ранга, вы поглядите, как он танцует! Лучше всех здоровых. Ну честное слово!

— Как — танцует? Что за черт! — Врач пожал плечами и добродушно переглянулся с членами комиссии.

Алексей с радостью ухватился за мысль, поданную Зиночкой:

— Вы не пишите ни «да», ни «нет». Приходите сегодня вечером к нам на танцы. Вы убедитесь, что я могу летать.

Идя к двери, Мересьев видел в зеркало, как члены комиссии о чем-то оживленно переговаривались.

Перед обедом Зиночка отыскала Алексея в чаще запущенного парка. Она рассказала, что, когда он вышел, комиссия еще долго толковала о нем и что врач заявил, что Мересьев — необыкновенный парень и, может быть, — кто знает! — действительно будет летать. Русский человек на что только не способен! На это один из членов комиссии возразил, что история авиации таких примеров не знает. Врач же ответил ему, что история авиации много чего не знала и многому научили ее советские люди в этой войне.

В последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек двести, танцы были устроены по расширенной программе. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Духовая музыка сотрясала решетчатые окна теремов, сенцы и переходы. Без устали, обливаясь потом, отплясывали летчики. Среди них, веселый, ловкий, подвижный, все время танцевал Мересьев со своей златокудрой дамой. Пара была хоть куда!

Военврач первого ранга Мировольский, сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз с Мересьева и его огненноволосой партнерши. Он был медик, больше того — он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличаются протезы от живых ног.

И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным летчиком, красиво ведущим свою маленькую, изящную даму, он никак не мог отделаться от мысли, что все это какая-то сложная мистификация. Под конец, после того как летчик лихо сплясал в центре рукоплещущего круга «барыню» — да с гиком, с прихлопываниями ладонями по бедрам, по щекам — и потом, вспотевший и оживленный, пробился к Миrowsкому, тот с уважением пожал ему руку. Мересьев молчал, но глаза его, в упор смотревшие на врача, молили, требовали ответа.

— Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в часть. Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение, что при соответствующей тренировке вы будете летать. Словом, в любом случае считайте мой голос «за», — ответил врач.

Миrowsкий вышел из зала под руку с начальником санатория, тоже опытным военным врачом. Оба восхищенные, сбитые с толку. Перед сном, сидя с папиросами, они еще долго рассуждали о том, на что только не способен советский человек, если он чего-нибудь как следует захочет...

В это время, когда внизу еще гремела музыка и в прямоугольниках оконных отсветов двигались по земле тени танцующих, Алексей Мересьев сидел наверху, в крепко запертой ванной комнате, до крови закусив губу, опустив ноги в холодную воду. Едва не теряя сознание от боли, он отмачивал синие кровавые мозоли и широкие язвы, образовавшиеся от неистового движения протезов.

Когда же через час майор Стручков вошел в комнату, Мересьев, умытый, свежий, расчесывал перед зеркалом свои мокрые волнистые волосы.

— Тебя там Зиночка ищет. Хоть погулял бы с ней на прощанье. Жалко девчонку.

— Пойдем вместе, Павел Иванович, ну пойдем, что тебе? — стал упрашивать Мересьев.

Ему было как-то не по себе от мысли остаться наедине с этой славной смешной девушкой, так старательно учившей его танцам. После Олиного письма он чувствовал себя в ее присутствии как-то особенно тягостно. И теперь он настойчиво тащил Стручкова с собой, пока тот, ворча, не взялся наконец за фуражку.

Зиночка ждала на балконе. В руках у нее был совершенно ошипанный букет. Венчики и лепестки цветов, растерзанные и оборванные, усеивали пол у ее ног. Заслышав шаги Алексея, она вся подалась вперед, но, увидев, что он не один, поникла и сжалась.

— Пошли с лесом прощаться! — беспечным тоном предложил Алексей.

Они взялись под руки и молча двинулись по старой липовой аллее. Под ногами у них, на земле, залитой пятнами белесого лунного света, шевелились угольно-черные тени и то здесь, то там, как разбросанные золотые монеты, сверкали первые листья осени. Кончилась аллея. Вышли из парка и по мокрой седой траве направились к озеру. Низина, точно белой бараньей шкурой, была покрыта пеленой густого клочковатого тумана. Он льнул к земле и, доходя им до пояса, таинственно сиял и дышал в холодном лунном свете. Воздух был сыр, пропитан сытными запахами осени и то прохладен и даже студен, а то тепел и душен, как будто в этом озере тумана были какие-то свои ключи, свои теплые и холодные течения...

— Похоже, что мы великаны и идем над облаками, а? — задумчиво сказал Алексей, с неловкостью ощущая, как плотно прижимается к его локтю маленькая сильная ручка девушки.

— Похоже, что мы дураки: промочим ноги и схватим на дорогу простуду! — проворчал Стручков, погруженный в какие-то свои невеселые думы.

— У меня перед вами преимущество. Мне нечего промачивать и простужать, — усмехнулся Алексей.

Зиночка потянула их к закрытому туманом озеру:

— Идемте, идемте, там сейчас должно быть очень хорошо.

Они едва не забрели в воду и удивленно остановились, когда она вдруг зачернела сквозь пушистые пряди тумана где-то уже совсем под ногами. Возле оказались мостки, и рядом едва вырисовывался темный силуэт ялика. Зиночка упорхнула в туман и вернулась с веслами. Утвердили уключины, Алексей сел грести, Зина с майором расположились рядом на кормовом сиденье. Лодка медленно двинулась по тихой воде, то окунаясь в туман, то выскальзывая на простор, полированная чернь которого была щедро посеребрена луной. Они думали каждый о своем. Ночь была тихая, вода под веслами рассыпалась каплями ртути и казалась такой же тяжелой. Глухо стучали уключины, где-то скрипел коростель, и совсем уже издали едва доносился по воде надрывной, шалый крик филина.

— И не поверишь, что рядом воют... — тихо сказала Зиночка. — Будете мне писать, товарищи? Вот вы, например, напишете, Алексей Петрович, хоть немножечко? Хотите, я вам открыток со своим адресом дам? Набросаете: жив, здоров, кланяюсь — и в ящик, а?..

— Нет, братцы, с каким удовольствием еду! К черту, хватит, за дело, за дело! — выкрикнул Стручков.

И снова все смолкли. Гулко булькала о борта лодки мелкая и ласковая волна, звучно и сонно журчала вода под днищем, тугими взблескивающими узлами клубилась за кормой. Туман таял, и уже видно было, как от самого берега тянулся к лодке

зябкий, голубовато блестящий лунный столб и как маячили пятнышки кувшинок и лилий.

— Давайте споем, а? — предложила Зиночка и, не дожидаясь ответа, завела песню о рябине.

Она одна грустно пропела первый куплет, и тут глубоким и сильным баритоном поддержал ее майор Стручков. Он никогда раньше не пел, и Алексей даже не подозревал, что у него такой славный бархатный голос. И вот над водной гладью раздольно поплыла эта песня, задумчивая и страстная. Два свежих голоса, мужской и женский, тосковали, поддерживая друг друга. Алексею вспомнилась тонкая рябинка с одинокой гроздью, стоящая под окном его комнаты, вспомнилась большеглазая Варя из подземной деревеньки; потом все исчезло: озеро, и этот волшебный лунный свет, и лодка, и певцы — и он увидел перед собой в серебристом тумане девушку из Камышина, но не Олю, что сидела на фотографии среди ромашек на цветущем лугу, а какую-то новую, незнакомую, усталую, с пятнистыми от загара щеками и потрескавшимися губами, в просоленной гимнастерке и с лопатой в руках, где-то там в степях, под Сталинградом.

Он бросил весла, и уже втроем согласно допели они последний куплет.

6

Ранним утром вереница военных автобусов выезжала со двора санатория. Еще у подъезда майор Стручков, сидевший на подножке в одном из них, завел свою любимую песню о рябине. Песня перекинулась в другие машины, и прощальные приветствия, пожелания, остроты Бурназяна, напутствия Зиночки, что-то кричавшей Алексею в автобусное окно, — все потонуло в простых и многозначительных словах этой старинной песни, много лет находившейся в забвении и снова воскресшей и овладевшей сердцами в дни Великой Отечественной войны.

Так и уехали автобусы, увозя с собой дружные, густые аккорды мелодии. Когда песня была допета, пассажиры стихли и никто не сказал ни слова, пока не замелькали за окнами первые заводы и поселки столичного пригорода.

Майор Стручков, сидевший на подножке в расстегнутом кителе, улыбаясь, смотрел на подмосковные пейзажи. Ему было весело. Он двигался, переезжал, этот вечный военный странник, он чувствовал себя в своей стихии. Он направлялся в какую-то, пока неизвестную ему лётную часть, но все равно он ехал домой. Мересьев сидел молчаливый и тревожный. Он чувствовал, что самое трудное впереди, и кто знает, удастся ли ему преодолеть эти новые препятствия.

Прямо с автобуса, никуда не заходя, не позаботившись даже о ночлеге, Мересьев пошел к Миrowsьскому.

И тут ждала его первая неудача. Его доброжелатель, которого он с таким трудом расположил в свою пользу, оказалось, вылетел в срочную командировку и вернется не скоро. Алексею предложили подать рапорт общим порядком. Мересьев присел тут же в коридоре на подоконнике и написал рапорт. Он отдал его командиру-интенданту, маленькому и худому, с усталыми глазами. Тот обещал сделать все, что сможет, и попросил зайти дня через два. Напрасно летчик просил, умолял, даже грозил. Прижимая к груди костлявые кулачки, интендант говорил, что таков общий порядок и нарушить его он не в силах. Должно быть, и в самом деле он ничем не мог помочь. Мересьев махнул рукой и побрел прочь.

Так начались его скитания по военным канцеляриям. Дело осложнялось тем, что в госпиталь его доставили в спешке без вещевого, продовольственного и денежного аттестатов, о возобновлении которых он своевременно не позаботился. У него не было даже командировки. И, хотя ласковый и услужливый интендант обещал ему срочно запросить по телефону из полка необходимые документы, Мересьев знал, как все это медленно делается, и понял, что ему предстоит жить некоторое время без денег, без квартиры и без пайка в суровой военной Москве, где строго считали каждый килограмм хлеба, каждый грамм сахара.

Он позвонил в госпиталь Аняте. Судя по голосу, она была чем-то озабочена или занята, но очень обрадовалась ему и потребовала, чтобы на эти дни он поселился в ее квартире, тем более что она сама находится в госпитале на казарменном положении и он никого не стеснит.

Санаторий снабдил своих питомцев на дорогу пятидневным сухим пайком, и Алексей, не раздумывая, бодро направился к знакомому ветхому домику, уютившемуся в глубине двора за могучими спинами новых огромных построек. Есть крыша, есть еда — теперь можно ждать. Он поднялся по знакомой темной витой лесенке, опять пахнувшей на него запахом кошек, керосиновой гари и сырого белья, нащупал дверь и крепко в нее постучал.

Остренькое старушечье личико высунулось в щель приоткрытой двери, придерживаемой двумя толстыми цепочками. Алексея долго рассматривали с недоверием и любопытством, спросили, кто он, к кому и как его фамилия. Только после этого загремели цепочки и дверь открылась.

— Анны Даниловны нет, но она звонила о вас. Входите, я вас проведу в ее комнату.

Старушка так и шарила выцветшими, тусклыми глазами по его лицу, френчу, особенно по вещевому мешку.

— Вам, может, водички согреть? Вон на печке Анечкина керосинка, я согрею...

Без всякой неловкости вошел Алексей в знакомую комнату. Должно быть, способность солдата ощущать себя везде дома, столь развитая в майоре Стручкове, стала сообщаться и ему. Почувствовав знакомый запах старого дерева, пыли, нафталина, всех этих десятилетиями верой и правдой прослуживших старых вещей, он даже заволновался, как будто после долгих скитаний попал под родную крышу.

Старушка шла за ним по пятам и все говорила, говорила про очереди у какой-то булочной, где, если повезет, по карточкам можно было получить вместо черного хлеба сдобные плюшки, про то, что намедни в трамвае она слышала от очень солидного военного, что немцам сильно досталось у Сталинграда, что Гитлер будто даже от досады спятил с ума, посажен в желтый дом, а в Германии действует его двойник, что соседка ее, Алевтина Аркадьевна, совершенно напрасно получающая рабочую карточку, взяла у нее и не отдает великолепный эмалированный бидон для молока, что Анна Даниловна — дочь очень достойных людей, находящихся в эвакуации, — отличная девушка, смирная и строгая, что, не в пример некоторым, она не шляется бог знает с кем и кавалеров к себе не водит.

— А вы что, жених ее будете? Герой Советского Союза, танкист?

— Нет, я простой летчик, — ответил Мересьев и чуть не засмеялся, увидев, как при этом недоумение, обида, недоверие и гнев одновременно отразились на подвижном лице старушки.

Она подобрала губы, сердито хлопнула дверью и уже из коридора, без прежнего заботливого дружелюбия, ворчливо сказала:

— Так если вода теплая нужна, кипятите сами на синей керосинке.

Анюта была, должно быть, сильно занята у себя на эвакуационном пункте. Сегодня, в непогожий осенний день, квартира имела совершенно заброшенный вид. На всем лежал толстый слой пыли; на окнах и на тумбочках желтели и вяли давно не поливавшиеся цветы. На столе стоял чайник, валялись корки, уже зазеленевшие по краям. Пианино тоже было одето серым и мягким чехлом пыли. И, казалось задыхаясь в спертом, тяжелом воздухе, уныло гудела большая, сильная муха, бившаяся о тусклое, желтое стекло.

Мересьев распахнул окна. Они выходили на косогор, исчерченный тесными полосками грядок. Свежий воздух рванулся в комнату, сдул улежавшуюся пыль так, что поднялся серый туман. Тут Алексею пришла в голову веселая мысль: прибраться

эту запущенную комнату, удивить и порадовать Анюту, если она вечером вырвется повидаться с ним. Он выпросил у старушки ведро, тряпку, швабру и с жаром принялся за это исстари презируемое мужчинами дело. Часа полтора он тер, обметал, смахивал, мыл, радуясь нехитрой своей работе.

Вечером он сходил к мосту, где еще по пути сюда заметил девочек, торговавших яркими тяжелыми осенними астрами. Купил несколько цветков, поставил их в вазы на столе и на пианино и уселся в удобное зеленое кресло, чувствуя во всем теле приятную усталость и жадно принюхиваясь к запахам жаркого, которое старушка готовила на кухне из его припасов.

Но Анята пришла такая усталая, что, едва поздоровавшись с ним, сразу грохнулась на диван, даже не заметив, что вокруг нее все блестит и сверкает. Только через несколько минут, отдышавшись, выпив воды, она удивленно огляделась и, все поняв, устало улыбнулась и благодарно пожала локоть Мересьева:

— Недаром, должно быть, Гриша в вас так влюблен, что я даже немножко ревную. Алешенька, неужели это вы... все сами? Какой же вы славный! А от Гриши ничего не имеете? Он там. Третьего дня пришло письмо, коротенькое, два слова: он в Сталинграде и, чудак, пишет — отращивает бороду. Вот затеял, нашел время!.. А там ведь очень опасно? Ну скажите, Алеша, ну?.. Сколько ужасного говорят про Сталинград!

— Там война.

Алексей вздохнул и нахмурился. Он завидовал всем, кто был там, на Волге, где завязалось гигантское сражение, про которое теперь столько говорили.

Они беседовали весь вечер, отлично, с аппетитом поужинали жарким из тушенки и, так как вторая комната квартиры оказалась заколоченной, по-братски разместились в одной: Анята на кровати, а Алексей на диване, и сразу заснули крепким молодым сном.

Когда Алексей открыл глаза и сейчас же вскочил с постели, пыльные снопы солнечных лучей уже косо лежали на полу. Аняты не было. К спинке его дивана была приколотая записка: «Тороплюсь в госпиталь. Чай на столе, хлеб в буфете, сахара нет. Раньше субботы не вырваться. А.».

Все эти дни Алексей почти не выходил из дому. От нечего делать он перечинил старушке все примусы, керосинки, запаял кастрюли, поправил выключатели и штепсели и даже отремонтировал по ее просьбе кофейную меленку злодейке Алевтине Аркадьевне, так и не вернувшей, впрочем, эмалированного бидона. Всем этим он снискал прочное благорасположение старушки и ее мужа, работника Стройтреста, активиста противовоздушной обороны, тоже по суткам пропадавшего из дому.

Супруги пришли к заключению, что танкисты, конечно, хорошие люди, но и летчики им нисколько не уступают и даже, если к ним приглядеться, несмотря на свою воздушную профессию,— хозяйственный, семейный, серьезный народ.

Ночь накануне явки в отдел кадров за заключением Алексей пролежал на диване с открытыми глазами. На рассвете встал, побрился, умылся и точно в час открытия учреждения первым подошел к столу майора административной службы, которому надлежало решить его судьбу. Майор ему сразу не понравился. Будто не замечая Алексея, он долго возился у стола, доставал и раскладывал перед собой папки с бумагами, кому-то звонил по телефону и обстоятельно объяснялся с секретаршей по поводу того, как надо нумеровать личные дела, потом куда-то вышел и не скоро вернулся. К этому времени Алексей успел возненавидеть его продолговатое, длинноносое лицо с аккуратно выбритыми щеками, яркогубое, с покатым лбом, переходившим незаметно в сверкающую лысину. Наконец майор перевернул листок календаря и только после этого поднял глаза на посетителя.

— Вы ко мне, товарищ старший лейтенант? — солидным, самоуверенным баском спросил он.

Мересьев объяснил свое дело. Майор запросил у секретарши его бумаги и в ожидании их сидел, вытянув ноги, сосредоточенно ковыряя во рту зубочисткой, которую он при этом вежливо прикрывал ладонью левой руки. Когда бумаги принесли, он вытер зубочистку платком, завернул ее в бумажку, сунул в карман кителя и принялся читать «личное дело». Должно быть, дойдя до ампутированных ног, он торопливо показал Алексею на стул: дескать, садитесь, чего ж вы стоите,— и снова углубился в бумаги. Дочитав последний листок, он спросил:

— Ну, и что вы, собственно, хотите?

— Хочу получить назначение в истребительный полк.

Майор откинулся на спинку стула, удивленно уставился на летчика, все еще стоявшего перед ним, и сам придвинул ему стул. Широкие брови еще выше всползли на гладкий и жирноватый лоб.

— Но вы же летать не можете?

— Могу, буду. Направьте меня в тренировочную школу на пробу.— Мересьев почти кричал, и столько было в его тоне неукротимого желания, что военные, сидевшие за соседними столами, подняли головы, стараясь узнать, чего так настойчиво требует этот смуглый красивый парень.

— Но слушайте, как это можно летать без ног? Смешно... Этого нигде не видано. И кто вам разрешит? — Майор понял, что перед ним какой-то фанатик, может быть сумасшедший.

Косясь на сердитое лицо Алексея, на его горячие, «шалые» глаза, он старался говорить как можно мягче.

— Этого нигде не видано, но это увидят! — упрямо твердил Мересьев; он вынул из записной книжки завернутую в целлофан журнальную вырезку и положил ее на стол перед майором.

Военные за соседними столами уже бросили работать и с интересом прислушивались к разговору. Один, будто за делом, подошел к майору, спросил спички и заглянул в лицо Мересьеву. Майор пробежал глазами статейку.

— Это для нас не документ. У нас есть инструкция. Там точно определены все степени годности в авиацию. Я не могу вас допустить к управлению машиной, даже если бы у вас не хватало двух пальцев, а не обеих ног. Забирайте ваш журнал — это не доказательство. Я уважаю ваше стремление, но...

Чувствуя, как все в нем закипает, что еще мгновение — и он запустит чернильницей в этот сверкающий голый лоб, Мересьев глухо выдавил из себя:

— А это?

Он положил на стол последний свой аргумент — бумажку за подписью военврача первого ранга.

Майор с сомнением взял записку. Она была надлежащим образом оформлена, со штампом отдела медико-санитарной службы, с печатью; под ней стояла подпись уважаемого в авиации врача. Майор прочел ее и стал более любезным. Нет, перед ним не сумасшедший. Действительно, этот необыкновенный парень собирается летать без ног. Он даже как-то ухитрился убедить военврача, серьезного, авторитетного человека.

— И все-таки, при всем желании, не могу, — вздохнул майор, отодвигая «дело» Мересьева. — Военврач первого ранга может писать, что ему угодно, у нас же инструкция ясная и определенная, не допускающая отклонений... Если я ее нарушу, в ответе кто будет: военврач?

Мересьев с ненавистью посмотрел на этого сытого, самодовольного человека, такого самоуверенного, спокойного, вежливого, на чистенький подворотничок его аккуратного кителя, на его волосатые руки с тщательно подстриженными большими и некрасивыми ногтями. Ну как ему объяснишь? Разве он поймет? Разве он знает, что такое воздушный бой? Он, может быть, выстрела не слышал в своей жизни. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо спросил:

— А как же мне быть?

— Если непременно хотите, могу направить на комиссию в отдел формирования. — Майор пожал плечами. — Только предупреждаю: напрасно будете трудиться.

— А, черт возьми, пишите на комиссию! — прохрипел Мересьев, тяжело рухнув на стул.

Так начались его скитания по учреждениям. Усталые, по горло заваленные делами люди слушали его, удивлялись, сочувствовали, поражались и разводили руками. И действительно, что они могли сделать? Существовала инструкция, совершенно правильная инструкция, утвержденная командованием, существовали освященные многими годами традиции, и как было нарушить их, да еще в таком не вызывающем сомнений случае! Всем было искренне жаль неугомонного инвалида, мечтавшего о боевой работе, ни у кого не поворачивался язык решительно сказать ему «нет», и его направляли из отдела кадров в отдел формирования, от стола к столу, ему сочувствовали и отсылали его на комиссию.

Мересьева больше уже не выводили из себя ни отказы, ни поучающий тон, ни унижительное сочувствие и снисхождение, против чего бунтовала вся его гордая душа. Он научился держать себя в руках, усвоил тон просителя и, хотя в день получал иной раз по два-три отказа, не хотел терять надежду. Страничка из журнала и заключение военврача первого ранга настолько истрепались от частого доставания из кармана, что разлезлись на сгибах, и ему пришлось оклеить их промасленной бумагой.

Тяготы скитаний осложнялись тем, что ответа из полка еще не пришло и он по-прежнему жил без аттестатов. Запасы, выданные в санатории, уже иссякли. Правда, супруги-соседи, с которыми он подружился, видя, что он перестал варить себе еду, усиленно зазывали его обедать. Но он знал, как бьются эти старые люди на своем крохотном огородишке, на косогоре под окнами, где были заранее учтены каждое перышко лука, каждая морковина, знал, как по-братски, с детской тщательностью делят они по утрам свой хлебный рацион, — знал и отказался, бодро заявив, что во избежание канители с готовкой он обедает теперь в командирской столовой.

Настала суббота, день, когда должна была освободиться Аня, с которой ежевечерне он подолгу болтал по телефону, докладывая ей о невеселом ходе своих дел. И он решился. В вещевом мешке хранился у него старый серебряный отцовский портсигар с лихо несущейся тройкой, нанесенной на крышку изящной чернью, и с надписью: «От друзей в день серебряной свадьбы». Алексей не курил, но мать, провожая на фронт своего любимца, для чего-то сунула ему в карман тщательно берегаемую в семье отцовскую реликвию, и так и возил он с собой эту массивную, неуклюжую вещь, кладя ее в карман «на счастье» при вылетах. Он отыскал в вещевом мешке портсигар и пошел с ним в комиссионку.

Худая, пропахшая нафталином женщина повертела портсигар в руках, костлявым пальцем показала на надпись и заявила, что именных вещей на комиссию не принимают.

— Да я же недорого, по вашей цене.

— Нет-нет! К тому же, гражданин военный, мне кажется, что вам еще рановато принимать подарки по случаю серебряной свадьбы,— ядовито заметила нафталиновая дама, посмотрев на Алексея своими недружелюбными бесцветными глазами.

Густо покраснев, летчик схватил портсигар со стойки и бросился к выходу. Кто-то остановил его за рукав, дохнув в ухо густым винным перегаром.

— Занятная вещица. И недорого? — осведомилась заросшая щетиной синеносая морда, обладатель которой протягивал к портсигару жилистую дрожащую руку.— Массивный. Из уважения к герою Отечественной войны пять серых дам.

Алексей, не торгуясь, схватил пять сотенных и выбежал на свежий воздух из этого царства старой, вонючей рухляди. На ближайшем рынке купил он кусочек мяса, сала, буханку хлеба, картошки, луку. Не забыл даже несколько хвостиков петрушки. Нагруженный явился «домой», как говорил он теперь сам себе, жуя по дороге кусочек сала.

— Решил опять пайком: погано готовят,— соврал он старушке, выкладывая на кухонный стол свою добычу.

Вечером Анюту ждал роскошный ужин: картофельный суп на мясном бульоне, в янтаре которого плавали зеленые кудряшки петрушки, зажаренное с луком мясо и даже клюквенный кисель — старушка сварила его на крахмальном отваре, добытом из картофельных очистков. Девушка пришла усталая, бледная. С видимым усилием заставила она себя умыться и переодеться. Торопливо съев первое и второе, она растянулась в волшебном старом кресле, которое, казалось, обнимало усталого человека добрыми плюшевыми лапами и нашептывало ему на ухо хороший сон. Так она и задремала, не дождавшись, пока под краном в бидоне остудится изготовленный по всем правилам кисель.

Когда после короткого сна она открыла глаза, серые сумерки уже сгущались в маленькой и снова чистенькой комнате, загроможденной старыми уютными вещами. У обеденного стола под матовым абажуром старой лампы увидела она Алексея. Он сидел, охватив голову обеими руками и сжав ее так, точно хотел раздавить меж ладонями. Лица его не было видно, но во всей этой позе было такое тяжелое отчаяние, что жалость к этому сильному, упрямому человеку теплой волной подкатила к горлу девушки. Она тихо встала, подошла к нему,

обняла большую его голову и стала гладить, пропуская меж пальцев жестковатые пряди его волос. Он поймал ее руку и поцеловал в ладонь, потом вдруг вскочил, веселый и улыбающийся:

— А кисель? Вот так раз! Я старался, надрывался, доводил его под краном до должной температуры — и пожалуйста, она заснула. Каково это повару переживать!

Они весело съели по тарелке этого «образцового» уксуснокислого киселя, поболтали, словно по уговору не касаясь двух тем: о Гвоздеве и о его, Мересьева, делах. Потом стали устраивать постели, каждый на своем ложе. Анюта вышла в коридор, подождала, пока об пол не стукнули протезы Алексея, потом, потушив лампу, разделась и улеглась. Было темно, они молчали, но по тому, как иногда шелестели простыни и скрипели пружины, она догадывалась, что он не спит.

— Алеша, не спите? — не выдержала наконец Анюта.

— Не сплю.

— Думаете?

— Думаю. А вы?

— Тоже думаю.

Помолчали. За окном проскрежетал на повороте трамвай. Синяя вспышка над его дугой на миг осветила комнату, и каждый из них на мгновение увидел лицо другого. Оба лежали с открытыми глазами.

...Алексей в этот день не сказал Анюте ни слова о результатах своих хождений, и она поняла, что дела его плохи и, может быть, уже гаснет надежда в этой неукротимой душе. Женским своим чутьем она угадывала, как тяжело должно быть сейчас этому человеку, и поняла также, что, как ни лихо ему в эту минуту, высказанное участие только разбередит его боль, а сочувствие оскорбит.

Он же, лежа на спине, на заломленных за голову руках, думал о том, что вот в трех шагах от него на кровати в темноте лежит хорошенькая девушка, невеста друга, славный, добрый товарищ. До нее ему сделать два-три шага по темной комнате, но никогда, ни за что на свете не сделал бы он эти три шага, точно малознакомая, приютившая его девушка была его собственной сестрой. Он думал, что майор Стручков, вероятно, обругал бы его, может быть, даже не поверил бы ему. А впрочем, кто знает, может быть, теперь именно он-то и смог бы понять его больше, чем кто бы то ни было... А какая она славная, Анюта, и как, бедная, устает, и как вместе с этим увлекается своей тяжелой работой в эвакогоспитале!

— Алеша! — тихо позвала Анюта.

С дивана Мересьева слышалось ровное дыхание. Летчик

спал. Девушка поднялась с постели, осторожно ступая босыми ногами, подошла к нему и, точно маленькому, поправила ему подушку и подоткнула вокруг него одеяло.

7

Мересьева вызвали на комиссию первым. Огромный, рыхлый военврач первого ранга, вернувшийся наконец из командировки, сидел на председательском месте. Он сразу узнал Алексея и даже вышел из-за стола ему навстречу.

— Что, не берут? Да, дорогой мой, сложное ваше дело. Ведь закон перешагивать приходится. А как через закон-то прыгнешь? — добродушно посочувствовал он.

Алексея не стали даже смотреть. На его бумажке военврач написал красным карандашом: «Отделу кадров. Считаю возможным направить в ТАП на испытание». С этой бумажкой Алексей отправился прямо к начальнику отдела кадров. К генералу его не пустили. Мересьев было вспылil, но у адъютанта генерала, стройного молоденького капитана с черненькими усиками, было такое веселое, добродушно-дружелюбное лицо, что Мересьев, истари не терпевший, как он выражался, «архангелов», уселся возле его столика и неожиданно для себя обстоятельно рассказал капитану свою историю. Рассказ его часто прерывали телефонные звонки. Капитану то и дело приходилось срываться и бегать в кабинет шефа. Но, вернувшись, он сейчас же садился против Мересьева и, уставившись на него детскими, наивными глазами, в которых были одновременно и любопытство, и восхищение, даже недоверие, торопил:

— Ну, ну, ну и дальше? — Или вдруг разводил руками и недоуменно спрашивал: — Не врешь? Ей-богу, не врешь? Н-да, это н-да!

Когда Мересьев рассказал ему о своих скитаниях по канцеляриям, капитан, несмотря на свою юношескую внешность оказавшийся изрядным докой в аппаратных делах, возмущенно вскричал:

— Вот черти! Они же напрасно гоняли. Ты замечательный, ну, просто я не знаю, как сказать... ну, исключительный парень!.. Только они правы: без ног не летают.

— Летают... Вот... — И Мересьев выложил вырезку из журнала, заключение военврача и его направление.

— Да как же ты полетишь без ног? Чудак! Нет уж, брат, по пословице: «Из безногого танцора не выйдет».

На другого Мересьев наверняка обиделся бы, может быть, даже, всплыв, нагрубил бы ему. Но живое лицо капитана

источало такое доброжелательство, что вместо этого Алексей вскочил и с мальчишеским задором крикнул:

— Не выйдет? — и вдруг пустился по приемной в пляс.

Капитан восхищенно следил за ним, потом, ни слова не говоря, схватил его бумаги и скрылся в кабинете.

Он долго не появлялся. Летчик, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери глухие отзвуки двух голосов, чувствовал, как в страшном напряжении сжалось все тело, как остро и часто бьется сердце, точно шел он на быстроходной машине в крутое пике.

Капитан вышел из кабинета улыбающийся, довольный.

— Вот что, — сказал он, — конечно, о том, чтобы тебя в лётный состав, генерал и слушать не стал. Но вот он тут написал: направить в БАО для несения службы, без снижения в окладе и в довольствии. Понял? Без снижения...

Капитан был поражен, увидев на лице Алексея вместо радости возмущение.

— В БАО? Никогда! Да поймите же вы все: не о брюхе, не об окладе я хлопочу. Я летчик, понимаете? Я летать, я воевать хочу!.. Почему этого никто не понимает?! Ведь чего проще...

Капитан был озадачен. Вот принесло посетителя! Другой бы на его месте опять в пляс пустился, а этот... Чудак какой-то! Но этот чудак капитану нравился все больше. Он проникся к нему сочувствием, он хотел во что бы то ни стало помочь ему в невероятном его предприятии. Вдруг у него мелькнула мысль. Он подмигнул Мересьеву, поманил его пальцем и зашептал, оглядываясь на кабинет шефа:

— Генерал сделал все, что мог. Больше не в его власти. Ей-богу! Его б самого за сумасшедшего приняли: безногого — в лётный состав. Дуй прямо к нашему хозяину, только он может.

Через полчаса Мересьев, которому его новый знакомый исхлопотал пропуск, нервно ходил по коврам приемной большого начальника. Как он не догадался раньше! Ну да, именно сюда и надо было ему обратиться сразу, не теряя попусту столько времени. Или пан, или пропал... Говорили, что начальник и сам был асом. Он должен понять. Уж он не направит истребителя в БАО!

В приемной чинно сидели генералы, полковники. Они переговаривались вполголоса, некоторые явно волновались, много курили, и только старший лейтенант ходил по коврам взад и вперед своей странной, подпрыгивающей походкой. Когда все посетители прошли и настала очередь Мересьева, он резко подошел к столу, за которым сидел молодой майор с круглым открытым лицом.

— Вы к самому, товарищ старший лейтенант?

— Да. У меня лично к нему очень важное дело.

— А может быть, все-таки вы и меня могли бы познакомиться с вашим делом? Да вы садитесь. Курите? — Он протянул Мересьеву раскрытый портсигар.

Алексей не курил, но почему-то взял папиросу, помял в руках и положил на стол и вдруг, так же как и капитану, разом выпалил обо всех своих злоключениях. В этот день он решительно переменял свое мнение об «архангелах», стерегущих генеральские «предбанники». Майор слушал его не то чтобы учтиво, нет, а очень как-то по-дружески, участливо и внимательно. Он прочел заметку в журнале, познакомился с заключением. Воодушевленный участием, Мересьев вскочил и, позабыв, где находится, хотел было опять продемонстрировать, как он пляшет... Тут чуть было все не рухнуло. Дверь кабинета быстро открылась, оттуда вышел высокий, худой, черноволосый человек, которого Алексей сразу узнал по фотографиям. На ходу он застегивал шинель и что-то говорил шедшему за ним генералу. Он был очень озабочен и даже не заметил Мересьева.

— Я в Кремль, — бросил он майору, взглянув на часы. — Закажите на шесть ночной самолет на Сталинград. Посадка в Верхней Погромной, — и ушел так же быстро, как появился.

Майор тут же заказал самолет и, вспомнив про Мересьева, развел руками:

— Не повезло, улетаем. Придется ожидать. У вас есть где жить?

На смуглом лице необычайного посетителя, минуту тому назад казавшемся упрямым и волевым, майор увидел вдруг такое разочарование и такую усталость, что переменял решение:

— Ладно... Я знаю нашего хозяина, он поступил бы так же.

Он написал несколько слов на официальном бланке, сунул записку в конверт, надписал: «Начальнику отдела кадров» — и, передавая Мересьеву, пожал ему руку:

— Желаю от всей души удачи!

В бумажке значилось: «Лейтенант Мересьев А. был на приеме у командующего. К нему следует отнестись со всей внимательностью. Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию».

Через час капитан с усиками вводил Мересьева в кабинет своего шефа. Старый генерал, грузный, с сердитыми лохматыми бровями, прочитал бумажку, поднял на летчика голубые веселые глаза и усмехнулся:

— Уже и там побывал... Скор, скор! Так это ты обиделся, что я тебя в БАО? Ха-ха-ха! — Он засмеялся раскатисто и шумно. — Молодец! Узнаю летуна хороших кровей. В БАО он не хочет, оскорбился... Умора!.. Что же мне с тобой делать-то, плясун, а? Разобьешься, а с меня голову снимут: зачем, старый

дурак, направил! А впрочем, кто тебя знает... на этой войне наши ребята и не так мир удивляли... Давай бумаженцию.

Синим карандашом, непонятным почерком генерал небрежно, не дописывая слов, написал поперек бумажки: «Направить в школу тренировочного обучения». Мересьев схватил бумажку дрожащими руками. Он прочитал ее тут же, у стола, потом на лестничной площадке, потом внизу, возле часового, проверявшего пропуска при входе, потом в трамвае и, наконец, стоя под дождем на тротуаре. Из всех людей, населяющих земной шар, только он один мог понять, что означают и что стоят эти пять небрежно выведенных слов.

В этот день на радостях Алексей Мересьев продал свои часы — подарок командира дивизии, — купил на рынке всяческой снеди и вина, по телефону умолил Анюту как-нибудь подмениться часа на два там, у себя в эвакогоспитале, пригласил чету старичков и устроил пир на весь мир по случаю своей великой победы.

8

В школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой, подле небольшого осоавиахимовского аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора.

В Сталинградском сражении авиации было много работы. Небо над волжской крепостью, вечно бурое, никогда не прояснявшееся от дыма пожарищ и разрывов, было ареной непрерывных воздушных схваток, боев, перераставших в целые битвы. Обе стороны несли весьма значительные потери. Борющийся Сталинград непрерывно требовал у тыла летчиков, летчиков, летчиков... Поэтому школа тренировочного обучения, где подучивались летчики, вышедшие из госпиталей, а приехавшие из тыла пилоты, летавшие до сих пор на гражданских самолетах, переучивались для полетов на новых боевых машинах, работала с предельной нагрузкой. Тренировочные самолеты, стрекозоподобные «ушки» и «уточки», облепляли маленький тесный аэродром, как мухи неубранный кухонный стол. Они жужжали над ним с восхода и до заката, и, когда ни взглянешь на исчерченное вкривь и вкось колесами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился.

Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый, краснолицый крепыш с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Мересьева, точно взглядом этим хотел сказать: «Какой черт еще тебя принес? Мало мне тут заботы!» — и вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами.

«Придерется к ногам и прогонит», — подумал Мересьев, с опаской смотря на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно не бритом лице полковника. Но того уже звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую и в то же время глазами бежал по мересьевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал под ней: «Третий тренировочный отряд. Лейтенанту Наумову. Зачислить». Потом, положив обе трубки, устало спросил:

— А вещевой аттестат? А продовольственный? Нету? У всех нету. Знаю, знаю я эти песни. Госпиталь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду? Пишите рапорт, без аттестата приказом не проведу.

— Есть написать рапорт! — с удовольствием отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя. — Разрешите идти?

— Ступайте! — Подполковник махнул рукой. И вдруг раздался его свирепый окрик: — Стойте! Это что такое? — Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку — подарок Василия Васильевича. Мересьев, выходя из кабинета, в волнении забыл ее в углу. — Что за пижонство? Бросить палку! Не воинская часть, а цыганский табор! Горсад какой-то: палки, тросточки, стеки, хлыстики... Скоро будете на шею амулеты вешать и черных кошек в кабину брать. Чтоб я больше этой дряни не видел! Пижон!

— Есть, товарищ подполковник!

Хотя впереди было много трудностей и неудобств: надо было писать рапорт, объяснить сердитому подполковнику обстоятельства утраты аттестатов; хотя из-за неразберихи, создаваемой безостановочно проходившим через школу потоком людей, кормили в ней слабовато и, пообедав, курсанты начинали сейчас же мечтать об ужине; хотя в набитом битком здании средней школы, временно превращенной в общежитие номер три для лётного состава, трубы полопались, стояла чертова померзень и всю первую ночь Алексей дрожал под одеялом и кожаным регланом, — он чувствовал себя здесь, среди этой суеты и неудобств, как чувствует себя, вероятно, рыба, которую волна слизнула в море, после того как она полежала, задыхаясь, на песке. Все тут нравилось ему, и даже самые неудобства этого бивуачного жилья напоминали ему, что он близок к осуществлению своей мечты.

Родная обстановка, родные люди в старых, шершавых и выгоревших за войну кожаных регланах и в собачьих унтах, загорелые, хриплоголосые, веселые; родная атмосфера, пропахшая сладковатым и острым запахом авиационного бензина, наполненная ревом прогреваемых моторов и ровным, успокаивающим рокотом летящих самолетов; чумазы технари в замасленных

комбинезонах, сбившиеся с ног; сердитые, загоревшие до бронзового цвета инструкторы; румяные девчата в метеорологической будке; сизый слоистый дым лежанки в домике командного пункта; хрипенье зуммеров и резкие телефонные звонки; недостаток ложек в столовой, забираемых «на память» отъезжающими на фронт; «боевые листки», написанные цветными карандашами, с обязательными карикатурами на юнцов, мечтающих в воздухе о девушках; бурая мягкая грязь лётного поля, вкривь и вкось исчерченная колесами и костылями, веселая речь, приправленная солеными словечками и авиационными терминами,— все это было знакомое, устоявшееся.

Мересьев сразу расцвел, развернулся. Вернулись к нему, казалось прочно утраченные, жизнерадостность и некоторая веселая бесшабашность, всегда немножко свойственные истребителям. Он подтянулся, с удовольствием, ловко и красиво отвечал на приветствия младших, четко рубил шаг при встрече со старшими и, получив новую форму, сейчас же отдал ее «подгонять» пожилому сержанту, портному по своей гражданской профессии, сидевшему в БАО на выписке продуктов.

По ночам сержант подрабатывал, «пригоняя к костям» казенные размеры формы для взыскательных, щеголеватых лейтенантов.

В первый же день Мересьев отыскал на лётном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов, маленький, очень подвижный, головастый, длиннорукий человечек, бегал в районе «Т» и, смотря на небо, где ходила в зоне крохотная «ушка», ругательски ругал того, кто ею управлял:

— Сундук... Мешок с... золотом... «Был истребителем»! Кого обмануть хочет?

В ответ на приветствие Мересьева, по полной форме представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал в воздух:

— Видали? «Истребитель», гроза воздуха, болтается, как... цветок в проруби...

Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких немножко сумасшедших в общении, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы:

— В мой отряд? Как фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались?

Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы: он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком:

— Шмаровоз!.. Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостиной.

Он назначил Алексею явиться к началу лётного дня и обещал сейчас же «попробовать».

— А теперь ступайте отдохните. С дороги полезно. Кушали? А то у нас в сутолоке могут забыть накормить... Чертова кукла! Ну, только приземлись, я тебе покажу «истребителя»!

Мересьев не пошел отдыхать, тем более что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе девятом «А», где стоял его топчан. Он нашел в БАО сапожника, отдал ему свой недельный табачный паек и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегивать протезы к ножным рычажкам управления. За срочность и необычность заказа сапожник выговорил себе на «полмитрия» и обещал сделать лямки на совесть. Мересьев же вернулся на аэродром и дотемна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное «лазание» по зонам, а какое-то сверхасовское соревнование. Он не вглядывался в полет. Он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету, несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало, он даже и не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа. Утром он явился на лётное поле, когда оно было еще пусто. На линейках ревели прогреваемые моторы, напряженно выдыхали огонь «полярные» печи, и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змей. Слышалась знакомая утренняя перекличка:

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

Кто-то обругал Алексея за то, что он невесть зачем трется у самолетов в такую рань. Он отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу: «Есть контакт, есть контакт, есть контакт». Наконец самолеты, подпрыгивая, неуклюже переваливаясь и подрагивая крыльями, поползли к старту, придерживаемые механиками за подкрылки. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что казалось — он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев.

— Пришел? — спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея. — Ну и ладно: первым пришел — первым и полетишь. А ну, садись в заднюю кабину девятки, а я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь.

Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный «чинарик», а Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает: а вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум? Мересьев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину, так что узколицый, немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил: «Пьян, собака».

Но вот наконец Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу, с невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной, хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек.

В кабину сунулась голова инструктора:

— А ты, друг, часом, не пьян? Дыхни.

Алексей дыхнул. Не почуя знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком.

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

Мотор несколько раз пронзительно фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его поршеньков. Мересьев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа, но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора:

— Поперед бабки в пекло не лезь!

Инструктор сам дал газ, мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах «лесником», на центральных — «капустником», на юге — «кукурузником», всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая, как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг, машина, на которой все летчики учились когда-то летать, — круто полезла в воздух.

В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва! Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал задорное любопытство нович-

ков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в лётном деле, ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы.

Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, а от какого-то непонятого Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного?

Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные, упрямые цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплакали слезами и как слезы поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей.

«Чудак какой-то! С ним нужно осторожно. Мало ли что!» — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило и инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу и приборы начинают расплываться перед глазами.

— Передаю управление, — сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятого чудака.

Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка, «летчика божьей милостью», как любил говаривать начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну.

После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, «грамотно». Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в «зону», а после двух-трех полетов пересадить на «утенка» — учебно-тренировочный самолет «УТ-2», маленькую фанерную копию истребителя.

Было холодно, термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться.

Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку: «На посадку!» — он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо десяти минут они летали около получаса.

Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, как бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения.

— Ну, замерз? Меня сквозь унты ух как прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. Не замерзли ноги?

— У меня нет ног,— ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.

— Что? — Подвижное лицо Наумова вытянулось.

— У меня нет ног,— повторил Мересьев отчетливо.

— То есть как это «нет ног»? Как это понимать? Больные, что ли?

— Да нет — и всё... Протезы.

Мгновение Наумов стоял, точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он только что летал, и неплохо летал...

— Покажи,— сказал инструктор с каким-то страхом.

Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины.

Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия, стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полеты.

Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полета. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки:

— Родной, да как же?.. Да ты... ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!..

Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки. Сошлись на том, что положение Алексея трудное, малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят водить самолет, и, хотя именно теперь ему больше чем когда бы то ни было хотелось скорее пересечь на истребитель, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны — к знаменитому городу на Волге,— он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только «в яблочко».

Свыше пяти месяцев занимался Мересьев в учебно-тренировочной школе. Аэродром занесло снегом, самолеты переставили на лыжи. Уходя в «зону», Алексей видел теперь под собой вместо ярких осенних красок земли только два цвета: белый и черный. Уже отшумели вести о разгроме немцев у Сталинграда, о гибели шестой немецкой армии, о пленении Паулюса. Невиданное, неудержимое наступление развертывалось на юге. Танкисты генерала Ротмистрова прорвали фронт и, предприняв смелый рейд, громили глубокие тылы противника. Кропотливо «скрипеть» в воздухе на маленьких учебных самолетах, когда на фронте вершились такие дела, а в небе над фронтом развертывались такие бои, было Алексею труднее, чем день за днем вышагивать несчетное число раз вдоль госпитального коридора или выделять мазурки, фокстроты на вспухших, остро болящих ногах.

Но еще в госпитале он дал себе слово вернуться в авиацию. Он поставил перед собой цель и упрямо стремился к ней через горе, боль, усталость и разочарования. Как-то на его новый военный адрес пришел толстый пакет. Клавдия Михайловна пересылала письма и спрашивала, как он живет, каковы успехи, добился ли он осуществления своей мечты.

«Добился или нет?» — спросил он себя и, не ответив, принялся разбирать письма. Их было несколько — от матери, от Оли, от Гвоздева и еще одно, очень удивившее его: адрес был написан рукой «метеорологического сержанта», а внизу стояло: «От капитана К. Кукушкина». Это письмо он прочел первым.

Кукушкин сообщал, что его снова подбили, он прыгнул с горящего самолета, прыгнул удачно, сел у своих, но вывихнул при этом руку и теперь лежит в медсанбате, «подыхая со скуки», среди, как писал он, «доблестных работников клистира», но что все это чепуха и скоро он опять будет в строю. Пишет же это письмо под диктовку известная адресату Вера Гавриловна, которую и теперь еще, с легкой руки Мересьева, в полку зовут «метеорологическим сержантом». Говорилось в письме также, что она, эта Вера, очень славный товарищ и поддерживает его, Кукушкина, в несчастье. В скобках от Веры замечено было, что Костя, конечно, преувеличивает. Из письма этого узнал Алексей, что в полку его еще помнят, что в столовой среди портретов героев, воспитанных полком, повесили и его портрет и что гвардейцы не теряют надежды увидеть его снова у себя. Гвардейцы! Мересьев, усмехнувшись, покачал головой. Чем-то, должно быть, сильно были заняты головы Кукушкина и его добровольного секретаря, если позабыли они даже сообщить ему такую новость, как получение полком гвардейского знамени.

Потом Алексей распечатал письмо матери. Это было обычное

старушечье, суетливое послание, полное волнений и забот о нем. Не худо ли ему, не холодно ли, хорошо ли его там кормят, и тепло ли одели на зиму, и не нужно ли ему, например, связать варежки? Она уже пять пар связала и отдала в подарок воинам Красной Армии. В большие пальцы положила записки с пожеланием долго носить. Хорошо бы, парочка таких попала к нему! Добрые, теплые варежки из ангорской шерсти, которую она начесала у своих кроликов. Да, она забыла сообщить: теперь у нее есть кролики — самец, самка и семеро крольчат. Только в конце, за всей этой ласковой старушечьей болтовней, было самое главное: немцев прогнали от Сталинграда и набили их там видимо-невидимо, даже, говорят, какого-то их самого главного взяли в плен. Так вот, когда их погнали, приезжала в Камышин на пять дней Оля; приезжала и жила у нее, так как Олин домик разбомбили. Работает она теперь в саперном батальоне, в звании лейтенанта, и уже ранена была в плечо, поправилась и награждена орденом — каким, старушка, понятно, не догадалась сообщить. Она добавила, что, живя у нее, Оля все спала, а когда не спала, то говорила о нем, что вместе они гадали и по картам все выходило, что у трефового короля лежит на сердце дама бубен. Мать писала, что она, со своей стороны, лучшей невестки, чем эта самая дама бубен, себе и не желает.

Алексей улыбнулся трогательной старушечьей дипломатии и осторожно вскрыл серенький конверт от «дамы бубен». Письмо было недлинное. Оля сообщала, что после «окопов» лучшие бойцы их рабочего батальона были зачислены в регулярную саперную часть. Она теперь техник-лейтенант. Это их часть строила под огнем укрепления у Мамаева кургана, ставшего теперь таким знаменитым, а потом укрепленное кольцо у Тракторного завода, и за это награждена была их часть орденом Боевого Красного Знамени. Писала Оля, что доставалось им тут изрядно, что все — от консервов до лопат — приходилось возить из-за Волги, которая простреливалась из пулеметов. Писала, что во всем городе не осталось теперь ни одного целого дома, а земля рябая и похожа на снимки лунного ландшафта.

Писала Оля, что после госпиталя везли их на машине через весь Сталинград. Видела она целые горы набитых немцев, собранных для погребения. А сколько их валялось по дорогам! «И захотелось мне, чтобы этот твой друг танкист, я не помню его имени, тот самый, у которого всю семью убили, попал сюда и посмотрел на это своими глазами. Честное слово, все это нужно бы снять для кино и показывать таким, как он. Пусть видят, как мы отомстили за них врагу». В конце она писала — Алексей несколько раз прочел эту непонятную ему фразу, — что теперь, после Сталинградской битвы, она чувствует себя достойной его, героя героев. Писано все это было второпях, на станции, где

стоял их эшелон. Не знала она, куда их повезут и какой у нее будет новый военный адрес. До следующего ее письма Алексей был лишен возможности ответить ей, что не он, а она, эта маленькая, хрупкая девочка, тихо и кропотливо трудящаяся в самом пекле войны,— настоящий герой героев. Он еще раз со всех сторон осмотрел письмо и конверт. На обратном адресе было отчетливо подписано: гвардии младший техник-лейтенант Ольга такая-то.

Много раз в минуты отдыха на аэродроме вынимал и перечитывал Алексей это письмо. Еще долго согревало оно его на пронзительном зимнем ветру лётного поля и в промозглом, обросшем по углам курчавыми хлопьями изморози классе девятом «А», где по-прежнему он обитал.

Наконец инструктор Наумов назначил ему испытания. Летать предстояло на «утенке», и инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба, тот самый краснолицый, полнокровный толстяк-подполковник, что так неласково встретил его по прибытии в школу.

Зная, что за ним внимательно следят с земли и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький, легонький самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересьев вылез из машины и предстал перед начальством, по возбужденному, радостному, лучащемуся всеми своими морщинками лицу Наумова понял он, что дело в шляпе.

— Отличный почерк! Да... Летчик, что называется, милостью божьей,— проворчал подполковник.— Вот что, синьор, не останешься ли у нас инструктором? Нам таких надо.

Мересьев отказался наотрез.

— Ну и, выходит, дурак! Эка хитрость — воевать. А тут людей бы учил.

Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Мересьев, и даже побагровел:

— Опять? Дать сюда! Ты что, на пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься, на бульваре? На «губу» за невыполнение приказания! Двое суток!.. Амулеты развели, асы... Шаманите. Еще бубного туза на фюзеляже не хватает. Двое суток! Слышали?

Вырвав палку из рук Мересьева, подполковник осматривался кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить: он без ног,— вступился за друга инструктор Наумов.

Начальник штаба еще больше побагровел. Вытаращив глаза, тяжело задышал:

— Как так? Ты еще мне тут голову морочишь! Верно?

Мересьев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не расставался теперь с подарком Василия Васильевича.

Подполковник подозрительно косился на дружков:

— Ну, коли так, батенька, знаешь... А ну, покажи ноги... Да-а-а!..

Из тренировочной школы Алексей Мересьев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый «воздушный волк», сумел больше чем кто бы то ни было оценить величие подвига летчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мересьева для службы «в любой вид авиации как искусного, опытного и волевого летчика».

10

Остаток зимы и раннюю весну провел Мересьев в школе переподготовки. Это было старое стационарное училище военных летчиков, с отличным аэродромом, великолепным общежитием, богатым клубом, на сцене которого гастрольные труппы московских театров ставили иногда выездные спектакли. Эта школа тоже была переполнена, но в ней свято сохранялись довоенные порядки, и даже за мелочами формы приходилось тщательно следить, потому что за невычищенные сапоги, за отсутствие пуговицы на реглане или за то, что лётный планшет впопыхах наденешь поверх пояса, приходилось по приказу коменданта «рубать» часа по два строевую подготовку.

Большая группа летчиков, в которую был зачислен и Алексей Мересьев, переучивалась на новый тогда советский истребитель — «ЛА-5». Подготовка велась серьезно: изучали мотор, материальную часть, проходили технику. Слушая лекции, Алексей поражался, как далеко ушла советская авиация за сравнительно небольшое время, какое он провел вне армии. То, что в начале войны казалось смелым новаторством, теперь безнадежно устарело. Юркие «ласточки» и легкие «МИГи», приспособленные для высотных боев, казавшиеся в начале войны шедеврами, снимались с вооружения. Им на смену советские заводы выпускали рожденные уже в дни войны, освоенные в баснословно короткие сроки великолепные «ЯКи» последних моделей, входившие в моду «ЛА-5», двухместные «ИЛы» — эти летающие танки, скользящие над самой землей и сеющие прямо на головы врага и бомбы, и пули, и снаряды, уже получившие в немецкой армии паническое прозвище «шварцер тод», то есть «черная смерть». Новая техника, рожденная гением борющегося народа, неизмеримо усложнила воздушный бой и требовала от летчика не толь-

ко знания своей машины, не только дерзкой непреклонности, но и умения быстро ориентироваться над полем боя, расчленить воздушное сражение на отдельные составные части и на свой страх и риск, часто не ожидая команды, принимать и осуществлять боевые решения.

Все это было необычайно интересно. Но на фронте шли жестокие незатухающие наступательные бои, и, сидя в высоком, светлом классе за удобным черным учебным столом, слушая лекции, Алексей Мересьев тягуче и мучительно тосковал по фронту, по боевой обстановке. Он научился подавлять в себе физическую боль. Он умел заставлять себя совершать невероятное. Но и у него не хватало воли подавлять в себе эту безотчетную тоску вынужденного безделья, и он иногда неделями бродил по школе молчаливый, рассеянный и злой.

К счастью для Алексея, в той же школе проходил переподготовку и майор Стручков. Они встретились как старые друзья. Стручков попал в школу недели на две позже, но сразу же врос в ее своеобразный деловой быт, приспособился к ее необычным для военного времени строгостям, стал для всех своим человеком. Он сразу понял настроение Мересьева и, когда они после вечернего умывания расходились по спальням, подтолкнул его в бок:

— Не горюй, парень: на наш век войны хватит! Вон еще сколько до Берлина-то: шагать да шагать! Навоюемся. Досыта навоюемся.

За два или три месяца, которые они не виделись, майор заметно, как говорят в армии, «подался» — осунулся, постарел.

В середине зимы летчики курса, на котором учились Мересьев и Стручков, начали лётную практику. Уже до этого «ЛА-5», маленький короткокрылый самолет, очертаниями своими похожий на крылатую рыбку, был хорошо знаком Алексею. Частенько в перерывы он уходил на аэродром и смотрел, как с короткой пробежки взлетали и как круто уходили в небо эти машины, как вертелись они в воздухе, сверкая на солнце голубоватым брюшком. Подходил к самолету, осматривал его, гладил рукой крыло, похлопывал по бокам, точно это была не машина, а холеная и красивая породистая лошадь. Но вот группа вышла на старт. Каждый стремился скорее попробовать свои силы, и началось сдержанное препирательство. Первым инструктор вызвал Стручкова. Глаза у майора засияли, он озорновато улыбнулся и что-то возбужденно насвистывал, пока пристегивал ремни парашюта и закрывал кабину.

Потом грозно зарокотал мотор, самолет сорвался с места, и вот он уже бежал по аэродрому, оставляя за собой хвост снежной пыли, радужно переливающейся на солнце, вот повис в небе, блестя крыльями в солнечных лучах. Стручков описал над аэродромом крутую дугу, заложила несколько красивых ви-

ражей, перевернулся через крыло, проделал мастерски, с настоящим шиком весь комплекс положенных упражнений, скрылся из глаз, вдруг вынырнул из-за крыши школы и, рокоча мотором, на полной скорости пронесся над аэродромом, чуть не задев фуражек ожидавших на старте курсантов. Снова исчез, затем появился и уже солидно снизился, с тем чтобы мастерски сесть на три точки. Стручков выскочил из кабины возбужденный, ликующий, бешеный, как мальчишка, которому удалась шалость.

— Не машина — скрипка! Ей-богу, скрипка! — шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшего ему за лихачество. — На ней Чайковского исполнять... Ей-богу. Живем, Алешка! — И он сгреб Мересьева в свои сильные объятия.

Машина действительно была хороша. На этом сходились все. Но, когда очередь дошла до Мересьева и он, прикрепив к педалям управления ремнями свои протезы, поднялся в воздух, он вдруг почувствовал, что конь этот для него, безногого, слишком резв и требует особой осторожности. Оторвавшись от земли, он не ощутил того великолепного, полного контакта с машиной, который и дает радость полета. Это была отличная конструкция. Машина чувствовала не только каждое движение, но и дрожание руки, лежащей на рулях, тотчас же фиксируя его соответствующим движением в воздухе. Своей отзывчивостью она действительно походила на хорошую скрипку. Вот тут-то и почувствовал Алексей со всей остротой непоправимость своей утраты, неповоротливость своих протезов и понял, что при управлении этой машиной протез — даже самый лучший, при самой большой тренировке — не заменит живой, чувствующей, эластичной ноги.

Самолет легко и упруго пронзал воздух, послушно отвечал на каждое движение рычагов управления. Но Алексей боялся его. Он видел, что на крутых виражах ноги запаздывают, не достигается та стройная согласованность, которая воспитывается в летчике как своего рода рефлекс. Это опаздывание могло бросить чуткую машину в штопор и стать роковым. Алексей чувствовал себя, как лошадь в путах. Он не был трусом, нет, он не дрожал за свою жизнь и вылетел, даже не проверив парашюта. Но он боялся, что малейшая его оплошность навсегда вычеркнет его из истребительной авиации, наглухо закроет перед ним путь к любимой профессии. Он осторожничал вдвойне и посадил самолет совершенно расстроенный, причем и тут из-за неповоротливости ног дал такого «козла», что машина несколько раз неуклюже подпрыгнула на снегу.

Алексей вылез из кабины молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, принялись наперебой хвалить и поздравлять его. Такая снисходительность его только обидела. Он махнул рукой и молча заковылял через снежное

поле к серому зданию школы, тяжело раскачиваясь и подволакивая ноги. Оказаться несостоятельным теперь, когда он уже сел на истребитель, было самым тяжелым крушением после того мартовского утра, когда его подбитый самолет ударился о верхушки сосен. Алексей пропустил обед, не пришел к ужину. Вопреки правилам школы, строжайше запрещающим пребывание в спальнях днем, он лежал в ботинках на кровати, заломив под голову руки, и никто — ни дежурный по школе, ни проходившие мимо командиры, знавшие о его горе, не решались сделать ему замечание. Зашел Стручков, попытался заговорить, но не добился ответа и ушел, сочувственно качая головой.

Вскоре после Струčkова, почти вслед за ним, в спальню, где лежал Мересьев, вошел замполит школы подполковник Капустин, коротенький и нескладный человек в толстых очках, в плохо пригнанной, мешковато сидевшей на нем военной форме. Курсанты любили слушать его лекции по международным вопросам, когда этот неуклюжий по внешности человек наполнял сердца слушателей гордостью за то, что они участвуют в великой войне. Но как с начальником с ним не очень считались, полагая его человеком гражданским, в авиации случайным, ничего не смыслящим в лётном деле. Не обращая внимания на Мересьева, Капустин осмотрел комнату, понюхал воздух и вдруг рассердился:

— Кой черт здесь накурил? Ведь есть же курилки. Товарищ старший лейтенант, что это значит?

— Я не курю,— равнодушно ответил Алексей, не меняя позы.

— А почему вы лежите на койке? Не знаете правил? Почему не встали, когда вошел старший начальник?.. Встаньте.

Это не было командой. Наоборот, это было сказано очень по-штатски, мирно, но Мересьев вяло повиновался и вытянулся около койки.

— Правильно, товарищ старший лейтенант,— поощрил Капустин.— А теперь сядьте, и посоветуемся.

— О чем?

— А вот как нам с вами быть. Может быть, выйдем отсюда? Мне курить хочется, а у вас тут нельзя.

Они вышли в полутемный коридор, скупо освещенный синими огнями затемненных ламп, и стали у окна. Во рту у Капустина засопела трубка. Когда она разгоралась при затяжках, его лицо, широкое и задумчивое, на миг выступало из полутьмы.

— Я сегодня собираюсь на инструктора вашей группы наложить взыскание.

— За что?

— За то, что он выпустил вас в «зону», не получив разрешения командования школы... Ну да, что вы на меня уставились?

Собственно, мне надо бы и на себя взыскание наложить за то, что я до сих пор с вами не потолковал. Все некогда да недосуг, а собирался... Ну ладно. Так вот, Мересьев, не такое это простое дело — вам летать, да... За то и влеплю я, кажется, инструктору.

Алексей молчал. Что за человек стоял возле него, пыхая трубкой? Бюрократ, считающий, что кто-то нарушил его полномочия, не доведя вовремя до его сведения, что в жизни школы произошло необыкновенное событие? Чинуша, нашедший в правилах отбора лётного состава статью, запрещающую выпускать в воздух людей с физическими недостатками? Или просто чудака, придравшийся к первому поводу показать власть? Что ему нужно, зачем он явился, когда и без него тошно на душе так, что хоть в петлю головой...

Мересьев внутренне весь встопорщился, с трудом сдерживая себя. Но месяцы несчастий научили его остерегаться поспешных выводов, да и в самом этом нескладном Капустине было что-то неуловимо напоминавшее комиссара Воробьева, которого Алексей мысленно называл настоящим человеком. Вспыхивал и гаснул огонек в трубке, выступало из синей мглы и вновь таяло в ней широкое толстоносое лицо с умными, проницательными глазами.

— Видите, Мересьев, я не хочу говорить вам комплимент, но, как там ни верти, ведь вы единственный в мире человек, без ног управляющий истребителем. Единственный! — Он посмотрел в дырочку мундштука на тусклый свет лампочки и озабоченно покачал головой: — Я не говорю сейчас о вашем стремлении вернуться в боевую авиацию. Это, конечно, подвиг, но в нем самом нет ничего особенного. Сейчас такое время, что каждый делает для победы все, что может... Да что же такое с проклятой трубкой содеялось?

Он снова принялся ковырять мундштук и казался весь погруженным в это дело, а Алексей, встревоженный неясным предчувствием, теперь уже нетерпеливо ждал, что ему скажут. Не прекращая возни с трубкой, Капустин продолжал, совершенно не заботясь о том, какое впечатление производят его слова:

— Тут дело не в вас, старшем лейтенанте Алексее Мересьеве. Дело в том, что вы без ног достигли мастерства, которое до сих пор во всем мире считается доступным только очень здоровому человеку, да и то вряд ли одному из ста. Вы не просто гражданин Мересьев, вы великий экспериментатор... Ага, продулся наконец! Чем это я его засорил?.. Так вот, и мы не можем, не имеем права — понимаете, не имеем права! — подходить к вам, как к рядовому летчику. Вы затеяли важный эксперимент, и мы обязаны вам помочь всем, чем можем. А чем? Ну-ка, скажите сами: чем вам можно помочь?

Капустин опять набил свою трубочку, закурил, и опять красный отсвет ее, то загораясь, то затухая, выхватывал из

полутьмы и снова отдавал ей это широкое и толстоносое лицо.

Капустин обещал договориться с начальником школы, чтобы он увеличил Мересьеву число вылетов, и предложил Алексею самому составить себе программу тренировок.

— Так ведь сколько же на это бензину уйдет? — пожалел Алексей, удивляясь тому, как просто и деловито этот маленький, нескладный человек разрешил его сомнения.

— Бензин — продукт важный, особенно теперь. На кубики меряем. Но есть вещи подороже бензина. — И Капустин принялся старательно выколачивать о каблук теплую золу из своей кривой трубочки.

Со следующего дня Мересьев стал тренироваться отдельно. Он работал не только с упорством, как тогда, когда он учился ходить, бегать, танцевать. Его охватило настоящее вдохновение. Он старался проанализировать технику полета, обдумать все ее детали, разложить ее на мельчайшие движения и разучить каждое движение особо. Теперь он изучал, именно изучал то, что в юности постиг стихийно; умом доходил до того, что раньше брал опытом, навыком. Мысленно расчленив процесс управления самолетом на составные движения, он вырабатывал в себе особую сноровку для каждого из них, перенося все рабочие ощущения ног со ступни на голень.

Это была очень трудная, кропотливая работа. Результаты ее вначале почти не ощущались. И все же Алексей чувствовал, что с каждым разом самолет как бы больше и больше срастается с ним, становится послушней.

— Ну, как дела, маэстро? — спрашивал его при встрече Капустин.

Мересьев поднимал большой палец. Он не преувеличивал. Дела подвигались хотя и не очень ходко, но уверенно и твердо, и, что самое главное, в результате этих тренировок Алексей перестал ощущать себя в самолете неумелым, слабым всадником, сидящим на горячем и быстром коне. Он снова верил в свое мастерство. Это как бы передавалось самолету, и тот, как живое существо, как конь, чувствующий хорошего ездока, становился все более покорным. Машина постепенно раскрывала Алексею все свои летные качества.

11

Когда-то, в детстве, на первом ровном, прозрачном и не-твердом льду, затянувшем волжский залив, Алексей учился кататься на коньках. Собственно, коньков у него не было. Матери коньки были не по карману, и кузнец, у которого она стирала белье, сделал по ее просьбе маленькие деревянные колодочки

с металлическим полозом из толстой проволоки и дырками по бокам.

С помощью веревок и палочек Алексей прикреплял эти колодки к стареньким, подшитым валенкам. В них-то и вышел он на залив — на тонкий, прогибающийся под ногами, гулко и мелодично потрескивающий лед, по которому вдоль и поперек с криком и гамом скользила детвора камышинских окраин. Мальчишки носились как черти, гонялись друг за другом, на коньках прыгали и танцевали. Со стороны это казалось простым, легким делом. Но, как только Алексей спустился на залив, лед сейчас же выскользнул из-под него, и он пребольно упал на спину.

Мальчик тотчас же вскочил на ноги, боясь показать товарищам, что ушибся. Он остерегался падать назад и, двигая ногами, подался вперед, но тотчас же упал носом. Снова вскочил, постоял на дрожащих ногах, обдумывая, что же случилось, присматриваясь к тому, как двигались другие. Теперь он знал, что нельзя слишком наклоняться вперед, так же как нельзя и откидываться назад. Стараясь держаться прямо, он сделал несколько движений в сторону и повалился на бок. Так падал и вскакивал он до вечера и вернулся домой с катка, к огорчению матери, весь в снегу, с подкашивающимися от усталости ногами.

На следующее утро он опять был на катке. Он уже делал довольно верные движения ногами, меньше падал, мог, разбежавшись, прокатиться с разгона несколько метров, но, как ни старался, как ни тужился, с утра и до темноты пропадая на льду, дело дальше этого не шло.

Но вот однажды — Алексей навсегда запомнил этот морозный метельный день, когда по полированному льду ветер полосками тянул сухой снег, — он сделал какое-то удачное движение и вдруг, неожиданно для себя, покатился, покатился сильно, увереннее и увереннее с каждым кругом. То, что незаметно копил он в себе, падая, разбиваясь, вновь и вновь повторяя свои попытки, — все эти маленькие привычки, приобретаемые им, точно вдруг сложились в единый навык, и он заработал ногами, чувствуя, как все тело его, все его мальчишеское, озорное, упрямое существо ликует и радуется.

Так случилось с ним и теперь. Он много, упорно летал, стремясь вновь слиться с самолетом, почувствовать его через металл и кожу протезов. Порой начинало ему казаться, что это удастся. Он радовался, бросал машину в какую-нибудь замысловатую фигуру, но сразу же чувствовал, что движения ее неверны, самолет словно взбрыкивает, выходит из повиновения, и, ощутив горечь погасшей надежды, Алексей вновь принимался за скучные свои тренировки.

Но вот однажды в оттепельный мартовский день, когда аэродром за одно утро вдруг потемнел, а пористый снег осел так,

что самолеты оставляли на нем глубокие борозды, Алексей поднялся на своем истребителе в «зону». Ветер при подъеме был встречно-боковой, самолет сносило, и его все время приходилось подправлять. Вот тут-то, возвращая самолет на курс, ощутил вдруг Мересьев, что машина ему послушна, что он чувствует ее всем своим существом. Это ощущение мелькнуло, как молния. Алексей сперва не поверил ему. Слишком много пережил он разочарований, чтобы сразу поверить своему счастью.

Он сделал крутой и глубокий вираж вправо. Машина была покорна и точна. Алексей почувствовал то же, что мальчишкой пережил когда-то на волжском заливчике, на темном, остро похрустывавшем льду. Хмурый день точно сразу посветлел. Радостно заколотилось сердце; он почувствовал, как шея чуть оцепенела от знакомого холодка волнения.

За какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных тренировок. Он перешел эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды многих и многих дней тяжелого труда. Он добился главного, что так долго ему не давалось: он слился со своей машиной, ощутил ее как продолжение собственного тела. Даже бесчувственные и неповоротливые протезы не мешали теперь этому слиянию. Ощущая в себе волны нарастающей радости, Алексей заложил несколько глубоких виражей, сделал мертвую петлю и, едва выйдя из нее, бросил машину в штопор. Земля со свистом, бешено завертелась, и аэродром, и здание школы, и башенка метеостанции с надутым полосатым мешком — все это слилось в сплошные круги. Он уверенно вывел машину из штопора, сделал упругую петлю. Только теперь знаменитый в те дни «ЛА-5» раскрыл перед летчиком все свои явные и тайные качества. Что это была за машина в опытных руках! Чутко отзываясь на каждое движение, она легко вычерчивала сложнейшие фигуры, свечой взмывала вверх, компактная, ловкая, быстрая.

Мересьев вылез из самолета, шатаясь, как пьяный, с лицом, расплывшимся в бессмысленной улыбке, не видя перед собой разъяренного инструктора, не слыша его брани. Пусть ругается! «Губа»? Хорошо, он готов отсидеть положенное на гауптвахте. Разве теперь не все равно? Ясно: он летчик, хороший летчик, не зря на его тренировки тратили сверх нормы драгоценный бензин. Уж он отработает этот бензин сторицею, только бы поскорей на фронт, в бой!

В общезжитии его ждала еще радость. На подушке лежало письмо от Гвоздева. Где, сколько и в чьем кармане кочевало оно в поисках адресата, трудно было даже установить, так как конверт был измят, выпачкан, пропитан маслом. Пришло же письмо в свежем конверте, надписанном рукой Анюты.

Танкист писал Алексею, что приключилась с ним препарши-

вая история. Он ранен в голову — и чем? Крылом немецкого самолета. Лежит сейчас в корпусном госпитале, из которого, впрочем, на днях собирается выходить. А случилось это невероятное происшествие так. После того как шестая немецкая армия была отрезана и окружена у Сталинграда, их корпус прорвал фронт отступающих немцев и, проскочив в образовавшуюся брешь, всеми своими танками устремился по степи на немецкие тылы. Гвоздев командовал в этом рейде танковым батальоном.

Это был веселый рейд! Стальная армада вламывалась в расположения немецких тылов, в укрепленные деревни, на узловые станции, сваливаясь неожиданно, как снег на голову. Танки проносились по улицам, расстреливая и уничтожая все вражеское, попадавшееся на пути, и, когда остатки гарнизонов разбежались, танкисты и мотопехота, привезенные на броне, поджигали склады боеприпасов, рвали мосты, стрелки, поворотные круги на станциях, запирая поезда отступающих немцев. Из запасов врага заправлялись трофейным горючим, набирали продовольствия и неслись дальше, прежде чем немцы успевали опомниться, подтянуть силы для отпора или хотя бы определить направление дальнейшего движения танков.

«Погуляли мы, Алешка, по степи, как буденновцы! И боялась же нас немчура! Не поверишь — порой тройкой танков и трофейным броневи́чком брали целые села с базовыми складами. Паника, брат Алешка, в военном деле — великая вещь. Хорошая паника врага дороже двух полнокровных дивизий у наступающих. Только ее надо умело поддерживать, как огонь в костре, делать новые и новые неожиданные удары и не давать ей затухать. Похоже, что на фронте проткнули мы немецкую броню, а под броней-то оказалась пустота. И шли мы, как мутовка сквозь тесто...

...И вот случился со мной этот самый грех. Прозвал нас хозяин. Разведсамолет сбросил ему вымпел. Там-то и там-то огромный базовый аэродром. Сотни три самолетов, горючее, грузы. Командующий себя за рыжий ус пощипал и приказывает: «Гвоздев, ночью, без шума, без выстрела, чинно, будто свои, подойди к аэродрому поближе, а потом всей оравой с пальбой налети и, прежде чем они очухаются, переверни все вверх дном, чтобы ни одна сволочь не улетела». Получили задачу мой и еще один батальон, приданный мне в подчинение. А основное «хозяйство» прежним курсом поползло на Ростов.

И вот, Алешка, попали мы на этот аэродром, как лиса в курятник. Алешенька, друг, не поверишь — до самых махальщиков до немецких доползли по дороге. На нас немцы никакого внимания — свои и свои; утро, туман, ничего не разберешь, только слышно — моторы да траки лязгают. Потом как рванулись мы да как вдарим! Ну, Лешка, потеха была! Самолеты ряда-

ми стояли, а мы по ним бронебойными, по пять, по шесть машин одним снарядом прошиваем. Потом видим — не управиться: их экипажи, что посмелей, моторы заводить стали. Ну, мы задраили люки и пошли на таран, броней бить по хвостам. Самолеты транспортные, громадные, до мотора не достанешь, так мы по хвостам. Без хвоста — все равно что и без мотора: не полетишь. Тут вот и пригрело меня. Высунулся я из люка посмотреть обстановку, а машина как раз по самолету ударила. Осколком крыла и двинуло мне по голове. Спасибо, шлем амортизировал, а то бы конец... Но все ерунда, дело идет на выписку, и скоро опять увижу я моих танкачей. Беда в другом: сбрили мне в госпитале бороду. Копил ее, копил, широкая стала борода, а они сбрили без всякой жалости. Ну, да пес с ней, с бородой! Хотя идем мы и ходко, все же, полагаю, до конца войны другая вырастет и прикроет мое безобразие. Хотя, знаешь, Алеша, Анюта почему-то невзлюбила мою бороду и все время в письмах ее травит».

Письмо было длинное. Видно было, что Гвоздев писал его, изнывая от госпитальной скуки. Между прочим в конце сообщал, что под Сталинградом, когда его танкисты, потерявшие в бою машины и ожидавшие новой техники, вели бой в пешем строю, в районе знаменитого Мамаева кургана, встретил он здесь Степана Ивановича. Старик уж на курсах побывал и в начальство вышел. Он теперь старшина и командует взводом противотанковых ружей. Однако снайперских повадок своих он не бросил. Только, по словам его, зверь у него теперь стал посерьезнее: не фриц-ротозей, вылезший из окопа погреться на солнышке, а немецкий танк — машина хитрая и крепкая. Но по-прежнему в охоте за этим зверем старик силен сибирской своей промысловой смекалкой, каменным терпением, выдержкой и точностью боя. При встрече распили они с Гвоздевым флягу дрянного трофейного винца, отыскавшегося у запасливого Степана Ивановича, помянули всех друзей, и при этом будто бы послал старик Мересьеву нижайший свой поклон и пригласил их обоих, коли останутся живы, приехать после войны к нему в колхоз промыслять белку или баловаться охотой на чирков.

Тепло и грустно стало на душе у Мересьева от этого письма. Все друзья по сорок второй палате давно уже воюют. Где-то сейчас Гриша Гвоздев и старый Степан Иванович? Что с ними? По каким краям носят их военные ветры, живы ли они? Где Оля?..

И опять вспомнил Алексей слова комиссара Воробьева, что военные письма, как лучи угасших звезд, долго-долго идут к нам и бывает — звезда давно погасла, а луч ее, веселый и яркий, еще долго пронзает пространства, неся людям ласковое сверканье уже не существующего светила.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

В жаркий летний день 1943 года по фронтовой дороге, проторенной обозами наступавших дивизий Красной Армии, прямо через заброшенное, заросшее могучим багровым бурьяном поле, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах, дребезжа расхлябанным деревянным кузовом, по направлению к фронту бежал старенький грузовик. На его разбитых, мохнатых от пыли бортах можно было с трудом различить белые полосы и надписи: «Полесвая почта». Огромный серый хвост вставал из-под его колес и тянулся за ним, медленно расплываясь в душном, безветренном воздухе.

В кузове, набитом кулями с письмами, на пачках свежих газет, подскакивая и раскачиваясь вместе со всем грузом, сидели двое военных в летних гимнастерках и фуражках с голубыми околышами. Младший из них, судя по новеньким, необмятым погонам, старший сержант авиации, был тонок, строен, белокур. Лицо у него было такое девически нежное, что, казалось, кровь просвечивала сквозь белую кожу. На вид ему было лет девятнадцать. Хотя изо всех сил старался он выглядеть бывалым солдатом — плевал сквозь зубы, хриловато бранился, вертел сигарки в палец толщиной и прикидывался ко всему равнодушным, — ясно было, что на фронт он едет в первый раз и очень волнуется. Все кругом: и разбитая пушка, ткнувшаяся стволом в землю возле самой дороги, и заросший бурьяном по самую башню советский танк, и обломки немецкого танка, раскиданные, должно быть, прямым попаданием авиабомбы, и снарядные воронки, уже затянутые травой, и стопки противотанковых мин-тарелок, извлеченных саперами и уложенных ими на обочине у новой переправы, и мелькавшие вдали в траве березовые кресты немецкого солдатского кладбища — следы отгремевших здесь сражений, следы, которых глаз фронтовика просто не замечал, — все удивляло, поражало юношу, казалось ему значительным, важным и очень интересным.

В спутнике его, старшем лейтенанте, наоборот, можно было безошибочно угадать опытного фронтовика. На первый взгляд ему можно было дать не больше двадцати — двадцати четырех лет. Но, взглядевшись в загорелое, обветренное лицо с тонкими ниточками морщин у глаз, на лбу, у рта, в его черные задумчивые усталые глаза, можно было бы прикинуть и еще с десятков. Взгляд его равнодушно скользил вокруг. Не удивляли его ни ржавые обломки битой, искореженной взрывами военной техники, видневшиеся то тут, то там, ни мертвые улицы сгоревшей деревни, по которым прогрохотал грузовик, ни даже куски совет-

ского самолета — маленькая грудка серого изувеченного алюминия с валявшейся поодаль кочерыжкой мотора и куском хвоста с красной звездой и номером, вид которых заставил юношу покраснеть и затрепетать.

Устроив себе из газетных тюков удобное кресло, офицер дремал, опираясь подбородком на странную тяжелую, черного дерева палку, украшенную накладными золотыми монограммами, и изредка, точно очнувшись от этой дремы, счастливо оглядывался кругом и жадно вдыхал всей грудью жаркий, душистый воздух. Зато, когда где-то в стороне от дороги над морем рыжего нахального бурьяна заметил он вдали две маленькие, еле видные черточки, оказавшиеся при внимательном рассмотрении двумя самолетами, которые неторопливо, точно гоняясь друг за другом, плавали в воздухе, он вдруг оживился, глаза у него загорелись, ноздри тонкого с горбинкой носа заходили, и, не отрывая глаз от этих двух еле видных черточек, он застучал ладонью о крышу кабины:

— Воздух! Сворачивай!

Он встал, опытным взглядом оценивая местность, и указал шоферу рукой на глинистую ложину ручейка, серевшую шершавыми лапками мать-и-мачехи и усеянную золотыми гвоздиками куриной слепоты.

Юноша пренебрежительно улыбнулся. Самолеты безобидно кувыркались где-то далеко; казалось, им нет никакого дела до одинокого грузовичка, поднявшего огромный хвост пыли над печальными, пустыми полями. Но, прежде чем он успел запротестовать, шофер уже свернул с дороги, и машина, тарахтя кузовом, быстро понеслась к ложине.

Старший лейтенант сейчас же вылез из кузова и присел на траве, зорко смотря на дорогу.

— Ну что вы, право... — начал было юноша, насмешливо поглядывая на него.

В это мгновение тот бросился в траву и свирепо крикнул:

— Ложись!

И сейчас же раздался напряженный рев моторов, и две огромные тени, сотрясая воздух и странно тарахтя, пронесли над самыми их головами. И это показалось юноше не очень страшным: обычные самолеты, наверно, наши. Он осмотрелся и вдруг увидел, что валявшийся у дороги опрокинутый заржавевший грузовик дымит, быстро разгораясь.

— Ишь зажигательными жалуют, — усмехнулся шофер, разглядывая пробитую снарядом и уже горевшую стенку. — На машины вышел.

— Охотники, — спокойно сказал старший лейтенант, удобно разваливаясь на траве. — Придется ждать, они сейчас вернутся.

Дороги бреют. Отведи-ка, друг, машину подальше, вон хотя под ту березу.

Он сказал это так равнодушно и так уверенно, как будто немецкие летчики только что сообщили ему свои планы. Машину сопровождала девушка — военный почтальон. Бледная, со слабой, недоуменной улыбкой на запыленных губах, она с опаской посматривала на тихое небо, по которому, переливаясь и клубясь, торопливо плыли яркие, летние облака. Именно поэтому старший сержант, хотя и был очень смущен, небрежно бросил:

— А лучше бы ехать, к чему время терять? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Старший лейтенант, спокойно покусывавший травинку, поглядел на юношу с еле уловимым теплым смешком в черных сердитых глазах:

— Вот что, друг: пословицу эту дурацкую, пока не поздно, забудь. И еще вот что, товарищ старший сержант: положено на фронте старших слушать. Приказывают «ложись» — стало быть, ложись.

Он нашел в траве сочный стебель щавеля, ногтями содрал с него волокнистую шкурку и с аппетитным хрустом принялся его есть. Снова послышался рокот моторов, и низко над дорогой, переваливаясь с крыла на крыло, прошли давешние самолеты — и прошли так близко, что были отчетливо видны и желто-коричневая окраска их крыльев, и черно-белые кресты, и даже пиковый туз, изображенный на фюзеляже ближайшего из них. Старший лейтенант лениво сорвал себе еще несколько «петухов», посмотрел на часы и скомандовал шоферу:

— Поехали! Теперь можно. И давай, друг, скорее, чтобы от этого места подальше уйти.

Шофер загудел сиреной, из лощинки прибежала девушка-почтальон. Она принесла несколько розовых земляничин, висевших на стебельках, и протянула их старшему лейтенанту.

— Уже поспевает... Не заметили, как и лето пришло, — сказал он, понюхал ягоды и сунул, как цветы, в петлицу кармашка гимнастерки.

— Почему вы знаете, что теперь они не придут и можно ехать? — спросил юноша старшего лейтенанта, который опять замолчал, покачиваясь в такт прыгавшему по ухабам грузовику.

— Дело это нехитрое. Это «мессера», «Me-109». У них запас горючего на сорок пять минут, они его теперь вылетали и пошли на заправку.

Он пояснил это равнодушно, словно не понимая, как это можно не знать таких простых вещей. Юноша же стал внимательно следить за воздухом. Ему захотелось первым заметить летящие «мессеры». Но воздух был чист и так густо насыщен запахом

буйного цветения трав, пыли и разогретой земли, так энергично и весело трещали в траве кузнечики, так голосисто звенел жаворонок, вися где-то над этой скорбной, поросшей бурьяном землей, что он забыл и про немецкие самолеты и про опасность и стал напевать приятным, чистым голосом очень любимую в те дни на фронте песенку о войне, тоскующем в своей землянке о далекой милой.

— А «Рябину» знаешь? — вдруг перебил его спутник.

Юноша кивнул головой и послушно завел старую песню. Усталое, запыленное лицо старшего лейтенанта подернулось грустью.

— Не так поешь, старик. Это тебе не частушка, это настоящая песня. Ее надо с сердцем петь.— И он подхватил тихонько, совсем маленьким, не громким, но верным голосом.

Машина на минуту затормозила, из кабины выскочила девушка-почтальон. Она ловко на ходу уцепилась за задний борт, подпрыгнула на руках и перевалилась в кузов, где ее подхватили сильные дружеские руки.

— Я к вам: слышу, вы поете...

Под дребезжанье грузовика, под усердное пиликанье кузнечиков они запели втроем.

Юноша разошелся. Из вещевого мешка достал он большую губную гармошку и, то дуя в нее, то подпевая и дирижируя ею, повел песню. На унылой, уже заброшенной фронтовой дороге, точно ударом кнута высеченной среди могучих пыльных, заполонивших всё бурьянов, сильно и грустно звучала песня, такая же старая и такая же юная, как эти вот изнывающие в летнем зное поля, как старательное пиликанье кузнечиков в теплой душистой траве, как звон жаворонков в ясном летнем небе и как самое это небо, высокое и бездонное.

Они так увлеклись пением, что чуть было не полетели со своих тюков, когда машина резко затормозила. Она остановилась среди дороги. Рядом, опрокинувшись боком в канаву и задрав пыльные колеса, валялась разбитая трехтонка. Юноша побледнел. А его спутник быстро перелез через борт и поспешил к опрокинутой машине. У него была странная, танцующая, с косолапкой походка. Через минуту водитель вытащил из смятой кабины окровавленное тело капитана интендантской службы. Лицо его, все израненное и исцарапанное, должно быть, ударом о стекло, было цвета дорожной пыли.

Старший лейтенант приподнял веко его закрытого глаза.

— Этот готов,— сказал он, снимая фуражку.— Еще там есть?

— Есть. Водитель,— ответил шофер.

— Ну, чего стоите? Помогите! — цыкнул старший лейтенант на растерянно топтавшегося юношу.— Крови не видали?

Привыкайте, посмотреть придется... Вот они, охотнички-то, их работа.

Водитель оказался живым. Он тихонько постанывал, не открывая глаз. Ран у него не было видно, но, очевидно, когда подбитую снарядом машину с полного хода занесло в канаву, он грудью толкнулся о руль, а обломки кабины притиснули его к баранке. Старший лейтенант приказал поднять его в кузов. Он подстелил под раненого свою новую, еще не надеванную щегольскую шинель, которую вез бережно завернутой в кусок коленкора. Сам сел на дно кузова и голову раненого положил себе на колени.

— Гони что есть мочи! — скомандовал он шоферу.

Бережно поддерживая голову раненого, он заулыбался чему-то своему, далекому.

Уже вечерело, когда грузовик влетел на улицу небольшой деревеньки, где опытный глаз сразу угадал бы командный пункт небольшой авиационной части. Несколько ниток проводов тянулось по запыленным ветвям черемух, по тощим яблонькам, торчавшим в палисадниках, обвивало серые рогатки колодезных журавлей, столбы тынов. Возле домов под соломенными навесами, где обычно стоят крестьянские телеги да лежат плуги и бороны, виднелись помятые «эмочки», «виллисы». То тут, то там за тусклыми стеклами маленьких окошек мелькали военные в фуражках с голубыми околышами, трещали пишущие машинки, а в одном домике, куда стекалась вся паутина проводов, слышалось мерное потрескивание телеграфного аппарата.

Деревушка эта, лежавшая в стороне от больших и малых дорог, сохранилась в унылой, забурьяненной пустыне будто заповедник, долженствующий показывать, как хорошо и привольно жилось в этих краях до вступления немцев. Даже небольшой, заросший желтоватой ряской пруд был полон воды. Прохладным пятном сверкал он в тени старых плакучих ив, и, прокладывая себе путь в зарослях ряски, охорашиваясь и обливаясь, плавала пара белоснежных красноносых гусей.

Раненого сдали в избу, на которой висел флаг с красным крестом. Затем грузовик пробежал деревеньку и остановился около аккуратненького здания сельской школы. Тут по обилию проводов, собиравшихся в разбитое окошко, да по солдату, стоявшему в сенях с автоматом на груди, угадывался штаб.

— К командиру полка, — сказал старший лейтенант дежурному, решавшему у раскрытого окна кроссворд в журнале «Красноармеец».

Юноша, следовавший за ним, заметил, как перед входом в штаб тот механическим движением одернул на себе гимна-

стерку, большими пальцами расправил ее под поясом, застегнул пуговицы воротника, и тотчас сделал то же. Теперь он старался во всем походить на своего немногословного, очень понравившегося ему спутника.

— Полковник занят,— ответил дежурный.

— Доложите, что со срочным пакетом из отдела кадров штаба ВА.

— Обождите: у него на докладе экипаж воздушной разведки. Просил не мешать. Вон посидите в садике у дома.

Дежурный снова углубился в кроссворд, а приезжие вышли в садик и уселись на старенькую скамейку над заботливо обложенной кирпичом, но теперь запущенной и заросшей травой клумбой, где перед войной в такие вот тихие летние вечера, наверно, сживала, отдыхая от трудов, старушка учительница. Из распахнутых окон отчетливо долетали два голоса. Один, хриплый, возбужденно докладывал:

— Вот по этой и по этой дорогам, на Большое Горохово и погост Крестовоздвиженский, усиленное движение, сплошные колонны грузовиков, и, заметно, все в одну сторону — к фронту. Вот тут, у самого погоста, в ложине грузовики или танки... Полагаю, сосредоточилась большая часть.

— Почему так полагаешь? — перебил тенорок.

— Очень большой заградительный огонь. Еле убрались. Вчера здесь ничего не было, какие-то кухни дымили. Я над самыми крышами проходил, пострелял по ним для остротки. А сегодня — куда там! Такой огонь... Явно тянутся к фронту.

— А в квадрате «зет»?

— Здесь тоже движение, но потише. Вот тут, у леска, большая танковая колонна на марше. Машин сто. Эшелонами растянулась километров на пять, так днем и шла, не маскируясь. Возможно, ложное движение... Вот тут, тут и потом там засекли артиллерию, у самых передовых. И склады огнеприпасов. Замаскированы в дровах. Вчера их не было... Большие склады.

— Все?

— Точно так, товарищ полковник. Прикажете писать рапорт?

— Какой тут рапорт! Сейчас же в армию. Рапорт! Знаете, что это значит?.. Эй, дежурный! «Виллис» мой! Отправьте капитана в штаб ВА.

Кабинет командира полка помещался в просторном классе. В комнате с голыми бревенчатыми стенами стоял всего-навсего один стол, на котором лежали кожаные футляры телефонов, большой авиационный планшет с картой и красный карандаш. Полковник, маленький, быстрый, туго собранный человек, бегал по комнате вдоль стен, заложив руки за спину. Занятый своими

мыслями, он раза два пробежался мимо стоявших навтыжку летчиков, потом резко остановился перед ними, вопросительно вскинув сухое, твердое лицо.

— Старший лейтенант Алексей Мересьев, — отрекомендовался чернявый офицер, вытягиваясь и стукнув каблуками. — Прибыл в ваше распоряжение.

— Старший сержант Александр Петров, — отрапортовал юноша, стараясь вытянуться еще прямее и еще звучнее брякая об пол каблуками солдатских кирзовых сапог.

— Командир полка полковник Иванов, — буркнул хозяин. — Пакет?

Мересьев четким жестом вырвал из планшета пакет и протянул полковнику. Тот пробежал препроводительные бумаги и быстрым глазом осмотрел прибывших.

— Хорошо, вовремя. Только что же это они мало прислали? — Потом вдруг что-то вспомнил, на лице его мелькнуло удивление: — Позвольте, это вы Мересьев? Мне о вас звонил начальник штаба ВА. Он предупредил меня, что вы...

— Это не имеет значения, товарищ полковник, — не очень вежливо перебил его Алексей. — Разрешите приступить к несению службы?

Полковник с любопытством посмотрел на старшего лейтенанта и с одобрительной усмешкой кивнул головой:

— Правильно!.. Дежурный, отведите их к начальнику штаба, распорядитесь от моего имени, чтобы их накормили и устроили на ночлег. Скажите, чтобы оформили их приказом в эскадрилью гвардии капитана Чеслова. Исполняйте.

Петрову командир полка показался слишком суетливым. Мересьеву он понравился. Алексею были по душе такие вот быстрые люди, сразу, на ходу все схватывающие, умеющие четко мыслить и твердо решать. Доклад воздушного разведчика, который они случайно слышали, ожидая в садике, не шел у него из ума. По многим приметам, понятным военному человеку: по тому, как были забиты дороги, по которым они ехали из армии, способом «голосования» пересаживаясь из машины в машину; по тому, как по ночам часовые на дорогах строго требовали соблюдать маскировку, грозя нарушителям стрелять по шинам; по тому, что в березовых рощах, в стороне от фронтовых путей, было так шумно и тесно от скопившихся там танков, грузовиков, артиллерии; по тому, что даже над пустынной полевой дорогой атаковали их сегодня немецкие «охотники», — понимал Мересьев, что затишью на фронте настал конец, что где-то — и именно в этих краях — немцы замыслили свой новый удар, что удар этот произойдет скоро и что командование Красной Армии знает об этом и подготовило уже достойный ответ.

Беспокойный старший лейтенант не дал Петрову дожидаться в столовой третьего блюда. Они вскочили на попутный бензовоз и поехали на аэродром, устроенный на полянке за деревней. Тут познакомились новички с командиром эскадрильи гвардии капитаном Чесловым, хмурым, молчаливым, но, должно быть, до чрезвычайности добродушным человеком. Он без долгих разговоров подвел их к травянистым подковкам земляных капониров, в которых стояли новенькие, сверкающие лаком голубые «ЛА-5» с номерами «11» и «12» на вертикальном руле. На них и предстояло летать новичкам. В душистом березовом леске, где пронзительные птичьи хоры не заглушал даже рев моторов, приезжие провели возле машин остаток вечера, болтая со своими новыми механиками и входя в курс жизни полка.

Они так увлеклись, что приехали в деревеньку с последним грузовиком, уже затемно, и прозевали ужин. Это их не очень огорчило. В верных «сидорах» у них хранились остатки сухого пайка, выданного им на дорогу. Сложнее оказалось с ночлегом. Маленький оазис среди мертвой, забурьяненной пустыни оказался густо перенаселенным экипажами и персоналом штабов двух стоявших здесь авиационных полков. После долгого хождения по переполненным избам, сердитых препирательств с жильцами, не хотевшими пускать новых постояльцев, после философских рассуждений с самим собой о том, как жаль, что избы не резиновые и не растягиваются, комендант втолкнул наконец новичков в первый попавшийся «дом»:

— Ночуйте здесь, а завтра разберемся.

В маленькой избе уже ютилось девять жильцов. Летчики рано укладываются спать. Керосиновая, сделанная из сплющенного снарядного стакана коптилка, какие в первые годы войны именовали «катюшами», а после Сталинграда перекрестили в «сталинградки», тускло освещала неясные силуэты спавших. Они занимали кровати, лавки, рядом лежали на полу на ворохе сена, застеленного плащ-палатками. Помимо девяти постояльцев, в хате жили и хозяева—старуха со взрослой дочерью, ютившиеся по случаю крайнего переуплотнения на громадной русской печи.

На мгновение новички остановились на пороге, не зная, как перебраться через все эти спящие тела. С печи кричал на них сердитый старушечий голос:

— Некуда, некуда! Вишь, набилось. На потолок, что ли?

Петров неловко затоптался в дверях, готовый идти обратно на улицу, но Мересьев уже осторожно шагнул через избу к столу, стараясь не наступать на спящих.

— Нам бы вот только где поесть, мамаша, целый день не

ели. Да тарелку бы, да пару чашек, а? А ночевать мы и во дворе переночуем, не стесним. Лето.

Но из глубины запечья, из-за спины ворчливой бабки уже показались чьи-то маленькие босые ноги. Тоненькая, легкая фигурка молча соскользнула с печи, ловко пробалансировала над спящими, скрылась в сенях и тотчас же вернулась, неся тарелки и разномастные чашки, надетые на тонкие пальчики. Сначала Петрову показалось, что это девочка-подросток. Когда же она подошла к столу и желтый копотный свет лампы выхватил из сумрачной мглы ее лицо, он увидел, что это девушка, и девушка хорошенькая, в расцвете лет. Только уж очень портили ее коричневая кофта, юбка из мешковины и драный платок, накрест перехватывающий грудь и по-старушечьи завязанный за спиной.

— Марина, Марина, поди сюда, подлая! — зашипела на печи старуха.

Но девушка и глазом не повела. Она ловко постелила на столе чистую газету, расставила на ней посуду, разложила вилки, искоса бросая короткие взгляды на Петрова.

— Кушайте на здоровье. Может, вам порезать что или погреть? Я мигом. Только вот комендант не велел во дворе таган разводить.

— Маринка, иди сюда! — звала старуха.

— Не обращайтесь на нее внимания: это она так, не в себе немножко. Немцы ее напугали. Как ночью увидит военных, все норовит меня схоронить. Вы на нее не сердитесь: это она только ночью, а днем она хорошая.

В вещевом мешке Мересьева обнаружилась колбаса, консервы, даже две сухие, с выступившей на тощих боках солью селедки и кирпич армейского хлеба. Петров оказался менее запасливым: у него было мясо и сухари. Маленькие ручки Маринки ловко нарезали все это, аппетитно разложили на тарелках. Все чаще и чаще скользил скрытый длинными ресницами взгляд ее быстрых глаз по лицу Петрова, а Петров тоже исподтишка стал посматривать на нее. Когда же взгляды их встречались, они оба краснели, хмурились, отворачивались друг от друга, причем оба вели разговор только через Мересьева, друг к другу не обращались. Алексею было смешно следить за ними, смешно и чуть-чуть грустно: оба они были такими юнцами — по сравнению с ними он казался себе старым, усталым, много пожившим.

— Вот что, Маринушка, а огурчиков случайно нет? — спросил он.

— Случайно есть, — тихо улыбнувшись, ответила девушка.

— А картошечки вареной не найдется хоть штучки две?

— Попросите — найдется.

Она вновь исчезла из комнаты, ловко перепрыгивая через спящих, бесшумная, легкая, как мотылек.

— Товарищ старший лейтенант, как это вы можете с ней так? Незнакомая девушка, а вы с ней на «ты», огурчиков требуете и...

Мересьев раскатисто расхохотался:

— Старик, ты где находишься? Это тебе фронт или что?.. Бабка, хватит ворчать, слезай, есть будем, ну?

Бабка, кряхтя и все еще сердито бубня что-то себе под нос, полезла с печки, тотчас же пристроилась к колбасе, до которой, как выяснилось, в мирное время была великая охотница.

Вчетвером они сели за стол и под разноголосый храп и сонное бормотанье остальных жильцов с аппетитом и вкусно поужинали. Алексей болтал без умолку, трунил над бабкой, смешил Маринку. Попав наконец в родную атмосферу бивуачной жизни, он наслаждался ею вполне, чувствуя себя очутившимся в родном доме после долгого скитания по чужим краям.

К концу ужина друзья узнали: деревня сохранилась потому, что тут стоял когда-то немецкий штаб. Когда Красная Армия стала наступать, он удрал так быстро, что не успел уничтожить деревню. Бабка повредила в уме после того, как гитлеровцы при ней изнасиловали ее старшую дочь, которая потом утопилась в пруду. Сама Маринка восемь месяцев пребывания немцев в этих краях жила, не видя солнца, на задворках, в пустой риге, вход в которую был завален соломой и рухлядью. Мать по ночам носила ей и подавала через волоковое оконце еду и питье. Чем больше разговаривал Алексей с девушкой, тем чаще и чаще посматривала она на Петрова, и во взглядах ее, задорных и робких, было трудно скрываемое восхищение.

Незаметно ужин был съеден. Остатки Маринка хозяйственно завернула и сунула в мешок Мересьеву: дескать, солдату все пригодится. Потом она пошептала с бабкой и решительно сказала:

— Вот что: раз вас сюда комендант поставил, тут и живите. Лезьте на печку, а мы с мамой в каморе переспим. Отдыхайте пока с дороги. А завтра найдем вам местечко.

Так же легко ступая босыми ногами через спящих, она принесла со двора охапку яровой соломы, щедро разбросала ее по просторной печи, подмостила в изголовье какие-то одежки, и все это быстро, ловко, бесшумно, с кошачьим изяществом.

— Хороша, старик, девушка! — заметил Мересьев, с таким удовольствием растягиваясь на соломе, что захрустели суставы.

— А, кажется, ничего,— деланно равнодушным тоном отзывался Петров.

— И как на тебя смотрела!..

— Уж и смотрела, скажете! Она все с вами разговаривала...

Через минуту уже слышалось его ровное сонное дыхание. Мересьев не спал. Он лежал, вытянувшись на прохладной, сытно пахнувшей соломой. Он видел, как из сеней вошла Марина, прошла по комнате, что-то ища. Время от времени она украдкой посматривала на печку. Поправила на столе лампу, опять оглянулась на печь и тихо-тихо пошла через спящих к двери. Вид этой тоненькой, красивой, одетой в рубище девушки наполнил почему-то душу Алексея грустным покоем. Вот и на квартиру устроились. На утро назначен их первый боевой полет — в паре с Петровым. Он, Мересьев,— ведущий. Петров — ведомый. Как-то получится? Славный, кажется, парень! Вон и Маринка в него с первого взгляда влюбилась. Ну, спать так спать!

Мересьев повернулся на бок, повозился в соломой, закрыл глаза и тотчас же забылся каменным сном.

Проснулся с ощущением чего-то страшного. Он не сразу понял, что случилось, но военная привычка заставила его тотчас же вскочить, схватиться за пистолет. Он не помнил ни где он, ни что с ним. Едкий, чесночного запаха дым обволакивал все, а когда порыв ветра отодвинул дымовое облако, Алексей увидел над головой странные, ярко мерцающие огромные звезды. Было светло, как днем, и видны были разметанные, как спички, бревна избы, сшибленная набок крыша, окалившаяся стропилами, и что-то бесформенное, загоравшееся невдалеке. Он услышал стоны, волнисто рокочущий рев над головами и знакомый противный, до самых костей пронизывающий визг падающих бомб.

— Ложись! — крикнул он Петрову, который, очумело оглядываясь, стоял на коленях на печи, возвышавшейся среди развалин.

Они бросились на кирпичи, прильнули к ним, и в это время большой осколок сшиб печную трубу, обдав их красной пылью и запахом сухой глины.

— Ни с места, лежать! — командовал Мересьев, подавляя и в себе неудержимое стремление вскочить и бежать, бежать неведомо куда, лишь бы двигаться,— стремление, какое всегда испытывает человек при ночных бомбежках.

Бомбардировщиков не было видно. Они кружили в темноте, выше подвешенных ими осветительных ракет. Зато в белесом мерцающем свете было отлично видно, как врывались в освещенную зону и неслись вниз, стремительно вырастая на глазах, черные капли бомб и как затем красные взметы полыхали во

тьме летней ночи. Казалось, раскалывается на части земля и гремит протяжно: «Р-р-рых! Р-р-рых!»

Летчики, распластавшись, лежали на печи, качавшейся и подпрыгивавшей от каждого разрыва. Они прижимались к ней всем телом, щекой, ногами, инстинктивно стремясь вмяться, врасти в кирпич. Потом рокот моторов удалился, и сразу стало слышно, как с шипением догорают низко опустившиеся на своих парашютиках осветительные ракеты и как гудит пламя пожара, занявшегося на развалинах по той стороне улицы.

— Ну, вот нас и освежили,— сказал Мересьев, с видимым спокойствием отряхивая с гимнастерки и брюк солому и глиняную пыль.

— А они, те, что там спали? — с ужасом воскликнул Петров, стараясь утихомирить нервно дергающуюся челюсть и подавить навязчивую икоту.— А Маринка?

Они спустились с печи; у Мересьева нашелся фонарик. Осветили заваленный досками и бревнами пол разметанной избы. На нем никого не было. Как потом оказалось, летчики, услышав звуки тревоги, успели выбежать во двор и скрыться в щели. Петров и Мересьев облазили все развалины. Маринки и бабки нигде не было. На крики никто не откликался. Куда они делись? Убежали, успели спастись?

По улицам уже ходили комендантские патрули, наводя порядок. Саперы гасили пожар, разбирали развалины, вынося трупы и откапывая раненых. В темноте сновали посыльные, выкликая фамилии летчиков. Полк быстро перебрасывался на новое положение. Лётный состав собирали на аэродром, чтобы с рассветом сняться на своих машинах. По предварительным сведениям, потери в личном составе были, в общем, невелики. Ранило летчика, убило двух техников и нескольких часовых, оставшихся во время налета на посту. Предполагалось, что погибло много местных жителей, но сколько — из-за темноты и суматохи установить было трудно.

Под утро, отправляясь на аэродром, Мересьев с Петровым невольно задержались у развалин домика, где ночевали. Из хаоса бревен, теса саперы выносили носилки, на которых лежало что-то прикрытое окровавленной простыней.

— Кого несете? — спросил Петров, весь побледнев от тягостного предчувствия.

Усатый степенный сапер, напоминавший Мересьеву Степана Ивановича, неся передок носилок, обстоятельно ответил:

— Да вот бабку какую-то да девчонку откопали в подвале. Каменьями пригрело. Наповал. Девчонка то или девка, не поймешь: махонькая такая; видать, пригожая была. Камнем в грудьхватило. Дюже пригожа, точно дитя малое.

...В эту ночь немецкая армия перешла в свое последнее большое наступление и, атаковав укрепления советских войск, начала роковое для нее сражение на Курской дуге.

3

Солнце еще не поднялось, был самый темный час короткой летней ночи, а на полевом аэродроме уже ревели прогреваемые моторы. Капитан Чеслов, разложив на росистой траве карту, показывал летчикам эскадрильи маршрут и точку нового положения:

— Смотрите в оба. Зримого взаимодействия не терять. Аэродром у самых передовых.

Новая точка была действительно у линии фронта, обозначенной на карте синим карандашом, на языке, вдававшемся в расположение немецких войск. Летели не назад, а вперед. Летчики радовались: несмотря на то что немцы снова взяли инициативу, Красная Армия не только не готовилась к отходу, а собиралась наступать.

С первыми лучами солнца, когда по полю еще тянулся волнистый розовый туман, вторая эскадрилья поднялась вслед за своим командиром, и самолеты, не теряя друг друга из виду, взяли курс на юг.

Мересьев и Петров в первом своем общем полете так и шли тесной парочкой. За те немногие минуты, что они провели в воздухе, Петров сумел оценить уверенную и поистине мастерскую манеру полета своего ведущего, а Мересьев, нарочно сделавший на пути несколько крутых и неожиданных виражей, подметил в ведомом хороший глаз, смекалку, крепкие нервы и, что было для него главным, — еще неуверенный, но хороший лётный почерк.

Новый аэродром размещался в районе тылов стрелкового полка. Если бы немцы открыли его, они могли бы обстреливать его артиллерией мелких калибров и даже крупными минометами. Но им было не до какого-то там аэродрома, появившегося у них под носом. Еще в темноте они обрушили на укрепления советских войск огонь всей своей стянутой сюда в течение весны артиллерии. Красное пульсирующее зарево поднялось высоко в небе над укрепленным районом. Разрывы сразу закрыли все, точно мгновенно поднявшийся густой лес черных деревьев. И, когда взошло солнце, на земле не стало светлей. В гудящей, ревущей, сотрясаемой мгле трудно было что-нибудь различить, и солнце висело в небе, как тусклый, грязновато-красный блин.

Но не даром советские самолеты за месяц до этого ползали в небесной вышине над немецкими позициями. Намерения немецкого командования были давно раскрыты, позиции и центры

сосредоточения нанесены на карту, изучены квадрат за квадратом. Немцы думали, по обычаю своему размахнувшись в полную меру своих сил, вонзить нож под лопатку спящему предутренним сном противнику. Но противник только притворялся спящим. Он схватил нападающего за руку, держащую нож, и рука эта захрустела, сжатая стальными, богатырскими пальцами. Еще не отшумел шквал артиллерийской подготовки, бушевавший на фронте в несколько десятков километров, как немцы, оглохшие от грома собственных батарей, ослепленные пороховым дымом, заволакивавшим их позиции, увидели огненные шары разрывов в своих траншеях. Советская артиллерия была точно и не по площади, как немцы, а по целям, по батареям, по скоплениям танков и пехоты, уже подтянувшимся к рубежам атаки, по мостам, по подземным погребам боеприпасов, по блиндажам и командным пунктам.

Артиллерийская подготовка немцев перешла в мощную огневую дуэль, в которой с обеих сторон участвовали десятки тысяч стволов самых разнообразных калибров. Когда самолеты эскадрильи капитана Чеслова коснулись аэродрома, земля дрожала под ногами летчиков, а разрывы гремели так часто, что сливались в один сплошной kloкочущий шум, как будто по железному мосту тянулся гигантский поезд, шел, шел, шел, гудя и гремя, шел и не мог пройти. Бурно клубящийся дым опоясал весь горизонт. Над маленьким полковым аэродромом то гусем, то журавлиными косяками, то развернутым строем плыли и плыли бомбардировщики; и разрывы их бомб глухими рокочущими раскатами выделялись в равномерном грохоте артиллерийского боя.

По эскадрильям была объявлена готовность № 2. Это означало, что летчики должны были не покидать кабин своих самолетов, с тем чтобы по первой же ракете подняться в воздух. Самолеты вывели на опушку березового леса, замаскировали ветками. Из леса тянуло прохладной, душистой грибной сыростью, и неслышные за грохотом боя комары отчаянно атаковали лица, руки, шеи пилотов.

Мересьев снял шлем и, лениво отмахиваясь от комаров, сидел, задумавшись, наслаждаясь густым ароматом утреннего леса. В соседнем капонире стоял самолет его ведомого. Петров то и дело вскакивал с сиденья и даже вставал на него, чтобы поглядеть в сторону боя или проводить взглядом бомбардировщики. Ему не терпелось скорее взмыть в воздух, чтобы первый раз в жизни встретить настоящего врага, направить острые паутинки пулевых трасс не в надутый ветром полотняный пузырь, который тащит за собой на веревке самолет «Р-5», а в настоящий вражеский самолет, живой и верткий, в котором, как улитка в раковине, сидит, может быть, тот самый, чья

бомба сегодня убила эту худенькую, красивую, точно в хорошем сне приснившуюся девушку.

Мересьев смотрел, как суетится и волнуется его ведомый, и думал: годами они почти ровесники — тому девятнадцать, а Мересьеву двадцать три. Что для мужчины значит разница в три-четыре года? Но рядом со своим ведомым он чувствовал себя стариком, опытным, уравновешенным, усталым. Вот и теперь Петров вертится в кабине, потирает руки, смеется, что-то кричит вслед проползающим «ИЛам», а Алексей удобно развалился в кожаном сиденье машины. Он спокоен. У него нет ног, летать ему неизмеримо труднее, чем любому летчику на свете, но даже и это не волнует его. Он твердо знает свое мастерство и верит в свои искалеченные ноги.

Полк так и просидел до вечера в готовности № 2. Его почему-то держали в резерве. По-видимому, не хотели преждевременно раскрывать его расположение.

Под ночлег были отведены маленькие землянки, построенные еще немцами, стоявшими здесь когда-то, обжитые ими, оклеенные сверх досок картоном и желтой оберточной бумагой. Сохранились на стенах даже открытки каких-то кинокрасавиц с огромными, хищными ртами и олеографии колючих пейзажей немецких городов.

Артиллерийский бой продолжался. Земля дрожала. Сухой песок осыпался на бумагу, и вся землянка противно шуршала, как будто кишела насекомыми.

Мересьев и Петров решили лечь на воздухе, на расстеленных плащ-палатках. Приказ был — спать не раздеваясь. Мересьев только ослабил ремни протезов и, лежа на спине, смотрел на небо, которое, казалось, дрожало в красноватом мерцанье разрывов. Петров сейчас же заснул. Во сне он храпел, что-то бурчал, жевал и чмокал губами и весь поджимался в клубочек, как ребенок. Мересьев набросил на него свою шинель. Чувствуя, что ему не заснуть, он встал, поеживаясь от сырости, сделал несколько резких гимнастических упражнений, чтобы согреться, и сел на пенек.

Артиллерийский шквал уже схлынул. Только изредка то здесь, то там батареи скороговоркой возобновляли беспорядочный огонь. Несколько шальных снарядов прощелестело над головами и разорвалось где-то в районе аэродрома. Этот так называемый беспокоящий огонь на войне обычно никого не беспокоил. Алексей даже и не оглянулся на разрывы. Он смотрел на линию фронта. Она была отлично видна во тьме. Даже сейчас, в глухой час ночи, она жила напряженной, незатухающей тяжелой борьбой, отмеченная на спящей земле багровыми заревами огромных, расплывшихся на весь горизонт пожаров. Трепетные огни ракет маячили над ней: синевато-фосфориче-

ские — немецкие и желтоватые — наши. То там, то здесь под-скакивало стремительное пламя, на мгновение приподнимая над землей покров темноты, и после этого доходил до слуха тяжелый вздох разрыва.

Вот послышался гуд ночных бомбардировщиков. Вся линия фронта сразу покрылась разноцветным бисером трассирующих пуль. Как капли крови, брызнули вверх очереди скорострельных зениток. Опять задрожала, загудела, застонала земля. Но жуков, что басили в кронах берез, это не беспокоило; в глубине леса человеческим голосом, накликаая беду, ухал филин; внизу, в ложине, в кустах, оправившись от дневного страха, сначала робко, точно пробуя голос или настраивая инструмент, а потом в полную силу засвистал, защелкал, запел соловей, захлебываясь в звуках своей песни. Ему ответили другие, и скоро весь этот прифронтной лес звенел и пел, полный несшихся со всех сторон мелодичных трелей. Недаром славились на весь мир знаменитые курские соловьи!

И вот теперь они неистовствовали в лесу. Алексей, которому завтра в бою предстояло держать экзамен не перед комиссией, а перед лицом самой смерти, не мог заснуть, слушая соловьиную перекличку. И думал он не о завтрашнем дне, не о грядущем бое, не о возможной смерти, а о далеком соловье, певшем для них когда-то на камышинской окраине, об «их» соловье, об Оле, о родном городке.

Небо на востоке уже белело. Постепенно соловьиные трели вновь заглушила канонада. Солнце медленно поднималось над полем сражения, большое багрово-красное, едва пробивая плотный дым выстрелов и разрывов.

4

Битва на Курской дуге разгоралась. Первоначальные планы немцев — коротким ударом мощных танковых сил взломав наши укрепления южнее и севернее Курска, сжать клещи и, окружив всю курскую группировку Красной Армии, устроить там «немецкий Сталинград» — были сразу спутаны стойкостью обороны. Немецкому командованию в первые же дни стало ясно, что обороны ему не прорвать и что, если бы это даже и удалось, потери его при этом были бы так велики, что не хватило бы сил сжать клещи. Но останавливаться было поздно. Слишком много надежд — стратегических, тактических, политических — было связано у Гитлера с этой операцией. Лавина тронулась с места. Она неслась теперь под гору, все увеличиваясь в объеме, наматывая на себя и увлекая с собой все, что попадалось на пути, и у тех, кто ее стронул, не было силы ее

остановить. Продвижение немцев измерялось километрами, потери — дивизиями и корпусами, сотнями танков и орудий, тысячами машин. Наступающие армии слабели, истекая кровью. Немецкий штаб отдавал себе в этом отчет, но у него уже не было возможности удержать события, и он принужден был бросать всё новые и новые резервы в пекло разгоравшейся битвы.

Советское командование парировало немецкие удары силами линейных частей, державших здесь оборону. Наблюдая нарастание немецкой ярости, оно держало свои резервы в глубине, ожидая, пока иссякнет инерция вражеского удара. Как узнал потом Мересьев, их полк должен был прикрывать армию, сосредоточенную не для обороны, а именно для контрудара. Поэтому на первом этапе и танкисты и связанные с ними летчики-истребители были лишь созерцателями великой битвы. Когда враг всеми силами втянулся в сражение, готовность № 2 на аэродроме была отменена. Экипажам разрешили спать в землянках и даже раздеваться на ночь. Мересьев и Петров переоборудовали свое жилище. Они выбросили открытки кино-красавиц и снимки чужих пейзажей, ободрали немецкие картон и бумагу, украсили стены хвоей, свежими березками, и их земляная нора больше уже не шуршала от падающего песка.

Раз утром, когда яркие солнечные лучи уже падали через незапахнутый полог входа на устланный хвоей пол землянки, а оба друга еще потягивались на сделанных в стенах нишах-койках, наверху по дорожке торопливо протопали чьи-то шаги и послышалось магическое на фронте слово: «Почтарь!»

Оба разом сбросили одеяла, но, пока Мересьев пристегивал протезы, Петров успел догнать почтаря и вернулся, торжественно неся два письма для Алексея. Это были письма от матери и Оли. Алексей вырвал их из рук друга, но в это время на аэродроме часто забарабанили в рельс. Экипажи вызывались к машинам.

Мересьев сунул письма за пазуху и, тотчас же забыв о них, побежал вслед за Петровым по протоптанной в лесу дорожке, ведущей к месту стоянки самолетов. Он бежал довольно быстро, опираясь на палку и лишь слегка раскачиваясь. Когда он подбежал к самолету, мотор был уже расчехлен, механик, рябой и смешливый парень, нетерпеливо топтался у машины.

Мотор заревел. Мересьев посмотрел на «шестерку», на которой летал командир эскадрильи. Капитан Чеслов выводил свою машину на поляну. Вот он поднял в кабине руку. Это означало: «Внимание!» Моторы ревели. От ветра белела прибитая к земле трава, зеленые космы плакучих берез стлались в воздушных вихрях и трепетали, готовые оторваться вместе с сучьями от деревьев.

Еще по дороге кто-то из обогнавших Алексея летчиков успел крикнуть ему, что «танкачи» переходят в наступление. Значит, летчикам сейчас предстояло прикрывать проход танкистов через разбитые и перепаханые артиллерией вражеские укрепления, расчищать и охранять воздух над наступающими танкистами. Стеречь воздух? Все равно. В таком напряженном сражении и это не могло быть пустым вылетом. Где-то там, в небе, рано или поздно встретится враг. Вот она, проба сил, вот где Мересьев докажет, что он не хуже любого другого летчика, что он добился своего!

Алексей волновался. Но это не был страх смерти. Это не было даже ощущением опасности, свойственным и самым храбрым, хладнокровным людям. Его заботило другое: проверили ли оружейники пулеметы и пушки; не отказал бы мегафон в новом, не опробованном в бою шлеме; не отстал бы Петров, не зарвался бы он, если доведется ввязаться в драку; где палка — не потерялся ли подарок Василия Васильевича; и даже: не стянул бы кто-нибудь из землянки книжку — роман, дочитанный вчера до самого интересного места и впопыхах забытый на столе. Он вспомнил, что не попрощался с Петровым, и уже из кабины помахал ему рукой. Но тот не видел. Лицо ведомого в кожаной рамке шлема пылало красными пятнами. Он нетерпеливо следил за поднятой рукой командира. Вот рука опустилась. Закрылись кабины.

Тройка машин фыркнула на старте, тронулась, побежала, за ней потянулась другая, и уже приходила в движение третья. Вот первые самолеты скользнули в небо. Вслед за ними разбегается звено Мересьева. Уже внизу покачивается из стороны в сторону плоская земля. Не теряя из виду первой тройки, Алексей пристраивает к ней свое звено, а сзади, впритык к ним, идет третье.

Вот и передовая. Рябая, изъязвленная снарядами земля, напоминающая сверху пыльную дорогу, на которую упали первые щедрые потоки ливня. Изрыты, вскопаны ходы траншей, маленькие прыжки блиндажей и дзотов топорщатся бревнами и кирпичом. Желтые искры вспыхивают и гаснут по всей истерзанной долине. Это и есть огонь великого сражения. Каким игрушечным, маленьким и странным кажется все это сверху! Не верится, что там, внизу, все горит, ревет, сотрясается и смерть гуляет по изувеченной земле, в дыму и копоту, собирая обильную жатву.

Они пролетели над передовой, дали полукруг над вражеским тылом, опять перемахнули линию боя. Никто не стреляет по ним. Земля слишком занята своими тяжелыми земными делами, чтобы обращать внимание на девять маленьких самолетов, змейкой летающих над ней. А где же танкисты? Ага!

Вот они. Мересьев увидел, как из яркой зелени лиственного леса один за другим стали выползать на поле танки, похожие сверху на неповоротливых сереньких жучков. Через мгновение их высыпало уже много, но новые и новые лезли из пенистой зелени, тянулись по дорогам, пробирались лощинами. Вот первые уже взбежали на горку, достигли вспаханной снарядами земли. Красные искорки стали слетать с их хоботков. Даже ребенка, даже нервную женщину не испугала бы эта гигантская танковая атака, этот стремительный набег сотен машин на остатки немецких укреплений, если бы они наблюдали ее с воздуха, как наблюдал ее Мересьев. В это время сквозь шум и звон, наполнявший наушники шлема, он услышал хриплый и вялый даже сейчас голос капитана Чеслова:

— Внимание! Я — Леопард три, я — Леопард три. Справа «лаптежники», «лаптежники»!

Где-то впереди увидел Алексей короткую черточку командирского самолета. Черточка покачалась. Это означало: делай, что я.

Мересьев передал эту же команду назад своему звену. Он оглянулся: ведомый висел с ним рядом, почти не отрываясь. Молодец!

— Держись, старик! — крикнул ему Мересьев.

— Держусь, — отозвалось ему из хаоса, треска и шума.

— Я — Леопард три, я — Леопард три. За мной! — прозвело в ларингофоне.

Враг был близко. Чуть ниже их в любимом немцами строю — двойным гусем — шли одномоторные пикировщики «Ю-87». Они имели неубирающиеся шасси. Шасси эти в полете висели под брюхом. Колеса были защищены продолговатыми обтекателями. Было похоже, что из брюха машины торчат ноги, обутые в лапти. Поэтому лётная молва на всех фронтах и окрестила их «лаптежниками». Знаменитые пикировщики, стяжавшие себе разбойничью славу в боях над Польшей, Францией, Голландией, Данией, Бельгией и Югославией, — немецкая новинка, о которой в начале войны пресса всего мира рассказывала столько страшных историй, — быстро устарели над просторами Советского Союза.

Советские летчики в многочисленных боях нащупали их слабые места, и «лаптежник» стал считаться у советских асов даже не бог весть какой богатой добычей, чем-то вроде глухаря или зайца, не требующих от охотника настоящего мастерства.

Капитан Чеслов тянул свою эскадрилью не на врага, а куда-то в обход. Мересьев решил, что осторожный капитан заходит «под солнце», чтобы потом, замаскировавшись в его ослепляющих лучах, оставаясь невидимым, подкрасться к врагу вплотную и сразу обрушиться на него. Алексей усмехнулся: не много ли чести для «лаптежников» — делать такой сложный маневр? А впрочем, осторожность не вредит. Он снова оглянулся. Петров

шел сзади. Его было отлично видно на фоне белого облака.

Теперь строй вражеских пикировщиков висел от них справа. Немцы шли красиво, ровно, будто связанные между собой невидимыми нитями. Плоскости их машин ослепительно сверкали, освещенные сверху солнцем.

— ...Леопард три. Атака! — рванулся в уши Мересьева отрывок командирской фразы.

Он видел, как справа, сверху, точно бешено скользя с ледяной горы, во фланг вражескому строю неслись Чеслов и его ведомый. Нити трасс хлестнули по ближайшему «лаптежнику», тот вдруг провалился, и Чеслов с ведомым и третий из его звена проскочили в образовавшееся пространство и исчезли за немецкой шеренгой. Шеренга немецких пикировщиков тотчас же сомкнулась за ними. «Лаптежники» продолжали идти в идеальном порядке.

Сказав свой позывной, Алексей хотел крикнуть: «Атака!» — но от возбуждения из горла вырвалось только свистящее: «А-а-а!» Он уже неслся вниз, ничего не видя, кроме этого стройно плывущего вражеского строя. Он наметил себе того самого немца, который заступил место сбитого Чесловым. В ушах у Алексея звенело, сердце готово было выпрыгнуть через горло. Он поймал самолет в паутиный крестик прицела и неслся к нему, держа оба больших пальца на гашетках. Точно серые пушистые веревки мелькнули справа от него. Ага! Стреляют. Промазали. Снова и уже ближе. Цел. А Петров? Тоже цел. Он слева. Отвернул. Молодец мальчишка! Серый борт «лаптежника» увеличивается в крестике. Пальцы чувствуют холодный алюминий гашеток. Еще чуть-чуть...

Вот когда Алексей с торжеством ощутил совершенное слияние со своей машиной! Он чувствовал мотор, точно тот бился в его груди, всем существом своим он ощущал крылья, хвостовые рули, и даже неповоротливые искусственные ноги, казалось ему, обрели чувствительность и не мешали этому его соединению с машиной в бешено-стремительном движении. Выскользнула, но снова поймана в крестик прицела стройная, зализанная туша «немца». Несясь прямо на него, Мересьев нажал гашетку. Он не слышал выстрелов, не видел даже огневых трасс, но знал, что попал, и, не останавливаясь, продолжал нестись на вражеский самолет, зная, что тот провалится и он не столкнется с ним. Оторвавшись от прицела, Алексей с удивлением увидел, что рядом провалился еще и второй. Неужели он случайно сбил и его? Нет. Это Петров. Он тянул справа. Это его работа. Молодец новичок! Удаче молодого друга Алексей порадовался даже больше, чем своей.

Второе звено проскользнуло в брешь немецкого строя. А тут была уже кутерьма. Вторая волна немцев, в которой шли,

по-видимому, менее опытные пилоты, уже рассыпалась и потеряла строй. Самолеты звена Чеслова носились между этими расползавшимися «лаптежниками», расчищая небо и заставляя врага второпях опорожнять бомбовые кассеты на свои же собственные окопы. В том, чтобы заставить немцев пробомбить свои укрепления, и состояла расчетливая затея капитана Чеслова. Заход под солнце играл в ней подчиненную роль.

Но строй первой шеренги немцев снова сомкнулся, и «лаптежники» продолжали тянуться к месту прорыва танков. Атака третьего звена успеха не имела. Немцы не потеряли ни одной машины, а один истребитель исчез, подбитый вражеским стрелком. Место развертывания танковой атаки было близко. Не было времени снова набирать высоту. Чеслов решил рискнуть атаковать снизу. Алексей мысленно одобрил его. Ему самому хотелось «ткнуть» врага в брюхо, используя чудесные боевые свойства «ЛА-5» на вертикальном маневре. Первое звено уже неслось вверх, и нити трасс поднимались в воздух, как острые струи фонтанов. Два немца сразу отпали от строя. Один из них, должно быть перерезанный пополам, вдруг раскололся в воздухе. Хвост его чуть было не задел мотора мересьевской машины.

— Следи! — гикнул Мересьев, скользнув глазом по силуэту ведомого, и выжал ручку на себя.

Земля опрокинулась. Точно тяжелый удар втиснул его в сиденье, прижал к нему. Он почувствовал вкус крови во рту и на губах, в глазах замельтешила красная пелена. Машина, встав почти вертикально, неслась вверх. Лежа на спинке сиденья, Алексей на мгновение увидел в крестике пятнистое брюхо «лаптежника», смешные лапти, накрывающие толстые колеса, и даже комья аэродромной глины, прилипшие к ним.

Он нажал обе гашетки. Куда он попал: в баки ли, в мотор ли, в кассету с бомбами, — он не понял, но немец сразу исчез в буром облаке взрыва.

Машину Мересьева бросило в сторону, и она пронеслась мимо кома огня. Переводя машину в плоскостной полет, Алексей осмотрел небо. Ведомый шел за ним справа, висая в бескрайней небесной голубизне, над слоем облаков, напоминавших белую мыльную пену. Было пустынно, и только на горизонте, на фоне далеких облаков, были видны черточки расползавшихся в разные стороны «лаптежников». Алексей глянул на часы и поразился. Ему показалось, что бой продолжался по крайней мере полчаса и бензин должен быть на исходе. Часы показывали, что все заняло три с половиной минуты.

— Жив? — спросил он, оглядываясь на ведомого, который «перелез» направо и летел рядом.

Из сутолоки звуков он услышал далекий восторженный голос:

— Жив!.. Земля... На земле...

Внизу, на избитой, истерзанной холмистой долине, в нескольких местах горели чадные бензиновые костры. Тяжелый дым их столбами поднимался в безветренном воздухе. Но Алексей смотрел не на эти догоравшие трупы вражеских самолетов. Он смотрел на серо-зеленых жучков, уже широко разбежавшихся по всему полю. Двумя лощинами они подползали к вражеским позициям, передние уже перевалили через траншеи. Выбрасывая из своих хоботков красные огоньки уже за линией немецких укреплений, они ползли все дальше и дальше, хотя за спиной у них еще вспыхивали выстрелы и тянулись дымки немецкой артиллерии. Мересьев понял, что значат сотни этих жучков в глубине разбитых вражеских позиций.

Произошло то, о чем на следующий день советский народ и весь свободолюбивый мир, ликуя, читал во всех газетах. На одном из участков Курской дуги после мощной двухчасовой артиллерийской подготовки армия прорвала немецкую оборону и всеми силами вошла в прорыв, расчищая путь советским войскам, перешедшим в наступление.

Из девяти машин эскадрильи капитана Чеслова в этот день не вернулись на аэродром две. В бою было сбито девять «лаптежников». Девять — два, безусловно, хороший счет, когда речь идет о машинах. Но потеря двух товарищей омрачила радость победы. Выскакивая из самолетов, летчики не шумели, не кричали, не жестикулировали, с жаром обсуждая перипетии схватки и снова переживая минувшие опасности, как это бывало всегда после удачного боя. Хмуро подходили они к начальнику штаба, скупно и коротко докладывали о результатах и расходились, не глядя друг на друга.

Алексей был новым человеком в полку. Погибших он не знал даже в лицо. Но он поддался общему настроению. В его жизни случилось самое важное и большое событие, к которому он стремился всей своей волей, всеми силами души, — событие, решившее всю его дальнейшую жизнь, снова вернувшее его в ряды здоровых, полноценных людей. Сколько раз на госпитальной койке и потом, учась ходить, танцевать, восстанавливая упорными тренировками утерянные навыки пилотажа, мечтал он об этом дне! И вот теперь, когда этот день настал, когда им сбито два немца и он снова равноправный член в семье истребителей, он, так же как все, подошел к начальнику штаба, назвал число своих жертв, уточнил обстоятельства и, похвалив ведомого, отошел в сторону под сень берез, думая о тех, кто сегодня не вернулся.

Только Петров бегал по аэродрому без шлема, с развевающимися русыми волосами и, хватая за руки всех, кто попадался ему навстречу, принимался рассказывать:

— ...и вот вижу: они рядом, ну рукой достанешь! Ты только послушай... и вижу: старший лейтенант целит в головного. Я взял в целик соседнего. Раз!

Он подбежал к Мересьеву, бросился у его ног на мягкий травянистый мох, растянулся, но не вытерпел этой спокойной позы и сейчас же вскочил:

— А какие вы виражи сегодня закладывали! Роскошь! Аж в глазах темнело... Вы знаете, как я его сегодня долбанул? Вы только послушайте... Иду за вами и вижу: он рядом, рукой подать, вот как вы сейчас стоите...

— погоди, старик,— перебил его Алексей и захолопал себя по карманам.— Письма, письма... Куда я их дел?

Он вспомнил про письма, которые получил сегодня и не успел прочесть. Не находя их в карманах, он облился холодным потом. Потом, нащупав под рубашкой на груди хрустящие конверты, облегченно вздохнул. Достал письмо Оли, присел под березу, не слушая своего восторженного друга, и начал осторожно отрывать от конверта полоску бумаги.

В это время шумно хлопнула ракетница. Красная искристая змея обогнула небо над аэродромом и погасла, оставив серый, медленно расплывающийся след. Летчики вскочили. На ходу Алексей сунул конверт за пазуху. Он не успел прочитать ни строчки. Распечатывая письмо, он только нащупал в нем, кроме почтовой бумаги, что-то твердое. Летя во главе звена по уже знакомому пути, он иногда трогал рукой конверт. Что в нем?

Для гвардейского истребительного авиаполка, в котором служил теперь Алексей, день прорыва танковой армии был началом боевой страды. Над местом прорыва эскадрильи сменяли одна другую. Едва успевала выйти из боя и приземлиться одна, как ей на смену поднималась другая, а к приземлившимся уже мчались бензовозы. Бензин щедрой струей лился в опустевшие баки. Над горячими моторами, как над полем после теплого летнего дождя, колебалось студенистое марево. Летчики не вылезали из кабин. Даже обед принесли им сюда в алюминиевых котелках. Но никто не стал есть. Не этим была в этот день занята голова. Кусок застревал в горле.

Когда эскадрилья капитана Чеслова вновь приземлилась и машины, отрулив в лесок, стали заправляться, Мересьев сидел, улыбаясь, в кабине, ощущая ломоту приятной усталости, нетерпеливо поглядывая на небо и покрикивая на заправщиков. Его тянуло снова и снова в бой — испытывать себя. Он часто щупал за пазухой хрустящие конверты, но в такой обстановке читать письма не хотелось.

Только вечером, когда сумерки надежно прикрыли район наступления армии, экипажи отпустили по домам. Мересьев пошел не короткой лесной дорогой, какой ходил обычно, а

кружной, через заросшее бурьяном поле. Ему хотелось сосредоточиться, отдохнуть от шума и грохота, от всех пестрых впечатлений этого бесконечного дня.

Вечер был ясный, душистый и такой тихий, что гул теперь уже отдаленной канонады казался не шумом боя, а громом проходящей стороной грозы. Дорога вела через бывшее ржаное поле. Все тот же унылый красноватый бурьян, который в обычном человеческом мире робко высовывает тоненькие стебли где-нибудь по глухим углам дворов да у каменных куч, сложенных на краю поля, там, куда редко заглядывает хозяйский глаз человека, стоял сплошной стеной, огромный, наглый, сильный, хороня под собой землю, оплодотворенную потом многих поколений тружеников. И лишь кое-где, как слабенькая травка, совершенно заглушенная им, поднимала редкие, чахлые колоски рожь-самосейка. Разросшийся бурьян тянул в себя все соки земли, пожирал все солнечные лучи; он лишил рожь пищи, света, и колоски эти засохли еще до цветения, так и не налившись зерном.

И думалось Мересьеву: вот так и фашисты хотели пустить корни на нашем поле, налиться нашими соками, подняться на наших богатствах нагло и страшно, заслонить солнце, а великий, трудолюбивый, могучий народ вытеснить с его полей, из его огородов, лишить всего, иссосать, заглушить, как бурьян заглушил эти чахлые колоски, уже потерявшие даже внешне форму сильного, красивого злака. Почувствовав прилив мальчишеского задора, Алексей колотил своей палкой по красноватым дымчатым тяжелым головкам сорных трав, радуясь, что целыми пучками ложатся подбитые наглые стебли. Пот бежал с его лица, а он все колотил и колотил по бурьяну, заглушившему рожь, с радостью чувствуя в усталом теле ощущение борьбы и движения.

Совершенно неожиданно фыркнул за спиной «виллис» и, пискнув колесами, остановился на дороге. Не оглядываясь, Мересьев догадался, что это командир полка догнал его и застал за таким детским занятием. Алексей покраснел так, что загорелись даже уши, и, делая вид, что не заметил машины, стал палкой ковырять землю.

— Рубаем? Хорошее занятие. Я весь аэродром объездил: где наш герой, куда герой делся? А он вон, пожалуйста: с бурьянами воюет.

Полковник соскочил с «виллиса». Он сам великолепно водил машину и любил в свободную минуту возиться с ней, так же как сам любил выводить свой полк на трудные занятия, а потом по вечерам вместе с технарями копаться в замасленных моторах. Ходил он обычно в синем комбинезоне, и только по властным складкам его худощавого лица да по новенькой,

щеголеватой лётной фуражке можно было отличить его от чумазого племени механиков.

Он схватил за плечи Мересьева, все еще растерянно ковырявшего палкой землю.

— А ну, дайте на вас взглянуть. Черт вас знает: ничего особенного! Теперь можно сознаться: когда вас прислали, не верил, вопреки всему, что о вас говорили в армии, не верил, что выдержите бой, да еще как... Вот она, матушка-Россия! Поздравляю. Поздравляю и преклоняюсь... Вам в кротовый городок? Садитесь, подвезу.

«Виллис» рванулся с места и помчался по полевой дороге, на полном ходу делая на поворотах сумасшедшие виражи.

— Ну, а может быть, вам чего надо? Трудности какие-нибудь? Просите, не стесняйтесь, вы имеете право,— говорил командир, ловко ведя машину прямо через перелесок, без дороги, меж холмиками землянок «кротовника», как прозвали летчики свой подземный городок.

— Ничего не надо, товарищ полковник. Я такой же, как все. Лучше бы позабыли, что у меня нет ног.

— Ну, правильно... Которая ваша? Эта?

Полковник резко затормозил у самого входа в землянку. Мересьев едва успел сойти, как «виллис», рыча и хрустя сучьями, уже исчез в лесу, вертясь между берез и дубков.

Алексей не пошел в землянку. Он лег под березой на влажный шерстистый, пахнущий грибами мох и осторожно вынул из конверта листок Олиного письма. Какая-то фотография выскользнула из рук и упала на траву. Алексей схватил ее. Сердце заколотилось резко и часто.

С фотографии смотрело знакомое и вместе с тем до неузнаваемости новое лицо. Оля снялась в военном. Гимнастерка, ремень портупей, орден Красной Звезды, даже гвардейский значок — все это очень шло к ней. Она походила на худенького хорошецкого мальчика, одетого в офицерскую форму. Только у мальчика этого было усталое лицо, и глаза его, большие, круглые, лучистые, смотрели с неюношеской пронизательностью.

Алексей долго глядел в эти глаза. Душа наполнилась безотчетной сладкой грустью, какую ощущаешь, слушая вечером долетающие издали звуки любимой песни. Он нашел в кармане прежнюю Олину фотографию, где она была снята в пестром платье, на цветущем лугу, в россыпи белых звездочек-ромашек. И странно: девушка в гимнастерке, с усталыми глазами, какую он никогда не видел, была ему ближе и дороже той, какую он знал. На обороте карточки было написано: «Не забывай».

Письмо было короткое и жизнерадостное. Девушка уже командовала саперным взводом. Только взвод ее сейчас не воевал. Он был занят мирной работой. Они восстанавливали

Сталинград. Оля мало писала о себе, но с увлечением рассказывала о великом городе, о его оживающих руинах, о том, как сейчас съехавшиеся сюда со всей страны женщины, девушки, подростки, живя в подвалах, в дотах, в блиндажах и бункерах, оставшихся от войны, в вагонах железнодорожных составов, в фанерных бараках, в землянках, строят и восстанавливают город. Говорят, что каждый строитель, который хорошо поработает, получит потом квартиру в восстановленном Сталинграде. Что же, если так, пусть Алексей знает, что ему будет где отдыхать после войны.

По-летнему быстро стемнело. Последние строчки Алексей дочитывал, посвечивая на письмо карманным фонариком. Дочитав, он опять осветил фотографию. Строго и честно смотрели глаза мальчика-солдата. Милая, милая, нелегко тебе... Не обошла тебя война, но и не сломала! Ждешь? Жди, жди! Любишь, да? Люби, люби, родная! И вдруг Алексею стало стыдно, что вот уже полтора года он от нее, от бойца Сталинграда, скрывает свое несчастье. Он хотел было сейчас же спуститься в землянку, чтобы честно и откровенно написать ей обо всем. Пусть решает — и чем скорее, тем лучше. Обоим станет легче, когда все определится.

После сегодняшних дел он мог говорить с ней как равный. Он не только летает: он воюет. Ведь он обещал себе, дал зарок все рассказать ей или когда его надежды потерпят крушение, или когда в бою он станет равным среди других. Теперь он этого достиг. Два сбитых им самолета упали и сгорели в кустарнике на виду у всех. Дежурный занес это сегодня в боевой журнал. Об этом пошли донесения в дивизию, в армию и в Москву.

Все это так, зарок выполнен, можно писать. Но, если строго разобраться, разве «лаптежник» для истребителя — настоящий противник? Ведь не станет же хороший охотник в доказательство своего охотничьего умения рассказывать, что он подстрелил, ну, скажем, зайца.

Теплая, влажная ночь загустела в лесу. Теперь, когда гром боя отодвинулся на юг и зарева уже далеких пожаров были еле видны за сеткой ветвей, отчетливо слышны стали все ночные шумы летнего душистого цветущего леса: неистовый и надсадный треск кузнечиков на опушке, гортанное курлыканье сотен лягушек в соседнем болоте, резкое кряканье дергача и вот это все заглушающее, все заполняющее, царствующее во влажной полутьме соловьиное пение.

Лунные белые пятна вперемешку с черными тенями ползали по траве у ног Алексея, все еще сидевшего под березой на мягком, теперь уже сыром мху. Он опять достал из кармана фотографию, положил ее на колени и, смотря на нее, освещаемую луной, задумался. Над головой в ясном темно-синем небе один

за другим тянулись на юг темные маленькие силуэты ночных бомбардировщиков. Моторы их басовито ревели, но даже этот голос войны воспринимался сейчас в лесу, полном лунного света и соловьиного пения, как мирное гудение майских жуков. Алексей вздохнул, убрал фотокарточку в карман гимнастерки, пружиристо вскочил, стряхивая с себя колдовское очарование этой ночи, и, хрустя валежником, соскочил в свою землянку, где уже сладко и заливисто храпел его ведомый, по-богатырски раскинувшись на узком солдатском ложе.

5

Экипажи разбудили до зари. Штаб армии получил разведсводку, в которой сообщалось, что в район прорыва советских танков вчера перелетело крупное немецкое воздушное соединение. Данные наземного наблюдения, подтвержденные агентурными сообщениями, давали возможность заключить, что немецкое командование, оценив угрозу, созданную прорывом советских танков у самого основания Курской дуги, вызвало сюда воздушную дивизию «Рихтгофен», укомплектованную лучшими асами Германии. Эта дивизия последний раз была разбита под Сталинградом и вновь возрождена где-то в глубоких немецких тылах. Полк предупредили, что предполагаемый противник многочислен, оснащен новейшими самолетами «Фокке-Вульф-190» и очень опытен. Приказано было быть начеку, прочно прикрывать вторые эшелоны подвижных частей, начавшие ночью подтягиваться вслед за прорвавшимися танками.

«Рихтгофен»! Опытные летчики хорошо знали название дивизии, находившейся под особым покровительством Германа Геринга. Немцы совали ее всюду, где им приходилось туго. Экипажи этой дивизии, часть которых пиратствовала еще над республиканской Испанией, дрались умело, яростно и слыли самым опасным противником.

— Какие-то там «рихтгофены», говорят, к нам перелетели. Вот бы встретиться! Эх, и дали бы мы чёсу этим «рихтгофенам»! — ораторствовал Петров в столовке, торопливо проглатывая свой завтрак и поглядывая в открытое окно, за которым официантка Рая набирала из вороха полевых цветов букеты и расставляла их в начищенные мелом стаканы от снарядов.

Эта воинственная тирада насчет «рихтгофенов» была адресована, конечно, не столько Алексею, уже допивавшему свой кофе, сколько девушке, которая, возясь с цветами, нет-нет да и бросала косые взгляды на румяного, пригожего Петрова. Мересьев с добродушной усмешкой наблюдал за ними. Но, когда речь шла о деле, он не любил шуток и пустых разговоров.

— «Рихтгофен» — не какой-то. «Рихтгофен» — это значит гляди в оба, если не хочешь сегодня гореть в бурьяне. Уши не развешивай, связи не теряй. «Рихтгофен» — это, брат, такие звери, что ты и рот раскрыть не успел, а уж у них на зубах хрустишь...

С рассветом ушла в воздух первая эскадрилья под командованием самого полковника. Пока она действовала, подготавливалась к вылету вторая группа в двенадцать истребителей. Ее должен был вести Герой Советского Союза гвардии майор Федотов, самый опытный после командира летчик в полку. Машины были готовы, летчики сидели в кабинах. Моторы тихонько работали на малом газу, и от этого по лесной опушке гулял порывистый ветерок, похожий на тот, что обметает землю и встряхивает деревья перед грозой, когда уже шлепаются на изжаждавшуюся землю первые крупные, тяжелые капли дождя.

Сидя в кабине, Алексей следил за тем, как круто, будто соскальзывая с неба, снижались самолеты первой группы. Невольно, сам того не желая, он считал их и начинал волноваться, когда между приземлением двух машин получался интервал. Но вот села последняя. Все! У Алексея отлегло от сердца.

Не успела последняя машина отрулить в сторону, как сорвалась с места «единичка» майора Федотова. Парами подпрыгивали в небо истребители. Вот они уже построились за лесом. Покачав крыльями, Федотов лег на курс. Летели низко, осторожно держась зоны вчерашнего прорыва. Теперь уже не с большой высоты, не в дальнем плане, который придает всему ненастоящий, игрушечный вид, а близко проносилась земля под самолетом Алексея. Что вчера казалось ему сверху какой-то игрой, развернулось перед ним сегодня огромным, необозримым полем сражения. Бешено неслись под крыльями ископанные снарядами и бомбами, изрытые окопами и траншеями поля, луга, перелески. Мелькали разбросанные по полю трупы, пушки, брошенные прислужой и стоявшие в одиночку и целыми батареями, мелькали подбитые танки и длинные груды исковерканного железа и дерева там, где артиллерия накрывала колонны. Проплыл большой, но совершенно обритый канонадой лес. Сверху он походил на поле, вытопанное огромным табуном. Все это несло с быстротой кинематографической ленты, и казалось, что ленте этой нет конца. Все говорило об упорстве и кровопролитности сражения, о больших потерях, о величии одержанной здесь победы.

Парные следы танковых гусениц избороздили вкривь и вкось все широкое пространство. Они вели дальше и дальше, в глубь немецких позиций. Следов этих было много. Глаз видел их всюду — до самого горизонта, точно пронеслось на юг прямо

по полям, не разбирая пути, огромное стадо неведомых зверей. А вслед за ушедшими танками по дорогам, оставляя за собой издали видные сизые хвосты пыли, двигались, и, как казалось с воздуха, очень медленно двигались, бесконечные колонны моторизованной артиллерии, бензоцистерн, гигантские фургоны ремонтных мастерских, влекаемые тракторами, крытые брезентом грузовики, и, когда истребители набирали высоту, все это напоминало движение муравьев по весенним муравьиным тропам.

Истребители, ныряя, как в облаках, в этих высоко поднявшихся в безветрии хвостах пыли, прошли вдоль колонн до головных «виллисов», на которых двигалось, должно быть, танковое начальство. Небо над колоннами было свободно, а где-то вдали, у туманной кромки далекого горизонта, уже виднелись неровные дымки боя. Группа повернула назад и прошла змейкой, извиваясь в глубоком небе. И в это время у самой линии горизонта заметил Алексей сначала одну, потом целый рой низко висящих над землей черточек. Немцы! Они тоже шли, прижимаясь к земле, и явно нацеливались на хвосты пыли, далеко видные над красноватыми, забурьяненными полями. Алексей инстинктивно оглянулся. Его ведомый шел сзади, соблюдая кратчайшую дистанцию.

Летчик напряг слух и откуда-то издали услышал голос: — Я — Чайка два, Федотов; я — Чайка два, Федотов. Внимание! За мной!

Такова уж дисциплина в воздухе, где нервы летчика напряжены до предела, что он исполняет намерения своего командира порой даже прежде, чем тот успевает окончить слова приказа. Пока где-то вдали сквозь звон и свист звучали слова новой команды, вся группа парами, но соблюдая общий сомкнутый строй, уже повернула наперехват немцам. Все обострилось до предела — зрение, слух, мысль. Алексей не видит ничего, кроме этих быстро вырастающих перед глазами чужих самолетов, не слышит ничего, кроме звона и треска в наушниках шлема, где должен раздаться приказ. Вместо приказа он вдруг совершенно отчетливо услышал голос, возбужденно произносивший на чужом языке:

— Ахтунг! Ахтунг!.. «Ла-фюнф». Ахтунг! — кричал, должно быть, немецкий наземный наводчик, предупреждая свои самолеты об опасности.

Знаменитая немецкая авиадивизия, по своему обыкновению, старательно обставляла поле сражения сетью наводчиков и наземных наблюдателей, которых она ночью вместе с радиопередатчиками заблаговременно сбрасывала на парашютах в районе возможных воздушных схваток.

И уже менее отчетливо другой голос, хриплый и сердитый, пробасил по-немецки:

— О, доннерветтер! Линкс «Ла-фюнф»! Линкс «Ла-фюнф»!..

В голосе этом сквозь досаду слышалась плохо скрытая тревога.

— «Рихтгофен», а «лавочкиных» боишься! — злорадно сказал сквозь зубы Мересьев, смотря на приближавшийся к ним вражеский строй и чувствуя во всем собранном теле веселую невесомость, захватывающий восторг, от которого волосы шевелились на голове.

Он разглядел врага. Это были истребители-штурмовики «Фокке-Вульф-190», сильные, верткие машины, только что появившиеся тогда на вооружении и уже прозванные советскими летчиками «фоками».

Численно их было раза в два больше. Шли они тем самым строгим строем, каким отличались части дивизии «Рихтгофен»: шли лесенкой, парами, расположенными так, что каждая последующая защищала хвост предыдущей. Пользуясь превосходством в высоте, Федотов повел свою группу в атаку. Алексей мысленно уже наметил себе противника и, не теряя из виду остальных, неся на него, стараясь держать его в крестике прицела. Но кто-то опередил Федотова. Чья-то группа на «ЯКах» зашла с другой стороны и стремительно атаковала немцев сверху — и так удачно, что сразу же разбила их строй. В воздухе началась сутолока. Оба строя распались на отдельно сражающиеся пары и четверки. Истребители старались пересечь противника линиями пулевых трасс, зайти в хвост, атаковать сбоку.

Пары кружились, гоняясь друг за другом, и в воздухе затеялся сложный хоровод.

Только опытный глаз мог разобраться в этой сутолоке, точно так же, как только опытный слух мог различить отдельные звуки, врывавшиеся через наушники в уши пилота. Что только не звучало в эту минуту в эфире: и хриплая сочная брань идущего в атаку, и вопль ужаса подбитого, и крик торжества победителя, и стон раненого, и скрежет зубов напрягающегося на крутом вираже, и хрип тяжелого дыхания... Кто-то в упоении боя орал песню на чужом языке, кто-то, ахнув по-детски, сказал «мама», кто-то, должно быть нажимая на гашетки, зло приговаривал: «На́ тебе, на, на, на!»

Намеченная жертва ускользнула из мересьевского прицела. Вместо нее он увидел выше себя «ЯКа», к хвосту которого прочно прицепился прямокрылый сигарообразный «фока». От крыльев «фоки» уже тянулись к «ЯКу» две параллельные полосы трасс. Они коснулись его хвоста. Мересьев свечой бросился вверх на выручку. На какую-то долю секунды над ним мелькнула темная тень, и в эту тень он постарался всадить длинную очередь из всего своего оружия. Он не видел, что произошло с «фокой». Он

видел только, что «ЯК» с поврежденным хвостом дальше летел уже один. Мересьев оглянулся: не потерялся ли в кутерьме ведомый? Нет, он шел почти рядом.

— Не отставай, старик, — сказал сквозь зубы Алексей.

В ушах звенело, трещало, пело, звучали на двух языках крики торжества и ужаса, хрипенье, зубовой скрежет, брань, тяжелое дыхание. Казалось по этим звукам, что борются не истребители высоко над землей, — казалось, что враги сцепились врукопашную и, хрипя и задыхаясь, напрягая все силы, катаются по земле.

Мересьев осмотрел воздух, намечая противника, и вдруг почувствовал, как у него сразу похолодела спина и волосы шевельнулись на затылке. Чуть пониже он увидел «ЛА-5» и атакующего его сверху «фоку». Он не заметил номера советского самолета, но понял, почувствовал, что это Петров. «Фокке-Вульф» несся прямо на него, строча из всего своего оружия. Жить Петрову оставалось доли секунды. Сражались слишком близко, и Алексей не мог броситься на помощь другу, соблюдая правила воздушной атаки. Не было ни времени, ни места, чтобы развернуться. Жизнь товарища, стоявшая на карте, заставила Мересьева идти на риск. Он бросил свою машину по вертикали вниз и прибавил газу. Самолет, увлекаемый собственной тяжестью, помноженной на инерцию и на полную мощь мотора, весь содрогаясь от необычайного напряжения, пал камнем — нет, не камнем, а ракетой — прямо на короткокрылое тело «фоки», опутывая его нитями трасс. Чувствуя, что от этой безумной скорости, от резкого снижения сознание уходит, Мересьев несся в пропасть и едва заметил помутневшими, налитыми кровью глазами, что где-то перед самым его винтом «фока» окутался дымным облаком взрыва. А Петров? Он куда-то исчез. Где он? Сбит? Спрыгнул? Ушел?

Небо кругом было чисто, и откуда-то издали, с невидимого уже самолета, в притихшем эфире гудел голос:

— Я — Чайка два, Федотов; я — Чайка два, Федотов, подстраивайтесь, подстраивайтесь ко мне. Домой. Я — Чайка два...

Должно быть, Федотов вводил группу.

После того как Мересьев, расправившись с «фокке-вульфом», вывел свой самолет из сумасшедшего вертикального пике, он, жадно и тяжело дыша, наслаждался наступившим покоем, ощущая радость минувшей опасности, радость победы. Он взглянул на компас, чтобы определить обратный путь, и нахмурился, заметив, что бензина мало и вряд ли хватит до аэродрома. Но более страшное, чем бензомер со стрелкой, близкой к нулю, он увидел в следующее мгновение. Из мохнатых косм пушистого облака прямо на него несся бог весть откуда взявшийся «Фокке-Вульф-190». Думать было некогда, уходить некуда.

Враги стремительно понеслись друг на друга.

Шум воздушного боя, завязавшегося над дорогами, по которым тянулись тылы наступающей армии, слышали не только его участники, находившиеся в кабинах дерущихся самолетов.

Через сильную рацию управления слушал их на аэродроме и командир гвардейского истребительного полка полковник Иванов. Сам опытный ас, он по звукам, несущимся в эфире, понял, что бой идет жаркий, что противник силен и упорен и не хочет уступать небо. Весть о том, что Федотов ведет тяжелый бой над дорогами, быстро пронеслась по аэродрому. Все, кто мог, высыпали из леса на поляну и тревожно смотрели на юг, откуда должны были прийти самолеты.

Врачи в халатах, дожидывая что-то на ходу, выбежали из столовой. Санитарные машины с огромными красными крестами на крышах кузовов, как слоны, вылезли из кустов и изготвились, стуча работающими моторами.

Сначала из-за гряды древесных вершин вынырнула и, не давая круга, снизилась и побежала по просторному полю первая пара — «единичка» Героя Советского Союза Федотова и «двойка» его ведомого. Вслед за ними сразу же села и вторая пара. Воздух над лесом продолжал гудеть моторами возвращавшихся машин.

— Седьмая, восьмая, девятая, десятая... — считали вслух стоявшие на аэродроме и со все большим и большим напряжением смотрели в небо.

Севшие машины уходили с поля, подруливали к своим капо-нирам и тут стихали. Но двух машин не было.

В толпе ожидающих наступила тишина. С тягостной медлительностью прошла минута.

— Мересьев и Петров, — тихо сказал кто-то.

Вдруг чей-то женский голос радостно завизжал на все лётное поле:

— Летит!

Послышался рокот мотора. Из-за гребня берез, почти задев за них выпущенными лапами, вылетел «двенадцатый». Самолет был изранен, кусок хвоста выдран, обрубленный конец левого крыла трепетал, волочась на тросе. Машина как-то странно коснулась земли, высоко подпрыгнула, снова коснулась, снова подпрыгнула. Так прыгала она чуть не до самого края аэродрома и вдруг застыла, приподняв хвост. Санитарные машины с врачами, стоявшими на подножке, несколько «виллисов» и вся толпа ожидавших ринулись к ней. Из кабины никто не поднимался.

Открыли колпак. Втиснутое в сиденье, плавало в луже крови тело Петрова. Голова бессильно склонилась на грудь. Лицо было завешено длинными мокрыми прядями белокурых волос. Врачи

и сестры расстегнули ремни, сняли окровавленную, разрубленную осколком парашютную сумку и осторожно вынули на землю неподвижное тело. У летчика были прострелены ноги, повреждена рука. Темные пятна быстро расплывались по синему комбинезону.

Петрова тут же наскоро перевязали, положили на носилки и стали уже поднимать в машину. Тут он раскрыл глаза. Он что-то шептал, но так слабо, что нельзя было расслышать. Полковник наклонился к нему.

— Где Мересьев? — спрашивал раненый.

— Еще не сел.

Носилки опять подняли, но раненый энергично замотал головой и сделал даже движение, пытаясь соскочить с них:

— Стойте, не смейте уносить, не хочу! Я буду ждать Мересьева. Он спас мне жизнь.

Летчик так энергично протестовал, грозил сорвать повязки, что полковник махнул рукой и процедил сквозь зубы, отворачиваясь:

— Ладно, поставьте. Пусть. Горючего у Мересьева осталось не больше, чем на минуту. Не умрет.

Полковник следил, как на его секундомере, пульсируя, двигалась по кругу красная секундная стрелка. Все глядели на сизый лес, из-за зубцов которого должен был появиться последний самолет. Слух был напряжен. Но, кроме далекого гула канонады да ударов дятла, туго постукивающего невдалеке, ничего не было слышно.

Как долго иногда тянется минута!

7

Враги неслись навстречу друг другу на полном газу.

«Лавочкин-5» и «Фокке-Вульф-190» были быстроходными самолетами. Враги сближались со скоростью, превышающей скорость звука.

Алексей Мересьев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии «Рихтгофен» шли на атаку в лоб. Лобовая атака в авиации продолжается мгновения, за которые самый проворный человек не успеет закурить папиросу. Но эти мгновения требуют от летчика такого нервного напряжения, такого испытания всех духовных сил, какого в наземном бою хватило бы на целый день сражения.

Представьте себе два скоростных истребителя, несущихся прямо друг на друга на полной боевой скорости. Самолет врага растет на глазах. Вот он мелькнул во всех деталях, видны его плоскости, сверкающий круг винта, черные точки пушек. Еще

мгновение — и самолеты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В это мгновение испытываются не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдерживает чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнуть для победы, тот инстинктивно рванет ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган, и в следующее мгновение его самолет полетит вниз с распоротым брюхом или отсеченной плоскостью. Спасения ему нет. Опытные летчики отлично это знают, и лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку.

Враги бешено мчались друг на друга.

Алексей понимал, что навстречу ему идет не мальчишка из так называемого призыва Геринга, наскоро обученный летать по сокращенной программе и брошенный в бой, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся в немецкой авиации вследствие огромных потерь на Восточном фронте. Навстречу Мересьеву шел ас из дивизии «Рихтгофен», на машине которого наверняка была изображена в виде самолетных силуэтов не одна воздушная победа. Этот не уклонится, не удерет из схватки.

— Держись, «Рихтгофен»! — промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твердых мускулов, впился в цель, всей своей волей заставляя себя не закрывать глаза перед несущейся на него вражеской машиной.

Он так напрягся, что ему показалось, будто за светлым полукружием своего винта он видит прозрачный щиток кабины противника и сквозь него — два напряженно смотрящих на него человеческих глаза. Только глаза, горящие неистовой ненавистью. Это было видение, вызванное нервным напряжением. Но Алексей ясно видел их. «Все», — подумал он, еще плотнее стиснув в тугой комок все свои мускулы. Все! Смотря вперед, он летел навстречу нарастающему вихрю. Нет, немец тоже не отвернет. Все!

Он приготовился к мгновенной смерти. И вдруг где-то, как ему показалось — на расстоянии вытянутой руки от его самолета, немец не выдержал, скользнул вверх, и, когда впереди, как вспышка молнии, мелькнуло освещенное солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал мертвую петлю и, когда земля проносилась у него над головой, увидел на ее фоне медленно и бесильно порхающий самолет. Неистовое торжество вспыхнуло в нем. Он закричал: «Оля!» — позабыв обо всем, и стал вычерчивать в воздухе крутые круги, провожая немца в его последний путь до самой красневшей от бурьяна земли, пока немец не ударился об нее, подняв целый столб черного дыма.

Только тогда нервное напряжение Мересьева прошло, окаменевшие мускулы распустились, он почувствовал огромную уста-

лость, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля.

Бензина оставалось минуты на три, хорошо, если на четыре. До аэродрома же надо было лететь по крайней мере десять минут. Если бы еще не тратить времени на набор высоты. Но это провожание сбитого «фоки» до земли!.. «Мальчишка, дурак!» — ругал он себя.

Мозг работал остро и ясно, как всегда бывает в минуту опасности у смелых, хладнокровных людей. Прежде всего набрать максимальную высоту. Но не кругами, нет: набирать, одновременно приближаясь к аэродрому. Хорошо.

Поставив самолет на нужный курс и видя, как земля стала отодвигаться и постепенно окутываться по горизонту дымкой, он продолжал уже спокойнее свои расчеты. На горячее надеяться нечего. Даже если бензомер слегка подвирает, бензина все-таки не хватит. Сесть на пути? Где? Он мысленно вспомнил всю короткую трассу. Лиственные леса, болотистые перелески, холмистые поля в зоне долговременных укреплений, все перекопанные вкривь и вкось, сплошь изрытые воронками, оплетенные колючей проволокой.

Нет, сесть — это смерть.

Прыгать с парашютом? Это можно. Хоть сейчас! Открыть колпак, вираж, ручку от себя, рывок — и все. Но самолет, эта чудесная верткая, проворная птица! Ее боевые качества трижды за этот день спасли ему жизнь. Бросить ее, разбить, превратить в груды алюминиевых лохмотьев! Ответственность? Нет, ответственности он не боялся. В подобном положении даже полагалось прыгать с парашютом. Машина в это мгновение казалась ему прекрасным, сильным, великодушным и преданным живым существом, бросить которое было бы с его стороны гнусным предательством. И потом: из первых же боевых полетов вернуться без машины, околачиваться в резерве в ожидании новой, снова бездействовать в такое горячее время, когда на фронте уже рождалась наша большая победа. И в такие дни слоняться без дела!..

— Как бы не так! — вслух сказал Алексей, точно с сердцем отвергая сделанное ему кем-то предложение.

Лететь, пока не остановится мотор! А там? Там видно будет.

И он летел, с высоты трех, потом четырех тысяч метров осматривая окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось километров пятнадцать. Стрелка бензомера уже не дрожит, она прочно лежит на винтике ограничителя. Но мотор еще работает. На чем он работает? Еще, еще выше... Так!

Вдруг равномерное гудение, которого ухо летчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биение своего сердца,

перешло в иной тон. Алексей сразу уловил это. Лес отчетливо виден, до него километров семь, над ним — три-четыре. Не много. Но режим мотора уже зловеще изменился. Летчик чувствует это всем телом, как будто не мотор, а сам он стал задыхаться. И вдруг это страшное «чих, чих, чих», которое, точно острая боль, отдается во всем его теле...

Нет, ничего. Снова работает равномерно. Работает, работает, ура! Работает! А лес, вот он уже, лес: уже видны сверху вершины берез, зеленая курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес. Теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Пути отрезаны. Вперед, вперед!

Чих, чих, чих!..

Опять загудел. Надолго ли? Лес внизу. Дорога вьется по песку, прямая и ровная, как пробор на голове командира полка. Теперь до аэродрома километра три. Он там, за зубчатой кромкой, которую Алексей, кажется, уже видит.

Чих, чих, чих, чих! И вдруг стало тихо, так тихо, что слышно, как гудят снасти на ветру. Все? Мересьев почувствовал, как весь холодеет. Прыгать? Нет, еще немного... Он перевел самолет в пологое снижение и стал скользить с воздушной горы, стремясь сделать ее по возможности более отлогой и в то же время не давая машине опрокинуться в штопор.

Как страшна в воздухе эта абсолютная тишина! Такая, что слышно, как потрескивает остывающий мотор, как кровь бьется в висках и шумит в ушах от быстрой потери высоты. И как быстро несется навстречу земля, точно тянет ее к самолету огромным магнитом.

Вот она, кромка леса. Вот мелькнул вдали за ней изумрудно-зеленый лоскуток аэродрома. Поздно? Остановившись на полуобороте, висит винт. Как страшно видеть его на лету. Лес уже близко. Конец?.. Неужели она так и не узнает, что с ним случилось, какой нечеловечески трудный путь прошел он за эти восемнадцать месяцев, что он все-таки добился своего, стал настоящим... ну да, настоящим человеком, чтобы так нелепо разбиться тотчас же, как только это совершилось?

Прыгнуть? Поздно! Лес несется, и вершины его в стремительном урагане сливаются в сплошные зеленые полосы. Он где-то уже видел что-то подобное. Где? Ах, тогда весной, во время той страшной катастрофы. Тогда вот так же неслись под крыло зеленые полосы. Последнее усилие, ручку на себя...

8

От потери крови у Петрова шумело в ушах. Все — и аэродром, и знакомые лица, и золотые вечерние облака — вдруг начинало качаться, медленно переворачиваться, расплываться. Он повер-

тывал простреленную ногу, и острая боль приводила его в себя.

— Не прилетел?..

— Еще нет. Не разговаривайте, — отвечали ему.

Неужели он, Алексей Мересьев, который сегодня, как крылатый бог, непостижимым образом возник вдруг перед немцем в тот самый момент, когда Петрову казалось, что все кончено, лежит теперь где-то там, на этой страшной, скальпированной и изорванной снарядами земле, комком бесформенного обгорелого мяса? И никогда уже больше не увидит старший сержант Петров черных, немножко шальных, добродушно-насмешливых глаз своего ведущего. Никогда?..

Командир полка опустил рукав гимнастерки. Часы уже больше были не нужны. Разгладив обеими руками пробор на гладко причесанной голове, каким-то деревянным голосом командир сказал:

— Теперь все.

— И никакой надежды? — спросил его кто-то.

— Все. Бензин кончился. Может быть, где-нибудь сел или выпрыгнул... Эй, несите носилки!

Командир отвернулся и стал что-то насвистывать, безбожно перевирая мотив. Петров снова почувствовал у горла' kloкочущий клубок, такой горячий и тугой, что можно было задохнуться. Послышался странный кашляющий звук. Люди, все еще молчаливо стоявшие среди аэродрома, обернулись и тотчас же отвернулись: раненый летчик рыдал на носилках.

— Да несите же его, какого черта! — крикнул командир чужим голосом и быстро пошел прочь, отворачиваясь от толпы и щурясь, точно на резком ветру.

Люди стали медленно разбредаться по полю. И как раз в это мгновение совершенно беззвучно, как тень, чиркнув колесами по верхушкам берез, из-за кромки леса выпрыгнул самолет. Точно привидение, скользнул он над головами, над землей и, словно притянулся ею, одновременно коснулся травы всеми тремя колесами. Послышался глухой звук, хруст гравия и шелест травы — такой необычайный, потому что летчики никогда его не слышат из-за клекота работающего мотора. Случилось все это так неожиданно, что никто даже не понял, что именно произошло, хотя происшествие было само по себе обычным: сел самолет, и именно «одиннадцатый», как раз тот самый, которого все так ждали.

— Он! — заорал кто-то таким неистовым и неестественным голосом, что все сразу вышли из оцепенения.

Самолет уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома, перед стеной кудрявых, белевших стволами молодых берез, освещенных оранжевыми вечерними лучами.

Из кабины опять никто не поднялся. Люди бежали к машине что есть мочи, задыхаясь, предчувствуя недоброе. Командир полка добежал первым, легко вскочил на крыло и, открыв колпак, заглянул в кабину. Алексей Мересьев сидел без шлема, бледный, как облако, и улыбался бескровными, зеленоватыми губами. С нижней, прокушенной губы его текли по подбородку две струйки крови.

— Жив? Ранен?

Слабо улыбаясь, он смотрел на полковника смертельно усталыми глазами:

— Нет, цел. Перетрусил очень... Километров шесть тянул на соплях.

Летчики шумели, поздравляли, жали руки. Алексей улыбался:

— Братцы, крылья не обломайте. Разве можно? Ишь на-седи... Я сейчас вылезу.

В это время он услышал откуда-то снизу, из-за этих нависших над ним голов, знакомый, но такой слабый голос, точно он доносился откуда-то очень издалека:

— Алеша, Алеша!

Мересьев сразу ожил. Он вскочил, подтянулся на руках, выбросил из кабины свои тяжелые ноги и, чуть кого-то не столкнув, очутился на земле.

Лицо Петрова сливалось с подушкой. В запавших, потемневших глазницах застыли две крупные слезы.

— Старик! Ты жив?.. Ух ты, черт полосатый!

Летчик тяжело упал на колени перед носилками, обнял лежавшую бессильно голову товарища, заглянул в его голубые страдающие и одновременно лучащиеся счастьем глаза:

— Жив?

— Спасибо, Алеша, ты меня спас. Ты такой, Алеша, такой...

— Да несите же раненого, черт вас возьми! Разинули рты! — рванул где-то рядом голос полковника.

Командир полка стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутих в тугие сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона.

— Старший лейтенант Мересьев, доложите о полете. Сбитые есть?

— Так точно, товарищ полковник. Два «фокке-вульфа».

— Обстоятельства?

— Один — атакой на вертикали. У Петрова на хвосте висел. Второй — лобовой атакой километрах в трех севернее от места общей схватки.

— Знаю. Наземный только что докладывал... Спасибо.

— Служу... — хотел было по форме «отрубать» Алексей.

Но командир, такой всегда придиричивый, преклонявшийся перед уставом, перебил его домашним голосом:

— Ну и отлично! Завтра примете эскадрилью взамен... Командир третьей эскадрильи не вернулся сегодня на базу...

На командный пункт они отправились пешком. Так как полеты в этот день были окончены, вся толпа двинулась за ними. Зеленый холмик командного пункта был уже близко, когда оттуда выбежал им навстречу дежурный офицер. С разгона он остановился перед командиром, простоволосый, радостный, и открыл было рот, чтобы что-то крикнуть. Полковник перебил его сухим, резким голосом:

— Почему без фуражки? Вы что, школьник на перемене?

— Товарищ полковник, разрешите обратиться! — вытягиваясь и едва переводя дыхание, выпалил взволнованный лейтенант.

— Ну?

— Наш сосед, командир полка «ЯКов», просит вас к телефону.

— Сосед? Ну и что же?..

Полковник проворно сбежал в землянку.

— Там о тебе... — начал было говорить Алексею дежурный.

Но снизу раздался голос командира:

— Мересьева ко мне!

Когда Мересьев застыл около него, вытянув руки по швам, полковник, зажав ладонью трубку, набросился на него:

— Что же вы меня подводите? Звонит сосед, спрашивает: «Кто из твоих на «одиннадцатке» летает?» Я говорю: «Мересьев, старший лейтенант». Говорит: «Ты сколько ему сегодня сбитых записал?» Отвечаю: «Два». Говорит: «Запиши ему еще одного: он сегодня от моего хвоста «фокке-вульфа» отцепил. Я, говорит, сам видел, как тот в землю ткнулся». Ну? А вы что молчите? — Полковник хмуро смотрел на Алексея, и трудно было понять, шутит ли он или сердится всерьез. — Было это?.. Ну, объясняйтесь сами, нате вот. Алло, слушаешь? Старший лейтенант Мересьев у телефона. Передаю трубку.

У уха зарокотал незнакомый сиплый бас:

— Ну, спасибо, старший лейтенант! Классный удар, ценю, спас меня. Да. Я до самой земли его проводил и видел, как он ткнулся... Водку пьешь? Приезжай на мой КП, за мной литр. Ну, спасибо, жму пять. Действуй!

Мересьев положил трубку. Он так устал от всего пережитого, что еле стоял на ногах. Он думал теперь только о том, как бы скорее добраться до «кротового городка», до своей землянки, сбросить протезы и вытянуться на койке. Неловко потоптавшись у телефона, он медленно двинулся к двери.

— Куда идете? — Командир полка заступил ему дорогу; он взял руку Мересьева и крепко, до боли, сжал ее сухой маленькой ручкой. — Ну, что вам сказать? Молодец! Горжусь, что у меня

такие люди... Ну, что еще? Спасибо... А этот ваш дружок Петров разве плох? А остальные... Эх, с таким народом войны не проиграешь!

Он еще раз до боли стиснул руку Мересьева.

Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересьев не мог заснуть. Он перевертывал подушку, считал до тысячи и обратно, вспоминал своих знакомых, фамилии которых начинались на букву «А», потом — на букву «Б» и так далее, неотрывно смотрел на тусклое пламя коптилки, но все эти стократ проверенные способы самоусыпления сегодня не действовали. Как только Алексей закрывал глаза, начинали мелькать перед ним то ясные, то еле выделяющиеся из мглы знакомые образы: озабоченно смотрел на него из своих серебряных косм дед Михайла; добродушно мигал «коровьими» ресницами Андрей Дегтяренко; кого-то распекая, сердито потрясал своей седеющей гривой Василий Васильевич; ухмылялся всеми своими солдатскими морщинами старый снайпер; с белого фона подушки смотрело на Алексея своими умными, пронизательно-насмешливыми, все понимающими глазами восковое лицо комиссара Воробьева; мелькали, развеваясь на ветру, огненные волосы Зиночки; улыбался, подмигивал сочувственно и понимающе маленький, подвижный инструктор Наумов. Сколько славных дружеских лиц смотрело, улыбалось из тьмы, будя воспоминания, наполняя теплом и без того переполненное сердце! Но вот среди этих дружеских лиц возникло и сразу их заслонило лицо Оли, худощавое лицо подростка в офицерской гимнастерке, с большими усталыми глазами. Алексей увидел его так ясно и четко, будто девушка действительно встала перед ним, какой он никогда ее не видел. Это видение было настолько реальным, что он даже приподнялся.

Какой уж тут сон! Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил «сталинградку», вырвал из тетради лист и, поточив о подшву конец карандаша, начал писать.

«Родная моя! — писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль. — Я сегодня сбил трех немцев. Но дело не в этом. Некоторые мои товарищи делают это сейчас почти ежедневно. Я не стал бы тебе об этом хвастать... Родная моя, далекая, любимая! Сегодня я хочу, я имею право сегодня рассказать тебе все, что со мной случилось восемнадцать месяцев назад и что, каюсь, и очень каюсь, я скрывал от тебя. А вот сегодня наконец решил...»

Алексей задумался. За досками, которыми была обшита землянка, осыпая сухой песок, попискивали мыши. В незакрытый ходок вместе со свежим и влажным запахом берез и цветущих трав доносились чуть приглушенные неистовые соловьиные трели. Где-то невдалеке, за оврагом, наверно у палаток офицерской столовой, мужской и женский голоса согласно и задумчиво

пели «Рябину». Смягченная расстоянием мелодия ее обретала в ночи особую, нежную прелесть, будила в душе радостную грусть — грусть ожидания, грусть надежды...

Отдаленные, глухие грома канонады, теперь уже едва-едва долетавшие до полевого аэродрома, сразу очутившегося в глубоком тылу, не заглушали ни этой мелодии, ни соловьиных трелей, ни тихого, дремотного шелеста ночного леса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В дни, когда Орловская битва близилась к своему победному концу и передовые полки, наступавшие с севера, уже сообщали, что они видят с Красногорской возвышенности горящий город, в штаб Брянского фронта поступило сообщение, что летчики гвардейского истребительного полка, действовавшего в том районе, за девять последних дней сбили сорок семь самолетов противника. Потеряли они при этом пять машин и только трех человек, так как двое из сбитых выбросились на парашютах и пешком добрались до своего полка. Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычной.

На связном самолете я вылетел в этот полк, намереваясь написать в «Правду» о подвигах летчиков-гвардейцев.

Аэродром полка оказался расположенным на обычном крестьянском выгоне, с которого кое-как были срезаны кочки и кротовые кучи. Как глухариный выводок, самолеты прятались на опушке молодого березового леса. Словом, это был обычный полевой аэродром тех бурных военных дней.

Мы приземлились на нем под вечер, когда полк заканчивал большой страдный день. У Орла немцы особенно «активничали» в воздухе. Истребителям пришлось совершить в этот день семь боевых вылетов. Уже на закате последние звенья возвращались из восьмого. Командир полка, маленький, туго перепоясанный ремнем, загорелый, быстрый человек в новеньком синем комбинезоне, с идеальным пробором, честно признался, что ничего связанного рассказать мне сегодня не в состоянии, что он с шести часов утра на аэродроме, сам трижды поднимался в воздух и теперь едва стоит от усталости. Да и остальным командирам в этот день было не до газетных интервью. Я понял, что придется повременить до завтра, да и возвращаться было все равно поздно. Солнце уже легло на вершины берез, облив их расплавленным золотом своих лучей.

Садилась последняя машина. Не выключая моторов, с ходу подруливали они прямо к леску... Механики на руках разворачивали их. Только когда самолет уже стоял в зеленой, обложенной

дерном земляной подковке капонира, из кабины медленно вылезали бледные, усталые летчики.

Последним прилетел самолет командира третьей эскадрильи. Открылся прозрачный колпак кабины. Сначала оттуда вылетела и упала на траву большая, черного дерева палка, облепленная золотыми монограммами. Затем загорелый широколицый черноволосый человек быстро поднялся на крепких руках, ловко перенес свое тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. Кто-то сказал мне, что это лучший летчик полка. Чтобы не терять попусту вечера, я решил сейчас же поговорить с ним. Отлично помню, как, весело глядя мне прямо в лицо живыми черными, цыганскими глазами, в которых непогашенный мальчишеский задор странно сочетался с усталой мудростью бывалого, много пережившего человека, он сказал, улыбаясь:

— Помилосердствуйте! Честное слово, с ног валяюсь. В ушах гудит. Вы кушали? Нет? Ну и отлично! Пойдемте в столовку, поужинаем вместе. У нас за сбитый самолет к ужину двести граммов водки подают. Мне сегодня причитается четыреста. Как раз на двоих хватит. Ну что же, пошли? За столом и потолкуем, если вам не терпится.

Я согласился. Уж очень мне понравился этот открытый, веселый человек. Мы двинулись по тропке, протоптанной летчиками напрямик, через лес. Новый знакомый шел быстро, порой нагибался, чтобы сорвать на ходу черничину или поймать в горсть гроздь бело-розовых ягод брусники, которую он тут же бросал в рот. Должно быть, он очень устал сегодня, так как ступал тяжело. Но на странную палку свою он не опирался. Она висела у него на локте, и лишь изредка он брал ее в руку, чтобы сшибить мухомор или ударить по розовым султанчикам иван-чая. Когда мы, переходя овраг, поднимались на крутой, скользкий, глинистый склон, летчик взбирался медленно, помогая себе тем, что подтягивался руками за кусты. Но на палку так и не оперся.

Впрочем, в столовой усталость с него будто ветром сдуло. Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат, по приметам летчиков предвещавший на завтра ветер; жадно, с шумом выпил большую кружку воды, пошутил с хорошенькой кудрявой официанткой о каком-то своем находящемся в госпитале приятеле, из-за которого та будто бы пересаливала всем супы. Ел он с аппетитом, много, крепкими зубами с хрустом обгладывал кости бараньего бока. Перешучивался через стол с товарищами, выспрашивал у меня московские новости, интересовался новинками литературы и постановками в московских театрах, где он, по его словам, ни разу, увы, не бывал. Когда мы доели третье — черничный кисель, называвшийся здесь «грозовые облака», — он спросил:

— Вы, собственно, где ночуете? Нигде? Ну и отлично, но-

чуйте в моей землянке!—Он на мгновение насупился и, помолчав, глухо пояснил: — Сосед мой сегодня... не вернулся с задания... Стало быть, лежак свободен. Свежее белье найдется, идемте.

Он был, видимо, из тех, кто любит людей, кого неудержимо тянет поболтать со свежим человеком и обязательно выпросить у него все, что тот знает.

Я согласился. Мы пришли в овраг, по обоим скатам которого в пахнувших прелым листом и грибной сыростью дебрях малиника, медуницы, иван-чая были нарыты землянки.

Когда полоска копотного пламени разгорелась в самодельной лампе-«сталинградке» и осветила землянку, помещение оказалось довольно просторным, уютно обжитым. В нишах глиняных стен, на матрацах, сделанных из набитых свежим, душистым сеном плащ-палаток, были две аккуратные постели. Молодые березки с не завядшей еще листвой стояли по углам, как объяснил летчик, «для духу». Над постелями в земле были вырыты ровные уступы; там на подстилках из газет лежали стопки книг, умывальные, бритвенные принадлежности. У изголовья одной постели смутно виднелись две фотографии в самодельных затейливых рамках из прозрачного плексигласа. Такие рамки в дни затишья во множестве вытачивали от скуки из обломков вражеских самолетов разные полковые умельцы. На столе стоял прикрытый лопушком солдатский котелок, полный лесной малины. От малины, от свежих березок, от сена, от еловых веток, которыми был застлан пол, шел такой веселый, густой, жизнерадостный запах, а в землянке царила такая славная влажная прохлада, так убаюкивающе звенели в овраге кузнечики, что, сразу почувствовав во всем теле приятную усталость, мы с хозяином решили отложить до утра и разговоры и малину, за которую было принялись.

Летчик вышел наружу, и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, крякая, фыркая на весь лес. Он вернулся веселый, свежий, с каплями воды на бровях и волосах, опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий летчик! Летчик-истребитель! Летчик, только сегодня совершивший семь боевых вылетов и сбивший два самолета! Это казалось совершенно невероятным.

Но ноги его, точнее говоря — протезы, ловко обутые в ботинки военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под койки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у меня в эту минуту был очень озадаченный, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой:

— Неужели вы раньше не заметили?

— Даже в голову не пришло.

— Вот хорошо! Вот спасибо! Удивляюсь только, как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и звонарей. Как это они нового человека, да еще из «Правды», прозевали и не похвастались такой диковинкой? Это потому, что сегодня вымотались все так...

— Но ведь это небывалое дело. Это же черт знает какой подвиг: без ног сражаться на истребителе! История авиации ничего подобного еще не знает.

Летчик весело свистнул:

— Ну, история авиации!.. Она много чего не знала, да узнала от советских летчиков в эту войну. Да и что тут хорошего? Можете поверить, что я с бóльшим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этими вот ногами. Но что поделаешь? Так сложились обстоятельства.— Летчик вздохнул.— Впрочем, если быть точным, подобные примеры история авиации все-таки знает.

Порывшись в планшете, он вынул оттуда вырезку из какого-то журнала, совершенно истертую, расползшуюся на сгибах и бережно подклеенную к листу целлофана. В ней говорилось о летчике, который летал без ступни.

— Но ведь у него одна нога все-таки была здоровой. Потом, он не истребитель, он же летал на допотопном «фармане».

— Зато я советский летчик. Только не подумайте, что я хвастаюсь, это не мои слова. Их сказал мне однажды один хороший, настоящий,— он особенно подчеркнул слово «настоящий»,— человек... Он теперь умер.

На широком энергичном лице летчика появилось выражение ласковой, хорошей грусти, глаза засветились тепло и ясно, лицо помолодело сразу лет на десять, стало почти юношеским, и я с удивлением убедился, что хозяину моему, казавшемуся минуту назад человеком средних лет, едва ли было и двадцать два — двадцать три года.

— Я не перебарываю, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как... А вот сейчас все вдруг вспомнилось... Вы тут человек посторонний, завтра попрощаемся и больше не встретимся, наверно... Хотите, я расскажу вам историю с моими ногами?

Он сел на койке, натянул до подбородка одеяло и стал рассказывать. Он словно думал вслух, совершенно забыв о собеседнике, но говорил интересно, образно. Чувствовались в нем тонкий ум, острая память и большое, хорошее сердце. Сразу поняв, что услышу что-то значительное, небывалое, чего потом больше уже никогда и не узнаешь, я схватил лежавшую на столе ученическую тетрадку с надписью «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи» и стал записывать его рассказ.

Ночь незаметно ползла над лесом. Потрескивала, сипела на столе коптилка. Уже много неосторожных ночных бабочек, опаливших крылышки, валялось вокруг нее. Сначала ночной ветерок

доносил до нас пиликанье гармошки. Потом гармошка смолкла, и только шумы ночного леса — резкие вопли выпи, далекий стон филина, надсадная лягушечья колготня на соседнем болотце да пиликанье кузнечиков — сопровождали мерный звук хрипловатого задумчивого голоса. Удивительная повесть этого человека так захватила меня, что я старался записывать ее как можно подробнее. Исписал одну тетрадку, нашел на полочке вторую, исписал и ее и не заметил, как побледнело небо в узкой прорези земляного ходка. Алексей Маресьев довел свой рассказ до того дня, когда, сбив три немецких самолета из воздушной дивизии «Рихтгофен», он снова ощутил себя полноправным и полноценным летчиком.

— Эх, проболтали мы с вами, а мне завтра с утра летать, — перебил он себя на полужеле. — Заговорил я вас? Извините. А теперь — спать.

— Ну, а как же Оля? Что она вам ответила? — спросил я и тут же спохватился: — Впрочем, может быть, этот вопрос вам неприятен, тогда не отвечайте, пожалуйста.

— Нет, отчего же! — усмехнулся он. — Мы с ней оба большие чудаки. Видите ли, оказалось, что она все знала. Приятель мой, Андрей Дегтяренко, сразу же написал ей — сначала о катастрофе, а потом, что мне ноги отняли. Но она, видя, что я почему-то скрываю, решила, что мне тяжело говорить, и все время делала вид, будто ничего не знает. И вышло — обманывали мы друг друга невесть зачем. Хотите на нее взглянуть?

Он прибавил в коптилке фитиля и поднес ее к фотографиям в затейливых рамках из плексигласа, висевшим у его изголовья. На одной, любительской, почти совсем выгоревшей и затертой, можно было с трудом разобрать девушку, беззаботно улыбающуюся в цветах летнего луга. С другой — строго смотрело худое, сосредоточенное, умное лицо той же девушки в форме младшего техника-лейтенанта. Была она такая маленькая, что в военной форме напоминала хорошенького мальчика-подростка, только у подростка этого были усталые, не по-юношески пронизательные глаза.

— Вам она нравится?.. И мне тоже, — добродушно усмехнулся он.

— Ну, а Стручков, где он теперь?

— Не знаю. Последнее письмо от него получил зимой из-под Великих Лук. Тогда воевал...

— А танкист этот... как его?..

— Гриша Гвоздев? Он теперь майор. Участвовал в знаменитом сражении у Прохоровки, а потом в танковом прорыве тут, на Курской дуге. Рядом воюем и не встретились. Танковым полком командует. Сейчас что-то замолчал. Ну ничего, найдется, живы будем. А что нам не жить?.. Ну, спать, спать: уже утро.

Он дунул на пламя коптилки. Наступила полутьма, уже разжиженная белесым хмурым рассветом, зазвенели комары, которые составляли, пожалуй, единственное неудобство этого славного лесного жилья.

— Мне бы очень хотелось написать о вас в «Правду».

— Что же, напишите, — без особого энтузиазма согласился летчик и минуту спустя уже сонным голосом добавил: — А может, не стоит? Попадет Геббельсу, раздует он кадило: дескать, у русских безногие воюют, то, сё... Фашисты на это мастера.

Через мгновение он уже сочно похрапывал. А я спать не мог. Неожданная исповедь потрясла меня своей простотой и величием. Все это могло бы показаться хорошей сказкой, если бы сам герой ее не спал тут вот рядом и протезы его не валялись на полу, запотевшие от росы, четко видные в белесом свете начинавшегося дня...

...С тех пор я не встречал Алексея Маресьева, но повсюду, куда ни бросала меня военная судьба, возил я с собой две ученические тетрадки, на которых еще под Орлом записал необыкновенную одиссею этого летчика. Сколько раз во время войны, в дни затишья и после, скитаясь по странам освобожденной Европы, принимался я за очерк о нем и каждый раз откладывал, потому что все, что удавалось написать, казалось лишь бледной тенью его жизни!

Но вот в Нюрнберге присутствовал я на заседании Международного военного трибунала. Шел к концу допрос Германа Геринга. Дрогнув под тяжестью документальных улик, прижатый к стене вопросами советского обвинителя, «второй наци Германии» неохотно, сквозь зубы, рассказывал суду о том, как в битвах на необъятных просторах моей Родины под ударами Красной Армии таяла и разваливалась гигантская армия фашизма, до тех пор не знавшая поражений. Оправдываясь, Геринг поднял к небу тусклые белесые глаза: «Такова была воля провидения».

— Признаете ли вы, что, предательски напав на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной, вы совершили величайшее преступление? — спросил Геринга советский обвинитель Роман Руденко.

— Это не преступление, это роковая ошибка, — глухо ответил Геринг, хмуро опуская глаза. — Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не знали, а о многом не могли и подозревать. Главное, мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях, а русский человек всегда был загадкой для иност-

ранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили ошибку Наполеона.

Мы с гордостью слышали вынужденное «откровение» о «загадочном русском человеке», об «истинном военном потенциале» нашей Родины. Можно было верить, что советский человек, способности, таланты, самоотверженность и мужество которого так поразили весь мир в дни войны, для всех этих герингов действительно был и остался роковой загадкой. Да и где было им, изобретателям жалкой «теории» о немецкой «расе господ», понять душу и мощь человека, выросшего в социалистической стране! И мне вдруг вспомнился Алексей Маресьев. Полузабытый образ его ярко и неотвязно встал передо мной тут, в этом строгом, облицованном дубом зале. И захотелось здесь же, в Нюрнберге, в городе, который был колыбелью нацизма, рассказать об одном из миллионов простых советских людей, разбивших армии Кейтеля, воздушный флот Геринга, хоронивших на дне морском корабли Редера и своими могучими ударами разрушивших разбойничье государство Гитлера.

Ученические тетрадки в желтых обложках, на одной из которых маресьевским почерком было выведено: «Дневник, боевых полетов третьей эскадрильи», прибыли со мной и в Нюрнберг. Вернувшись с заседания трибунала, я принялся разбирать старые записи и снова засел за работу, пытаюсь правдиво рассказать о Маресьеве все, что знал из рассказов его товарищей и с его слов.

Многое в свое время я не успел записать, многое за четыре года потерялось в памяти. Многое, по скромности своей, умолчал тогда Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стерлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопровождал его, кто помогал ему на трудном пути его подвига. Пусть не обидятся они на меня, если узнают себя в этом повествовании.

Я назвал книгу «Повесть о настоящем человеке», потому что Алексей Маресьев и есть настоящий советский человек, которого никогда не понимал, да так и не понял до самой своей позорной смерти Герман Геринг, которого не понимают до сих пор и все те, кто склонен забывать уроки истории, кто и теперь еще втайне мечтает пойти по пути Наполеона и Гитлера.

Так возникла эта «Повесть о настоящем человеке».

После того как книга эта была написана и приготовлена к печати, мне захотелось перед публикацией познакомить с ней ее главного героя. Но он бесследно затерялся для меня в путанице бесконечных фронтовых дорог, и ни наши общие друзья — летчики, ни официальные источники, к которым я обращался, не смогли мне помочь отыскать Алексея Петровича Маресьева.

Повесть уже печаталась в журнале, ее читали по радио, когда однажды утром у меня позвонил телефон.

— Мне бы хотелось с вами встретиться, — зазвучал в трубке хриловатый, мужественный, как будто знакомый, но уже позабытый голос.

— А с кем я разговариваю?

— С гвардии майором Алексеем Маресьевым.

А через несколько часов, быстрый, веселый, все такой же деятельный, своей медвежьей, чуть-чуть с развалом походкой он уже входил ко мне. Четыре военных года почти не изменили его.

— ...Я вчера сижу дома, читаю, радио включено, но я увлекся и не слушаю, что там передают. Вдруг подходит взволнованная мама, показывает на приемник и говорит: «Послушай, сынок, это же про тебя». Прислушался — верно, про меня: передают о том, что со мной было. Я удивился: кто это мог написать? Ведь вроде бы я никому не рассказывал об этом. И вдруг вспомнилась наша встреча под Орлом и как я вам в землянке всю ночь не давал спать своими разговорами... Думаю: как же так, это ж было давно, почти пять лет назад. Но зачитали отрывок, назвали автора, и вот решил я вас разыскать...

Все это он пояснил залпом, улыбаясь своей широкой, чуть-чуть застенчивой, прежней маресьевской улыбкой.

Как всегда бывает при встрече двух давно не видевших друг друга военных, заговорили о боях, об общих знакомых офицерах, добрым словом помянули тех, кто не дожил до победы. О себе Алексей Петрович рассказывал по-прежнему неохотно, и выяснил я, что он еще много и удачно повоевал. Вместе со своим гвардейским полком проделал он боевую кампанию 1943—1945 годов. После нашей встречи он сбил под Орлом три самолета, а потом, участвуя в сражениях за Прибалтику, увеличил свой боевой счет еще на две машины. Словом, он щедро расквитался с противником за свои утраченные в бою ноги. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза.

Рассказал Алексей Петрович и о своих домашних делах, и я рад, что и в этом отношении могу дописать к повести счастливый конец.

Закончив войну, он женился на любимой девушке, и у них родился сын Виктор. Из Камышина к Маресьевым приехала его старушка мать, которая сейчас живет с ними, радуясь на счастье своих детей и нянча маленького Маресьева.

Так сама жизнь продолжила эту написанную мной на чужбине повесть об Алексее Маресьеве — Настоящем Советском Человеке.

У КОММЕНТАРИИ

В. П. КАТАЕВ

«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

Впервые повесть была опубликована в журнале «Красная новь» (1936, № 5). Отдельной книгой вышла в 1937 году в Детиздате (так тогда называлось издательство «Детская литература»). А еще раньше появились рассказы «Родион Жуков» («Красная новь», 1926, № 7) и «Ушки» (журнал «30 дней», 1930, № 1).

По свидетельству автора, первоначально зародился замысел не повести, а романа «Хуторок в степи». Однако, не начав еще его писать, автор задумался о предшествующих событиях в общественной жизни и, обратившись к детству своих героев, написал «Белеет парус одинокий».

В статье «Замысел и время» Катаев рассказал как был написан роман-тетралогия «Волны Черного моря», первой частью которого впоследствии стал «Белеет парус одинокий».

«Белеет парус одинокий» я написал быстро, месяца в четыре, без малейшего напряжения, с тем ощущением внутренней свободы, которое сопутствует работе над своей темой...

Книга была закончена. Но судьбы героев и их место в событиях внешнего мира не были определены. Хотелось писать дальше. Это желание подогревалось читательскими письмами, которые шли ко мне в громадном количестве. Читатели требовали рассказа о том, что было дальше, что стало с Петей и Гаврнком. И я решил писать «Хуторок в степи», то есть вернуться к теме первой задуманной мною книги.

Но и в этот раз замысел автора не осуществился. Началась Великая Отечественная война, и прежние планы были отодвинуты.

Были военные корреспонденции, появились повести «Жена», «Сын полка»... И наконец, по горячим следам впечатлений от того, что писатель увидел в Одессе, в которую он попал в конце войны, от того, что он узнал о героической борьбе одесских партизан, укрывавшихся в одесских катакомбах, был написан роман «За власть Советов», теперь завершающий тетралогия и получивший в ней название «Катакомбы».

Романы «Хуторок в степи» и «Зимний ветер» были написаны уже после войны (1956 и 1960 гг.). Однако четыре произведения, написанные в общей сложности за 25 лет, не стали еще единой книгой. Чтобы они составили сюжетное и стилевое единство, необходимо было кое-что доработать («Совсем немного подправить», — пишет Катаев), что и было им сделано для издания тетралогии в 1961 году.

Не по порядку отраженных исторических событий был написан роман-

тетралогия. По словам автора, само время вмешалось в его творческие планы, сама жизнь подсказала и структуру романа.

Повесть «Белеет парус одинокий» многократно издавалась и в детских, и во взрослых, в центральных, республиканских и областных издательствах.

Повесть иллюстрировали художники Д. Дубинский, К. Ротов, В. Горяев. Она переведена на 24 языка народов СССР и девять языков народов зарубежных стран. В общей сложности она издавалась сто раз, ее тираж составляет более 5 миллионов экземпляров (по данным на 1 января 1978 года).

«Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «Катакомбы» — четыре части романа «Волны Черного моря» — охватывают целое сорокалетие: от дней революции 1905 года в Одессе до героических дней борьбы одесских партизан в годы Великой Отечественной войны и победы над германским фашизмом в 1945 году. «Но весь цикл произведений «Волны Черного моря» не исторический роман, — говорит автор, — а в значительной мере лирический... Я бы хотел, чтобы именно так его воспринимали читатели».

По повести «Белеет парус одинокий» Катаевым была написана одноименная пьеса (отдельное издание: М., «Искусство», 1937) и киносценарий. Фильм вышел на экран в 1937 году. («Союздетфильм». Режиссер В. Легошин, композитор М. Раухвергер.)

На Киевской киностудии имени А. П. Довженко был снят восьмисерийный телефильм по роману «Волны Черного моря».

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

«СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»

Впервые опубликована под заглавием «Северные рассказы» в журнале «Знамя» (1938, № 1, 3, 4). Под тем же заглавием вышла отдельной книгой (Детиздат, 1939). Первая часть повести издавалась отдельно («Северный рассказ». М., «Правда», 1939. Б-ка «Огонек»). Отрывки публиковались в газетах.

Повесть множество раз переиздавалась, включалась в сборники, в избранные произведения писателя. Помещена автором в шеститомное Собрание сочинений (М., Гослитиздат, 1957—1958) и восьмитомное Собрание сочинений (М., «Художественная литература», 1967—1970).

21 мая 1937 года в Арктике была организована первая дрейфующая станция «Северный полюс». Паустовский сразу откликнулся на это событие, написал заметку для «Литературной газеты».

«...Сейчас, когда четыре человека остались на полюсе, чтобы вырвать у Арктики разгадку изменений погоды, я невольно вспомнил о почти неизвестной, казавшейся десять лет назад еще фантастической теории капитана Гернета.

Капитан Гернет, старый моряк, командир красных флотилий во времена гражданской войны, написал книгу под названием «Ледяные лишай». Эта книга была напечатана всего в количестве пятисот экземпляров.

Этот маленький тираж объясняется тем, что книга была написана и напечатана в Японии, где капитан Гернет был нашим морским представителем. Он набрал ее сам, так как не нашлось ни одного наборщика, знающего русский язык, отпечатал за свой счет и привез весь ее тираж в Советский Союз...

...Капитан Гернет просто, точно и смело доказывает, что человек может путем уничтожения ледяного щита, покрывающего Гренландию, вернуть Европе, Северной Азии и полярным областям Северной Америки миоценовый климат — тот теплый субтропический климат эпохи миоцена, когда по берегам нынешнего Финского залива росли магнолии, Шпицберген покрывали девственные сосновые леса.

Никто из ученых не опроверг и не пытался опровергнуть теорию капитана Гернета. Ее просто не знают. Один только Алексей Максимович [Горький], узнав о теории Гернета и ознакомившись с ней, был ею глубоко заинтересован и хотел переиздать книгу Гернета массовым тиражом, но смерть помешала ему это сделать.

Сейчас об этой теории надо вспомнить. Наступило время, когда сбываются великие догадки когда-то безвестных мечтателей, людей, своей пытливостью и забвением собственных интересов украшающих нашу жизнь».

Приведем свидетельство самого Горького по этому поводу. В письме к Ромен Роллану от 26 мая 1934 года он пишет: «Сегодня познакомился с книгой человека, который предлагает уничтожить полярные льды и вернуть Сибирь и Канаду в «райские условия» миоценового периода. Эта фантазия говорит о возбуждении творческой мысли, направленной к цели действительного «изменения мира». И — знаете — у нас уже есть фантазии, которые реализуются на практике...» (Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т. Т. 30. М., 1956, с. 349).

И еще раз, в июле того же года, Горький вернулся к мысли о книге капитана Гернета — в письме к К. И. Чуковскому, который в то время писал научно-фантастическую повесть на тему об управлении погодой, о воздействии человека на климат (работа не была завершена). Предупреждая о невероятной трудности этой темы, Горький писал: «Подумайте: Вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах Севера, о «вечной мерзлоте» и всякой всячине этого рода в наше время, когда гипотетическое мышление становится все более обычным и — «безумным». Вон капитан Гернет предлагает уничтожить Гренландский ледяной лишай и вернуть Сибирь с Канадой в миоценовый период...» (там же, с. 353).

О капитане Гернете и его книге «Ледяные лишай» Паустовский писал не раз. С идеями капитана Гернета читатель встречается в «Озерном фронте», в «Судьбе Шарля Лонсевиля». Приведенный здесь рассказ о Гернете и его книге в измененном виде вошел потом в повесть «Золотая роза».

За пять лет до того, как была написана «Северная повесть», Паустовский опубликовал повесть «Теория капитана Гернета» («Знание — сила», 1933, № 1). При жизни писателя повесть не переиздавалась. Лишь спустя шесть лет после его смерти она была опубликована по рукописи в журнале «Север» (Петрозаводск, 1974, № 9) с послесловием Ф. Макаровой и Л. Резникова.

Покорение полюса нашло своеобразное отражение и в «Северной повести», а в третьей ее части теорию, подобную гипотезе Гернета, развивает ученый и мечтатель Щедрин, связывая, однако, идею преобразования природы с социальными преобразованиями.

В образе «знаменитого писателя» угадываются черты Горького.

«Северная повесть» переведена на многие языки народов нашей страны и мира (болгарский, венгерский, немецкий, польский, чешский, шведский).

«КАРА-БУГАЗ»

Повесть была опубликована в 1932 году отдельной книгой издательством «Молодая гвардия». Отрывок из повести (глава «Черный остров») издан был отдельно под заглавием «Кара-Ада» (М., «Молодая гвардия», 1932). Позднее автор рассказывал, что «Кара-Ада» он написал сначала, думал даже этим ограничиться, но потом продолжил работу.

В 1930 году Паустовский написал роман «Коллекционер», но публиковать его и не пытался. Постепенно он был разобран автором по частям. Отдельные

главы вошли позднее в автобиографические повести, часть глав и эпизодов превращена была в повесть «Кара-Бугаз». «Коллекционер» дал мне толчок для работы над повестью «Кара-Бугаз», — пишет автор в предисловии к книге «Потерянные романы» (Калуга, 1962), книге, в которой опубликованы пять глав романа, оставшихся неиспользованными.

«Кара-Бугаз» множество раз переиздавался в центральных, областных и республиканских издательствах.

Повесть переведена на языки народов СССР и на языки народов зарубежных стран (венгерский, немецкий, румынский, чешский, английский, итальянский, македонский, финский, французский, шведский).

Критика сразу очень высоко оценила книгу. Известны отзывы Н. К. Крупской (1933), писателей С. Я. Маршака (1934), П. А. Павленко (1932), высокую оценку книге дал Горький («Смелый и удачный опыт автора, создавшего для детей и юношества книгу о перспективах нашего строительства»); о книге писал Ромен Роллан.

О замысле повести и о том, когда и где она была написана, какие мысли, чувства и переживания владели им в то время, Паустовский рассказал в книге о труде писателя «Золотая роза», а еще раньше в журнале «Наши достижения» (1933, № 1) и в очерке «Как я работаю над своими книгами» (М., Профиздат, 1934). Эти страницы сохранили свидетельство автора о факте, документе и вымысле в книге, о прототипах ее героев, о событиях, которые легли в основу сюжета. Да и в самой повести изложена и история изучения залива, и рассказано об изучении этой истории писателем.

В общей сложности Паустовский работал над повестью более года: он читал книги о пустынях, изучал карты побережья и лоции Каспийского моря.

Читая труды великих путешественников и исследователей пустынь, писатель не только осваивал необходимый для будущей книги документальный материал, но и знакомился «заочно» с самими исследователями. «По их работам я старался представить себе этих людей. Я научился не только уважать таких людей, как Карелин — известный исследователь пустынь Средней Азии, — как Ферсман, Андрусов, Пржевальский и другие, но и любить их. Их черты я перенес на своих героев, наделил этими чертами некоторых людей, которые действуют в книге».

Затем была предпринята поездка на Каспий, она заняла несколько месяцев. Так замысел постепенно наполнялся реальным материалом и, «освещенный неясным сиянием вымысла» (Паустовский), вылился в повесть.

По возвращении в Москву, писатель вскоре уезжает в качестве корреспондента на Северный Урал — в Березняки и Соликамск. Там и началась работа над «Кара-Бугазом». «Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать». Это было спустя полгода после возвращения из поездки на Каспий.

По словам писателя, он хотел показать не только завоевание пустыни, не только практическую сторону дела, «...но и людей, то совершенно новое племя людей, которое выковывалось в этой потрясающей схватке с природой». А в другом месте он писал: «Кара-Бугаз» ...требует медленного чтения. В этой книге пришлось спрессовать большой материал».

Паустовский неоднократно рассказывал о подлинных событиях, получивших отражение в повести, о тех людях, которых он встречал во время поездки на Каспий.

Недавно появилось в печати новое подтверждение реальной основы книги. Драматическую историю, описанную в главе «Черный остров», оказалось, еще помнят местные старики. Об этом рассказал в воспоминаниях о Паустовском писатель А. Беянинов, который в 60-х годах побывал на Кара-Ада. Поехал туда по сигналу, полученному редакцией ашхабадской молодежной газеты от смотрителя маяка, сообщившего, что на острове найдены шесть скелетов. Других не могло быть, замечает Беянинов, только те шесть погибших из пятнадцати, которые достигли в тот страшный день острова. Ему сразу назвали тогда имя казаха, который первый заметил дым над островом — сигналы бедствия обреченных — и спас девятерых, оставшихся в живых: Кульдур, сын Алимбая из рода Тней.

На месте захоронения шести найденных скелетов стоит теперь скромный деревянный обелиск.

Так стал известен еще один прототип персонажа повести, имя которого, казалось, «поглотила пустыня».

Б. Н. ПОЛЕВОЙ

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Впервые опубликована в журнале «Октябрь» (1946, кн. 7—8, 9, 10—11). Передавалась по московскому радио. В 1947 году напечатана в «Роман-газете» (№ 6—7). Вышла в Детгизе в 1947 году (теперь изд-во «Детская литература»).

Повесть иллюстрировали художники: В. Щеглов, С. Бродская, Н. Жуков и др.

Многократно переиздавалась. Выходила в Москве, в Ленинграде, на родине писателя в Калининe, в других областных и республиканских центрах. Переведена на 24 языка народов СССР и 17 языков народов зарубежных стран. В общей сложности она издавалась 165 раз, общий тираж ее составляет более 8 миллионов экземпляров. (Сведения приводятся на 1 января 1978 года.)

Автору за повесть присуждена Государственная премия 1947 года.

Историю написания повести писатель подробно рассказал в книге «В конце концов. Нюрнбергский дневник», кратко изложил ее и в послесловии к «Повести о настоящем человеке».

Еще до работы над книгой Полевой писал о подвигах советских летчиков. В «Правде» в 1942 и 1943 годах опубликованы его корреспонденции, в которых запечатлены картины воздушных боев; они потом были частично использованы в повести. Замысел книги зрел долго, а написана она была быстро и отослана в Москву, в редакцию журнала «Октябрь».

«Повесть о настоящем человеке», честно говоря,— рассказывал Полевой,— я сначала замыслил как очерк об этом действительно необыкновенном человеке... Но материал был слишком объемист, и газетный очерк не смог вместить всего того, что хотелось сказать об Алексее Маресьеве».

В книге появились и вымышленные герои, видоизменена фамилия главного героя (в жизни Маресьев, в повести Мересьев). Однако Полевой неоднократно подчеркивал, что главный герой — реальная личность (в телеграмме тогдашнему редактору журнала «Октябрь» писателю Ф. Панферову: «Герой-летчик фигура реальная»).

По повести был написан киносценарий и снят художественный фильм под тем же названием («Мосфильм», 1948). В роли Мересьева снимался П. Кадочников.

В 1954 году повесть была инсценирована и под названием «Настоящий человек» шла в ряде театров в Москве (на сцене Центрального театра Советской Армии, 1955), Ленинграде, Горьком, Калининe, Волгограде (в Драматическом театре в 1968 году, в ТЮЗе в 1975 году) и других городах.

Ф. Эбин

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Игорь Мотяшов. Честь смолоду</i>	<i>3</i>
<i>Валентин Катаев. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ . .</i>	<i>29</i>
<i>Константин Паустовский. СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ</i>	<i>249</i>
<i>КАРА-БУГАЗ</i>	<i>336</i>
<i>Борис Полевой. ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛО-</i>	
<i>ВЕКЕ</i>	<i>427</i>
<i>Комментарии</i>	<i>677</i>

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 24)

Валентин Петрович Катаев
БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

Константин Георгиевич Паустовский
СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ
КАРА-БУГАЗ

Борис Николаевич Полевой
ПОВЕСТЬ
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

П о в е с т и

ИБ № 3461

*

Отвественный редактор

Е. М. Подкопеева

Художественный редактор

М. Д. Суховцева

Технические редакторы

Н. Д. Лаукус

и И. П. Савенкова

Корректоры

Н. Е. Кошелёва

и Э. Л. Лофенфельд

*

Сдано в набор 23.10.78. Подписано к печати 28.04.79. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типограф. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 44,13. Уч.-изд. л. 45,23+9 вкл.=45,79. Тираж 404 000 (200 001—404 000) экз. Заказ № 3693. Цена 2 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм.

Катаев В. П.

К29 Белеет парус одинокий. Паустовский К. Г. Северная повесть; Кара-Бугаз. Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке: Повести/ Статья И. Мотяшова; Ил. Ю. Ракутина.— М.: Дет. лит., 1979.— 686 с., 9 л. ил. (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 24).

В пер.: 2 р.

К 70803—285 Подп. изд.
М101(03)79

Р2

Scan Kreyder - 12.08.2016
STERLITAMAK



2 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»